ISSN 0130–6545

1. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Р. ДУЙНХОРТАВ. «Арканщик».

Цветные иллюстрации номера — работы монгольских художников

На 1-й и 4-й страницах обложки —

Д. АМГАЛАН. «Мечта».

Н. ЦУЛТЭМ. «Стяг».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

январь

1

1987

Содержание

ГРЭМ ГРИН — Сила и слава *(Роман. Перевод с английского Н. Волжиной)* 3

КРИСТОФ ХАЙН — Чужой друг *(Повесть. Перевод с немецкого Б. Хлебникова. Послесловие Т. Мотылевой)* 66

РОБЕРТ БЛАЙ — Из книги «Любовь к женщине в двух мирах» (1985) *(Стихи. Перевод с английского Михаила Дудина)* 130

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА — Америка о'кей *(Роман. Перевод с итальянского Е. Дмитриевой и Е. Солоновича. Вступление Г. Смирнова)* 136

Публицистика

КСЕНИЯ МЯЛО — Уроки Эйзеля *(В лабиринтах мифа и под солнцем стадиона)* 177

ХАНТЕР ДЭВИС — Главы из книги «Славная игра» *(Перевод с английского И. Гуровой)* 186

ЛОУРЕНС ПИТЕР — Почему дела идут вкривь и вкось, или Еще раз о Принципе Питера *(Фрагменты книги. Перевод с английского Л. В. Степанова)* 195

Критика

ЭРИХ КОШ — О сатире и сатириках *(Вступление и перевод с сербскохорватского Н. Яковлевой)* 210

Ю. ФРИДШТЕЙН — «Если мы не перестанем быть жестокими — у нас не будет будущего» *(Заметки о творчестве Эдварда Бонда)* 217

Заметки писателя

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ — Слово о Рубене Дарио *(Перевод с испанского Г. Вержховской)* 222

РУБЕН ДАРИО — Из сборника «Песни жизни и надежды» (1905) *(Стихи. Перевод Н. Ванханен)* 224

Возвращаясь к напечатанному

НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Жаворонок и бесконечность *(Раздумья по поводу романа Веслава Мысливского «Камень на камень»)* 226

Антирубрика

ШОН О'ФАОЛЕЙН — Не приведи господь! *(Рассказ. Перевод с английского Екатерины Коротковой)* 231

Среди книг

Издано в СССР

К. Мурадян — Вопреки «безумию и заблуждениям» *(Август Стриндберг. Избранные произведения в двух томах)* ✦ Наталья Старосельская — Помни имя свое... *(Януш Красинский. Сын Валленрода)* ✦ Хайме Мехиа Дуке — Свежий взгляд на русских классиков 237

Издано за рубежом

Хуан Кобо — Делибес продолжается... *(Мигель Делибес. Любовные письма престарелого ловеласа. Клад)* ✦ Л. Харлап — Вишневое дерево вновь расцветет... *(Юрий Кох. Вишневое дерево)* 241

Зарубежная литература в СССР 216

Редакцию посетили...

И. Константинов — Сомдатт (Индия) 245

Из месяца в месяц 246

© «Иностранная литература», 1987

ГРЭМ ГРИН

Сила и слава

РОМАН

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ

Тесней кольцо; злой силой свора дышит,
И с каждым шагом смерть становится
все ближе.

Драйден[1]

Часть первая

Глава 1

ПОРТ

Мистер Тенч вышел из дому за баллоном эфира — вышел на слепящее мексиканское солнце и в белесую пыль. Стервятники, сидевшие на крыше, смотрели на него с полным безразличием: ведь он еще не падаль. Вялое чувство возмущения шевельнулось в сердце мистера Тенча, он выковырял расщепленными ногтями комок земли с дороги и лениво швырнул им в птиц. Одна поднялась и, взмахивая крыльями, полетела над городом — над крохотной площадью, над бюстом бывшего президента, бывшего генерала, бывшего человеческого существа, над двумя ларьками с минеральной водой, к реке и к морю. Там она ничего не найдет — в той стороне за падалью рыщут акулы. Мистер Тенч пошел через площадь.

Он сказал «Buenos días»[2] человеку с винтовкой, который сидел у стены в маленьком клочке тени. Но здесь не Англия: человек ничего не ответил, только неприязненно посмотрел на мистера Тенча, будто он никогда не имел дела с этим иностранцем, будто не мистеру Тенчу он обязан своими двумя передними золотыми зубами. Обливаясь по́том, мистер Тенч побрел дальше мимо здания казначейства, которое было когда-то церковью, к набережной. На полпути он вдруг

[1] Джон Драйден (1631 — 1700) — английский поэт, драматург, критик. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] Добрый день *(исп.)*.

ГРЭМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.)

Английский писатель. Автор романов «Брайтонский леденец» («Brighton Rock», 1938), «Путешествие с тетушкой» («Travels with My Aunt», 1969), «С поправкой на человека» («The Human Factor», 1982), «Монсеньор Кихот» («Monsignor Quixote», 1983) и др. «Иностранная литература» познакомила читателей с романами Г. Грина «Тихий американец» (1956, № 6, 7), «Наш человек в Гаване» (1959, № 3, 4), «Ценой потери» (1964, № 9, 10), «Комедианты» (1966, № 9, 10), повестями «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» (1982, № 6), «Десятый» (1986, № 12); в «ИЛ» напечатаны также очерк «J'Accuse. Теневая сторона Ниццы» (1983, № 7), фрагменты книги «Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным» (1986, № 4—5), набросок киносценария «Никто не виноват» (1986, № 1), рассказы. В русском переводе в разные годы выходили романы «Суть дела», «Ведомство страха», «Меня создала Англия», «Почетный консул» и др. произведения.

Роман Г. Грина «Сила и слава» впервые был опубликован в Англии в 1940 г. («The Power and the Glory». London, William Heinemann Ltd).

Редакция выражает благодарность всем, оказавшим помощь при подготовке настоящей публикации.

забыл, зачем вышел из дому — за стаканом минеральной воды? Ничего другого в этом штате с сухим законом не достанешь, разве только пива, но на пиво монополия, оно дорого, пьешь его только по особым случаям. Мучительная тошнота сдавила желудок мистеру Тенчу — нет, не минеральная вода ему нужна. А, конечно! Баллон эфира... да, пароход пришел. Он слышал его ликующие свистки, лежа на кровати после обеда. Он прошел мимо парикмахерской, мимо двух зубоврачебных кабинетов и между складом и таможней вышел к реке.

Река тяжело текла к морю среди банановых плантаций, «Генерал Обрегон» [1] был пришвартован к берегу и с него сгружали пиво — на набережной уже стояли штабелями сотни ящиков. Мистер Тенч остановился в тени у таможни и подумал: зачем я сюда пришел? Жара иссушила его память. Он харкнул, откашливая мокроту, и апатично сплюнул ее на солнце. Потом сел на ящик и стал ждать. Делать сейчас нечего. До пяти никто к нему не придет.

«Генерал Обрегон» был длиной ярдов в тридцать. Несколько футов погнутых поручней, одна спасательная лодка, колокол на гнилой веревке, керосиновый фонарь на носу — пароход, пожалуй, отслужит еще два-три года в Атлантике, если не налетит на норд в Мексиканском заливе. Тогда ему, ясно, конец. Впрочем, это не так уж важно — каждый, кто покупает билет, страхуется автоматически. Несколько пассажиров, опершись о поручни, стояли среди спутанных по ногам индюшек и глазели на порт — на склад, на пустую, спаленную зноем улицу с зубоврачебными кабинетами и парикмахерской. Мистер Тенч услышал скрип кобуры у себя за спиной и оглянулся. На него злобно смотрел таможенник. Он проговорил что-то, но мистер Тенч не разобрал слов.

— Простите? —сказал мистер Тенч.

— Мои зубы,— пробормотал таможенник.

— А-а,— сказал мистер Тенч.— Ваши зубы.— Таможенник был совсем без зубов и поэтому не мог говорить внятно — мистер Тенч удалил их все. Мистера Тенча мучила тошнота; что-то с ним неладно — глисты, дизентерия... Он сказал: — Протез почти готов,— и пообещал наобум: — Сегодня вечером.— Выполнить это было, конечно, немыслимо, но вот так и живешь, откладывая все в долгий ящик. Таможенника его ответ удовлетворил. Глядишь, он и забудет, да и что ему еще делать? Деньги уже уплачены Так шла жизнь мистера Тенча — жара, забывчивость, откладывание дел на завтра; если удастся, деньги на бочку — за что? Он посмотрел на медленно текущую реку; в устье, как перископ, двигался плавник акулы. За долгие годы здесь сели на мель несколько пароходов, и теперь они служили креплением речному берегу, а их трубы косо торчали над береговым обрывом, точно пушки, нацеленные куда-то далеко за банановые деревья и болото.

Мистер Тенч думал: баллон эфира, ведь чуть не забыл. Нижняя челюсть у него отвисла, и он стал хмуро считать бутылки «Cerveza Moctezuma» [2]. Сто сорок ящиков. Двенадцать на сто сорок. Во рту у мистера Тенча скопилась густая мокрота. Двенадцать на четыре — сорок восемь. Он сказал вслух по-английски:

— Ишь ты, недурненькая! — Тысяча двести, тысяча шестьсот восемьдесят. Он сплюнул, с вялым любопытством разглядывая девушку, которая стояла на носу «Генерала Обрегона» — стройная, тоненькая фигурка, обычно они такие толстухи, глаза, конечно, карие, а во рту уж обязательно поблескивает золотой зуб но свеженькая, молодая... Тысяча шестьсот восемьдесят бутылок по одному песо бутылка.

---

[1] Альваро Обрегон (1880 — 1928) — мексиканский государственный и военный деятель, участник Мексиканской революции 1910 — 1917 гг. В 1920 — 1924 гг.— президент Мексики. В 1928 г. вновь избран президентом. Убит агентом клерикалов до вступления в должность.

[2] Марка пива.

Кто-то спросил его по-английски:

— Что вы сказали?

Мистер Тенч всем корпусом повернулся на голос.

— Вы англичанин? — удивленно проговорил он, но при виде широкоскулого, исхудалого лица, как бы обуглившегося от трехдневной бороды, изменил форму вопроса: — Вы говорите по-английски?

Да, ответил человек, он говорит по-английски. Весь сжавшись, он стоял в тени — маленький, в темном, поношенном городском костюме, с небольшим портфелем в руке. Под мышкой у него торчал какой-то роман; на обложке виднелись детали грубо намалеванной любовной сцены. Он сказал:

— Простите. Мне показалось, вы заговорили со мной.— Глаза у этого человека были немного навыкате, и в нем чувствовалась какая-то неуверенная приподнятость, будто он только что отпраздновал свой день рождения... в одиночестве.

Мистер Тенч отхаркнул мокроту.

— А что я говорил? — Он решительно ничего не помнил.

— Вы сказали: «Ишь ты, недурненькая».

— Разве? К чему это я? — Он уставился в безжалостное небо. Стервятник висел там, точно наблюдатель.— К чему? А, наверно, вон про ту девицу. Здесь хорошеньких не часто увидишь. На которую стоит посмотреть — одна-две за год.

— Она еще совсем юная.

— Да я без всяких намерений,— устало проговорил мистер Тенч. — За смотр денег не платят. Я уже пятнадцать лет живу один.

— Здесь?

— В здешних местах.

Они замолчали. Время шло, тень от таможни протянулась на несколько дюймов ближе к реке; стервятник чуть передвинулся в небе, точно черная часовая стрелка.

— Вы на нем приехали? — спросил мистер Тенч.

— Нет.

— Уезжаете на нем?

Маленькому человеку, видимо, хотелось уклониться от разговора на эту тему, но потом, точно объяснение все-таки было необходимо, сказал:

— Просто так, смотрю. Наверно, скоро отойдет?

— В Веракрус [1],— сказал мистер Тенч.— Через несколько часов.

— Прямым курсом, без захода?

— Куда ему заходить? — Мистер Тенч спросил: — Как вы сюда попали?

Незнакомец ответил неопределенно:

— На лодке.

— У вас здесь плантация?

— Нет.

— Приятно послушать английскую речь,— сказал мистер Тенч.— Вы где научились, в Америке?

Незнакомец подтвердил это. Он был не очень словоохотлив.

— Эх, я бы все отдал,— сказал мистер Тенч,— чтобы очутиться сейчас там.— И проговорил тихо, опасливо: — У вас случайно не найдется в вашем портфельчике чего-нибудь выпить? Те, что приезжают оттуда... я знал двоих-троих... Немножко, в лечебных целях.

— У меня только лекарства,— сказал незнакомец.

— Вы врач?

Воспаленные глаза искоса, с хитрецой посмотрели на мистера Тенча.

— С вашей точки зрения, пожалуй... самозваный.

— Патентованные средства? Что ж! Сам живи и другим не мешай,— сказал мистер Тенч.

---

[1] Порт в одноименном мексиканском штате.

— А вы уезжаете?

— Нет, я пришел сюда за... за... да неважно за чем.— Он приложил руку к животу и сказал: — У вас ничего нет от... а, дьявол! Сам не знаю от чего. Все эта проклятая страна. От нее вы меня не вылечите. Никто не вылечит.

— Вам хочется домой?

— Домой? — сказал мистер Тенч.— Мой дом здесь. Знаете, как котируется песо в Мехико? Четыре на доллар. Четыре. О господи! Ora pro nobis [1].

— Вы католик?

— Нет, нет. Просто к слову пришлось. Я ни во что такое не верю.— И добавил ни с того ни с сего: — И вообще слишком жарко.

— Пойду поищу, где можно посидеть.

— Пойдемте ко мне,— сказал мистер Тенч.— У меня есть запасной гамак. Пароход долго здесь простоит — если вам хочется посмотреть, как он отходит.

Незнакомец сказал:

— Я должен был встретиться здесь с одним человеком. Его зовут Лопес.

— Э-э... Лопеса расстреляли несколько недель назад,— сказал мистер Тенч.

— Расстреляли?

— Знаете, как это здесь делается. Ваш приятель?

— Нет, нет,— поспешил сказать незнакомец.— Просто приятель одного приятеля.

— Вот так-то,— сказал мистер Тенч. Он снова прокашлялся и отхаркнул мокроту на палящее солнце.— Говорят, он помогал этим... гм... нежелательным элементам... ну... выбраться отсюда. Его девчонка живет теперь с начальником полиции.

— Его девчонка? То есть его дочь?

— Он был неженатый. Девчонка, с которой он жил.— Мистера Тенча удивило странное выражение лица незнакомца. Он снова сказал: — Знаете, как это здесь делается.— Потом посмотрел на «Генерала Обрегона».— Ничего, недурненькая. Года через два будет, конечно, как все остальные. Толстая и глупая. О господи! До чего хочется выпить! Ora pro nobis.

— У меня есть немножко бренди,— сказал незнакомец.

Мистер Тенч бросил на него быстрый взгляд:

— Где?

Тощий незнакомец коснулся рукой бедра — возможно раскрывая источник своей странной приподнятости. Мистер Тенч схватил его за кисть.

— Осторожно,— сказал он.— Не здесь.— Потом метнул взгляд к коврику тени — на пустом ящике, прислонив к нему винтовку, спал часовой.— Пойдемте ко мне,— сказал мистер Тенч.

— Я же хотел посмотреть,— неохотно проговорил маленький незнакомец,— как он отчалит.

— Да это не скоро, еще несколько часов ждать,— снова заверил его мистер Тенч.

— Несколько часов? Вы в этом уверены? На солнце очень жарко.

— Вот и пойдемте ко мне домой.

Дом — этим словом обозначаешь просто четыре стены, за которыми спишь. Никогда у него не было настоящего дома. Они пошли через маленькую, спаленную солнцем площадь, где зеленел от сырости покойный генерал, а под пальмами стояли ларьки с минеральной водой. Дом лежал точно открытка в пачке других открыток. Стасуйте их — и наверху ляжет либо Ноттингем, либо лондонский район, где он родился, либо эпизод в Саутенде. Отец мистера Тенча тоже работал

---

[1] Молись о нас *(лат.)*.

зубным врачом. Первое воспоминание сына было связано с негодным слепком для зубного протеза, который он нашел в корзине для бумаг: грубая, ощеренная беззубая пасть из белого гипса — не то неандертальца, не то питекантропа, будто ее раскопали в Дорсете. Эта штука стала его любимой игрушкой; его пытались отвлечь «конструктором», но судьба сказала свое слово. В детстве всегда бывает минута, когда дверь распахивается настежь и впускает будущее. Зной и сырость речного порта и стервятники лежали в корзине для бумаг, оттуда он их и вынул. Мы должны быть благодарны, что нам не дано видеть ужасы и падения, которые приберегает наше детство в шкафах, на книжных полках — повсюду.

Площадь была немощеная; во время дождей городишко (другого названия он не заслуживал) тонул в грязи. Теперь земля под ногами была твердая, как камень. Они молча прошли мимо парикмахерской и зубоврачебных кабинетов; стервятники сидели на крыше сытые, точно домашняя птица; они искали насекомых под широким размахом пыльных крыльев. Мистер Тенч сказал:

— Прошу меня извинить,— и остановился около маленького деревянного домика в один этаж с верандой, на которой покачивался гамак. Домик был чуть побольше соседних на узкой улочке, которая ярдов через двести утыкалась в болото. Мистер Тенч сказал, волнуясь:— Может, посмотрите мое жилье? Не хочу хвастаться, но я лучший дантист здесь. Дом у меня неплохой. По здешним местам.— Гордость дрожала у него в голосе, точно неглубоко укоренившееся растеньице.

Он повел гостя за собой, заперев на ключ наружную дверь, вошел в столовую, где по обеим сторонам пустого стола стояли две качалки; керосиновая лампа, несколько номеров старых американских журналов, буфет. Он сказал:

— Сейчас дам стаканы, но прежде всего мне бы хотелось показать вам... вы же образованный человек...— Кабинет выходил окном во двор, где с жалкой, суетливой важностью расхаживало несколько индюшек. Бормашина, работающая от педали, зубоврачебное кресло, обитое кричащим ярко-красным плюшем, стеклянный шкафчик, где в беспорядке лежали пыльные инструменты. В кружке торчала козья ножка, испорченная спиртовка была задвинута в угол, и на всех полках валялись ватные тампоны.

— У вас хорошо,— сказал незнакомец.

— Правда, неплохо,— сказал мистер Тенч,— для такого городишка? Вы не можете себе представить, как здесь все трудно. Вот эта бормашина,— с горечью сказал он,— японского производства. Я пользуюсь ею всего месяц, а она уже срабатывается. Но американские мне не по средствам.

— Окно,— сказал незнакомец,— очень красивое.

В раму был вставлен кусок витража: сквозь москитную сетку на двор с индюшками смотрела мадонна.

— Я достал его,— сказал мистер Тенч,— когда разоряли церковь. Как-то нехорошо — кабинет зубного врача без витража. Некультурно. Дома — то есть в Англии — обычно вставляли «Смеющегося кавалера», не знаю почему, или тюдоровскую розу. Но тут не до выбора.— Он отворил другую дверь и сказал: — Моя рабочая комната.— Первое, что здесь бросалось в глаза, была кровать под москитной сеткой. Мистер Тенч сказал: — Видите, у меня тесновато.— На одном конце верстака стоял кувшин с тазом, рядом мыльница; на другом — паяльная трубка, лоток с песком, щипцы, маленький тигель.— Слепки я делаю из песка,— сказал мистер Тенч.— Что еще здесь достанешь? — Он взял с верстака протез нижней челюсти.— Не всегда получается впору. И конечно, пациенты жалуются.— Потом положил протез на место и кивком головы показал на другой предмет, лежавший на верстаке,— нечто волокнистое и похожее на кишку с двумя маленькими

штырями.— Незаращение нёба,— сказал он.— Это моя первая попытка. Болезнь Кингсли. Не знаю, справлюсь ли. Но пробовать надо, не то отстанешь.— Рот у него приоткрылся, взгляд снова стал блуждающим; жара в комнатушке была невыносимой. Он будто заблудился в пещере среди окаменелостей и орудий далеких веков, о которых ему мало что было известно.

— Может, сядем?..— сказал незнакомец.

Мистер Тенч тупо уставился на него.

— Откупорим бренди.

— А, да! Бренди.

Он достал из шкафчика под верстаком два стакана и протер их от песка. Потом они вернулись в столовую и сели в качалки. Мистер Тенч разлил бренди.

— А воды? — спросил незнакомец.

— Вода здесь ненадежная,— сказал мистер Тенч.— Маюсь ужасно.— Он положил руку на живот и сделал большой глоток из стакана.— Вы тоже выглядите неважно,— сказал он. Пригляделся повнимательнее. — Зубы у вас...— Одного клыка не хватало, а передние были темные от винного камня и кариозные. Он сказал: — Вам надо ими заняться.

— Зачем? — сказал незнакомец. Он держал стакан осторожно, точно бренди было зверьком, который пригрелся возле него, но не внушал ему доверия. Худой, хилый, он казался человеком ничтожным, к тому же умученным болезнями и беспокойным характером. Он сидел на самом краешке качалки, придерживая на коленях свой портфель, и виновато, с нежностью поглядывал на бренди, не поднося стакана к губам.

— Пейте,— подбодрил незнакомца мистер Тенч (бренди-то было не его). — Это вас подкрепит.— Темный костюм и сутулая спина этого человека неприятно напомнили ему гроб с покойником. Да смерть уже была у него во рту, полном гнилых зубов. Мистер Тенч налил себе второй стакан. Он сказал: — Одиноко мне здесь. Приятно поговорить по-английски хотя бы с иностранцем. Не хотите ли посмотреть фотографию моих ребятишек? — Он вынул из бумажника пожелтевший снимок и протянул его незнакомцу. Два маленьких мальчика в саду. С трудом тащат лейку.— Правда,— сказал он,— это было шестнадцать лет назад.

— Теперь сни молодые люди.

— Один умер.

— Ну что ж,— мягко проговорил незнакомец,— по крайней мере в христианской стране.— Он отпил из стакана и улыбнулся мистеру Тенчу глуповатой улыбкой.

— Да, правда,— недоумевающе сказал мистер Тенч. Он сплюнул мокроту и сказал: — Хотя для меня это не имеет особого значения.— И замолчал, уйдя мыслями куда-то в сторону; нижняя челюсть у него отвисла — он сидел серый, отсутствующий, но боль в желудке наконец напомнила ему, что надо подлить себе бренди.— Так... О чем мы говорили? Дети... а, да, дети. Странно, что остается у человека в памяти. Знаете, я эту лейку помню лучше, чем своих детей. Она стоила три шиллинга одиннадцать пенсов три фартинга. Зеленая. Мог бы показать вам ту лавку, где я ее купил. А дети...— Он уставился в стакан, разглядывая там свое прошлое.— Только и помню, как они плакали.

— Вы переписываетесь с ними?

— Нет, я прекратил переписку еще до приезда сюда. Какой смысл? Посылать им деньги я не мог. Не удивлюсь, если жена снова вышла замуж. Ее мать, наверно, обрадовалась бы, старая ведьма. Она меня никогда не любила.

Незнакомец тихо проговорил:

— Как это ужасно.

Мистер Тенч снова удивленно взглянул на своего собеседника. Тот сидел на краешке качалки, точно черный вопросительный знак, прикажут — уйдет, прикажут — останется. Трехдневная с проседью щетина придавала ему вид человека опустившегося, слабовольного. Из такого веревки можно вить. Он сказал:

— Я о жизни вообще. Что она делает с людьми!

— Допивайте свое бренди.

Незнакомец потянул из стакана. Будто балуя себя глоточком. Он сказал:

— Вы помните, как здесь было раньше — до «красных рубашек»? [1]

— Конечно, помню.

— Как тогда было хорошо.

— Разве? Что-то я этого не замечал.

— Тогда у людей был по крайней мере... бог.

— В зубоврачебном деле это значения не имеет,— сказал мистер Тенч. Он подлил себе бренди из бутылки незнакомца.— Здесь всегда было плохо. Одиноко. О господи! В Англии сказали бы — романтика. Я думал: поживу здесь пять лет и уеду. Работы было много. Золотые зубы. А потом стоимость песо упала. И теперь мне уж не выбраться отсюда. Но когда-нибудь все-таки выберусь.— Он сказал:— Брошу работу. Уеду домой. Буду жить как подобает джентльмену. Это...— Он обвел рукой голую, убогую комнату.— Это все вон из памяти. Теперь уж недолго ждать. Я оптимист,— сказал мистер Тенч.

Незнакомец вдруг спросил:

— Сколько ему до Веракруса?

— Кому — ему?

— Пароходу.

Мистер Тенч хмуро проговорил:

— Сорок часов — и мы были бы там. «Дилигенция». Хорошая гостиница. И танцевальные залы есть. Веселый город.

— Действительно, как будто близко,— сказал незнакомец.— А билет? Сколько стоит билет?

— Это спросите Лопеса,— сказал мистер Тенч.— Он контрагент.

— Но Лопес...

— А, да, я забыл. Его расстреляли.

В дверь кто-то постучал. Незнакомец сунул свой портфель под качалку, а мистер Тенч опасливо подошел к окну.

— Осторожность никогда не мешает,— сказал он.— У хороших дантистов есть враги.

Слабый голосок взмолился:

— Я друг,— и мистер Тенч отворил дверь. Солнце мгновенно ворвалось в комнату белокипенной полосой.

На пороге стоял мальчик; ему нужен был доктор. На голове у него сидела широкополая шляпа, глаза были карие, взгляд — бессмысленный. За ним фыркали и били копытами по горячей, утрамбованной земле два мула. Мистер Тенч сказал, что он не доктор, а зубной врач. Оглянувшись, он увидел, что незнакомец совсем утонул в качалке и взгляд у него такой, точно он молится, просит о милосердии. Мальчик сказал, что больна его мать, что в городе есть новый доктор, а у старого лихорадка и он с места не сдвинется.

Что-то шевельнулось в мозгу мистера Тенча. Он сказал, будто делая открытие:

— Да ведь вы же врач?

— Нет, нет. Мне надо поспеть на пароход.

---

[1] Военизированные отряды, созданные в начале 1930-х годов Томасом Гарридо Каннабалем, губернатором штата Табаско, где происходит действие романа. В 1936 г. после расстрела краснорубашечниками студенческой демонстрации Гарридо Каннабаль был выслан из страны федеральным правительством, а отряды «красных рубашек» распущены.

— А вы разве не говорили, что...

— Я передумал.

— Но пароход еще долго простоит,— сказал мистер Тенч.— Они никогда не ходят по расписанию.— И спросил мальчика, далеко ли ехать. Мальчик ответил, что шесть лиг.

— Слишком далеко,— сказал мистер Тенч.— Уходи. Кого-нибудь еще найдешь.— И обратился к незнакомцу: — Как быстро слухи расходятся. Теперь про вас, наверно, все в городе знают.

— Я ничем не смогу помочь,— взволнованно проговорил незнакомец. Он смиренно ждал, что мистер Тенч подтвердит это.

— Уходи,— сказал мистер Тенч. Мальчик не шевельнулся. Он с бесконечным терпением стоял на палящем солнце, заглядывая в комнату. Он сказал, что его мать умирает. Карие глаза ничего не выражали. Такова жизнь. Ты рождаешься, твои родители умирают, ты стареешь, ты умираешь сам.

— Если она при смерти,— сказал мистер Тенч,— тогда доктор ей ни к чему.

Но незнакомец неохотно поднялся, словно прозвучал приказ, которого он не мог ослушаться. Он грустно сказал:

— Всегда так случается. Вот как сейчас.

— Вам же надо успеть на пароход.

— Не успею,— сказал он.— Так решено, чтобы я не успел.— В нем кипела немощная ярость.— Дайте мне мою бутылку.— Он надолго припал к ней, не сводя глаз с равнодушного мальчика, со спаленной солнцем улицы, со стервятников, круживших в небе, как черные мухи в глазах.

— Но если она умирает...— сказал мистер Тенч.

— Знаю я этот народ. Она умирает так же, как я.

— Вы же ей ничем не поможете.

Мальчик смотрел на них, будто его это не касалось. Спор на иностранном языке был для него явлением отвлеченным — он тут ни при чем. Он будет ждать до тех пор, пока доктор не выйдет.

— Ничего вы не знаете,— яростно сказал незнакомец.— Так все говорят, всегда так говорят: вы ничем не поможете.— Выпитое бренди оказывало свое действие. Он проговорил с глубочайшей горечью:— Я слышу, как это твердят во всем мире.

— Ну что ж,— сказал мистер Тенч.— Будет другой пароход. Через две недели. Или через три. Вам-то хорошо. Вы можете выбраться отсюда. У вас здесь не вложено капитала.— Он подумал о своих капиталовложениях: японская бормашина, зубоврачебное кресло, спиртовка, и щипцы, и маленький тигель, где плавят золото для зубов. Все вложено в эту страну.

— Vamos [1],— сказал незнакомец мальчику. Потом повернулся и поблагодарил мистера Тенча за то, что мистер Тенч дал ему возможность отдохнуть от жары. Он говорил с вымученным достоинством, привычным мистеру Тенчу,— с достоинством человека, который боится ожидаемой боли, но мужественно опускается в зубоврачебное кресло. Может, ему неприятна поездка верхом на муле? Незнакомец сказал со старомодной учтивостью: — Я буду молиться за вас.

— Рад был гостю,— сказал мистер Генч. Незнакомец сел в седло, и мальчик первым медленно двинулся вперед под ярким солнцем, к болоту, в глубь страны. Незнакомец оттуда и вышел утром посмотреть на «Генерала Обрегона». Теперь он возвращался обратно. Выпитое бренди заставляло его чуть сильнее покачиваться в седле... А вот и конец улицы, и он виднеется маленький, унылый, понурый.

Приятно было поговорить с новым человеком, думал мистер Тенч, возвращаясь в дом и запирая за собой дверь (это никогда не мешает). Одиночество встретило его там, пустота. Но и то и другое было

---

[1] Пойдем *(исп.)*.

знакомо ему, как отражение собственного лица в зеркале. Он сел в качалку и стал покачиваться взад и вперед, поднимая еле ощутимый ветерок в застоявшемся воздухе. К лужице бренди, пролитого на пол незнакомцем, узкой колонной двигались через всю комнату муравьи; они покружили по ней, потом в таком же строгом порядке двинулись к противоположной стене и исчезли. На реке «Генерал Обрегон» дал два свистка, почему — неизвестно.

Незнакомец забыл в комнате свою книгу. Она валялась под качалкой. На обложке женщина в старомодном платье, склонив колени на ковре, с рыданием обнимала мужские начищенные коричневые ботинки с узкими носками. Он — с маленькими нафабренными усиками — презрительно взирал на нее сверху вниз. Книжка называлась «La Eterna Mártir» [1]. Спустя несколько минут мистер Тенч поднял ее, открыл — и удивился. То, что там было напечатано, как будто не имело никакого отношения к обложке: текст латинский. Мистер Тенч задумался, потом захлопнул книгу и отнес ее в свою рабочую комнату. Жечь не стоит, но для верности лучше спрятать — кто ее знает, о чем она. Он сунул книгу в маленький тигель для плавки золота и вдруг, открыв рот, замер у верстака: он вспомнил, зачем ходил в порт — ведь «Генерал Обрегон» должен был доставить ему баллон эфира. С реки снова донесся свисток, и мистер Тенч с непокрытой головой выбежал на солнцепек. Он сказал незнакомцу, что пароход простоит до утра, но разве на этот народ можно положиться, вдруг они решат соблюсти расписание. Так оно и было. Когда он выбежал на набережную между складом и таможней, «Генерал Обрегон» шел уже футах в десяти от берега, двигаясь по ленивой реке к морю. Мистер Тенч крикнул что было силы. Бесполезно. Баллона с эфиром на набережной нигде не было. Он крикнул еще раз и на этом оставил свои попытки. В конце концов, разве это важно: в его безысходности еще одно небольшое огорчение ничего не меняет.

«Генерала Обрегона» начал обвевать легкий ветерок; банановые плантации по обоим берегам, несколько радиоантенн на мысу, порт скользили назад. Если оглянуться, и не скажешь, был ли этот порт когда-нибудь или нет. Впереди открылась широкая Атлантика; серые цилиндрические валы поднимали нос парохода, и спутанные по ногам индюшки топтались на палубе. В тесной рубке стоял капитан с зубочисткой, воткнутой в волосы. Земля медленно, равномерно закатывалась назад, и темнота наступила сразу, усыпав небо низкими блестящими звездами. На носу зажгли керосиновый фонарь, и девушка, которую углядел с берега мистер Тенч, тихо запела грустную, сентиментальную и спокойную песню о розе, окрашенной кровью возлюбленного. Беспредельная свобода и воздушный простор стояли над заливом, низкая береговая линия тропиков покоилась глубоко во тьме, точно мумия в гробнице. Я счастлива, твердила девушка, не вдумываясь, почему она счастлива.

Далеко от берега, в темноте, не спеша шли мулы. Действие бренди теряло свою силу, и незнакомец уносил с собой в болотистые края, которые станут совсем непроходимыми в сезон дождей, звук сирены «Генерала Обрегона», означавший, что пароход отошел по расписанию, а он остался здесь, брошенный. Против его воли в нем копошилась ненависть к мальчику, ехавшему впереди, и к больной женщине — он недостоин своей миссии. Запах сырости поднимался со всех сторон; казалось, эту часть света так и не высушило пламя, когда земля, кружась, устремилась в пространство; ей достались только туманы и облака этих страшных просторов. Он стал молиться, подпрыгивая в седле в такт неровной, скользящей по грязи поступи мула и повторяя все еще заплетающимся языком:

— Пусть меня скорее поймают... Пусть меня поймают.— Он пытался бежать, но он раб своего народа, подобно вождю какого-нибудь

[1] «Вечная мученица» *(исп.)*.

племени в Западной Африке, который не смеет даже лечь и отдохнуть из страха, что перестанет дуть попутный ветер.

Глава 2

СТОЛИЦА

Отряд полиции возвращался в казармы. Полицейские шли вразброд, кое-как держа винтовки; там, где полагалось быть пуговицам, у них висели обрывки ниток; у одного обмотка спустилась на щиколотку. Все малорослые, с темными, загадочными индейскими глазами. Маленькая площадь на холме освещалась электрическими лампочками, соединенными по три на провисающих проводах. Казначейство, президентский дворец, зубоврачебный кабинет, тюрьма — приземистое, белое, с колоннами здание, насчитывающее три сотни лет, а дальше — крутая улица вниз и задняя стена разрушенной церкви. Куда ни пойти, обязательно придешь к океану или к реке. Розовые фасады зданий классической архитектуры облупились, под штукатуркой проступала глина, и глина медленно осыпалась на глинистую почву. По кругу площади двигалось обычное вечернее шествие: женщины в одном направлении, мужчины — в другом. Молодые люди в красных рубашках шумливо толкались у ларьков, торгующих минеральной водой.

Лейтенант шагал впереди полицейских с гримасой такого злобного отвращения, будто его насильно приковали к ним; шрам на подбородке, возможно, свидетельствовал о давнем побеге. Краги на нем были начищены, кобура — тоже; пуговицы все на месте. На его худом, как у танцовщика, лице торчал тонкий, с горбинкой нос. Аккуратность облика выдавала в нем неуемное стремление как-то выделиться в этом захудалом городке. С реки на площадь тянуло кислятиной, и стервятники устроились к ночи на крышах под кровом своих грубых черных крыльев. Время от времени маленькая мерзкая головка показывалась из-под крыла, заглядывала вниз, когтистая лапа поджималась поудобнее. Ровно в девять тридцать все лампы на площади погасли.

Часовой неуклюже взял на караул, и отряд промаршировал в казармы; не дожидаясь команды, полицейские вешали винтовки у офицерского помещения, опрометью кидались во двор к своим гамакам или в уборную. Некоторые сбрасывали с ног башмаки и укладывались спать. Штукатурка осыпалась с глинобитных стен; поколения полицейских оставили на побелке свои письмена. Несколько человек, крестьян, сидели на скамье, зажав руки между колен, и ждали. На них никто не обращал внимания. В уборной двое полицейских затеяли драку.

— Где хефе? — спросил лейтенант. Этого никто не знал; наверно, играет на бильярде где-нибудь в городе. В раздражении, но не теряя своей подтянутости, лейтенант сел за стол начальника; позади на стене были нарисованы карандашом два сердца одно в другом.— Ну? — сказал он.— Чего вы ждете? Введите арестованных.— Они входили один за другим и кланялись, держа шляпы в руках.

— Такой-то. Буянил в пьяном виде.
— Штраф пять песо.
— Но у меня нет денег, ваше превосходительство.
— Тогда пусть вымоет уборную и камеры.
— Такой-то. Испортил избирательный плакат.
— Штраф пять песо.
— Такой-то. Обнаружена медалька под рубашкой.
— Штраф пять песо.

Разбор дел подходил к концу: ничего серьезного не было. В открытую дверь, кружась, влетали москиты.

Лейтенант услышал, как часовой во дворе взял на караул: значит, идет начальник полиции. Начальник быстро вошел в комнату — коренастый, толстощекий, в белом фланелевом костюме и широкополой шляпе, с патронташем и большим пистолетом, похлопывающим его по боку. Он прижимал платок ко рту; вид у него был удрученный.

— Опять зубы разболелись,— сказал он.— Ой, зубы.

— Происшествий нет,— презрительно доложил лейтенант.

— Губернатор опять меня сегодня разнес,— пожаловался начальник.

— Спиртное?

— Нет, священник.

— Последнего расстреляли несколько недель назад.

— Он говорит, не последнего.

— Хуже всего то,— сказал лейтенант,— что у нас нет фотографий.— Он скользнул взглядом по стене к снимку Джеймса Калвера, разыскиваемого Соединенными Штатами по обвинению в ограблении банка и убийстве. Топорное, асимметричное лицо, снятое анфас и в профиль; словесный портрет разослан во все полицейские участки Центральной Америки. Низкий лоб и взгляд фанатика, устремленный в одну точку. Лейтенант с огорчением посмотрел на него: маловероятно, чтобы этот человек пробрался на юг страны; его поймают в каком-нибудь пограничном притоне — в Хуаресе, Пьедрас-Неграсе или в Ногалесе.

— Он говорит, что фотография есть,— жалобно сказал начальник.— Ой, зубы, зубы! — Он хотел достать что-то из заднего кармана, но его рука наткнулась на кобуру. Лейтенант нетерпеливо постукивал по полу начищенным башмаком.— Вот,— сказал начальник. За столом сидело большое общество: девочки в белых кисейных платьях; женщины с растрепанными прическами и мучительно напряженными лицами. У них из-за спины смущенно и озабоченно выглядывали несколько мужчин. Все лица пестрели мелкими точками: это была газетная вырезка — снимок участниц первого причастия, сделанный много лет назад. Среди женщин сидел довольно молодой человек в воротничке католического священника. В теплой и душной атмосфере всеобщего уважения его, видимо, угощали чем-нибудь вкусным, специально припасенным для этого случая. Он восседал там, гладкий, глаза навыкате, и отпускал невинные шуточки.— Снимок давний.

— Все они на одно лицо,— сказал лейтенант. Фотография была нечеткая, грязно отпечатанная, но все же на этом листке проступали тщательно выбритые, тщательно припудренные щеки священника, слишком пухлые для его возраста. Слишком рано пришли к нему блага жизни — уважение окружающих, верный заработок. Штампы религиозных поучений на языке, шутка, помогающая общению, готовность к приятию почитания... Счастливый человек. Ненависть — врожденная, как у собаки к собаке,— пронзила нутро лейтенанта.— Мы его раз пять расстреливали,— сказал он.

— Губернатор получил донесение... На прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус.

— Где же были «красные рубашки», если он смог пробраться сюда?

— Прозевали, конечно. Нам просто повезло, что он не попал на пароход.

— А куда он дальше девался?

— Нашли его мула. Губернатор требует: поймать этого священника не позже чем через месяц. До того, как пойдут дожди.

— Где у него был приход?

— В Консепсьоне и в окрестных деревнях. Но он уже несколько лет как ушел оттуда.

— Известно что-нибудь о нем?

— Может сойти за гринго. Шесть лет учился в какой-то американской семинарии. Больше, кажется, ничего. Родом он из Кармен. Сын лавочника. Да это мало что дает.

— На мой взгляд, они все на одно лицо,— сказал лейтенант. Что-то сродни ужасу охватило его, когда он посмотрел на белые кисейные платья,— вспомнилось детство, запах ладана в церквах, свечи, кружева, самодовольство священников и те непомерные требования, которые предъявляли со ступеней алтаря они, люди, не ведающие, что такое жертва. Старые крестьяне стояли на коленях перед статуями святых, раскинув руки, как на распятии. Измученные за долгий день работы на плантациях, они принуждали себя к новому унижению. Священник же обходил молящихся с тарелкой для пожертвований, брал с них по сентаво и корил за пустячные грехи, приносящие им маленькие радости, сам же ничем не жертвовал, кроме разве плотских утех. Но это легче всего, подумал лейтенант. Ему самому женщины были не нужны. Он сказал: — Мы поймаем его. Дайте только время.

— Ой, зуб! — снова простонал начальник.— Всю жизнь мне отравляет. Сегодня я только двадцать пять выиграл.

— Пойдите к другому врачу.

— Все они одинаковые.

Лейтенант взял фотографию и приколол ее на стену. Четкий профиль Джеймса Калвера — грабителя и убийцы — уставился на праздник по поводу первого причастия.

— Этот по крайней мере мужчина,— одобрительно проговорил лейтенант.

— Кто?

— Гринго.

Начальник сказал:

— А ты знаешь, что он натворил в Хьюстоне? Унес десять тысяч долларов. Двоих из охраны убил. Иметь дело с такими людьми... в какой-то степени почетно.— Он яростно прихлопнул москита.

— Такой человек,— сказал лейтенант,— особого вреда не принесет. Ну, убил одного-двоих. Что ж, все мы умрем. Деньги — кто-то же должен их потратить. А вот когда мы вылавливаем этих священников, то приносим пользу.— В начищенных до блеска башмаках он стоял посреди маленькой побеленной комнаты, пылая благородным негодованием и всем своим видом выражая величие идеи. В цели, поставленной им перед собой, корысти не чувствовалось. Поймать этого упитанного почетного гостя, пришедшего на праздник первого причастия, было для него делом чести.

Начальник уныло проговорил:

— Он, наверно, дьявольски хитер, который уж год скрывается.

— Это каждый может,— сказал лейтенант.— Мы не очень-то ими занимались, разве только когда они сами шли к нам в руки. Да я бы гарантировал вам, что поймаю этого человека в течение месяца, если...

— Если что?

— Если бы у меня была власть.

— Легко тебе говорить,— сказал начальник.— А как бы ты это сделал?

— Штат наш маленький. На севере — горы, на юге — море. Я бы все прочесал, как прочесывают улицу — дом за домом.

— На словах чего проще,— невнятно простонал начальник, держа платок у рта.

Лейтенант вдруг сказал:

— Вот что бы я сделал. Брал бы в каждой деревне по человеку — заложником. Если крестьяне не донесут на него, когда он придет,— заложников расстрелять и брать других.

— Много народу погибнет.

— Ну и что? — возразил лейтенант.— Зато мы раз и навсегда отделаемся от таких людей.

— А знаешь,— сказал начальник,— это не лишено резона.

Лейтенант шел домой по затемненному ставнями городу. Вся его жизнь прожита здесь. В помещении Синдиката рабочих и крестьян была когда-то школа. Он помог стереть печальную память о ней. Весь город теперь изменился: рядом с кладбищем на холме цементная спортивная площадка, где, как виселицы, в лунной темноте стоят железные качели; раньше там был собор. У новых детей будут новые воспоминания: прежнего ничего не останется. Когда он шел, весь погруженный в свои мысли, он чем-то напоминал богослова, зорко примечающего ошибки прошлого, чтобы искоренить их навсегда.

Он дошел до своего жилья. Дома здесь все были одноэтажные, побеленные, с внутренними двориками, колодцами и чахлыми цветами. Окна на улицу зарешеченные. В комнате у лейтенанта стоял топчан, сложенный из пустых ящиков, на нем соломенная циновка, подушка и простыня. На стене висел портрет президента, календарь, на плиточном полу стояли стол и качалка. При свечке все это выглядело неуютно — как в тюремной камере или в монастырской келье.

Лейтенант сел на топчан и стал снимать башмаки. Был час молитвы. Черные жуки, ударяясь о стены, взрывались, как хлопушки. Штук пятнадцать их ползало с поломанными крыльями по полу. Лейтенанта приводила в бешенство мысль, что остались еще в штате люди, верующие в милосердного и любящего бога. Есть мистики, которые, как утверждают, непосредственно познают господа бога. Лейтенант тоже был мистик, но он познал пустоту — он был убежден в том, что мир угасает, погружается в холод, что люди зачем-то произошли от животных, но никакого особого смысла в этом не было. Это он знал твердо.

В рубашке и в брюках лейтенант лег на топчан и задул свечу. Жара стояла в комнате как враг. Но он верил, вопреки свидетельству своих чувств, в холодную пустоту эфира. Где-то играло радио: из Мехико, а может быть, даже из Лондона или Нью-Йорка в этот безвестный, всеми заброшенный штат просачивалась музыка. Слабое место в обороне! Это его страна, и он обнес бы ее железной стеной, если бы мог, чтобы отгородиться от всего, что напоминает ему о прошлом, о том, как он смотрел тогда на все глазами жалкого мальчонки. Он бы все уничтожил и остался наедине с самим собой без всяких воспоминаний. Жизнь началась пять лет тому назад.

Лейтенант лежал на спине, глядя в темноту и слушая, как жуки стукаются о потолок. Он вспомнил священника, которого «красные рубашки» расстреляли у кладбищенской стены на холме. Такого же маленького, толстого, с глазами навыкате. Тот был монсеньор, думал, что это спасет его. В нем чувствовалось пренебрежение к низшему духовенству, и он до последней минуты толковал им о своем сане. Про молитвы он вспомнил только под самый конец. Стал на колени, и ему дали время на короткое покаяние. Лейтенант только наблюдал; непосредственно это его не касалось. Всего они расстреляли, пожалуй, человек пять; двое-трое скрылись, епископ благополучно проживает в Мехико, а один священник подчинился губернаторскому приказу, чтобы все духовные лица вступили в брак. Он жил теперь у реки со своей экономкой. Вот наилучшее решение вопроса — пусть остается живым свидетельством слабости их веры. Это разоблачает обман, которым священники прикрывались долгие годы. Потому что, если б они действительно верили в рай или в ад, им ничего бы не стоило претерпеть немного муки в обмен на такую безмерность, о которой... Лейтенант, лежавший на своем жестком ложе в горячем, влажном мраке, не питал ни малейшего сочувствия к слабости человеческой плоти.

В задней комнате Коммерческой академии женщина читала своим детям вслух. На краешке кровати сидели две маленькие девочки шести и десяти лет, а четырнадцатилетний мальчик стоял у стены с гримасой невыносимой скуки на лице.

— «Юный Хуан,— читала мать,— с раннего детства отличался смирением и благочестием. Среди других мальчиков попадались и грубые и мстительные; юный Хуан следовал заповедям господа нашего и обращал левую щеку ударившему его. Однажды его отец подумал, что Хуан солгал, и побил его. Потом он узнал, что сын говорил правду, и попросил у него прощения. Но Хуан сказал ему: «Милый отец, как Отец наш небесный властен подвергать наказанию, когда на то будет воля его...»

Мальчик нетерпеливо потерся щекой о побеленную стену, а кроткий голос продолжал монотонное чтение. Обе девочки напряженно смотрели на мать глазами-бусинками, упиваясь сладостной набожностью.

— «Не надо думать, будто юный Хуан не любил посмеяться и поиграть, как играют другие дети, хотя случалось, что, взяв священную книгу с картинками, он прятался в отцовском коровнике от веселой гурьбы своих товарищей».

Мальчик раздавил босой ногой жука и мрачно подумал, что всему приходит конец — когда-нибудь они доберутся до последней главы и юный Хуан умрет под пулями у стены, крича: «Viva el Cristo Rey!» [1] Но потом, наверно, будет другая книжка: их каждый месяц провозят контрабандой из Мехико. Если бы только таможенники знали, где смотреть!

— «Да, юный Хуан был настоящий мексиканский мальчик, хоть и более вдумчивый, чем его товарищи, зато когда затевался какой-нибудь школьный спектакль, он всегда был первым. Однажды его класс решил разыграть в присутствии епископа небольшую пьеску о гонениях на первых христиан, и никто так не радовался, как Хуан, когда ему дали роль Нерона. И сколько юмора вложил в свою игру этот ребенок, которому в недалеком будущем уготована была гибель от рук правителя куда хуже Нерона. Его школьный товарищ, ставший впоследствии отцом Мигелем Серрой, пишет: «Никто из нас, кто был на этом спектакле, не забудет того дня...»

Одна из девочек украдкой облизнула губы. Вот это жизнь!

— «Занавес поднялся. Хуан был в нарядном халате своей матери, с усами, наведенными углем, и в короне, на которую пошла жестяная банка из-под печенья. Добрый старенький епископ и тот улыбнулся, когда Хуан вышел на маленькие, силами школьников сколоченные подмостки и начал декламировать...»

Мальчик подавил зевок, уткнувшись лицом в побеленную стену. Он устало проговорил:

— Он правда святой?

— Будет святым, этот день настанет, когда того пожелает Отец наш небесный.

— Они все такие?

— Кто?

— Мученики.

— Да. Все.

— Даже падре Хосе?

— Не упоминай его имени,— сказала мать.— Как ты смеешь! Это презренный человек. Он предал господа.

— Падре Хосе говорил мне, что он мученик больше, чем все остальные.

— Сколько раз тебе было сказано — не смей говорить с ним. Сын мой, ах, сын мой...

— А тот... что приходил к нам?

---

[1] Слава Христу-Царю! *(исп.)*

— Нет, он... не совсем, не как Хуан.
— Презренный?
— Нет, нет. Не презренный.
Меньшая девочка вдруг сказала:
— От него чудно пахло.
Мать снова стала читать:
— «Предчувствовал ли тогда Хуан, что пройдет несколько лет и он станет мучеником? Этого мы не можем сказать, но отец Мигель Серра пишет, что в тот вечер Хуан дольше обычного стоял на коленях, и когда товарищи начали поддразнивать его, как это водится у мальчиков...»

Голос все звучал и звучал — кроткий, неторопливый, неизменно мягкий Девочки слушали внимательно, составляя в уме коротенькие благочестивые фразы, которыми можно будет поразить родителей, а мальчик зевал, уткнувшись в стену. Но всему приходит конец.

Вскоре мать ушла к мужу. Она сказала:
— Я так тревожусь за нашего сына.
— Почему не за девочек? Тревога ждет нас повсюду.
— Они, малышки, уже почти святые. Но мальчик — мальчик задает такие вопросы... про того пьющего падре. Зачем только он пришел к нам в дом!
— Не пришел бы, так его бы поймали, и тогда он стал бы, как ты говоришь, мучеником. О нем напишут книгу, и ты прочитаешь ее детям.
— Такой человек — и вдруг мученик? Никогда.
— Как ты там ни суди,— сказал ее муж,— а он продолжает делать свое дело. Я не очень верю тому, что пишут в этих книгах. Все мы люди.
— Знаешь, что я сегодня слышала? Одна бедная женщина понесла к нему сына — крестить. Она хотела назвать его Педро, но священник был так пьян, что будто и не расслышал ее и дал ребенку имя Бригитта. Бригитта!
— Ну что ж, это имя хорошей святой.
— Иной раз,— сказала мать,— сил с тобой никаких нет. А еще наш сын разговаривал с падре Хосе.
— Мы живем в маленьком городишке,— сказал ее муж.— Стоит ли нам обманывать себя. Нас все забыли. Жить как-то надо. Что же касается церкви, то церковь — это падре Хосе и пьющий падре. Других я не знаю. Если церковь нам не по душе, что ж, откажемся от нее.

Его взгляд, устремленный на жену, исполнился бесконечным терпением. Он был образованнее ее, печатал на машинке и знал азы бухгалтерии, когда-то ездил в Мехико, умел читать карту. Он понимал всю степень их заброшенности: десять часов вниз по реке до порта, сорок два часа по заливу до Веракруса — это единственный путь к свободе. На севере — болота и реки, иссякающие у подножия гор, которые отделяют их штат от соседнего. А на юге — только тропинки, проложенные мулами, да редкий самолет, на который нельзя рассчитывать. Индейские деревни и пастушьи хижины. Двести миль до Тихого океана.

Она сказала:
— Лучше умереть.
— О! — сказал он.— Конечно. Это само собой. Но нам надо жить.

Старик сидел на пустом ящике посреди маленького пыльного дворика. Толстый и одышливый, он слегка отдувался, будто после тяжелой работы на жаре. Когда-то он любил заниматься астрономией и сейчас, глядя в ночное небо, выискивал там знакомые созвездия. На нем была только рубашка и штаны, ноги — босые, и все-таки в его

облике чувствовалась явная принадлежность к духовному сану. Сорок лет служения церкви наложили на него неизгладимую печать. Над городом стояла полная тишина; все спали.

Сверкающие миры плавали в пространстве, как обещание, наш мир — это еще не вселенная. Где-нибудь там Христос, может быть, и не умирал. Старику не верилось, что, если смотреть оттуда, наш мир сверкает с такой же яркостью. Скорее земной шар тяжело вращается в космосе, укрытый в тумане, как охваченный пожаром, всеми покинутый корабль. Земля окутана собственными грехами.

Из единственной принадлежащей ему комнаты его окликнула женщина:

— Хосе, Хосе! — Он съежился, как галерный раб, услышав звук ее голоса; опустил глаза, смотревшие в небо, и созвездия улетели ввысь; по двору ползали жуки.— Хосе, Хосе! — Он позавидовал тем, кто уже был мертв: конец наступает так быстро. Приговоренных к смерти увели наверх, к кладбищу, и расстреляли у стены — через две минуты их жизнь угасла. И это называют мученичеством. Здесь жизнь тянется и тянется — ему только шестьдесят два года. Он может прожить до девяноста. Двадцать восемь лет — необъятный отрезок времени между его рождением и первым приходом: там все его детство, и юность, и семинария.

— Хосе! Иди спать.— Его охватила дрожь. Он знал, что превратился в посмешище. Человек, женившийся на старости лет,— это само по себе уже нелепо, но старый священник... Он взглянул на себя со стороны и подумал: а нужны ли такие в аду? Жалкий импотент, которого мучают, над которым издеваются в постели. Но тут он вспомнил, что был удостоен великого дара и этого у него никто не отымет. И из-за этого дара — дара претворять облатку в тело и кровь Христову — он будет проклят. Он святотатец. Куда ни придет, что ни сделает — все осквернение господа. Один отступившийся от веры католик, начиненный новыми идеями, ворвался как-то в церковь (в те дни, когда еще были церкви) и надругался над святыми дарами. Он оплевал их, истоптал ногами, но верующие поймали его и повесили, как вешали чучело Иуды в Великий четверг на колокольне. Это был не такой уж дурной человек, подумал падре Хосе, ему простится, он просто занимался политикой, но я-то — я хуже его. Я непристойная картинка, которую вывешивают здесь изо дня в день, чтобы развращать детей.

Он рыгнул, задрожал еще больше от налетевшего ветра.

— Хосе! Что ты там сидишь? Иди спать.— Дел у него теперь никаких нет — ни обрядов, ни месс, ни исповедей, и молиться тоже незачем. Молитва требует действия, а действовать он не желает. Вот уже два года как он живет в смертном грехе, и некому выслушать его исповедь. Делать больше нечего — сиди сиднем и ешь. Она пичкает, откармливает его на убой и обхаживает, как призового борова.— Хосе! — У него началась нервная икота при мысли о том, что сейчас он в семьсот тридцать восьмой раз столкнется лицом к лицу со своей сварливой экономкой — своей супругой. Она лежит на широкой бесстыжей кровати, занимающей половину комнаты,— лежит под сеткой от москитов, точно костлявая тень с тяжелой челюстью, короткой седой косицей и в нелепом чепце. Вбила себе в голову, что ей надо жить согласно своему положению,— как же! Государственная пенсионерка, супруга единственного женатого священника. Гордится этим.

— Хосе!

— Иду... ик... иду, милая,— сказал он и встал с ящика.

Кто-то где-то засмеялся.

Он поднял глаза — маленькие, красноватые, точно у свиньи, почуявшей близость бойни. Тонкий детский голосок позвал:

— Хосе! — Он ошалело оглядел дворик. Трое ребятишек с глу-

бочайшей серьезностью смотрели на него из зарешеченного окна напротив. Он повернулся к ним спиной и сделал два-три шага к дому, ступая очень медленно из-за своей толщины.— Хосе! — снова пискнул кто-то.— Хосе! — Он оглянулся через плечо и поймал выражение буйного веселья на детских лицах. Злобы в его красноватых глазках не было — он не имел права озлобляться. Губы дернулись в кривой, дрожащей, растерянной улыбке, и это свидетельство безволия освободило детей от необходимости сдерживаться, они завизжали, уже не таясь: — Хосе! Хосе! Иди спать, Хосе! — Их тонкие бесстыжие голоса пронзительно зазвучали во дворе, а он смиренно улыбался, делал слабые жесты рукой, усмиряя их, и знал, что нигде к нему не осталось уважения — ни дома, ни в городе, ни на всей этой заброшенной планете.

Глава 3

РЕКА

Капитан Феллоуз пел во весь голос под тарахтенье моторчика на носу лодки. Его широкое загорелое лицо было похоже на карту горного района: коричневые пятна разных оттенков и два голубых озерца — глаза. Сидя в лодке, он сочинял свои песенки, но мелодии у него не получалось.

— Домой, еду домой, вкусно пое-ем, в проклятом городишке кормят черт знает че-ем.— Он свернул с главного русла в приток; на песчаной отмели возлежали аллигаторы.— Не люблю ваши хари, мерзкие твари. Мерзкие рожи, на что вы похожи! — Это был счастливый человек.

По обеим сторонам к берегам спускались банановые плантации. Голос капитана Феллоуза гудел под жарким солнцем. Голос и тарахтенье мотора были единственные звуки окрест. Полное одиночество. Капитана Феллоуза вздымала волна мальчишеской радости: вот это мужская работа, гуща дебрей, и ни за кого не отвечаешь, кроме как за себя самого. Только ещё в одной стране ему было, пожалуй, лучше теперешнего — во Франции времен войны, в развороченном лабиринте окопов. Приток штопором ввинчивался в болотистые заросли штата, а в небе распластался стервятник. Капитан Феллоуз открыл жестяную банку и съел сандвич — нигде с таким аппетитом не ешь, как на воздухе. С берега на него вдруг заверещала обезьяна, и он радостно почувствовал свое единение с природой — неглубокое родство со всем в мире побежало вместе с кровью по его жилам. Ему повсюду как дома. Ловкий ты чертенок, подумал он, ловкий чертенок. И снова запел, слегка перепутав чужие слова в своей дружелюбной, дырявой памяти:

— Даруй мне жизнь, даруй мне хлеб, его водой запью я, под звездным небом в тишине идет охотник с моря.— Плантации сошли на нет, и далеко впереди выросли горы, как густые, темные линии, низко прочерченные по небу. На болотистой почве показалось несколько одноэтажных строений. Теперь он дома. Его счастье затуманилось небольшим облачком.

Капитан Феллоуз подумал: все-таки было бы приятно, если бы тебя встретили.

Он подошел к своему домику; от остальных, которые стояли на речном берегу, этот отличался только черепичной крышей, флагштоком без флага и дощечкой на двери с надписью: «Банановая компания Центральной Америки». На веранде висели два гамака, но никого там не было. Капитан Феллоуз знал, где найти жену,— не ее хотелось ему увидеть у причала. Громко топая, он распахнул дверь и крикнул:

— Папа приехал! — Сквозь москитную сетку на него глянуло

испуганное худое лицо; его башмаки втоптали тишину в пол. Миссис Феллоуз съежилась за белым кисейным пологом. Он сказал:

— Рада меня видеть, Трикси? — И она быстро навела на лицо контуры боязливого радушия. Это было похоже на шуточную задачу: нарисуйте собаку одним росчерком, не отрывая мела от доски. Получается самая настоящая сосиска.

— Как приятно вернуться домой,— сказал капитан Феллоуз, искренне думая, что так оно и есть. Единственное, в чем он был убежден, так это в правильности своих эмоций — любви, радости, печали, ненависти. В решительный момент он всегда на высоте.

— Как дела в конторе — все хорошо?

— Прекрасно,— сказал Феллоуз.— Прекрасно.

— У меня был небольшой приступ лихорадки вчера.

— За тобой нужен уход. Теперь все наладится,— рассеянно проговорил он.— Теперь я дома.— И, весело увильнув от разговора о лихорадке, хлопнул в ладоши, громко рассмеялся. А она дрожала, лежа под пологом.

— Где Корал?

— Она там, с полицейским,— сказала миссис Феллоуз.

— Я думал, дочка меня встретит,— сказал он, бесцельно шагая по маленькой, неуютной комнате среди разбросанных распялок для обуви, и вдруг до него дошло.— С полицейским? С каким полицейским?

— Он пришел вчера вечером, и Корал позволила ему заночевать на веранде. Она говорит, он кого-то ищет.

— Вот странно! Ищет — здесь?

— Он не просто полицейский. Он офицер. Его люди остались в деревне. Так Корал говорит.

— Ты бы встала,— сказал он.— Понимаешь... Этим молодчикам нельзя доверять.— И добавил, не очень уверенно:— Она ведь еще ребенок.

— Но у меня был приступ,— простонала миссис Феллоуз.— Самочувствие ужасное.

— Все будет в порядке. Просто ты перегрелась на солнце. Не волнуйся — теперь я дома.

— Так болела голова. Ни читать не могла, ни шить. А тут еще этот человек...

Ужас всегда стоял у миссис Феллоуз за плечами; усилия, которые она прилагала, чтобы не оглядываться, измучили ее. Она только тогда могла смотреть в лицо своему страху, когда облекала его в конкретные формы — лихорадка, крысы, безработица. Реальная угроза — смерть на чужбине, с каждым годом подкрадывающаяся к ней все ближе и ближе,— была под запретом. Уложат вещи, уедут, а она будет лежать в большом склепе на кладбище, куда никто никогда не придет.

Он сказал:

— Что ж, надо пойти поговорить с этим полицейским.

И, сев на кровать, положил руку ей на плечо.

Кое-что общее у них все же было — что-то вроде застенчивости.

Он рассеянно проговорил:

— Этот итальяшка, секретарь хозяина, приказал...

— Что приказал?

— Долго жить.— Капитан Феллоуз почувствовал, как напряглось ее плечо; она отодвинулась от него к стене. Он коснулся запретного, и связующая их близость порвалась — он не понял почему.— Болит голова, милая?

— Пойди поговори с ним.

— Да, да. Сейчас пойду.— И не двинулся с места: дочь сама появилась в дверях.

Она стояла на пороге, очень серьезная, и глядела на них. Под ее

взглядом, полным огромной ответственности за родителей, отец превратился в мальчишку, на которого нельзя положиться, мать — в призрак. Кажется, дунешь, и призрак исчезнет — нечто невесомое, пугливое. Корал была еще девочка лет тринадцати, а в этом возрасте мало чего боишься — не страшны ни старость, ни смерть, ни многие другие напасти: змеиный укус, лихорадка, крысы, дурной запах. Жизнь еще не добралась до нее; в этой девочке была ложная неуязвимость. Но она уже успела усохнуть — все было на месте и в то же время как бы только прочерчено тоненькой линией. Вот что делало с ребенком солнце — высушивало до костей. Золотой браслет на худеньком запястье был похож на замок, запирающий парусиновую дверцу, которую можно пробить кулаком. Она обратилась к отцу:

— Я сказала полицейскому, что ты вернулся.

— Да, да,— сказал капитан Феллоуз.— Что ж ты не поцелуешь старика отца?

Церемонным шагом она перешла комнату и запечатлела традиционный поцелуй на его лбу — он почувствовал, что поцелуй безразличный. Не тем голова у нее была занята. Она сказала:

— Я говорила кухарке, что мама не выйдет к обеду.

— Ты бы попыталась встать, милая,— сказал капитан Феллоуз.

— Зачем? — спросила Корал.

— Ну, все-таки...

Корал сказала:

— Мне надо поговорить с тобой наедине.— Миссис Феллоуз шевельнулась под пологом — показать, что она еще здесь. Только бы знать, что Корал обставит как следует ее последний путь. Здравый смысл — качество ужасающее, она никогда не обладала им; ведь это здравый смысл говорит: «Мертвые не слышат», или: «Она уже ничего не чувствует», или: «Искусственные цветы практичнее».

— Я не понимаю,— чувствуя неловкость, сказал капитан Феллоуз,— почему маме нельзя знать.

— Она не встанет. Она только испугается.

У Корал — он уже привык к этому — на все имелся готовый ответ. Она всегда говорила обдуманно, всегда была готова ответить. Но иной раз ее ответы казались ему дикими... В их основе лежала только та жизнь, которую она знала,— жизнь здесь. Болота, стервятники в небе — и ни одного сверстника, если не считать деревенских ребятишек со вздутыми от глистов животами; они как нелюди — едят тину с берега. Говорят, дети сближают родителей, и, право, ему не хотелось оставаться с этой девочкой с глазу на глаз. Ее ответы могут завести его бог знает куда. Сквозь полог он нащупал украдкой руку жены, чтобы почувствовать себя увереннее. Эта девочка — чужая в их доме. Он сказал с наигранной шутливостью:

— Ты нас запугиваешь?

— По-моему,— вдумчиво проговорила девочка,— ты-то во всяком случае не испугаешься.

Он сказал, сдаваясь и сжимая руку жены:

— Ну что ж, милая, наша дочь, кажется, уже решила...

— Сначала поговори с полицейским. Я хочу, чтобы он ушел. Он мне не нравится.

— Конечно, пусть тогда уходит.— Капитан Феллоуз засмеялся глухим, неуверенным смешком.

— Так я ему и сказала. Говорю: вы пришли поздно, и мы не могли не предложить вам гамака на ночь. А теперь пусть уходит.

— Но он не послушался?

— Он сказал, что хочет поговорить с тобой.

— Это он здорово придумал,— сказал капитан Феллоуз.— Здорово придумал.— Ирония — его единственная защита, но ее не поняли. Здесь понятно только самое очевидное — например, алфавит, или арифметическое действие, или историческая дата. Он отпустил руку

жены и следом за дочерью неохотно вышел на полуденное солнце. Полицейский офицер навытяжку стоял перед верандой: неподвижная оливкового цвета фигура. Он и шагу не сделал навстречу капитану Феллоузу.

— Ну-с, лейтенант? — весело сказал капитан Феллоуз. Ему вдруг пришло в голову, что с полицейским у Корал больше общего, чем с отцом.

— Я разыскиваю одного человека,— сказал лейтенант.— По имеющимся сведениям он должен находиться в этом районе.

— Не может он здесь быть.

— Ваша дочь говорит то же самое.

— Она все знает.

— Его разыскивают по тяжкому обвинению.

— Убийство?

— Нет. Государственная измена.

— О-о! Измена,— сказал капитан Феллоуз, сразу теряя всякий интерес. Измены теперь дело обычное, как мелкая кража в казармах.

— Он священник. Я полагаю, вы сразу сообщите нам, если увидите его.— Лейтенант помолчал.— Вы иностранец, живете под защитой наших законов. Мы надеемся, что вы должным образом отплатите нам за наше гостеприимство. Вы не католик?

— Нет.

— Так я могу полагаться на вас? — сказал лейтенант.

— Да.

Лейтенант стоял на солнце как маленький, темный, угрожающий вопросительный знак. Весь его вид говорил, что от иностранца он не примет даже предложения перейти в тень. Но от гамака-то он не отказался. Наверно, рассматривал это как реквизицию, подумал капитан Феллоуз.

— Стаканчик минеральной воды?

— Нет, нет, благодарю вас.

— Ну что ж,— сказал капитан Феллоуз.— Ничего другого я вам предложить не могу. Ведь так? Потребление алкогольных напитков — государственная измена.

Лейтенант вдруг круто повернулся, словно вид иностранцев претил ему, и зашагал по тропинке в деревню; его краги и кобура поблескивали на солнце. Мистер Феллоуз и Корал видели, как, отойдя на некоторое расстояние, лейтенант остановился и плюнул. Ему не хотелось показаться невоспитанным, и, только решив, что теперь уже никто не заметит, он облегчил душу, вложив в этот плевок всю свою ненависть и презрение к чужому образу жизни, к благополучию, прочности существования, терпимости и самодовольству.

— Не хотел бы я с таким столкнуться на узкой дорожке,— сказал капитан Феллоуз.

— Он, конечно, не верит нам.

— Они никому не верят.

— По-моему,— сказала Корал,— он почуял что-то неладное.

— Они везде это чуют.

— Понимаешь, я не позволила ему устроить здесь обыск.

— Почему? — спросил капитан Феллоуз и тут же легкомысленно перескочил на другое:— Как же ты это ухитрилась?

— Я сказала, что спущу на него собак... и пожалуюсь министру. Он не имел права...

— Э-э, право! — сказал капитан Феллоуз.— У них право в кобуре. Ну и пусть обыскивает. Велика важность!

— Я дала ему слово.— Она была так же непреклонна, как лейтенант; маленькая, загорелая и такая чужая здесь среди банановых рощ. Ее прямота никому не делала скидки. Будущее, полное компромиссов, тревог и унижений, лежало где-то вовне, дверь, через которую оно когда-нибудь войдет, была еще на запоре. Но в любую минуту

какое-нибудь одно слово, один жест или самый незначительный поступок могут открыть эту заветную дверь. Куда же она поведет? Капитана Феллоуза охватил страх: он почувствовал бесконечную любовь, а любовь лишала его родительской власти. Нельзя управлять тем, кого любишь,— стой и смотри, как твоя любовь очертя голову мчится к разрушенному мосту, к развороченному участку пути, к ужасам семидесяти лежащих впереди лет. Счастливый человек, он закрыл глаза и стал напевать что-то.

Корал сказала:

— Я не хочу, чтобы такой... уличил меня во лжи... упрекнул, что я его обманула.

— Обманула? Господи боже! — сказал капитан Феллоуз.— Так этот человек здесь?

— Конечно, здесь,— сказала Корал.

— Где?

— В большом сарае,— мягко пояснила она.— Нельзя же, чтобы его поймали.

— Мама знает об этом?

Она ответила, сокрушив его своей правдивостью:

— Ну нет. На маму я не могу положиться.— Она была совершенно независима: отец и мать принадлежали прошлому. Через сорок лет оба умрут, как та собака в прошлом году. Капитан Феллоуз сказал:

— Да покажи ты мне этого человека.

Он шагал медленно; счастье уходило от него быстрее и безоглядnee, чем оно уходит от несчастных: несчастные всегда готовы к этому. Корал шла впереди, ее жиденькие косички белели на солнце, и ему вдруг впервые пришло в голову, что она в том возрасте, когда мексиканские девочки уже познают первого мужчину. Что же с ней будет? Он отмахнулся от мыслей, ответить на которые у него никогда не хватало мужества. Проходя мимо окна своей спальни, он увидел мельком контуры худенькой фигурки под москитной сеткой — лежит там, съежившись, костлявая, одна-одинешенька. И с тоской и с жалостью к самому себе вспомнил, как он был счастлив на реке,— человек делает свое дело, и заботиться ему ни о ком другом не надо. Зачем я женился?.. Он по-детски протянул, глядя на безжалостную худенькую спину впереди:

— Нельзя нам впутываться в политику.

— Это не политика,— мягко проговорила Корал.— В политике я хорошо разбираюсь. Мы с мамой проходим сейчас Билль о реформе.— Она вынула из кармана ключ и отперла дверь большого сарая, где у них хранились бананы до отправки вниз по реке, в порт. После яркого солнца там было очень темно; в углу кто-то шевельнулся. Капитан Феллоуз взял с полки электрический фонарик и осветил им человека в рваном темном костюме — маленького, зажмурившегося, давно не бритого.

— Que es usted?[1]— спросил капитан Феллоуз.

— Я говорю по-английски.— Человек прижимал к боку маленький портфель, точно в ожидании поезда, который ему ни в коем случае нельзя пропустить.

— Вам не следует здесь оставаться.

— Да,— сказал он.— Да.

— Нас это не касается,— сказал капитан Феллоуз.— Мы иностранцы.

Человек сказал:

— Да, конечно, я сейчас уйду.— Он стоял чуть склонив голову, точно вестовой, выслушивающий приказ офицера. Капитан Феллоуз немного смягчился. Он сказал:

— Дождитесь темноты. Не то вас поймают.

— Да.

[1] Кто вы? *(исп.)*

— Есть хотите?

— Немножко. Но это неважно.— Он сказал каким-то отталкивающе-приниженным тоном: — Если бы вы были настолько любезны...

— А в чем дело?

— Немножко бренди.

— Я и так нарушаю из-за вас закон,— сказал капитан Феллоуз. Он вышел из сарая, чувствуя себя вдвое выше, а щуплый, согбенный человек остался в темноте, среди бананов. Корал заперла сарай и пошла следом за отцом.

— Ну и религия! — сказал капитан Феллоуз.— Клянчит бренди. Позор!

— Но ведь ты сам иногда его пьешь.

— Дорогая моя,— сказал капитан Феллоуз,— вот вырастешь, и тогда тебе станет ясна разница между рюмкой бренди после обеда и... потребностью в нем.

— Можно, я отнесу ему пива?

— *Ты* ничего ему не отнесешь.

— На слуг нельзя полагаться.

Капитан Феллоуз почувствовал свое бессилие и пришел в ярость. Он сказал:

— Вот видишь, в какую историю ты нас впутала.— Громко топая, он прошел в дом и беспокойно заходил по спальне среди распялок для обуви. Миссис Феллоуз спала тревожным сном. Ей снились свадьбы. Раз она громко сказала:

— Свадебный поезд. Свадебный поезд.

— Что? — раздраженно спросил капитан Феллоуз.— Что такое?

Темнота упала на землю как занавес: только что светило солнце, и вот его уже нет. Миссис Феллоуз проснулась — перед ней была еще одна ночь.

— Ты что-то говоришь, милый?

— Это ты говорила,— сказал он.— Про какие-то поезда.

— Мне, наверно, что-то приснилось.

— Поезда здесь пойдут не скоро,— сказал он с мрачным удовлетворением. Потом подошел к кровати и сел с краю, подальше от окна, чтобы ничего не видеть и ни о чем не думать. Затрещали цикады, и вокруг москитной сетки, точно фонарики, начали мелькать светлячки. Он положил свою тяжелую, бодрую, ждущую утешения руку на тень под простыней и сказал:— Жизнь здесь не такая уж плохая, Трикси. Правда? Не такая уж плохая.— И почувствовал, как она напряглась. Слово «жизнь» было запретное: оно напоминало о смерти. Она откинулась к стене и снова в отчаянии повернула голову. Фраза «отвернулась к стене» тоже была под запретом. Она лежала в полном смятении, и границы ее страха ширились и ширились, включая все родственные отношения и весь мир неодушевленных вещей. Это было как зараза. Посмотришь на что-нибудь подольше и чувствуешь: тут тоже копошатся микробы... даже в слове «простыня». Она сбросила с себя простыню и сказала:

— Какая жара, какая жара! — Обычно счастливый и всегда несчастная опасливо смотрели с кровати на сгущающуюся ночь. Они спутники, отрезанные от всего мира. То, что было вне их, не имело никакого смысла. Они словно дети, которых везут в закрытом экипаже по необъятным просторам, а куда — неизвестно. С отчаяния он начал бодро напевать песенку военных лет — только бы не слышать шагов во дворе, направляющихся к сараю.

Корал поставила на землю тарелку с куриными ножками и оладьями и отперла дверь сарая. Под мышкой она держала бутылку «Cerveza Moctezuma». В темноте снова послышалась какая-то возня — движения испуганного человека. Корал сказала:

— Это я,— чтобы успокоить его, но фонариком не посветила. Она сказала:— Вот здесь бутылка пива и кое-что поесть.

— Спасибо. Спасибо.

— Полицейские ушли из деревни — на юг. Вам надо идти к северу.

Он промолчал.

Она спросила с холодным любопытством ребенка:

— А что с вами сделают, если вы попадетесь?

— Расстреляют.

— Вам, наверно, очень страшно,— сказала она с интересом. Он ощупью пошел к двери сарая на бледный свет звезд. Он сказал:

— Да, очень страшно,— и споткнулся о гроздь бананов.

— Разве отсюда нельзя убежать?

— Я пробовал. Месяц назад. Пароход отходил... Но тут меня позвали.

— Вы были нужны кому-нибудь?

— Не нужен я был ей,— злобно сказал он. Теперь, когда земля вращалась среди звезд, Корал могла чуточку разглядеть его лицо — лицо, которое ее отец назвал бы не внушающим доверия. Он сказал:— Видишь, какой я недостойный. Разве можно так говорить!

— Недостойный чего?

Он прижал к себе свой портфельчик и спросил:

— Ты не могла бы мне сказать, какой сейчас месяц? Все еще февраль?

— Нет. Сегодня седьмое марта.

— Не часто попадаются люди, которые это знают точно. Значит, еще месяц... еще шесть недель до того, как начнутся дожди.— И добавил:— Когда начнутся дожди, я буду почти в безопасности. Понимаешь, полиция не сможет вести розыски.

— Дождь для вас лучше? — спросила Корал. Ей хотелось все знать. Билль о реформе, и Вильгельм Завоеватель, и основы французского языка лежали у нее в мозгу, как найденный клад. Она ждала ответов на каждый свой вопрос и жадно поглощала их.

— Нет, нет. Дожди — это значит еще полгода такой жизни.— Он рванул зубами мясо с куриной ножки. До нее донеслось его дыхание, оно было неприятное — так пахнет то, что слишком долго провалялось на жаре. Он сказал:— Пусть уж лучше поймают.

— А почему,— логически рассудила она,— почему бы вам не сдаться?

Ответы его были так же просты и понятны, как ее вопросы. Он сказал:

— Будет больно. Разве можно вот так идти на боль? И мой долг не позволяет, чтобы меня поймали. Понимаешь? Епископа здесь уже нет.— Странный педантизм вдруг возымел власть над ним.— Ведь это мой приход.— Он нащупал оладью и с жадностью стал есть.

Корал веско проговорила:

— Да, задача.— Послышалось бульканье — это он припал к бутылке. Он сказал:

— Все пытаюсь вспомнить, как мне хорошо жилось когда-то.— Светлячок, точно фонариком, осветил его лицо и тут же погас. Лицо бродяги — чем могла одарить этого человека жизнь? Он сказал:— В Мехико сейчас читают «Благословен Бог». Там епископ... Думаешь, ему придет в голову?.. Там даже не знают, что я жив.

Она сказала:

— Вы, конечно, можете отречься.

— Не понимаю.

— Отречься от веры,— сказала она словами из «Истории Европы».

Он сказал:

— Это невозможно. Такого пути для меня нет. Я священник. Это свыше моих сил.

Девочка внимательно выслушала его. Она сказала:

— Вроде родимого пятна.— Она слышала, что он отчаянно высасывает пиво из бутылки. Она сказала:— Может, я найду, где у отца бренди.

— Нет, нет! Воровать нельзя.— Он допил пиво; долгий стеклянный присвист в темноте — больше не осталось ни капли. Он сказал:— Надо уходить. Немедленно.

— Вы всегда можете вернуться сюда.

— Твоему отцу это не понравится.

— А он не узнает,— сказала она.— Я присмотрю за вами. Моя комната как раз напротив этой двери. Постучите мне в окно. Пожалуй, лучше,— сосредоточенно продолжала она,— если у нас будет сигнальный код. Ведь мало ли кто может постучать.

Он сказал с ужасом:

— Неужели мужчина?

— Да. Как знать? Вдруг еще кто-нибудь убежал от суда.

— Нет,— растерянно проговорил он,— вряд ли.

Она беззаботно ответила:

— Всякое случается.

— И до меня было?

— Нет, но беглецы наверняка будут. Я должна быть готова. Постучите мне три раза. Два длинных стука и один короткий.

Он вдруг фыркнул по-ребячьи:

— А как стучать длинно?

— Вот так.

— То есть громко?

— Я называю такие стуки длинными — по Морзе.— Тут уж он ничего не понял. Он сказал:

— Ты очень хорошая девочка. Помолись за меня.

— О-о! — сказала она.— Я в это не верю.

— Не веришь в молитвы?

— Я не верю в бога. Я утратила веру, когда мне было десять лет.

— Ай-яй-яй! — сказал он.— Тогда я за тебя буду молиться.

— Молитесь, если хотите,— покровительственным тоном сказала она.— А если придете к нам еще, я научу вас азбуке Морзе. Вам это пригодится.

— Когда?

— Если б вы спрятались на плантации, я сигнализировала бы вам зеркалом о передвижении противника.

Он с полной серьезностью выслушал ее.

— Но тебя могут увидеть.

— Ну,— сказала она,— я бы придумала какую-нибудь отговорку.— Она рассуждала логично, двигаясь шаг за шагом, сметая все препятствия на своем пути.

— Прощай, дитя мое,— сказал он и задержался в дверях.— Может быть... ведь молитвы тебе не нужны... Может быть, тебе будет интересно... Я умею показывать забавный фокус.

— Я люблю фокусы.

— Его показывают на картах. У тебя есть карты?

— Нет.

Он вздохнул.

— Тогда ничего не выйдет,— и тихо засмеялся. Она почувствовала запах пива в его дыхании.— Тогда я буду молиться за тебя.

Она сказала:

— По-моему, вы совсем не боитесь.

— Глоток алкоголя,— сказал он,— делает чудеса с трусом. А если бы еще выпить бренди, да я... я бы бросил вызов самому дьяволу.— Он споткнулся в дверях.

— Прощайте,— сказала она.— Надеюсь, вам удастся бежать.— Из темноты донесся легкий вздох. Она тихо проговорила: — Если они вас убьют, я не прощу им этого — никогда.— Ни минуты не задумы-

ваясь, она была готова взять на себя любую ответственность, даже месть. В этом была ее жизнь.

На просеке стояли пять-шесть плетеных глинобитных хижин — две совсем развалились. Несколько свиней копались в земле, а какая-то старуха носила из хижины в хижину горящий уголек и разжигала маленькие костры посреди пола, чтобы выгнать дымом москитов. В двух хижинах жили женщины, в третьей — свиньи, в последней, не развалившейся, где хранилась кукуруза,— старик, и мальчик, и полчища крыс. Старик стоял посреди просеки, глядя, как старуха ходит с разжигой; уголек мелькал в темноте, точно совершался неизменный еженощный обряд. Седые волосы, седая щетинистая борода, руки, темные и хрупкие, как прошлогодние листья,— он был воплощением безмерной долговечности. Ничто уже не сможет изменить этого старика, живущего на краешке существования. Он стар уже долгие годы.

Незнакомец вышел на просеку. На ногах у него были истрепанные городские башмаки, черные, узконосые; от них, кроме союзок, почти ничего не осталось, так что ходил он, собственно, босой. Башмаки имели чисто символическое значение, как опутанные паутиной хоругви в церквах. Он был в рубашке и в рваных черных брюках, в руках нес портфельчик — точно пригородный житель, который ездит на службу по сезонному билету. Он тоже почти достиг долговечности, хотя и не расстался с рубцами, наложенными на него временем,— сношенные башмаки говорили об ином прошлом, морщинистое лицо — о надеждах и страхе перед будущим. Старуха с углем остановилась между двумя хижинами и уставилась на незнакомца. Он вышел на просеку, потупив глаза, сгорбившись, словно его выставили напоказ. Старик двинулся ему навстречу, взял его руку и поцеловал ее.

— Вы дадите мне гамак на ночь?

— Отец! Гамаки — это в городе! Здесь спят на чем придется.

— Ладно. Мне бы только где-нибудь лечь. А немножко... спиртного не найдется?

— Кофе, отец. Больше у нас ничего нет.

— А поесть?

— Еды у нас никакой.

— Ну, не надо.

Из хижины вышел мальчик и уставился на него. Все уставились — как на бое быков. Бык обессилен, и зрители ждут, что будет дальше. Они не были жестокосердны; они смотрели на редкостное зрелище: кому-то приходится еще хуже, чем им самим. Он проковылял к хижине. Внутри, выше колен, было темно; огонь на полу не горел, только что-то медленно тлело. Половину всего помещения загромождала сваленная в кучу кукуруза; в ее сухих листьях шуршали крысы. Земляная лежанка, на ней соломенная циновка, столом служили два ящика. Незнакомец лег, и старик затворил за ним дверь.

— Тут не схватят?

— Мальчик посторожит. Он знает.

— Вы ждали меня?

— Нет, отец. Уж пять лет как мы не видели священника... Но когда-нибудь это должно было случиться.

Священник заснул тревожным сном, а старик присел на корточки и стал раздувать огонь. Кто-то постучал в дверь, и священник рывком поднялся с места.

— Ничего, ничего,— сказал старик.— Это вам принесли кофе, отец.— Он поднес ему жестяную кружку с серым кукурузным кофе, от которого шел пар. Но священник так устал, что ему было не до кофе. Он, не двигаясь, лежал на боку. Из-за кукурузных початков на него смотрела крыса.

— Вчера здесь были солдаты,— сказал старик. Он подул на

огонь; хижину заволокло дымом. Священник закашлялся, и крыса, точно тень от руки, быстро юркнула в кукурузу.

— Отец! Мальчик не крещеный. Последний священник, что сюда приходил, спросил два песо. У меня было только одно песо. А сейчас всего пятьдесят сентаво.

— Завтра,— устало проговорил священник.

— А вы отслужите мессу, отец?

— Да, да.

— А исповедь, отец, вы нас исповедуете?

— Да, только дайте мне сначала поспать.— Он лег на спину и закрыл глаза от дыма.

— Денег у нас нет, отец, заплатить нечем. Тот священник, падре Хосе...

— Вместо денег дайте мне во что переодеться,— нетерпеливо сказал он.

— Но у нас есть только то, что на себе.

— Возьмите мое в обмен.

Старик недоверчиво замурлыкал про себя, искоса поглядывая на то, что было освещено костром,— на рваное черное тряпье.

— Что ж, отец, надо, так надо,— сказал он. И стал тихонько дуть на костер. Глаза священника снова закрылись.

— Пять лет прошло, во стольком надо покаяться.

Священник быстро поднялся на лежанке.

— Что это? — спросил он.

— Вам чудится, отец. Если придут солдаты, мальчик нас предупредит. Я говорил, что...

— Дайте мне поспать хотя бы пять минут.— Он снова лег; где-то, наверно в одной из женских хижин, голос запел: «Пошла гулять я в поле и розочку нашла».

Старик негромко сказал:

— Жалко, если солдаты придут и мы не успеем... Такое бремя на бедных душах, отец...— Священник взметнулся на лежанке, сел, прислонившись спиной к стене, и сказал с яростью:

— Хорошо. Начинай. Я приму твою исповедь.— Крысы возились в кукурузе.— Говори,— сказал он.— Не трать времени зря. Скорее. Когда ты в последний раз...— Старик опустился на колени у костра, а на другом конце просеки женщина пела: «Пошла гулять я в поле, а розочки уж нет».

— Пять лет назад.— Он помолчал и дунул на костер.— Всего не вспомнишь, отец.

— Ты грешил против целомудрия?

Священник сидел, прислонившись к стене, подобрав под себя ноги, а крысы, привыкнув к их голосам, снова завозились среди кукурузных початков. Старик с трудом подбирал свои грехи, дуя на огонь.

— Покайся как следует,— сказал священник,— и прочитай... прочитай... Четки у тебя есть? Тогда читай «Радостные тайны».— Глаза у него закрылись, губы и язык не довели до конца отпущения грехов... Он снова встрепенулся, проснувшись.

— Можно, я приведу женщин? — говорил старик.— Прошло пять лет...

— А-а, пусть идут. Пусть все идут!— злобно крикнул священник.— Я ваш слуга.— Он прикрыл глаза рукой и заплакал.

Старик отворил дверь: снаружи под огромным сводом слабо освещенного звездами неба было не так темно. Он подошел к женским хижинам, постучался и сказал:

— Идите. Надо исповедаться. Надо уважить падре.— Женщины заныли в ответ, ссылаясь на усталость... можно ведь и утром....— Вы хотите обидеть его?— сказал старик.— Как по-вашему, зачем он сюда

пришел? Такой праведный человек. Он сидит сейчас у меня в хижине и оплакивает наши грехи.— Старик выпроводил женщин на улицу; одна за другой они засеменили по просеке к его хижине, а он пошел по тропинке к берегу сменить мальчика, который следил, не переходят ли солдаты реку вброд.

Глава 4

СТОРОННИЕ СВИДЕТЕЛИ

Мистер Тенч уже не помнил, когда он в последний раз писал письмо. Он сидел за верстаком и посасывал кончик стального пера, подчиняясь снова вернувшейся к нему потребности отправить хоть какую-нибудь весть по единственному сохранившемуся у него адресу — в Саутенд. Жив ли там еще кто-нибудь? Он нерешительно обмакнул перо, будто произнес наконец первое слово, завязывая разговор в гостях, где толком никого не знал. Сначала надписал конверт: «Миссис Марсдайк, Авеню, дом 3, Вестклиф. Для передачи миссис Тенч». Это был адрес ее матери — властной, всюду сующей свой нос женщины, которая уговорила его повесить свою вывеску в Саутенде. «Прошу переслать»,— приписал мистер Тенч. Если старуха догадается, от кого оно, то ни за что не перешлет, но, может быть, за эти годы она уже забыла его почерк.

Он пососал лиловое от чернил перо. А что дальше? Писать было бы легче, если б его письмо имело какую-то цель, а не только смутное желание сообщить хоть кому-нибудь, что он еще жив. Может быть, письмо окажется некстати—вдруг жена снова вышла замуж? Но тогда она не постесняется разорвать его. Крупным, четким ученическим почерком он вывел: «Дорогая Сильвия» — и прислушался к шипенью тигля рядом на верстаке. В нем готовился золотой сплав. В этом городишке нет лавок, где можно купить нужный ему материал в готовом виде. И вообще в таких лавках не принимают в работу четырнадцатикаратовое золото для зубоврачебных изделий, а более высокая проба ему не по карману.

Беда в том, что здесь никогда ничего не случается. Он вел жизнь трезвую, благопристойную, размеренную, вполне во вкусе миссис Марсдайк.

Мистер Тенч взглянул на тигель; золото должно было скоро соединиться с лигатурой, и он всыпал туда чайную ложку угольного порошка, чтобы удалить из соединения кислород. Потом снова взял перо и задумался, глядя на бумагу. Он плохо помнил свою жену — помнил только шляпы, которые она носила. Как ее удивит эта весточка после такого долгого перерыва! Со смерти их сына они написали друг другу только по одному письму. Прожитые годы, по существу, проходили для мистера Тенча почти бесследно — они скользили быстро, не меняя его образа жизни. Шесть лет назад он собирался уехать домой, но курс песо упал после какой-то революции, пришлось перебраться на юг страны. За последние годы у него опять скопились деньги, но месяц назад где-то произошла очередная революция, и песо опять упало. Надо ждать — ничего другого не остается... Стальное перо опять полезло в рот между зубами: воспоминания таяли в маленькой накаленной комнате. А зачем вообще писать? Мистер Тенч уже не мог припомнить откуда у него взялась эта странная идея. В наружную дверь кто-то постучал, и он оставил письмо на верстаке... «Дорогая Сильвия» пялилось со страницы — крупное, броское, безнадежное. На реке зазвонил пароходный колокол: это «Генерал Обрегон» вернулся из Веракруса. Мистеру Тенчу вдруг вспомнилось: маленький страдающий человек беспокойно мечется по комнате, задевая за качалки... Приятно побеседовали. Интересно, что с ним

случилось потом, когда... И воспоминание умерло или просто ушло. Мистер Тенч привык к тому, что люди страдают, такова была его профессия. Он подождал из осторожности, пока чья-то рука снова не стукнула в дверь. Послышалось: «Con amistad»[1] — доверять никому нельзя... И только тогда мистер Тенч отодвинул засовы и впустил пациента.

Падре Хосе прошел в широкие, в классическом стиле ворота с выбитой поверху черными буквами надписью «Silencio» [2] — прошел в то место, которое люди когда-то называли «Божьей нивой». Оно напоминало участок застройки, где каждый владелец строил как ему взбредет в голову, не считаясь с соседями. Большие каменные склепы были самой разной высоты и самых разных форм; на некоторых крышу украшал ангел с замшелыми крыльями; в других сквозь стекло окошка виднелись на полках ржавеющие металлические венки. Будто заглядываешь в кухню дома, жильцы которого выехали, забыв опростать цветочные вазы. Тут было что-то родное, близкое — ходи куда хочешь, что хочешь разглядывай. Жизнь отступила отсюда навсегда.

Из-за своей тучности падре Хосе с трудом пробирался между склепами; вот где хорошо побыть одному — ребятишек нет, можно разбудить в себе слабенькую тоску по прошлому, а это все же лучше, чем ничего не чувствовать. Некоторых из здешних покойников ему пришлось хоронить самому. Его воспаленные глазки посматривали по сторонам. Обходя серую громаду склепа Лопесов — купеческой семьи, которая пятьдесят лет назад владела единственной гостиницей в столице,— он обнаружил, что все-таки не один здесь. На краю кладбища, у стены, копали могилу; двое мужчин делали свое дело быстро. Рядом с ними падре Хосе увидел женщину и старика. У их ног стоял детский гробик. Выкопать могилу в рыхлой почве было недолго; на дне ее собралось немного воды. Вот почему люди с достатком предпочитали лежать в склепах.

Работа на минуту прекратилась — все четверо посмотрели на падре Хосе, и он попятился к склепу Лопесов, чувствуя себя лишним здесь. Яркий, горячий полдень был чужд горю; на крыше позади кладбищенской стены сидел стервятник. Кто-то сказал:

— Отец...

Падре Хосе осуждающе поднял руку, как бы показывая, что его здесь нет, что он ушел — ушел прочь, с глаз долой.

Старик сказал:

— Падре Хосе.— Все четверо жадно смотрели на него. Покорные судьбе до того, как он появился перед ними, теперь они требовали, умоляли... Он пятился, стараясь протиснуться между склепами.— Падре Хосе,— повторил старик.— Молитву...— Они улыбались ему, ждали. Смерть близких была для них делом привычным, но теперь среди могил внезапно мелькнула надежда на благо. Они смогут похвастаться, что хотя бы один из их семьи лег в землю с молитвой, как полагается.

— Нельзя, нельзя,— сказал падре Хосе.

— Вчера был день ее святой,— сказала женщина, будто это имело какое-то значение.— Ей исполнилось пять лет.— Это была одна из тех мамаш, которые первому встречному показывают фотографии своих детей. Но сейчас она могла показать только гроб.

— Нет, не могу.

Старик отодвинул гробик ногой, чтобы подойти поближе к падре Хосе. Гроб был маленький, легкий, будто в нем лежали одни лишь кости.

---

[1] Друг *(исп.)*.

[2] Молчание *(исп.)*.

— Не полную службу, вы же понимаете, только молитву. Она невинное дитя,— сказал он. В слове «дитя» было что-то странное, древнее, пригодное только для этого каменного городка. Оно состарилось, как склеп Лопесов, и было уместно только здесь.

— Закон не позволяет.

— Ее звали Анита,— продолжала женщина.— Я болела во время беременности,— пояснила она, как бы извиняясь, что ребенок родился слабым и от этого всем вышло такое беспокойство.

— Закон...

Старик приложил палец к губам:

— Не сомневайтесь в нас. Ведь только одну молитву. Я ее дед. Это ее мать, ее отец, ее дядя. Доверьтесь нам.

Но в том-то и была беда — он никому не мог довериться. Только придут домой, кто-нибудь из них обязательно начнет хвастаться. Он пятился назад, отмахиваясь пухлыми ладонями, мотая головой, и чуть не наткнулся на склеп Лопесов. Ему было страшно, и в то же время гордость клокотала у него в горле, потому что в нем снова увидели священника, его уважали.

— Если б я мог,— сказал он.— Дети мои...

Внезапно, неожиданно над кладбищем взметнулось горе. Эти люди привыкли терять детей, но им не было знакомо то, что лучше всего знают в мире,— крушение надежд. Женщина зарыдала, ее сухие, без слез рыдания были как попавший в капкан и рвущийся на волю зверек Старик упал на колени и протянул руки.

— Падре Хосе,— сказал он,— больше некому.— Он словно молил о чуде. Неодолимое искушение охватило падре Хосе — рискнуть и прочесть молитву над могилой. Его безудержно потянуло выполнить свой долг, и он начертал в воздухе крестное знамение. Но затем страх, будто наркотик, парализовал его. Там, у набережной, его ждет презрение и безопасность; отсюда надо бежать. Он в бессилии упал на колени и взмолился:

— Оставьте меня.— Он сказал: — Я недостоин. Разве вы не видите? Я трус.— Оба старика лицом к лицу стояли на коленях среди могил; гробик был отодвинут в сторону, как пустой предлог. Нелепое зрелище — падре Хосе знал, что это нелепо: вникая в свою жизнь, он научился видеть себя таким, каким был на самом деле,— тучным, уродливым, униженным стариком. Сладостный хор ангелов умолк и исчез, уступив место хору ребячьих голосов во дворе: «Иди спать, Хосе!» Голоса звучали резко, пронзительно — хуже, чем когда-либо раньше. Он знал, что его держит в своих когтях непростительный грех — отчаяние.

— «Но вот настал благословенный день,— вслух читала мать,— когда послушничество Хуана подошло к концу. Какое это было радостное событие для его матери и сестры! Радостное и в то же время немного печальное, ибо плоть наша немощна, и могли ли они не оплакивать в сердце своем потерю сына и старшего брата? Ах, если б им дано было знать, что они обретают святого, который будет молиться за них на небесах».

Младшая девочка сказала с кровати:

— Но у нас ведь есть святые.

— Конечно.

— Зачем же тогда еще один?

Мать продолжала чтение:

— «На следующий день вся их семья приняла причастие из рук сына и брата. Потом настала минута нежного прощания — никто не знал, что оно последнее — с новым воином Христовым, после чего семья Хуана вернулась к себе домой в Морелос. Тучи уже сгущались

на небе, и в Чапультепекском дворце президент Кальес[1] обсуждал антикатолические законы. Дьявол готовился напасть на бедную Мексику».

— А стрелять скоро начнут? — спросил мальчик, беспокойно переступая с ноги на ногу.

Но мать неумолимо продолжала чтение:

— «Хуан втайне от всех, кроме своего духовника, умерщвлял свою плоть, готовясь к предстоящим испытаниям. Его товарищи ничего не подозревали, ибо он всегда был душой их веселых бесед, и в праздник основателя ордена именно ему...»

— Знаю, знаю,— сказал мальчик.— Он играл в спектакле.

Девочки широко открыли изумленные глаза.

— А что тут такого, Луис? — сказала мать, заложив пальцем запретную книгу. Он угрюмо посмотрел на нее.— Что тут такого, Луис? — повторила она. И, выждав минуту, снова стала читать. А девочки с ужасом и восхищением следили за братом.— «Именно ему,— читала мать,— разрешили поставить одноактную пьеску...»

— Знаю, знаю,— сказал мальчик.— Про катакомбы.

Поджав губы, мать продолжала:

— «...о гонениях на первых христиан. Может быть, Хуан вспомнил, как в детстве ему довелось играть Нерона в присутствии старого доброго епископа, но на сей раз он попросил себе комическую роль римского рыбака...»

— Не верю ни одному слову,— с угрюмой яростью сказал мальчик.— Ни одному слову не верю.

— Как ты смеешь!

— Нет таких дураков на свете.

Девочки замерли на месте, вытаращив на брата карие, полные благочестия глаза.

— Ступай к отцу.

— Ну и пойду, только бы не слушать эту... эту...

— Повтори ему то, что ты мне сказал.

— Эту...

— Уходи прочь.

Он хлопнул дверью. Отец стоял у зарешеченного окна и смотрел на улицу; жуки ударялись с размаху о керосиновую лампу и с поломанными крыльями копошились на каменном полу. Мальчик сказал:

— Мама велела повторить тебе то, что я ей сказал: что я не верю, что в книжке, которую она читает...

— В какой книжке?

— В божественной.

Отец грустно проговорил:

— Ах, в этой.— По улице никто не ходил, ничего здесь не случалось. С половины десятого электричество на улицах гасло. Он ска-

---

[1] Плутарко Элиас Кальес (1877 — 1945) — президент Мексики в 1924 — 1928 гг., позднее фактический диктатор страны. В связи с активизацией антиправительственных действий церковной реакции издал 14 июля 1926 г. закон, претворявший в жизнь положения национальной конституции 1917 г., согласно которым церковь отделялась от государства. Этим законом духовенству запрещалось заниматься политической деятельностью, распускались монашеские ордена, церковь лишалась права владения недвижимостью, вводилось светское образование и обязательная регистрация всех священников. Виновные в нарушении закона наказывались штрафом и тюремным заключением до шести лет. Реакционные клерикалы ответили на закон саботажем, созданием отрядов вооруженных мятежников — кристерос (от испанского «Кристо» — Христос), зачастую руководившихся священниками и развязавших кровавый террор. К концу 1927 г обстановка несколько стабилизировалась, хотя и в последующие годы не раз происходили вылазки клерикалов. Со своей стороны Кальес и его ставленники, встревоженные ростом массового народного движения в начале 1930-х гг. и стремившиеся разобщить народные массы, прибегали к антиклерикальным мерам (значительная часть крестьянства находилась под влиянием католической церкви). За подготовку заговора против избранного в 1934 г президентом популярного демократического деятеля генерала Ласаро Карденаса Кальес и его приспешники в 1936 г. были высланы из Мексики.

зал: — Надо быть снисходительным. Понимаешь, для нас здесь все кончилось. А эта книга — она напоминает наше детство.

— Она глупая.

— Ты ведь не помнишь, как здесь жилось, когда у нас была Церковь. Я был плохим католиком, но Церковь — это... это музыка, огни и место, где можно посидеть, спрятаться от жары. И у твоей матери тоже всегда было какое-то занятие. Если б здесь был театр или хоть что-нибудь взамен, мы не чувствовали бы себя такими... такими заброшенными.

— Этот Хуан,— сказал мальчик.— Он такой глупый.

— Его ведь убили, правда?

— Вилья [1], Обрегон, Мадеро [2] тоже были убиты.

— Кто тебе это рассказывал?

— Мы в них играем. Вчера я был Мадеро. Меня застрелили на площади — при попытке к бегству.— Где-то в тишине душной ночи забил барабан в комнату потянуло кислятиной с реки. Этот запах был привычен как сажа в большом городе.— Мы бросили жребий. Мне достался Мадеро. Педро вытянул Уэрту [3]. Он убежал в Веракрус по реке. За ним погнался Мануэль — он был Каррансой [4].

Не отводя глаз от улицы, отец сбил щелчком жука с рубашки. Топот солдатских сапог слышался все ближе. Отец сказал:

— Мама, наверно, рассердилась на тебя?

— А ты нет,— сказал мальчик.

— Да стоит ли сердиться? Ты не виноват. Нас бросили на произвол судьбы.

Мимо прошли солдаты, возвращаясь в казармы на холме, по соседству с тем местом, где когда-то стоял собор. Они шли не в ногу, не слушая барабанную дробь; вид у них был голодный; война еще не стала для них прибыльным занятием. Как в летаргическом сне они промаршировали по темной улице, и мальчик долго провожал их взглядом, полным волнения и надежды.

Миссис Феллоуз покачивалась в качалке взад-вперед, взад-вперед.

— Тогда лорд Пальмерстон заявил, что если правительство Греции не примет должные меры по делу дона Пасифико...

Она сказала:

— Деточка, у меня такая головная боль, давай, пожалуй, кончим на сегодня.

— Хорошо. У меня голова тоже побаливает.

— У тебя-то скоро пройдет. Убери, пожалуйста, книги.— Эти тоненькие, потрепанные книжонки им высылала по почте фирма «Домашнее обучение» на Патерностер-роу Полный курс наук, начинающийся разделом «Чтение без слез», постепенно доходил до Билля о

---

[1] Франсиско (уменьшительное — Панчо) Вилья (настоящее имя Доротео Аранго, 1877—1923) — национальный герой Мексики, один из руководителей крестьянского движения в период Мексиканской революции 1910 — 1917 гг.; в 1916 — 1917 гг.— участник борьбы с иностранной интервенцией. Убит реакционерами.

[2] Франсиско Индалесио Мадеро (1873 — 1913) — президент Мексики с 1911 г., один из руководителей Мексиканской революции Выступал против засилья иностранного капитала Свергнут в результате контрреволюционного переворота и убит.

[3] Викториано Уэрта (1845—1916) — мексиканский государственный и политический деятель Один из главарей реакционного мятежа (февраль 1913 г.) против правительства Мадеро Захватив власть (президент в феврале 1913 — июле 1914 гг.), установил диктатуру, выражавшую интересы помещиков-латифундистов, клерикалов и реакционной военщины, а также иностранных империалистов Против контрреволюционной диктатуры Уэрты развернулось массовое движение, в результате которого Уэрта сложил с себя полномочия и уехал в Европу. В июне 1915 г. безуспешно пытался поднять восстание против президента Каррансы Умер в США.

[4] Венустиано Карранса (1859—1920) — один из лидеров национальной буржуазии и помещиков в Мексиканской революции. В 1914 — 1917 гг.— временный президент, в 1917 — 1920 гг.— президент Мексики. Свергнут в результате переворота и убит.

реформе, лорда Пальмерстона и поэзии Виктора Гюго. Раз в полгода они получали экзаменационные листки, и миссис Феллоуз старательно проверяла ответы Корал и ставила ей отметки. Потом все это отсылалось на Патерностер-роу и спустя несколько недель попадало в архив фирмы. Как-то раз миссис Феллоуз не выполнила своих обязанностей, потому что в Сапате началась стрельба, и получила уведомление, в котором было напечатано типографским способом: «Уважаемые родители, я с сожалением отмечаю...» Беда была в том, что они уже на несколько лет опередили программу,— где взять другие книги для чтения? — так что экзаменационные листки на несколько лет отстали. Время от времени фирма присылала по их адресу грамоты с тиснением, которые полагалось вставлять в рамку; в этих грамотах было сказано, что мисс Корал Феллоуз с отличием перешла в следующий класс, и в конце стояло факсимиле: Генри Бекли, бакалавр гуманитарных наук, директор фирмы «Домашнее обучение»; иногда приходили коротенькие, отпечатанные на машинке письма с тем же синим расплывчатым факсимиле. В письмах говорилось: «Дорогая ученица, на этой неделе вам следует обратить особое внимание...» Письма всегда были полуторамесячной давности.

— Милочка,— сказала миссис Феллоуз,— пойди закажи обед кухарке. Только для себя. Я в рот ничего не могу взять, а папа на плантации.

— Мама,— сказала девочка,— ты веришь в бога?

Ее вопрос испугал миссис Феллоуз. Она изо всех сил закачалась вперед-назад и сказала:

— Конечно.

— В непорочное зачатие и во все такое прочее?

— Что за разговоры, милая? Кого ты наслушалась?

— Да никого,— сказала Корал.— Я сама думаю, вот и все. — Она не ждала дальнейших ответов; она прекрасно знала, что их не будет. Ей каждый раз приходилось решать все самой. Бакалавр гуманитарных наук Генри Бекли изложил всю священную историю своей ученице в одном из первых уроков, и поверить во все это ей было тогда не труднее, чем в великана из сказки, но к десяти годам она безжалостно отвергла обоих. Она уже начала учить алгебру.

— Неужели отец говорил с тобой о..?

— Да нет.

Корал надела тропический шлем и вышла на слепящий утренний свет искать кухарку. Ее фигурка казалась еще более хрупкой, чем всегда, и еще более непреклонной. Она отдала нужные распоряжения и пошла на склад осмотреть шкуры аллигаторов, распяленные на стене, потом в конюшню проверить, накормлены ли мулы. Шагая взад и вперед по раскаленному двору, она несла свои обязанности осторожно — точно стеклянную посуду. Не было вопросов, на которые у нее не нашлось бы ответа. Завидев девочку, стервятники неторопливо взмывали в воздух.

Она вернулась в дом, к матери, и сказала:

— Сегодня четверг.

— Разве, милочка?

— Папа не отправил бананы на пристань?

— Понятия не имею, милочка.

Корал быстро вышла во двор и позвонила в колокол. Появился индеец. Нет, бананы лежат в сарае, никаких распоряжений на этот счет не было.

— Доставить на берег,— сказала Корал.— Сейчас же. Скорее. Того и гляди подойдет катер.— Она взяла отцовскую книгу записей и стала считать банановые грозди по мере того, как их выносили — в каждой грозди, ценою в несколько пенсов, по сотне бананов, а то и больше. Чтобы очистить сарай, понадобилось свыше двух часов. Кому-то надо же заняться этим, ведь раз уже случилось, что отец про-

зевал день отправки. Через полчаса Корал почувствовала усталость. Это было необычно для нее в такой ранний час. Она прислонилась к стене и обожгла себе лопатки. Ее не возмущало, что приходится торчать здесь и присматривать за работами; слово «играть» казалось ей бессмысленным: жизнь — это дело взрослое. В одном из первых учебников, присланных Генри Бекли, была картинка: у кукол собрались гости к чаю. Что-то совершенно непонятное — какой-то незнакомый ей обряд. Зачем нужно притворяться? Четыреста пятьдесят шесть. Четыреста пятьдесят семь. Пот струился по спинам пеонов, точно струйки воды из душа. У нее вдруг острой болью пронзило низ живота. Она не успела записать в книгу одну тачку, надо поторопиться с подсчетом. Впервые чувство ответственности легло ей на плечи грузом, который несешь долгие годы. Пятьсот двадцать пять. Боль была непривычная (нет, не глисты), но она не испугалась. Все ее тело словно ждало такой боли, словно созрело для нее. Так и разум, повзрослев, без сожалений расстается с нежностью. Это не детство уходило от нее; детства она по-настоящему и не знала.

— Это последняя? — спросила Корал.

— Да, сеньорита.

— Точно?

— Да, сеньорита.

Но ей надо было проверить. До сих пор не случалось, чтобы она делала что-то неохотно—сама не сделаешь, кто же сделает? А сегодня ей хотелось лечь в постель, уснуть. Пусть не все бананы будут вывезены — это не ее вина, а отцовская. Может, у меня лихорадка? Ноги были ледяные, хоть и стояли на раскаленной земле. А, ладно! — подумала она, покорно вошла в сарай, нащупала там электрический фонарик и включила его. Да, кажется, пусто, но надо довести дело до конца. Она шагнула к задней стене, держа фонарик прямо перед собой. Из-под ног у нее выкатилась пустая бутылка. Она направила лучик вниз —«Cerveza Moctezuma». Потом осветила заднюю стену: внизу, у самой земли, было что-то нацарапано мелом; она подошла ближе — в круге света белели маленькие крестики. Он, наверно, лежал среди бананов и машинально чертил что-то и больше ничего не мог придумать, чтобы отогнать страх. Девочка стояла, превозмогая боль, и смотрела на крестики. Какая-то страшная новизна со всех сторон надвигалась на нее все утро. Будто этот день хотел оставить по себе долгую память.

Начальник полиции играл на бильярде в таверне; там лейтенант и нашел его. Щека у хефе была повязана платком — ему казалось, это облегчает зубную боль. Когда лейтенант прошел во вращающуюся дверь, он натирал мелом кий, готовясь к трудному удару. На полках позади бильярда стояли одни бутылки минеральной воды и какая-то желтая жидкость под названием сидрал — гарантированно безалкогольная. Лейтенант с осуждающим видом стал на пороге: какой позор! Ему хотелось уничтожить в этом штате все, что может дать иностранцам повод для насмешек. Он сказал:

— Разрешите обратиться?

Хефе сморщился от внезапного приступа боли и с несвойственной ему готовностью подошел к двери. Лейтенант взглянул на счет очков — на кольца, которые были нанизаны на веревку, протянутую через все помещение. Хефе проигрывал.

— Сейчас... вернусь,— сказал хефе и пояснил лейтенанту: — Рот боюсь открывать.— Когда они толкнули входную дверь, кто-то поднял кий и потихоньку отодвинул назад одно кольцо в счете хефе.

Они шли по улице рядом — толстый и тощий. Был воскресный полдень, и все магазины стояли на запоре — единственный пережиток, оставшийся от прежних времен. Но мессу нигде не служили. Лейтенант спросил:

— Вы видались с губернатором?

— Тебе дана полная свобода действий,— ответил хефе.— Полная свобода.

— Он оставляет все на наше усмотрение?

— С оговорками.— Хефе сморщился.

— Какие же это оговорки?

— Если не поймаешь... до дождей... ответственность... ляжет на тебя.

— Не было бы на мне другой ответственности,— хмуро проговорил лейтенант.

— Сам напросился. Вот и получай.

— Что ж, я рад.— Лейтенант почувствовал, будто весь тот мир, о котором он пекся, лег теперь к его ногам. Они прошли мимо нового клуба Синдиката рабочих и крестьян; увидели в окно большие, броские карикатуры на стенах — на одной священник облапил женщину в исповедальне, на другой потягивал причастное вино. Лейтенант сказал: — Это все скоро будет не нужно.— Он смотрел на карикатуры глазами чужестранца: в них было что-то варварское.

— Почему? Они... забавные.

— Придет время, и никто не вспомнит, что когда-то здесь была Церковь.

Хефе ничего не сказал на это. Лейтенант догадывался, что он думает: стоит ли спорить из-за такой чепухи? Он резко проговорил:

— Каковы будут распоряжения?

— Распоряжения?

— Вы же мой начальник.

Хефе промолчал. Он незаметно поглядывал на лейтенанта своими маленькими хитрыми глазками. Потом сказал:

— Ты же знаешь, я тебе доверяю. Поступай, как считаешь нужным.

— Вы дадите мне письменное распоряжение?

— Нет, это лишнее. Мы же знаем друг друга.

Всю дорогу они вели осторожную борьбу, отстаивая каждый свою позицию.

— Разве губернатор ничего вам не написал? — спросил лейтенант.

— Нет. Он сказал — вы же друг друга знаете.

Уступить пришлось лейтенанту, потому что лейтенант по-настоящему пекся о деле, а не о своем будущем. Он сказал:

— Я буду брать заложников в каждой деревне.

— Тогда он не станет ходить по деревням.

— По-вашему, в деревнях не знают, где он сейчас? — резко проговорил лейтенант.— Но ему же надо поддерживать с ними связь. Иначе какой от него толк?

— Делай как знаешь,— сказал хефе.

— И я буду расстреливать столько, сколько понадобится.

Хефе сказал с наигранной бодростью:

— Пустить немножко крови — никогда не повредит. Откуда ты начнешь?

— Думаю, с его прихода — с Консепсьона, а потом, может, пойду на его родину.

— Почему туда?

— Он, наверно, решит, что там ему будет безопасно.— Лейтенант в раздумье шагал мимо магазинов со спущенными шторами.— Пусть погибнет несколько человек, но, как вы считаете, губернатор поддержит меня, если в Мехико поднимут шум?

— Вряд ли,— сказал хефе.— Но ведь это то...— И скривился от боли.

— Это то, чего я хочу,— договорил лейтенант.

Он пошел к полицейскому участку один, а начальник вернулся в бильярдную. Прохожих на улице попадалось немного: было слишком

жарко. Если б достать настоящую фотографию, думал лейтенант. Ему хотелось изучить лицо своего врага. Площадью завладели дети. Прыгая со скамейки на скамейку, они играли в какую-то непонятную, сложную игру; пустая бутылка из-под минеральной воды пролетела по воздуху и разбилась вдребезги у ног лейтенанта. Его рука метнулась к кобуре, он повернулся всем телом и поймал выражение ужаса на лице у мальчика.

— Это ты бросил бутылку?

На него был устремлен тяжелый, хмурый взгляд карих глаз.

— Что вы тут затеяли?

— Это бомба.

— Ты в меня целился?

— Нет.

— В кого же?

— В гринго.

Лейтенант улыбнулся неловким движением губ.

— Молодец, только целиться надо точнее.— И, отшвырнув осколки на дорогу, стал подыскивать слова, которые объяснили бы этим малышам, что он с ними заодно. Он сказал: — Твой гринго, наверно, из тех американских богачей, которые воображают, что...— и был поражен выражением преданности на лице мальчика. Это требовало какого-то отклика, и сердце лейтенанта вдруг сжалось от грустной, неутоленной любви. Он сказал: — Поди сюда.— Мальчик подошел, а его товарищи стояли испуганным полукругом и следили за ними с безопасного расстояния.— Как тебя зовут?

— Луис.

— Так вот,— сказал лейтенант, не находя нужных слов.— Учись целиться.

— Я хочу научиться,— с жаром сказал мальчик. Его взгляд был прикован к кобуре.

— Хочешь посмотреть, какое у меня оружие? — спросил лейтенант. Он вынул из кобуры свой тяжелый пистолет и протянул его мальчику. Остальные дети осторожно подошли поближе. Он сказал: — Вот это предохранитель. Подними его. Так. Теперь из него можно стрелять.

— Он заряжен? — спросил Луис.

— Он всегда заряжен.

Между губами у мальчика показался кончик языка; он судорожно глотнул, будто учуял запах еды. Теперь все ребята столпились вокруг лейтенанта. Один — посмелее — протянул руку и тронул кобуру. Они взяли лейтенанта в кольцо. И, пряча пистолет, он почувствовал, что и ему передалось их робкое счастье.

— Как он называется? — спросил Луис.

— Кольт калибра девять и шестьдесят пять.

— На сколько пуль?

— На шесть.

— Вы кого-нибудь убили из него?

— Пока еще нет,— ответил лейтенант.

У ребят захватило дух от восторга. Лейтенант стоял, держа руку на кобуре, и смотрел в карие, внимательные, полные терпения глаза. Вот за кого он борется. Он изгонит из их детства все, что ему самому приносило одно горе,— нищету, суеверие, пороки. Они заслуживают правды о пустой вселенной, о холоде остывающей земли и права на счастье — любое, какого им захочется. Ради них он был готов испепелить весь мир — сначала Церковь, потом иностранцев, потом политиков — даже его начальнику придется когда-нибудь сгинуть. Он начнет жизнь с такими вот ребятами заново — с нуля.

— О-о! — сказал Луис.— Если бы... Если бы я...— Мечты его были так огромны, что на них не хватало слов. Лейтенант протянул руку коснуться, приласкать мальчика и не знал, как это сделать. Он ущип-

нул его за ухо, и Луис отскочил назад — ему было больно. Мальчуганы, как птицы, разлетелись в разные стороны, а лейтенант один пошел через площадь к полицейскому участку — маленький щеголеватый человечек, горящий ненавистью и с тайной любви в сердце. На стене в полиции профиль гангстера все с тем же упорством смотрел на первопричастниц. Кто-то обвел чернилами голову священника, чтобы выделить ее среди девичьих и женских лиц. Его зубы все так же непереносимо скалились в чернильном ореоле. Лейтенант яростно крикнул во двор:

— Есть тут кто-нибудь? — и сел за стол, слушая, как приклады винтовок волочатся по полу.

Часть вторая

Глава 1

Мул вдруг опустился на землю под священником. Ничего удивительного тут не было, потому что они путешествовали по лесам около двенадцати часов Сначала двинулись на запад, но там их встретили слухи о солдатах и они пошли к востоку; в этом направлении действовали «красные рубашки» так что им пришлось повернуть на север и пробираться по болотам, ныряя в тень махагониевых деревьев. Теперь оба они вымотались, и мул взял да и сел под ним. Священник слез с седла и засмеялся. Ему было весело. Странное открытие делает иногда человек — оказывается, что в жизни, какая она ни на есть, бывают и хорошие минуты; всегда найдется возможность для сравнения с худшими временами. Даже когда тебе грозит опасность, даже когда ты несчастен, маятник ходит туда-сюда.

Он осторожно вышел из-за деревьев на заболоченную просеку. Весь штат был такой — река, болота, лесные заросли. Он стал на колени и умылся на предвечернем свету в коричневой луже, которая, точно обливная посуда, отразила круглое, заросшее щетиной, исхудавшее лицо. Это было так неожиданно, что, глядя в воду, он улыбнулся робкой, уклончивой неуверенной улыбкой, точно его застигли врасплох. Раньше он часто разучивал перед зеркалом какой-нибудь жест и знал свое лицо, как знает его актер. Это тоже была одна из форм смирения: лицо у него совсем не подходящее для священника — клоунское, с такой физиономией только и отпускать невинные шуточки в обществе женщин, у алтаря она не годится. И он постарался изменить свое лицо и, кажется, преуспел в этом, положительно преуспел. Теперь меня никто не узнает подумал он, и радость снова опьянила его, как глоток бренди, суля хоть недолгую свободу от страха, одиночества и много еще от чего. Преследования солдат привели его туда, где ему больше всего хотелось быть. Шесть лет он избегал здешних мест, но теперь кто его осудит? Он должен быть здесь, это не сочтется грехом. Он подошел к мулу и легонько пнул его ногой.

— Вставай, мул, вставай.— Маленький тощий человек в рваной одежде впервые за много лет, как обычный крестьянин, ехал к себе домой.

Но даже если б он двинулся к югу и миновал эту деревню — что ж, одним попущением больше. Последние годы были полны таких попущений — сначала он перестал соблюдать церковные праздники и дни поста и воздержания; потом — бревиарий, он уже не так часто открывал свой бревиарий и наконец бросил его в порту во время очередной попытки бежать. За ним исчез и алтарный камень[1] — таскать его за собой стало опасно. Служить обедню без алтарного камня было нельзя. Может, ему грозит лишение сана, но

[1] Плоский камень, на котором католические священники служили литургию.

кары духовные уже казались нереальными в этом штате, где единственной карой была гражданская — смерть. Привычный ход жизни дал трещину, как прорванная плотина, и в нее просачивалась забывчивость, размывая то одно, то другое. Пять лет назад он поддался непростительному греху — отчаянию и теперь с непонятной легкостью на душе возвращался туда, где отчаяние овладело им, потому что и отчаяния не осталось. Священник он плохой — он знал это; таких называют «пьющий падре», но теперь все его прегрешения ушли из сердца и из памяти. Где-то они незаметно скапливаются, эти обломки его прегрешений, и когда-нибудь, наверно, совсем забьют источник благодати. Но пока что он живет, зная, что такое страх, усталость и постыдная легкость на сердце.

Шлепая по грязи, мул вышел на просеку, и они снова углубились в заросли. Теперь отчаяние не терзало его, но это, разумеется, не значило, что он не заслужил проклятия,— просто с годами тайна становилась все непостижимей: проклятый влагает тело господне в уста людей. Каким странным слугой обзавелся дьявол! Его мысли были полны простеньких мифов: архангел Михаил в латах поразил дракона, и ангелы с дивными струящимися кудрями, словно кометы, низвергались в пространство, ибо, по словам одного из отцов церкви, испытали зависть к людям, которым господь уготовал безмерный дар — жизнь. Вот такую жизнь.

Землю здесь, видимо, обрабатывали: попадались пеньки и зола от костров — там, где почва была расчищена под посевы. Он перестал подстегивать мула; им вдруг овладела странная робость... Из хижины вышла женщина и стала смотреть, как он медленно тащится по тропинке на усталом муле. Деревушка была маленькая: вокруг пыльной площади стояло не больше двадцати хижин — все на один лад. Но этот лад был близок его сердцу. Он знал: здесь ему окажут радушный прием, знал, что по крайней мере один человек в этой деревушке не выдаст его полиции. Когда он подъехал к хижине, мул снова сел под ним — на сей раз ему пришлось перевернуться кубарем, чтобы его не примяло. Он поднялся на ноги, а женщина все следила за ним, как за врагом.

— А, Мария,— сказал он.— Ну, как живешь?

— Да это вы! — воскликнула она.— Вы, отец?

Он не смотрел ей в лицо; в его глазах были хитрость и настороженность. Он сказал:

— Ты меня не узнала?

— Вы изменились.— Чуть презрительно женщина оглядела его с головы до ног. Она сказала: — Когда это вы обзавелись такой одеждой, отец?

— Неделю назад.

— А свою куда дели?

— Обменял на эту.

— Зачем? Одежда у вас была хорошая.

— Она очень истрепалась... и в глаза бросается.

— Я бы все починила и спрятала. Не надо было менять. В этой у вас совсем простой вид.

Он улыбнулся, опустив голову, и она выговаривала ему, точно экономка,— как в прежние годы, когда у него, у священника, был дом и были собрания «Детей Девы Марии» и других обществ и приходские сплетни, но только не... Не глядя на нее, он тихо спросил с той же смущенной улыбкой:

— А как Бригитта? — Сердце у него екнуло при звуке этого имени. Грех чреват огромными последствиями. Прошло шесть лет с тех пор, как он был... дома.

— Ничего — живет. А вы что думали?

Ему бы порадоваться, но в этом ответе — прямая связь с его

грехом. Нельзя радоваться тому, что принадлежит его прошлому. Он машинально проговорил:

— Вот и хорошо,— а в сердце его билась мучительная тайная любовь.— Я очень устал,— сказал он.— Около Сапаты полиция чуть было...

— А почему вы не пошли на Монтекристо?

Он с тревогой взглянул на нее. Не такой встречи он ждал. Между хижинами собрались кучкой люди и наблюдали за ним с безопасного расстояния. На площади стояли небольшие полуразвалившиеся подмостки для музыкантов и единственный ларек, где продавалась минеральная вода. Люди вынесли из хижин стулья — посидеть вечером на воздухе. Никто не подошел к нему поцеловать руку, получить благословение. Словно содеянный им грех низвел его в гущу людскую, чтобы он постиг не только отчаяние и любовь, но и то, что человек может быть нежеланным гостем даже в своем собственном доме. Он сказал:

— Там были «красные рубашки».

— Ну что ж, отец,— сказала женщина.— Прогонять вас мы не станем. Пойдемте со мной.— Он покорно шагнул следом за ней, путаясь в своих длинных крестьянских штанах, и счастье стерлось с его лица, а улыбка осталась, как нечто чудом уцелевшее после крушения. На поляне было человек семь-восемь мужчин, две женщины и несколько ребятишек. Он шел мимо этих людей, как нищий. Ему вспомнился последний приход сюда — веселье, тыквенные бутыли, выкопанные из ям... Его прегрешение было все еще свежо, но какую встречу ему оказали! Тогда он появился в их злачной тюрьме, как свой человек, как изгнанник, вернувшийся на родину богачом.

— Это наш священник,— сказала женщина. Может быть, меня просто не узнали здесь, подумал он, выжидая. Они стали подходить к нему один за другим, целовали ему руку и отступали назад, не сводя с него глаз. Он сказал:

— Я рад видеть вас...— и хотел добавить «дети мои», но вдруг решил, что только бездетному дано право называть чужих людей своими детьми. Теперь, подчиняясь родителям, к нему стали подходить один за другим и целовать ему руку настоящие дети. По молодости лет они не помнили, что в прежние времена священники носили черную одежду и глухие воротнички и протягивали для поцелуя холеные, мягкие и покровительственные руки. Они не понимали, почему с таким уважением относятся к крестьянину — такому же, как их отцы. Он не смотрел им в лицо, но все же внимательно наблюдал за ними. Вот две девочки — одна худенькая, изможденная. Сколько ей лет — пять, шесть, семь? Трудно сказать. А другую голод так обточил, что в ней появилось что-то не по годам хитрое и злобное. Из глаз этого ребенка смотрела женщина. Дети молча разбежались; они были чужие ему.

Один из мужчин спросил:

— Вы надолго к нам, отец?

Он ответил:

— Я думал... может, отдохну здесь... несколько дней.

Сказал другой:

— А если вам проехать немного дальше на север, отец,— в Пуэблито?

— Мы с мулом в дороге уже двенадцать часов.

И тут женщина вступилась за него. Она сердито сказала:

— Он заночует здесь. Это самое малое, что мы можем для него сделать.

Он сказал:

— Я отслужу мессу утром,— точно предлагал им взятку, но принято это было с таким смущением, с такой неохотой, точно взятка давалась краденными деньгами.

Кто-то сказал:

— Если вам все равно, отец, тогда рано утром... или, может, ночью...

— Что с вами такое? — сказал он.— Чего вы боитесь?

— Вы разве не слышали?..

— О чем?

— Теперь берут заложников — во всех деревнях, где вы могли быть по их расчетам. И если никто ничего не скажет... тогда расстрел... а потом возьмут других. Так было в Консепсьоне.

— В Консепсьоне? — У него начало дергаться веко — вверх-вниз, вверх-вниз. Столь банальным способом тело выражает волнение, ужас или отчаяние. Он спросил: — Кого? — Они тупо посмотрели на него. Он яростно крикнул: — Кого убили?

— Педро Монтеса.

Он чуть взвизгнул, как собака,— такова нелепая стенография горя. Старенькая девочка засмеялась. Он сказал:

— Почему не схватили меня? Болваны. Почему *меня* не схватили? — Девочка снова засмеялась. Он уставился на нее, ничего не видя перед собой, а только слыша смех. Счастье снова умерло, так и не успев сделать первого вздоха. Он был как женщина с мертворожденным ребенком — скорее похоронить, забыть и завести другого. Может, этот выживет.

— Вы понимаете, отец,— сказал кто-то из мужчин,— почему...

Он чувствовал себя преступником, представшим перед судьями. Он сказал:

— Так лучше, как... падре Хосе в столице? Вы слыхали про него?

Их ответ прозвучал неуверенно:

— Нет, так не надо, отец.

Он сказал:

— Да что я? Этого никому не надо — ни вам, ни мне.— И добавил резко, властно: — Я лягу спать. За час до рассвета разбудите меня... Полчаса на исповедь... Потом месса, и я уйду.

Но куда? В каждой деревне, во всем штате, он будет нежеланным, опасным гостем.

Женщина сказала:

— Пойдемте, отец.

Он вошел следом за ней в маленькую комнатку, где все было сколочено из пустых ящиков — стул, дощатая кровать с соломенной циновкой, короб, покрытый куском материи, на нем — керосиновая лампа. Он сказал:

— Я никого не хочу выживать отсюда.

— Это мое жилье.

Он бросил на нее недоверчивый взгляд:

— А ты где будешь спать?

Он боялся, что женщина посягнет на него, и украдкой следил за ней. Неужели только это и есть в браке — отговорки, и подозрительность, и чувство неловкости? Когда люди на исповеди рассказывали ему о своих любовных делах, неужели только это и было за их признаниями — жесткая кровать, и суетливая женщина, и нежелание говорить о прошлом?..

— Высплюсь, когда вы уйдете.

Свет за лесом начал спадать, и длинные тени деревьев указующим перстом протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина чем-то занялась в другом углу: он слышал, как она скребет земляной пол. Спать он не мог. Значит, долг велит ему бежать отсюда? Не раз пытался он скрыться, и всегда что-то мешало... а здешние люди хотят, чтобы он ушел. Никто не станет удерживать его, никто не скажет, что больна женщина, что умирает старик. Теперь он сам как болезнь.

— Мария,— сказал он.— Мария, что ты там делаешь?

— Я приберегла для вас немножко бренди.

Он подумал: если я уйду, то встречу где-нибудь других священников, они исповедуют меня, я покаюсь, получу отпущение грехов, и снова передо мной будет вечная жизнь. Церковь учит, что первый долг человека — спасти свою душу. В голове у него бродили простые мысли об аде и рае. Жизнь без книг, без общения с образованными людьми вышелушила из его памяти все, кроме простейших понятий о тайне бога.

— Вот,— сказала женщина. В руках у нее была аптекарская бутылочка с бренди.

Если уйти, им ничто не будет грозить и не будет у них перед глазами его примера. Он единственный священник, которого запомнят дети. И от него они почерпнут свое представление о вере. Но ведь именно он, а никто другой, влагал этим людям тело Христово в уста. А если уйти отсюда, тогда бог исчезнет на всем этом пространстве между горами и морем. Не велит ли ему долг остаться здесь — пусть презирают, пусть из-за него их будут убивать, пусть его пример совратит их. Эта задача была неразрешима, непосильна. Он лежал, закрыв глаза руками; на этой широкой болотистой полосе земли нет никого, кто дал бы ему совет, как быть. Он поднес бутылочку ко рту.

Он робко проговорил:

— А Бригитта... Как она... Здорова?

— Ведь вы ее только что видели.

— Не может быть.— Ему не верилось, что он мог не узнать ее. Это превращало в насмешку его смертный грех: разве можно совершить такое, а потом даже не узнать...

— Да она была там.— Мария подошла к двери и крикнула:— Бригитта, Бригитта! — А священник повернулся на бок и увидел, как из внешнего мира, мира страха и похоти, в хижину вошла та маленькая злобная девочка, которая смеялась над ним.

— Подойди к отцу и поговори с ним,— сказала Мария.— Ну, иди.

Он хотел спрятать бутылку, но не знал куда... сжал ее в руке, чтобы она казалась меньше, и посмотрел на девочку, чувствуя, как человеческая любовь сжала его сердце.

— Она знает катехизис,— сказала Мария,— только не захочет отвечать...

Девочка стояла, меряя его острым, презрительным взглядом. Ее зачатие не осветилось любовью; только страх, отчаяние, и полбутылки бренди, и чувство одиночества толкнули его на шаг, казавшийся ему теперь ужасным. И вот что из этого получилось — робкая, стыдливая, захлестнувшая его любовь. Он сказал:

— А почему? Почему ты не хочешь отвечать катехизис? — и забегал глазами по сторонам, не глядя ей в лицо, чувствуя, как сердце, точно старая паровая машина, неровно бьется в груди, в тщетном порыве уберечь эту девочку от... от всего.

— А зачем?

— Так угодно богу.

— Откуда вы знаете?

Великое бремя ответственности легло ему на плечи — бремя, неотделимое от любви. То же самое, подумал он, должно быть, чувствуют все родители. Вот так и проходят по жизни простые люди — скрещивают пальцы, охраняясь от бед, молят бога об избавлении от страданий, всего боятся... А мы избавляем себя от этого недорогой ценой, лишаясь сомнительной телесной услады. Правда, он долгие годы нес ответственность за людские души, но это совсем другое дело... этот груз легче. На бога можно положиться, бог снизойдет, а можно ли ждать снисхождения от черной оспы, от голода, от мужчин...

— Милая моя,— сказал он, крепче сжимая бутылочку в руках.

Он крестил эту девочку в свой последний приход. Она была как тряпичная кукла с морщинистым, старческим лицом — такая, казалось, недолго проживет... Тогда он ничего не чувствовал, кроме сожаления, и даже стыдиться ему было нечего, потому что никто его не корил. Других священников здесь почти не знали — и представление о священническом сане эти люди получали от него. Все, даже женщины.

— Вы тот самый гринго?

— Какой гринго?

Женщина сказала:

— Вот глупая! Это она потому, что полиция искала здесь одного человека.

Странно, разыскивают не только меня, подумал он.

— В чем этот человек провинился?

— Он янки. Убил кого-то на севере.

— А почему его ищут здесь?

— В полиции считают, что он пробирается в Кинтана-Роо — на каучуковые плантации.— Там заканчивали побег большинство преступников в Мексике: на плантациях можно было работать и получать хорошее жалованье и никто тебя не трогал.

— Вы тот самый гринго? — повторила девочка.

— Разве я похож на убийцу?

— Не знаю.

Если уйти из этого штата, значит, и ее оставить, и ее бросить. Он смиренно спросил у женщины:

— А можно мне побыть здесь несколько дней?

— Слишком опасно отец.

Он поймал взгляд девочки, и ему стало страшно. Снова из ее глаз смотрела женщина, задумывающая козни, повзрослевшая до срока, слишком много всего знающая. Он словно видел свой смертный грех, который взирал на него без тени раскаяния. Ему захотелось поговорить с этой девочкой — с девочкой, но не с женщиной. Он сказал:

— Моя милая, в какие игры ты играешь? — Девочка захихикала. Он быстро отвел от нее глаза и посмотрел наверх; под крышей ползал паук. Ему вспомнилась пословица — она возникла из глубин его детства; ее любил повторять его отец: «Нет ничего лучше запаха хлеба, нет ничего вкуснее соли, нет ничего теплее любви к детям». Детство у него было счастливое, только он всего боялся и ненавидел нищету не меньше, чем преступление. Он верил: стану священником и буду богатый и гордый — это называлось иметь призвание. Какой длинный путь проходит человек по жизни — от первого волчка и вот до этой кровати, на которой он лежит, сжимая в руке бутылочку с бренди! А для бога это лишь мгновение. Хихиканье девочки и первый смертный грех ближе друг к другу, чем два взмаха ресниц. Он протянул к ней руку, словно силой можно было отторгнуть ее от... от чего? Но такой силы у него нет. Мужчина или женщина, которые постараются окончательно развратить этого ребенка, может, еще не родились. Как уберечь ее от того, что еще не существует?

Она отскочила назад и показала ему язык. Женщина сказала:

— Ах ты, чертенок! — и занесла руку.

— Не надо,— сказал священник.— Не надо! — Он приподнялся и сел на кровати.— Не смей...

— Я ей мать.

— Нет у нас такого права.— Он сказал девочке: — Будь у меня карты, я бы научил тебя фокусам. А ты бы показывала их своим друзьям...— Никогда он не умел говорить с детьми, разве только с кафедры. Девочка смотрела на него нагло. Он сказал:— А ты умеешь сигнализировать стуком — длинный короткий длинный?

— Да что это вы, отец! — воскликнула женщина.

— Это такая детская игра. Я знаю.

Он спросил девочку:

— А друзья у тебя есть?

Она снова прыснула, глядя на него всепонимающим взглядом. Тельце у нее было как у карлицы; в нем пряталась отталкивающая зрелость.

— Уходи отсюда,— сказала женщина.— Уходи, пока я тебя не проучила.

Она состроила напоследок дерзкую и злобную гримасу и ушла — от него, может быть, навсегда. С теми, кого любишь, не всегда прощаешься мирно, в дымке ладана у их смертного одра.

Он сказал:

— Можем ли мы чему-нибудь научить?..— и подумал о том, что вот он умрет, а она будет жить. Его ждут адские муки — видеть, что эта девочка унаследовала отцовские пороки, как туберкулез, и катится все ближе и ближе к отцу сквозь унизительные годы позора. Он лег на кровать, отвернувшись от проникающего в хижину света, и притворился спящим, хотя заснуть не мог. Женщина занималась своими мелкими делами, а когда солнце зашло, в комнату налетели москиты, безошибочно, как матросские ножи, вонзаясь в свою цель.

— Повесить сетку, отец?

— Нет, не нужно.— За последние десять лет его столько раз трепала лихорадка, что он потерял счет приступам и перестал остерегаться. Приступы начинались и проходили, ничего не меняя в его жизни,— они стали частью его обихода. Потом женщина вышла на улицу и стала судачить с соседками. Он удивился и даже почувствовал облегчение, видя такую способность все забывать. Семь лет назад каких-нибудь пять минут они были любовниками, если таким словом можно назвать их отношения — ведь она ни разу не обратилась к нему по имени. Для нее это был всего лишь короткий эпизод, царапина, быстро зажившая на здоровом теле; она даже гордилась тем, что была любовницей священника. Он один носил свою рану — для него тогда будто наступил конец мира.

На улице было темно — ни малейших признаков рассвета. Человек двадцать сидели на земляном полу самой большой хижины и слушали его. Он с трудом различал их; огоньки свечей, прилепленных к ящику, тянулись вверх — дверь была закрыта, и ветерок не проникал в хижину. В поношенных крестьянских штанах и рваной рубашке он стоял между людьми и свечами и говорил о райском блаженстве. Люди покашливали и беспокойно ерзали на месте; он знал, что они ждут не дождутся конца службы; его разбудили очень рано, так как, по слухам, полицейские были близко.

Он говорил:

— Один из отцов церкви сказал нам, что радость всегда связана со страданием. Страдание — это часть радости. Нас мучает голод, и вспомните, какое это наслаждение, когда мы наконец можем насытиться. Мы жаждем...— Он замолчал, приглядываясь к людским теням, ожидая, что сейчас послышатся едкие смешки, но никто не засмеялся. Он сказал:— Мы лишаем себя многого, чтобы потом насладиться. Вы слышали о богачах в северных странах, которые едят соленое, чтобы возжаждать того, что называется у них коктейль. До свадьбы, после помолвки, проходит долгий срок, и...— Он снова замолчал. Он недостоин — это чувство гирей висело у него на языке. В хижине запахло горячим воском: одна свеча подтаяла в нестерпимой ночной жаре. Люди ерзали на жестком полу. Тяжелый дух от давно не мытых человеческих тел забивал запах воска. Голос его зазвучал упрямо, властно:— Вот почему я говорю вам: рай здесь, на земле. Ваша

жизнь есть часть райского блаженства, точно так же, как страдание есть часть радости. Молитесь, чтобы господь посылал вам все больше и больше страданий. Не гоните от себя страдания. Полиция, которая следит за вами; солдаты, которые собирают с вас налоги; хефе, который бьет вас, когда вы по бедности не можете платить ему; черная оспа лихорадка, голод... все это приближает вас к райскому блаженству. Как знать, может, не испытав всего этого, вы не вкусите блаженства полностью. Оно будет незавершенным. А райские кущи? Что такое райские кущи? — Гладкие, литературные фразы, пришедшие к нему на память из другой жизни — строгой, размеренной жизни в семинарии — путались у него на языке. Названия драгоценных камней. Иерусалим золотой. Но эти люди никогда не видали золота.

Он продолжал, запинаясь:

— Рай там, где нет ни хефе, ни несправедливых законов, ни налогов, ни солдат, ни голода. И дети ваши не умирают в раю.— Дверь приоткрылась, и кто-то проскользнул в хижину. В темноте, куда не достигал свет послышался шепот.— На небесах нечего бояться, там ничто вам не будет грозить. Там нет «красных рубашек». Там нет старости. Там никогда не гибнет урожай. Да, легко перечислить все, чего *не будет* в раю. А что там есть? Господь. Что такое господь, понять трудно. Слова обозначают лишь то, что мы познаем нашими чувствами. Мы говорим «свет», но видим солнце, мы говорим «любовь»...— Ему трудно было сосредоточиться: полицейские уже близко. Тот человек, наверно, пришел предупредить.— Любовь, может быть,— это только ребенок...— Дверь снова приоткрылась; он увидал день, занимавшийся снаружи, серый, как грифельная доска. Чей-то голос настойчиво шепнул ему:

— Отец.

— Да?

— Полицейские близко, за милю отсюда, идут лесом.

Он уже привык к этому — слова, сказанные впустую, скомканный конец мессы, ожидание мук, которые станут между ним и верой. Он упрямо проговорил:

— И прежде всего запомните: рай здесь, на земле.— Верхом они или пешие? Если пешие, тогда у него осталось двадцать минут на то, чтобы кончить мессу и скрыться.— Здесь в эту самую минуту ваш страх и мой страх — часть райского блаженства, когда страх уйдет от нас на веки вечные.— Он повернулся к ним спиной и стал быстро читать «Верую». И вспомнил, как служил мессу, трепеща от ужаса,— это было в тот раз, когда впервые после содеянного смертного греха ему пришлось вкушать тело и кровь господню. Но потом жизнь нашла для него оправдание — в конце концов, не так уж было важно, лежит ли на нем проклятие или нет, лишь бы люди...

Он поцеловал край ящика, повернулся к молящимся, благословляя их... и разглядел в неверном свете двух мужчин, которые опустились на колени, раскинув руки крестом. Так они и простоят, пока не совершится освящение даров,— еще одно страдание в их суровой, мучительной жизни. Он сокрушенно подумал, что эти простые люди несут свои муки добровольно; его же муки навязаны ему силой.

— Господи, возлюбил я великолепие дома твоего...

Свечи сильно чадили, молящиеся переминались на коленях. И глупое счастье снова вспыхнуло в нем, обгоняя страх. Словно ему было дозволено взглянуть на тех, кто населяет небеса. У них, наверно, и должны быть такие вот испуганные, смирные изможденные лица. На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить с этими людьми о страдании, не кривя душой, ибо гладкому, сытому священнику трудно восхвалять нищету. Он стал молиться; длинный перечень апостолов и великомучеников звучал, как чьи-то мерные шаги,— «Корнелия, Киприана, Лаврентия, Хризо-

гона»; скоро полицейские дойдут до просеки, где мул сел под ним и где он умывался в луже. Латинские слова перебивали одно другое в его торопливой речи. Он чувствовал вокруг нетерпение и приступил к освящению даров (облатки у него давно кончились — вместо них Мария дала ему кусок хлеба). Нетерпение вокруг разом исчезло. С годами все потеряло для него смысл, кроме: «Кто в канун дня своих страданий взял хлеб в святые и досточтимые руки свои...» Пусть те движутся там по лесной тропе, здесь, в хижине, никакого движения не было. «Hoc est enim Corpus Meum»[1]. До него донеслись облегченные вздохи. Господь снизошел к ним во плоти — впервые за последние шесть лет. Вознеся святые дары, он увидел перед собой запрокинутые назад головы, точно это были не люди, а изголодавшиеся собаки. Он освятил вино в щербатой чашке. Вот еще одно попущение — два года он носил с собой настоящую чашу. Однажды чаша эта чуть не стоила ему жизни, но полицейский офицер, который открыл его портфель, был католик Возможно, это стоило жизни самому офицеру, если кто-нибудь обнаружил, что он не выполнил своего долга. Как знать? Творишь мучеников на своем пути — и в Консепсьоне, и в других местах,— а сам не достоин даже смерти.

Освящение прошло в тишине, колокольчик не звенел. Измучившись, не имея сил прочитать молитву, он стал на колени перед ящиком. Кто-то приоткрыл дверь; послышался настойчивый шепот:

— Пришли.

Значит, не пешие, мелькнуло у него в голове. Где-то в полной тишине рассвета — не дальше, чем за четверть мили отсюда,— заржала лошадь.

Он поднялся с колен — рядом с ним стояла Мария. Она сказала:

— Скатерку, отец, дайте мне скатерку.— Второпях он сунул причастный хлеб себе в рот и выпил вино: нельзя допускать святотатства. Скатерть с ящика исчезла мгновенно. Мария затушила свечи пальцами, чтобы не осталось запаха; хижина опустела, только хозяин ее задержался у входа поцеловать ему руку. Мир за дверью был едва различим, где-то в деревне запел петух.

Мария сказала:

— Идемте ко мне, скорее.

— Нет, я уйду.— Он не знал, что ему делать.— А то найдут здесь.

— Деревню окружили.

И это конец? — подумал он. Страх затаился, прежде чем броситься на него, но он еще не боялся. Он побежал следом за женщиной через всю деревню, машинально твердя на бегу слова покаяния. Когда же придет страх? — думал он. Ему было страшно, когда полицейский открыл его портфель, но с тех пор миновало много лет. Ему было страшно прятаться среди бананов в сарае и слушать, как девочка спорит с полицейским офицером,— с тех пор миновало лишь несколько недель. Страх, конечно, и на этот раз охватит его. Полицейских не было видно — только серое утро да куры с индейками хлопают крыльями, слетая с деревьев на землю. Вот опять запел петух. Если полицейские действуют с такой осторожностью, значит, у них нет ни малейших сомнений, что он здесь. Значит, конец.

Мария дернула его за рукав.

— Входите. Скорее. Ложитесь.— Она, видимо, что-то задумала — женщины народ невероятно практичный: сразу же строят новые планы на развалинах старых. Но какой в этом смысл? Она сказала: — Дыхните. О, господи, всякий учует... вино... для чего нам могло понадобиться вино? — И снова скрылась в хижине, подняв там суетню, разрушающую безмолвие и покой рассвета. Вдруг из лесу, ярдах в ста от деревни, появился офицер на лошади. Он обернулся назад,

---

[1] Сие есть тело мое *(лат.)*.

махнул рукой, и они услышали в мертвой тишине скрип его кобуры.

На маленькую просеку со всех сторон выходили полицейские. Они шли, видимо, очень быстро, потому что верхом на лошади ехал только офицер. Волоча винтовки по земле, полицейские двинулись к небольшой кучке хижин, без нужды и довольно нелепо демонстрируя свою силу. У одного размоталась обмотка — наверно, задел за что-нибудь в лесу. Он наступил на нее и упал, стукнув патронташем о ружейную ложу; лейтенант взглянул на него и тут же обратил свое сумрачное, гневное лицо на затихший поселок.

Женщина тащила священника в хижину. Она сказала:

— Откусите. Скорей. Времени мало...— Он повернулся спиной к надвигающимся полицейским и вошел в сумрак ее жилья. В руке у Марии была маленькая луковица.— Откусите,— повторила она. Он откусил, и слезы полились у него из глаз.— Что, лучше? — спросила она. Копыта лошади осторожно — тук, тук — ступали между хижинами.

— Ужасно,— сказал он и хихикнул.

— Дайте.— Луковица исчезла у нее за пазухой. Эта уловка, видимо, была известна всем женщинам. Он спросил:

— Где мой портфель?

— Забудьте про него. Ложитесь.

Но не успел он двинуться с места, как проем двери загородила лошадь; они увидели ногу в сапоге для верховой езды; блеснули медные бляшки; на высокой седельной луке лежала рука в перчатке. Мария коснулась его плеча — самое большее, что она могла позволить себе; нежность была у них под запретом. Кто-то крикнул:

— Выходите! Все выходите! — Лошадь ударила копытом и подняла маленький столбик пыли.— Вам говорят, выходите! — Где-то раздался выстрел. Священник вышел из хижины.

Теперь уже светало по-настоящему; в небе распустились легкие цветные перышки. Полицейский все еще держал винтовку дулом вверх; из дула поднимался серый дымок. Так вот как начинается предсмертная агония?

Из всех хижин неохотно выходили люди — дети выбежали первыми: им было любопытно и совсем не страшно. Взрослые шли с обреченным видом, подчиняясь власти: власть всегда права. На священника никто не смотрел. Они стояли, глядя себе под ноги, и ждали, что последует дальше. Дети глазели только на лошадь, будто это было самое интересное здесь.

Лейтенант сказал:

— Обыскать хижины.— Время тянулось медленно; даже дымок из винтовки неестественно долго держался в воздухе. Из свинарника с хрюканьем вышла свинья; в середину людского круга, распушив свои пыльные перья и мотая длинной розовой пленкой, со злобным чванством проследовал индюк. К лейтенанту подошел полицейский и небрежно отдал ему честь. Он сказал:

— Все здесь.

— Ничего подозрительного не обнаружили?

— Ничего.

— Обыщите еще раз.

Время опять остановилось, как испортившиеся часы. Лейтенант вынул из кармана портсигар, повертел его в руках и сунул обратно. И снова подошел к нему полицейский и доложил:

— Ничего.

Лейтенант рявкнул:

— Внимание! Слушайте меня.— Кольцо полицейских сомкнулось, сгоняя людей к лейтенанту,— только детей не тронули Священник увидел, что его дочь стоит рядом с лейтенантской лошадью; она могла достать только чуть повыше его сапога и, протянув руку, до-

тронулась до кожаного голенища. Лейтенант сказал:— Я разыскиваю двоих — один иностранец, янки, убийца. Янки здесь нет, это я вижу. За его поимку назначено пятьсот песо. Так что не зевайте.— Он помолчал и обвел всех взглядом; священник почувствовал, что глаза остановились на нем; как и остальные, он смотрел себе под ноги.— Другой,— сказал лейтенант,— священник.— Он повысил голос: — Вы понимаете, что такое священник? Предатель республики Каждый, кто укроет его, тоже предатель.— Их неподвижность выводила лейтенанта из себя. Он сказал: — Если вы верите словам этих священников, значит, вы глупцы. Им нужно от вас только одно — деньги. Чем помог вам бог? Вы сами сыты? А дети ваши сыты? Вместо того чтобы насытить вас, священники разглагольствуют о царстве небесном. Вот умрете, говорят они, и все будет прекрасно. А я говорю вам — все будет прекрасно, когда *они* умрут, и поэтому вы должны нам помочь.— Девочка не снимала руки с его сапога. Во взгляде, которым лейтенант посмотрел на нее, была затаенная нежность. Он убежденно проговорил:— Этот ребенок стоит большего, чем папа римский.— Полицейские стояли, опершись о винтовки; один зевнул. Индюк с громким шипением проследовал назад, к хижинам. Лейтенант сказал:— Если вы видели этого священника, говорите. Вознаграждение семьсот песо.

Все молчали.

Лейтенант дернул лошадь за уздцы и повернул ее головой к ним Он сказал:

— Нам известно, что он в этих местах. Вы, может, не знаете, что случилось с человеком из Консепсьона? — Одна женщина заплакала. Он сказал: — Подходите ко мне по очереди и называйте свое имя. Нет, не женщины — мужчины.

Они хмуро потянулись к нему цепочкой, и он спрашивал их:

— Как зовут? Чем занимаешься? Женат? Которая твоя жена? Ты слышал про этого священника? — Только один человек оставался теперь между священником и головой лошади. Священник начал читать про себя покаянную молитву, почти не вдумываясь в слова:

— ...мои прегрешения, ибо они распяли Спасителя нашего на кресте... и что еще тяжелее, ими я оскорбил...— Теперь он один стоял перед лейтенантом.— Обещаю отныне никогда больше не оскорблять Тебя...— Это были всего лишь слова, но ведь человеку надо как-то подготовиться. С таким же успехом он мог написать завещание — вероятно, столь же бесполезное.

— Как зовут?

Он вспомнил расстрелянного из Консепсьона и сказал:

— Монтес.

— Видел этого священника?

— Нет.

— Чем занят?

— У меня немного земли.

— Женат?

— Да.

— Которая твоя жена?

И вдруг заговорила Мария:

— Это я. Что вы все спрашиваете и спрашиваете! Похож он, по-вашему, на священника?

Лейтенант стал разглядывать что-то, лежавшее у него на седельной луке,— какую-то затрепанную фотографию.

— Покажи руки,— сказал он.

Священник поднял их; они были заскорузлые, как у рабочего. Лейтенант вдруг наклонился с седла и потянул носом, принюхиваясь к его дыханию. Люди хранили полное молчание — зловещее молчание. Лейтенант почувствовал в нем страх. Он присмотрелся к исхудалому, покрытому щетиной лицу и снова посмотрел на фотографию.

— Ладно,— сказал он.— Следующий,— и лишь только священник отступил в сторону, добавил: — Подожди.— Он положил руку Бригитте на голову и осторожно потянул ее за жесткие черные волосы: — Взгляни на меня. Ты ведь всех здешних знаешь?

— Да,— сказала она.

— Кто этот человек? Как его зовут?

— Не знаю,— сказала девочка. Лейтенант затаил дыхание:

— Не знаешь как его зовут? Он чужой?

Мария вскричала:

— Да она даже своего имени не знает! Спросите у нее, кто ей отец.

Девочка посмотрела лейтенанту в лицо, потом перевела свои хитрые глаза на священника.

— Прости же мне все мои прегрешения,— повторял он про себя, скрестив пальцы на счастье. Девочка сказала:

— Вот этот. Вот он.

— Хорошо,— сказал лейтенант.— Следующий.— Опрос продолжался: — Как зовут? Работаешь? Женат? — А солнце все выше поднималось над лесом. Священник стоял, сжав перед собой руки; смерть снова отступила на какое-то время. Его терзало искушение броситься лейтенанту в ноги и признаться: «Я тот, кого вы ищете». И тогда расстреляют тут же, на месте? Его манил обманчивый соблазн покоя. Высоко в небе дежурил стервятник; с такой высоты люди, должно быть, как две стаи плотоядных зверей, готовых в любую минуту броситься друг на друга, и стервятник крошечной черной точкой маячил в небе, дожидаясь падали. Смерть еще не конец мучениям, вера в покой — это ересь.

Последний человек прошел допрос.

Лейтенант сказал:

— Так никто не хочет нам помочь?

Люди молча стояли у полуразвалившихся подмостков. Он сказал:

— Вы слышали, что было в Консепсьоне? Мы взяли там заложника. А когда выяснилось, что священник был в тех местах, я расстрелял того человека у ближайшего дерева. А узнали мы это потому, что всегда найдется кто-нибудь, кто вдруг передумал. Может, он любил жену того человека и хотел убрать его с пути. Доискиваться до причин не мое дело. Но что я знаю, то знаю — потом мы нашли вино в Консепсьоне. Может, и в вашей деревне есть человек, который зарится на чью-то землю или на корову. Лучше говорите сразу, потому что здесь я тоже возьму заложника.— Он помолчал Потом начал снова: — Если он среди вас, тогда и говорить ничего не надо. Посмотри на него. Никто не узнает, что это ты его выдал. И он сам ничего не узнает... если ты боишься его проклятий. Ну... это ваша последняя возможность.

Священник стоял, опустив голову,— он не хотел затруднять того, кто его выдаст.

— Хорошо,— сказал лейтенант.— Тогда придется мне выбрать заложника Вы сами на себя это навлекли.

Он сидел в седле и смотрел на них. Прислонив винтовку к подмосткам, полицейский поправлял спустившуюся обмотку Люди по-прежнему стояли, опустив головы; они боялись встретиться взглядом с лейтенантом. И вдруг он взорвался:

— Почему вы не доверяете мне? Я никого не хочу убивать. Неужели вам непонятно — в моих глазах вы все стоите большего, чем он Я готов...— Он широко развел руки, но этот жест пропал, потому что никто его не видел.— Я готов дать вам все.— И проговорил тусклым голосом. — Ты. Вот ты. Я возьму тебя.

— Это мой сын Это Мигель. Не берите моего сына,— пронзительно закричала одна из женщин.

Он проговорил таким же тусклым голосом:

— Каждый здесь чей-нибудь муж или чей-нибудь сын. Это я знаю.

Священник молчал, сжав руки; пальцы у него побелели. Он чувствовал, что вокруг начинает расти ненависть, потому что он никому здесь не приходился ни мужем, ни сыном. Он сказал:

— Лейтенант...

— Что тебе?

— Я уже стар, мне не под силу работать в поле. Возьмите меня.

Из-за угла хижины, никого не остерегаясь, выбежало несколько свиней. Полицейский поправил свою обмотку и выпрямился. Солнце, выходившее из-за леса, подмигивало лучами на бутылках минеральной воды в ларьке.

Лейтенант сказал:

— Я беру заложника, а не предлагаю даровой стол и жилье лентяям. Если ты не годен в поле, так и в заложниках тебе нечего делать.— Он скомандовал: — Свяжите ему руки и уведите отсюда.

Полицейским не понадобилось много времени, чтобы убраться из деревни,— они взяли с собой двух-трех куриц, индюшку и человека по имени Мигель. Священник сказал вслух:

— Я сделал все что мог. Это ваше дело — выдать меня. Чего вы ждали? Мое дело — не попасться.

Один из крестьян сказал:

— Ничего, отец. Только вы уж посмотри́те... не осталось бы после вас вина... Как в Консепсьоне.

Другой сказал:

— Нельзя вам здесь оставаться, отец. В конце концов вас все равно поймают. Они не забудут вашего лица. Идите лучше на север, в горы. Через границу.

— Там, через границу, хороший штат,— сказала какая-то женщина.— У них все еще есть церкви. Ходить в них, конечно, нельзя, но они стоят, как стояли. Говорят, будто в городах даже есть священники. Одна моя родственница перешла через горы в Лас-Касас и слушала там мессу — в чьем-то доме, с настоящим алтарем, и священник был в облачении, как в прежние времена. Там вам будет хорошо, отец.

Священник пошел за Марией к ней в хижину. Бутылочка с бренди лежала на столе; он коснулся ее кончиками пальцев — бренди в ней оставалось на дне. Он сказал:

— А мой портфель, Мария? Где мой портфель?

— С ним опасно теперь ходить,— сказала Мария.

— А в чем же я понесу вино?

— Вина больше нет.

— Как так?

Она сказала:

— Я не хочу навлекать беду ни на вас, ни на других людей. Бутылку я разбила. Пусть на меня ляжет проклятие за это.

Он сказал мягко и грустно:

— Нельзя быть такой суеверной. Это же обыкновенное вино. В вине нет ничего священного. Только его трудно достать здесь. Вот почему у меня был запас в Консепсьоне. Но его нашли.

— Теперь, может, вы уйдете — совсем уйдете? Вы здесь больше никому не нужны,— яростно проговорила она.— Неужели это непонятно, отец? Вы нам больше не нужны.

— Да, да,— сказал он — Понимаю. Но разве дело в том, что вам нужно.. или что мне нужно...

Она со злостью сказала:

— Я кое в чем разбираюсь Недаром ходила в школу. Я не как остальные — они темные Вы плохой священник Мы с вами были вместе, но это не единственный ваш грех. До меня доходили кое-ка-

кие слухи. Вы думаете, бог хочет, чтобы вы остались здесь и погибли, вы, пьющий падре? — Он стоял перед ней так же, как перед лейтенантом, и терпеливо слушал. Вот, значит, какая она, эта женщина. Она сказала: — Ладно, вас расстреляют. Значит, умрете мучеником? Хороший же из вас получится мученик. Смех, да и только.

Ему никогда не приходило в голову, что его могут счесть мучеником. Он сказал:

— Мученик... это очень трудно. Я об этом подумаю. Я не хочу, чтобы над Церковью насмехались.

— Вот перейдете границу, тогда и думайте.

— Да...

Она сказала:

— Когда у нас с вами было то самое, я гордилась. Ждала — вот вернутся прежние времена... Не каждая женщина может стать любовницей священника. А ребенок... Я надеялась, что вы много чего сделаете для нее. Но пользы от вас как от вора...

Он рассеянно проговорил:

— Среди воров было много хороших людей.

— Уходите отсюда, ради всего святого! И заберите ваше бренди.

— Там кое-что было,— сказал он.— У меня в портфеле были...

— Тогда ищите свой портфель на свалке. Я и пальцем до него не дотронусь.

— А девочка? — сказал он.— Ты хорошая женщина, Мария... Я вот о чем: сделай все, чтобы она выросла... истинной христианкой.

— Из нее ничего путного не получится, это и сейчас видно.

— Не может она быть такой уж дурной... в ее-то возрасте,— умоляюще проговорил он.

— С чего начала, тем и кончит.

Он сказал:

— Следующую мессу я отслужу за нее.

Мария уже не слушала его. Она сказала:

— Девчонка дрянная, насквозь дрянная.

Он чувствовал, как вера умирает здесь, в тесноте между кроватью и дверью. Месса скоро будет значить для людей не больше черной кошки, перебежавшей дорогу. Он рисковал их жизнью ради того, что было для них простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенных пальцев. Он начал было:

— Мой мул...

— Ему засыпали кукурузы,— сказала она, потом добавила: — И уходите к северу. На юге уже опасно.

— Я думал, может, в Кармен...

— Там ведут слежку.

— Ну что ж...— Он грустно сказал: — Вот жизнь немножко наладится, тогда, может быть...— И, сделав знак креста в воздухе, благословил ее, но она стояла перед ним, еле сдерживая нетерпение, и ждала, когда же он уйдет отсюда навсегда.

— Ну что ж, прощай, Мария.

— Прощайте.

Сгорбившись, он пошел через площадь. Он чувствовал, что все до одного в этой деревне с радостью следят за его уходом — уходом смутьяна, которого они из суеверия или по каким-то другим непонятным причинам не захотели выдать полиции. Он завидовал тому гринго — его бы они заманили в ловушку со спокойной душой. Этому человеку по крайней мере не надо таскать за собой бремя благодарности.

Внизу под откосом, изрытым копытами мулов и вкривь и вкось перерезанным древесными корнями, текла река фута в два глубиной. На берегу валялись пустые консервные банки и битое стекло. Под прибитой к дереву надписью: «Мусор выбрасывать запрещается» — громоздилась куча отбросов со всей деревни, постепенно сползающая

в реку. Когда начнутся дожди, это все унесет водой. Он ступил на груду банок и гнилых овощей, поднял свой портфель и вздохнул: портфель был хороший — тоже память о прежних мирных днях. Пройдет месяц-другой, и не вспомнишь, что когда-то жизнь шла совсем по-иному. Замок был сорван; он просунул руку под шелковую подкладку...

Бумаги оказались на месте; он с сожалением бросил свой портфель в кучу мусора. Вся его молодость, полная такого значения и милая его сердцу, канула среди консервных банок. Этот портфель он получил в подарок от прихожан в Консепсьоне к пятой годовщине своего рукоположения... За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора под гуденье мух, поднявшихся с кучи, и, зажав бумаги в руке, обошел ствол — посмотреть, кто за ним подглядывает. Девочка сидела на корне и постукивала о него пятками. Глаза у нее были крепко зажмурены Он сказал:

— Милая, кто тебя обидел? — Глаза открылись — злые, покрасневшие — и со смехотворной гордостью посмотрели на него.

Она сказала:

— Ты... ты.

— Я?

— Ты меня обидел.

Он шагнул к ней с величайшей осторожностью, точно это был пугливый зверек. Щемящее чувство разлило слабость по всему его телу. Он сказал:

— Я? Чем же?

Она злобно сказала:

— Они смеются надо мной.

— Из-за меня?

Она сказала:

— У каждого есть отец... он работает.

— Я тоже работаю.

— Ты ведь священник?

— Да.

— Педро говорит, ты не мужчина. Женщине с тобой делать нечего.— Она сказала: — Я не понимаю, что это значит.

— Он, видно, сам не понимает.

— Нет, понимает,— сказала она.— Ему десять лет. И я тоже хочу понять. Ты уходишь от нас?

— Да.

Она выхватила улыбку из своего обширного, разнообразного запаса, и он снова ужаснулся ее зрелости.

— Скажи мне...— прошептала она, словно ластясь к нему. Она сидела на корне рядом с кучей мусора, и в ней была какая-то отчаянная удаль. Жизнь уже отметила ее червоточиной. Эта девочка безоружна, у нее нет ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце у него заныло, предчувствуя утрату. Он сказал:

— Милая, береги себя...

— От чего? Почему ты уходишь?

Он подошел к ней чуть поближе, думая: может же человек поцеловать свою дочь. Но она отскочила назад.

— Не смей меня трогать,— пискнула она своим старческим голоском и захихикала. Он подумал: дети родятся со смутным ощущением любви они впитывают ее с молоком матери, но от их родителей, от их друзей зависит, какая это будет любовь — та, что спасает, или та что губит Похоть тоже своего рода любовь. Он уже видел, как она запутывается в жизни, точно муха в паутине; рука Марии, поднятая для удара Педро, в сумраке нашептывающий то, что ей еще рано знать, и полиция, обшаривающая лес,— всюду насилие. Он стал беззвучно молиться:

— Господи, навлеки на меня любую смерть — без покаяния, в грехе,— только спаси этого ребенка.

Ему надлежало спасать души; когда-то все это казалось так просто — читать проповеди, организовывать религиозные общества, пить кофе с пожилыми дамами в гостиных с зарешеченными окнами, освящать новые дома, чуть помахивая кадилом, носить черные перчатки... Легче легкого, все равно что копить деньги. Теперь это стало для него тайной. Он сознавал свою полную непригодность.

Он опустился на колени и потянул девочку к себе, а она захихикала и стала отбиваться от него. Он сказал:

— Я люблю тебя. Я твой отец, и я люблю тебя. Пойми, пойми! — Он крепко держал ее за руки, и она вдруг затихла, глядя ему в лицо. Он сказал: — Я бы жизнь отдал, нет, этого мало — душу... Милая, милая, постарайся понять, как ты... как ты много значишь! — Вот в чем разница между его верой и верой тех, других: политические вожди народа пекутся лишь о делах государства, республики, а судьба этого ребенка важнее всего континента. Он сказал: — Береги себя, ведь ты так... так нужна. Президент в столице ездит под охраной вооруженных солдат, но тебя, дитя мое, охраняют все ангелы небесные.— Ее глаза — темные, бессмысленные — смотрели на него в упор. И он понял, что пришел слишком поздно.— Прощай, милая,— сказал он и неловко поцеловал ее. Глупый, ослепленный любовью стареющий человек разжал руки и поплелся назад к площади, чувствуя, как за его сгорбленными плечами грязный мир со всех сторон обступает эту девочку, чтобы погубить ее. Мул, оседланный, стоял у ларька с минеральной водой.

— Идите на север, отец,— сказал какой-то человек и помахал ему вслед рукой. Нельзя обременять себя привязанностями, а вернее, надо любить каждую человеческую душу, как свое дитя. Стремление спасти, охранить должно распространяться на весь мир, но оно, словно больное животное, было опутано по ногам и привязано веревкой к дереву. Он повернул мула на юг.

Он ехал буквально по следам полицейского отряда. Если не торопиться и не обгонять отставших, такой путь будет более или менее надежным. Теперь ему надо только достать вино, и вино виноградное; без него он никому не нужен. Тогда уж действительно лучше уйти на север и через горы пробраться в тот благополучный штат, где в крайнем случае на него наложат штраф и на несколько дней посадят в тюрьму, потому что уплатить ему будет нечем. Время окончательной капитуляции еще не настало; он готов был идти на мелкие капитуляции и расплачиваться за них новыми страданиями; к тому же теперь его одолевала потребность принести хоть какую-нибудь жертву за свою дочь. Он останется здесь еще на месяц, еще на год... Трясясь по лесам на муле, он в виде подкупа давал обещание господу сохранять твердость духа... Мул вдруг уперся копытами в землю и стал намертво: крохотная зеленая змейка поднялась на тропинке во весь рост и с шипением, как горящая спичка, скрылась в траве. Мул пошел дальше.

Когда они приближались к какой-нибудь деревне, он останавливал мула и подходил к хижинам, насколько хватало смелости, пешком — ведь тут могли сделать остановку полицейские,— а потом быстро проезжал дальше, ни с кем не заговаривая, а только бросая встречным «Buenos dias», и на лесной тропинке снова разыскивал след подков лейтенантской лошади. В голове у него было пусто — ни одной ясной мысли, хотелось лишь как можно дальше уйти от той деревни, где он ночевал. Спасенные из портфеля бумаги он по-прежнему сжимал в кулаке. Кто-то привязал ему к седлу гроздь бананов штук в пятьдесят, и еще у него было мачете и мешочек с запасом

свечей; время от времени он съедал по одному банану — спелому, сочному, с коричневой шкуркой и отдающему на вкус мылом. На верхней губе от банана оставался след, похожий на усы.

Через шесть часов он добрался до Ла Канделарии — деревушки, стоявшей на берегу одного из притоков реки Грихальвы: длинный ряд убогих домишек, крытых жестью. Он осторожно выехал на пыльную улицу — было уже за полдень. Стервятники сидели на крышах, спрятав от солнца свои маленькие головки; в узких полосах тени от домишек лежали в гамаках несколько человек. Устав после трудного перехода, мул ступал медленно. Священник сидел в седле, склонившись на луку.

Мул по собственной воле остановился у одного из гамаков; в нем, опустив одну ногу на землю, лежал наискось человек и раскачивал гамак взад-вперед, взад-вперед, создавая легкое движение воздуха. Священник сказал:

— Buenas tardes[1].

Человек открыл глаза и посмотрел на него.

— До Кармен далеко отсюда?

— Три лиги.

— А тут можно достать лодку — переправиться через реку?

— Да.

— Где?

Человек лениво махнул рукой, как бы говоря: где угодно, но не здесь. Во рту у него было только два зуба — два желтых клыка, торчавших по углам губ, точно у давно вымершего животного, из тех, что находят в глубинах земли.

— Что здесь понадобилось полицейским? — спросил священник, и тут мухи тучей облепили шею мула. Священник согнал их палкой, они тяжело поднялись, оставив после себя тонкие струйки крови, и снова облепили грубую серую шкуру. Мул, казалось, ничего не чувствовал и, повесив голову, стоял на солнцепеке.

— Ищут кого-то,— сказал человек.

— Я слышал,— сказал священник,— будто за... за поимку гринго обещано вознаграждение.

Человек покачивался в гамаке. Он сказал:

— Лучше быть живым и бедным, чем богатым, но мертвым.

— Догоню я их, если пойду на Кармен?

— Они не в Кармен пошли.

— Разве?

— Они идут в город.

Священник двинулся дальше; проехав ярдов двадцать, он остановил мула у ларька с минеральной водой и спросил продавца:

— Можно здесь достать лодку? Мне надо на тот берег.

— Лодки нет.

— Нет лодки?

— Ее украли.

— Налей мне сидрала.— Он выпил желтоватую, пузыристую жидкость с химическим привкусом; от нее еще больше захотелось пить. Он сказал: — Как же мне переправиться?

— Зачем это тебе?

— Я еду в Кармен. А как переправились полицейские?

— Вплавь.

— Mula, mula,— сказал священник, понукая мула, и поехал мимо неизбежных в каждой деревне подмостков для оркестра и мимо безвкусной статуи женщины в тоге и с венком, воздетым над головой; кусок пьедестала был выломан и валялся посреди дороги. Мул обошел его. Священник оглянулся: в дальнем конце улицы метис, выпрямившись, сидел в гамаке и смотрел ему вслед. Мул вышел на тропу, круто спускавшуюся к речному берегу, и священник снова

[1] Добрый вечер *(исп.)*.

оглянулся — метис все еще сидел в гамаке, но теперь у него были спущены на землю обе ноги. Поддавшись привычному беспокойству, священник ударил мула.— Mula, mula.— Но мул медленно спускался по откосу, не обращая внимания на удары.

На берегу он заартачился, не желая входить в воду. Священник расщепил зубами конец палки и ткнул его в бок острием. Он неохотно зашлепал копытами, и вода стала подниматься — к стременам, потом к коленям. Мул растопырился, как аллигатор, и поплыл, оставив над водой только глаза и ноздри. Священника окликнули с берега.

Он оглянулся; метис стоял у кромки воды и что-то кричал ему — не очень громко. Слова не доносились на середину реки. У метиса словно была какая-то тайна, которую он мог поведать только священнику. Он махал рукой, зовя его назад, но мул выбрался из воды на береговой откос, и священник не стал останавливаться — беспокойство уже засело у него в мозгу. Не оглядываясь, он погнал мула в зеленый полумрак банановых зарослей. Все эти годы у него было только два места, куда он всегда мог вернуться и где всегда мог найти надежное пристанище — это был Консепсьон, его бывший приход, но теперь пути туда ему нет, и Кармен, где он родился и где похоронены его отец и мать. Было и третье место, но туда он больше не пойдет... Он повернул мула в сторону Кармен, и лесная чаща снова поглотила их. Если они будут идти таким ходом, то доберутся до места затемно, а это как раз то, что ему нужно. Мул, не подгоняемый палкой, шел еле-еле, повесив голову, от него чуть пахло кровью. Склонившись на высокую луку, священник заснул. Ему снилась маленькая девочка в накрахмаленном белом платье, отвечающая катехизис, где-то позади нее стоял епископ в окружении «Детей Девы Марии» — пожилых женщин с суровыми, серыми, исполненными благочестия лицами и голубыми ленточками на блузах. Епископ сказал: «Прекрасно, прекрасно!» — и захлопал в ладоши — хлоп, хлоп. Человек в сюртуке сказал: «Нам не хватает пятисот песо на новый орган. Мы решили устроить музыкальный вечер в надежде, что...» — и священник вдруг с ужасающей ясностью осознал, что ему нельзя быть тут... это не его приход... ему нужно проводить неделю молитвенного уединения в Консепсьоне. За спиной девочки в белом кисейном платье возник Монтес, он взмахнул рукой, напоминая ему...

С Монтесом случилась какая-то беда, на лбу у него была запекшаяся рана. Священник ужаснулся, поняв, что девочке грозит опасность. Он сказал: «Милая, милая» — и проснулся, покачиваясь в седле под медленную поступь мула и слыша позади чьи-то шаги.

Он оглянулся: это метис ковылял за ним, весь мокрый — наверно, переплыл реку. Два его зуба торчали над нижней губой, и он угодливо улыбался.

— Что тебе нужно? — резко спросил священник.

— Вы не сказали, что едете в Кармен.

— А почему я должен это говорить?

— Да мне тоже туда надо. Вдвоем идти веселее.— На нем были штаны, рубашка и парусиновые туфли. Из носка одной торчал большой палец — толстый и желтый, как нечто, вылезшее из-под земли. Он почесал под мышкой и по-свойски поравнялся со стременем священника. Он сказал: — Вы не обиделись, сеньор?

— Почему ты называешь меня сеньором?

— Сразу видно, что вы человек образованный.

— В лес всем дорога открыта,— сказал священник.

— Вы хорошо знаете Кармен? — спросил метис.

— Нет, не очень. У меня там есть знакомые.

— Наверно, по делам туда едете?

Священник промолчал. Он чувствовал у себя на ноге легкое неприятное прикосновение ладони метиса. Тот сказал:

— Лигах в двух отсюда, недалеко от дороги, есть харчевня. Там можно заночевать.

— Я тороплюсь,— сказал священник.

— Да стоит ли приходить в Кармен в час-два утра? Заночуем в этой харчевне и доберемся до места, пока солнце еще низко.

— Я сделаю так, как мне надо.

— Конечно, сеньор, конечно.— Метис помолчал минуту, потом сказал: — Идти ночью опасно, если у сеньора нет оружия. Я — дело другое...

— Я бедный человек,— сказал священник.— Ты сам это видишь. Меня грабить не стоит.

— А потом еще этот гринго — говорят, он свирепый, настоящий pistolero[1]. Подойдет к вам и скажет на своем языке: «Стой! Как пройти...» — ну, там куда-нибудь, а вы его не поняли и, может, двинулись с места, и он вас наповал. Но вы, может, знаете по-американски, сеньор?

— Конечно нет. Откуда мне знать американский? Я бедный человек. Но всем этим россказням я не верю.

— Вы издалека едете?

Священник на минуту задумался.

— Из Консепсьона.— Там он уже никому не повредит.

Его ответ как будто удовлетворил метиса. Он шагал бок о бок с мулом, держа руку на стремени, и то и дело сплевывал. Опуская глаза, священник видел его большой палец, похожий на червяка, ползущего по земле. Человек этот, наверно, безвредный Просто такая уж жизнь — настраивает на подозрения. Спустились сумерки, и почти сразу наступила темнота. Мул шагал еще медленнее. Вокруг все зашумело, зашуршало — как в театре, когда опустят занавес и за кулисами и в коридорах поднимается суетня. Непонятно кто... сразу не определишь — может, ягуары подали голос в кустах? Обезьяны прыгали по верхушкам деревьев, а москиты жужжали, как швейные машинки.

— Когда долго идешь, горло пересыхает,— сказал метис.— У вас случайно не найдется чего-нибудь выпить, сеньор?

— Нет.

— Если вы хотите прийти в Кармен до трех часов, тогда вашего мула надо бить. Дайте мне палку.

— Нет, нет, пусть бедняга идет как хочет. Мне это не важно,— сонным голосом сказал он.

— Вы говорите как священник.

Он сразу очнулся, но под высокими темными деревьями ничего не было видно. Он сказал:

— Ты чепуху несешь.

— Я добрый христианин,— сказал метис, поглаживая его по ноге.

— Ну, еще бы. Кабы я таким был.

— Эх, не различаете вы, кому можно доверять, а надо бы.— Он даже сплюнул от огорчения.

— Что доверять-то? — сказал священник.— Разве только вот эти штаны... но они очень рваные. И этого мула — но он плохой мул, сам видишь.

Они помолчали, а потом, словно обдумав последние слова священника, метис продолжал:

— Мул был бы не так уж плох, если бы вы правильно с ним обращались. Меня насчет мулов учить нечего. Я вижу, что он устал.

Священник взглянул на серую, глупую, покачивающуюся башку своего мула.

— Устал, говоришь?

— Сколько вы вчера проехали?

— Пожалуй, около двенадцати лиг.

---

[1] Здесь: убийца *(исп.)*.

— Мулу и то надо передохнуть.

Священник выпростал свои босые ступни из глубоких кожаных стремян и слез с седла. Мул прибавил ходу, но не прошло и минуты, как он пошел еще медленнее. Сучья и корни на лесной тропинке царапали священнику ноги — вскоре они стали кровоточить. Он тщетно старался не прихрамывать. Метис воскликнул:

— Какие ноги у вас нежные! Вам надо ходить в обуви.

Священник упрямо повторил:

— Я бедный человек.

— Та́к вы никогда не дойдете до Кармен. Возьмитесь за ум, друг. Если не хотите сворачивать с дороги к харчевне, так недалеко отсюда есть маленькая хижина, до нее меньше пол-лиги. Поспим там часок-другой и все равно на рассвете доберемся до Кармен.— В траве рядом с тропинкой что-то зашуршало — не змея ли, а он босой! Руки у него были искусаны — москиты, точно маленькие хирургические шприцы с ядом, метили в кровеносные сосуды. Светляки подносили свои лампочки к самому лицу метиса и то зажигали, то гасили их, точно электрические фонарики. Метис проговорил с укоризной: — Вы мне не доверяете. Вы не доверяете мне потому, что я охотно оказываю услугу незнакомцу и стараюсь поступать по-христиански.— Он, видимо, разжигал в себе ярость. Он сказал: — Если бы я собирался вас ограбить, так давно бы ограбил. Вы человек старый.

— Не так уж я стар,— кротко ответил ему священник. Его сознание начало работать как автомат, куда можно сунуть любую монету, даже поддельную. Слова «гордый», «алчный», «завистливый», «трусливый», «неблагодарный» — все они приводили в действие нужные пружинки, все это находило отклик у него в душе. Метис сказал:

— Я провожаю вас до Кармен, сколько времени на это убил... Награды мне никакой не нужно, потому что я добрый христианин. Я, может, из-за вас прозевал верные деньги дома... да уж ладно.

— По-моему, ты говорил, что идешь в Кармен по делу,— незлобиво сказал священник.

— Когда я это говорил? — Действительно, может, метис ничего такого не сказал — ведь всего не запомнишь... Может, он несправедлив к нему? — Зачем мне говорить неправду? Да я убью на вас целый день, а вам все равно, устал ваш проводник или нет.

— Проводник мне не нужен,— мягко возразил священник.

— Не нужен, когда дорога прямая, а кабы не я, вы бы давно свернули в другую сторону. Сами говорили, что плохо знаете Кармен. Потому я и пошел с вами.

— Коли ты устал, давай отдохнем,— сказал священник. Ему было стыдно, что он не доверяет этому человеку, но недоверие все равно оставалось, как опухоль, от которой его мог освободить только нож.

Через полчаса они вышли на маленькую полянку; там стояла хижина из веток, скрепленных глиной; ее поставил, верно, какой-нибудь мелкий фермер, уходя все дальше и дальше от леса, наступавшего на него с непобедимой силой, от которой не спасали ни костры, ни мачете. На почерневшей земле все еще виднелись следы попыток вырубить кустарник, освободить участок для жалких, скудных посевов, не приносящих урожая. Метис сказал:

— Я присмотрю за мулом. А вы ложитесь и отдыхайте.

— Но ведь это ты устал.

— Я устал? Что это вы говорите? Я никогда не устаю.

Чувствуя тяжесть на душе, священник снял с седла вьюк, толкнул дверь и вошел в хижину — в полную темноту. Он чиркнул спичкой — хижина была совсем пустая, если не считать земляной лежанки с рваной соломенной циновкой, брошенной здесь за негодностью. Он зажег свечу и, капнув воском на лежанку, прилепил ее там; потом сел и стал ждать, что будет дальше. Метис долго не приходил. В кулаке у священника был все еще зажат комок бумаги, спасенной

из портфеля: не может человек жить без таких вот сентиментальных памяток о прошлом. Соображениями безопасности руководствуются только те, кто живет в покое. Он подумал, не увел ли метис его мула, и упрекнул себя за ненужную подозрительность. Потом дверь отворилась, и метис вошел в хижину — вот он, два желтых клыкастых зуба и ногти, корябающие под мышкой. Он сел на земляной пол, привалившись спиной к двери, и сказал:

— Ложитесь спать. Вы же устали. Я разбужу, когда будет нужно.

— Мне спать не хочется.

— Задуйте свечу. Так скорее уснете.

— Я не люблю темноты,— сказал священник. Ему стало страшно.

— А вы не прочитаете молитву, отец, на сон грядущий?

— Почему ты меня так называешь? — резко спросил он, вглядываясь в стелющуюся по полу тьму — туда, где, прислонившись к двери, сидел метис.

— Да я же догадался. Но вы меня не бойтесь. Я добрый христианин.

— Ты ошибаешься.

— Да ведь это легко проверить, правда? — сказал метис.— Стоит только попросить — исповедуйте меня, отец. Неужели вы откажете человеку, совершившему смертный грех?

Священник промолчал, ожидая этой просьбы; рука с комком бумаги задрожала.

— Да не бойтесь вы меня,— вкрадчиво продолжал свое метис.— Я вас не выдам. Я христианин. Просто подумал, хорошо бы... услышать молитву.

— Молитвы знают не только священники.— Он начал: —«Pater noster qui es in coelis...»[1] — А москиты гудели, налетая на огонек свечи. Он решил не спать — этот человек что-то задумал; совесть перестала укорять его в недостатке милосердия. Он знал: рядом с ним Иуда.

Он откинул голову к стене и полузакрыл глаза — ему вспомнилось прежнее: страстная неделя, когда чучело Иуды вешали на колокольне, а мальчишки били в жестянки и трещали в трещотки. Почтенные старые прихожане иногда ворчали: это святотатство, говорили они, делать чучело из предателя господа нашего; но он молчал, не препятствуя этому обычаю,— хорошо, что первый предатель мира становится посмешищем. Не то слишком легко поднять его до уровня героя, который бросил вызов богу, сделать из него чуть ли не Прометея, благородную жертву неравной битвы.

— Вы не спите? — донесся до священника шепот от двери. Он вдруг тихонько засмеялся, точно у этого метиса был такой же нелепый вид — ноги набиты соломой, лицо размалевано, на голову напялена старая соломенная шляпа, и скоро его сожгут на площади, а люди тем временем будут произносить политические речи, и в небе заиграет фейерверк.

— Не спится?

— Мне что-то приснилось,— прошептал священник. Он открыл глаза и увидел, что метис дрожит мелкой дрожью, сидя у двери, и его два острых клыка дергаются на нижней губе.— Ты болен?

— Лихорадит немного,— сказал тот.— Лекарства у вас нет?

— Нет.

Дверь поскрипывала под трясущейся спиной. Метис сказал:

— Промок в реке...— И сполз ниже на пол, и закрыл глаза, а москиты с обожженными крылышками копошились на земляной лежанке. Священник подумал: нельзя спать, это опасно, надо следить за ним. Он разжал кулак и пригладил бумагу. На ней виднелись полустертые карандашные записи — отдельные слова, начала и концы фраз, цифры. Теперь, когда портфеля у него уже нет, это единствен-

[1] «Отче наш, иже еси на небесех...» *(лат.)*.

ное свидетельство того, что в прошлые годы жизнь была совсем иная. Он носил бумагу с собой как амулет — ведь если так было раньше, может, все еще вернется? Огонек свечи вздрагивал и чадил в душном, болотистом воздухе низины. Священник поднес бумагу к огню и прочел слова: «Общество алтаря», «Общество святого причастия», «Дети Девы Марии», снова посмотрел в темноту хижины и увидел малярийные, с желтизной глаза метиса, которые следили за ним. Иуда не заснул бы в Гефсиманском саду; Иуда мог бодрствовать больше часа[1].

— Что это за бумага... отец? — угодливо спросил метис, весь дрожа.

— Не называй меня отцом. Тут записаны семена, которые мне надо купить в Кармен.

— Вы умеете писать?

— Нет, только читаю.

Он снова посмотрел на бумагу, и оттуда на него глянула бледная карандашная запись его шутки — безобидной, хоть и несколько вольной... что-то про тучную еду и сладкое питье[2]. Это он прошелся насчет своей полноты и сытного обеда, который он только что съел. Прихожанам такой юмор пришелся не по вкусу.

Этот обед был дан в Консепсьоне в честь десятилетней годовщины его рукоположения. Он занимал самое почетное место за столом рядом с... кто же сидел справа от него? Обед состоял из двенадцати блюд; он еще сказал что-то про двенадцать апостолов, и это тоже несколько шокировало. Он был еще молод, ему хотелось поозоровать в обществе всех этих набожных, пожилых, почтенных жителей Консепсьона, нацепивших на себя ленты и значки своих обществ. И выпил он чуть больше, чем следовало; в те дни у него еще не было тяги к алкоголю. И вдруг ему вспомнилось, кто сидел справа — Монтес, отец того, расстрелянного.

Монтес произнес длинную речь. Он докладывал собравшимся об успехах «Общества алтаря» за последний год — активный баланс двадцать два песо. Священник записал себе эту цифру с тем, чтобы отметить ее в своем выступлении. Вот она: «О. а.— 22 песо». Монтес ратовал за открытие отделения «Общества св. Винсента де Поля»[3], а какая-то женщина пожаловалась, что в Консепсьоне продают дурные книги, которые привозят на мулах из столицы штата. Ее дочь где-то раздобыла роман под названием «Муж на одну ночь». Священник заявил в своей речи, что губернатор будет извещен об этом.

И тут местный фотограф дал вспышку, и он так и запомнил себя в эту минуту, точно посторонний, который заглянул на шум в окно и увидел веселую компанию, что-то празднующую, и с завистью, а может, и не без улыбки посмотрел на упитанного молодого священника: вот он стоит, властно простерев свою пухлую руку, и со вкусом произносит слово «губернатор». Соседи по столу сидят, по-рыбьи разинув рты, а на лицах, высвеченных магнием, ни одной морщинки, ни одной индивидуальной черты.

Ответственность момента требовала соблюдения серьезности, и он оставил свой легкомысленный тон, к большой радости прихожан. Он сказал: «Активный баланс в двадцать два песо на счету «Общества алтаря» — случай разительный для Консепсьона, но это не единственный повод для поздравлений, заслуженных вами за прошлый год. Число членов общества «Дети Девы Марии» выросло на девять

---

[1] Ср. Евангелие от Марка, 14, 37: «Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?»

[2] Ср. Кн. Неемии, 8, 10: «...пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое...»

[3] Католический святой XVII века, основатель ордена, члены которого посвящали себя уходу за больными.

человек, а «Общество святого причастия» минувшей осенью превосходно провело ежегодную неделю молитвенного уединения. Однако не будем почивать на лаврах. Признаюсь вам, что у меня есть планы, которые, может быть, несколько удивят вас. Насколько мне известно, я считаюсь здесь человеком, исполненным редкостного честолюбия. Так вот, я хочу, чтобы в Консепсьоне была хорошая школа, действительно хорошая, а следовательно, и хороший дом для священника. Приход у нас большой, и священнику надо поддерживать свой престиж. Я пекусь не о себе, а о Церкви. И мы не остановимся на этом, хотя, чтобы собрать достаточную сумму денег, даже в Консепсьоне потребуется не один год.— Он говорил и видел перед собой эти годы безмятежной жизни. Да, честолюбия у него было хоть отбавляй, и почему бы ему со временем не получить места в столице штата при кафедральном соборе, а задолженность в Консепсьоне пусть выплачивает его преемник. Энергичный сьященник всегда узнается по долгам.— Разумеется, в Мексике много такого, что грозит нашей возлюбленной Церкви. Но тех, кто живет в нашем штате, счастье еще не оставило — на севере люди поплатились жизнью, и нам тоже надо быть готовыми...— Он освежил пересохший рот вином.— К худшему. Бодрствуйте и молитесь,— несколько неопределенно продолжал он.— Бодрствуйте и молитесь. Сатана, яко лев рыкающий...» «Дети Девы Марии» в темных праздничных блузах с голубыми лентами через плечо уставились на него, слегка приоткрыв рты. Он говорил долго, наслаждаясь звуком своего голоса; Монтеса пришлось несколько обескуражить по поводу «Общества св. Винсента де Поля», потому что мирян всегда надо сдерживать, и еще он рассказал прелестную историю о смертном часе одной девочки — она умирала от туберкулеза в возрасте одиннадцати лет, не поколебавшись в своей вере. Девочка спросила, кто стоит в ногах ее кровати, и ей сказали: «Это отец такой-то», а она говорит: «Нет, нет. Отца такого-то я знаю. А вон тот, в золотом венце?» Одна женщина из «Общества святого причастия» расплакалась. Все остались очень довольны его рассказом. История эта к тому же была не вымышленная, хотя он не мог вспомнить, от кого ее слышал. Может, прочитал где-нибудь. Кто-то наполнил его бокал. Он перевел дыхание и продолжал: «Дети мои...»

...И когда метис засопел и завозился у двери, он открыл глаза, и прежняя жизнь отвалилась от него, как ярлычок. В рваных крестьянских штанах он лежит в темной, душной хижине, а за его голову назначено вознаграждение. Весь мир изменился — Церкви нет нигде; ни одного собрата-священника, кроме всеми отверженного падре Хосе в столице. Он лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию метиса, и думал: почему я не пошел путем падре Хосе, почему не подчинился закону? Всему виной мое честолюбие, думал он, вот в чем все дело. Падре Хосе, наверно, лучше его — он такой смиренный, что готов стерпеть любую насмешку; он и в те, в добрые времена всегда считал себя недостойным своего сана. Однажды в столицу съехались на совет приходские священники — это было еще при старом губернаторе,— и, насколько он помнил, падре Хосе только в конце каждого заседания, крадучись, входил в зал, забивался в последний ряд, чтобы никому не попадаться на глаза, и сидел, словно воды в рот набрав. И дело тут было не в какой-то сознательной скромности, как у других, более образованных священников,— нет, он и в самом деле ощущал присутствие Бога. Когда падре Хосе возносил святые дары, у него дрожали руки. Да, он не апостол Фома, которому понадобилось вложить персты в раны Христовы, чтобы поверить. Для падре Хосе из них каждый раз лилась кровь над алтарем. Как-то в минуту откровенности он признался: «Каждый раз... мне так страшно». Его отец был крестьянин.

А вот я — я честолюбец. И образования у меня не больше, чем у падре Хосе, но мой отец держал лавку, и я знал цену активному балансу в двадцать два песо, знал, как выдают ссуды под закладные. И я вовсе не собирался оставаться всю жизнь священником в небольшом приходе... Его честолюбивые замыслы показались ему сейчас чуть-чуть комичными, и он удивленно хмыкнул. Метис открыл глаза и спросил:

— Так и не уснули?

— Спи сам,— сказал он, вытирая рукавом капельки пота с лица.

— Меня знобит.

— Это лихорадка. Хочешь, я дам тебе свою рубашку? Она рваная, но все-таки в ней будет теплее.

— Нет, нет. Мне ничего вашего не надо. Вы мне не доверяете.

Да, если б он был таким же смиренным, как падре Хосе, то жил бы сейчас с Марией в столице, получал бы пенсию, а валяется здесь и предлагает свою рубашку человеку, который хочет предать его,— это гордыня, сатанинская гордыня. Даже в попытках побега ему не хватало решительности, а все его гордыня — грех, из-за которого пали ангелы. Когда он остался единственным священником в штате, как взыграла его гордыня! Какой он был храбрец, служащий господу своему с риском для жизни! Когда-нибудь ему воздадут по заслугам... Он стал молиться в полутьме хижины:

— Господи, прости мне мою гордыню, похоть, алчность. Я слишком любил власть. Люди, защищающие меня ценой жизни,— вот кто мученики. И служить им должен мученик, а не безумец, который любит не то, что должно любить. Может, мне лучше бежать... если я поведаю людям, как здесь тяжко, может, сюда пришлют хорошего священника с пламенем любви в сердце?..— И как всегда, его покаяние закончилось практическим вопросом: что же теперь делать?

У двери беспокойным сном спал метис.

Как скудно питалась его гордыня — за весь год он отслужил только четыре мессы и принял не больше ста исповедей. То же самое мог бы сделать любой семинарский тупица, и сделал бы лучше. Он осторожно встал с лежанки и, ступая на цыпочках, пошел к двери. Надо бы добраться до Кармен и сразу же уйти оттуда, пока этот человек... Открытый рот обнажал бледные беззубые десны; он стонал и ворочался во сне, потом сполз на пол и затих.

В нем чувствовалась полная отрешенность, будто он отказался от борьбы и лежал на земляном полу, сраженный какой-то неведомой силой. Надо было лишь перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь — она открывалась наружу.

Он занес ногу над телом метиса, как вдруг рука схватила его за щиколотку.

— Куда вы?

— Мне надо оправиться,— сказал священник.

Рука все еще держала его.

— Здесь и оправляйтесь,— простонал метис.— Почему не здесь, отец? Ведь вы отец?

— У меня есть дочь,— сказал священник.— Если ты об этом.

— Вы знаете, о чем я говорю. Ведь вам все известно про бога.— Горячая рука по-прежнему цеплялась за его щиколотку.— Может, он у вас тут — в кармане. Ведь вы с собой его носите, а вдруг попадется больной... Так вот, я заболел. Сподобьте меня. Или вы думаете, я недостоин... если богу все известно?

— Ты бредишь.

Но метис не умолкал. Священнику вспомнилось, как разведчики обнаружили нефть неподалеку от Консепсьона. Скважина оказалась, видимо, недостаточно рентабельной для дальнейшего бурения, но черный нефтяной фонтан двое суток впустую бил в небо из заболоченной, бедной почвы по пятьдесят галлонов в час... Как вспышка ре-

лигиозного чувства, вдруг взметнувшаяся в человеке черным столбом газов и грязи и пропавшая впустую.

— Признаться вам в моих грехах? Вы должны выслушать. Я брал деньги у женщин, сами знаете за что, и я платил мальчикам...

— Я не хочу тебя слушать.

— Это ваш долг.

— Ты ошибаешься.

— Э-э, нет, не ошибаюсь. Меня не проведешь. Слушайте: я давал деньги мальчикам — понимаете за что? И ел мясное по пятницам.— Отвратительная смесь грубого, пошлого, чудовищного била из этой пасти с двумя желтыми клыками, а рука, державшая его за щиколотку, все тряслась и тряслась в лихорадочном ознобе.— Я лгал, я не помню, сколько лет не соблюдаю великого поста. Раз я спал с двумя женщинами. Я все про себя расскажу...— Самомнение так и лезло из него; он не представлял себе, что является всего лишь частицей мира предательств, насилия, похоти — мира, в котором весь его срам ничего не значил. Сколько раз приходилось священнику выслушивать такие признания! Человек так ограничен: он даже не способен изобрести новый грех — все это есть и у животных. И за этот мир умер Христос! Чем больше видишь вокруг себя зла, чем больше слышишь о нем, тем большей славой сияет эта смерть. Легко отдать жизнь за доброе, за прекрасное — за родной дом, за детей, за цивилизацию, но нужно быть богом, чтобы умереть за равнодушных, за безнравственных. Он сказал:

— Зачем ты говоришь мне все это?

Метис лежал обессиленный и молчал; он начал потеть, его рука ослабила свою хватку. Священник толкнул дверь и вышел из хижины — вокруг была полная темнота. Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь; где-то неподалеку раздался вой. Ему стало страшно. В хижине горела свеча; оттуда неслись странные, булькающие звуки — метис плакал. И священнику снова вспомнился нефтяной фонтан, вспомнились маленькие черные лужицы и как на них с медленным бульканьем появлялись и лопались и снова возникали пузырьки.

Он зажег спичку, пошел напрямик — шаг, другой, третий — и наткнулся на дерево. В этой кромешной тьме толку от спички было не больше, чем от светлячка. Он шепнул: «Mula, mula», боясь, что метис услышит, если говорить громко, да и вряд ли глупое животное отзовется. Он ненавидел его — ненавидел эту качающуюся, как у китайского болванчика, башку, этот жадно жующий рот, запах крови и помета. Он зажег вторую спичку и снова пошел и через несколько шагов снова наткнулся на дерево. В хижине все еще слышался булькающий плач. Ему надо попасть в Кармен и уйти оттуда, пока этот человек не свяжется с полицией. Он снова стал мерить шагами полянку — раз, два, три, четыре — и опять дерево. Под ногой у него что-то шевельнулось — не скорпион ли? Шаг, второй, третий — и вдруг где-то в темноте раздался рев мула; должно быть, проголодался или учуял какого-нибудь зверя.

Мул стоял на привязи в нескольких ярдах от хижины — огонек свечи теперь скрылся из глаз. Спички были на исходе, но после двух очередных попыток он все-таки нашел мула. Метис снял с него всю сбрую, а седло спрятал. Тратить время на поиски было нельзя. Он взобрался на мула и только тут понял, что эту скотину никакой силой не сдвинешь с места, когда и веревки вокруг шеи на нем нет. Он стал выкручивать ему уши, но они были не более чувствительны, чем дверные ручки. Мул стоял как вкопанный, наподобие конной статуи. Он зажег спичку и ткнул ею мула в бок. Мул вдруг ударил задом, и он выронил спичку; мул снова замер, хмуро опустив голову; его огромные допотопные ноги словно окаменели. Священник услышал укоризненный голос:

— Вы бросаете меня здесь — на верную смерть?

— Вздор,— сказал он.— Я тороплюсь. К утру тебе полегчает, а мне ждать больше нельзя.

В темноте послышался шорох, и рука схватила его за босую ногу.

— Не бросайте меня,— заныл голос.— Молю вас... как христианин.

— Ничего с тобой не случится.

— Откуда вы знаете? А гринго — он ведь шатается в этих местах.

— Про гринго я ничего не слышал. И тех, кто его видел, тоже не встречал. И вообще, он же только человек — такой же, как мы все.

— Не оставляйте меня одного. Я боюсь...

— Хорошо,— устало проговорил священник.— Найди седло.

Оседлав мула, они снова двинулись в путь; метис шел, держась за стремя. Оба молчали — метис то и дело спотыкался; близился серый рассвет. Где-то в душе у священника тлел уголек жестокого удовлетворения: вот он, Иуда, больной, еле идет и боится темноты. Пусть остается один в лесу, надо только подстегнуть мула, и все. Он ткнул его в бок острием палки, и мул затрусил усталой рысцой, а рука метиса задергала за стремя — дерг-дерг,— стараясь остановить его. Послышался глухой стон, что-то вроде «Матерь божия», и священник придержал мула.

— Господи, прости меня,— молился он. Ведь Христос умер и за этого человека. Вправе ли он, со своей гордыней, похотью и трусостью, считать себя более достойным этой смерти, чем вот такой метис? Метис собирается предать его ради обещанных денег, деньги нужны ему, а сам он предал господа ради похоти и то не такой уж сильной. Он спросил: — Тебе плохо? — но не услышал ответа. Он слез и сказал: — Садись. А я пойду пешком.

— Мне хорошо,— с ненавистью сказал метис.

— Садись, садись.

— Думаете, вы такой уж благодетель? — сказал метис.— Помогаете своим врагам? Как истинный христианин?

— Разве ты враг мне?

— Это вы так считаете. Думаете, я гонюсь за наградой? Обещано семьсот песо. По-вашему, такой бедняк, как я, не устоит — донесет полиции?

— Ты бредишь.

Метис сказал угодливым голосом предателя:

— Ну ясно, вы правы.

— Садись, садись.— Метис чуть не упал. Священнику пришлось подсадить его на мула. Он стал бессильно заваливаться набок, так что рот его пришелся вровень со ртом священника, и ему дохнуло в лицо мерзостью. Метис сказал:

— Бедняку выбирать не приходится, отец. Будь у меня деньги... и не такие уж большие, я бы стал добрым.

Священнику вдруг вспомнилось — неизвестно почему,— как «Дети Девы Марии» уписывали пирожные. Он усмехнулся:

— Вряд ли.— Если доброта зависит только от...

— Что вы сказали? Вы не доверяете мне, отец,— бессвязно твердил метис, покачиваясь в седле.— Не доверяете, потому что я бедный, потому что не доверяете...— И повалился на седельную луку, тяжело дыша и дрожа всем телом. Священник поддерживал его одной рукой, и они медленно шли по пути к Кармен. Дело плохо: теперь ему нельзя побыть там, даже показаться в селении невозможно, потому что если об этом узнают, то возьмут заложника, и человек погибнет. Где-то далеко запел петух; туман, поднимавшийся с болотистой земли, теперь был ему по колено. В котором часу петухи начинают петь? Вот что еще странно в нынешней жизни: в домах не стало часов — за целый год не услышишь их боя. Часы исчезли вме-

сте с церквами, и время теперь отсчитывается медленными серыми рассветами и торопливыми ночами

Фигура метиса, склонившегося на луку, постепенно вырисовывалась в сумерках, стали видны его желтые клыки, торчащие из разинутого рта Право, этот человек заслужил награду подумал священник. Семьсот песо не такая уж большая сумма но ему, пожалуй, хватит, проживет на нее целый год в той пыльной, заброшенной деревушке. Он снова тихо рассмеялся: ему всегда было трудно принимать всерьез превратности судьбы И ведь, может быть, год спокойной жизни спасет душу этого человека Любое жизненное положение надо только вывернуть наизнанку, и оттуда посыплется вся мелочь нелепых, противоречивых обстоятельств. Вот он поддался отчаянию, а из его отчаяния родилась человеческая душа и любовь — не лучшая, что и говорить, но все же любовь. Метис вдруг сказал:

— Это судьба. Мне гадалка как-то нагадала... награду.

Священник крепко держал метиса в седле и шагал рядом; ноги у него кровоточили но скоро они задубеют. Странная тишина спустилась на лес и вместе с туманом поднялась от земли Ночью было столько всяких звуков, а сейчас все затихло Точно во время перемирия, когда пушки враждующих сторон умолкают, и будто вся земля прислушивается к тому, чего раньше никто не слышал,— к миру.

Метис сказал:

— Ведь вы священник?

— Да.— Они словно вылезли каждый из своего окопа и сошлись брататься между колючей проволокой на ничьей земле. Он вспомнил рассказы о европейской войне — как на исходе ее солдаты, поддавшись порыву, бежали друг другу навстречу. «Неужто ты немец?» — спрашивали они, с изумлением глядя в такое же человеческое лицо. Или: «А ты англичанин?»

— Да,— повторил священник, а мул все так же медленно тащился по тропе. В прежние времена, когда он обучал детей, какой-нибудь смуглый мальчик-индеец с длинным разрезом глаз, бывало, спрашивал его: «А какой он, бог?» — и он отвечал — бездумно, сравнивая бога с отцом и матерью, а иной раз, расширяя свой ответ, включал туда же братьев и сестер, чтобы вопрошающий представил себе все роды любви, все человеческие отношения, сомкнувшиеся в огромном, хоть и глубоко личном чувстве. Но в самой сердцевине его собственной веры было убеждение в тайне — в том, что все мы созданы по образу и подобию божьему: бог — это и отец, но он же и полицейский, и преступник, и священник, и безумец, и судья. Нечто, подобное богу, покачивалось на виселице, и корчилось под выстрелами на тюремном дворе, и горбилось, как верблюд, в любовных объятиях. Он сидел в исповедальне и выслушивал отчет о замысловатых, грязных ухищрениях, которые изобрело подобие божье. И вот сейчас этот образ божий грясся на спине мула, прикусив желтыми зубами нижнюю губу, и образ божий совершил свое отчаянное деяние с Марией в хижине, где было полно крыс. Солдат на войне, наверно, утешает себя тем, что враждующая сторона творит не меньше зверств: человек не одинок в своем грехе. Он сказал:

— Ну, как тебе — лучше? Не знобит, а? В жар не бросает? — и заставил себя почти с нежностью погладить плечо подобию божьему.

Метис молчал, покачиваясь с боку на бок на хребтине мула.

— Осталось каких-нибудь две лиги,— подбадривая его, сказал священник Надо бы решать, что ему делать Он помнил Кармен лучше любого другого селения, лучше любого города в штате: пологий, заросший травой косогор ведет от реки к маленькому кладбищу на холме — там похоронены его родители Кладбищенская стена завалилась; два-три креста поломаны ревнителями новой политики; камен-

ный ангел стоит без одного крыла, а надгробия, оставшиеся нетронутыми, покосились под острым углом в высокую болотную траву. У изображения матери божией над могилой какого-то богатого, всеми забытого лесопромышленника нет ни ушей, ни рук, точно у языческой Венеры. Непонятно! И откуда в человеке эта страсть к разрушению — ведь до конца всего никогда не разрушишь. Если бы господь был похож на жабу, можно бы перевести всех жаб на земле, но когда он подобен тебе, мало уничтожить каменные статуи — надо убить самого себя среди вот этих могил.

Он сказал:

— Ну как ты, окреп? Удержишься в седле? — и отнял руку. Тропинка раздвоилась; в одну сторону она вела в Кармен, в другую — на запад. Он ударил мула по заду, направляя его в сторону Кармен, сказал: — Через два часа будешь там,— и остановился, глядя, как мул идет на его родину, неся на себе доносчика, припавшего к луке.

Метис попытался выпрямиться.

— Куда вы?

— Будь свидетелем,— сказал священник.— Я не заходил в Кармен. Но если ты помянешь там про меня, тебе дадут поесть.

— Да как же?.. Подождите! — Метис стал заворачивать голову мула, но сил на это у него не хватало. Мул шел и шел вперед. Священник крикнул:

— Помни. Я не заходил в Кармен.— Но куда ему теперь идти? И он понял, что во всем штате есть только одно место, где не возьмут заложником ни в чем не повинного человека. Но в такой одежде там нельзя показываться. Метис цеплялся за седельную луку, умоляюще вращая малярийными глазами:

— Не бросайте меня! — Но не только метиса бросал он здесь, на лесной тропе: мул стоял на ней поперек и мотал своей глупой башкой, отгораживая его, точно барьером, от родных мест. Он был как человек без паспорта, которого гонят из всех гаваней.

Метис кричал ему вслед:

— А еще христианин! — Он все-таки ухитрился выпрямиться в седле и сыпал бранью — бессмысленным набором грязных слов, которые замирали в лесу, точно слабые удары молотка. Он прохрипел: — Если мы когда-нибудь встретимся, пеняй на себя...— У этого человека, конечно, были все основания прийти в ярость: он лишился семисот песо. Метис крикнул отчаянным голосом: — У меня память на лица!

(Окончание следует)

КРИСТОФ ХАЙН

Чужой друг

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

Сначала появляется незнакомый ландшафт. Вдали — зелень кипарисов, узкая полоска на фоне хрустально-ясной пустоты. Ближе мост, повисший над пропастью, над ущельем, на дне которого течет ручей. У самого моста — движение напоминает проезд кинокамеры — видно, что он разрушен, остались развалины. Две стальные балки протянулись над зияющим провалом. Перед ними в нерешительности стоит человек. Кажется, это я сама. Рядом спутник. Я оглядываюсь. Лицо спутника неотчетливо, но это мой знакомый, мой друг. Он показывает рукой — нужно перебраться на противоположную сторону. Назад пути нет. Впереди пропасть. На дне ее — обломки скал, заросли дрока и едва угадываемый ручей. Мы ступаем на мост. Меня знобит. Первые три-четыре шага я цепляюсь за перила. Потом они кончаются. Мост нелепым обрубком торчит над пропастью. Мой спутник встает поперек балки и протягивает руку. Он продвигает на несколько сантиметров одну ногу, затем другую. Я снимаю туфли, беру его руку, левая нога ощупывает землю, балку. Его рука влажна от пота. Отпусти, мысленно прошу я. Каждый сам по себе. Но у него мертвая хватка, он не выпускает мою руку. Я не отрываю глаз от дальней полоски зелени, чтобы не смотреть вниз. Стоит посмотреть — упаду. Мы делаем первые шаги по балке, которая кажется бесконечной. Идем медленно. Вдруг я замечаю какое-то движение, какой-то промельк среди зелени. Неясные из-за дрожащего марева силуэты неожиданно становятся четкими и резкими на фоне ослепительного сияния. Из кипарисовой рощи один за другим показываются пятеро бегунов. На них белые шорты и майки с зигзагообразной эмблемой. Я хочу показать их моему спутнику. Я говорю ему, кричу, но не слышу себя. Не слышу собственного голоса. Бегуны приближаются к мосту. К нашему мосту. Их бег красив, ровен, точно работа машины. Они молоды, сильны, у них открытые, бодрые лица. Дышат они громко, но не тяжело. Бегуны удивительно похожи друг на друга, наверное это братья. Пятеро близнецов бегут к разрушенному мосту. Я кричу, чтобы они остановились. Тишина. Мой крик беззвучен. Лица бегунов до ужаса отчетливы.

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1982

КРИСТОФ ХАЙН — CHRISTOPH HEIN (род. в 1944 г.)

Немецкий писатель — драматург, прозаик, эссеист (ГДР). Автор сборника рассказов «Приглашение на утренний королевский прием» («Einladung zum Lever Bourgeois», 1980), книги «Кромвель и другие пьесы» («Cromwell und andere Stücke», 1981), сказки «Дикая лошадка под изразцовой печкой» («Das Wildpferd unterm Kachelofen», 1983), сборника пьес и эссе «Правдивая история А-Кью» («Die wahre Geschichte des Ah Q», 1984) и романа «Конец Хорна» («Horns Ende», 1985).

К. Хайн — лауреат премии имени Генриха Манна, присуждаемой Академией искусств ГДР (1982), и Литературной премии западногерманских критиков (1983).

Повесть «Чужой друг» вышла в Берлине в 1982 г. («Der fremde Freund». Berlin und Weimar, Verlag).

Не то что расплывчатый облик моего спутника. Мне явственно видна каждая черта их мужественных лиц. Бегуны уже у моста. Не замедляя темпа, они бегут по второй балке навстречу нам, пробегают мимо, на другую сторону. Я вижу широкий шаг, ровные махи рук, раскрытые рты, хватающие воздух, но звуков не слышно. Немая сцена. Спутник крепко держит меня. Его ногти впиваются в мою руку. Мы окаменели. Вторая балка еще дрожит, но уже тише. Можно идти дальше. Или лучше назад? Но назад повернуть нельзя, мы должны попасть на ту сторону. Только теперь стало еще страшнее. Затем видение исчезает. Вместо него — туман, тьма, ничто. Вдруг включается звук. Ровный шаг бегунов, словно четкий ход часов. Поскрипывание балки, тихий свист. Под конец он звучит протяжно, высоко. Без картинок. Асинхронно.

Потом, гораздо позднее, я пытаюсь восстановить увиденное. Реконструировать. В надежде разглядеть, понять. Однако мне по-прежнему не ясно, что это было. Сон? Или смутное воспоминание? Видение остается неуловимым и в общем-то непонятным. Однако среди того безымянного и необъяснимого, что есть во мне, оно продолжает существовать и даже успокаивает. В конце концов, желание найти разгадку проходит. Меркнет. Поверх наслаивается реальность более конкретная, переводные картинки будней — пестрые, крикливые, быстро стирающиеся в памяти. И потому целительные Помнится только тот страх и чувство беспомощности. Непостижимые и неизгладимые.

1

Даже в день похорон я поначалу не знала, пойду ли на кладбище. Неизвестно, какое настроение будет потом. На всякий случай достала из шкафа демисезонное пальто с небольшим кроличьим воротником. Оно было темно-синим, почти черным. Надевать его летом, конечно, нелепо, но и ходить целый день в темном костюме не хотелось. А появляться на кладбище в светлом платье, если я впрямь туда пойду, тоже неудобно. Пальто служило как бы компромиссом. Перекинув пальто через руку, я закрыла ключом дверь.

На лестничной клетке пришлось ждать. Между дверей обоих лифтов стоял офицер из квартиры фрау Рупрехт. Он не отрывал пальца от кнопки. На руке у него тоже висел плащ, точнее дождевик, который носят военные. А может, он был полицейским. В форме я не разбираюсь. Из-под дождевика выглядывал «дипломат». Когда я подошла, офицер молча кивнул и вновь нажал на кнопку, нервно постукивая носком сапога в стену.

Из глубины шахты послышался шорох, стальной трос многообещающе дрогнул — надежда, с которой легче ждать. Наконец, за дверным окошком показался свет. Офицер открыл дверь и вошел в кабину, где уже кто-то был. Прижав к себе свернутое пальто, я втиснулась следом. Неподвижные чужие лица. Безмолвный спуск вниз. Дважды лифт останавливался, хотя никто не входил и не выходил. Я молча смотрела на соседей почти в упор, и те разглядывали меня так же молчаливо и пристально. Невольный контакт, в котором участвуют все органы чувств, особенно неприятен для обоняния.

Внизу я заглянула в почтовый ящик. Там лежали только газеты, письма доставляются позднее. На доске объявлений все еще висел листочек с траурной рамкой. Стандартный бланк, куда от руки вписаны фамилия, место и время похорон. Кто-то прикрепил его кнопкой. Наверное, домоуправ. Видимо, извещение доставлено по почте. Когда-нибудь такое извещение придет о каждом жильце, о каждом, кто здесь умрет. Это одна из разновидностей общения домоуправа с жильцами — вроде починенного крана или двери, которую он открывает отверткой и плечом, если она случайно захлопнулась.

Не думаю, чтобы кого-нибудь это извещение особенно тронуло. В нашем доме умирают слишком часто. Да и живет тут слишком много стариков. В подъезде каждый месяц висят бланки с траурной рамкой по три-четыре дня, пока не снимут. Вряд ли у Генри были здесь знакомые, кроме меня. Он бы сказал мне об этом.

Я положила пальто в машину и поехала в поликлинику.

Под дверью моего кабинета лежала записка. Главврач просил сходить с ним после обеда к бургомистру. Шеф напросился на прием, так как жилищная комиссия недодала клинике две квартиры. До сих пор жилья нам не урезáли. Квартиры нужны для медсестер из провинции. Они едут в Берлин лишь на том условии, что получат жилпло-

щадь. Не знаю, зачем я понадобилась шефу. Вероятно, он считает, что я все еще отвечаю за социально-бытовой сектор. Но я сдала дела в прошлом году. А может, ему просто хотелось появиться у бургомистра с эскортом. Мы знали, что шеф это любит. Он просил сразу же позвонить.

В четверть девятого прибежала моя медсестра. Карла. Она, как всегда, начала объяснять, что опоздала из-за детей. Она опаздывает каждый день и всегда ссылается на детей. Вероятно, надеется разжалобить меня. Карла принадлежит к женщинам, избравшим для себя роль заботливых матерей. Эдакое волоокое, теплое счастье — мы, дескать, знаем, в чем смысл жизни, этого у нас не отнимешь. Смысл жизни в детях, которые живут ради своих детей, а те опять-таки живут ради детей. Порочный круг. Не является ли продолжение человеческого рода — следствием из неверных посылок? Не подсунут ли этот силлогизм самим дьяволом? Ошибка будет стоить дорого. Зато у жизни есть смысл. Во всяком случае для Карлы. Она уверена, что знает, почему я развелась: муж бросил меня потому, что я не нарожала ему симпатичных карапузов, или у меня недостаточно пышный бюст, или же, наконец, потому, что я не крашусь.

Открыв шкаф, Карла увидела пальто и поинтересовалась, не иду ли я на похороны. Я пожалела, что не оставила пальто в машине. Теперь-то уж точно пойду на кладбище. Бестактность Карлы рассеяла сомнения. От злости внутри у меня все сжалось. Начались обычные разговоры: родственник? Ах, даже друг. Кошмар, совсем еще молодой, ужас-ужас! Как я вас понимаю. Вы очень бледны.

Я сделала вид, будто читаю историю болезни. Карла начала переодеваться. В комнате медсестры стоит картотека и шкаф с историями болезней, поэтому платяной шкаф оказался у меня. Медсестрам приходится переодеваться и приводить себя в порядок в моем кабинете. Карла делает это очень обстоятельно. Она может подолгу разгуливать в бюстгальтере, возиться с пилкой для ногтей или мазаться кремом. Однажды Карла сказала, что она потлива. Одно это слово вызывает у меня отвращение. Пока Карла переодевалась, я позвонила шефу и отпросилась на похороны. Он даже не пытался выразить соболезнование. Я почувствовала некоторое облегчение и добавила, что мои прежние профсоюзные обязанности теперь выполняет новая сотрудница из офтальмологического отделения. (Она у нас работает недавно и не сумела на перевыборном собрании найти убедительную отговорку.) Она моложе и симпатичнее меня, сказала я. Шеф сделал вид, будто расстроен, и отпустил комплимент о моем неиссякаемом шарме. Потом повесил трубку. Карла вышла, я услышала, как она открыла дверь в коридор и вызвала пациента.

Незадолго до обеда пришел господин Дойе. Ему семьдесят два года, он из гугенотов. Жена у Дойе парализована, однако, по его словам, он регулярно спит с ней. Старик вообще любит поговорить, за тем и приходит сюда каждую неделю. Он вполне здоров. Минут пять длится болтовня о том, каким мужчиной он был прежде и остается теперь. Потом я выпроваживаю его из кабинета, он идет к Карле или продолжает болтать в коридоре. На прошлой неделе Дойе принес тюбик губной помады и попросил посмотреть при нем. Я выкрутила стержень, который оказался неприличной игрушкой. Старик находил такие штуки забавными. Мы с ним, дескать, знаем толк в этих вещах. Мерзкий тип, но что-то в нем есть. Порой я слушаю его болтовню. А иногда мне становится тошно, и я сразу же гоню его вон.

Дойе завел речь о похоронах. Видно, Карла проговорилась. Старику не терпелось узнать, насколько близки были мы с Генри. Наконец, Дойе вернулся к Карле. Она часто жалуется, только вряд ли его приставания ей действительно противны. С такими женщинами, как Карла, мужчина может позволить себе любую вольность, просто потому, что он мужчина. Во всяком случае, читать нотации Дойе я не собираюсь. Карла взрослая женщина и должна уметь постоять за себя. Надо ли обижать из-за нее жалкого старика, коротающего у нас час-другой до начала телепередач?

Во время обеда шеф пригласил за свой стол новую сотрудницу из офтальмологии. Он подмигнул мне и незаметно кивнул на нее. Я села на обычное место и принялась за овощной суп. Коллеги уже знали о похоронах и из вежливости задавали вопросы. Но на самом деле никого это не интересовало, поэтому вскоре разговор пошел о другом. У рентгенолога недавно угнали машину. Он купил ее за двойную цену, а проездил всего несколько месяцев. В полиции ему сказали, что машину не найти, и послали в госстрах. Однако страховка не возместит даже номинальной стоимости машины. Последнее время рентгенолог не может говорить ни о чем другом, и большинство коллег тоже. Пой-

май они угонщика — убили бы на месте. У клятвы Гиппократа есть свои границы. Впрочем, как у всего остального.

После обеда я пила кофе с Анной. Она старше меня на три года. Анна была стоматологом, но несколько лет назад ей пришлось сменить профессию из-за воспаления суставов рук. После переподготовки она работает анестезиологом. У Анны четверо детей и муж, с которым, по ее словам, у них все в порядке, если не считать того, что иногда он берет ее силой. Ему это нужно, утверждает она. Развода Анна не хочет — из-за детей, да и одной остаться страшно. Поэтому терпит. Стоит ей выпить, как она начинает плакать и ругать мужа. Но от него не уходит. Я отношусь к ней сдержанно. Непросто дружить с женщиной, которая смирилась с унижением. Муж Анны, тоже врач, старше ее на четырнадцать лет. Она ждет, что все у него пройдет само собой. Надеется на старческую немощь. Что ж, бывают надежды еще более странные.

В кафе Анна держится чопорно. Фрау доктор пьет свой кофе. Немножко кокетничает с хозяином. Впрочем, если бы он положил Анне руку на плечо, ее бы передернуло. Она показывает новый костюм, черный с лиловым воротником, купленный вчера. Анна говорит, что костюм жутко дорогой, но муж выложил деньги без звука. Цена примирения. Бедная Анна. Может, одолжить костюм? Для похорон он подходит больше, чем пальто. Впрочем, даже таким образом не хочется касаться ее проблем. Пусть разбирается сама.

Анна рассказала о литературном вечере в церкви на прошлой неделе. Автору задавали довольно щекотливые вопросы, но он дипломатично и остроумно уклонялся от ответов. Я старалась не пялиться на ее тарелку. Анна ела уже третье пирожное. Но если сказать ей хоть слово, она до слез расстроится. Я и помалкивала. Пускай ест, фигура ей позволяет.

Мы взяли еще по рюмке коньяку. Потом я попрощалась и пошла к себе за пальто. Карла как раз говорила по телефону с кем-то из пациентов и делала мне отчаянные знаки, чтобы я подождала. Но я жестом показала, что тороплюсь, и закрыла за собой дверь.

В обеденное время машин на улицах мало. Ехать можно быстро. По пути я купила в цветочном магазине несколько белых гвоздик. Чем ближе к кладбищу, тем тягостнее было на душе. Мне пришло в голову, что за целый день я ни разу не вспомнила о Генри. Я и теперь буквально заставляла себя думать о нем, но ничего не получалось. Еще не поздно было вернуться, съездить домой за фотоаппаратом, поснимать где-нибудь. Остаток дня был свободен, а «провожать в последний путь» Генри и сам не любил. Навещать больных или ходить на похороны казалось ему едва ли не вмешательством в чужие дела. Да и пустой тратой времени. Культ покойников — пережиток. Заигрывание с вечностью, в которой мы все еще не разуверились. Злорадный триумф: кто кого иесет в могилу? Ведь существуют похоронные бюро, которые справляются со своими обязанностями вполне профессионально. Это ли не оптимальное решение проблемы? Разве личное присутствие так уж необходимо? И зачем? Чтобы продемонстрировать близость к покойному? Откуда это желанне быть свидетелем при закапывании в землю или сожжении? Почему это считается долгом? Ведь мертвый уже не тот человек, который был любим. Я надеялась, что похороны будут в Дрездене. Дрезден далеко, и я бы с легким сердцем туда не поехала.

Мотор застучал. Переключив двигатель на холостой ход, я дважды нажала на газ. Не забыть бы потом заправиться.

Машину я оставила на соседней улице, хотя на стоянке перед кладбищем мест было достаточно. Некоторое время я сидела в нерешительности, ни о чем не думая, затем взяла цветы и накинула пальто на плечи.

Перед часовней у входа на кладбище стояли две группы людей. Вероятно, похоронное бюро выбилось из графика, и образовалась очередь. Мне пришло в голову, что я не знаю никого из близких Генри. К какой группе подойти? При моей неприязни к похоронам было бы совсем иелепо участвовать в панихиде по совершенно чужому человеку. Но кого спросить? И как? Простите, вы кого хороните?

Я надеялась увидеть коллегу Генри — все-таки знакомый, который хоть как-то оправдал бы мое появление здесь. Но его ие было видно. В замешательстве я остановнлась, и все сразу же повернулнсь ко мне. Томительное ожидание, неловкость, приглушенные разговоры о покойном, о превратностях судьбы и капризах погоды. Круг тем ограничен, новый человек обрывает разговоры, и каждый с облегчением начинает его разглядывать.

Я достала из сумки сигареты, но тотчас положила их обратно. Курить здесь не принято.

Меня продолжали разглядывать. Нас томил, вероятно, один и тот же вопрос: «К кому? На чью панихиду?» Нужно ли поздороваться? С кем? Я зашла в цветочный магазин сразу за воротами кладбища. Звякнул дверной колокольчик. В круглом павильоне с кафельным полом было сыро, всюду зелень, белые ленты. Стеклярусная занавеска отгораживала подсобные помещения. Через витрину было видно стоявших подле часовни. Вошла продавщица, сухопарая женщина в черном, с глубокими складками у рта. Отпечаток работы, каждодневной близости к смерти.

— Что вам угодно? — Она взглянула на мои гвоздики.

— Вы не могли бы сказать, чья сейчас будет панихида?

— Спросите у служителя.

Голос у продавщицы был усталым. Ее догадка подтвердилась: покупать я ничего не собиралась.

— Где найти служителя?

— Где-то там.

Женщина показала на кладбище. Вернувшись в подсобку, она поглядывала оттуда сквозь стеклярус, пока я не вышла из магазина.

Рассматривая цветы в витрине, я решала, как быть дальше. Может, я попала не на то кладбище и Генри хоронят совсем в другом месте? В отражении витрины я увидела, что дверь часовни отворилась. Я обернулась. Из часовни вышел человечек с кривой шеей. Он что-то сказал, однако слов я не расслышала. Одна из групп зашевелилась и снова замерла в нескольких шагах от часовни. Я подошла к ним, но не успела даже открыть рот, как человек сам спросил меня, не жду ли я панихиду по Генри Зоммеру. Я кивнула. Он сказал, что церемония начнется через несколько минут.

Теперь я примкнула к группе человек в двадцать, взгляды которых сделались еще пристальнее. Одернув пальто, я принялась глядеть попеременно то на свои цветы, то на туфли.

Двери часовни распахнулись, и нам пришлось посторониться. Четверо мужчин пронесли гроб, за ним шли трое молодых людей, все не старше двадцати, с длинными, неопрятными волосами. Я проводила их глазами. Один из парней перехватил мой взгляд. Подняв голову, он коротко посмотрел мне прямо в глаза и ухмыльнулся. Я отвернулась. Двери закрылись, чтобы тут же открыться снова. Сложный церемониал похорон. Человечек с кривой шеей жестом пригласил в часовню. Я вошла последней. Перед алтарем стоял гроб. Принесенные венки и цветы человечек разложил на помосте. Делал это умело, соблюдая определенный порядок: венки разместил по центру, ленты с надписями аккуратно разгладил. Мои гвоздики где-то затерялись.

На передней скамье сидела женщина с двумя детьми. Заметив ее взгляд, я попятилась к задним рядам. В репродукторе раздался легкий щелчок, послышался шорох пластинки, шелестящие приливы и отливы, дрожание воздуха. Потом орган заиграл фугу. Слишком громко. Приземистый человек, видимо служитель, приглушил звук. Он сидел на стуле у проигрывателя. Рядом с алтарем открылась дверца, и появился священник. Он подошел к небольшому пюпитру, положил на него книгу и замер. Вид у него был такой, будто он про себя читает молитву. Через некоторое время священник поднял голову и взглянул на служителя. Затем сдержанно откашлялся. Служитель тоже посмотрел на священника, сделал музыку еще тише, а потом осторожно снял звукосниматель с пластинки. Раздался щелчок, и музыка умолкла. Священник начал свою речь. Он говорил о Генри. На минуту мне пришла в голову идиотская мысль, будто священник зачитывает личное дело Генри, собираясь взять его к себе на работу. Слова священника были благозвучны и изысканны, а голос — красив. Он обратился к вдове, молодой женщине с двумя детьми в первом ряду. Интересно, заметила ли она, какой мягкий у священника голос? Удивительно приятный голос. Уверенный, полный достоинства. Священник был честолюбив, не иначе. Любопытно, изменяют ли священники женам? Я полистала книгу псалмов, лежавшую передо мной. Предписанные песнопения, предписанные жесты. На каждый случай приличествующий ритуал. Вот в чем преимущество традиций. Не надо думать, как одеться.

Когда отправляться буду
и я в свой последний путь,
то я тебя не забуду,
и ты меня не забудь.

Смерть как возвращение к своим? Я не знала, что Генри был верующим. Пожалуй, он и сам этого не знал. Коррективы вносятся посмертно. Попади мое мертвое тело какой-нибудь индийской секте, его обратят в прах на индийский манер. Служитель вновь опустил звукосниматель на пластинку. Жаль, я бы еще послушала священника. «Речист»,— приговаривала бабушка, когда ей нравился какой-нибудь мужчина. Священник — из речистых. Бабушке он бы понравился.

Жена Генри опустила голову. Время от времени она что-то шептала детям. Вероятно, делала замечания. Мне была видна только ее спина.

Музыка кончилась. Выключив проигрыватель, служитель поспешил к дверце, откуда вышел священник, открыл ее и махнул рукой. Появились четверо мужчин в засаленных цилиндрах — те самые, что вынесли первый гроб из часовни. Они встали двумя парами. Служитель быстро убрал венки с помоста. Священник, держа требник в левой руке, подошел к вдове, протянул ей правую руку и что-то шепнул, мужчины ловко подняли гроб на плечи. Они сделали несколько шагов, но служитель остановил их. Он, видимо, был чем-то вроде Maitre de plaisir, распорядителя этой траурной церемонии. Священник вместе с вдовой и детьми встал за гробом. Теперь поднялись и другие, разобрали венки и цветы, пристроились сзади. Образовалась траурная процессия. Я сидела в самом последнем ряду, поэтому все уже собрались у выхода, пока я нашла свои гвоздики — на черном сукне они выглядели совсем засохшими. Служитель распахнул двери и дал знак носильщикам.

Путь до могилы казался бесконечным. Носильщики шли по все новым и новым дорожкам между могил. Мне было жарко, но пальто снимать не хотелось. Показалась открытая могила. Гроб поставили на жерди, положенные над ямой. Носильщики развернули длинные лямки, протащили их под гробом, взяли лямки на плечо. Один из носильщиков убрал жерди, гроб опустили вниз. Я встала так, чтобы видеть жену Генри. Она все время что-то говорила детям. Священник подвел ее к железной чаше с землей, взял горсть земли и бросил на гроб. То же сделала жена, за ней дети. Они остались у могилы. Бросив свою горсть земли, каждый из присутствовавших пожимал им руки или обнимал.

Земля падала на гроб удивительно тихо. Я ожидала громкого стука, а слышался скорее шорох. «Стук земли о крышку гроба». Где-то я читала такое. Я не знала, обо что вытереть грязную руку. Похлопать ладонями вроде неприлично. Я потерла пальцы, но толку от этого была мало. Подавая руку жене Генри, я почувствовала на ладони землю. Мы взглянули друг на друга. Глаза ее были неподвижны, взгляд полон тоски и ненависти, будто она хотела навсегда запомнить мое лицо. Некрасивая, ожесточившаяся женщина, она до сих пор искала виновного в том, что жизнь так просто разрушила все ее надежды. «Сейчас ударит,— подумала я,— влепит пощечину прямо у могилы мужа». Эта мысль рассмешила меня. Быстро отняв руку, я подошла к детям. Потом мне подал руку священник. Я надеялась, что своим мягким голосом он произнесет какую-нибудь стандартную фразу. Но он просто пожал руку и улыбнулся привычной соболезнующей улыбкой. Жаль. В нескольких шагах от могилы люди собирались вновь. Они ждали окончания церемонии. Я быстро прошла мимо, надеясь, что сама найду обратную дорогу. Спиной я чувствовала взгляд жены. За первым же поворотом я сняла пальто, повесила его на руку и обернулась, но увидела сзади одни могилы и неподвижные пыльные деревья.

Потом я долго ездила по городу безо всякой цели. Зашла в кафе неподалеку от дома, выпила коньяку и попыталась вспомнить Генри. Сакральный акт. Мне казалось, это нужно ради него. За мой столик подсели двое мужчин. Оба навеселе. У одного на правой щеке багровый лишай. Мужчины взяли водки себе и мне. Я отказалась. Мне хотелось вспомнить Генри, мертвого Генри, похороны, мягкий, волнующий голос священника. Но у меня ничего не получалось.

2

Мы были знакомы с Генри год. Он жил на моем этаже в высотном доме, где я живу и сейчас. В доме — только однокомнатные квартиры. Их называют теперь «апартаментами». Ребенком, точнее подростком, я представляла себе под этим словом нечто иное. «Апартаменты» часто упоминались в романах, которые я тогда читала. Это были залы с роскошными гардинами и золотыми канделябрами, с дамой в вечернем платье и господином во фраке или смокинге. Умопомрачительная обстановка. Наши

«апартаменты» совсем другие. Здесь живут одиночки: холостяки, незамужние женщины вроде меня или старики. Летом пахнет мусоропроводом, иногда туалетом. Всюду играет радио. Даже утром в воскресенье. И вообще весь дом полон звуков. Они проникают сквозь стены, по трубам. Несмолкающий, невнятный гул. К нему привыкаешь, перестаешь замечать. Тихо становится только поздней ночью. Тогда в доме потрескивают лишь трубы парового отопления.

Когда Генри сюда въехал, не знаю. Жильцы у нас меняются часто. Молодые женятся или выходят замуж, старики умирают. Наш дом — временное жилье. Промежуточная стоянка. Знакомств тут заводить не стоит, впрочем я их вообще не люблю. В знакомствах соседей есть что-то навязчивое. Почти ежедневные встречи, неизбежные разговоры, натужная любезность — все это становится в тягость. А после развода особенно хочется пожить без повседневных, монотонных обязательств. Надоело изо дня в день общаться с совершенно чужими людьми, претендующими на близость только потому, что мы примелькались друг другу. Назойливость, от которой нет спасенья. Мне предпочтительней молчаливая деликатность собственной мебели. Столы и стулья не так навязчивы. В них есть сдержанное достоинство. Впрочем, и это скучно.

Это было в апреле или мае. Я ждала лифт. В нашем доме вечно приходится ждать лифт. Может, старики нажимают не те кнопки? Пожалуй, для двадцатиодногоэтажного дома со столькими жильцами двух лифтов мало.

В конце коридора показалась моя соседка, фрау Рупрехт, старая женщина с трясущейся головой. Она шла мне навстречу, но вдруг остановилась и потерла руками виски. Глаза ее глядели беспомощно из глубоких глазниц. Я спросила, не могу ли чем-нибудь помочь. Фрау Рупрехт смотрела на меня и не узнавала. Ее рука терла висок, будто хотела прогнать панический страх, непонятный и безотчетный ужас. Наконец, она успокоилась, улыбнулась и, поздоровавшись, вернулась по коридору в свою квартиру.

Потом подошла фрау Лубан, квартира которой находится около мусоропровода. Я все еще ждала лифт. Фрау Лубан сильно хромает, поэтому на улицу почти не выходит и целыми днями слоняется по нашему дому. У нее на каждом этаже есть знакомые, с которыми она пьет кофе.

Фрау Лубан остановилась, чтобы пожаловаться на домоуправа, который ничего не хочет делать. К тому же он грубиян — хамит, когда его о чем-нибудь просят. Потом она поинтересовалась, почему я не навещаю ее. Она знает, что я врач. Это известно всему этажу, и соседи почему-то считают, будто я должна их проведывать. Ко мне постоянно ходят за лекарствами.

Я сослалась на занятость, и фрау Лубан пожалела меня. Она называла меня «деткой», что звучало довольно странно. Фрау Лубан решила сообщить мне кое-что по секрету. Я уставилась на застекленную дверцу — хоть бы лифт пришел поскорее. Фрау Лубан сказала, что к ним в домовой комитет недавно приходили из полиции напомнить о бдительности. Обо всем подозрительном нужно сообщать — о странных визитерах, частых вечеринках, словом, обо всем необычном. Ее глаза за стеклами очков расширились. «Полиция зря говорить не будет»,— заключила фрау Лубан и замолчала, ожидая моей реакции. Было слышно, как лифт поехал и снова остановился. Несколько раз нажав кнопку, я подумала, не спуститься ли пешком.

Фрау Лубан пододвинулась ко мне вплотную и спросила, не обратила ли я внимание на жильца из седьмой квартиры. Странный человек. Покачав головой, я ответила, что не шпионю за соседями. «Разве об этом речь?» — обиделась фрау Лубан. Она стояла так близко, что чувствовался запах ее пудры. Стыдливая бедность. Я представила себе, как через тридцать лет буду с напудренными щеками слоняться по коридорам, жадно вслушиваясь в звуки из чужих квартир, и считать победой каждое новое утро, до которого могла бы и не дожить.

Фрау Лубан дотронулась до моей руки и шепнула: «Глядите!»

Я обернулась. По коридору шел мужчина в фетровой шляпе. «Это он»,— прошептала фрау Лубан и отвела глаза.

Мужчина отворил ногой стеклянную дверь и встал рядом с нами у лифта. Он внимательно посмотрел на меня. Я также молча уставилась на него. Лицо у него было неправильным, будто составленным из двух разных половин. Смешная шляпа. Пожалуй, дело было даже не в ней, а в том, как он носил ее.

Подъехал лифт, и мы вошли в кабину. Я встала у дверн. Старая женщина втиснулась рядом, мне это было неприятно. Я просунула между нами сумку. Мужчина сто-

ял за мной. Вдруг раздался отрывистый визг, будто наступили на лапу собаке. Фрау Лубан вцепилась в мою руку. Я убрала руку и обернулась. Мужчина в фетровой шляпе стоял прислонившись к задней стенке и со скучающей миной глядел на световой указатель с номерами этажей. Мы улыбнулись друг другу. Когда лифт остановился, мужчина вежливо поклонился и придержал перед нами дверь.

Вечером Генри пришел ко мне. Я уже лежала в постели, когда раздался звонок. Я набросила халат и открыла дверь. Держа в руках дымящуюся кастрюлю, Генри попросил ему помочь. Уже поздно, и мне пора спать, ответила я. Он пожаловался, что еще ничего не ел, а его стряпня (он показал кастрюлю) совершенно несъедобна. Генри решительно прошел в комиату и принялся разглядывать фотографии на стенах. Стоя в дверях, я повторила, что устала и хочу спать. Я вас долго не задержу. Поем и сразу уйду, сказал Генри. Пришлось отправиться на кухню. Генри остался в кресле и продолжал говорить со мной из комнаты. Я накормила его. Генри просил, чтобы я посидела с ним. Но мне действительно хотелось спать. Он поинтересовался, сама ли я снимала и печатала фотографии. Мне было хорошо с ним. Даже усталость казалась просто легкой истомой. Я забралась в постель и слушала его с закрытыми глазами. Генри продолжал расспрашивать о фотографиях и о снятых пейзажах. Потом заговорил о комнате: все в доме обставляют квартиры одинаково. Комната маленькая, и сама планировка вынуждает ставить кровать сюда, а стол туда. Есть одно отличие, но и оно запрограммировано: если много книг, то нужен стеллаж. Его ставят у двери, тогда кровать передвигается к окну. Генри весело добавил, что при виде стеллажей на одних и тех же местах с теми же самыми книгами хочется пустить себе пулю в лоб. Я слышала его голос, меня охватывала приятная дремота. Генри встал, прошелся по комнате, посмотрел в окно и вернулся к столу, чтобы выпить. А я лежала в постели и следила за ним. Вдруг Генри заметил в углу золотые босоножки на высоком каблуке, которые привели его в неописуемый восторг. Он потребовал, чтобы я их немедленно надела.

Я сказала:

— Поели и ступайте. Мне нужно выспаться.

Генри не обратил на мои слова ни малейшего внимания. Держа в руках босоножки, он продолжал расхваливать их. Потом Генри опять сел в кресло, закурил и стал смотреть в окно. Он спросил, люблю ли я выходнть на балкон — сам он балконов терпеть не может.

— Боитесь высоты? — полюбопытствовала я.

— Нет,— покачал он головой.— Тут другое.

Генри заговорил обо мне, о том, возможно или невозможно взаимопонимание. Он задавал вопросы, на которые у меня не было ответа. А Генри только улыбался и пригубливал красное вино. Я не могла понять, расспрашивает он всерьез или шутит. Может, это было просто игрой, чем-то вроде теста, проверки. Вид у него был спокойный и веселый.

— Почему вы спросили о балконе? — вспомнила я.— Какая тут связь?

— Боюсь улететь,— улыбнулся Генри.— Можно и прозаичнее: боюсь свалиться прежде, чем со мной произойдет что-нибудь стоящее. Зачем-то ведь я живу? В невероятной истории моего появления на свет должен быть какой-то смысл. Вот я и жду.

Он забавлял меня.

— Жизненный опыт свидетельствует, что конец у подобных историй прост и заурядeн. У вашей он будет не лучше, чего бы вы себе ни напридумывали.

— Да-да,— вздохнул Генри,— жизненный опыт. Однако жизнь порою преподносит нам золотые босоножки.

— И вам этого достаточно?

— По крайней мере на сегодняшний вечер,— сказал он примирительным тоном. Потом спросил: — Ты действительно очень устала?

Я покачала головой, не зная, что о нем подумать. Да и не хотелось ломать себе голову. Генри сидел в кресле и курил. Потом он затушил сигарету и лег ко мне. Я слишком удивилась, чтобы возразить.

Спал Генри беспокойно и рано проснулся. Я хотела приготовить ему завтрак, но он шепнул, чтобы я не вставала. Генри тихонько поцеловал меня и ушел. Я снова задремала, а когда проснулась, то долго лежала в постели, стараясь сообразить, который час. Потом я вспомнила, как фрау Лубан подсматривает через дверную щелку за коридором.

Я встала, приняла душ, поставила воду для кофе. Съездила вниз за почтой. В ящике лежала только газета. Когда я вернулась, кухня была полна пара. Я приготовила кофе и позавтракала в комнате. За завтраком я разговаривала сама с собой. Раньше мне было неприятно ловить себя на подобных разговорах. Теперь они мне не мешают. Даже как-то легче: играет радио, и слышен человеческий голос. Не важно, что это мой собственный голос.

Я вспомнила о Генри встала, подошла к балконной двери, открыла ее, поглядела на улицу и вернулась на место продолжить завтрак. Рядом с чашкой лежала раскрытая газета. Я начала просматривать объявления.

В газете я читаю только объявления. Позволительное и даже поощряемое самоснабжение. В рамках приличня. Рассказы о человеческих судьбах, ужатые до шифровок: «Пропала собака по кличке Трикси (не кусается)», «Продается спальный гарнитур (новый, с гарантией)». Люди предлагают себя в качестве спутников жизни и ищут таковых; безликая самореклама брачных объявлеиий («увлечения: книги, театр, туризм», «не лишен юмора», «общественник», «некурящий»). Боль, облеченная в казенные формулировки: «с глубокой скорбью», «трагическая кончина». Расхожие штампы в помощь тем, кто онемел от растерянности. Иногда подробности этих случаев узнаешь в поликлинике. Ведь покойный был чьим-то пациентом, кто-то делал ему операцию или писал свидетельство о его смерти. Мои коллеги — народ информированный и словоохотливый.

А объявлеиия о купле и продаже. Торговля антикварными вещами, простаки и мошенники. Одни надеются приобрести готовое счастье, у других — нужда, беда. Энциклопедия большого города, социальный роман с традиционным набором жанровых примет. А еще — напоминание о постоянной смене поколений.

Внезапно я услышала женский голос, звавший кого-то. Балкониая дверь была открыта. Фрау Рупрехт, закутанная в черную шаль, сыпала иа соседнем балконе корм птицам, просунув руку между прутьями решетки. Голова у нее покачивалась из стороны в сторону. Фрау Рупрехт звала птиц, но птицы сюда не залетают. Крошки разметет ветер. Иногда фрау Рупрехт заходит ко мне попросить лекарства. Впрочем, она ненавязчива.

Я убрала со стола и помыла посуду. Потом посидела и выкурила сигарету. Прибирать больше нечего. В такой маленькой квартире дел бывает немного.

Через полчаса я пошла на работу.

3

В последующие три дня Генри не появлялся. С ночным дежурством я отработала тридцать два часа подряд. Дежурство оказалось спокойным. В неотложке, как обычно, несколько пьяных, приступ аппендицита, желудочные боли и гипертония. В стационаре — внутривенные уколы, два переливания крови, инсулин для диабетиков, одному пациенту дала кислород. Незадолго до полуночи другие дежурные врачи зашли ко мне на чашку кофе. Затем полиция доставила задержанных для анализа крови. Пришлось выписать два свидетельства для ареста. Позднее было еще несколько человек: молодая беременная женщина, которая жаловалась на какие-то дисфункции, мужчина с колитом, разволновавшийся старик привел сердечницу.

К шести утра поликлиника оживилась. У меня еще оставалось время спокойно позавтракать с дежурными врачами и ночными сестрами. Прием начинался в восемь.

Мне, пожалуй, даже нравятся приемиые часы после ночного дежурства: возникает ощущение, будто тебя окружает мягкая завеса. Звуки едва доходят до слуха. Приглушенные, они стелются по полу. К пациентам я отношусь доброжелательно, а они мне сочувствуют. Вероятно, Карла предупреждает их о том, что я дежурила ночью. Труднее во время месячных, когда ломит поясницу.

В пятницу я встретила Генри. Мы столкнулись в подъезде около почтовых ящиков. Я возвращалась из парикмахерской, и вид у меня был ужасный. Мне хотелось пройти мимо, чтобы поскорее расчесать волосы. Но Генри меня остановил и поцеловал руку. Он сказал, что ждал меня и рад встрече. Наверх поднялись вместе. У моей двери мы договорились пойти куда-нибудь поужинать.

Через два часа Генри зашел за мной. Мы поехали в его машине за город. Генри вел машину хорошо, но слишком быстро. Я сказала ему об этом, и он ответил, что если мне страшно, то можно ехать помедленнее. Дело не в страхе, возразила я. Впро-

чем, неприятности с полицией будут у него, а не у меня. Генри засмеялся и прибавил скорость. Пришлось держаться за ручку, это его забавляло.

Мы приехали в маленький ресторанчик. Генри пожал руку хозяину, которого звали Рихардом. Он проводил нас к столику у небольшой пальмы. Ему было за сорок. Приземистый, щеки толстые и дряблые, живот выпирает из брюк. Они с Генри давно знакомы. Рихард постоял у нашего столика, рассказал о своей жене, сообщил, что неподалеку произошло убийство и один из его официантов попал в свидетели. Потом он посоветовал, что заказать, и Генри со всем безоговорочно согласился. Когда хозяин ушел, Генри объяснил, что всегда полагается на Рихарда, и поэтому не спросил меня о заказе, чтобы тот не обиделся.

Готовили здесь хорошо, и я сказала об этом Рихарду, когда он снова подошел к нам. Рихард пожаловался, что у него барахлит машина, и попросил взглянуть на нее. Генри обещал заехать в ближайшие дни. Я поинтересовалась, не связана ли его профессия с машинами. Он отрицательно покачал головой. Оказалось, что Генри архитектор. По его словам, ему приходится строить никчемные типовые АЭС, которые различаются лишь тем, что их ставят то на левом, то на правом берегу реки. А машины — просто увлечение, хобби.

Мы выпили довольно много вина, отчего я, как обычно, стала очень разговорчивой. Пожалуй, я вела себя агрессивно. Меня раздражала ироничная невозмутимость Генри, и я пыталась задеть его за живое. Хотелось разозлить его. Почему, уже не помню. Во всяком случае, сделать это не удалось. Генри только улыбался.

Когда подали кофе, Рихард опять подсел к нам. Он вновь заговорил об убийстве и своем официанте потом опять о машине, в которой совсем не разбирался, а она была ему сейчас очень нужна. Генри чувствовал неловкость — он заметил, что разговор мне неинтересен.

К полуночи мы собрались уходить. Я попросила Генри, чтобы он оставил машину и взял такси. Он опять спросил, не боюсь ли я. Разозлившись, я ответила, что водить машину пьяным неоригинально и глупо. Но все-таки поехала с ним.

В машине я наблюдала за Генри. Он сдвинул шляпу на затылок и был очень собран. Руль придерживал кончиками пальцев, часто переключал скорости. Его движения были плавными, почти нежными. Наверное, вести машину было для него большим удовольствием. Генри заметил, что я гляжу на него, и смущенно улыбнулся.

Похоже, машина означает для него очень многое, сказала я. Генри согласился.

Помолчав, он проговорил:

— За рулем я чувствую, что живу.

— Громкие слова.

— Да,— признался он.

— Только за рулем? — спросила я.

— Бывает и еще иногда, но не так сильно.

Я сказала, что этой страсти не разделяю, да и не понимаю ее. Никто от меня этого и не ждет, усмехнулся Генри. Речь идет лишь о нем самом и его причуде.

— Что-то вроде тайной услады? — уточнила я.

Генри кивнул. Сравнение показалось ему забавным.

Потом я спросила Генри, кем бы он хотел стать, если бы у него был выбор. Не задумываясь, он ответил:

— Гонщиком или каскадером. В эпизодах с погонями.

— Опасная профессия,— заметила я.

Он улыбнулся:

— Зато поживее других.

— А аварий не боишься? — спросила я.

— На это есть врачи,— ответил Генри и взглянул на меня.

— Да,— вздохнула я,— но бывают и смертельные исходы.

Он помолчал, опустив уголки губ. Потом проговорил:

— Умереть не страшно. Для меня страшнее не жить. Не жить по-настоящему.

От вина мне было немного нехорошо. Я откинулась назад и закрыла глаза.

— Сумасшедший,— пробормотала я и заснула.

Дома Генри поцеловал меня, а я сказала, что он мне совсем чужой. Генри спросил «почему?». Но я ничего объяснять не стала, да и не могла объяснить — сама толком не понимала. Что-то казалось в нем странным, я чувствовала это и знала, что его отчужденность никогда до конца не исчезнет. Но я была слишком пьяна,

чтобы ломать себе голову над подобными загадками. Позднее я порой думала об этом, но мне не хотелось умствовать о том, что меня устраивало таким, каким было.

Благодаря этой легкой отчужденности между нами установились особые отношения, которые привлекали меня своей деликатностью. Не стоит вновь слишком уж раскрываться перед другим человеком и обрекать себя на зависимость. Мне нравилось ласкать чужое тело, но лезть в чужую душу я не желала.

Возможно, такая сдержанность была возрастной. Для меня это не имело значения. Наши отношения меня вполне устраивали, а остальное мне безразлично.

Утром мы завтракали вместе. За столом Генри показывал фокусы с ножом, вилкой и вареным яйцом. У него было хорошее настроение. Я сообщила, что на выходные уеду в гости. Генри попросился в провожатые, но я сказала, что это невозможно. Он не спросил «почему?». Внезапно мне расхотелось уезжать, но я обещала матери навестить их на этой неделе. Предупредить, что не смогу приехать, я уже не успевала, но с отъездом не торопилась.

Мы сели играть в шахматы, однако я нервничала и партию не доиграла. Я всегда нервничаю перед поездками к родителям. Уже накануне мне делается не по себе. Собственно, речь идет о визитах вежливости к людям, с которыми меня почти ничего не связывает. Меня раздражает то, что им дано право называть меня дочерью, гордиться моими успехами, давать наставления, а на прощание одаривать пирогом или банкой варенья. Они упорно настаивают на своих привилегиях и обижаются, если я приезжаю реже. Я для них стала чужой, только они не хотят себе в этом признаться. Даже мысли такой не допускают. Узы родства случайны, но они сохраняются в виде бессмысленной повинности, которая понуждает, например, к взаимным визитам.

Когда Генри собрался уходить, я поинтересовалась его планами на выходные. Он задержался в дверях, посмотрел на меня, подумал. Шляпа у него была сдвинута на затылок.

— Особых планов нет.— Он наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку, и ушел.

Вечером я была у родителей. Приехала поздно («Ты, дочка, совсем нас забыла»), они уже сидели перед телевизором. Стол оставался накрытым, даже торт не убрали. («Мы так долго тебя ждали, тетя Герда тоже. Надо обязательно к ней зайти, дочка, она тебя очень любит»). Я устала, была не в духе, но взяла себя в руки. На буфете лежал список лекарств. Мать каждый раз готовит мне такой список, и я достаю лекарства, посылаю ей, а она раздает их соседям. «Ты должна помогать,— твердит мать,— не то пойдут разговоры, что докторша, мол, загордилась».

В одиннадцать я пошла спать. Отец остался сидеть перед телевизором. Он ляжет не раньше, чем допьет бутылку.

Когда я уже была в кровати, зашла мать. Она присела на краешек и сказала, что хочет поговорить. Дескать, накопилось много такого, что надо бы выяснить. Я ответила, что не понимаю, о чем речь. Мать погрустнела и спросила, почему я такая холодная и неласковая. Я возразила, но не слишком резко, чтобы не ссориться.

Мне было жаль женщину, сидевшую рядом, жаль — и только. Непонятны ее упреки в бессердечности. Ведь мы видимся редко, настолько редко, что и я должна бы стать ей безразличной. Мать сама себя разжалобила, даже немножко поплакала, и я ей посочувствовала. Она рассказала об отце, у которого дела сейчас плохи. Его выпихнули на пенсию, хотя он мог бы еще поработать на своем заводе. А все из-за ученика, которому отец дал оплеуху. Руководство предложило на выбор: либо отец уходит на пенсию, либо его снимут с должности мастера. Отец уволился в один день. К шестидесятипятилетию его должны были наградить, но не наградили. Отцу сказали, что из-за скандала с учеником награда была бы несвоевременной, но пообещали ее через годик-другой. Отец ужасно обиделся и разругался с начальством, с товарищами по работе. Друзей у него не было, и теперь он целыми днями проснжи-вал дома.

Рассказывая, как ей трудно с отцом, мать гладила мою руку. Я молчала. Мне казалось, что не стоит ее утешать. Матери все равно придется самой справляться с этими проблемами. А если бы я сейчас в ответ погладила ее руку, она снова начала бы плакать.

Мать сказала, что видела Хиннера, моего бывшего мужа. Хиннер был с ней очень-очень любезен, подвез ее в своей машине, сделав ради нее большой крюк. Скоро он будет старшим врачом. Во второй раз Хиннер не женился. («Он не может

забыть тебя, дочка».) Хиннер подробно расспрашивал обо мне и хотел бы меня повидать. Может, я не против? Не стоит ворошить прошлое, ответила я, это бессмысленно. Женщины не обойдут Хиннера вниманием, при его-то успехах в клинике. Мать сказала, что Хиннер — человек порядочный и о своих прежних глупостях сожалеет. Надо дать ему возможность исправиться и не быть такой злопамятной. К тому же мне пора подумать о себе, ведь годы идут. Я ушла от Хиннера вовсе не из-за его романов, возразила я, просто поняла, что наш брак был ошибкой. И хватит сводничать, добавила я резковато.

Мать опять всплакнула, а потом начала сплетничать про соседей. Перед уходом она спросила: правда, хорошо мы по душам поговорили? Я не совсем ее поняла, но сказала: правда.

Мать облегченно вздохнула.

Я долго не могла заснуть и в конце концов приняла две таблетки снотворного.

За завтраком мать спросила, много ли я курю, а отец поинтересовался, что я думаю о Китае. Курю много, а о Китае знаю мало, ответила я. Отец долго объяснял, чем сейчас важен для нас Китай. Потом он спросил, слежу ли я за событиями в Суринаме, и ужасно разозлился, потому что я забыла, где находится Суринам. Отец сказал, что я хоть и образованная, а дура — надо читать газеты. Он, дескать, воспитывал своих дочерей политически грамотными, но от меня, видно, толку не будет. У меня и без мировой политики проблем хватает, возразила я, но, чтобы успокоить отца, пообещала читать газеты, как только немного освобожусь. Однако отец рассердился не на шутку. Он ударил кулаком по столу так, что задребезжали чашки, наорал на мать, которая попыталась за меня вступиться, и вышел из комнаты.

Мать попросила не обращать на него внимания. Мол, отец и ей устраивает сцены из-за политики.

Я помогла матери на кухне, а потом мы пошли вместе к тете Герде, которая жила через две улицы. Тетя Герда — это сестра моей матери. Она толстая и румяная женщина, говорит всегда громко и безо всякого стеснения, вроде своего мужа. Когда мы пришли, они разделывали кролика. Мы уселись в гостиной. Дядя Пауль принес домашнюю настойку из смородины, сладкую и тягучую.

Поговорили обо мне, о моей жизни в Берлине. Дядя Пауль ворчал, что у него в голове не укладывается, как это я, такая роскошная женщина, до сих пор одна. Не понимает он теперешних мужчин. В его время мужик был понапористей. При этом он ущипнул меня за грудь. Тетя Герда прикрикнула на него и стукнула по руке, а мать скривила губы. Дядя Пауль сказал, чтобы они не слишком много воображали о себе, а я у него всегда была любимицей. Тетя Герда подлила ему настойки и выпихнула на кухню шпиговать кролика.

Потом тетя Герда показала мне вздувшиеся на ногах вены и пересказала диагноз своего врача. Ей хотелось знать мое мнение. Я сказала, что диагноз верен. Мать и тетя Герда заговорили о новом магазине неподалеку, а я пошла на кухню помочь дяде.

Я мыла салат, чистила картошку и смотрела, как дядя Пауль разделывает кролика. На правой руке у дяди не хватало трех пальцев. Он потерял их на войне, и я с детства помню его с покалеченной рукой. Нож он держал двумя пальцами и ладонью и управлялся им очень ловко. На его крупном красном носу блестели капельки пота.

Отложив кролика и вымыв руки, дядя вышел из кухни и вернулся с путевкой. Он приготовил тете сюрприз ко дню ее рождения — отдых на Черном море. Дядя копил деньги два года, тайком, потому и мне нельзя пробалтываться. Он хочет подарить путевку накануне отъезда. Иначе тетя не полетит — боится самолета. Она ни разу в жизни не летала и твердила, что ей, старой курице, поздно начинать летать.

Дядя сказал со смехом, что еще шугает эту старую курицу. Его желтые глазки почти совсем исчезли среди морщинок. Лысина, обрамленная венчиком редких, седых волос, раскраснелась. Дядя радовался своей затее, как ребенок. Он еще раз шепнул мне, чтобы я ни в коем случае не проговорилась, иначе тетку в самолет на аркане не затащишь. Потом он спрятал путевку.

К нам пришла мать и сказала, что пора домой.

На прощание дядя Пауль подмигнул и потянулся ко мне. Тетя Герда опять

шутливо взвизгнула. Но матери подобные шутки не нравились. Она обругала дядю старым козлом, а тот примирительно потрепал ее по щеке.

Дома отец сидел перед телевизором и смотрел беседу политических обозревателей. Мать поворчала, что он ничего не приготовил поесть, и мы пошли на кухню. Я занялась салатом, а мать поставила разогревать жаркое. Она спросила, как мне живется одной. Я ответила, что неплохо. Появилось больше времени, и можно подумать о важных для меня вещах, чего прежде не позволяла каждодневная суета. Мать сказала, что это ей понятно. Потом она поинтересовалась, есть ли у меня друг. Я сказала: нет. Помолчав, она спросила, как же я обхожусь без мужчины. Мне стало смешно: если ее беспокоит, что мне не с кем переспать, то это не проблема. Мать согласилась: пока я молода и красива, проблемы нет, но не боюсь ли я старости? Ведь одной будет трудно. Пока меня это не тревожит, сказала я.

Некоторое время мы молчали. Я видела, что мать о чем-то думает. Взглянув на меня, она странным голосом проговорила, что, вероятно, права я, а не она. Но она уж слишком давно замужем, да и ее поколение совсем другое. Мать обняла меня и снова сказала, что, наверное, я права.

За обедом отец казался смущенным. Он так многословно расхваливал мой салат, что мать рассердилась. Я собралась уехать сразу после обеда, чтобы вернуться в Берлин засветло. Мать попросила меня побыть еще, ведь мы сегодня так славно поговорили по душам. А отец захотел показать завещание. Мне никакого завещания не нужно, возразила я. Однако отец уверял, что ему будет спокойнее, если дело будет сделано. В конце концов мы договорились посмотреть завещание в следующий раз.

На прощание отец сунул мне в карман пятьдесят марок. Я вернула деньги — ведь он таким образом извинялся передо мной, а мне это казалось лишним. Его интересует политика, меня — нет или гораздо меньше. Вот и все. И если он считает, что я не права, то извиняться не стоит.

Я сказала отцу, что зарабатываю достаточно, пусть лучше купит что-нибудь матери. На прощанне мы поцеловались, и я уехала.

В Бранденбурге я дважды останавливалась, чтобы сфотографировать покривившийся амбар и развалины двухэтажной лесопилки с большой облупленной вывеской, на которой сохранились фамилия владельца, часы работы и прейскурант пиломатериалов. Прохожие оглядывались на меня. Я заметила, как один из них записал номер машины. Мне стало смешно: что он будет делать с моим номером?

В Берлин я вернулась под вечер. Генри дома не было. Я распахнула балконную дверь, долго стояла под душем, вымыла голову. Мне захотелось почитать, но я нервничала и не могла сосредоточиться. Попробовала найти какой-нибудь уже читанный, но забытый детектив. Однако ничего подходящего не оказалось. Разложила пасьянс, выпила кофе.

Позднее позвонила Генри, но он еще не вернулся. Приготовила ужин и села есть у телевизора. Шла французская кинокомедия из семейной жизни. Начало я пропустила и поэтому ничего не поняла. Лежа в постели, я подумала о родителях, но мысли путались. Вспоминалось что-то смутное, неясное. Вскоре я заснула.

4

На многих балконах нашего дома стоят вазоны с декоративными растениями. Листья их кажутся блеклыми и пыльными. У меня вазонов нет. Я бы поставила у себя герань или другие цветы, но не могу. Ветер их все равно обломает.

Прием был обычным. Большинство пациентов пришло за новыми рецептами. У остальных были разные пустяки вроде легкого насморка.

Неприятный осадок остался от разговора с медсестрой. Во вторник Карла объявила, что больше не принимает «овозистон». Из-за него она, дескать, полнеет. Карла даже покрутила передо мной бедрами, чтобы я убедилась в этом. Теперь она ужасно боится «залететь», так как ее муж «очень активен».

Я вспомнила, что мне рассказывала о ней лаборантка из рентгеновского отделения. В прошлом году наша администрация организовала банкет по случаю дня медицинских работников. Были речи, вручение денежных премий, потом выпивка. В самый разгар праздника эта лаборантка застала нашего шефа с Карлой в одном из кабинетов и заперла их снаружи. Шефу пришлось звонить вахтерам, чтобы их выпустили. Все были довольны. Никто прежде этих грешков за шефом не замечал

(у Карлы они подразумевались). Тем приятнее был сюрприз. Вздох облегчения: добро пожаловать, коллега, к нам — в наш приют пошленького, банального интима.

Толстушка Карла была просто немного развратной. Мне же она жаловалась на мужа.

Карла спросила, не могу ли я достать ей спиральку, заграничное противозачаточное средство, о котором в последнее время много говорят. Отвернувшись, я посоветовала обратиться к шефу, у него прекрасные связи. Карла молча вышла из комнаты.

Вечером я позвонила институтской подруге, которая работала в правительственной больнице, вкратце обрисовала ситуацию и попросила достать спираль для Карлы. Подруга ничего не обещала, но сказала, что попробует помочь.

Перед уходом из поликлиники я рассказала Карле о своем звонке. Она поблагодарила, но сдержанно и без особого удивлеиия. Карла догадывается, почему я это сделала. Я завишу от нее. Сестер в нашей клинике не хватает. Словом, Карла в долгу себя считать не будет. Однако попрощалась она со мной почти сердечно. На миг мне показалось, что Карла протянет руку. Но она ограничилась обычным кивком.

Жутко представить: она пожала бы мне руку, и с этих пор мы бы каждый день обменивались рукопожатием — утром и вечером. Случайный жест становится привычкой, бесконечным и бессмысленным ритуалом. А со временем фамильярность набирает такую инерционную силу, что с нею не справиться.

Уже в машине я поглядела Карле вслед. Возможно, я излишне щепетильна, и все же хорошо, что удалось избежать ненужного контакта с чужим человеком.

Щепетильность ли это? Может, психоз? Боязнь прикосновения? Фобия? И нужно ли искать этому точное название? Ведь все так просто: мне не хотелось прикасаться к ней. И больше ничего. К чему объяснения и психиатрические термины? Но таков уж наш век науки, когда жизнь становится объектом диагностики, а слова, жесты, чувства — симптомами отклонения от некой абстрактной нормы, зафиксированной в виде научных терминов, которые имеются на любой случай.

Я включила двигатель. Разворачивая машину, увидела в зеркальце удаляющуюся спину Карлы. Она шла легким, пружинистым шагом, покачивая бедрами. Мне стало жалко ее.

Мы не виделись с Генри целую неделю. В его почтовом ящике скопились письма. Я заглядывала туда, когда забирала свою газету. Тем не менее позвонила в его дверь и расстроилась, не застав Генри дома. Зато соседняя дверь немного приоткрылась, но стоило мне обернуться, она тут же захлопнулась. Где был Генри и почему он не сообщил об отъезде? Я удивлялась самой себе — разве Генри обязан делиться со мною своими планами? У нас ведь нет взаимных обязательств. Мы ничего не должны друг другу.

Я попыталась больше не думать о нем. Меня злило, что я так быстро отказалась от своих принципов. Действительно, зачем ему докладывать о своих отлучках? Неужели меня затягивает самая банальная связь? Ведь это та же семейная жизнь с тысячью обязанностей и мелких несвобод. Одной попытки вполне достаточно!

В четверг после работы я отнесла шубу в химчистку. Приемщица предложила оставить после чистки шубу у них на хранение, потому что мало кто умеет правильно хранить мех. Я полюбопытствовала, как же его хранят, но приемщица не смогла толком объяснить. Она лишь сказала, что многие клиенты отдают им шубы на лето. Я спросила, делают ли тут мелкий ремонт — у шубы отлетела застежка. Приемщица не знала и этого. Она рассказала, что год назад развелась, а теперь ищет подходящую работу. После двух лет учебы она из-за мужа и ребенка бросила институт, а теперь ей трудно найти интересную работу.

— Вот чем расплачиваешься за любовь,— сказала она.

Ей хотелось бы заняться керамикой, у нее есть тяга к прикладному искусству, она уже и ткать пробовала. Если бы были деньги, она открыла бы магазинчик модных мелочей.

Приемщица говорила со мной очень доверительно. Ей хотелось с кем-то поотровенничать. У ее бывшего мужа теперь новая семья. Она живет с сыном и двумя дочерьми. Сыну уже пятнадцать. Он крадет у нее деньги, не ночует дома, пьет, прогуливает школу. Она спросила, кем я работаю, я ответила — врачом.

Приемщица смутилась, почти испугалась:

— Ах, простите, фрау доктор. Я тут разболталась.

Доверительности как не бывало. Речь шла теперь только о моей шубе. Приемщице было неприятно, что она разговорилась с «дамой» о своих личных проблемах. Что ж, мне все равно нечем ей помочь. Я вежливо попрощалась и оставила шубу.

Купив кое-что из продуктов, я зашла в маленький частный магазин, где приглядела белую блузку без воротника. В магазинчике не было примерочной, и я колебалась. Продавщица начала меня уговаривать. Она уверяла, что блузка мне идет, и делала комплименты: мол, такая блузка хороша для женщин со спортивной фигурой. Я заплатила ей столько, сколько она попросила, хотя цена показалась мне завышенной. Хотелось поскорее уйти из магазина, а разговоры о моей фигуре были просто неприятны. Слишком уж навязчиво продавщица восторгалась мной и моим «бюстом».

Она продолжала говорить даже после того, как получила деньги. Она была выше меня, поэтому ее старушечий рот шевелился прямо перед моими глазами. Руками она то и дело суетливо трогала худую шею с бусами в несколько рядов. Пока продавщица отсчитывала сдачу, я оглядела маленькое помещение и спросила, где у нее туалет. Она недоуменно покачала головой, а на вопрос, как же она целый день обходится без туалета, нервно рассмеялась. Смех показался мне наигранным, но раз уж ей не хотелось отвечать, то я пробормотала: «Ясно». Продавщица покраснела. Она молча подала мне пакет с блузкой и сдержанно поблагодарила за покупку. Я пожалела, что смутила ее своим вопросом. Меня поразила теснота, и я поинтересовалась без всякой задней мысли. Мне думалось, это техническая проблема. Оказалось — человеческая. Но объясняться было бессмысленно. Неловкость только усугубилась бы.

Закрыв за собой дверь, я сошла по ступенькам на тротуар, обернулась и заглянула сквозь витрину в магазин. Мы встретились взглядом с продавщицей. Она стояла прижав руки к груди. Но это продолжалось лишь одно мгновение, потом руки вновь суетливо задвигались.

Воздух дрожал от шума машин и трамвайного звона. На минуту шум стих, потом нахлынула новая волна машин. У некоторых уже были включены фары. Мглистое, непроницаемое небо стало совершенно серым.

Вечером я пошла в гости к Крамерам. С Шарлоттой Крамер мы дружили еще с институтской поры. Сейчас она работает в университете. Ее муж Михаэль руководит лабораторией фармацевтического предприятия, контролирует качество медикаментов. Он на десять лет старше Шарлотты и уже облысел. Уравновешенные, всегда приветливые, они целиком посвятили себя детям. Мне они нравятся. С ними просто. Просидеть у них целый вечер немного утомительно, зато покойно.

В их подъезде всегда стоит кисловатый запах старого дома. Я дышала через носовой платок, пока шла по лестнице. На мой звонок дверь резко распахнулась. Вся семья — у Крамеров трое сыновей — бросилась ко мне с объятиями. Я раздала шоколад. Потом меня отвели в детскую, чтобы показать электрический автомобиль. Мальчики начали ссориться, и я облегченно вздохнула, когда Шарлотта послала их мыться. Она провела меня по квартире. Шарлотта всегда хвалится какими-нибудь новинками. Муж у нее мастер на все руки — то полки сколотит, то деревом стены обошьет. На этот раз Михаэль смастерил в коридоре антресоли, которые, впрочем, выглядели довольно устрашающе. Я похвалила его, и он засиял от удовольствия. Михаэль похож на папашу из французской комедии, которую я недавно видела.

Потом мы ели сыр из фритюрницы, и Шарлотта с Михаэлем рассказывали о детях — об их проделках и забавных словечках. Они перебивали друг друга, и им было очень весело. Затем Михаэль показал несколько слайдов, снятых во время командировки в Люксембург. Я скучала и поэтому довольно много выпила. Шарлотта тоже опьянела и начала подшучивать над лысиной Михаэля, называя его стариком. Михаэль улыбался. Он привык к ее шуткам.

На кухне Шарлотта рассказала мне про студента-заочника, с которым она встречается на чужой квартире раз в месяц, когда тот приезжает в Берлин. У него тоже семья. Стоит ли ей признаться мужу? — спросила Шарлотта. Я поинтересовалась, хочет ли она развода. Шарлотта ответила, что разводиться не собирается и даже вряд ли влюблена в своего студента. Это только постель. Могу ли я ее понять? Я ответила — могу. Шарлотта призналась, что сама она ничего не понимает, ведь Михаэль так добр к ней. На душе у нее скверно, она презирает себя, но продолжает

встречаться со студентом. Тут Шарлотта ошпарила руку кипятком, в кухню прибежал Михаэль и побрызгал на кожу пафеиолем.

После кофе я попрощалась. Михаэль проводил меня до стоянки такси. На прощание он обнял меня и попытался поцеловать. Не стоит, мягко сказала я. Михаэль смутился и начал протирать очки. Я попросила его вернуться домой. Мне хотелось подождать такси одной. Но Михаэль остался. Он рассказал о конгрессе в Базеле и о вещах, которые купил там для детей и для Шарлотты.

Когда наконец такси подъехало, Михаэль опять попытался меня поцеловать. При этом очки у него упали, и мне пришлось их поднять — сам он ничего не видел. Стоя на самом краю тротуара, Михаэль смотрел мне вслед по-собачьи грустным взглядом и махал рукой.

5

В субботу утром ко мне в дверь позвонил Генри. Он стоял на пороге со сдвинутой на затылок шляпой, улыбаясь глядел на меня и молчал. Я спросила, где он был, а он ответил, что сейчас не это важно. Он раздел меня, и мы пролежали с ним в постели до полудня. Я встала только приготовить завтрак, а он рассказал, что всю неделю провел в Венгрии. С товарищами по работе он объехал несколько крупных городов — знакомился с реконструкцией технических сооружений. Поездка ему понравилась, хотя и оказалась довольно утомительной. Товарищи много пили. С утра они заваливались прямо в кафе, а так как сам он пьет мало, то лишь смущал их. Генри рассказал о крестьянских базарах и горячих источниках. На мой вопрос, почему он не предупредил о командировке, Генри промолчал. Я лежала рядом и ждала. Я чувствовала, что мой вопрос рассердил его, но мне это было безразлично.

— У нас ведь был уговор,— произнес он наконец.— Не так ли?

Закурив, он взглянул на меня. Я сказала, что беспокоилась. Генри отвернулся и грубо бросил, чтобы впредь я этого не делала, мы не муж и жена.

Накинув халат, я пошла на кухню мыть посуду. Когда я вернулась в комнату, Генри все еще лежал и листал журнал. Он спросил, не лучше ли ему уйти. Я покачала головой, присела на кровать и сказала, что он мне нравится. «Смотри не влюбись,— улыбнулся Генри,— я тебе не подхожу». Мы опять начали целоваться.

Часа в два мы поехали за город. Я захватила сумку с фотоаппаратами и объективами.

В загородном ресторанчике мы заказали яичницу и сыр. Обеденное время уже прошло, и хозяин принял заказ нехотя.

Кроме нас в зале сидели еще трое мужчин. Они курили, молча разглядывая нас. За все время, пока мы там пробыли, они так и не произнесли ни слова. Обслужив нас, хозяин принес им пива и сам подсел к их столу.

Я сказала Генри, что эти люди следят за каждым нашим движением.

— Наверняка опознали нас,— пошутила я.

Генри тут же подхватил игру.

— Еще бы,— прохрипел он,— о розыске уже объявлено, и повсюду висят эти чертовы фотографии.

Он велел мне не спускать глаз с мужчин, сам он берет на себя хозяина и пристрелит его на месте, если тот решит звонить в полицию. Мне придется взять их на мушку, пока он добежит до машины и включит зажигание.

Генри надвинул шляпу на лоб, глаза его весело блеснули. Я предположила, что хозяин успел незаметно позвонить по телефону и сюда уже несется полиция.

— Возможно,— заговорщицки прошептал Генри.— Тогда они дорого за это заплатят.

Переглянувшись, мы кивнули друг другу. Из кухни появилась хозяйка. Она подошла к нашему столику и поинтересовалась, нравится ли нам у них. Хозяйка посетовала, что мы приехали слишком поздно. Обычно тут хороший выбор. Узнав, что мы берлинцы, хозяйка спросила, бывали ли мы на Хоринерштрассе. Там теперь живет ее дочь. Она вышла замуж за пекаря и совсем забыла родителей.

Мы хотели расплатиться, но она сказала, что кассой ведает хозяин, и позвала его. Он подошел, хмуро пересчитал деньги, а она на прощание пожелала нам счастливого пути.

Уже в дверях я обернулась к трем пожилым мужчинам, которые провожали нас взглядами. Я кивнула им, и они благодарно улыбнулись в ответ.

Рядом с ресторанчиком продавалось мороженое. Неподалеку расположилась компания подростков с мотоциклами. Одни стояли, другие медленно ездили по кругу и посматривали в нашу сторону.

К нашей машине подошли две совсем молоденькие девушки и попросили их подвезти. Я спросила: «Куда?» — и девушки ответили: «Туда же, куда и вам». При этом они ухмыльнулись. Я не поняла их, а они расхохотались.

Потом девушки обратились к Генри, но он ответил им что-то, чего я не расслышала. Девушки показали ему язык, грязно выругались и ушли к остальным. Им было лет по пятнадцать.

Мы сели в машину. Один из подростков что-то крикнул, другие загоготали. Когда Генри тронул машину, в окно полетела горсть песка и мелких камешков. Генри сразу же затормозил, но я упросила его не останавливаться.

Я поинтересовалась, что он сказал девушкам.

— Ничего,— ответил Генри,— ничего особенного. Просто сказал, что не возьму их.

Я обернулась и посмотрела на удаляющуюся кучку подростков с мотоциклами:

— Скучают.

— Да,— кивнул Генри,— скучают. Они так всю жизнь проскучают.

Я расстелила на коленях автомобильную карту, чтобы подыскать место, куда мы могли бы поехать, и выбрала небольшой поселок на берегу речки. На карте там была указана мельница, которую, пожалуй, будет интересно сфотографировать.

Генри ехал, как всегда, очень быстро. Пока я изучала карту, он рассказывал об амстердамских каналах, которые видел в детстве. Они ему до сих пор часто снятся. Так велико было впечатление.

Впереди по боковой дороге ехал трактор. Все произошло мгновенно. Склонившись над картой, я почувствовала, как Генри прибавил скорость и перестроился в другой ряд. Когда я подняла голову, трактор стоял перед нами боком. Генри резко затормозил, рванул машину влево, нажал педаль газа, вновь затормозил и обеими руками вцепился в руль. Меня дернуло вперед, и я повисла на ремне, упираясь в ветровое стекло. Заднее колесо трактора на секунду закрыло правое окошко. Машина подскочила вверх и осела. Я стукнулась головой о крышу и ухватилась за Генри. Днище машины и выхлопная труба несколько раз жестко ударились о землю. Машина вильнула и замедлила ход. Когда Генри остановил ее, я посмотрела на трактор, стоявший поперек дороги. Водитель неподвижно лежал на большом рулевом колесе. Видно было только его спину, и можно было подумать, что у него нет головы. Кажется, я закричала. Генри взял меня за руку и спросил, что со мной. Я молча показала рукой на тракториста. В этот момент водитель выпрямился, оглянулся и вылез из кабины.

— Обошлось.— Генри улыбнулся, чтобы успокоить меня.

Мы стояли на картофельном поле. Машина перелетела через узкую глубокую канаву, отделявшую его от дороги. Я глубоко вздохнула и ничего не ответила.

Водитель осмотрел свой трактор и направился к нам. Рванув дверцу, он заорал, что Генри свихнулся или ослеп. Тракторист кричал и кричал.

Генри вышел из машины, взглянул на нее и спросил у водителя, цел ли трактор. Тот продолжал кричать, что он долго сигналил и уже заехал на встречную полосу, когда Генри пошел на обгон. Генри опять спросил, цел ли трактор. Тракторист отрицательно мотнул головой, схватил Генри за лацканы и закричал, что трактор едва не раздавил машину. Неужели непонятно? Чуть не раздавил ее в... От волнения тракторист не мог подыскать слово.

— Чуть,— мягко произнес Генри.

Я не видела его лица, но чувствовала по голосу, что он улыбается.

— Чуть,— повторил Генри.— «Чуть» не считается.

Тракторист отпустил лацканы, шагнул назад и с недоумением посмотрел на Генри.

— Я заявлю на тебя в полицию,— хрипло сказал он.

Потом он размахнулся и ударил Генри кулаком в лицо. Генри качнулся и упал на капот, стукнувшись головой. Он не шевелился, голова его лежала прямо передо мной, в нескольких сантиметрах от ветрового стекла. Глаза у Генри были закрыты. Я выскочила из машины и бросилась к нему. Он был без сознания.

— Воды! — крикнула я трактористу. Тот стоял у машины весь белый. Я снова велела ему принести воды и опустила Генри на землю. Когда я приподняла ему голову, Генри открыл глаза и посмотрел на меня. Перепрыгнув через канаву, прибежал тракторист. В руках он держал бутылку с остатками лимонада.

Генри буркнул, что с ним все нормально, и встал на ноги. Он осторожно потрогал левую скулу. Я советовала ему полежать, но он настоял, чтобы мы сейчас же ехали.

Тракторист мялся у машины со своей бутылкой, не зная, что ему делать. Злость его прошла, но он что-то еще ворчал себе под нос.

Я сказала, что все в порядке и он может ехать.

— Правда? — недоверчиво спросил он.

Ему было, пожалуй, лет сорок, но из-за двойного подбородка и небритых щек он выглядел старше.

— С ума сойти,— сказал он.— Еще бы немного...

Генри присел у машины, разглядывая рессоры.

— Уезжайте,— попросила я,— уезжайте же наконец.

А когда тракторист нерешительно почесал в затылке, добавила:

— Не беспокойтесь, я врач.

— Черт знает что,— пробормотал он.— Еще бы совсем немного...

Он повернулся и пошел к своему трактору. Прежде чем уехать, тракторист взглянул на нас и покачал головой.

Я села за руль. Генри с прищуром посмотрел на меня, но ничего не сказал и сел рядом. Я поехала вдоль картофельного поля, пока не нашла выезд на дорогу. Колеса вязли в рыхлой земле.

На шоссе я спросила у Генри, неужели он не видел, как трактор поворачивал налево. Генри ответил, что надеялся опередить его, но пошел на обгон секундой позже, чем нужно, так как именно в эту секунду подумал обо мне, о том, что я не люблю быстрой езды. Я промолчала, злясь на себя за свой вопрос, и постаралась вести машину повнимательней.

От мельницы остались только полуразрушенные стены да прогнившие балки. Наверное, местные жители унесли отсюда все, что могло сгодиться в хозяйстве. Всюду росли сорняки. Мы глядели под ноги, чтобы не споткнуться о какую-нибудь железяку в крапиве.

Я сфотографировала оголившиеся стропила. Черепичная кровля была разобрана, и на чердаке уже выросла маленькая березка с бледными, почти бесцветными листьями. Пришлось карабкаться к ней по остаткам стены. Наверху лежал разный хлам, старый приемник, ржавые лопаты, деревянные козлы, вздувшийся пузырями, отсыревший картон. Тут же кучки земли, пучки соломы, на железе фиолетово-масляными разводами поблескивала вода. Я ощупью продвигалась к чахлой березке, которая кривилась в сторону поля, словно деревце тосковало по лесу. Видоискатель захватил березку, часть металлической опоры, краешек горизонта. Потом в объектив попала детская коляска без колес. Я попробовала пройти дальше. Под ногой раскрошился камень, что-то упало вниз. Внезапно меня бросило в пот. Я схватилась рукой за стену и потихоньку двинулась назад, не решаясь поднять глаз и проклиная свою неосторожность. Наконец, я добралась до выступа, по которому карабкалась наверх. Генри ждал меня внизу. Он не видел меня и носком ботинка пинал чертополох. В начищенных черных ботинках, узкой жилетке и шляпе Генри выглядел среди этих развалин довольно нелепо. Он стоял со скучающим лицом меж чертополоха, кирпичей, обломков дерева, на фоне темного, вероятно заброшенного, луга, на отлогом берегу речушки. Вид у Генри был такой, будто он попал в компанию, где никого не знает и с трудом скрывает свое раздражение.

На мой оклик Генри поднял глаза и поинтересовался, когда я закончу.

— Скучаешь? — спросила я.

— Не очень,— ответил Генри. Он помог мне спуститься и полюбопытствовал, что я фотографировала. Я объяснила, и Генри уставился на меня с таким недоумением, что я рассмеялась и обняла его.

Потом мы прошлись по лесу. Генри петлял меж кустов, уклоняясь от сучьев. Я видела — наша прогулка кажется ему пустой тратой времени. Мне нравилось бродить среди деревьев, ступать по пружинистому мху, слышать голоса и шорохи леса, а Генри был к лесу равнодушен и даже двигался здесь с трудом. Мягкая, сырая

земля, кусты, завешенные паутиной, сухие ветки, хрустящие под ногами,— одного взгляда на Генри было достаточно, чтобы заметить, что все это вызывает у него досаду. Он был горожанином и чувствовал себя в лесу неуютно. Поначалу я без умолку болтала, показывала ему то и се, забегала вперед и не обращала решительно никакого внимания на его скучную мину. Генри попал ногой в лисью нору и выругался, а я спросила, что он собирается делать в воскресенье. Генри стоял на одной ноге, ощупывая лодыжку. Потом он осторожно попробовал ступить на подвернутую ногу, сделал несколько неловких шагов и проговорил, что завтра поедет к жене.

У меня перехватило дыхание. Я не могла собраться с мыслями, они толкались в голове вокруг этого слова. Мне нужен был какой-нибудь пустяк, ерундовая фраза, чтобы показать свою выдержку, но я ничего не могла придумать. «Не будь дурой,— твердила я себе,— не настолько же ты глупа». От злости мне хотелось разреветься. Я чувствовала себя униженной, обманутой. Генри ни разу не говорил об этом раньше, никогда не упоминал другой женщины, не намекал на то, что женат. И вдруг новость. Жена. Он сказал это между прочим. Где-то есть жена и двое детей. Мне было ужасно обидно. Почему он ничего не говорил раньше? И почему сказал об этом именно сейчас?

Я продолжала идти. Если бы остановилась, то не удержалась бы на ногах. Мне хотелось остаться одной, броситься на землю, выплакаться.

Заполучить его я не хотела. Даже мысли такой не возникало. Я давно решила замуж снова не выходить. Никому не давать на себя никаких прав. Я всерьез относилась к нашему молчаливому уговору — не брать на себя обязательств и ни в чем друг перед другом не отчитываться. Я твердо намеревалась соблюдать дистанцию между собой и любым другим человеком, чтобы меня больше не обманули и чтобы не обмануться самой. Но я понимала, что втайне готова поступиться собой, поддаться соблазну инфантильности, томительному, сладкому желанию быть лелеемой. Это похоже на душный, но приятный аромат увядшей календулы. Я все знала и поэтому была защищена от собственной слабости.

И вдруг эти несколько слов, смутное чувство, что меня вновь обманули. Ужас, который сдавливает грудь и парализует мозг. Но за что? Почему? Я — любовница женатого мужчины, и только! До смешного банальный роман, каких тысячи. Горный путь для бегства от семейной докуки. Почти стандартная и потому унылая возможность забыть на время свой долг перед тем, что не состоятельно ни сутью, ни словом, ни делом, однако сохраняется во имя неких высших интересов.

Мне было плохо. Щеки горели от стыда. Я бежала все дальше, ветки хлестали по ногам, по лицу. Ужасно колотилось сердце. Рядом послышались шаги Генри. Неожиданно прямо перед мной соскользнул с валуна в кусты уж. От испуга я споткнулась, проклиная высокие каблуки, и захромала. Генри нагнал меня, схватил за руки, дернул к себе.

— Куда несешься? — проговорил он, задыхаясь.— Что с тобой?

Генри обхватил ладонями мое лицо. Я подалась назад. Его левый глаз почти совсем заплыл, скула посинела. Лицо опухло и казалось гротесковой маской с кричащим ртом.

Ему не хватало воздуха, он старался отдышаться. Голова его покачивалась вверх и вниз в такт тяжелому дыханию. Генри тупо смотрел на меня.

— Над чем смеешься?— спросил Генри, тряся мою руку.— Над чем смеешься? — Он больно стиснул ее.

— Твой глаз,— выдавила я из себя и только теперь заметила, что громко и истерически хохочу. Прямо содрогаюсь от хохота. «Пусть, лишь бы не молчать». У меня перехватило горло. «Охрипну»,— промелькнуло в голове. Я попыталась шагнуть дальше. Генри встряхнул меня обеими руками. «Давай бей! — подумала я.— Ты ведь хочешь ударить, тебе это нужно!»

— Над чем смеешься? — прошипел он.

Я вырвалась и побежала. Генри вцепился в мое плечо, бросился на меня, и мы упали. В спину мне уперлось что-то твердое. Наверное, корень. Или какая-нибудь жестянка. Генри возился с одеждой, я отбивалась. Генри тяжело дышал мне в ухо, повторяя: «Над чем смеешься?» Он задрал подол моего платья. Я вцепилась пальцами в его затылок. Перед глазами плясала ветка с круглыми блеклыми листьями. Слезы текли в уши. И опять эта ветка, матовая зелень с бликами и коричневатыми тенями. Тени и свет, блики и тьма, близь и даль. Холод от земли, корень, больно упиравшийся

в спину. «Нет! — повторяла я про себя.— Нет!» Потом злость и отчаянье исчезли, растворились, перемешались со внезапной страстью, пляшущими листьями, прерывистым дыханьем Генри и, наконец, с чувством полного одиночества.

Мы лежали друг подле друга, неподвижно, молча, полураздетые. Почему-то меня занимал вопрос, где осталась машина. Хотя мне это было безразлично. В лесу было тихо. Я не открывала глаз. Солнце проникало сквозь веки. Не хотелось видеть Генри, отвечать на его расспросы, не хотелось объяснять того, чего я не могла объяснить. Да и что говорить? Я сама не понимала, что со мною происходит.

Через какое-то время мы вернулись к машине и поехали назад. Мне было ужасно холодно, я вся дрожала от озноба. Я по-прежнему молчала, и Генри включил радио.

В Берлин мы приехали часам к десяти. Генри проводил меня до двери. Мы избегали слов. Генри чинно попрощался, я улыбнулась ему. Поцелуй в висок. Пока. Спокойной ночи. Я быстро закрыла за собой дверь.

Позже я села за письмо к сестре. В конце концов порвала его. Перед тем как лечь в постель, приняла снотворное. Для меня это не такая уж редкость. И все же сон долго не шел. Я злилась на себя. Включила телевизор и несколько минут глядела в светлую, шуршащую пустоту. Затем полистала биографию известного музыканта, вспоминая, есть ли у меня что-нибудь выпить. В холодильнике нашлась початая бутылка водки. Я налила себе полный стакан и поставила рядом с кроватью. Запах и вкус водки были мне противны. Я выпила ее и уставилась в потолок. Шел третий час, было слышно, как спустился лифт. Я говорила сама себе: «Немножко поплакала и ладно. Давай спать. Ты же хочешь вырасти большой? — Нет, мама, не хочу. Я не хочу быть взрослой.— У тебя все еще впереди.— Не хочу, мама. Не хочу».

6

В конце июня я взяла отпуск и поехала к морю. Мы договорились с Генри, что проведем отпуск поврозь. Недолгое одиночество, свобода от каких бы то ни было обязанностей, каникулы от будней. И возможно, бессознательное опасенне еще большей близости, боязнь того, что за несколько недель, проведенных вместе ежедневно, ежечасно, исчезнет необходимая дистанция. Невыносимой была сама мысль о том, что весь отпуск изо дня в день придется под кого-то подлаживаться. Так же, как мысль о том, что кому-то пришлось бы стеснять себя ради меня.

Генри сразу согласился. Пожалуй, даже с облегчением.

В день отъезда Генри пошел на работу попозже — ему хотелось провóдить меня. Мы зашли в соседнее кафе. Генри держал мою руку и молча глядел на меня. Неподалеку от нас сидели две женщины, обеим за сорок, обе с крашеными волосами — блондинка и шатенка.

Блондинка держала на правой ладони кольцо и цепочку. Другой рукой она рассеянно брала их и снова опускала на ладонь. По ее сильно напудренному лицу ручьем текли слезы, смешиваясь с пудрой. Она плакала почти беззвучно. Слышался только тихий, какой-то очень тонкий писк.

Шатенка успокаивала ее. После двух-трех слов она замолкала и с беспомощно открытым ртом уныло глядела на подругу. Блондинка никак не реагировала. Шатенка обругала какого-то мужчину зверем, которого убить мало. Потом спросила, а что же он, собственно, сказал. Не получив ответа, она опять замолчала, приоткрыв рот. Ее черная юбка задралась. Лицо покрылось капельками пота. Она допила рюмку и сказала:

— У него мочки приросшие. У кого такие мочки — сволочь.

Я улыбнулась, потому что тоже знала эту примету.

Блондинка медленно покачала головой. Не отрывая глаз от кольца с цепочкой, она проговорила:

— Нет, он не плохой. Просто молод еще.

Подруга недовольно взглянула на нее, но возражать не стала. Они помолчали. Потом шатенка опять спросила:

— Что он сказал-то?

Блондинка ничего не ответила и снова тихо заплакала.

Генри легонько толкнул меня локтем. Он положил мне руку на колено и шепнул: хорошо бы побыть вдвоем. Я убрала его руку и сказала, что пора ехать. Мне хотелось добраться до места по холодку. Я расплатилась, и мы поднялись из-за стола.

У выхода я оглянулась и посмотрела на женщин. Только теперь я заметила в волосах блондинки бабочку из красного страза. Она висела на пряди у правого виска. Веселая блестка на безымянном горе, смешная и жалкая бабочка на стареющем лице.

На прощание Генри поцеловал меня. Сунув пальцы в кармашки жилета, он долго смотрел вслед машине.

Отпуск я всегда провожу в одной и той же деревне на Узедоме. Мои хозяева — крестьяне. В деревне я считаюсь двоюродной сестрой хозяйки, так как местным жителям не разрешается сдавать комнат. Я снимаю маленькую мансарду с кроватью и шкафчиком. Ни стула, ни табуретки в комнате нет, да они мне и не нужны. В отпуске я ложусь спать рано.

Иногда я провожу вечера с Гертрудой и Йохеном, моими хозяевами. Они любят рассказывать про своих детей. У них две дочери. Младшая работает поварихой в райцентре, а старшая вышла прошлой осенью замуж и живет в соседней деревне. Свадьба обошлась в двенадцать тысяч марок, гостей возили в церковь два автобуса. Гертруда и Йохен часто рассказывают о свадьбе.

Когда они возвращаются домой, я обычно уже лежу в постели. Кроме работы в кооперативе они много занимаются хозяйством, держат коров, свиней и кур. Поэтому вставать им приходится в пять утра и работать до восьми вечера. Думаю, работают они ради денег, но точно я не знаю. Может, они просто не умеют жить иначе. Однажды я спросила их об этом, но они либо не поняли вопроса, либо не захотели ответить. В конце концов, это ведь их дело, и они не обязаны ничего объяснять. Впрочем, меня это мало интересует. А спросила я тогда потому, что их жизнь показалась мне довольно абсурдной. Но они ею довольны, и я, пожалуй, завидую им, завидую этой удовлетворенности. Хорошо все-таки так тяжко трудиться, а потом взять и истратить кучу денег на свадьбу дочери. Словом, им такая жизнь нравится, и другой они не хотят.

Раньше я иногда помогала им. Сбрасывала снопы соломы с чердака или крошила хлеб курам. Пару раз мы с Гертрудой подрезали курам крылья. Но хозяева не любят, когда я помогаю. Йохен говорит, что с работой они вполне справляются сами, а мне надо отдыхать. Поэтому, приготовив на кухне ужин, я ухожу вечером к себе в комнату. Перед сном читаю, но быстро засыпаю, так как морской воздух меня утомляет.

Днем я валяюсь на пляже. Отпускников в деревне мало, только настоящие и мнимые родственники вроде меня, поэтому кругом тихо. Иногда я на пляже совсем одна. Лишь несколько деревенских подростков на мотоциклах или велосипедах появляются неподалеку. Ближе они не подходят. Постояв, они уезжают, но затем опять возвращаются.

В первые дни я загорала без купальника. Наверное, это их и привлекало. Каникулы летом длинные, и ребятам нечего делать. Я у них единственное развлечение. Я бы и дальше загорала голой, но в деревне стали бы ворчать, а мне не хотелось, чтобы у моих хозяев были из-за меня неприятности.

Я послала Генри две открытки. Несколько строк — ни о чем. Глупые слова, неприятные мне самой. Но у меня не получается написать что-нибудь интересное. Сама открытка мешает. Строго ограниченное место для текста укорачивает фразу до трех слов — так пишут малограмотные. А на обороте глянцевый пейзаж, который поневоле как-то связан с тобой и с твоим посланием. Еще хуже готовый текст, впечатанная формула сердечного привета. Конечно, можно послать письмо, но мне действительно нечего писать.

Что ему сказать? Что я скучаю по нему? Тоскую? Как невиятно и неполно именует это слово простое, преходящее желание. Тоска похожа на тонкую нить паутинки, протянувшейся между людьми. По краям ее приклеились, повисли, сохнут жертвы одиночества.

Следующую субботу я провела в соседней деревне. Меня пригласил к себе на дачу зубной врач из берлинской клиники «Шарите». Я познакомилась с ним здесь несколько лет назад, с ним и его теперешней женой. В Берлине мы иногда перезваниваемся, договариваемся встретиться, но видимся только на отдыхе.

Фред встретил меня в дверях. Мы поцеловались и пошли в дом. Выпили аперитив. Он уверял меня, что я прекрасно выгляжу. Я отвечала на комплименты тем же. Фред разговаривал громко, казался довольным. Он хотел снова наполнить мою рюмку, но я отодвинула ее.

Фред болтал без умолку, то ли радуясь моему приходу, то ли нервничая. Он много пил и рассказывал о своей даче, о ремонте крыши.

— Я заплатил за двадцать вязанок камыша, а принесли мне всего двенадцать. Говорят, зима плохая. Знаешь, они режут камыш, когда залив замерзает. Однажды я ходил с ними. Режут серпом у самого льда. А если залив не замерз, то камыш не режут.

Фред развалился на софе, положив ноги на мое кресло. Он то и дело разминал свои пальцы.

— Между прочим, камышом сейчас почти никто не занимается. Только несколько стариков. А берут его нарасхват. Крыша из камышей — это же бесподобно.— Он тронул меня носком ботинка.— Все еще в одиночестве?

Я растерялась от неожиданности.

— Да.— Потом быстро добавила: — Более или менее.

Фред хохотнул:

— Понятно.— Он бросил на меня скользкий, двусмысленный взгляд.— Более или менее,— повторил он себе под нос, потом допил стакан и опять заговорил о своей даче.

В комнату заглянула Мария, подошла к столу и налила себе водки. Мы помолчали, глядя на нее. Потом Фред раздраженно сказал ей:

— У нас Клаудиа.

Мария обернулась ко мне, кивнула и пробормотала какое-то приветствие. Со стаканом в руке она вышла из комнаты. Фред закрыл глаза и устало проговорил:

— Дура она. Более или менее.

Я засмеялась, сама не знаю почему.

Мария была его третьей женой. Как и обе прежние жены Фреда, она раньше работала у него медсестрой, а теперь подозревала, что он обманывает ее с новой медсестрой. Во всяком случае, так утверждает Фред.

Обедали мы в просторной кухне с большими окнами и «крестьянской» мебелью или тем, что сегодня так называют. У крестьян такой мебели нет. Стулья, например, кажутся слишком хрупкими, сидеть на них неудобно.

На обед было рыбное филе с жареной картошкой, то и другое из заморозки. Мария не ела. Она сидела за столом, курила сигареты, одну за другой, и глядела на нас.

— Расскажи что-нибудь,— попросила она меня.— Анекдот, например.

— Да-да, расскажи ей анекдот,— весело отозвался Фред,— а потом объясни его соль.

Мария безразлично смотрела на сигарету и будто не слышала Фреда. Она была бледна и казалась усталой. Может быть, так действовали лекарства. Когда Мария заметила, что я уставилась на нее, она провела рукой по своим рыжеватым волосам и улыбнулась. Мне бросились в глаза ее пальцы, облупившийся красный лак на серых, обгрызенных ногтях. Вспомнились школьные годы: мне было шестнадцать или семнадцать лет, и о людях я судила по ногтям и мочкам ушей. Идиотская мания, из-за которой я превозносила одних подруг и доводила до слез других. Эта игра очень занимала меня, хотя и противоречила всякой логике и здравому смыслу. С заносчивой самоуверенностью, свойственной тому возрасту, я судила и рядила, выносила приговоры, наводя «порядок» в своем детском мирке. Глупая, злая забава.

Детские, грязноватые ногти Марии. Мне захотелось откинуть ей волосы и взглянуть на мочки ушей.

Фред заметил, как я смотрю на нее. Он подошел к Марии, троиул пальцем правое подглазье, потянул нижнее веко, потом улыбнулся мне:

— Взгляни, нарцистическая ипохондрия в натуральном виде. Я бы сказал классическая.

— Свинья,— спокойно проговорила Мария. Она сидела неподвижно, даже не отодвинувшись от Фреда.

Фред, не обращая на нее внимания, продолжал:

— Налицо предрасположенность к истерии как результат подавленных влечений. С внешними раздражителями психика также не справляется. Представь себе, она страдает. Она не понята, подавлена. Где-то она вычитала, что современная женщина с чувством собственного достоинства непременно должна быть несчастной. А ей хочется быть современной женщиной и иметь собственное достоинство. Отсюда депрессии. Ах боже мой, и какие депрессии! Виноват же во всех бедах я, муж, то есть монстр,

насаждающий патриархат и насилующий ее. Системный невроз: уничтожайте то, что уничтожает вас, и так далее. Она держит под подушкой кухонный нож на тот случай, если я надумаю с ней переспать. Как муж и врач я диагностирую следующие осложнения: ее кулинарное искусство, которым она никогда особенно не отличалась, стремительно регрессирует. Зато прогрессирует идиотизм. Как врач я даю ей от силы два года, как муж я менее оптимистичен.

Фред потрепал ее по щеке. Мария уставилась на свою сигарету. На слова Фреда она никак не реагировала. Я сказала, что хотела бы прилечь, и поднялась со стула.

Фред загородил дверь:

— А я тебе рассказывал, что она спит с каждым встречным? Я поймал ее однажды. Прихожу домой — и нате вам...

Я отодвинула Фреда в сторону и поднялась в свою комнату. Попыталась заснуть, но видела перед собой худое, бледное лицо Марии. Я задавалась вопросом, зачем сюда приехала. Их ссоры были мне известны по прежним визитам. Зачем каждый год слушать его тирады и видеть ее отчаяние — все то, что так безнадежно связывает их друг с другом?

Проснувшись, я увидела перед собою Фреда. Он сказал, что приехал Генри. Сначала я ничего не поняла, слишком уж неожиданно он разбудил меня. К тому же Фред пошутил: внизу меня дожидается мой «более или менее», и я не сразу сообразила, что речь идет о Генри. Я попросила Фреда передать, что сейчас спущусь, но он продолжал стоять у кровати. Я велела ему выйти, так как мне нужно одеться. Фред глупо засмеялся, взял белье и протянул мне. Мы молча посмотрели друг на друга. Я догадывалась, чего он добивается. Чтобы я уговаривала его, а он станет упираться, пока я не разорусь. Тогда сюда прибегут Мария и Генри, и Фред изобразит, будто он в шутку пугал бедную дурочку. Скажет, что хотел посмотреть, насколько я закомплексована. Он целый вечер будет выражать Генри свое сочувствие, даже когда всем уже надоест своей болтовней. Так он развлекается. Кажется, Фред называет это прикладным психоанализом. По его словам, человек, отбросивший условности цивилизации, становится примитивным сексуальным механизмом. Получив свободу, этот неукротимый и могучий инстинкт превалирует над остальными потребностями. Иногда Фред выражался короче: путешествие в недра, визит к первобытному зверю. У его забавы есть множество вариантов. Этими мелкими гнусностями, которые доводят человека до слез или брани, Фред коротает свой досуг.

— Ладно,— сказала я, откинула одеяло и встала. Я оделась, стараясь не суетиться и не нервничать. На реплики насчет моей груди и бедер я не обращала внимания. Это было нетрудно: у меня кровь шумела в ушах, поэтому я почти ничего не слышала.

Генри сидел на кухне. Вскоре после моего отъезда он появился у Гертруды и Йохена, которые объяснили, где меня разыскать. Генри приехал безо всякого предупреждения, хотел сделать сюрприз.

Мы выпили с Марией кофе, а потом Генри и я пошли на пляж. Дул холодный ветер. Единственная в деревне улица с магазинами была оживлена. По обеим ее сторонам прогуливались отдыхающие в ярких желтых дождевиках и куртках. Казалось, будто они все из одной больницы или санатория, где выдают одинаковую одежду.

Генри спрашивал о Марии и Фреде, дружу ли я с ними. Я объяснила, что мы знакомы уже несколько лет, но видимся редко. А вот дружим ли, даже не знаю.

Мы пошли по берегу, у самой кромки воды. Волны оставляли на берегу широкую серо-белую полосу пены. Дул довольно резкий ветер, но мне это нравилось. Пляж был почти безлюден, вдали виднелось лишь несколько человеческих фигур. Большие пляжные корзины-тенты стояли придвинутые друг к другу, пустые и закрытые на цепочку с замком.

Мы заговорили о друзьях, и я сказала, что действительно не знаю, есть ли у меня друзья. В провинциальном городке, где я росла, у меня была подружка. Я носила косички и клялась той девочке, что останемся подругами навеки, а в то время мы, пожалуй, и впрямь дружили по-настоящему.

— Только это было давным-давно,— сказала я,— и дружба наша была слишком детской, наивной. А теперь я даже не знаю в точности, что такое друг. Может, я уже попросту не способна довериться другому человеку, а ведь это, наверное, необходимое условие для такой штуки, как дружба. Возможно, мне вообще не нужны друзья. У меня есть знакомые, хорошие знакомые, я иногда вижусь с ними и рада им. Впрочем,

они для меня как бы взаимозаменяемы, следовательно — не так уж необходимы. Я люблю общество, люди интересуют меня, и мне любопытно разговаривать с ними. Вот, пожалуй, и все. Порой меня томит смутная потребность в друге, вроде той маленькой бледной девочки. Только это бывает редко и похоже на невольные слезы, когда смотришь сентиментальный фильм, хотя и плакать вроде бы не от чего. Да, пожалуй, все так и обстоит.

Генри слушал не перебивая. Мы молча шли по берегу, который выглядел здесь грязным и запущенным. Теперь не было видно ни людей, ни пляжных корзин. От ветра и мелких песчинок у меня горело лицо. Обувь мы сняли. Идти так было приятнее, несмотря на холодный песок.

Генри спросил, как я жила тогда. Я не поняла, что он имеет в виду, и он пояснил: ну, тогда в том городке. Я ответила, что смутно помню то время, да и воспоминания с годами меняются.

— Мне кажется,— сказала я,— тогда я была другой.

Разумеется, у меня были надежды, планы и даже вполне определенные представления о жизни. Но был уже и страх. А может быть, я никогда и не была другой, просто тогда начиналось то, что есть теперь.

Генри молчал. Мы все еще шли вдоль кромки воды, подбирали ракушки. Неожиданно Генри предложил искупаться. Я сказала, что для меня вода холодновата. Генри быстро разделся и побежал навстречу волне. С разбегу он нырнул и поплыл, делая резкие, судорожные гребки. Из воды он вышел, дрожа всем телом. Я изо всех сил растерла его своим пуловером, и мы посмеялись над его мурашками. Потом побежали домой и, запыхавшись, влетели к Марии.

Вечером пришли друзья Фреда, проводившие отпуск неподалеку. Обстановка была непринужденной, гости рассказывали анекдоты, пили вино и водку. Мария весь вечер отмалчивалась, но этого никто не замечал. Мы с Генри хотели пораньше лечь спать, так как устали от долгой прогулки, однако Фред воспротивился. Он сказал, что нам будет интересно. Фред долго уговаривал, и мы в конце концов остались.

Один из гостей, художник, пришедший с удивительно красивой девушкой, говорил об искусстве:

— Мы всего-навсего соглядатаи. И лишь постольку — художники. Искусство мертво. Оно кануло в небытие, обуржуазилось. Асоциальный тип, человек за гранью общества единственно достоин художественного изображения. Веками искусство потакало вкусам обывателей. Оно было застольной музыкой, своего рода паразитом, который содействовал духовному пищеварению. Подлинное искусство анархично. Оно — кнут для общества. Единственная эстетика такого искусства — ужас, критерий художественности — вопль. Мы должны стать асоциальными, чтобы понять, кто мы, откуда и куда идем. Дерьмо — вот мое послание вам.

Красивая девушка гладила художника по голове и улыбалась. Художнику никто не возражал, и его это злило. Он начал кричать и обругал Фреда, который хотел его успокоить. Потом они помирились и выпили на брудершафт.

Сев у камина, я загляделась на огонь. Я чувствовала, как лицо у меня раскраснелось от жара, но мне это было приятно. Один из гостей подсел рядом и заговорил о гибнущих морях, о тепловой смерти Земли, о последствиях энергетического кризиса для Латинской Америки. Он отрекомендовался профессором плюромедиальной эстетики из Бохума. Я удивилась. Мне было не очень понятно, что такое «плюромедиальная эстетика». Похож он был скорее на коммивояжера или учителя. Профессор поинтересовался моей работой и тут же начал рассуждать об иглоукалывании. Ему было лет тридцать пять, у него были хорошие, ровные зубы, и он располагал к себе спокойной уверенностью. Смущала только улыбка, не сходившая с лица профессора, словно он хотел уговорить на сомнительную сделку.

Когда подошел Генри, западногерманский профессор отрекомендовался, вручил свою визитную карточку и сказал, что мы ему очень симпатичны. Звать его надо просто Хорстом, и ему действительно все здесь чрезвычайно нравится. В политическом отношении он считает себя умеренно левым, во всяком случае к капитализму относится весьма критически. Правда, и у нас ему многое не нравится. Затем Хорст спросил, что думает Генри о германском вопросе. Генри ответил, что целый день пробыл на пляже и до сих пор весь в песке. Надо обязательно вымыть голову. Хорст захохотал: Генри неподражаем, и он его прекрасно понял. Затем Хорст поинтересовался, где работает Генри и чем занимается. Я встала и пошла на кухню.

Мария раскладывала мороженое и разливала кофе. Я предложила помочь, и она попросила вымыть рюмки. Мне хотелось расспросить ее о гостях, но она почти никого не знала. Фред приглашает от скуки разных людей, с которыми потом видится разве что на пляже, и то редко. Вот и все знакомство. Только художник бывает часто. Он очень непрактичный человек, и его вечно преследуют несчастья. Например, вещи из рук валятся, посуда бьется. Она еще кое-что рассказала о художнике, и мы посмеялись. Нам было легко друг с другом.

На кухню заглянул Фред и спросил, о чем мы болтаем. Мария сказала, чтобы он отнес гостям мороженое и кофе. Сама она села на стул и закурила, глядя, как я вытираю рюмки.

— Ты заметила? — спросила она охрипшим, дрогнувшим голосом.

— Что? — не поняла я.— Что заметила?

— Какое у меня лицо. Вот погляди внимательно.

Я рассмеялась:

— Хорошо, погляжу. Только, по-моему, с лицом все в порядке.

Взгляд у Марии слегка остекленел. Она мне не верила.

— Правда,— повторила я.— Ты чудесно выглядишь.

Мария медленно, но решительно покачала головой, не сводя с меня глаз:

— Нет, ты же все видишь, и я вижу.

— Что, Мария, что именно?

— Не знаю,— ответила она и замолчала.

Мария не верила мне. Я ждала. Мне казалось, так будет лучше. Из комнаты слышалась танцевальная музыка. Мария жадно курила, опустив голову.

— По-моему,— начала Мария тихо,— я сильно похудела. Кости так и выпирают. У меня уже не лицо, а череп.

Мария снова подняла голову, чтобы я увидела, как оиа похудела. По улыбке и всему ее виду было заметно, что Мария не просто хандрит. Она в отчаянии.

— Ты внушила это себе. С тобой все в порядке,— сказала я всезнающим докторским голосом, который сама ненавижу. Воспитательница детского сада так разговаривает с малышами. Эта интонация вырабатывается разговорами с пациентами — своего рода наше профессиональное заболеваиие. В поликлинике все так говорят, даже самая молоденькая медсестра. Дружелюбно, спокойно: все будет хорошо. Это маска нашей беспомощности.

— Знаешь,— проговорнла Мария,— каждое утро на моей гребенке остается целый пучок волос.

— Это же нормально,— возразила я.

Мария покачала головой:

— Когда выпадает так много — ненормально. И не надо меня утешать.

— Мнительностью можно довести себя до сумасшествня. Это абсолютно нормальное явление. У каждого человека ежедневно выпадает много волос. И лицо твое в порядке. Ты всегда была бледной. А бледность тебе даже идет, сама знаешь.

— Фред тоже говорит об этом.

— О чем?

— Что я схожу с ума.

Я разозлилась. Марня сидела передо мной закрыв глаза, и я видела, что она страдает. Только зачем она говорит мне подобные вещи? Почему эти чувствительные натуры такие нечуткие по отношению к другнм?

— Слушай. Ты ведь прекрасно знаешь, что я не считаю тебя сумасшедшей. Какого черта ты переиначиваешь мои слова?

Мария меня не слушала. С отсутствующим видом она курила и чертила пальцем по клеенке.

— Почему бы тебе не уйти от Фреда? — спроснла я.— Может быть, все переменится?

— Это тебя не касается,— ответила Марня, продолжая рисовать на клеенке невидимые вензеля.

Я закончила вытирать рюмки и поставила их в шкаф.

Неожиданно Мария сказала:

— Причина глубже, гораздо глубже. Это началось давно.

Мне захотелось дотронуться до нее, и я коснулась ее лица. Она легонько поце-

ловала мою ладонь и прижалась к ней щекой. Потом мы наклонились друг к другу и прыснули, как две девчонки.

Мария сказала, что устала и пойдет спать. Я вернулась в комнату. Генри все еще сидел с Хорстом возле камина. Я подошла к Генри и шепнула на ухо, что хорошо бы исчезнуть отсюда. Он облегченно кивнул. Профессор из Бохума рассуждал об «имманентной критике экологизма». Я спросила Генри, что это такое, но он тоже не знал. Он просто слушал собеседника, не вникая в смысл. Хорст был этим неприятно удивлен и попытался объяснить свои рассуждения, но скоро сдался, не видя у нас ни малейшего интереса. Без всякого перехода он заговорил о засорении немецкого языка американизмами. Видимо, он мог говорить о чем угодно. Профессор казался мне героем комикса, который выпускает изо рта большие пузыри с фразами, а потом эти пузыри куда-то улетают.

Генри заметил, что Хорст разговаривает, чтобы ни на минуту не остаться с самим собой. Тот нервно засмеялся и сказал, что здесь все сохранилось как в девятнадцатом веке, удивительно сохранилось, словно в забытой деревушке. Можно подумать, будто эти места выдумал Адальберт Штифтер[1]. Я сказала, что никогда не читала Штифтера.

— Тебе и не нужно,— улыбнулся Хорст.— Ты сама так живешь.

На прощание Хорст вновь заверил, что прекрасно нас понимает и было бы чудесно, если бы мы смогли встретиться еще раз. Мы ответили, что нам вечер тоже понравился, и ушли. На лице у Хорста была все та же улыбка. Он показался мне очень одиноким.

В прихожей собралось несколько гостей. Они стреляли из духового ружья по свечке, которая горела на табуретке, поставленной перед дверью в туалет. Несколько свинцовых пулек застряли в лакированной обшивке двери, а окошечко тресиуло и покрылось тонкой матовой паутинкой в тех местах, куда попали пульки. Из-за двери слышалось хныканье женщины, просившей выпустить ее, что ужасно смешило стрелков.

Фред и художник сидели на софе, между ними — красивая девушка. Положив голову ей на плечо, Фред гладил ее, а художник плакал и твердил, что предал искусство, предал самого себя. При этом он театрально всплескивал руками.

Когда мы проходили мимо, девушка кивнула нам. Даже наверху, у дверей нашей комнаты, все еще слышались всхлипы художника, причитавшего, что он предатель.

Проснулись мы только к полудню. В доме было тихо. Солнце стояло высоко в ясной холодной синеве. Ветер успокоился. С улицы доносились детские голоса. Генри предложил искупаться. Я надела ночную рубашку и пошла вниз за махровыми халатами.

Мария сидела на кухне и читала. У плиты орудовала красивая девушка, которую я видела среди гостей. Ей вчера постелили на софе. Мария дала мне халаты и показала кратчайший путь к морю.

На пляже было полно народу. Пришлось пройти довольно далеко, чтобы найти место посвободнее. Вода была ледяной. Хотя мы плыли быстро, у нас перехватывало дыхание. Холод обжигал тело. Генри повернул было назад, но я упросила его, чтобы он поплавал со мной еще. Он подплыл ко мне и оплел мои ноги своими. Мы поцеловались, хлебнув при этом воды. Я в шутку притопила Генри, а потом поплыла от него прочь. Он с трудом успевал за мной. На берегу мы растерли друг друга, попрыгали, чтобы из ушей вылилась вода. Потом завернулись в халаты и побежали домой.

Нам приготовили кофе и сварили яйца, и мы прямо в халатах сели завтракать. Девушка сказала, что собирается провести на море все лето. Жилья у нее нет, но до сих пор удавалось где-то пристроиться. Она спросила, нельзя ли ей пожить пару дней у меня. Я ответила, что у меня слишком маленькая комната. Мне было жаль отказывать, но девушка только рассмеялась и сказала, чтобы я не расстраивалась.

Я спросила Генри, не кажется ли ему, что она очень красива. Он кивнул, буркнул «да» и покраснел. Девушка опять рассмеялась, а Генри нахмурился. Он сказал, что я тоже красива и Мария очень красивая женщина. Мария взглянула на меня. Я поняла, что она подумала. Хотя я ничего не рассказывала Генри о нашем разговоре, мне были неприятны ее подозрения. Хотелось их рассеять, но как? Я промолчала.

---

[1] Адальберт Штифтер (1805 — 1868) — австрийский писатель, автор новеллистических сборников «Этюды» и «Пестрые камни», а также романов «Бабье лето» и «Витико». *(Прим. перев.)*

Без всякой связи мне в голову пришли стихи какого-то школьника. Несколько лет тому назад я прочитала их или услышала по радио, а теперь они почему-то вспомнились:

Когда от нас требуется
великодушие — мы способны
лишь энергично и вдохновенно
размешивать ложечкой кофе.

Примерно так. Казалось, я забыла его стихи, но некоторые строчки в памяти сохранились. Я даже не вполне понимаю, что эти слова для меня означают. Великодушия от меня не требуется. Все это мечты, мой маленький поэт, школьные мечты. Надежды и заблуждения девчушки с косичками. Остаются лишь некоторые привычки, смутные желания, легкая и затяжная головная боль, а изредка вот такие недоразумения, которые невозможно выяснить. Почему бы и мне не помешать в чашке кофе, почти вдохновенно?

Нарушая общее молчание, девушка сказала:

— Ну вот, тихий ангел пролетел!

Она опять засмеялась.

Вскоре мы распрощались. Я поцеловала Марию в щеку, которую она равнодушно подставила. Фред еще не проснулся, и я попросила передать ему привет. Мария кивнула, но мне показалось, что она меня вовсе не слушает. Я уже села в машину, когда девушка, которую звали Хелла, крикнула мне из окна, чтобы я подождала. Она выбежала из дома и протянула большое яблоко, белый налив. Запыхавшись, она сказала:

— Очень хотелось подарить тебе что-нибудь. Только ничего другого у меня нет.

Ее рука лежала на дверце машины. Я глядела на Хеллу против солнца, и лицо ее казалось неправдоподобно ясным. Я дотронулась до ее руки.

— Спасибо и всего хорошего! — сказала я.

Она снова рассмеялась, а я быстро надела темные очки.

Генри поехал в своей машине за мной. Поначалу я остановилась в деревне, но потом проехала дальше по берегу. Мы легли на траву. К обеду открыли консервы, которые захватил с собой Генри, и, очистив застывший жир, съели холодный суп и мясные фрикадельки.

Сигареты кончились, но ехать за ними в деревню не хотелось. Нас разморило, и мы заснули на теплой, жесткой траве. Через какое-то время нас разбудили деревенские дети. Потом пошел дождь, и мы с Генри сели в его машину. Мир утонул за стеклами, о которые разбивались дождевые капли. Мы сидели в машине, отгороженные от него струями воды. Двое уцелевших на дне моря. Музыки из транзистора почти не было слышно. Последние сигналы далекой и, может быть, уже затопленной цивилизации.

Дождь прекратился, но солнце осталось за тучами. Похолодало. К вечеру поднялся ветер, и вода в заливе почернела. Влажная земля липла к подошвам, а с листьев продолжало капать.

Я торопила Генри, чтобы он возвращался в Берлин. Когда мы прощались, я попросила больше не появляться без предупреждения, ни здесь, ни дома. Он кивнул:

— Ладно. А разве было плохо?

— Нет. Хорошо. Только не надо неожиданностей. Не хочу, чтобы меня заставали врасплох, даже ты.

Мы поцеловались, и он уехал. Я смотрела ему вслед, пока были видны огоньки задних подфарников, потом села в свою машину и вернулась в деревню.

Гертруда и Йохен спросили, встретились ли мы с Генри. Я поблагодарила их и занялась ужином, потом смотрела с ними телевизор. Йохен предложил мне пива, и я выкурила сигарету, первую за несколько часов. Я почувствовала одновременно усталость и облегчение.

7

После отпуска в поликлинике начались неприятности. Я даже написала заявление об уходе, но после разговора с шефом забрала его обратно.

Замещавший меня коллега переполошил моих пациентов. Одним он посоветовал сменить лечащего врача, другим — высказал сомнение в моих диагнозах. Мои назначения он отменил или перенначил. Конечно, все это делалось тонко, намеками, но я сразу почувствовала недоверие больных. Кроме того, Карла доложила мне обо всем в

первый же день. Она изображала огорчение, но я видела, что ее эта история забавляет. Я прекрасно знаю мою Карлу.

Позвонив замещавшему меня врачу, я высказала ему все, что думаю о его методах работы. Он отвечал нагло, и я бросила трубку. Поначалу я собиралась потребовать дисциплинарного взыскания, но потом раздумала. Начались бы кривотолки, так как конфликтная комиссия сочла бы его и мои лечебные предписания в равной мере допустимыми. Нам обоим вынесли бы предупреждение и посоветовали доброжелательно относиться друг к другу. Вот я и написала заявление об уходе.

Собственно, уходить я не собиралась, просто хотела выразить таким образом свой протест. Шеф позвонил мне и спросил, свободна ли я вечером в четверг. Он пригласил меня к себе домой.

Я купила его жене букет роз и приготовилась к тому, что шеф либо наорет на меня, либо попробует уладить дело тихо, по-семейному.

Раньше я у шефа не бывала. Он жил на южной окраине города, занимал половину дома. В садовую калитку было вмонтировано переговорное устройство. Зачем, ведь до крыльца всего несколько шагов?

Дверь открыл шеф. Он поздоровался, поцеловал мне руку, точнее, изобразил нечто вроде поцелуя. Шеф назвал меня «деткой». Услышав это нелепое слово, я облегченно вздохнула: крика сегодня не будет.

Шеф представил меня своей жене, робкой женщине с натруженными руками. Она была в халате, и я приняла ее поначалу за домработницу.

На ужин подали свиное жаркое со спаржей, к нему белое «бордо», а на десерт — торт. Шеф сообщил, что один из наших старших врачей сбежал в Баварию. Потом он поведал мне о скандале с американским медицинским журналом. Какой-то шарлатан одурачил вполне солидных редакторов, подсунув фальшивку. Шеф рассказывал с удовольствием, смакуя подробности. Его жена говорила мало. Она с обожанием смотрела на мужа. Позднее она пригласила меня взглянуть на библиотеку, там, дескать, ужасно много книг, ведь муж у нее читает специальную литературу на всех языках. Так и сказала: читает на всех языках — и по-английски и по-всякому.

Шеф велел ей помолчать, и жена умолкла, ничуть не обидевшись. Потом он попросил ее оставить нас вдвоем. Жена собрала посуду и пошла на кухню готовить кофе. Шеф был дружелюбен и говорил тем же доверительным тоном, каким назвал меня «деткой», однако свое мнение высказал напрямик. Это произвело на меня впечатление. Мне понравилась его решительность, спокойные и жесткие слова. Он птица не самого высокого полета и, пожалуй, недалек, но в нем чувствуется уверенность. Я даже позавидовала ему. Правда, не сильно, для этого я слишком самолюбива.

Шеф сказал, чтобы я не рассчитывала на его поддержку. Я веду себя как истеричка, а если решила уйти с работы, скатертью дорога. Мой недруг будет только рад. Вероятно, именно этого он и добивается, чтобы освободить мое место для какого-нибудь знакомого.

Мне было приятно слушать его. Из него получился бы хороший дедушка. Я обещала шефу забрать свое заявление.

Позднее к нам опять подсела его жена, все еще в халате. Она пожаловалась, что гости у них бывают редко. Дети и многие из прежних знакомых живут в ФРГ. Только муж у нее и есть. Она с обожанием и преданностью взглянула на шефа. Тот что-то проворчал и стряхнул с жилета пепел. Провожая меня, жена шефа попросила навещать их:

— Будем ждать вас. Да, милый? — Она взглянула на мужа.

Стоя в дверях, массивный и самоуверенный, шеф улыбнулся ей. Потом он прикрыл глаза и проговорил:

— Мы старые люди, мамочка.

Было что-то трогательное и нелепо-комичное в том, что мой чопорный шеф — вечерний костюм в искорку, серебристый галстук, в руке полупотухшая сигара — называет «мамочкой» пожилую, поблекшую от домашней работы женщину.

Генри я видела два-три раза в неделю. Обычно он приходил к ужину. Мы редко куда-нибудь выбирались. Я уставала, и мне хотелось побыть дома. После отпуска работать труднее. Сложно перестраиваться. Да и первые две недели отдыха выбивают меня из колеи, из привычного ритма. Может, мне вообще не нужен отпуск. Ведь еще в прошлом веке их не было. Во всяком случае, отдыхом в полном смысле слова отпуск для меня не бывает.

Выходные я обычно провожу одна, так мы договорились с Генри. Мне нужны эти два дня, чтобы целиком распоряжаться собой, без оглядки на время и на кого бы то ни было. Кроме того, по субботам у меня иногда выпадают дежурства. А Генри раза два в месяц навещает жену и детей. Мне не хочется, чтобы у него возникало чувство, будто он разрывается между нами.

Жена Генри живет в Дрездене. Она химик, работает в Техническом университете. Через несколько лет после окончания института Генри вернулся в Берлин. Поначалу он надеялся, что для его жены здесь тоже найдется работа. Но года через два они привыкли жить врозь. У жены появился друг, который поселился в ее квартире, и все примирились с нынешним положением. О разводе никто не помышлял. По словам Генри, речи об этом никогда не заходило. Они не хотят обзаводиться новыми семьями и поддерживают дружеские отношения ради детей. Мне это нравится. К чему вмешивать государство в дело, которое никого, кроме супругов, не касается? Мои воспоминания о разводе весьма тягостны. Что дает право какой бы то ни было инстанции копаться в личной жизни двух людей? Их вопросы были унизительными. Эдакое должностное рвение без всякого чувства стыда. Мы с мужем не желали жить вместе. Что тут еще выяснять? Мы стояли перед ними жалкие, словно пойманные воришки, и выслушивали нотацию за нотацией. Так или иначе, своего они добились — я чувствовала себя виноватой.

Да и регистрация брака была пошлой комедией. Незнакомая потная женщина в строгом костюме говорила нам о взаимной ответственности, о наших обязанностях, о чуде любви. Слова, расфасованные по фразам. Наконец, брачный договор, подписи, свидетельство. От смущения я все время смеялась. На свадебном фото я не узнаю себя. Бледное, полудетское лицо рядом с прыщавым юношей, вокруг — довольные, сияющие родственники, радостное облегчение которых даже сейчас бросается в глаза. А мы — две жалкие фигуры, схожие вплоть до позы и наклона головы. Лишь позднее, всматриваясь в свадебные фотографии, я разглядела в этих робких лицах анархию. Два беззащитных, испуганных бунтаря, но в их глазах нельзя не заметить проблеск счастья и надежды, свойственной всем анархистам. Им хочется иного, чем у тех, кто на снимке весело теснится вокруг. Они готовы бежать, крушить, добиваться перемен. Но выход у них один, и он бесповоротно ведет к тому, что прежде казалось невыносимым. День бунта знаменует собою и его конец. По наивности они пока не замечают очевидных свидетельств своего поражения: брачный договор, росписи в книге регистрации, групповое фото. Добро пожаловать в уютное лоно прошлого, в его ласковые, удушающие объятия. Да, все будет как было прежде, то есть все будет нормально.

В первое же воскресенье августа я проявила отснятые пленки. Мне нравится возиться с пленками, хотя времени и сил всегда уходит столько, что делаю я это не чаще двух раз в год. Кухня и ванная становятся фотолабораториями. Есть приходится в ближайшем ресторанчике. Сейчас, например, пришлось проявить почти три десятка пленок. Один раз их было семьдесят три штуки, и я занималась ими целые сутки.

Ванночки с проявителем и закрепителем я ставлю на кухонный стол. Увеличитель приворачиваю к плите. Отпечатанные фотографии кладу в ведро и несу в ванну отмываться.

Почти все пленки отсняты в Бранденбурге и лишь три на Узедоме. Мать однажды спросила, почему я фотографирую только природу, деревья, тропинки, руины домов, засохшие деревья. Ее вопрос озадачил меня, и я не сумела на него ответить. Пусть неосознанно, однако я действительно никогда не снимаю людей. Пожалуй, я просто не хочу вторгаться в чужую жизнь. Мне дика сама мысль навечно запечатлеть кого-то. Я читала — у некоторых народов религия запрещает фотографировать людей. (Мне запомнилось это, потому что странным образом совпадало с моим отношением к фотопортретам. Меня никогда особенно не интересовали ни религии, ни мистика. Не было и повода задумываться над подобными вопросами. В детстве они занимали меня некоторое время. Но позднее уже нет.)

Меня раздражают неестественные позы людей на снимках. Деревья остаются самими собой, они не пытаются выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Словом, мне интересны лишь линии, горизонт, перспективы, простые реальности природы или того, что вновь стало природой.

А вообще-то я занимаюсь фотографией от случая к случаю. Порой неделями ничего не снимаю и не ощущаю в этом никакой потребности.

Хотя отпечатки я делаю лишь с немногих негативов, в шкафу забито фотография-

ми уже пять ящиков. Я не собираюсь отдавать их на фотовыставки и никому не показываю. Мне самой толком непонятно, зачем я вообще занимаюсь фотографией. Впрочем, этим вопросом я не задаюсь, ибо на него все равно нет ответа. Боюсь, подобные вопросы поставят под вопрос меня самое. Словом, искать смысл в своих занятиях не хочется. Одних это удивит, другие не поверят, но такова правда: у меня нет потребности размышлять над загадками жизни. Упрек в том, что я живу бессознательно, будто зверек — кажется именно так сказал однажды мой сокурсник — меня не задевает. Просто я не расположена к мистике. А все, что выходит за рамки биологии, для меня мистика. Мне она не нужна. И это я считаю своей сильной стороной.

Я люблю секунды, когда на белой фотобумаге в проявителе медленно проступает изображение. Это для меня момент творения, рождения. Переход от белой пустоты к чему-то пока еще неопределенному происходит плавно, и в то же время перемены всегда кажутся неожиданными. Изображение появляется постепенно. Процесс, который начат мною, управляется мною и может быть мною остановлен. Зачатье. Химия возникающей жизни, к которой я причастна. Это совсем иначе, чем было с моими детьми, моими нерожденными детьми. Тогда у меня не было чувства причастности. Возможно, оно появилось бы потом, гораздо позднее, когда во мне шевельнулось бы что-то живое. А так все закончилось двумя абортами.

Первый ребенок был не ко времени. Мы с Хиннером учились, и у нас хватало других забот. Второго ребенка я не хотела сама. Я знала, что не останусь с Хиннером. Точнее, чувствовала это — так инстинктивно чувствуешь опасность задолго до того, как она становится реальной. Мы не подходили друг другу. Собственно, не было ни скандалов, ни сцен. Просто мы не подходили друг другу. Зачем тогда ребенок? Хиннер пришел ко мне в больницу испуганный. Я его ни о чем не предупредила, и он, вероятно, догадывался, что я собираюсь бросить его. Хиннер не упрекал меня. Он был только ужасно испуган. Мне было жаль его, но ведь это не причина для того, чтобы рожать ребенка.

Два аборта совершенно измучили меня физически. Я смертельно устала и хотела только покоя.

Я была в отчаянии, хотя и не смогла бы объяснить отчего. Изводила постоянная тупая боль в затылке, она не давала спать. Я вовсе не мучилась чувством вины. Меня ничего не связывало с тем, что во мне зарождалось, поэтому не было страха потери. Отчаяние шло, вероятно, просто от физической слабости. У меня не было ничего общего с этими детьми. Я оставалась непричастной. Это происходило против моего желания и против моей воли. Я чувствовала себя лишь полостью, вынашивающей эмбрион. Он пользовался мной. Я не хотела ребенка, а он тем не менее рос во мне. Моего согласия не спрашивали, со мной не считались, я служила только объектом. Когда Хиннер шептал мне в ухо, стонал, клялся в любви, он решал за меня, что будет со мной, с моим телом, с моей дальнейшей жизнью. Чудовищное покушение на мое будущее, на мою свободу. Мне нравилось спать с Хиннером, тут у нас было, как говорится, все в порядке. Проблема состояла не в этом, хотя Хиннер, когда я сказала, что нам лучше разойтись, почему-то сразу же решил, будто не устраивает меня как мужчина. Я пыталась объяснить, в чем дело, но Хиннер меня не понял. Потом он заключил, что всему виною его романы с молоденькими медсестрами. Любые наши проблемы Хиннер сводил к постели. Боязнь оказаться несостоятельным мужчиной делала его глухим к настоящим причинам развода. В общем-то, типичная реакция. Продукт многовекового патриархата: утрата человечности в результате господства. А господство, которое держится лишь на привилегиях пола, поневоле придает сексу непомерное значение. Отсюда его примат в воображении мужчин, в их мыслях, разговорах и шутках. Это тема номер один, навязчивая, самодовлеющая. Привилегии, доводящие до абсурда — до импотенции. Тут — мужское святилище, место отдыха от тяжких обязанностей. Появление женщин здесь неприлично, как на любом мальчишнике. Это было бы изменой мужскому братству. С другой стороны, мужчины заигрывают с этой изменой, чтобы ощутить свое достояние: о нем говорят хвастливо, с оглядкой, вдохновенно и алчно. Сокровище надо таить, чтобы его не отняли, но о нем приходится и рассказывать, чтобы заявить себя его владельцем. Иначе я не могу объяснить реакцию Хиннера. Он защищал то, чего больше всего боялся лишиться.

По-моему, женщины относятся к сексу спокойнее, естественнее. Их детородные органы являются по существу рабочим инструментом. Роды — это труд. А ему чужды как чрезмерная восторженность, так и преувеличенные страхи. Это также нервирует

мужчин своим отклонением от нормы — от их нормы, от того, что считают нормальным они. Мужчины борются с этими отклонениями, карают за них, чтобы сохранить свои святыни единственно истинными. Все, что не укладывается в их представлении и фантазии, объявляется фригидностью. Таков ритуал. Экзорцизм страха. Узы иллюзий.

Упреки Хиннера меня не задевали. А сочувствовать ему не хватало сил. Его ребенок был для меня чужим. К зачатию плода я была столь же непричастна, как к его изъятию. Я служила лишь объектом чужих действий. Кресло с ремнями для ног, волосы на лобке выбриты, легкая боль от укола, местный наркоз. Потом полузабытье, до слуха доходят лишь отдельные, бессвязные слова: тщетная попытка сказать мне что-то. Слышу, как повторяют мое имя, просительно, требовательно, испуганно. Но я ушла в себя, внутрь, туда, где сознание кончилось. Мне страшно выйти из забытья, очнуться, признать своим это тело с ногами, пристегнутыми ремнями к креслу. До меня доносятся голоса, тихое звяканье хирургических инструментов и снова — задыхающийся шепот Хиннера, его клятвы. Даже сквозь закрытые веки я вижу, как на меня надвигается огромное, слепящее солнце. Мне хочется остаться одной, совсем одной. «Уйдите,— шепчу я.— Не надо больше, не надо». Говорить трудно, язык ворочается тяжелым комом, который душит, вызывает тошноту. Я не могу додумать до конца ни одной мысли. Внезапно вокруг меня зашелестел лес, я увидела холодное, низкое небо, дорогу к мосту, развалины. Я забиваюсь в траву, под деревья. Колючие ветки, холодная земля, сырые листья.

Нет, это тело, распятое на кресле, мне не принадлежит. Это не я. Никакого отношения к нему я не имею.

Мокрые фотографии липнут друг к другу. Я довольна. Когда-то я надеялась, что объектив сам, случайно, выхватит что-нибудь в неожиданном ракурсе и получится совершенно удивительная фотография. Со временем надежды улетучились. Теперь — ни сюрпризов, ни неожиданностей. Аппарат выдает то, что может,— ни больше, ни меньше.

Я положила фотографии сушиться, и тут раздался звонок в дверь. На пороге стояла моя соседка, фрау Рупрехт, в махровом халате. Ее нечесаные волосы висели седыми космами. Какие короткие волосы, удивилась я. Она обычно носит пучок, и мне казалось, что волосы у нее до плеч.

Фрау Рупрехт извинилась за поздний визит. Я взглянула на часы, шел первый час ночи. Я сказала, что еще не ложилась. Фрау Рупрехт попросила таблеток — пошаливает сердце. Стоит ей только лечь, как начинает сильно колоть в боку.

— Мне очень тревожно,— проговорила она.

Фрау Рупрехт старалась не смотреть на меня. Ее глаза бегали по прихожей, пугливые, будто у побитой собаки. Я успокоила ее и пообещала зайти. Пусть оставит дверь открытой.

Доставая таблетки из аптечки, я почувствовала, насколько я устала. Я подставила лицо под струю холодной воды, вытерлась и пошла к соседке.

Фрау Рупрехт сидела в кресле. Дав ей таблетки и попросив не подниматься, я сходила на кухню, сполоснула стакан и наполнила его. Квартира была чистой, но пахло в ней как-то неприятно. Наверное, из-за птиц. У фрау Рупрехт много птиц. Несколько клеток висит на стене, словно рамы картин. Когда я принесла воду, фрау Рупрехт взяла меня за руку и сказала опять, что ей очень тревожно, будто должно произойти какое-то несчастье. Но детей у нее больше нет, только птицы. Наверное, трудно ухаживать за таким количеством птиц, спросила я. Она с недоумением посмотрела на меня:

— У меня, кроме птиц, никого нет.

Фрау Рупрехт попросила немножко посидеть с ней. Ей было страшно одной. Она рассказала мне о муже и сыне. Муж умер двенадцать лет назад от легочной эмболии. А сын разбился на мотоцикле, насмерть. Ему было двадцать три года. Фрау Рупрехт когда-то уже рассказывала об этом, но я ее слушала и не перебивала. Потом она заговорила о своей тревоге. Ей всегда тревожно перед какой-нибудь бедой. Так было, когда погиб сын и когда умер муж. И перед другими несчастьями. Если ей становится тревожно, то обязательно произойдет что-то плохое. Она знает, что сейчас где-то стряслась беда, где-нибудь далеко.

Фрау Рупрехт держала мою руку, закрыв глаза. Я подумала, что она заснула. Но когда я поднялась, чтобы уйти, фрау Рупрехт заговорила опять. Я не сразу поняла, что она говорит о своем сыне:

— Раньше я не знала, что дети могут причинять такую боль.

Фрау Рупрехт опять стала рассказывать про несчастный случай. Через некоторое

время я спросила, как она себя чувствует. Она сказала, что лучше, поблагодарила и извинилась. Я помогла ей лечь и вернулась к себе. Мне хотелось есть, но вся кухня была заставлена фотопринадлежностями. Я выпила рюмку коньяку и легла спать.

На следующий день, встав позже обычного — на работу мне надо было идти только после обеда,— я зашла к фрау Рупрехт. Она выглядела бодрее, глаза у нее посветлели. Вновь начались извинения. Пришлось сказать, чтобы она перестала извиняться. Фрау Рупрехт пригласила меня на чашку кофе, но я ответила, что мне некогда. Она рассказала мне об авиакатастрофе в Испании, о которой передали по радио. Ночью разбился пассажирский самолет. Фрау Рупрехт спросила, возможно ли, что ей из-за этого было так тревожно. Не знаю, мне в это как-то не верится, ответила я. Она посмеялась над собой.

— Наверное, я сумасшедшая старуха, да?

В общем, я обрадовалась, что фрау Рупрехт стало лучше. Попрощавшись, я ушла.

До обеда фотографии высохли, я убралась на кухне и в ванной, приготовила завтрак Между делом съездила на лифте вниз взглянуть в почтовый ящик. Там были только газеты и счет за телефонный разговор. Потом я отправилась в поликлинику. По дороге я раздумывала, что делать с новыми фотографиями. Я бы повесила их, хотя бы ненадолго, в комнате, но фотографий было слишком много. Значит, придется сложить их в ящик. До лучших времен, которых никогда не будет.

Посылать фотографии домой не имело смысла. Мать будет разглядывать каждое фото, в надежде что-нибудь вызнать про меня. Ей все еще хочется быть причастной к моей жизни.

Вспомнив про фрау Рупрехт, я решила заглядывать к ней почаще. Тревожилась она скорее всего просто от одиночества.

Поставить машину возле поликлиники оказалось негде. Пришлось припарковаться на боковой улице.

8

В городе появилось множество туристов. Но едва магазины закрываются, улицы пустеют и становятся по-обычному безлюдными.

Мы часто гуляем с Геири в соседнем парке. Два раза смотрели американские фильмы с бесчисленными погонями. Машины то и дело падали в пропасть или взрывались. В зале было душно. Во время сеанса я выходила подышать свежим воздухом. Близость чужих потных тел вызывала у меня что-то вроде клаустрофобии.

Однажды субботним утром мы прошлись с Геири по магазинам и купили ему темный двубортный костюм в узкую полоску. Генри выглядел в нем очень элегантным. Сначала он отнекивался, говорил, что носить этот костюм не будет, но все же купил его. Себе я искала керамику и косметику. Генри терпеливо сопровождал меня.

В поликлинике уйма работы. Многие врачи в отпуске, и ко мне направляют чужих пациентов. Дважды пришлось дежурить вне очереди. Дома я с ног валюсь от усталости. Делать ничего не хочется. Хорошо еще, квартира маленькая, думается в такие дни. Все под рукой, а на беспорядок можно не обращать внимания.

Донимала жара. В летние дни нагретый воздух застаивается в комнате. Вечерами я открываю дверь в ванную и пускаю душ. Только это почти не помогает. Сплю я плохо и рано просыпаюсь из-за уличного шума.

В начале сентября на работу позвонила мать — отец неважно себя чувствует. Может, мне приехать, спросила я, но мать ответила, что звонит не из-за этого. Я обещала в любой день отпроситься, если папе будет хуже. Она опять сказала — не надо, пока не надо, ей просто хотелось услышать мой голос. Я сказала, что скоро навещу их.

После этого разговора я подумала: не съездить ли мне к ним вместе с Генри. Но я знала мать. Она начнет суетиться вокруг нас, и нам будет неловко.

Вечером я села за письмо отцу. Хотелось написать длинное и теплое письмо, но, заполнив полстраницы общими фразами, я ничего больше не могла придумать и начала извиняться. По дороге на почту я порвала письмо. Оно показалось мне фальшивым. Мне действительно хотелось написать отцу несколько теплых строк, но когда передо мною лежит чистый лист бумаги, в голову ничего путного не приходит. Или я просто не умею писать письма? Я дала себе слово не откладывать поездку к родителям.

Шеф пригласил меня в гости. После совещания он задержал меня в своем кабинете, усадил и предложил сигарету. Он вертел в руках очки и выглядел смущенным. Я подумала, что он смущается, так как речь пойдет о чьей-нибудь жалобе на меня,

поэтому ободряюще улыбнулась ему. Помолчав, шеф сказал, что его жена была бы рада, если бы я к ним заглянула. В его голосе была какая-то непонятная ирония. Может быть, в гости действительно звала жена, а он только передавал ее просьбу?

Я поблагодарила шефа. Это было, собственно, все, ради чего он меня задержал. Теперь нам обоим было неловко. Довольно нелепая ситуация. Я не знала, уходить или нет. Наконец, шеф склонился над бумагами, и я встала:

— Большое спасибо за приглашение.

Шеф взглянул на меня и холодновато произнес:

— Словом, если выберете время, милости просим. Хотя, конечно, я знаю, как вы...

Он не закончил фразу.

Возвращаясь в свой кабинет, я думала о шефе. Наверное, он чувствует себя старым и одиноким, боится, что никому не нужен, и поэтому еще больше уходит в работу, замыкается в себе. Впрочем, я недостаточно хорошо знала его, чтобы судить об этом. Но и особенной потребности знакомиться с ним ближе у меня не возникало. С какой стати — переживать его проблемы, тревоги, душевные травмы? Чужие трагедии и судьбы меня не слишком интересуют. Мне хватает своих забот. Я могу прописать таблетки или уколы. Остальное уже не дело медицины. Я не исповедник и утешать не умею. Подбадривать других я считаю самонадеянностью и фальшью. Проблем у меня самой полно. Только и они занимают меня постольку-поскольку. Настоящие проблемы все равно неразрешимы. Их тащишь за собой всю жизнь, они и есть сама жизнь, впрочем и умираем мы от них же. Наши деды говорили: «Гляди страху в глаза, он сам от тебя убежит». Мой жизненный опыт подсказывает иное. Страх убивает человека, и незачем постоянно возвращаться к тому, чего боишься. Другому человеку тем более нельзя помочь. Это не цинизм, скорее наоборот. Например, безнадежного больного мы превращаем иногда в подопытного кролика. Он бы все равно умер, только легче, спокойнее, не тратя силы на несбыточные надежды. В нашем веке любят выискивать то, что вытеснено в бессознательное, чтобы опять вернуть сознанию. К вытесненному в бессознательное относятся как к аномалии и лечат словно болезнь. Теперь известно, что душевная жизнь всегда имеет какие-то изъяны и у каждого где-нибудь нарушено здоровое отношение к самому себе, к своему внутреннему миру. И все действительно чем-то заболели. Возникла своего рода мода на недуги, а медицина стала губительной наукой, ибо она-то и выдумывает болезни. Зачем возвращать сознанию то, что из него вытеснено? Чему это поможет? Ведь вытеснение — это защитная реакция психики, помогающая выжить. Чтобы не погибнуть, живой организм иногда нарочно игнорирует то, что несет ему смертельную угрозу. Это здоровая и естественная реакция. Так стоит ли выкапывать из могил покойников? Они уже все равно не жильцы на этом свете. В конце концов, культура есть результат подобных вытеснений. Совместная жизнь людей стала возможной только благодаря тому, что они подавили в себе некоторые страсти и влечения. Лишь человечество, достойное внимания психиатра, способно жить как сообщество. Подавление природных инстинктов и породило то, что называется цивилизованным человеком.

Сосуществование индивидуумов, видимо, требует, чтобы внутри у них имелась надежная ограда. Душам нужны темницы, куда можно заточить то, что грозит нашей хрупкой человечности. Я каждодневно стараюсь забыть миожество событий и впечатлений, в противном случае они мучили бы и оскорбляли меня. Без этой способности я вообще не смогла бы подняться на следующее утро с постели. Нужны стены, отгораживающие нас от хаоса. На нашей тонкой коже достаточно пустяковой царапины, чтобы потекла кровь. Большинство людей не может видеть обнаженного, пульсирующего сердца, им становится дурно. Один вид этой довольно примитивной мышцы вызывает удушье, испарину, рвоту, обморок. А ведь это лишь сгусток плоти и крови, который деликатно скрыт жировыми прослойками и кожей. Ему отведено в нашем сознании чересчур важное место, ибо сердце считается средоточием прекрасного и человеке. Какой бы ужас вызвали шлаки самого нашего дна, если извлечь их наружу? Зачем вытаскивать на свет то, что оскорбляет нас, угрожает нам, против чего мы беспомощны? Радиоактивные отходы индивида опасны бесконечно долго; их радиация страшна, даже в малых дозах, а жить с ними можно лишь в том случае, если их удается зарыть, утопить, схоронить в самых глубоких глубинах. Предать необратимому забвению.

Мы приспособились жить на поверхности. Это ограничение предписано нам разумом и цивилизацией.

(Одна знакомая, тоже врач, рассказала мне историю человека, который заплутал в дебрях собственного подсознания. Человеку было тридцать четыре года, и он вел вполне нормальную половую жизнь. Но, начитавшись психоаналитической литературы и узнав о всевозможных аномалиях, он внезапно начал обнаруживать их у себя самого. Чрезмерное внимание к своей особе и мнительность привели к тому, что у него действительно развился комплекс кастрации. Причем из-за знакомства с психоаналитической литературой этот человек теперь невосприимчив к обычной терапии, так как противопоставил ей свою, доморощенную. Медицинский анекдот.

Другой анекдот. К врачу приходит мужчина и жалуется на импотенцию. Тот отвечает:

— И слава богу. Радуйтесь, что у вас все позади.

Ох, уж эти медицинские анекдоты. С тех пор как я понимаю их подоплеку, мне от них невесело. Это, пожалуй, тоже следствие самоанализа: если понять причину смеха, то смешно уже не будет.

Вообще-то все это для меня не важно. А безразличие — вполне надежная защита.)

Карла передала мне, что звонил Генри. Она сказала ему, что у меня ночная смена, и Генри обещал перезвонить позже.

Неделю назад Генри уехал в Прагу. Его послали знакомиться с тамошними реставрационными работами. Восстанавливался какой-то памятник архитектуры, кажется театр. Генри хотел позвонить из Праги, но прошла неделя, а звонка все не было.

Неожиданно Генри объявился сам. Было часов десять вечера, когда он пришел ко мне на работу. Я сидела в приемном боксе «скорой помощи». Туда как раз заглянул знакомый врач из гинекологического отделения, и мы говорили о наших окладах. Гинеколог рассказал, что у них с женой — деньги у каждого свои. Иногда они дают друг другу взаймы, и долг нужно возвратить точно в срок и, разумеется, полностью. Деньги — табу, святая святых, подлинно интимная сфера. Супружеская постель — это примитив, архаика, современный брак располагает более утонченными формами общения.

Когда Генри вошел, мой коллега поднялся. Я представила их друг другу. Сдержанно улыбаясь, они переглянулись, затем выжидающе посмотрели на меня. Несколько лет тому назад я попыталась бы разрядить напряженную паузу какой-либо банальной фразой, наболтала бы ерунды, а потом злилась бы на себя. И все ради того, чтобы избежать неловких пауз. Теперь это прошло. Я научилась справляться с трудными ситуациями, не унижаясь до глупостей. Мне иногда даже нравится нервная, наэлектризованная тишина, очевидная неловкость, стремительно нарастающее напряжение, когда растет и желание покончить с нелепой паузой, но это тем труднее, чем дольше она тянется.

Генри принялся рассматривать стеклянные шкафы. Мой коллега кашлянул. Он все еще стоял здесь. Пробормотав наконец о делах и о том, что не хочет нам мешать, он облегченно вздохнул, подмигнул мне и вышел. Генри спросил, кто это был, и, не дожидаясь ответа, сказал, что этот человек ему неприятен. Я промолчала.

Генри рассказал о Праге. Он извинился, что не позвонил. В гостинице заказов на междугородние разговоры не принимали, а на почте пришлось бы ждать не меньше двух часов. Глупо ведь, попав на несколько дней в Прагу, часами сидеть на почте, разве нет? Генри приехал ко мне прямо из аэропорта. Я предложила принести кофе или что-нибудь поесть. Он отказался.

До половины двенадцатого дежурство шло спокойно. Медсестра вызывала меня всего два раза, причем ненадолго. С остальным она справлялась сама.

Я лежала на кушетке, Генри сидел рядом и рассказывал. Я прислушивалась скорее к его голосу, чем к словам. Пододвинувшись поближе, Генри начал расстегивать мою блузку. Я велела ему прекратить. Он никак не мог понять почему. Я сказала, чтобы он шел домой — оставаться здесь на ночь ему нельзя. Но Генри не послушался, тем более что назавтра ему не надо было идти на работу.

За несколько минут до полуночи пришли муж и жена. У женщины был невроз сердца. Она уже несколько дней спала сидя. Я сняла электрокардиограмму, сделала обезболивающий укол и объяснила, что причиной невроза обычно бывает затянувшийся стресс. Я деликатно поинтересовалась у женщины, как дела на работе и дома. Но она все-таки разнервничалась. Никаких проблем на работе у нее нет, и все ее очень ценят. У нее прекрасная семья, и ей незачем притворяться больной, чтобы муж уделял ей побольше внимания. И все-таки боли в сердце объясняются каким-то нервным рас-

стройством, сказала я, а женщина покраснела и закричала, что никому не позволит делать из нее психопатку.

— Да я и не делаю,— вздохнула я.

Я дала ей таблеток. Они вряд ли помогут ей, но и не повредят. Женщина заявила, что обратится к другому врачу. Я не возражала. Бессмысленно лечиться у врача, которому не доверяешь. Женщина вышла из кабинета не попрощавшись. Ее муж устало поднялся. Похоже, он мало что понял.

— Если вы правы,— произнес он наконец,— то дело плохо. Тогда ей никакой врач не поможет.

Я кивнула. Из коридора послышался визгливый голос женщины. Она звала мужа.

— Да-да, иду! — отозвался он. Подойдя к двери, он остановился и вопросительно посмотрел на меня.

— Ваша жена поправится, если сумеет взять себя в руки. Вероятно, что-то нужно изменить в семье. Наши возможности тут невелики,— сказала я.

— Не знаю, хватит ли у нее сил,— пробормотал он.

Жена снова позвала его. Он подал мне руку, поблагодарил и вышел из кабинета.

Потом пошли «ночлежники». «Скорая помощь» привозила травмированных и пьяных. Они сидели в коридоре: одни ждали своей очереди к врачу, другие — отправки домой. В двух боксах лежали пьяные, беспомощные и окровавленные. Время от времени кто-либо из них начинал шуметь, тогда санитар или медсестра прикрикивали на него. После осмотра и перевязки их отпускали домой или увозили в полицию.

В половине первого полицейские привезли троих мужчин, чтобы мы сделали анализ крови на алкоголь. Один из них грозился, что мы еще о нем услышим. Другой лихорадочно дышал ртом и ужасно волновался. Когда я попросила его засучить рукав, он шепотом пообещал мне пятьсот марок, если я помогу. Так прямо и сказал: смухлюйте там как-нибудь. Я громко велела ему помолчать. Мужчина оглянулся на полицейского, который равнодушно смотрел в нашу сторону, и замолчал. Выходя, он с ненавистью посмотрел на меня.

Я попрощалась с Генри и отослала его домой. Мне не хотелось, чтобы он торчал здесь всю ночь. К тому же теперь было не до него. Мы поцеловались, и я обещала позвонить ему рано утром.

Мне не нравилось, когда Генри смотрел, как я работаю. Он отвлекал меня. Полмесяца назад Генри пробыл на дежурстве всю ночь. Ему было любопытно, и он напросился ко мне. В тот раз я работала с бригадой «скорой помощи». В мои обязанности это не входит, мне и ночных дежурств в поликлинике хватает, но один знакомый попросил отдежурить за него, и я согласилась. В ту ночь нас вызвали на танцы. Случай был серьезный, диспетчерская послала сначала одну бригаду, а потом нашу.

Танцы были устроены в заводской столовой. Машина посигналила, и сторож открыл заводские ворота. Мы заехали во двор и встали рядом с другой машиной «скорой помощи». На втором этаже гремела музыка. Несколько парней глядели на нас из открытых окон и что-то кричали, но музыка заглушала их голоса.

Пострадавшие сидели в гардеробе на первом этаже. Их осматривал врач из первой бригады. Рядом стояли двое полицейских и кучка парней. Пострадавшие тупо смотрели на них. Они были пьяны. В основном травмы оказались пустяковыми. Накладывать скобки было поздно. Я поздоровалась с врачом и спросила, чем могу помочь. Двоих парней посадили в машину, чтобы отвезти в полнклинику. Одному, видимо, сломали переносицу, нужен был рентген. У другого, похоже, были сломаны два пальца. Кого-то перебинтовали, кому-то наклеили пластырь. Работы не так уж много, вторую машину вызывать не стоило. Ребята, толпившиеся вокруг пострадавших, подняли их со стульев и, подталкивая, отвели к воротам.

Генри решил заглянуть наверх. Мы пошли с ним туда по широкой винтовой лестнице. Слева был буфет, где кисло пахло пролитым пивом и горячими сардельками. За стойкой суетился лысый мужчина лет пятидесяти в шортах и грязном распахнутом халате, надетом прямо на голое тело.

Справа три двери вели в танцевальный зал. Мы встали у первой двери и заглянули внутрь. На сцене мелькали разноцветные блики. В самом зале было темно. Музыка грохотала до боли в ушах. Молодежь сидела за длинными столами, уставленными бутылками. Между рядами бродили темные фигуры, спотыкаясь и хватая сидящих за плечи. Посредине двигалось несколько пар. Динамики были направлены прямо на них. Наверное, рев там был совершенно невыносимым.

Привыкнув к полумраку, я увидела, что танцевали только девушки, и за столом они сидели поодиночке. Ребята не обращали на них никакого внимания. Они сидели, тупо уставившись перед собой, и пили. За одним из столов заорали песню, которая вскоре оборвалась — усилители заглушали все.

Когда музыканты ушли на перерыв, послышалась невнятная разноголосица, выкрики, визг. Но заиграл магнитофон, и музыка вновь заглушила все остальные звуки.

Мы вышли из зала. У меня заломило правый висок.

В вестибюле стояли певица и один из музыкантов. Певица была ярко накрашена, ее платье блестело. Среди джинсовой униформы она казалась случайно залетевшей экзотической бабочкой.

— Нравится музыка? — спросила она меня.

— Не знаю,— ответила я.— Слишком уж громко.

— Точно. Но эти ничего другого не хотят,— согласилась певица, кивнув в сторону зала.

— Почему никто не танцует? — поинтересовался Генри.

— Не знаю. Они никогда не танцуют. Приходят просто так,— равнодушно отозвалась певица.

— Зачем же они тогда приходят? — опять спросил Генри.

— Да не знаю я,— засмеялась она и предложила нам красного вина, отхлебнув прямо из бутылки.

Я ответила, что мы на службе, и певица понимающе кивнула.

Ребята, которых мы видели внизу рядом с пострадавшими, поднялись по лестнице. Один из них, на вид лет восемнадцати, подошел к нам.

— Случилось чего? — спросил он и тут же самодовольно ответил себе: — Порядок!

Он подмигнул нам и вошел с друзьями в зал. Мы посмотрели им вслед. Они прошли меж рядов, задевая сидящих, подняли пьяного, свалившегося под стол, вытащили его на лестницу и дали ему пинка. Тот, шатаясь, побежал по ступенькам, но не упал и добрался до гардероба. Парни засмеялись и подошли к нам. Один из них снова подмигнул и сказал:

— Работаем рационально.

Они вернулись в зал.

— Вышибалы,— объяснил музыкант.— Без них бы тут вообще черт-те что творилось.

Можно себе представить.

— Да, работка не фонтан,— проговорила певица.

— А чего бы вы хотели? — спросила я.

— Не знаю. Чего-нибудь другого. Хуже всего, что тут нельзя познакомиться с приличным человеком. Все только пьют, а моим ребятам лишь бы подцепить деваху на ночь, больше им ничего не надо.

Музыкант запротестовал.

— Это же правда,— перебила она его.— Да и кто сюда ходит-то?

Певица была, пожалуй, моей ровесницей, но грим старил ее.

— Поговорить тут не с кем, понимаешь? — сказала она мне.

Мы спустились вниз. У машины стояли двое полицейских и разговаривали с водителем.

Генри спросил их:

— Чего ждут эти ребята? Зачем приходят?

— А ничего,— ответил полицейский.— Им главное — напиться.

— Напиться и устроить дебош,— подтвердил другой.

Полицейские рассмеялись.

— Нет,— возразил Генри.— Они ждут чего-то. Надеются. Может, на то, что начнется их жизнь.

Полицейские переглянулись и многозначительно помолчали. Когда мы сели в машину, один из них спросил Генри:

— Вы врач?

— Да,— ответила я, а Генри одновременно сказал: — Нет.

— Так да или нет? — переспросил полицейский.

— Он мой муж,— сказала я.

— Мужу нельзя ездить в этой машине. Вы это знаете.

Ему никто не ответил. Машина тронулась с места.

Остаток ночи Генри провел вместе со мной. Было еще два вызова, и он каждый раз ездил туда. Мне показалось, он слегка разочарован. Что ж, моя работа не слишком романтична.

Во всяком случае, мне не хотелось, чтобы он опять приходил ко мне на дежурство. Поэтому я попросила его ехать домой. Я стояла у входа и смотрела вслед машине. Было холодно, и я озябла. Безоблачное небо сияло звездами. В голове у меня шумела кровь. Давала себя знать усталость. Я глубоко вздохнула и вернулась в помещение.

9

В середине октября я поехала в город Г. Выдалось два свободных дня, и оставаться в Берлине не хотелось.

Поездка получилась неожиданной. Накануне, в среду, я говорила по телефону с единственной гостиницей в Г. и заказала на сутки одноместный номер.

Трудно объяснить, почему мне захотелось съездить в Г. Там прошло мое детство. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, наша семья переехала. С тех пор я там не бывала.

Я позвонила Генри на работу и сообщила, что собираюсь уехать на два дня. Он спросил, можно ли ему со мной. Состоится своего рода путешествие в прошлое, ответила я, и он, пожалуй, заскучает. Через два часа я перезвонила и сказала, что буду рада, если он поедет. Генри пошутил: не страшно ли воскрешать призраки прошлого, сыгравшие роковую роль в моей судьбе? Я сказала, что не задумывалась об этом и даже не знаю толком, почему решила наведаться в Г. А страшно мне только одно — проскучать оба дня в захолустном городке, с которым меня почти ничего не связывает. Генри посоветовал отправиться куда угодно, только не в Г. Не стоит возвращаться во вчерашний день, это не поможет. Мне просто хочется снова увидеть город, сравнить его с моими воспоминаниями и больше ничего, ответила я.

Договорились ехать сразу после завтрака.

Мы отправились на следующее утро, часов в девять. Машину вел Генри. Он попросил рассказать о Г и о моем детстве. Я описала ему город, наш дом, рассказала про родителей и сестру, про школу с ее маленькими классами, про школьную дружбу, любовь, бесконечные секреты.

Мы много смеялись, внезапное желание навестить родной городок больше не казалось странным и не нуждалось в особых объяснениях, как это было еще несколько часов назад.

Когда мы прибыли в Г., то при виде его улиц у меня защемило сердце. Чтобы отвлечься, я разболталась. Генри попросил меня показать дорогу к гостинице, но я ее забыла, и мы немного поплутали, прежде чем добрались до «Золотого якоря».

Администратора пришлось ждать довольно долго. Наконец из ресторана вышла толстая девушка. Она смотрела на нас недоверчиво и отвечала односложно. Свободных двухместных номеров не оказалось, и мы получили два одноместных.

Пока мы заполняли формуляры, девушка пристально разглядывала нас. Потом она выдала ключи и указала на табличку со временем завтрака, обеда и ужина. Внимательно прочитав заполненные формуляры, девушка достала толстую книгу и переписала туда наши фамилии и адреса.

Мы уже направлялись к лестнице, как вдруг мне захотелось узнать, кто еще остановился в гостинице. Девушка не могла понять, зачем мне это. Пришлось объяснить. Тогда она сказала:

— Командировочные есть и еще кое-кто. Словом, приезжие вроде вас.

Я попросила показать регистрационную книгу. С недоумением на лице девушка захлопнула книгу, сунула ее в ящик и решительно положила красные, огрубевшие руки на стол. По ее неприступному взгляду было ясно, что она уйдет отсюда не раньше, чем я окажусь в своем номере.

Генри полюбопытствовал, чего я хотела от администраторши. Я смущенно улыбнулась и объяснила, что у меня внезапно возник вопрос, кто еще кроме нас мог приехать в Г. и поселиться в этой гостинице, ведь городок ничем не примечателен. Мне даже подумалось: вдруг это кто-нибудь из моих бывших одноклассников. Других причин, чтобы приехать сюда, я просто не могла себе представить. На мгновение мне показалось вполне вероятным, что все номера «Золотого якоря» заняты бывшими соучениками, тоже решившими освежить свои воспоминания.

— Глупо, конечно,— сказала я,— но это было бы забавно.

Под вечер мы прогулялись по городу. Все казалось маленьким, гораздо меньше, чем помнилось. Но вроде бы ничего не изменилось. На продуктовом магазинчике напротив старой школы, несмотря на все непогоды и бег времени, сохранилась поблекшая вывеска: «Колониальные товары. Южные фрукты. Импорт».

У меня было такое чувство, будто я иду по городу в шапке-невидимке, все вижу и узнаю, а меня никто не видит и не узнает. Меня не было здесь больше двадцати пяти лет. Город выглядел прежним, но я знала, что он стал иным, не мог не измениться. Просто я не замечаю перемен. Для меня же он остался тем самым, каким я его запомнила двенадцатилетней девочкой, с моими детскими надеждами и тревогами, далекими и близкими мне одновременно.

Обедать в гостиничном ресторане не хотелось, поэтому я накупила пирожных в булочной у рынка. Молодая блондинка за прилавком любезно поинтересовалась, что мне нужно. Лотки в булочной были новыми, зато стены остались кафельными, словно в мясном магазине. Дверь справа вела в пекарню. Ее, как и раньше, не закрывали. За другой дверью, застекленной, с белыми занавесками, находилась квартира булочника Вирзинга. Прежде из-за занавески иногда выглядывала жена Вирзинга. Если собиралась очередь или фрау Вирзинг замечала знакомых, то она выходила обслуживать сама.

Продавщица ловко завернула пирожные. Я спросила, можно ли увидеть хозяйку.

— Минутку,— ответила блондинка и стукнула в застекленную дверь с занавеской. Дверь приоткрылась, и продавщица что-то сказала, но слов я не расслышала. На пороге появилась полная женщина лет пятидесяти с крашеными темно-каштановыми волосами и одной посеребренной прядью. На женщине был домашний халат. Выйдя ко мне, она вопросительно поджала губы.

— Слушаю вас,— сказала она.

Я промолчала. Женщина ждала все с тем же вопросительным выражением лица:

— Вы что-то хотели?

Я покачала головой:

— Простите, пожалуйста.

Расплатившись, я забрала сверток, и мы вышли на улицу. Новая хозяйка с продавщицей посмотрели нам вслед.

— Успокойся,— мягко сказал Генри, когда мы пошли дальше.

— Раньше,— сказала я,— фрау Вирзинг давала нам корочки от пирогов. За десять пфеннигов целый пакет корочек. Мы после обеда всегда ходили сюда.

Генри сочувственно кивнул.

Мы до вечера бродили по городу, исходили его вдоль и поперек, поднимались на гору Мюльберг, были у старой мельницы. Я показала Генри обе местные достопримечательности: Луизин камень и комнату Шиллера. Потом мы прогулялись по Бисмарковскому саду в пригороде; довольно большой сад с фонтанами и маленьким зоопарком. Теперь тут были косули, серна и попугаи. Клетка, в которой раньше сидела белая сова, пустовала. Я удивилась, что животных оказалось так мало. Мне помнилось, что тут были медведи, ослы, волки. Наверное, я ошиблась. Для них тут не нашлось бы места. Их попросту не могло здесь быть.

Сад понравился Геири. Он спросил, не хочется ли и мне работать где-нибудь садовником или смотрителем при животных.

В городе, у магазина канцелярских товаров, нам встретилась женщина, которая вела за руку ребенка. Я сразу же узнала ее. Это была Люсия Брем. Мне хотелось заговорить с ней. Геири заметил это и сжал мою руку.

— Не надо,— сказал он тихо, но настойчиво.

Он был рассудительней меня и поэтому прав. Не стоило поддаваться порыву.

Вероятно, Люсия Брем (фамилия у нее, скорее всего, изменилась) заметила выражение моего лица. Я улыбнулась ей. Люсия продолжала пристально смотреть на меня. Она похорошела. Глуповатое и круглое личико обрело нежные, правильные черты. Только взгляд остался по-прежнему беспомощным. Когда-то он казался нам лживым и заискивающим, теперь в нем было что-то просветленное.

Моя улыбка озадачила Люсию. Задумчиво оглядев меня, она отвернулась и прошла мимо, ведя за собою ребенка.

Я рассказала Генри о ней. Люсия сидела на два ряда впереди меня. В классе ее не любили. Собственно, причин для этого не было, и Люсия пыталась подружиться то с одной, то с другой девочкой. Но у нее ничего не получалось. Никто не хотел с ней

водиться. Что-то в ней не нравилось нам, а что именно — не знаю и тогда не знала. Дружить с Люсией запрещал неписаный закон, нарушать который я не смела, да и не хотела. У нее единственной не было спортивной формы, поэтому Люсия занималась физкультурой в розовых трусиках. Однажды, когда она висела на турнике, кто-то из девочек стащил их с нее. От стыда и испуга Люсия рухнула на маты. Мы захохотали, и учитель физкультуры тоже засмеялся. Нам казалось ужасно смешным, как Люсия тянулась за трусиками, которые лежали совсем рядом. Но она стеснялась встать и, прикрывшись ладошкой, тщетно пыталась достать их. Господин Эберт, наш учитель физкультуры, поднял их двумя пальцами над головой Люсии. Она попробовала схватить трусики, но для этого надо было подняться. Наконец, господин Эберт разжал пальцы, Люсия подхватила трусики и быстро надела их. К моему удивлению, она не заплакала и не разозлилась. Пристыженно и заискивающе Люсия смотрела на нас. Она всегда считалась «липучкой», подруг у нее так и не нашлось.

Господина Эберта мы боялись. Даже самые спортивные ребята из нашего класса робели перед ним. Они были его любимчиками, но если он в ком-нибудь из них разочаровывался, то пощады не давал. Свои любимые ругательства «лоханка» и «сосиска» он произносил медленно и со смаком, называя так девочек и мальчиков, не справившихся с упражнением на турнике или брусьях. Остальные смеялись. Каждый смеялся тем громче и обиднее, чем неотвратимее приближалась его очередь. Все боялись насмешек, этот страх парализовал нас и не давал сделать самых простых упражнений. Ожидание издевок давило свинцовым грузом еще до того, как потные руки обхватывали перекладину, кольца или канат. Насмешки господина Эберта липли вязкими ошметками, затруднявшими любое движение. Своим презрением физкультурник старался задеть не только спортивное честолюбие, он метил глубже и поэтому «лоханками» называл исключительно девочек, а «сосисками» мальчиков. Все это мы поняли гораздо позднее. Во всяком случае я.

Не помню, как звали учителя физкультуры в старших классах. Для меня он остался господином Эбертом, хотя я точно знаю, что это не так. Конечно, его звали иначе, и учитель был совсем другим, другой — школа, другим — город. Все было другим, но менялось немногое. Новому господину Эберту нравилось вызывать самых оформившихся и красивых девочек. Этих трех-четырех девочек он на каждом уроке заставлял переворачиваться на турнике или делать кувырки на полу. Покраснев от напряжения, девочки вновь и вновь повторяли гимнастические упражнения, а физкультурник с удовольствием разглядывал их. Остальные, к счастью я была тогда среди этих остальных, хихикали втихомолку, глядя на его развлечение с нашими одноклассницами. Мы жалели их и одновременно завидовали. Иногда я целый урок глядела со скамейки, как новый господин Эберт ласково разговаривает со своими избранницами, снова и снова командует сделать то или иное упражнение, каждый раз пользуясь своим правом поддерживать ученицу руками.

Долгие годы после школы я стеснялась моей неспортивности, неуклюжести, одним словом того, что я «лоханка». А когда я осмелилась заговорить об этом с другими, намеками и осторожно, то оказалось, что их мучают такие же воспоминания. У каждого был свой господин Эберт, и все продолжали чувствовать жесткую хватку железных пальцев, жгучий яд насмешек. Мои сверстники столько падали в школьные годы на гимнастические маты, что память об этом жива до сих пор и неистребима. Физическое воспитание нанесло нам немало душевных травм.

Разумеется, тут есть предвзятость и субъективность. Возможно, следует взглянуть на это шире, увидеть проблемы, трудности, достижения, без которых невозможна правильная оценка. Но широкого взгляда мне не хватает — я до сих пор лежу на школьных матах.

Внимательно выслушав меня, Генри улыбнулся и повторил:

— Не надо. Это безнадежно.

Вечером мы пошли в кино, чтобы не сидеть в гостиничном ресторане или в своих номерах. Перед этим поужинали в «Черном льве». Это была скорее пивная, где остался только суп-гуляш, который подавался в чашках. Мы попросили налить каждому в тарелку по три порции и взяли много хлеба, так как проголодались, а возвращаться в гостиницу не хотелось. Больше поужинать было негде, все уже закрылось. Суп был водянист, и мы навалились на хлеб. Завсегдатаи, пожилые мужчины или мои ровесники, молча пили свое пиво и наблюдали за нами. Знакомых среди них не было.

В кассе кинотеатра пришлось ждать. Кассирша сказала, что фильм демонстриру-

ется лишь в том случае, если наберется не меньше пяти зрителей. Перед кинотеатром стояли два подростка. Мы ждали в фойе и курили.

В пять минут девятого подростки вошли в фойе с двумя девочками и попросили четыре билета. Кассирша хмуро начала их отрывать. Но одна из девочек неожиданно сказала, что не пойдет в кино, и выскочила из фойе. Подруга пошла за ней. Потом на улицу побежал один из подростков и вернулся с обеими подружками. Намотав на палец волосы первой девочки, он тянул ее за собой. У кассы отпустил. Девочки согласились пойти в кино, но не хотели покупать билеты. Пусть за них платят ребята. Те отказывались. Наконец, кассирша сердито закричала на всю четверку, и девочки выложили деньги.

Зал кинотеатра совсем не переменился. Те же откидные кресла с вытершейся красной обивкой и зеленые стены.

Механик запустил фильм, пока мы стояли у кассы. Но свет в зале еще не погас. Картина была испанской. В ней рассказывалось о рабочем, которого уволил хозяин, и поэтому рабочему пришлось переехать с семьей в деревню. Видовые съемки были хороши, но сам фильм оказался скучным, и мы ушли. Четверка тоже не смотрела на экран. Парочки сидели обнявшись и целовались.

Дверь в фойе была закрыта. Мы позвали кассиршу. Она открывала дверь с оскорбленным и враждебным видом. Если бы не мы, кассирша уже давно была бы дома. Она чувствовала себя обманутой.

Входная дверь в гостиницу тоже была закрыта. На наш звонок подошел инвалид, ночной портье, который впустил нас и выдал ключи от номеров. Было всего девять часов вечера, но мне хотелось спать, и я попрощалась с Генри.

Однако через час я снова встала с постели, оделась и спустилась к портье. Я попросила его продать бутылку вина, но он ответил, что уже поздно и вина у него нет. Я предложила десять марок, и в конце концов он принес из холодильника три бутылки пива. Вернувшись в свой номер, я села и закурила. В ближайшие два-три часа все равно не заснуть. Я достаточно хорошо знала себя, чтобы делать напрасные попытки.

Поездка сюда оказалась бессмысленной. Зря взяла с собой Генри. Собственные ошибки легче переживать одной. Прошлое невозвратимо. У нас остаются лишь обрывки воспоминаний. Искаженные, приукрашенные, неверные. Но проверить уже ничего невозможно. Все было так, как запомнилось и вспоминается сейчас. Прежние мечты нельзя испортить, нельзя стереть прежних страхов. Моего родного города больше не существовало. Нынешний город давно и прочно забыл его. Камни внушают иллюзию сходства, но дождь безвозвратно смыл следы прошлого. Нет пути назад, нельзя вернуться в родимый дом. Позади нас — лишь пепелища, а кто обернется, застынет соляным столбом.

Старая школа превратилась в склад. Напротив нее стояло современное здание с плоской крышей и большими окнами. Теперь ребята учились тут. Днем я попробовала заглянуть в старые классы с улицы, но грязные стекла лишь неясно отражали мое лицо. Генри тянул меня дальше. Окна верхнего этажа были заколочены. В классе, где когда-то я с двумя десятками учеников пыталась снискать расположение всемогущих учителей или хотя бы усыпить их бдительность, теперь была проломана стена. Из пролома торчала балка, на ней висел блок. Здесь вел уроки господин Гершке, учитель истории.

По-моему, все девочки были влюблены в него. Даже летом, в самую жару, он ходил в пиджаке и галстуке. Господин Гершке считался справедливым, а это самая высокая оценка, которую мы давали учителям. Я училась только для него, в надежде на его похвалу читала скучную дополнительную литературу. В шестом классе господин Гершке внезапно исчез. По школе и городу пошли слухи, поговаривали, будто историк совратил ученицу из девятого класса. Я была в ужасе и думала, что он мучил ее, бил. Ничего другого под словом «совратить» я представить себе не могла, и эта мысль была для меня невыносимой. Я поделилась ею с одноклассницей, которая обозвала меня дурой и сказала, что историк не бил девятиклассницу, а совсем наоборот. Я не поняла. Тогда она объяснила, что у них была любовь.

— Ах, вот оно что,— пробормотала я и сделала вид, будто теперь все понятно. Я почти завидовала девятикласснице. Впрочем, это была не столько зависть, сколько желание скорее повзрослеть, чтобы господин Гершке обратил на меня внимание. Чтобы он хвалил меня не только за знание дополнительной литературы и за мое прилежание.

На самом деле я не поняла, чем плохо то, что у историка была любовь с девятиклассницей. Я спросила об этом мать, и она решила меня просветить. Напуганная этим происшествием, мать явно переборщила. Вместе с иллюзиями она убила и мои самые прекрасные мечты, само желание стать взрослой. Мне совсем не хотелось замуж, и своей семьей я решила обзаводиться как можно позже. Теперь я знала, что в юном возрасте ни в коем случае нельзя связываться с мужчиной и нужно терпеливым выжиданием проверить его любовь; каждая женщина должна любить только одного мужчину, для которого она обязана блюсти себя. Меня еще несколько лет преследовали жуткие видения: страшные болезни, калеки в язвах и гное, страдания и позор, от которых способна избавить лишь смерть. Мне было шестнадцать, когда я впервые позволила мальчику поцеловать себя. Помню, что бросилась домой и долго мылась с головы до ног.

Когда я училась на медицинском факультете и приехала однажды на выходной домой, я познакомилась с другом моей младшей сестры. Ей тогда было шестнадцать, а ему сорок. У него были седые виски, а на пальце белел след от обручального кольца. Я с недоумением смотрела на своих родителей. Они сердечно и непринужденно принимали друга своей младшей дочери. Он был почти ровесником моих родителей, но они считали это нормальным. Все их опасения, страхи куда-то подевались. Родители освободились от них, свалив на маленькую девочку, которой я была когда-то. Долгие годы голова моя была полна самых искаженных представлений о сексе.

Ни историк, ни девочка из девятого класса в школе больше не появлялись. Девочка с родителями уехали из Г. Про учителя говорили, что он сидит в тюрьме. Позднее мы узнали, что он преподает в другом городе. Его реабилитировали. Та девочка просто все выдумала, нафантазировала.

Мы чувствовали волнение учителей, их нервозность и быстро сообразили, что от бессилия нас может защитить не только покорность и наше спасение заключалось не только в послушании. Всемогущим учителям тоже есть кого опасаться. Им нужно опасаться нас.

Два года нашей классной руководительницей была фройляйн Ничке, пожилая, одинокая женщина. Старая дева. Худая, болезненная, с напудренным лицом, она сидела за учительским столом и читала вслух стихи или прозу, пытаясь открыть нам красоты языка. Но нас научили слушать или хотя бы изображать интерес только под страхом наказания. Фройляйн Ничке не умела наказывать, и мы мучили ее за это. Ее всегда расстраивало, если единственной реакцией на прочитанное ею романтическое стихотворение бывали глупые реплики или плоские шутки. Она не наказывала, но давала понять, что наша глупость и ограниченность ранят ее. Она воспитывала тем, что не скрывала своих огорчений или обид, надеясь устыдить нас. Этого мы ей не прощали.

Лишь один-единственный раз между нами и этой странной, чужой для нас женщиной возникло что-то вроде взаимопонимания. Это было в тот день, когда в наш городок въехал танк и мы, возбужденные, кинулись к окнам, а фройляйн Ничке сидела за учительским столом, и ее трясло от озноба. Казалось, ее разбил паралич. Мы окружили ее, попытались помочь, но она ничего не слышала. Все испугались, две девочки истерически зарыдали. Через несколько минут фройляйн Ничке взяла себя в руки. На лбу у нее выступил пот, и выглядела она совершенно изможденной. Мы вызвались проводить ее домой, но она не решалась оставить класс без учителя в такой день. Только когда ей нашлась подмена, она позволила двум ученицам отвести себя домой. Позднее я слышала, что во время войны ее засыпало в подвале. Еще говорили, будто она пережила дрезденскую бомбардировку и вся ее семья сгорела. Сама она никогда об этом не рассказывала. Несколько дней мы вели себя тихо и предупредительно. Но вскоре происшествие было забыто, и мы, беззащитные перед величием и властью учителей, мстили за все ей, единственной, кто видел в каждом из нас пусть маленького, но непростого и самобытного человека.

А в тот день ребята прямо на уроке бросились к окнам и закричали:

— Танки! Танки!

Слышался громкий скрежет и лязг гусениц. Потом наступила тишина.

После уроков мы не пошли домой, зная, что родители не пустят нас больше на улицу, хотя комендантский час начинался только вечером. Мы побежали на рыночную площадь. В город въехал всего-навсего один танк. Он стоял посреди площади. Зачехленный орудийный ствол был направлен на старый, обветшалый памятник погибшим воинам. Собственно, памятник мы увидели впервые, так как накануне какие-то люди

разломали закрывавшую его дощатую обшивку с флагами и большим фанерным голубем мира.

Мы стояли на тротуаре между прохожими и смотрели на танк. Ничего особенного не происходило. Люди перешептывались. Через некоторое время открылся башенный люк, оттуда показался молодой русский солдат. Лицо его было спокойным, он кивнул нам и вылез из башни. К нему подошел полицейский. Солдат жестами что-то объяснил полицейскому и ткнул сапогом гусеницу. Потом оба присели и заглянули под танк. Солдат опять что-то сказал. Вскоре он вновь забрался в башню. Люк закрылся. Больше ничего не происходило, и я заскучала. Мы разошлись по домам.

Танк пробыл в Г. всего три дня. Он исчез так же внезапно, как и появился. Мальчишки твердили, будто ночью пушка выстрелила и снаряд пробил сразу четыре стены. Но взрослые говорили, что это чепуха. Разбита была только та дощатая обшивка с флагами и голубем мира.

Отец рассказал, что забрали жену сапожника. Это она принесла незнакомым людям топор, чтобы сбить голубя мира. Ее мужа тоже отправили в районный центр, но через двое суток он вернулся.

На фабрике, где отец работал мастером, все оставалось спокойно. Однако отец нервничал и поэтому кричал на мать. Я ничего не понимала. Отец велел мне не задавать в школе никаких вопросов и вообще поменьше болтать. Не то сейчас время. Впрочем, на уроках все равно этих тем не касались. Ученики ни о чем не спрашивали, а учителя ничего не объясняли. Я не понимала, почему об этом нельзя говорить. Но поскольку взрослые даже не упоминали о танке, я чувствовала тут какую-то опасность. Видя, как взрослые избегают разговоров, молчала и я. Я боялась, что расспросы об их секретах вернут в мои сны отвратительных уродов с ужасными болезнями. Я научилась молчать.

Но с Катариной, моей подругой, я говорила обо всем. Мы беседовали во время долгих прогулок, по пути в школу и по пути домой. У нас не было тайн друг от друга. Катарина была дочерью электрика, убитого на войне. Она жила в маленьком доме у мельничной плотины вместе с матерью и тремя старшими братьями. Мать и два брата работали на той же фабрике, что и мой отец. Тогда в Г. была только одна фабрика.

Мы с Катариной каждый день встречались после школы. Сделав уроки, я шла к ней. Взявшись за руки, мы часами бродили по городу, ходили в кино или сидели в ее комнате и никак не могли наговориться.

Иногда со мной беседовали и ее братья. Они относились к подружке своей младшей сестры чуточку свысока и не без иронии, однако всегда были предупредительны и готовы помочь. Кажется, я была влюблена во всех трех братьев. Меня волновало их присутствие, и я дорожила их вниманием. Мучительная застенчивость делала меня неловкой и неразговорчивой. Я страшно завидовала Катарине.

Катарина и ее родные были верующими. Мы вели бесконечные разговоры и на эту тему. Мне нравились сказочные библейские истории, завораживал необычный, торжественный язык библии, религиозные ритуалы казались мне порой нелепыми, однако вызывали невольное уважение. Ради Катарины я ходила на уроки закона божьего и довольно хорошо знала о деяниях и страдаииях Христа, за что учительница давала мне разноцветные картинки на библейские темы.

У нас с Катариной существовал уговор. Нам хотелось не только носить одинаковые прически, но и вместе решить: есть ли бог и верить ли нам в него, или же считать религию выдумкой, которой обманывают народ. Мы договорились, когда нам исполнится четырнадцать лет, вместе ответить на этот вопрос, чтобы нас связали общие взгляды и на религию. Каждая из иас побаивалась семейных сцен, которые могли произойти, если сказать, что ты стала верующей или, наоборот, атеисткой. но в остальном мы не видели тут особых проблем. Религия привлекала меня. поэтому я готовила себя к тому, что именно мне придется огорчить родителей неприятным сюрпризом.

Отцу не нравился мой интерес к урокам закона божьего, но после разговора с матерью он решил, что это причуды переходного возраста, и оставил меня в покое.

За полтора года до того лета, когда мы с Катариной собирались принять решение, отец стал настойчиво убеждать меня бросить все, что связано с религией и церковью. Он просил меня хорошенько подумать и о дружбе с Катариной, так как опасался за мое будущее. Я не понимала его, но видела, как серьезно он обеспокоен и как искренне хочет помочь. И все же я не поддавалась иа уговоры встречаться с Катариной реже,

а о разрыве с подругой вообще не могло быть и речи, так как это было бы предательством.

От Катарины я слышала, что Паулю, ее старшему брату, нельзя оставаться бригадиром на фабрике из-за участия в христианской молодежной группе. По этой же причине пересмотрен договор на профобучение с Фридером, вторым братом, который теперь не сможет работать по выбранной специальности. Я узнала от братьев, что во всем районе идет атеистическая кампания. Они были возмущены. Особенно злило их то, что руководство фабрики оправдывает свои незаконные, самовольные шаги смехотворными и нелепыми предлогами. Катарина плакала, а я чувствовала себя виновной перед ней уже тем, что мои родители были неверующими.

Прошло еще несколько месяцев, младший брат закончил школу, и все трое куда-то исчезли. Вначале Катарина не хотела или не могла ничего сказать. Потом я узнала, что братья уехали в Западную Германию, и Катарина подтвердила этот слух. Братья арендовали в Нижней Саксонии крестьянский хутор и вели там хозяйство.

Родители все еще просили меня порвать с Катариной. В школе учителя намекали или объясняли напрямик, что эта дружба пользы не принесет.

В тот год учительский коллектив отбирал из нашего класса учеников, чтобы послать в районный центр, в школу второй ступени. Надеяться могли Катарина и я, лучшие в классе по успеваемости за последние годы.

В октябре решение было принято. Для школы второй ступени отобрали меня и еще одного мальчика. Классная руководительница объявила, что после восьмого класса Катарине придется закончить учебу, так как, по мнению педагогов и районного руководства, ей не справиться с теми требованиями, которые ставит школа высшей ступени.

Мы обе часто плакали в эти дни, и мать Катарины все время утешала нас. Она же уговорила меня не отказываться из-за Катарины от районной школы. Я никак не хотела уступать родителям и учителям, требовавшим порвать с Катариной.

Рыдая, мы поклялись с ней в вечной верности, но уже через полгода стали злейшими врагами.

В восьмом классе Катарина подружилась с сыном кантора, который изучал церковную музыку в Наумбурге, но на выходные приезжал домой, и у Катарины стало меньше времени для меня. Она подробно рассказывала обо всех свиданиях и разговорах, однако я замечала, что между нами вклинивается что-то чужое. К моей любви примешивались ревность и подозрительность. Недовольство учителей и моих родителей нашей дружбой, решение районного начальства, которое предпочло меня, а не Катарину из-за братьев или из-за религиозности, обиженная мать Катарины, считавшая, что с дочерью обошлись несправедливо, и задним числом одобрявшая, причем на людях, бегство сыновей в Западную Германию,— все это невысказанно стояло между нами. Мы все чаще ссорились. Иногда проходило иесколько дней, прежде чем мы снова мирились. В нас росло взаимное недоверие. Даже опасение причинить другому боль разделяло нас и все больше отчуждало. Нашей дружбе пришел конец из-за совершенно глупой лжи. Одна девочка наябедничала на меня Катарине, и та сразу ей поверила, даже не переговорив со мной. А я, хотя легко опровергла бы напраслину, ничего не предприняла. Окончилась детская дружба, и без того державшаяся в последние месяцы лишь на привычке. Теперь только ненависть двух несчастных девочек хранила следы их смертельно раненной любви.

Через несколько недель я впервые выступила против Катарины перед всем классом.

После уроков нам велели остаться. С нами проводили очередную беседу перед вступлением в Союз свободной немецкой молодежи. Катарина, единственная из класса, отказалась подавать заявление о приеме. Из-за нее пришлось сидеть после уроков, и учительница в который уже раз твердила знакомые слова. Мы скучали, жалели о потерянном времени и пропускали мимо ушей эти слова, а если кому-то приходилось выступать, он послушно повторял то, что подсказывала учительница.

Катарина сидела за партой бледная, напряженно выпрямившись. Вступление в Союз молодежи считалось поддержкой дела мира во всем мире, и Катарине было трудно отвечать на упреки учительницы. Катарина говорила, что она тоже за мир, но учительница с неумолимой логикой доказала, что нежелание вступать в молодежную организацию равносильно пропаганде войны. Катарина подавленно замолчала.

Мы без всякого интереса слушали знакомые фразы, злились и ждали, когда нас

наконец отпустят. Упрямство Катарины лишь отнимало время, нам казалось, что положение ее безвыходно и поэтому ведет она себя не по-товарищески. Мы спешили домой, а из-за нее уже в который раз приходилось задерживаться в школе.

В тот день, взглянув на Катарину, я подняла руку, встала и с издевкой заговорила о религиозных пережитках одной школьницы. Мое выступление было глупым, пошлым, но учительница и ребята смеялись. Катарина жутко покраснела. Довольная своим успехом, я села; неожиданно Катарина вскочила с места, подбежала ко мне и влепила пощечину. Инстинктивно я ударила ее в ответ ногой по голени. Вскрикнув от боли, мы разревелись, а учительница записала обеим замечание в классный журнал. Это замечание было последним, что оказалось у нас общим — даже прически мы давно уже носили разные.

Тем самым летом, когда мы собирались с Катариной решить главный вопрос религии, она уехала с матерью к братьям в Нижнюю Саксонию. Услышав об этом, я сразу почувствовала облегчение и не без гордости сообщила отцу, что Катарина предала нашу республику.

Родители купили мне школьную папку из красной кожи. Я не хотела ходить в районную школу с ранцем на спине.

И вот теперь я сидела в своем номере единственной гостиницы города Г. и пила пиво. Я плеснула глоток холодной бурой жидкости на потертую и разлохматившуюся по краям дорожку перед креслом. Жертвенное возлияние в память девочки, которую я некогда любила так самозабвенно, как не смогла полюбить потом больше никого.

Через год наша семья переехала в Магдебург. Ежедневные поездки в районный центр по железной дороге были для меня слишком утомительны, а кроме того, отцу предложили хорошую работу на машиностроительном заводе в Магдебурге.

Лишь через два года я узнала от матери, что наш внезапный переезд имел еще одну причину. В Г. жил двоюродный брат моего отца, дядя Герхард, который часто навещал нас и которого арестовали за месяц до переезда. В декабре (мы уже четыре месяца жили в Магдебурге) дядю приговорили к пяти годам тюрьмы. Отца приглашали в суд свидетелем.

Дядя Герхард был намного старше отца. Он жил один в квартире, заставленной старой мебелью и разными другими вещами. Его жена умерла вскоре после войны. Ходили слухи, будто она покончила с собой. Мать сказала мне однажды, что это была трагическая смерть, а на мои расспросы отвечала: мол, была война и происходило много ужасного.

Дядя Герхард был пенсионером. Полдня он работал на почте, продавал марки и газеты. В дошкольные годы я бывала у него дома почти каждый день. Мы играли в карты, пели старые песни, которым он подыгрывал на аккордеоне. Он знал много загадок и любил поддразнивать. В пять или шесть лет я почему-то особенно боялась остаться старой девой, и дядю это всегда очень забавляло. Когда, показывая на меня пальцем, он пел какую-нибудь дразнилку, я едва сдерживала слезы:

Девицу бросил женишок
при всем честном народе,
чтоб наперед ей был урок
наряды шить по моде.

Чтобы успокоить, дядя угощал меня сладостями. Потом я навещала его все реже, но отношения у нас оставались теплыми. Когда мне исполнилось двенадцать лет, я получила от него завещание, где он объявлял меня единственной наследницей.

Для меня дядя Герхард был вроде дедушки, и он относился ко мне как к приемной дочери или внучке. На день рождения он всегда дарил мне деньги. Родителям такие подарки не нравились, и они ворчали, а нас это еще больше сближало. Когда его приговорили к тюремному заключению, ему было семьдесят два года. Дядя Герхард помогал нацистам разыскивать социал-демократов и коммунистов, хотя сам с семиадцати лет был членом социал-демократической партии. Почему он это делал, выяснить суду так и не удалось.

Суд объявил дядю совиновным в убийстве четырех человек. Отец, которому дядя обо всем рассказал после войны, заявил на суде, что ничего не сообщал властям, так как Герхард его двоюродный брат и уже старый. Судья вынес отцу порицание.

Не зиаю, что толкнуло дядю на предательство. Он был жизнерадостным, добродушным человеком, немного слезливым, поэтому мне кажется, что нацисты могли его запугать и он предавал товарищей от страха.

Тогда мир для меня рухнул. Я считала, что мой ужас перед зверствами фашистов и слезы над дневником Анны Франк поневоле оказались лицемерием и ложью, так как я не имела права на гнев или скорбь. У меня возникла жгучая потребность самоочищения и самообвинения. В школьных сочинениях я стала писать, что являюсь племянницей нацистского преступника, поэтому даже мое сострадание жертвам нацизма оскорбляет их память. Родители и учителя не знали, что делать, и старались не обращать внимания на мое самобичевание. В двенадцатом классе одна девочка назвала меня воображалой, которая слишком много понимает о себе, и ей просто смешно, что я так из кожи лезу. Я с ней ужасно поругалась, но с того дня перестала говорить и писать об этом. Дома дядю никто не вспоминал, я тоже. Когда речь заходила о фашизме, я старалась отмалчиваться или отвечала односложно. Я поняла, что только мучила других тем, чего нельзя объяснить или забыть. И я замолчала.

Дядя Герхард умер через три года. Отец отказался от наследства, и вещи были проданы с аукциона в пользу города.

Чем дольше я сидела в кресле, тем неуютнее казался мне гостиничный номер. Обои выцвели. Мие стало страшно. Чудилось, если вглядеться, то заметишь, как по ним ползут насекомые. Я разделась и наступила босой ногой на что-то мокрое, холодное. Пролитое пиво. Это было до того неприятно, что я подошла к умывальнику и долго держала ногу под тепловатой струей. Нет, с этим городом все давно кончено. Поездка сюда показалась мне капризом, глупой выходкой.

На следующее утро за завтраком (булочки были вчерашними, кофе отдавал цикорием, да еще, как нарочно, к нашему столику дважды подходил администратор, чтобы поинтересоваться, всем ли мы довольны, а так как вместо руки у него был протез и из-под рукава торчала черная перчатка, то мы оба ответили, что все в порядке) я предложила Генри сразу же уехать. Сославшись на скверное настроение и на то, что не выспалась, я попросила его воздержаться от иронических замечаний. Мне хотелось говорить с ним помягче, чтобы не обидеть его, и Генри, кажется, понял это.

Мы расплатились за гостиницу и уехали. День у нас был свободным, поэтому решено было остановиться в Вёрлице. Погода выдалась ясной, теплой. По большому осениему парку ходили группы экскурсантов. Они появлялись то тут, то там, будто птичьи стаи, шумные, суетливые, и так же внезапно исчезали.

После обеда начался дождь, потом распогодилось, а с солнцем в парке опять появились толпы экскурсантов. Мы прошли от пальмовой рощицы к гротам и дальше на берег Эльбы. Здесь мы оказались одни. Прямо в плащах мы легли на траву, чтобы погреться на солнышке. Я спросила Генри, что ему вспоминается, когда он думает о детстве. Он ответил, что никогда о нем не вспоминает.

— Прошлое настигает нас, словно тень,— сказала я.— Нам не уйти от своего прошлого.

— Со мной такого не бывает,— возразил Генри.

— Почему? — удивилась я.

Он склонился надо мной и посмотрел мне в глаза:

— Потому, что это лишено смысла и мешает жить. Я от подобных глупостей избавлен, поэтому со мной все в порядке.

— Как-то не верится,— пробормотала я.

Генри рассмеялся, поцеловал меня и сказал, что я вольна думать о нем как угодно. Он привык, что женщины ищут в нем большего глубокомыслия, чем в нем есть на самом деле, ему это безразлично.

Мы прошлись вдоль Эльбы. Когда начало смеркаться, повернули назад. Пока мы нашли свою машину, совсем стемнело. Тьма была непроглядной, беззвездной, ни фонари, ни лампы не светили. Глаза еще не успели привыкнуть к ней, поэтому мы спотыкались.

Заехали в город поужинать. Единственный открытый ресторан был переполнен. Пришлось отправиться на вокзал, где в буфете мы взяли салат и сыр. Здесь пахло пивом и холодным сигаретным дымом.

У въезда на автостраду мы едва не столкнулись со встречной машиной. Генри ехал быстро, а другая машина неожиданио выскочила из-за поворота. Мы шли по встречной полосе. Фары мчались прямо на меня. Я вскрикиула. Автомобиль сигналил громко, настойчиво. Я схватилась за руль, пытаясь рвануть его вправо. Генри ударил меня по лицу. Встречный автомобиль затормозил, его занесло. Наша машина пролетела мимо. Обернувшись назад, я увидела, что водитель открыл дверцу, шагнул

на землю, но руку все еще держал на клаксоне. Потом автомобиль и водитель исчезли из виду, а мы мчались по бетонной полосе, стремительно набегавшей из темноты.

Мы оба молчали. Я схватилась за руль от испуга, инстинктивно. Генри, конечно, успел бы увернуться. Все произошло слишком быстро, так быстро, что я ничего не успела сообразить. Но Генри ударил меня не случайно. Он сделал это вовсе не машинально и не неожиданно для себя самого.

Уставившись в темноту, которую с трудом раздвигал свет фар, мы продолжали молчать. Меня устраивало, что Генри не извинялся и не пытался объясниться. Он, конечно, не из тех мужчин, кто бьет жену или любовницу. Но рано или поздно в особенно трудной, нервной ситуации каждый мужчина способен ударить. Они могут сдержаться по отношению к другому мужчине, но не к женщине или ребенку. Дело не в нашей слабости, которая позволяет им демонстрировать силу. И не в выдержке мужчин в своем кругу. Я видела мужчин, оскорбленных соперником. Несмотря на смертельную обиду, они продолжали сидеть на месте, улыбались. Заорав в ответ или притихнув, оставаясь вежливыми или наглея, они стараются не терять самоконтроля. Во всяком случае, до драки у них обычно не доходит. Ведь они равные среди равных, и мужчина не может ударить другого тем унизительным, почти небрежным движением руки, каким наказывают или подгоняют скотину. Даже когда мужчины дерутся, у них и тут соблюдается кодекс чести: настоящий мужчина не бьет противника, если тот не готов к обороне. Ритуал поз. Дуэль под наблюдением внутренних секундантов. Два соперника в рыцарском поединке.

Женщину бьют, как собаку, между прочим, походя. Это, так сказать, воспитательная мера, для пользы самой провинившейся. Сразу же за ударом можно приласкать. Ведь мужчина бьет женщину не из ненависти, а для порядка.

Причина коренится в многовековом, почти врожденном чувстве превосходства, которое позволяет мужчине бить женщину. Иногда самый вежливый, добрый, сердечный мужчина поддается этому чувству собственного превосходства. Потом он и сам пугается противоречия между своим поступком и собственными убеждениями. Обычно мужчина тут же просит прощения, раскаивается, начинает копаться в себе и находит какое-нибудь объяснение случившемуся. Хиннер однажды, извиняясь, сказал, что разозлился на меня, буквально озверел из-за какой-то колкости. Он прав, это действительно озверение. Прирученный хищник способен неожиданно и без всяких причин растерзать кормившего его человека. Пусть бессознательно, мужчина все же чувствует свое превосходство над женщиной, поэтому, применяя силу, он, как бы ни пугался этого сам, берет на себя роль воспитателя, бога-педагога. Умом они готовы признать женщину равной, равноправной. Но в глубине души ими владеет безотчетное чувство особого мужского достоинства, смесь гонора и ущербности.

Зайдя однажды к моей подруге Шарлотте, я застала ее мужа Михаэля в страшном отчаянии. Он, добрейший, всепонимающий и снисходительный к шалостям отец, только что побил ребенка. Он, неспособный даже мухи обидеть. Михаэль был жутко испуган своим поступком, клял себя в моем присутствии последними словами, то и дело брал наказанного ребенка на колени, целовал, ласкал его и пристыженно просил прощения. Мне была эта сцена отвратительна. Михаэль сокрушался вполне искренне, но жалел при этом больше самого себя, собственное самоуважение, пострадавшее от оплеухи, которой он наградил своего ребенка. Михаэль сам уничтожил свою так ценимую им внутреннюю культуру и теперь причитал о том, что обнаружил в себе варвара. Жалкими словами и ласками он просил ребенка вернуть ее, чтобы вновь упрятать якобы чуждое ему варварство в темное нутро, в подземелья своей натуры. Бедные, смешные мужчины.

Генри молчал. До самого Берлина мы не обменялись ни словом. И это было правильно.

У моей двери мы попрощались. Генри был бледен и смущенно улыбался. Я пожелала ему спокойной ночи.

Не забуду ему этой пощечины и не прощу ее. Хотя знаю, что особенно переживать из-за нее не стану. Мне уже тридцать девять. Смешно терять голову из-за такого пустяка. Когда льет дождь, можно промокнуть. Я не маленькая, должна это понимать. Все идет своим чередом, такова жизнь. Повода для истерики нет. Кричать не стоит. Надо оставаться такой какая я есть, приветливой, нормальной женщиной. Ничего страшного не произошло.

В комнате было душно. Прежде чем повалиться в кресло, я распахнула окно.

10

В ноябре я две недели проболела. Что-то случилось со спиной, с межпозвоночными дисками. Не так опасно, как болезненно. Гимнастика, гальванотерапия, подводный массаж помогли мало. Во всяком случае, облегчения не чувствовалось. Болезнь века. Кости крошатся, хрящи распадаются, плоть дегенерирует. Обратный исторический цикл, возврат к земноводным, к обитателям океана, к первобытным амебам. Регрессивная эволюция человеческого организма до известной степени замаскирована тем, что негодные органы заменяются хитроумными изобретениями. Машина и эскалатор, сердечный электростимулятор и искусственные легкие, золотые зубы, синтетические протезы, серебряные пластины взамен костей. Улучшенное естество. Выживание человечества как проблема запчастей. Прогресс, зависящий от безупречного материального снабжения. Продолжение рода будет обеспечено разнополыми запчастями, мужскими и женскими, остальное — магнетизм.

Перед месячными я взяла бюллетень. Иначе бы не выдержала.

Я много гуляла и каждое утро по часу плавала в бассейне. После завтрака слушала пластинки — успокаивающее начало долгого дня. Я попыталась отыскать ювелира, который починил бы мне золотую цепочку. Везде вежливо отказывали. Починка — слишком трудоемкий вид работ. Дважды я поджидала Генри у его учреждения. В первый раз он был очень удивлен, так как прежде я никогда его здесь не встречала. Он вышел со своим сослуживцем. Мы пошли втроем в кафе на берегу Шпрее. Господин Кремер, товарищ Генри, был очень забавным. Он рассказывал невероятнейшие истории про их работу и сам же добродушно смеялся над ними. Чувствовалось, что я нравлюсь ему. Стоило мне заговорить, как он умолкал и внимательно смотрел на меня. Кремер осторожно попытался уточнить мои отношения с Генри. Во всяком случае, именно так я поняла его приглашение отпраздновать Новый год вместе. Генри был сух. Возможно, ему было неприятно, что сослуживец видел его с любовницей. Когда мы выходили из кафе, Генри взял меня под руку — это был первый и, вероятно, демонстративный знак нашей близости. Господин Кремер воспринял его с довольной улыбкой. Когда мы прощались, мужчины переглянулись. Взгляд Кремера как бы поздравлял Генри с выбором. Взгляд ценителя, гурмана, знатока вин или лошадей. Генри почесал подбородок, чтобы показать, будто отвлекся, и мог ничего не вкладывать в ответный взгляд. Про Новый год мы договорились. Я тоже дала согласие, хотя точно знала, что в это время меня не будет в Берлине. Ничего, господин Кремер переживет.

Мы прошлись по улице, заглядывая в витрины. Генри казался расстроенным. Ветер, поднимая пыль, тащил обрывки газет. У афишной тумбы я предложила сходить в театр.

Ничего интересного в театральных афишах не нашлось. Я предложила пойти куда-нибудь поужинать, но Генри сказал, что ему некогда. Нужно ехать в Дрезден к жене. Он не хотел говорить об этом раньше. У старшего сына в школе неприятности, поэтому жена позвала Генри домой. Надо было сразу после работы все объяснить мне и ехать, сказала я. Он кивнул. Я проводила его до метро. Неожиданно он начал жаловаться на жену. Раньше Генри никогда не говорил о ней. Он рассказал, что жена часто звонит, требует извещать ее и детей, выдумывает разные проблемы. Вероятно, у нее что-то не ладится с ее другом. Она теперь настаивает, чтобы Генри проводил в Дрездене все выходные. А через десять минут мы ссоримся, зло буркнул Генри.

Перед входом в метро Генри сдвинул шляпу на затылок и пнул ногой какой-то воображаемый предмет. Когда мы прощались, я увидела, что у него на рубашке нет одной пуговицы, и удивилась своей наблюдательности. Вернувшись домой, я разогрела ужин и села есть перед телевизором. Потом легла в постель. Во время болезни мне постоянно хочется спать.

На вторую неделю болезни меня навестил шеф. Он впервые был у меня в гостях. Я не слышала, чтобы он ходил домой к кому-нибудь из наших врачей. Когда я открыла дверь и увидела его на пороге, вид у меня, наверное был изумленный. Шеф сам немного растерялся и молча протянул мне завернутый в бумагу букет, который тотчас схватил обратно, быстро развернул и вручил гвоздики. Постепенно самообладание возвращалось к нему. Он нашел мою комнату ужасной и сказал, что позаботится о приличной квартире для меня. Комната вполне сносная, возразила я,

ничего другого мне не нужно. Мы пили кофе, шеф говорил о каких-то милых пустяках. Зачем он пришел, было неясно. Я ждала, когда старик объяснит причину визита.

Шеф осмотрел книжные полки и с сожалением обнаружил на них только беллетристику. Он поинтересовался, неужели я совсем не читаю специальной литературы. Я отрицательно мотнула головой. Иногда у меня появляется желание, и я покупаю медицинские журналы или беру почитать рекомендованную кем-нибудь новинку. Но обычно мне не хватает сил на чтение. Уже несколько лет как у меня пропал всякий интерес к медицинской литературе. Порой что-то вроде чувства долга заставляет меня обратиться к новым публикациям. Но такие порывы редки, они лишь напоминают о прежнем отношении к делу и быстро проходят. Даже не знаю, пригодилась ли бы мне сейчас специальная литература. Да, мы воспитывались на примере великих ученых-гуманистов, но их «исследовательская страсть» кажется теперь отголоском минувших веков. Для работы в поликлинике вполне достаточно того, чему нас научили в университете, что обсуждается в кругу коллег или регулярно сообщается на курсах по повышению квалификации. Шеф возразил — он не понимает подобного отношения к работе. Вероятно, он прав. Я сама иногда не могу этого понять.

— Вам не хватает дисциплины,— сказал шеф.— Всему вашему поколению не хватает дисциплины.

Шеф нервно теребил воротничок рубашки. Потом он вскочил с кресла и горячо заговорил:

— За последние пятнадцать лет я не проболел ни дня, ни одного-единственного дня. Здоровье для меня та же дисциплина, вот так-то, милочка. Я говорю вам это как врач.

Его большая синяя в крапинку «бабочка» съехала набок. Я согласилась и полюбопытствовала, как достичь столь великолепной дисциплины. Я сама сожалею о моей недисциплинированности, но пока ее не прописывают в виде инъекции или, скажем, поливитаминов, дело, пожалуй, безнадежно. Шеф сочувственно посмотрел на меня и произнес:

— Вам будет трудно. Всему вашему поколению будет трудно стареть.

— Скорее всего,— ответила я,— только не знаю, чем тут помочь.

— Дисциплину нужно тренировать, детка,— сказал шеф.

Я возразила, что тогда она будет иллюзией, которая быстро развеется, но шеф стоял на своем: дисциплину необходимо тренировать.

Шеф был недоволен мной, но меня это не волновало. Он пожилой человек, и я признаю за ним право поучать. Вероятно, потому, что он мне симпатичен. Но что толку?

Старик попытался сменить тему и просто поболтать. Но, видимо, педагог был в нем слишком силен, чтобы теперь у нас завязалась непринужденная беседа. Когда он откланивался, я спросила, не было ли у него ко мне какого-нибудь дела, поручения или просьбы. Шеф удивился, неужели мне кажется, будто его визит может иметь только такой смысл, и я сразу же ответила:

— Да!

— Возможно, вы недалеки от истины, но на сей раз я зашел просто так,— сказал шеф с улыбкой, а потом добавил: — Хорошо бы вам проведать нас, вы же знаете, моя жена...

Я сказала, что все понимаю и скоро навещу их.

Для меня осталось загадкой, зачем он приходил. Он милый старик, немного чудной, немного чопорный, но хороший шеф. Я думаю, в нем есть что-то от кавалера старой школы, с тайными рандеву, с маленькими и хорошо продуманными сюрпризами, корректный костюм, подходящий одеколон. Гвоздики для меня он наверняка выбирал сам.

Вытирая посуду, я припомнила, что коллеги отзывались о шефе совсем иначе. Возможно, это были те, кого он особенно недолюбливал, или же в нем действительно уживались две противоположные натуры. А может, его визит был причудой, взбалмошным отступлением от строгой дисциплины.

За день до выхода на работу позвонила мать. Я как раз убиралась, делала кое-какую перестановку, будто от этого можно выиграть место. Мать узнала в поликлинике, что я болею. Как я теперь себя чувствую и почему не появляюсь? Я успокоила ее и пообещала приехать на рождество. Мать спросила, приеду ли я одна. Не получив ответа, она сразу же сказала, что я могу захватить своего знакомого. Я справилась

об отце, и мы попрощались. Мать сказала «до свидания», переспросила, не хочу ли я еще что-нибудь сообщить, и опять сказала «до свидания».

Вечером мы пошли с Генри к его приятелям. Кажется, они вместе учились. В гостях было утомительно и скучно. Сказать нам друг другу было нечего, поэтому разговор шел о телепередачах. Вскоре я заявила, что мне пора идти. Генри встал, чтобы проводить, но друзья запротестовали, и я сказала, что доберусь сама. Генри остался. На следующий день он позвонил в поликлинику и пожаловался: после моего ухода стало еще хуже. Приятели были недовольны тем, что я рано ушла,— они столько готовились к вечеру.

В середине декабря мне позвонил Михаэль, муж Шарлотты, и спросил, можно ли зайти. Он говорил очень взволнованно. Жду, ответила я. Придя ко мне, Михаэль рассказал, что его отец попал в дом престарелых. Отец туда не хотел, но пока Михаэль был в командировке, соседи устроили так, чтобы отца забрали. Соседи рассчитывают занять квартиру. Михаэль надеялся теперь на мою помощь. Он назвал мне фамилию врача, подписавшего направление. Я позвонила этому врачу, которого лично не знала, и долго говорила с ним. Врач вспомнил отца Михаэля и объяснил, что его забрали в дом престарелых только на зимний период. Они приехали к старику днем, чтобы проверить заявление соседей. Старик лежал в постели, квартира была не топлена и не убрана. Похоже, в последние дни он не ел горячей пищи. Словом, все основания забрать его на зиму имелись, и врач тут же подписал направление.

Я поинтересовалась, был ли отец Михаэля согласен ехать в дом престарелых. Врач ответил, подчеркивая каждое слово, что если старый человек остается без ухода, как в данном случае, то согласия на отправление в специальное учреждение не требуется.

Михаэль сидел рядом и все слышал. Он шепотом попросил меня сказать врачу, что соседи имели виды на квартиру и, воспользовавшись отсутствием сына, упекли старика в приют. Я сказала об этом врачу. Такое случается, подтвердил тот. Заявления бывают порой анонимными или подписаны вымышленными именами, поэтому отдел социального обеспечения строго проверяет каждый конкретный случай. В конце концов, речь идет только о зиме. Весной старик вернется домой, квартира останется за ним.

Потом врач захотел поговорить с Михаэлем, и я передала тому трубку. Врач предложил Михаэлю сейчас же забрать отца. Михаэль заколебался. Наконец он договорился с врачом, что возьмет отца к себе или будет ежедневно заходить к нему домой.

Повесив трубку Михаэль облегченно вздохнул. Надеюсь, он не пожалеет о своем решении. Не знаю, взяла ли бы я к себе отца или мать. Для меня это было бы тяжело, да и сложно из-за частых ночных дежурств.

Когда Михаэль ушел, я позвонила родителям. К телефону подошел отец, и я растерялась. Привязанность Михаэля к своему старику как-то разбередила мне душу, но не могла же я сказать отцу, что звоню ему только потому, что другие дети любят своих родителей.

Я лишь поинтересовалась, как он поживает. Оказалось, что все в порядке, во всяком случае отец так сказал. Новостей у них не было, у меня тоже. На этом мы распрощались.

Через несколько дней похолодало и пошел снег. Но он быстро стаял, на улицах сделалось грязно и скользко. Днем было пасмурно, небо походило на серую вату. В комнате было слишком жарко. Я закрутила вентили батареи, но и это не помогало. В такой жаре недолго и тараканам завестись. Я внимательно осматривала в ванной все уголки и щелки. Три года назад в нашем доме завелись тараканы. Они с невероятной скоростью расползлись по этажам. Тараканов морили газом. С тех пор я их не видела, но все время боюсь, что откуда-нибудь снова выползет таракан.

От матери пришла посылка с рождественской коврижкой собственной выпечки. Мать шлет ее каждый год в это время. Письмо в посылке промаслилось чернила расплылись. Мать писала, что ждет меня на рождество обещала приехать и сестра. Отца донимают легкие и нога. Чего мне хотелось бы в подарок? — спрашивала мать. Она исписала одну страничку из школьной тетради. Эта привычка осталась у нее с той поры, когда мы с сестрой ходили в школу. Но ведь прошло уже тридцать лет, а мать все еще покупает школьные тетради и вырывает из них листы для своих коротких беспомощных писем или записок.

В субботу накануне рождества меня разбудил громкий щебет. Я с трудом пришла в себя и никак не могла догадаться, что это птицы. Странно, около нашего дома нет птиц. Я лежала в постели с закрытыми глазами и вяло соображала. Наконец, я поняла, что птицы кричат у фрау Рупрехт, и почувствовала облегчение. Но тут в голове мелькнула мысль, что прежде такого шума никогда не было. Сон будто рукой сняло. Я быстро встала, умылась, оделась и пошла к фрау Рупрехт. Позвонила. За дверью слышались только птичьи голоса. Я позвонила еще и еще, затем начала стучать. За моей спиной открыли дверь. Кто-то из соседей спросил, что произошло. Я ответила что-то невразумительное и вернулась к себе. Я попыталась успокоиться, но птичий гам продолжался. Мне даже показалось, что теперь они кричат еще громче. «Что-то случилось»,— эта мысль настойчиво крутилась в мозгу, как жернов, который нельзя остановить. «Что-то случилось»,— повторяла я про себя, кипятя воду для кофе.

Ничего страшного произойти не могло, уговаривала я себя, это просто нервы. Птицы, вероятно, всегда так шумели, только я не обращала внимания, а впервые заметив, придала этому слишком большое значение. Вот и все.

Я села и закурила, но тут же затушила сигарету, заглянула на кухню, выключила электроплитку и вышла из квартиры. Я спустилась на лифте вниз, постучалась к домоуправу и попросила его подняться со мной, чтобы открыть квартиру фрау Рупрехт. Я пробовала объяснить ему свою тревогу, но он хмуро ответил, что тревога сама по себе не дает ему права вламываться в чужую квартиру. Домоуправ вышел в шлепанцах на босу ногу, он был без рубашки, заросшую седыми волосами голую грудь перекрещивали подтяжки.

Я не отставала от него, зная, что иначе не успокоюсь, поэтому домоуправ решил все же пойти со мной. Он вернулся к себе и вышел в рабочем халате, со связкой ключей. В лифте он заявил, что в случае чего отвечать за все буду я, ему, дескать, за это не платят. Я пообещала домоуправу пять марок, он довольно кивнул и буркнул, будто не это имел в виду.

В маленькой прихожей фрау Рупрехт пахло птичьим кормом и сырым песком. Безобразие, сказал домоуправ. Наверное, о запахе.

Мы открыли дверь в комнату. Фрау Рупрехт сидела в кресле и смотрела прямо на нас. Два маленьких глаза, крошечные черные зеркальца в паутине морщин, были обращены к нам. Домоуправ начал объяснять, почему мы пришли. Потом он осекся и сказал без выражения:

— Черт возьми!

Фрау Рупрехт была мертва. В комнате стоял сладковатый, удушливый запах. Мне пришлось взять себя в руки.

Птицы беспокойно кричали и сновали в своих клетках. У некоторых был больной вид, они сидели на жердочках или на посыпанном песком днище клетки. Домоуправ подошел к балконной двери и распахнул ее. Я попыталась закрыть покойнице глаза, но ничего не получилось. Веки ушли глубоко в глазницы. Тело было холодным. Я решила попробовать еще раз, но домоуправ велел ничего не трогать.

Мне хотелось налить птицам свежей воды, насыпать корму, однако домоуправ не позволил и этого. Он выставил меня из квартиры, тщательно запер дверь, косо поглядел на меня и сказал, что сам примет все необходимые меры. У него уже есть опыт. А вот если я знаю кого-либо из знакомых покойницы, то им надо сообщить. Я ответила, что никого не знаю. Домоуправ достал из кармана кривую, мятую сигарету. От спички пустой ее кончик вспыхнул.

Днем приехали полицейские и врач. Я догадалась об этом по тому, как с ними разговаривал домоуправ в коридоре. Я не вышла в коридор — ждала, пока позовут. Но меня так и не позвали.

Через два часа прибыли санитары с носилками. Об этом я тоже догадалась по доносившимся разговорам. Вынося тело, санитары задели мою дверь. Сначала я решила, что нужна моя помощь, хотела открыть входную дверь, но с места все же не сдвинулась.

Дверь из моей комнаты в маленькую прихожую со встроенными шкафами была приоткрыта, и я слышала каждое слово, каждый звук, каждый шорох. Прощание фрау Рупрехт с соседями.

Какой-то мужчина, видимо санитар, громко ругался в коридоре:

— Старуха померла три дня назад. В этом доме околеешь, никто и не почешется.

Вечером ко мне зашел домоуправ. Не могу ли я пока приглядеть за птицами в

соседней квартире? Он отдал мне ключ. Я пошла туда, вымыла блюдечки, налила свежей воды, насыпала корма. На стенах висели четырнадцать клеток с двадцатью тремя птицами. Два попугая умерли. Я завернула их в газету, которая лежала на столике.

Все это заняло не меньше часа.

Я чувствовала какую-то неловкость. Все время казалось, будто в квартиру вот-вот вернется фрау Рупрехт и мне придется объяснять ей свое вторжение. Жаль, что я не сумела закрыть ей глаза. С закрытыми глазами вид у покойников, по-моему, не такой агрессивный.

Когда все было закончено, я взяла газету с мертвыми попугаями и бросила их в мусоропровод, который находится рядом с лифтом. Вернувшись к себе, я долго мыла руки, оттирала их щеткой.

Через два дня домоуправ забрал у меня ключ. О похоронах фрау Рупрехт он ничего не знал. Родственники еще не объявились. До прояснения ситуации домоуправ решил поставить ее мебель и кое-какие вещи в подвал.

Он спросил, не возьму ли я на время птиц, хотя бы нескольких. Я ответила, что собираюсь уехать, и он раздраженно пробормотал: понятно. Никто не хочет возиться с птицами покойницы. Я спросила, где сейчас ее тело. Домоуправ все еще злился.

— Почем мне знать,— проворчал он и скривил губы.— Где полагается, там и спрашивайте.

Домоуправ возился в соседней квартире до позднего вечера. Чтобы заглушить этот шум, я включила телевизор. Хорошо, что домоуправ забрал ключ. Мне было бы неприятно заходить вечерами в пустую квартиру кормить и поить птиц. «Птицы покойницы»,— сказал домоуправ. Было что-то досадное и навязчивое в необходимости этих визитов. Покойница должна была забрать своих птиц с собой.

За два дня до сочельника я пошла покупать подарки. В магазине деликатесов я без особого выбора накупила вина, пряностей, всяких консервированных яств. Сложив целую гору моих покупок, продавщица спросила:

— Это все?

— Надеюсь,— ответила я и расплатилась.

Судя по количеству подарков, я никого не забыла из тех, кому должна что-нибудь подарить к празднику. На прощание продавщица пожелала мне «счастливого рождества».

Дома я собралась завернуть подарки в цветную бумагу и пройтись карандашом по своей записной книжке с фамилиями и адресами. Против каждой фамилии уже стояли карандашные галочки, сохранившиеся с тех праздников, когда мне приходилось ломать голову над такой бессмыслицей, как «индивидуальные» подарки. Теперь я больше не стараюсь придумывать особенных подарков. Достаточно любого. Да я и не знаю, что такое «индивидуальный» подарок. Пожалуй, если его действительно подарить кому-нибудь, то человек испугается. Не знаю, каким был бы этот подарок для меня, но думаю, если бы он был впрямь «индивидуальный», я бы расплакалась. Тогда я узнала бы, что я за человек. Пока я этого не знаю. И даже не ясно, хочу ли узнать. Жить мне еще лет тридцать. Во всяком случае, так утверждает статистика. И я не уверена, что прожить эти тридцать лет мне будет легче, если узнаю, кто я, собственно, такая. Я живу без особенных проблем. Как каждому нормальному человеку, мне иногда страшно, что я могу сойти с ума. Достаточно знать несколько таких случаев среди знакомых, чтобы понять, как легко это может произойти, и тут никто не может считать себя в полной безопасности. Я почти уверена: самый прямой путь к сумасшествию — задуматься, что ты за человек. У современной психиатрии есть кое-какие успехи, зато и пациентов у нее столько, сколько никогда не бывало. Я не питаю особой неприязни к психиатрии или нейропсихологии. Но и особенной симпатии тоже. По-моему, у любого человека можно найти все что угодно, стоит только захотеть.

Продавщица пожелала мне «счастливого рождества». Я собралась ответить тем же, но она уже разговаривала со следующим покупателем. С напряженной гримасой любезности она укладывала новую гору бутылок и консервов. «Индивидуальные» подарки очередного покупателя.

В сочельник я обедала с Генри в ресторане. На рождество он собирался к семье.

Мы старались об этом не говорить. Ему не хотелось предвосхищать ссоры с женой. А Новый год мы решили встретить у моих родителей в Магдебурге.

После обеда я уехала. Генри проводил меня до машины. Когда мы попрощались, Генри сунул мне в руку маленький сверток. «Не надо, пожалуйста»,— подумала я и улыбнулась.

Сдвинув шляпу на затылок, он глядел на меня. Я смотрела на него в зеркальце заднего обзора, пока он не скрылся за дверьми, другими машинами, прохожими, словно канул в сырую, серую мглу асфальта.

11

Утром после рождества я сказала матери, что хочу пофотографировать и вернусь домой только к вечеру. Мать удивилась: ведь я все давно сфотографировала в округе. Ландшафт меняется, возразила я. Было заметно — мать обиделась. Наверное, догадалась, что дома мне скучно и я ищу предлог куда-нибудь уйти. Она догадывалась об этом, а я догадывалась, что она все понимает. Поэтому я была благодарна ей уже за то, что она прекратила расспросы и отпустила с миром. Несмотря на все мои возражения, мать всучила мне с собой кофе и бутерброды.

Мне действительно было тут скучно. В сочельник я приехала к родителям довольно поздно. Они уже все приготовили, и после обычных несердитых упреков мы прошли к елке. Я похвалила елку — отец наверняка возился с ней целый день,— и это его очень обрадовало. Мы вручили друг другу подарки. На минуту я пожалела, что купила их без особого выбора. Но родителям подарки понравились, по крайней мере вид у них был довольный. Подарки оказались необычными и дорогими, а это для родителей значит немало.

Позднее мы, как всегда, сидели перед телевизором. Матери хотелось со мной поговорить, но мы помешали бы отцу. По случаю праздника мы выпили вина, Мать всегда так говорит — «по случаю праздника». Неожиданно мать расплакалась, я даже не поняла почему, да она и сама, наверное, не знала причины. Ведь если не надо причин, чтобы не плакать, то какие особые причины нужны для слез?

По телевизору ничего, кроме детских хоров и струнных квартетов, не было, отец его выключил. Родители стали расспрашивать, как мне живется, и я постаралась рассказать им что-нибудь такое, что могло их заинтересовать или обрадовать.

Мне не хотелось ложиться спать первой, чтобы не обидеть их. Поэтому я оставалась с родителями и бодрилась.

Уже довольно поздно позвонила сестра, прежде обещавшая провести сочельник дома, но два дня назад она предупредила по телефону, что приедет на день позже.

Голос у нее был очень веселый. Сестра казалась немного пьяной. Она пожелала нам всего хорошего, и мы по очереди брали трубку, чтобы пожелать ей того же. Когда трубку передали мне, сестра засмеялась и сказала: завтра тебя ждет сюрприз. Я ответила, что буду рада ее видеть. Последний раз мы встречались с ней здесь же у родителей на прошлое рождество. Сестра взяла с меня обещание не сердиться на нее. Не успела я поинтересоваться, с какой стати мне на нее сердиться, как она повесила трубку.

Я еще немного посидела с родителями. Мать о чем-то рассказывала, а отец то и дело пытался нас чем-либо попотчевать. Потом он заглянул в телевизионную программу и, не найдя ничего интересного, предложил во что-нибудь поиграть. Ни мать, ни я играть не захотели, и вскоре мы легли спать.

К обеду следующего дня пришла моя сестра Ирена с Хиннером. Он теперь работал хирургом в окружной больнице. Я не ожидала его встретить, и мать сделала вид, будто тоже удивлена. Хотя я догадалась, что именно она и пригласила его. Я никак не могла отговорить мать от попыток свести нас. Она надеялась, что все еще образуется. Прежде мать гордилась нами, точнее, нашей семьей — о ней было что порассказать знакомым. Мы оба были честолюбивы, и нам сопутствовал успех. Любая мать мечтает о таком браке для своей дочери. В глубине души она считала наш развод просто несостоявшимся, недействительным, ибо он не вписывался в ее мечты.

Тем более обескуражило ее это рождественское явление Ирены с Хиннером.

Мать ждала Ирену и пригласила Хиннера. Но вряд ли она могла предположить, как и мы с отцом, что те придут вместе.

Ирена работает учительницей в Ростоке. Она вышла замуж за инженера, ко-

торый ее постоянно раздражает. Он кажется Ирене человеком пошлым и заурядным. Она и при нас называет его неудачником и рохлей. Ирена относится к нему свысока, и у мужа всегда бывает обиженное и страдальческое лицо, а мы делаем вид, будто ничего не замечаем, не слышим. У них пятилетняя дочь, которая, на свою беду, похожа на отца.

Муж Ирены остался с дочерью в Ростоке. Не знаю, что ему наплела сестра. Матери она заявила, будто хотела отпраздновать рождество и Новый год одна и просила ни о чем не спрашивать. Это было несколько дней тому назад.

Когда мать увидела Ирену вместе с Хиннером, щеки у нее пошли пятнами. Мать не впадает в истерику и не ругается, если что-нибудь выше ее разумения. Она остается спокойной и приветливой — только покрывается красными пятнами.

Здороваясь, Хиннер поцеловал меня. Мы сели обедать. Разговор за столом шел непринужденный, даже слишком непринужденный, чтобы быть вполне обычным. Только отец вроде бы ничего не замечал. Он просто удивился, что они пришли вместе, расспрашивал сестру о муже и о своей внучке. Сестра отвечала односложно.

На кухне, помогая матери мыть посуду, сестра попросила ничего не рассказывать мужу. Он, вероятно, будет звонить и справляться о ней. Пусть мать что-нибудь придумает, а она потом сама все объяснит, когда вернется домой. Мать только молча кивнула, наклонив голову над мойкой. Короткими, энергичными движениями она крутила в руках тарелку. Щеки у матери опять пошли пятнами.

Я отнесла посуду в комнату. Хиннер, расположившись в кресле, курил сигару. Когда я вошла, он встал, попытался помочь, но не знал чем. Мы стояли в нерешительности. Наконец, Хиннер спросил, как я живу, работаю. Самого его назначили в сентябре старшим врачом. Я удивилась. Хиннер много лет жаловался, что в больнице у него неважные перспективы и ему трудно продвинуться. Он злился, бывал желчен, саркастичен. Впрочем, о новой должности Хиннера я уже слышала от матери. Он заметил удивление, понял причину и объяснил, что за последние два года обстановка в больнице переменилась к лучшему. Теперь у него неплохие отношения с шефом, который даже берет его на международные конгрессы. Словом, его ценят. Я спросила, вступил ли Хиннер в партию. Он ответил утвердительно и добавил, что все иначе, чем я полагаю. Этот шаг серьезно обдуман. Я перебила его, сказав, что вообще ничего не полагаю. Хиннер снова сел. Перехватив мой взгляд, он спросил, не сержусь ли я.

Я удивилась:

— Из-за чего?

— Из-за сестры,— пробормотал Хиннер.

— Я-то тут при чем? — возразила я спокойно.

Хиннер сказал, что рад моему спокойствию. Он вообще считает меня хорошим человеком, поэтому мы всегда понимали друг друга. Я возразила, что вряд ли можно считать меня хорошим человеком, во всяком случае к ним обоим это не имеет ни малейшего отношения. Их дела касаются только его и моей сестры. Хиннер встал и сделал неловкую попытку погладить меня по щеке, повторяя, что я хорошая.

Вернувшись на кухню, я застала сестру в слезах, глаза матери тоже были заплаканными. Я молча принялась вытирать стаканы. Через некоторое время мать нарушила молчание. Не надо забывать про рождество и портить друг другу настроение, сказала она. Сестра спросила, неужели я тоже считаю, будто она увела у меня Хиннера. Я ответила, что мы давно разведены, нас ничего не связывает и она может спокойно спать с Хиннером. Сестра резко возразила: для нее главное не это. Они любят друг друга. О ней мне трудно судить, сказала я, зато мне известно, что всегда было главным для Хиннера. Сестра опять заплакала, а я тут же спросила себя, почему обошлась с ней так жестоко. Ведь не было необходимости говорить ей все это? Зачем я ее обидела? Какое мне дело до того, что они сошлись?

Мои попытки извиниться и что-то объяснить были тщетными. Сестра смотрела на меня с нескрываемой злостью. Мать твердила:

— Не ссорьтесь, дети, сегодня же рождество.

Мы сели пить кофе и заговорили о родственниках. Мать сбивалась, перескакивала с одного на другое. Сестра оскорбленно молчала. Хиннер чувствовал себя довольно-таки неловко. Часов в семь они ушли. Поскольку сестра и Хиннер уходили вместе, отец сообразил наконец, что к чему. Прощаясь, он ужасно побледнел.

Мне было жаль его. Отец не мог этого ни понять, ни принять. Раньше он грохнул бы кулаком по столу и закричал. Только отец давно присмирел. Теперь он все прячет в себе. Молча сел к телевизору и уже не обращал на нас никакого внимания. Костяшки его пальцев побелели.

Мы рано легли спать. Было слышно, как мать уговаривает отца сказать, что он обо всем этом думает. Мать несколько раз повторила свою просьбу, поэтому я догадалась, что отец продолжает отмалчиваться.

Я попробовала уяснить мое нынешнее отношение к Хиннеру. Нет, нас больше ничего не связывало. Неделями и месяцами я даже не вспоминала о нем. Мы стали совершенно чужими. Почему же меня злит его связь с сестрой? Почему мне противно то, что меня не касается, уже не касается? Откуда эта обида? Недовольная собой, я заснула.

Второй день праздников прошел тихо. Мы спокойно коротали время. Настроение было так себе.

После обеда пришли тетя Герда и дядя Пауль. Мужчины заговорили о политике, а мать заставила меня рассказать о работе.

Вечером позвонил из Ростока Ханнес, муж сестры. К телефону подошла мать. Она спросила про внучку. Мать сделала мне знак взять трубку и поговорить с Ханнесом, но я отрицательно покачала головой. Я увела тетю Герду из комнаты и прикрыла дверь. Так матери будет легче врать про сестру.

Повесив трубку, мать передала всем приветы от Ханнеса. Я взглянула на отца. Он не поднял головы. Я чувствовала, что в нем все кипит. Если бы отец был верующим, он сейчас, пожалуй, проклял бы мою сестру.

На следующий день я поехала за город фотографировать. Было холодно, и вскоре я озябла. Согреться поблизости оказалось негде — ни одного кафе, ни одной закусочной. И все же я вернулась домой только затемно.

Зачем я вообще приехала к родителям? Нам нечего сказать друг другу. Однако на следующий год я снова поеду к ним, а еще через год опять, и так до тех пор, пока «смерть не разлучит нас». И каждый раз я буду злиться на себя за то, что поехала, но мне никогда не хватит мужества порвать наши отношения, хотя по сути дела мы давно уже стали чужими.

Вечер мы провели втроем. Вспоминали мое детство, наш городок Г. и давних знакомых. Отец был весел и разговорчив, как никогда, а мать прямо-таки сияла. Удивительно, что у нас такие разные воспоминания о прошлом. Годы, которые для меня были страшными, тяжелыми, казались им прекрасными, полными шуток и забавных историй. Вероятно, родители были счастливы в ту пору, когда я была так несчастна. Мы никогда не понимали друг друга.

Вечер получился милым. Все было бы совсем хорошо, если бы один раз не возникла неловкая пауза, когда мать спросила о моих планах на завтра, а я ответила, что опять поеду фотографировать.

Расходясь спать, мы обнялись и поцеловались. Как когда-то. Только это было так давно, что теперь представлялось невероятным.

В воскресенье приехал Генри. На нем был коричневый костюм в крупную клетку, на голове — широкополая шляпа. Таким я его еще не видела и чуть не упала со смеху. Я сказала, что он похож на конферансье из второразрядного шоу. Генри слегка обиделся за свой выходной костюм, которым надеялся произвести впечатление. Когда мы пошли в дом, он погладил меня и шепнул, что хорошо бы поскорее остаться вдвоем.

Мать была ужасно рада приезду Генри. Она сочла это свидетельством доверия, залогом прежних, хороших отношений между матерью и дочерью, у которых нет друг от друга секретов. В приезде Генри ей хотелось видеть подтверждение того, что нас с ней еще многое связывает. Мать суетилась вокруг него, принесла пирожных, печенья, спрашивала, не хочет ли он еще чего-нибудь. Видно, Генри понравился матери.

Отец заговорил с Генри о его работе. Генри отвечал серьезно и рассудительно, поэтому отец тоже был доволен. Отца интересовали политика и производственные дела, поэтому он не любил, когда о них говорили легкомысленно или пренебрежительно. Отец не доверяет нашему поколению и считает, что у нас недостаточно развито чувство ответственности. Он боится утраты идеалов, которые для его поколения были

вне сомнений. Отец разочарован — мы не оправдываем его надежд. Он скептически и раздраженно относится ко всему, что несет с собою новое поколение.

На вопрос матери, есть ли у Генри семья, он рассказал о своей жене и двух детях, словом, родителям пришлось проглотить еще одну горькую пилюлю. Правда, Генри добавил, что живет с женой поврозь, но это дела не спасло. Бедные старики, сколько потрясений выпало им на Новый год.

Вечером мы играли в бридж. Мать будто подменили. Было заметно, что ей хотелось понравиться Генри. Она вступала в борьбу за потенциального зятя, желая дочери счастья, скроенного по понятной ей мерке.

Позднее, уже в постели (мать спросила, где будет спать Генри, так как ей казалось приличней, чтобы он спал в гостиной, однако промолчала, когда я удивленно ответила: «Конечно, у меня»), Генри рассказал, что жена ему угрожала, хотя довольно туманно, поэтому он даже не понял толком, чем она, собственно, грозит. Жена сказала, что жить так дальше не может, но развода не даст. Неопределенная, многозначительная угроза. Я спросила, сильно ли его это беспокоит. Трудно сказать, ответил Генри. Ведь ничего не ясно. Он погладил меня и проговорил:

— За кого я беспокоюсь, так это за детей.

Мы лежали рядом, едва касаясь друг друга, молчали и курили. Каждый думал о своем, спокойно и в то же время с какими-то томительными предчувствиями.

На следующий день я помогала матери готовить новогодний стол, а Генри пошел с отцом во двор, где у отца был сарайчик. Потом Генри рассказал, что они что-то вытачивали там на токарном станке.

После обеда мы с Генри прогулялись по городу. День был ясный, солнечный. Выпавший за ночь снег затоптали, и теперь он лежал серый и грязный. Из подворотен дети бросали нам вслед шутихи. Одни ребята с визгом убегали в подъезд, другие со скучающими лицами наблюдали за нашей реакцией.

Было тепло, и мы шли в расстегнутых пальто. Генри спросил, чего я жду от него. Я не поняла вопроса и недоуменно подняла брови.

— Как ты представляешь себе наши дальнейшие отношения?

Я ответила, что не задумывалась об этом.

— И хорошо,— проговорил Генри.— Мне не хотелось бы разочаровывать тебя, да и самому не хочется новых разочарований.

Я сказала, что вполне с ним согласна. Генри загадочно произнес:

— Будем надеяться.

В церкви служили вечерню. Мы присели на последнюю скамью послушать. Кроме нас здесь было лишь несколько пожилых людей. Священник все время поглядывал на нас. Вскоре у меня появилось ощущение, будто мы мешаем. Мы тут были чужими. Мы ушли из церкви.

По дороге домой нам повстречалось довольно много пар. У женщин из-под шуб выглядывали длинные платья, в волосах блестели стразы. Встречные поздравляли нас с Новым годом, и мы кивали в ответ.

На тротуаре перед зданием с вывеской «Бюро путешествий» стоял обгоревший автомобиль, в котором играли дети. Крыши у него не было. На кривых опорных скосах облупился и запекся лак.

На углу нашей улицы навзрыд плакала молодая женщина. Грим размазался по ее лицу. Прислонившись к стене, она постукивала себя сумочкой по сапогам. На пухлых щеках блестели крошечные золотые звездочки и алые полумесяцы, меж которых сползали слезы. Рядом стоял коренастый мужчина с боксерским, приплюснутым носом и смотрел на улицу с видом глубокого отвращения. Они громко переругивались, не глядя друг на друга. Женщина обзывала мужчину поганцем, а тот грозил ей набить морду.

Проходя мимо, Генри поздравил их с Новым годом, мужчина без всякого выражения ответил:

— Ладно, шагай дальше.

У своего подъезда мы обернулись. Они все еще стояли на углу.

Вечером пришли дядя Пауль и тетя Герда, а еще позднее сестра с Хиннером. Мы довольно много выпили, отец спорил с дядей, который все время подшучивал над отцом. Хиннеру захотелось поговорить со мной наедине.

Мы прошли в кухню. Хиннер молчал, и тогда я спросила, чего ему от меня нужно. Наконец он спросил: неужели я возненавидела сестру? Я успокоила его. По

словам Хиннера, сестра чувствовала себя виноватой и несчастной. Он уговаривал меня сделать какой-нибудь шаг к примирению. Со смущенной улыбкой Хиннер проговорил, что когда-то я любила его и мои родители относились к нему неплохо, поэтому мы не должны бы возражать против того, что он сошелся с моей сестрой. Мы будем в восторге, чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя спохватилась. Разве он так уж переменился? — спросил Хиннер. Когда мы вернулись в комнату, сестра взглянула на меня так пристыженно, что у меня кольнуло сердце. Я улыбнулась, и она облегченно вздохнула. Часов в одиннадцать сестра и Хиннер попрощались. Они хотели зайти еще к каким-то знакомым.

В полночь мы чокнулись бокалами с шампанским, дядя расцеловал меня и мать. Тетя Герда потребовала, чтобы Генри ее тоже поцеловал, он смущенно подчинился, и тетя Герда была ужасно довольна. Потом Генри поджигал на балконе ракеты и петарды, которые привез из Берлина. Наверное, он истратил на них кучу денег и теперь с непонятным мне мальчишеским азартом запускал одну ракету за другой.

Мать заснула на софе и тихо сопела. Примерно в час ночи я разбудила ее и отвела в спальню. Мать сердито уверяла, будто вовсе не спала, однако послушно пошла со мной. Потом легла спать и я. Через некоторое время пришел Генри. Я слышала это уже сквозь сон. Он лег рядом и начал гладить меня. Я пробормотала, что очень устала и уже сплю. Генри заворчал, но отодвинулся.

На следующий день мы завтракали поздно. После завтрака поехали в Берлин. Генри то обходил меня на своей машине, то отставал, чтобы затеять гонки. Но я не поддалась на его уловки.

В моем почтовом ящике лежали поздравительные открытки и письмо от Шарлотты Крамер, которая приглашала отпраздновать Новый год у нее.

Вечером мы пошли с Генри ужинать. Мне хотелось поговорить с ним о его жене, но у него не было настроения, а я не настаивала. В конце концов, это его проблема. Я ничем не могу ему помочь.

Утром я пришла в поликлинику рано. Карла рассказывала, как провела праздники, а я делала вид, будто слушаю. В десять часов начался прием.

12

Следующие месяцы прошли без особенных событий. Я работала, возвращалась усталой и дома лишь читала или смотрела телевизор. С Генри мы виделись два-три раза в неделю. Наши отношения стабилизировались, они были удобны и постепенно вошли в привычку. Иногда я не встречалась с Генри целую неделю, меня это вполне устраньало. Мне казалось, что таким образом наша связь избежит будничности, хотя не слишком верилось в это.

В соседнюю квартиру, принадлежавшую раньше фрау Рупрехт, въехал новый жилец. Я видела его редко.

В феврале мне исполнилось сорок лет. Мать приехала навестить меня. Она полдня тряслась в вагоне, чтобы немного побыть со мной. Она подарила мне блузку, и мы пошли в кафе. Мать рассказала, что у сестры с Хиннером летом будет помолвка, если к тому времени уладится дело с разводом. Затея с помолвкой показалась мне нелепой, а впрочем, отнеслась я к ней довольно безразлично. Отец чувствовал себя плохо. В последние годы со здоровьем у него было вообще неважно. Мать спросила, что мне подарил Генри. А он не знает о моем дне рождения, ответила я. Мать поначалу расстроилась, но успокоилась, когда узнала, что мы с ним по-прежнему вместе. Мать просила совета, как ей жить после смерти отца. Возможно, она намекала, что хотела бы переехать ко мне, поэтому я растерялась и ничего не могла сказать. Но мать прикрыла рот рукой и прошептала, что говорить об этом грех. Ведь отец еще жив.

Вечером я проводила мать на вокзал. Я смотрела на нее с перрона. Грустная старая женщина сидела за грязным стеклом и робкой улыбкой просила меня о сочувствии.

Дома я попробовала как-то осмыслить свое сорокалетие. Но в голову ничего толкового не приходило. В сущности, что от этого менялось? Мне хотелось перемен, каких-то новых, больших событий. Только каких?

В марте было введено летнее время. Мы переставили часы на час раньше. Это явилось самым примечательным событием моей жизни за последние месяцы.

Лично для меня вроде бы ничего не изменилось, и все-таки обычный ход времени был нарушен. В надежном, отлаженном механизме произошел сбой. В моей жизни такого быть не могло. Она похожа на размеренное движение маятника стенных часов, что висели у дяди Герхарда. Такое движение бесцельно, здесь не бывает неожиданностей, перемен, переходов с одного времени на другое. Рано или поздно, но маятник остановится. Иных событий не предвидится.

Осенью мы переставим стрелки обратно. Нововведение будет как бы отменено, и регулярность моей жизни восторжествует. То есть осенью все опять вернется на круги своя.

В свободные дни я иногда ездила за город фотографировать, хотя теперь мне все труднее находить интересные мотивы. Появилось такое чувство, будто все уже было. Возможно, меня просто удручают шкафы, забитые фотографиямн. Для моей коллекции безлюдных пейзажей в квартире не хватало места. Следовало бы собраться с духом, просмотреть старые снимки и выкинуть большинство из них. Но на это у меня нету сил. Поэтому я порой возвращалась домой, не сделав ни единого снимка. И всякий раз это казалось мне поражением, хотя и незначительным, но тем более досадным.

Иногда я навещала друзей, о чем потом сожалела. Либо у нас оказывалось маловато общего и разговоры лишь навевали скуку, либо я боялась, что судьба другого человека ляжет бременем и на мои плечи. Меня не интересуют чужие проблемы. У меня есть свои, и они тоже неразрешимы. Они есть у всех, так зачем говорить о них? Знаю, найдется тысяча аргументов, чтобы говорить о проблемах именно поэтому. Но мне разговоры не помогают. Они тяготят меня. Я не желаю быть свалкой для запутанных житейских историй. Во мне нет достаточной сопротивляемости. Я слежу, чтобы беседы с моей приятельницей Анной, которую насилует муж, не затягивались дольше часа, причем устраиваю их обязательно в людном месте, например в кафе. Это заставляет Анну соблюдать сдержанность, не дает ей распускаться и донимать меня жалобами на своего закомплексованного мужа. Я не бывала у нее дома и не собираюсь к ней. (Если, конечно, мое дежурство на «скорой помощи» не выпадет именно на тот день, когда нагромождение мелких гнусностей доведет эту пару до настоящего кризиса, и мне не придется ехать к ним по срочному вызову.)

До сих пор мне удавалось уклоняться от домашних визитов к шефу. Я боюсь попасть впросак. Мне не верится, что его симпатии бескорыстны. Я нутром чую под ними второе дно. Стоит мне позвонить в дверь их квартиры, как уже через час уютное кресло окажется ловушкой чужих проблем, силками, расставленными на меня еще одним беднягой. Жаль, если мое — пусть даже с оговорками — расположение к старику, уважение к нему сменятся всего лишь состраданием. Разумеется, у него есть проблемы, но, надеюсь, мне не доведется узнать про них. У меня полно своих проблем, как у Анны и моих родителей, у Хиннера и сестры. У жены Генри тоже проблемы. (Теперь, когда Генри мертв, ее проблемы не исчезли, а уступили место другим. Но и ее новых проблем я не хочу знать.) Только у бедной фрау Рупрехт больше нет проблем, зато они появились у домоуправа.

Я никогда не обсуждала с Генри его проблемы. На некоторые он намекал, о других я догадывалась сама. Слава богу, удавалось избегать этой темы. Интерес к делам другого всегда ограничивался деликатным вопросом: «Как поживаешь?» Ответ на него обычно соответствовал нашему молчаливому уговору. Нам не приходилось опасаться неприятных сюрпризов друг от друга. Зачем докучать другому своими бедами? Зачем омрачать милое времяпровождение мыслями о неразрешимых проблемах? Вряд ли это действительно обогатит наше общеиие. Словом, у нас все в порядке. Когда ни спроси, у обоих все в порядке. Это служило нам прочной опорой, надежной гаванью в безбрежном море человеческих проблем. «Как поживаешь?»—«Хорошо! Все в порядке!» А если нет, то лучше оставаться одному и орать среди своих четырех стен. Когда бы мы ни встретились, у Генри и у меня все в порядке. Счастливой я себя не считаю, но и несчастной тоже. Я довольна, а это немало. Меня устраивает молчаливый уговор, который делает наши отношения простыми и удобными.

Генри умер восемнадцатого апреля. За день до этого мы виделись с ним. Перед работой я пила у него кофе. А через два дня я узнала, что он умер. Фрау Лубан позвонила мне в дверь и сообщила об этом. Не знаю, откуда она обо всем узнала. Наверное, она и это объяснила, но я забыла или не расслышала. Позвонив, фрау Лубан проговорила с порога:

— У меня плохие известия. Господин Зоммер умер. Я подумала, что нужно сообщить вам о его смерти.

Никогда не забуду ее взгляда, этой смеси сочувствия и жадного любопытства. Она попыталась пройти в комнату, но я помешала. Помешала тем, что осталась в дверях. Я была слишком ошеломлена, чтобы понять смысл ее слов. Фрау Лубан хотела взять меня за руку и отвести в комнату. Каким-то образом мне удалось отнять свою руку. Она еще что-то сказала, чего я опять не поняла. Фрау Лубан спросила, не надо ли мне помочь. Я взглянула на нее и ответила: «Нет». Она не двинулась с места. Тогда я сказала: «Спасибо» — и захлопнула дверь.

Сев в кресло и закурив, я попыталась собраться с мыслями. Мне казалось необходимым принять какое-то решение. Меня ужасало, что я сижу и курю, даже приблизительно не представляя себе, как быть дальше. Сегодня мне самой удивительно, почему я ни на минуту не усомнилась в известии о смерти Генри. Мне даже в голову не пришло перепроверить его. Почему-то это не было для меня неожиданностью. Я ничего не могу объяснить, но это так. Генри умер внезапно, вдруг, скоропостижно. Это было ужасно, но не неожиданно. Не то чтобы я предчувствовала его смерть или опасалась за его жизнь. Я вовсе не была готова к известию о его смерти. И все же оно не застало меня врасплох. Это было странно и непонятно.

Генри убили.

Я позвонила товарищу Генри по работе, господину Кремеру, с которым уже виделась однажды. Тогда я понравилась ему, он даже пробовал со мной флиртовать. Потом я иногда разговаривала с ним по телефону, когда звонила Генри на работу.

Я спросила господина Кремера, на какой день назначены похороны. Он ответил, что не знает, так как полиция еще не разрешает взять тело. Я испугалась. Он спросил: вы слушаете? Я поспешила ответить. Мы договорились встретиться в ресторане после работы.

Войдя в зал, Кремер поискал меня глазами. Его взгляд дважды скользнул по мне, не узнавая. Я помахала ему рукой. Он был бледен и рассеян. (Теперь он не пытался со мной флиртовать.) С его лица не сходила нервная улыбка. Он был смущен, я не могла понять почему. Потом Кремер все мне рассказал. Генри убили на его глазах. Они пошли в пивную. Несколько парней стали смеяться над шляпой Генри. Но Генри и Кремер не обращали на это внимания. Тогда один из парней потянулся за шляпой, Генри удержал ее. Они оба вцепились в шляпу, и Генри пригрозил парню отлупить его. Они вышли из зала. Шляпу Генри отдал Кремеру. Следом двинулись остальные парни, Кремер — за ними. В нескольких шагах от пивной Генри и парень стали друг против друга, остальные окружили их. Генри поднял руки, пританцовывая на месте.

— Когда-то Генри был боксером. Вы знали об этом?

Нет, я не знала.

Генри двигался довольно профессионально, но парни смеялись над ним. Для разминки он несколько раз ударил по воздуху. Потом ударил парень. Генри упал. Рухнул как подкошенный. У парня оказался кастет.

Когда Генри упал, Кремер бросился к нему. Генри лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Над левым виском выступила кровь. Кремер решил, что Генри только потерял сознание. На самом деле он был уже мертв. Ребята стояли вокруг. Вдруг кто-то из них бросился бежать, за ним остальные. Один крикнул Кремеру, чтобы тот держал язык за зубами, не то и ему конец. Из пивной вышли люди и поинтересовались, что случилось. Кремер попросил вызвать врача и полицию. Шляпу он все еще держал в руках. К этому моменту Кремер уже догадался, что Генри убит. После допроса Кремера отпустили домой. На следующее утро полиция доставила его с работы в участок. Тех ребят уже собрали туда для опознания. Парень, ударивший Генри, плакал. Ему было семнадцать лет. Большинство из ребят оказались несовершеннолетними, ни одного старше двадцати. Потом Кремера отпустили. Полицейский, который провожал его, спросил, почему он не вмешался. Кремер ответил, что все произошло слишком быстро. Генри улыбался, собираясь драться с парнем. Из пивной он даже выходил со скучающим видом, а он, Кремер, и не верил всерьез, что будет драка.

— Теперь, конечно, я корю себя,— сказал Кремер.— Но поверьте, я не виноват. Что я мог поделать?

— Да, конечно,— сказала я.

Он посмотрел на меня с надеждой, будто я и впрямь могла снять с него вину. Вину, которую он сам внушил себе и о которой ему теперь трудно будет забыть.

Я молчала, поэтому он начал крутить в руках бокал. Глядя себе на руки, Кремер пробормотал:

— Большое несчастье. Это и для меня большое несчастье.

Я кивнула. О похоронах он еще ничего не знал. Полиция пока не разрешала забрать тело. Это могло затянуться на несколько недель.

Когда мы прощались, Кремер спросил, нельзя ли нам еще раз увидеться. Ведь мы потеряли общего друга. Вид у него был жалкий.

— Нам это не поможет,— мягко ответила я.

И ушла. Я спешила, опасаясь, что Кремер догонит меня. Я так торопилась, что задохнулась. Мне это бегство самой показалось нелепым.

В следующие дни я часто думала о Генри. Мои мысли постоянно возвращались к нему. Я размышляла, каким он был, но воспоминания оставались смутными, расплывчатыми, мысли вязкими, несобранными.

Работала я как прежде, только дома стала задумчивой.

В газетах никаких сообщений о Генри не появилось. Впрочем, я их и не ожидала. Дело закрыли, выяснять было нечего.

Похороны состоялись месяц спустя, в середине мая. У меня не было желания идти на них, но все же я пошла. Я чувствовала себя в последнее время плоховато, подавленно, однако жалела не столько Генри, сколько саму себя. Мне казалось, будто меня бросили, предали. Нужно было приучаться жить совсем одной.

В конце мая в квартиру Генри въехал какой-то старик. У меня было странное чувство, когда впервые после смерти Генри я услышала, как открывают его дверь. Остановившись, я увидела, что дверь распахнулась и из нее вышел пожилой человек.

У нового жильца хронический катар. Когда он проходит по коридору, слышится его сухой, отрывистый кашель. Он дружит с пожилой дамой, живущей на нашем же этаже. Они часто выходят вместе из дома. Наверное, на кладбище. Они всегда берут с собой полиэтиленовые сумки и маленькую лейку.

13

Теперь, спустя полгода после похорон Генри, я уже привыкла жить одна. Дела мои идут хорошо или по крайней мере неплохо. Мне не на что жаловаться. Лет через пять я буду старшим врачом. Шеф полхопочет об этом, он сам намекнул. Когда-нибудь мне все же придется пойти к нему в гости, и, возможно, визит будет приятным. Я испытываю к нему странное, почти непонятное расположение. Многие в клинике шефа терпеть не могут. Его считают догматиком, человеком высокомерным и циничным. Иногда он ведет себя так и по отношению ко мне. По-моему, шефу нравится вызывать к себе неприязнь. Это упрощает ему множество решений. Надеюсь, между нами сохранится необходимая дистанция и он не впадет в сентиментальность, не будет рассказывать мне о своих проблемах. Ничего не хочу о них знать.

Работой я в общем довольна. Хотя она мне не очень по душе. Работа для меня тем утомительнее, чем больше в ней однообразия. Порой мне не хватает в ней трудностей и напряжения, порой удовольствия. Но ближайшие двадцать лет я с ней справлюсь.

Желаний у меня теперь немного, и я знаю, что они неисполнимы. Зато кое-чего я боюсь настолько, что эти страхи могут завладеть мною целиком.

Климакс надеюсь пережить благополучно. Только в жару мне плохо. Она мне отвратительна. Мне уже сейчас знакома эта внутренняя сушь, нарастающая и изматывающая с каждым днем все больше. В такие дни я избегаю людей и с удовольствием вообще спряталась бы от них у себя дома.

Я хотела бы побывать кое-где, только вряд ли удастся. Поехать бы в Рим или Прованс. А еще в Канаду или какую-нибудь центральноафриканскую страну. У меня есть свои представления об этих местах. Наверняка неправильные. Побывав там, я увидела бы совсем другое. И все-таки я не теряю надежды увидеть эти края. Правда, за сорок лет я туда не попала, и сомнительно, чтобы это произошло в ближайшее десятилетие. В старости я вряд ли захочу путешествовать. Это будет мне трудно.

Иногда я подумываю о ребенке. Прежде я хотела родить сама, но каждый раз чего-то пугалась. Теперь порой мне хочется удочерить какую-нибудь сироту. Я пред-

ставляю себе, как переменилась бы от этого моя жизнь, и уверена, что была бы счастлива. Но если настроение у меня не слишком сентиментальное, то я понимаю, что речь тут идет в первую очередь обо мне самой. Ребенок мне нужен для моего же счастья. Для новых надежд, для того, чтобы наполнить жизнь отсутствующим сейчас смыслом. И тогда мое желание не кажется мне добрым. Боюсь, это похоже на принуждение к сожительству. Мне достанет сил прожить и одной. Душевные кризисы мне неведомы. С нервами у меня все в порядке. (В клинике я слыву толстокожей. Сослуживцы, которые не особенно расположены ко мне, даже считают меня пробивной. Если бы я покончила с собой, это было бы для них загадкой.) Не стоит брать ребенка взамен недостающей любви. Пожалуй, в один прекрасный день я заведу себе собаку. Взамен замены.

И все же я знаю, мечта о ребенке еще даст о себе знать. За нею скрывается тоска по возможности отдать себя без остатка другому человеку. По моей утраченной способности к безоговорочной любви. Это тоска по Катарине, по детской любви, по дружбе, на которую способны только дети. Мне теперь не хватает Катарины. Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я видела ее в последний раз. Мне так хочется, чтобы не было этой разлуки. Мы были по-детски жестоки, и наш разрыв не казался нам настолько непоправимым, насколько был на самом деле. Тогда я еще не знала, что больше никогда не смогу полюбить другого человека так безоглядно. Эта потеря причиняет боль. Ни одно из последующих расставаний — ни с Хиннером, ни с другими мужчинами, даже с Генри — не было для меня катастрофой. Вероятно, мое отношение к ним уже предполагало, что когда-либо я могу их потерять. Эта рассудительность делала меня независимой и одинокой. Я стреляный воробей, у меня отличная закалка, я все знаю наперед. Меня ничто не застанет врасплох. Все беды, которые мне предстоят, не перевернут моей жизни. Я к ним готова. У меня в избытке того, что называется жизненным опытом. Я избегаю разочарований. Чутье подсказывает мне, где они меня поджидают. Чутье срабатывает даже там, где беды меня не ждут. Я напрягаю свое чутье до тех пор, пока разочарования не начинают подстерегать меня и тут. Меня искупали в крови дракона, и не было на мне липового листочка, который сделал бы меня уязвимой. Из этой шкуры мне уже не вылезти. В своем непробиваемом панцире я сдохну от тоски по Катарине.

Я хочу опять дружить с Катариной. Хочу сбросить эту шкуру подозрительности, недоверия и страха. Я хочу видеть ее, хочу вернуть Катарину.

Мой панцирь — моя крепость.

Надеюсь, я всегда буду зарабатывать достаточно и мне не придется себя ограничивать. Потребности у меня скромны, но я не хотела бы, чтобы они оставались неудовлетворенными.

Я боюсь случайно убить человека или сделать его калекой. В поликлинике этого страха не бывает, там все поправимо. Страшно задавить человека машиной. Я беспокоюсь не об этом человеке, а о себе самой. Такое событие могло бы слишком изменить мою жизнь. Я этого не хочу.

С недавних пор я стала бояться своих фотографий. Они заполнили все шкафы и полки в квартире. Отовсюду на меня глядят леса, луга, полевые тропинки, мертвые, засохшие деревья. Неодушевленная природа, созданная мной и грозящая погрести меня под собой. Мне даже приходило в голову разложить фотографии по шкафам своего кабинета в поликлинике, но боюсь, их увидит Карла и начнет расспрашивать. Во мне все больше крепнет чувство, что своими маленькими, никчемными снимками я наношу пейзажам раны. Эти фрагменты действительности лишены смысла. Им недостает горизонта, увядания, мимолетности, а значит, и надежды. Однако я не могу остановиться и продолжаю фотографировать. Остановиться страшно. Это занятие многое мне заменяет, помогает справиться с проблемами. Придется и дальше заполнять фотографиями шкафы и картонки. А через двадцать—тридцать лет, когда домоуправ вскроет мою квартиру, у него станет одной проблемой больше. Пусть он сожжет фотографии, мне же они пока нужны.

Через несколько дней после похорон Генри ко мне пришел Кремер. Он принес широкополую шляпу, которую Генри отдал ему перед тем, как был убит. Кремер сказал, что шляпа должна быть скорее у меня, чем у него. Я поблагодарила его. Я не предложила ему ни кофе, ни просто посидеть. Когда он ушел, я выбросила шляпу в мусоропровод. Мне не хотелось оставлять ее ни минуты. Иначе пришлось бы

долго собираться с силами, чтобы выкинуть. Не хватало только старых шляп в этой крохотной квартире.

Летом я вновь поехала к морю. Там я навестила Фреда с Марией, и все было как в прежние годы.

Мне хотелось повидать красивую девушку, которую мы встретили с Генри прошлым летом. Она действительно была очень красивой. Тогда она что-то подарила мне на прощание. Но в этом году я ее не встретила. Ни Фред, ни Мария ее даже не вспомнили. Мне было жаль, что я с ней не увиделась, но не очень. На Катарину она совсем не похожа.

Живу я хорошо. Сегодня позвонила мать, и я пообещала вскоре навестить ее. У меня все прекрасно, сказала я ей.

Характер у меня ровный. Ко мне хорошо относятся на работе. У меня опять есть друг. Я умею взять себя в руки, мне это удается без особенных трудностей. У меня есть свои планы. Работа в поликлинике мне нравится. Сплю я нормально, кошмары меня не мучают. В феврале куплю новую машину. Я выгляжу моложе своих лет. У меня есть парикмахер, к которому не надо записываться заранее, мясник, который рад мне услужить, портниха, чувствующая мой стиль. У меня прекрасный гинеколог, в конце концов мы ведь коллеги. При необходимости меня положат в отличную больницу, направят к лучшим специалистам, мы ведь и тут будем коллегами. Квартирой я довольна. Мой панцирь в порядке. Я здорова. Достигнуто все, чего я могла достичь. У меня нет ни в чем недостатка. Я своего добилась. Живу хорошо.

Конец.

ХЛЕБНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1943 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса (Франция) и Х. Вадера (ФРГ). стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста (США), Г. Айха, Г Грасса (ФРГ), В. Ткачика и М. Штройбеля (ГДР), повести и рассказы Ф. Фюмана, Г. Канта, А. Мецкеса и др. немецких писателей.

Кристоф Хайн и его повесть «Чужой друг»

Произведения Хайна не раз вызывали и продолжают вызывать споры. Но даже и тем, кто его критикует, ясно, что это мастер не просто талантливый, но прежде всего интенсивно мыслящий, обладающий собственным взглядом на вещи.

По сюжетам, времени и месту действия книги Хайна очень разнообразны: мы находим там рассказ о последних днях Жана Расина «Приглашение на утренний королевский прием», и пьесы о Кромвеле и Лассале, и поставленную недавно в Берлине пьесу «Правдивая история А-Кью», вольную сценическую вариацию по мотивам рассказа китайского классика XX века Лу Синя и — не в последнюю очередь — книги о самой недавней действительности ГДР — роман «Конец Хорна» и повесть «Чужой друг».

Все или почти все произведения Хайна отмечены глубокой нравственной тревогой — это главное, что объединяет их. Писатель напряженно размышляет над тем, каковы пути и возможности всесторонней эмансипации человека и что препятствует этой эмансипации. В таком направлении мысли Хайн, разумеется, не одинок. Развитие острой морально-психологической проблематики — характерная черта литератур социалистического мира в наши дни: об этом дружно говорили — привлекая разнообразный материал — советские критики, обсуждавшие современное состояние социалистических литератур накануне XXVII съезда КПСС (материалы этой беседы опубликованы в журнале «Иностранная литература», 1986, № 2—3). Перед писателями ГДР эта проблематика встает в особо резких ракурсах именно потому, что их страна проделала за несколько десятилетий громадный исторический скачок. Прозаики, драматурги, поэты ГДР исследовали в разных аспектах крах фашизма и его последствия, крутые сдвиги в расстановке классовых, политических сил, пути радикального перевоспитания множества людей, чья юность была опоганена и искорежена соучастием в преступной войне. Кристоф Хайн, конечно же, усвоил то, что сделано его предшественниками, и не сомневается в значительности происшедших в стране перемен. Однако он убежден в том, что их не следует абсолютизировать: недопустимо останавливаться на достигнутом. Становление нового социалистического человека — процесс трудный, длительный. Этому процессу можно содействовать только при условии бескомпромиссно трезвого его осмысления.

Критическая, аналитическая направленность, свойственная произведениям Хайна разных лет, его склонность к сопоставлению и взаимодействию рассказа о настоящем с воспоминаниями о прошлом — все это очень отчетливо проявилось в его повести «Чужой друг», получившей в последние годы широкую известность в ГДР и за ее рубежами.

Если в романе «Конец Хорна» действие полицентрично — у каждого из основных персонажей своя сюжетная линия, своя судьба,— то повесть «Чужой друг» написана как бы на едином дыхании, отличается высокой степенью сюжетной и композиционной концентрации. Перед нами развертывается психологический портрет героини, сорокалетней женщины-врача, хроника ее жизни за один год, порой — с заходами в прошлое.

Название повести сразу же сигнализирует: здесь встает острая проблема. Если «чужой», то какой же это друг? Что-то здесь неладно. И именно так — неладно, нерадостно — сложились отношения героини повести, Клаудии, с ее «другом» Генри после их внезапного и в сущности случайного сближения. Они продолжают жить раздельно, в однокомнатных квартирах большого берлинского дома. Их объединяет некий минимум симпатии, взаимное физическое тяготение — не более того. Оба они крайне дорожат своей свободой, ничем не хотят связывать себя. Однако свобода от обязанностей оборачивается отсутствием счастья: того счастья, которое дается глубиной чувства, его прочностью, умением делить горе и радости с любимым человеком.

Постепенно выясняется: Клаудиа не любит и ближайших родных. Отца и мать она навещает изредка, главным образом из чувства долга; к единственной сестре она равнодушна. Она не дружит ни с кем из коллег по работе и вообще ни с кем не дружит. У нее нет интереса ни к политической жизни — в газетах она читает главным образом объявления,— ни к литературе, ни к искусству, ни к медицине как науке. Ее единственное развлечение — фотолюбительство. Но на ее фотографиях нет ни одного человеческого лица. Она предпочитает снимать городские пейзажи, какие-нибудь заброшенные дома, развалины фабрики, уголки старых улиц...

Одна из важнейших перемен, которые победа над фашизмом принесла жителям демократической Германии,— формирование новой интеллигенции. Пали старые кастовые перегородки, прочно отделявшие рабочего или крестьянина от инженера или ученого. Мы помним то чувство радости, с которым герои романа Германа Канта «Актовый зал» — вчерашние слесари или батраки — получали дипломы о высшем образовании. Клаудиа выросла в рабочей семье. Ее родителям в годы гитлеризма и не снилось, что у них вырастет дочь — «фрау доктор», врач столичной поликлиники. Но люди быстро привыкают к хорошему. Клаудиа лет на пятнадцать моложе, чем герои «Актового зала»,— рост интеллигенции, поднявшейся из народных низов, давно уже воспринимается в ГДР как нечто само собой разумеющееся. Клаудиа, интеллигент в первом поколении, живет жизнью гораздо более содержательной, более осмысленной, чем могли жить ее мать или тетки. Однако профессия вра-

ча, столь гуманная, столь нужная людям и уважаемая в народе, вовсе не радует ее. Клаудиа добросовестно прописывает пилюли и микстуры, назначает массаж или внутривенные вливания, но ни один из пациентов не интересует ее как человек. И уже в силу ее полного равнодушия к людям работа в поликлинике превращается в скучную рутину, ничего не дает ни уму, ни сердцу.

В ходе споров о повести «Чужой друг» в критике ГДР поднимался вопрос: видит ли автор в своей героине исключение из общего правила или нечто обычное? Понятно, что весь комплекс проблем и настроений, которые отягощают жизнь Клаудии,— чувство неустроенности, изолированности, усталое безразличие к людям — представлены в повести крупным планом, заостренно. Понятно вместе с тем, что героиня, от лица которой ведется рассказ, замечает в окружающих людях в первую очередь те же черты ущербности, какие свойственны и ей самой. Но так или иначе подобные настроения, подобные черты присущи не одной Клаудии, они в разных формах проявляются у различных людей, населяющих неширокое пространство повести,— от соседок Клаудии по дому до тех подвыпивших юнцов, по вине которых оборвалась жизнь Генри. Художник хочет поставить диагноз социально-психологических недомоганий, которые он находит, конечно же, не только у своей героини. Если бы Клаудиа была фигурой из кунсткамеры, о ней не стоило бы писать повесть.

Современные граждане ГДР свободны от многих забот, от которых страдают миллионы их западных соседей. Никому из них не угрожает безработица или бездомность, им открыты пути к образованию — все это так. Но именно на этой ступени социального развития ГДР вырисовываются контуры тех опасностей, которые порождаются отставанием духовного прогресса от материального. Судьба Клаудии (как, видимо, и судьба архитектора Генри, о котором мы знаем меньше) наглядно свидетельствует, что человек может занимать прочное положение в обществе, пользоваться всеми благами цивилизации, жить в комфортабельной квартире, иметь престижную и хорошо оплачиваемую профессию, быть вполне свободным в своих личных привязанностях (или отсутствии таковых) — и все-таки страдать от некоего смутно осознаваемого неблагополучия. Физическое здоровье, физическая сытость не спасают от душевного голода — порой даже, напротив, делают этот голод более явным. Культура чувств, способность к общению, развитая духовная жизнь — все это витамины, необходимые для счастья. Их остро недостает — и Клаудии, и Генри, и некоторым другим персонажам повести.

Откуда у Клаудии ее бездушие, ее унылое безразличие ко всему и в то же время беспредметная тоска, которая ее гложет? Писатель помогает нам разобраться во всем этом, побуждая свою героиню вспоминать о годах детства и юности. Эти годы приходятся на тот непосредственно послевоенный период, когда в восточной части Германии, а затем в ГДР шла острая ломка — и в общественных отношениях, и в общественном сознании. К благотворным процессам преодоления фашизма примазывались деятели разного склада — порой неумелые, а порой и злонамеренные: об этом К. Хайн подробно говорит в романе «Конец Хорна», но отчасти и в «Чужом друге».

Школьница Клаудиа несколько раз переживает своего рода душевный шок. Ей приходится, по настоянию родителей и учителей, порвать связь с ближайшей, преданно любимой подругой Катариной, девочкой из религиозной семьи, вокруг которой, во время неуклюже проводимой «атеистической кампании», искусственно создается атмосфера травли, побуждающая всю семью уехать на Запад. Еще более тяжелый удар для Клаудии — разочарование в близком родственнике, веселом и добродушном «дяде Герхарде», который, как выясняется, в годы фашизма поддался нажиму гестапо, выдал несколько бывших социал-демократов и теперь приговорен к тюремному заключению как соучастник нацистских преступлений. Смутное, ранящее воспоминание остается у девочки после событий 17 июня 1953 года, когда силы, враждебные социализму, попытались спровоцировать беспорядки в разных городах ГДР (эти события отражены в романе Анны Зегерс «Доверие», в рассказе Стефана Хермлина «Комендантша»). В маленьком городе, где растет Клаудиа, никаких особых беспорядков не происходит — арестовывают лишь жену сапожника, будто бы причастную к незаконным действиям: вокруг происшествий 17 июня создается своего рода зона молчания, девочке внушают, что об этом нельзя говорить, нельзя спрашивать... Другая зона молчания — вокруг всего, что связано с любовью, замужеством, сексом: Клаудиа слышит от матери лишь устрашающие предостережения, которые надолго порождают у подрастающей девушки болезненную мнительность и недоверие ко всем мужчинам. Мрачное воспоминание остается у нее и от школьных уроков гимнастики, во время которых учитель награждает неловких или физически некрепких учениц оскорбительными кличками.

Словом, у Клаудии нет оснований сожалеть о том, что пора детства безвозвратно прошла. Но по мере того, как разматывается клубок ее воспоминаний, для нас становится очевидным, что в основе ее характера — не черствость, не холодность, а скорей повышенная ранимость. Травмы, перенесенные в детстве, обостряют эту ранимость. И, становясь взрослой, Клаудиа сама облекает себя в панцирь равнодушия. В интимных размышлениях она сравнивает себя с персонажем из «Нибелунгов», который выкупался в крови дракона, чтобы стать неуязвимым (в западногерманском издании повесть так и называется — «Кровь дракона»).

Но, оказывается, и кровь дракона не помогает. В глубине души у Клаудии остается участок, чувствительный к боли. Кристоф Хайн очень искусно, подтекстом, передает эту невысказанную боль, которая иногда обостряется, вызывает приступы трудно переносимой тоски. И в такие минуты вспоминается Катарина — единственный человек, к которому Клаудиа была глубоко, безоглядно привязана.

Сколь бы ни была Клаудиа привержена к сложившимся у нее представлениям о женской эмансипации, о полной личной свободе — ей иногда мучительно не хватает именно несвободы, возможности кого-то любить, о ком-то заботиться, ради кого-то приносить жертвы. Ей втайне хочется иметь не просто приходящего «друга», или, как говорят на Западе, «партнера», а настоящую семью, мужа, детей. Она подумывает о том, не удочерить ли девочку-сироту — или, может быть, хотя бы завести собаку, как «замену замены»? Ей остро необходимо, чтобы рядом было хоть одно живое существо, действительно дорогое, действительно близкое. После смерти Генри в ее жизни появился другой мужчина, но, видимо, и он тоже — чужой.

Именно на последних страницах повести, там, где обнаруживается самое затаенное в жизни Клаудии, ее приступы душевной боли, ее неутоленные желания,— раскрывается глубина авторского замысла. Кристоф Хайн имел в виду показать нечто гораздо более значительное, типическое, нежели единичный социально-патологический казус. Клаудиа — как мы постепенно убеждались на протяжении всей ее исповеди — не моральный урод, не редкостный феномен. Те черты нравственной деформации, которые мы в ней находим, свойственны, как уже было сказано выше, не ей одной. И черты эти — не врожденные, а приобретенные, то есть доступные осознанию.

В Клаудии есть то, что предохраняет ее от полного очерствения и дегуманизации: ее способность к самоанализу, до известной степени и к самокритике. Именно это и делает ее достойной внимания автора — и читателя.

Даже в финале, когда Клаудиа вроде бы успокаивается, или, вернее, пытается успокоить себя хвастливым перечислением всего, чего она достигла в жизни — сюда входит и хорошая квартира, и перспектива получить должность старшего врача, и знакомый мясник, который всегда «рад услужить», и другие приметы житейского преуспеяния,— мы чувствуем подтекст неуверенности. Он подчеркивается последним словом, которое напечатано с красной строки: «Конец». Да, если бы Клаудиа окончательно, навсегда впала бы в непрошибаемое самодовольство — это означало бы действительный конец, духовную смерть. И даже, можно сказать, гражданскую смерть: социалистическому обществу явно не нужны потребители, упершиеся носом в кормушку,— и в том случае, если у них в кармане имеется диплом о высшем образовании. Однако в данном случае читатель вправе предполагать, что до конца еще далеко и что дальнейшая судьба сорокалетней женщины может пойти непредвиденными путями. До тех пор пока она сохраняет драгоценную способность к душевной боли, для нее не исключена и потенциальная возможность выхода из тупика.

В ходе обсуждения повести «Чужой друг» в печати ГДР не раз ставился вопрос: как выражена здесь позиция автора? Для читателя мало-мальски проницательного ясно, что писатель ни в коей мере не имел в виду дать полную картину жизни своей республики и не ставил перед собой задачу противопоставить Клаудии, Генри и другим персонажам повести ярко положительные фигуры, могущие стать примером для подражания. Он сам говорил в интервью, что не стремился предписывать своим читателям какие-либо рецепты — как им строить свою жизнь, как им вести себя. Важнее для него другое: пробудить, стимулировать в читателях способность самостоятельного критического осмысления тех больших вопросов, которые поставлены самим ходом действия повести.

Именно в обществе, где созрели предпосылки для развития духовно полноценной, активной, всесторонне развитой личности, возрастает нравственная требовательность, обращенная к человеку: об этом говорили литературоведы и критики ГДР в ходе дискуссии о современном состоянии литературы республики. В этой связи не раз шла речь и о повести Кристофа Хайна «Чужой друг». Указывалось, что она рассчитана на серьезное, вдумчивое чтение. Критическое отношение автора к персонажам, как и внутренний драматизм судьбы Клаудии, не декларируется «в лоб», но выражено самим ходом действия достаточно ясно. Известный литературовед Клаус Ярмац сопоставил в этом смысле повесть Хайна с повестями Юрия Трифонова. И у того и у другого автора критика действующих лиц осуществляется без применения сатирических средств, но она — налицо. Глубинным исследованием современников писатель приглашает читателей заглянуть в самих себя, «проверить собственную позицию в свете великих идеалов»[1]. В богатую палитру художественной прозы ГДР Кристоф Хайн внес новые краски и принял участие в плодотворных поисках, направленных на повышение идейного, нравственного потенциала современной социалистической литературы.

Т. МОТЫЛЕВА

■

[1] «Веймарер бейтреге», 1984, № 10, с. 1606.

РОБЕРТ БЛАЙ

Из книги «Любовь к женщине в двух мирах» (1985)

Перевод с английского МИХАИЛА ДУДИНА

Кто чего хочет

Доска плывет по реке.
Доска ничего не хочет.
Но ее выталкивает теченье
И несет на глубину.

А слон, что ушел высоко
В горы, хочет трубить
Так, чтоб его предсмертный крик
Услышали звезды.

Не знающая сна цапля,
На заре расхаживающая в камышах,
Хочет, чтобы бог Луны и Солнца
Видел ее длинную шею.

Скажи, чего ты хочешь.
Я хочу быть тем мужчиной,
Который будет любить тебя,
Когда волосы твои побелеют.

Художник, которому пятьдесят

На верхушке пихты воронье гнездо.
Птицы прыгают на оснеженных ветках,
Негромко крича. Снег падает наземь.
Мыши бегут, волоча свои хвостики по свежему снегу.

© 1985, by Robert Bly

РОБЕРТ БЛАЙ — ROBERT BLY (род. в 1926 г.)

Американский поэт. Автор более десяти сборников стихов, в том числе «Молчание снежных полей» («Silence in the Snowy Fields», 1962), «Фигура в потоке света» («The Light Around the Body», 1967), «Во сне мы тянемся друг к другу руками» («Sleepers Joining Hands», 1973), «Это дерево будет расти здесь и через тысячу лет» («This Tree Will Be Here for a Thousand Years», 1978) и др. Стихи Р. Блая публиковались в «Иностранной литературе» (1984, № 10).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Любовь к женщине в двух мирах» («Loving a Woman in Two Worlds». New York, The Dial Press. Doubleday & Company Inc. 1985).

Идет год за годом. Художник работает
Рано и поздно, изучая сделанное до него.
Что это ему дает? Когда-нибудь ему приснятся
Оленьи рога, оставшиеся в снегу.

Стихи о возвращении

Лодку вытаскивают на ночь в покосившийся сарай
на берегу.
Козы возвращаются, когда фермер зовет их,
в хлев поздним вечером.
Братья, работающие на разных фермах,
идут в сумерках домой
И спят вдвоем в чердачной каморке
под покатой крышей.
И олениха возвращается, отыскивая дорогу через лес,
на свою курчавую лужайку.

Вечером мужчина идет к автобусу — встретить женщину,
которую любит,—
Он не видел ее целый день и, горя нетерпением,
ведет домой.
Так все, что подымалось в воздух и что уходило
далеко по земле,
Приводят домой, впускают в дом и в сердце,
где тоже есть приют.
И горная гагара возвращается и засыпает
на горном озере.

Ночные ветры

Ночные ветры колышут сирень у брошенного
деревянного сарая.
Я — один; деревья — темны; время героев
прошло.
Ночные ветры гонят меня из дому, вытесняют
из памяти день.
Я плыву по течению, тихий и безвольный,
как сонный поплавок.

После полудня, лежа на холме поцелуев
и страсти,
Мы чувствуем ветры вокруг нас, под нами и над нами.
Они держат нас там, где нам хочется быть и где теперь я живу,
Окруженный их порывами, словно остров
среди туманных вод.

Я колышусь, как ветви, я не управляю
своими движениями.
Я верен, как муравей всем своим субтильным
тельцем.
Что мне сейчас герои? Что мне сам Геркулес?
Я останусь здесь; ты найдешь меня там,
где оставила.

Условия

То, что мы любили однажды, остается с нами навсегда.
Навсегда! Навсегда!
И вы со мной вместе в далеком прошлом,
Злаки Египта...
Я был тогда черной курицей!
Вы — зернами пшеницы,
Которые я требовал для себя,
Прежде чем согласился родиться.

Разговор

Я сидел под кленами, читая книгу,
Которую держал на коленях, один, все утро.
Ты — кого я любил десять лет —
Прошла мимо, прошла и пропала.

Вот и все. Когда я снова принялся
Читать, чего-то во мне недоставало.
Мое мужское «я»
Стало жить само собой и коснулось книги.

Наверное, некоторые слова покрыты шерстью.
Или безмолвные вещи могут обмениваться мыслями,
Или, быть может, я уже не чувствую
Ни усталости, ни горя, ни одиночества.

Мы знаем, это правда: лапка пчелы
Знает, где пыльца и ее мельчайшие частицы,
Как знают женщины в замке
О всаднике, заблудившемся в лесу.

Письмо к ней

Я сделал то, что сделал.
Я знал, что люблю тебя,
И сказал тебе это.
А потом лгал тебе
Часто, чтобы ты любила меня,
Скрывал правду,
Хитрил и лгал.

Раз уж люди
Делают то, что делают,
Перед ними вырастают
Островерхие замки и видятся
Фонари высоко над
Тюленьим лежбищем,
Где они любятся ночью.

Ураган\смывает
Улитку, все еще
Цепляющуюся за дерево.
Ночью о-
    поссум видит золотого
Льва вверх
Ногами во сне.

Мы делаем то, что делаем,
Но это не приносит радости. Солнце
Всходит, что-
    то мощное движет им
По небосводу, пока
Оно не рассыплет свои искры
На северные лесные чащобы.

Нет горной вершины
без холмистых предгорий

Мужчина и женщина остановились под деревом.
Сдержанные друг с другом, они стоят около
                лошади.
Тихое бормотание — инстинкт шепчется
С инстинктом — то слышно, то неслышно.
Каноэ устремляется вниз по узкой протоке.
Верхолаз поднимается к вершине со скалы на скалу.
Кони с развевающимися гривами исчезают в буре.

Несколько часов одиночества

Сегодня я провел несколько часов в одиночестве.
Без родных
Без отечества... Я был полосой света,
Пересекшей небо,
Строчкой следов, оставленных в снегу полевой мышью,
Существом, у которого
Простые желания и одна,
Много две, потребности... я был как почерневший
От дождя сарай.

Что-то влетело в открытое окно.
Я чувствую это и слегка отклоняюсь
Влево. А потом я понимаю,
Как прекрасны эти тени
В камышах у озера
И под письменным столом, за которым сижу
И пишу эти строки:
«Отшельника нет,
Он в горах собирает папоротник».

Это говорит посетителю слуга отшельника,
Заглядывая в комнату. А я понимаю,
Что люблю, что простая радость,
Какую знает полевая мышь, пришла ко мне.

Я уже не
Жертвенный камень,
На котором сгорело прошлое.
«Там, наверху, все закрыто туманом.
Я не знаю, где он. По-моему, вы его не найдете».

Горная трава

На горную траву льется дождь; весь день мы вместе.
Фуксия тянет свои усики высоко вверх.
Ты нужна мне, чтобы держать тебя, как держит
дождь горная трава.
Влага ложится на влагу; дождь на мокрую землю.
Я — путник в горах, вновь и вновь повторяющий свой призыв.

Две реки

Внутри нас есть река, рожденная холодом,
Она спешит влиться в Бухту Света,
И есть другая река, похожая на Миссури,
Несущая Землю, и радости земные, и все земное.

Пойдем со мной

Мы идем между ив по ивовой роще.
Раковина каури смотрит на нас розовым зевом.
Ивы склоняют вершины и вновь поднимают их.
Раковина возвращается в темные воды.

Пойдем со мною, побродим одни
Вдалеке от домов и людных мест.
Я люблю ходить с тобою вместе
В тех долинах, где никто не мнит себя королем.

Что нас напугало

Капли дождя падают на черные поля.
Листья, упавшие на шоссе, лежат там,
Куда упали, неподвластные ветру.
Сила, неведомая нам, заговорила с нами.

Всю ночь напролет шел дождь. Мы спустились
Вчера в глубокую,
Глубочайшую пещеру,
И это — когда мы проснулись и лица были в каплях
От ночного дождя — теперь нас немного пугает.

С гравиевых дорожек поднимается пар.
Дождевая вода скапливается под сараями.
Разные воды медленно стекаются в лес.
Все молчит при свете луны, ни начала нет, ни конца.

Двое на заре

Солнце апельсиновое и розовое
Освещает покровы и облака.
Ее голова лежит у него на коленях.
А его рука обвивается вокруг
Ее головы.
Запах свечей
Плывет по комнате.

Он говорит: «Наша река течет
По черному илистому дну.
Мы идем по дну?
Мы под водой?»
«Мы под океаном».
«Что ж,— говорит он,— океан
Та же медленная река».

Рука его крепка.
Бесстрашием налито
Все ее тело.
Мужчина сливается с ней
В соленой морской пучине,
Где пасутся стада
Под водой.

■

ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1916 г.)

Советский поэт, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Автор многих книг стихов, среди них: «Переправа» (1943), «Дорога гвардии» (1944), «Мосты. Стихи из Европы» (1958), «Время» (1974), «Дерево для аиста» (1980), «Окно» (1981), «Три круга» (1984) и другие. Перу М. Дудина принадлежит также книга переводов «Все вместе» (1980). В 1976 г. вышло собрание сочинений в трех томах.

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА

Америка о'кей

РОМАН

Перевод с итальянского
Е. ДМИТРИЕВОЙ и Е. СОЛОНОВИЧА

Законы жанра и действительность

В интеллектуалистской романистике XX века давно утвердился жанр романа-притчи, романа-параболы, романа-гротеска. Характерными особенностями этого жанра является описание вымышленного, несуществующего мира, в котором действуют свои законы, а действия героев по-своему логичны, а потому и интересны. Мир этот — не пустая игра писательского воображения. Конструируя искусственные обстоятельства, романист чаще всего ставит перед собой задачу вычленить какую-либо особую — философскую, социальную, психологическую — проблему, поместить ее в стерильно-чистую пробирку литературного опыта, проследить ее эволюцию в условиях умозрительного эксперимента. Так появились на свет романы К. Чапека, О. Хаксли, У. Голдинга, Ф. Кафки, в которых правдоподобие деталей включено в прихотливую ткань житейски-невероятных или сказочно-фантастических ситуаций. Теми же свойствами отличались драматургия и романистика Ж. П. Сартра, А. Камю, Д. Буццати, Ж. Ануя и др.

Но если в целом для романа-притчи была характерна тенденция к созданию вневременных ситуаций, противопоставление реальности «теоретической» реальности «эмпирической», то за последние десятилетия со все большей силой в европейской литературе стала утверждаться новая разновидность этого жанра — так называемый «роман о будущем». Футурологическому роману свойственны все характерные черты интеллектуализма, породившего роман-притчу,— умозрительные поиски ответа на вычлененную проблему, сведение ее к схеме или символу, гиперболизация и доведение до абсурда тех или иных ситуаций. Вместе с тем в «романе о будущем» все явственнее стала отмечаться одна особенность, не столь заметная в общем потоке, от которого ответвляется это течение. Речь идет о все большем вторжении действительности в вымысел, реальности в ирреальность, настоящего в будущее.

Известно, что литературные, театральные, кинематографические произведения, посвященные прошлому или будущему, не терпят «анахронизмов». Вспомним, сколько шума наделали в свое время мелькнувшие на руке «древнеримского» воина ручные часы в фильме «Клеопатра». Столь же немыслимо описание в романе о будущем, скажем, последней модели автомобиля «ФИАТ» или магнитофона «Филипс». Но странное дело: если мы обратимся к ряду литературных «прозрений» будущего, появившихся за последние десятилетия на Западе, то нас постоянно будет преследовать мысль, что многое из описанного мы уже читали вчера или сегодня в лондонском «Таймсе» или «Морнинг стар», во французском «Пари-матч», или «Юманите», или в итальянском «Эспрессо», или «Ринашите». Из этих романов чудом исчезает и разряженная атмосфера вымышленного мира, и холодок отрешенного взгляда на вещи, и зыбкость и призрачность происходящего. Чтобы не быть голословным, вспомним хотя бы о публиковавшихся в журнале «Иностранная литература» произведениях таких авторов, как Кнут Фалдбаккен или Рене-Виктор Пий. «Страна заката» первого

© 1984. Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani, Sonzogno, Etas, S.p.A.

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА — GIUSEPPE D'AGATA (род. в 1927 г.)

Итальянский писатель. Автор книги «Армия Сципиона» («L'esercito di Scipione», 1960), посвященной движению Сопротивления, за которую был удостоен премии Виареджо, романа о Леонардо да Винчи «Примат тела» («Primo il corpo», 1971), повестей, пьес и сборников рассказов. Советским читателям знаком по вышедшим в русском переводе романам «Дети Гиппократа», «Доктор», повести «Четверо повешенных на пьяцца дель Пополо» («ИЛ», 1976, № 11), а также рассказам, публиковавшимся в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Роман «Америка о'кей» («America oh kei») вышел в Милане. Печатается в журнальном варианте.

по своему существу и натуре весьма близка «Обличителю» второго. Главное, что их роднит,— это решительное вторжение действительности в заданную, «сконструированную» схему романа. Парадоксальность, доведение до гротеска описанных в них ситуаций прямо перекликаются с ситуациями реальными, свежими, оставившими глубокий след в жизни наших современников. Итак, не зябкий холод спекулятивных размышлений и туманность иносказаний, а терпкий привкус действительности и определенность адресата — вот что характеризует современный прогрессивный «роман о будущем».

К числу подобных литературных созданий относится и сатирический роман итальянского писателя Д. Д'Агата «Америка о'кей». В его основу положен гипотетический мир будущего. В соответствии с законами романа-притчи писатель не стремится дать ответ абсолютно на все вопросы, которые в будущем, несомненно, не обойти человечеству. Его интересует в основном одна проблема — что стало бы с миром частного предпринимательства, если бы он был целиком предоставлен самому себе. В этой связи автор создает на страницах своего романа своеобразные «тепличные» условия: миру капитализма как бы дано беспрепятственно расти, опираясь лишь на свои внутренние законы, на логику собственного развития. Расти, словно говорит автор, и покажи, на что ты способен! Вот почему за скобками оставлена в романе реальность мира социализма, о котором лишь глухо говорится, что представляющая его великая держава «существует по сей день, такая же сильная, как раньше, и имеет колоссальную сферу влияния — полмира». Но в романе мир капитализма ее игнорирует, делает вид, что ее попросту нет. Однако автору этого мало. Чтобы решить поставленную перед собой задачу, ему необходимо убрать и некоторые другие «помехи». Он, например, сбрасывает со счетов проблему классовой борьбы или угрозу гибели человечества в результате безрассудной политики империализма. Автор, конечно, не настолько наивен, чтобы полагать, что «большой взрыв», от которого в романе погибает классический капитализм и утверждается новое «посткапиталистическое» общество, может столь безобидно кончиться для человечества. Нет, это не промах, не оплошность автора, ибо он поставил себе целью рассмотреть под увеличительным стеклом последствия нынешнего состояния современного западного общества так, как если бы оно находилось в вакууме или специально созданной резервации, не доступной воздействию посторонних сил и влияний.

И действительно, центральное место в книге занимает описание цитадели капиталистического общества — «великой Страны», в котором читатель сразу же узнает Соединенные Штаты Америки. Здесь по-прежнему действуют законы капиталистической экономики, то есть, как пишет Д'Агата, экономики, «следующей примитивным, стихийным законам, основанным на агрессивности и природном эгоизме человека». Остановимся несколько на этом утверждении. Капитализм, как известно, порождается не низменной природой человека, а частной собственностью на средства производства и эксплуатацией наемного труда капиталом. Что это? Забвение автором-коммунистом принципиальных положений марксизма? Вряд ли. Перед нами не трактат по политэкономии капитализма, а художественное произведение. Вспомним также о той особенности романа-притчи, которая состоит в том, что в центре его — ограниченный круг вопросов, на которые автор так или иначе стремится ответить. Пожалуй, ключом к отысканию главной проблемы, которая занимает автора, может служить то место в рассуждениях папы Эдуарда, в котором он говорит, что после «большого взрыва» производство «стало набирать темпы, удовлетворяя спрос, рождая потребности и гарантируя работу для всех». И вот тут, увлекшись патетикой своей речи, папа изрекает, что «производство не терпит удовлетворенного спроса, что оно теряет смысл, если падает потребление. Слабость старой промышленной системы состояла в том, что ей не удавалось избежать периодов спада и что она делала ставку исключительно на рекламу». Главная проблема для папы Эдуарда (да и всего романа) — это проблема равновесия между производством и потреблением.

С жесткой логикой Д'Агата показывает, что капитализм не в силах создать гармоническое «общество всеобщего благоденствия», что потребление, поставленное на службу увеличения прибыли, перерастает в уничтожение плодов человеческого труда, символом которого выступает в романе вселенская свалка. Ассоциативный ход мысли писателя условно можно представить себе так: предприниматель заинтересован в быстром износе или потреблении производимых товаров — ведь чем быстрее изнашивается или потребляется производимый товар, тем быстрее возникает спрос на новый, а значит, тем больше растут барыши. Эта заинтересованность прослеживается уже в современной капиталистической действительности. А раз так, рассуждает автор, то в перспективе капиталистический мир ожидает абсурдная ситуация — потребление не ради потребления, а исключительно для производства прибыли. Чем скорее товар будет отправлен на свалку, тем лучше для капиталиста. Так в романе появляется иррациональный мир потребления без потребления, абсурдная формула: производство — свалка. Главный герой романа Ричард выбрасывает сорочки, не распечатав целлофановую упаковку и не разглядев, какого они цвета. На свалку в романе идет все — телевизоры, холодильники, одежда, продукты питания. Все это, конечно, гротеск, кошмарный нонсенс, но их корни — в современной действительности.

Антигуманный, паразитический характер частнособственнического метода присвоения в условиях капиталистического производства приводит и к ряду других ка-

тастрофических для людского сообщества последствий, которые ярко живописует в романе автор. Один из результатов безудержной погони за материальными благами — рост бездуховности, оскудение мысли и самого человеческого языка. И здесь Д'Агата обеими ногами стоит на почве реальностей окружающего его мира. Не так давно итальянский иллюстрированный журнал «Панорама» выступил в защиту языка Данте и Петрарки, искажаемого и доводимого до крайнего оскудения ростом унификации и стандартизации во всем обществе. «Разговорный язык молодежи,— писал Маурицио Боно,— все более унифицируется: бесконечные повторы, лишенные всякого смысла определения, рыхлые, наспех сколоченные абзацы, изобилие ничего не говорящих междометий и союзов». Как тут не вспомнить мычание папы Эдуарда, односложные повизгивания Ричарда или шлягерные напевки его жены Елизаветы!

Итак, идейный замысел «Америка о'кей» состоит в том, чтобы показать в чистом виде доведенные до логического конца последствия экономического развития капитализма, приобретающего все более уродливые формы по мере убыстряющегося развития его производственных структур. Вместе с тем, как замечал итальянский критик Франко Скалин, «этот роман — прежде всего быстрое, непринужденное повествование, искрящееся живым юмором. Это игра, насмешливая и в то же время изысканная...»

Изысканная, добавим мы, и во многом интеллектуалистская, рассчитанная на эрудированного читателя. Как и в классической притче, действующие лица в романе Д'Агаты не наделены развернутыми характеристиками, они во многом символы, реминисценции, слепки с других известных персонажей. Так, кардиналы Иоанн, Матфей, Лука — родственники библейских евангелистов, поскольку они являются верными адептами новой религии — религии отказа и уничтожения материальных ценностей ради увеличения прибылей паразитического класса. Мария — символ богородицы, но истолкованный в насмешливом, бурлескном тоне. Мария — европейка и призвана дать жизнь новому поколению жителей старого континента, согласному мириться с культом вещизма, навязываемого Америкой. Порой писатель идет от противного: так Брут оказывается «революционером», а Гораций — предателем и мерзавцем. Прием литературного параллелизма наиболее последовательно проводится писателем в образе главного героя романа — бастарде Ричарде. Как и шекспировский персонаж, он аморален, циничен и жесток. Но если его прототип — гениальный злодей, то Рикки фарсовый ублюдок, шагающий по трупам с легкостью водевильного мерзавца.

Игровая, сардоническая тональность романа приводит порой то к слишком облегченным решениям, то к излишне шаржированным пессимистическим выводам. В качестве такого облегченного решения в романе можно, например, указать на проблему войны как неизбежного средства решения экономических трудностей капитализма. Описание будущей войны, в которой Америка использует не ядерное оружие, а придуманные писателем бомбы, уничтожающие не людей, а вещи ради открытия новых рынков сбыта, конечно, соответствует главной идейной установке автора — показать уродливость и антигуманность капиталистического способа производства,— но далеко не исчерпывает эту волнующую ныне все человечество, поистине трагическую проблему. Страницы книги, на которых повествуется о том, что европейцы «не заметили, как их завоевали», относятся, пожалуй, к наименее убедительным местам, даже если их рассматривать сквозь призму того особого жанра, в котором написан роман. И наоборот, доведение картины будущего земного шара (а в финале речь идет именно о всей планете) до апокалипсического зрелища в виде нагромождения экскрементов грешит чрезмерным пессимизмом, хотя и является логическим следствием притчевой концепции автора и его стремления вычленить капитализм как явление из общего контекста сложной и многообразной действительности. Но в этом вина не одного автора: реальность плюс фантазия, подкрепленная элементарной логикой, все чаще толкает писателей на Западе к сгущению красок. Портрет будущего мира заметно теряет в их глазах светлые краски, гамма темнеет, уступая серым, коричневым, черным тонам. Будущее человеческой цивилизации не радует их, а скорее пугает.

Но «сочинитель притч,— как говорил замечательный мастер этого жанра У. Голдинг,— это и моралист. В любом его рассказе заключен урок человечности... Искусство создателя притч — в уроке нравственности».

Урок нравственности, который преподает книга Д'Агаты,— это неприятие мира погони за прибылью, отчуждения и одичания человеческой личности, мира милитаризма и всеобщего разрушения.

Г. СМИРНОВ

1

У-ууу.

Я говорю «у» и пишу «скука».

Двадцать маленьких телеэкранов, позволяющих мне — эхехе — подсматривать, что происходит в двадцати местах (уголках) этого дворца — огромного (громадного) папского дворца,— нагоняют скуку.

Тоску.

Тоска звучит лучше (солиднее). Она более подходит (приличествует), более созвучна герою. Я имею в виду себя.

Taedium vitae[1] — это латынь. О, самая настоящая, с гарантией!

Люди, для чего подсматривать за человеком, когда он наедине с самим собой, ка-

---

[1] Жизненная тоска *(лат.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*.

кой в этом смысл (смак), если его поведение не отличается от поступков (действий), которые он совершает при всем честном народе?

Личная (интимная) жизнь ни одного из тех, за кем я наблюдаю, за кем подсматриваю (шпионю) посредством скрытых телекамер, не представляет интереса. Полное отсутствие материала для шантажа с моей стороны.

Помимо ковыряния в носу и плевков на каждом шагу, они не делают ничего, что выходило бы за рамки общепринятых норм поведения.

Они всегда держатся в рамках.

Мне нравится писать. Когда я пишу, я напрягаюсь, я устаю. Прихожу в возбуждение.

Письмо у нас фактически исчезло.

Если б не я, письменность вообще бы уже умерла. Потерпите. Придет время — и вы узнаете, для чего я пишу эти страницы. Пишу? У, я их говорю. Изрекаю.

Почти никто не умеет читать. Арифметические и алгебраические знаки не в счет. В них все хорошо разбираются. Прилично разбираются.

Эхехе. Интересно, каким образом пишущий избавляется от скуки — уж не тем ли, что перекладывает ее на читающего?

У, восклицаниями можно выразить все. Восклицания — соль языка.

Если вы этого не знали, попробуйте, вы тоже научитесь говорить, пользуясь лишь э, а, о, у, и. С целой кучей комбинаций, разумеется. Вот увидите, вы сможете прекрасно объясняться. Чем дальше, тем лучше.

Долой грамматические путы (непреложные законы)! Язык восклицаний — самый красноречивый! Самый передовой. Универсальный. Он возвращается не просто к музыке, а к звуку в его первозданной чистоте.

Меж тем как здесь, в трусливой столице, до сих пор еще говорят на старом языке (слава богу, с трудом и все реже и реже),— на бескрайних просторах этой великой Страны люди разговаривают так:

— Э!
— А!
— У!
— И!
— О!

Прибавьте жестикуляцию и мимику — знаки, по праву заменяющие любые слова, и вот вам диалог:

— Слушай, сын.
— Слушаю тебя, отец.
— Я тебе говорил, надо сеять кукурузу.
— Я забыл.
— Какой ты у меня глупый, сын.

Или:

— Муж, у нас будет еще один ребенок.
— Отличная новость, жена.
— Тебе придется больше работать.
— Пустяки.
— Ты лучше всех мужей на свете.

Разве не удивительно?

Я хочу вам сказать (поведать), почему поздно начал говорить. Это я нарочно.

Обучение родному языку сводится здесь к двум сотням необходимых слов. Необходимыми они считаются по инерции (на самом деле достаточно гораздо меньшего количества). Я тоже их выучил.

В детстве как все. Только я притворился, будто их не знаю,— потом скажу почему, да вы и без меня поймете, не такие уж вы дураки,— а сам решил выучить еще двести, выискивая там и сям (в приключенческих книжках — книжках, что были в ходу раньше, до того, как настала послеисторическая эра), затем еще двести, разумеется — с отвращением. Это потребовало от меня зверского упорства. Дьявольского.

И дальше — вплоть до трудных слов, редких, вроде тех (эх!), которые я с удовольствием произношу сейчас. Которые, возможно, никто не понимает. Даже вы, друзья. Если я могу вас так называть — ну хотя бы потому, что эдак принято в письменной речи, на самом деле у меня нет друзей. Я не хочу их иметь.

Не хочу в данную минуту, поскольку я голый.

Красавчик Иоанн, аббат Бостонский, в данную минуту — ух ты! — тоже голый. Я его вижу — он лежит в ванне.

Он голый потому (по той причине), что купается, а я голый потому, что голое тело, даже мое собственное, действует на меня возбуждающе. И еще я нагишом в пику тем, что наверняка принялись бы меня стыдить («Ричард, ты скотина, грязная свинья»), если б застали в таком виде.

Но никто — о! — меня не найдет.

Эта каморка с двадцатью телеэкранами — потайная, она спрятана в бесконечных (бесчисленных) складках дворцовых коридоров и лестничных пролетов.

Эхехе. Бьюсь об заклад, вы уже понимаете, что я имею в виду, когда говорю «эхехе». Вам уже известна разница между эхехе и э-хе-хе.

Я сам сконструировал внутреннюю телевизионную сеть.

Воспользовавшись учебником электроники, который уже не помню, где и откопал.

Доброй старой электроники, давно забытой. Насколько я знаю, электронную технологию, прежде всего микроэлектронику, навязали всему миру японцы.

Конечно, до того, как они исчезли, поглощенные морем вместе со своей скудной землей,— кажется, это вулканы сыграли с ними злую шутку.

Или война. Между ними и нами. Считанные секунды. Давным-давно.

Невесть когда, люди.

Раньше для измерения хода (течения) макроскопического времени существовали календари.

Месяцы или луны.

Годы.

Века.

Помимо двух нынешних времен года имелись еще два. Но пользы (проку) от них было немного, и их включили в два основных времени года. Теплое и холодное.

Посмотрим: Иоанн моется. Во всей курии он единственный, кто это делает. Я спрашиваю себя, не выходит ли это за рамки.

По-моему, выходит.

Но Иоанна шантажом не возьмешь.

Грязь — правило, однако нет закона, который запрещал бы чистоту тела.

Рассуждая на эту тему, у, можно представить чистоту как реставрацию, как средство сохранения. Одним словом, как форму

экономии. Что является несомненным злом с точки зрения нашей религии.

Религии, имя которой — религия отказа.

О ней я скажу (поведаю вам) позже.

Что касается Иоанна, повторяю: шантажом его не возьмешь. У него есть покровитель — папа Эдуард, глава церкви и государства.

Мой отец.

Папа спит.

Большую часть времени он посвящает искусственному сну. У, его нейтроны накачены снотворным. Транквилизаторами.

Если он растворяет (сводит на нет) во сне такую упоительную штуку, как власть, отправление власти — значит, он — о! — окончательно впал в маразм.

Женщина на другом мониторе — Маргарита.

Старая Маргарита — моя мамаша — привычно берет десять пакетов смеси растительного порошка с мясным экстрактом.

Девять, по обыкновению, она выбрасывает, даже не тронув (не повредив) прозрачную полиэтиленовую упаковку. Открыв десятый пакет, она высыпает содержимое в скороварку и ставит ее на огонь.

Папский обед готов.

Сегодня, как в любой другой день.

Что верно, то верно: огромная Маргаритина кухня — ух! — производит впечатление. Мусоросборник диаметром в восемнадцать футов переполнен, и слой мусора на полу достигает добрых трех футов; правда, тут и там оставлены проходы (дорожки) для удобства хозяйки.

Роскошная кухня, достойная папской особы.

Тем более что речь идет о самом могущественном папе в истории.

Я сижу — у! — почти под самой крышей. Из окошка дворца мне виден изрядный кусок города. Не знаю, есть ли наверху небо (никто его не замечает), но сквозь толщу дыма и пара над многочисленными заводами проступают силуэты новых жилых домов.

Это высоченные башни, способные вместить тонны и тонны ценного мусора. Ах!

Баста! Сколько раз я говорил себе (внушал), что пора действовать. Но вечно что-то (лень, осторожность, страх) заставляло меня откладывать решительные действия. Оттягивать.

Завтра, подожди до завтра, Ричард.

Стыдись, Ричард, тряпка ты, слизняк, как говорит мой отец.

Впрочем, бесконечное откладывание должно было обеспечить мне минимум три преимущества.

Во-первых, меня перестали опасаться. Все надо мной смеются, считают идиотом, безобидным пауком.

Во-вторых, тем временем во мне родилась и окрепла ненависть (а не только скука). Не знаю, люди, чем это кончится, но я чувствую себя сжатой до отказа пружиной, которая, если ее отпустить, распрямится со страшной силой.

В-третьих, я научился недурно читать и писать.

Наверняка тех, кто умеет это делать, хотя и не так, как я, во всей великой Стране можно сосчитать по пальцам. Больше не наберется.

Горстка людей, которые, согласно старым правилам (правила я изменю), держат в своих руках власть.

Лично я противник всех правил.

Почти всех.

У себя в комнате я сохранил осколок зеркала.

Мне нравится в него смотреться. О! До чего ты хорош, Ричард! Второго такого страшилу поискать днем с огнем. Просто загляденье. Рассматривая (изучая) свое неописуемое, несравненное уродство, я испытываю щемящее удовольствие.

Я надеваю черную тунику, в которой похож на гигантского паука. Ядовитого паука.

Кто знает, отчего в этом совершенном, в этом белковом, жировом, углеводном, витаминном мире, в этой великой Стране, лучшей из всех возможных стран, хромосомы, давшие мне жизнь, оказались не на высоте?

Я — исключение.

Иными словами, брак, мусор, ноль — эхехехехехехе. Увы и ах!

Я должен совершить обряд, это принесет мне удачу (у, успех). Поможет действовать трезво и разить наверняка.

И не завтра, а сегодня.

Немедленно.

2

Я беру — у! — свою любимую книгу.

Приключения Ричарда III.

Книга истрепана. Покоробившиеся, задубелые (не только от времени, но и от моих слез, пролитых над ними) страницы.

Они напечатаны на древнем языке, сам не знаю когда.

Слушайте дальше, люди (друзья?).

Читать первый (начальный) монолог я иду в тронный зал.

Эхехе.

Здесь нынче солнце Йорка злую зиму
В ликующее лето превратило,
Нависшие над нашим домом тучи
Погребены в груди глубокой моря,
У нас на голове — венок победный;
Доспехи боевые — на покое;
Весельем мы сменили бранный клич
И музыкой прелестной — грубый марш.
И грозноликий бой чело разгладил;
Уж он не скачет на конях в броне,
Гоня перед собой врагов трусливых,
А ловко прыгает в гостях у дамы
Под звуки нежно-сладострастной лютни[1].

Лютня.

У меня никогда не хватит воображения представить себе, что такое лютня. Наверняка тогда и в помине не было музыкальных компьютеров.

Я делаю передышку. Чтение «Ричарда III» вслух — ух! — возбуждает меня, временами я срываюсь на крик и потому быстро устаю:

Но я не создан для забав любовных,
Для нежного гляденья в зеркала;
Я груб; величья не хватает мне,
Чтоб важничать пред нимфою распутной.
Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан и до срока
Я послан в мир живой, я недоделан —
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают.

[1] Шекспир. Ричард III. *(Здесь и далее перевод Анны Радловой.)*

Дойдя до этих слов, я, как всегда,— о да! — испытываю потребность двигаться.

Горб, из-за которого у меня опущена голова, так что приходится вытягивать шею, если не хочешь все время смотреть в пол, кажется мне сейчас не столько неотъемлемой (и неисправимой) частью моего тела, сколько внезапным бременем, навалившимся на мои плечи.

Ох.

Я выставляю вперед правую ногу, ту, что короче, стараясь опустить ее для устойчивости носком наружу, потом описываю дугу (уф!) левой, сухой и негнущейся, и в результате (в итоге) продвигаюсь на шаг.

И все равно, друзья, если б сегодня — сейчас — мне сказали: «Так, мол, и так, ты можешь стать стройным и ловким, как все нормальные люди», я бы отказался.

Уверен, что отказался бы (на сегодняшний день).

Еще несколько шагов, и я ору-у-у во все горло заключительные слова монолога, прекрасные и жуткие:

Чем в этот мирный и тщедушный век
Мне наслаждаться? Разве что глядеть
На тень мою, что солнце удлиняет,
Да толковать мне о своем уродстве?
Раз не дано любовными речами
Мне занимать болтливый пышный век,
Решился стать я подлецом и проклял
Ленивые забавы мирных дней.

Вот это да!

Да, надо признать, что с такой ясностью и глубиной мне бы вовек не выразить моих намерений, моих желаний. (Моих чувств.)

Чем дальше, тем глубже должна быть моя признательность неизвестному, благодаря которому в один прекрасный день я обнаружил возле своего ложа (постели) стопку книг. Как раз когда я учился читать. Ах, книги!

Но этот неизвестный (неведомый) человек, знал ли он, что у нас с Ричардом III гораздо — о, гораздо,— больше общего, нежели одно имя?

Я подхожу к компьютеру, торчащему из груды мусора. Нажимаю нужные кнопки.

Машина — ах ты! — не подает признаков жизни.

Проснись, оракул, скажи, что меня ждет, предреки мое будущее, не то я тебя разобью, разнесу вдребезги, заставлю променять твой ленивый сон на слепую машинную ночь!

Неужели не обойтись без пинка?

Отвечай, оракул! Ну!

Компьютер уже погружен в машинную ночь. Его поедает ржавчина. Он покрыт той же патиной небрежения и забвения, что и все остальные вещи во дворце.

Зал — бескрайнее помещение (ууу!) — украшают колонны.

Должно быть (надо полагать), некогда, только-только отстроенный, это был не зал, а чудо. Ооо.

Со временем — увы и ах! — фрески на стенах (изображавшие картины сельской жизни) забелили, затерли цементом, закрасили, и теперь стены без единого окна являют собой серые облупившиеся поверхности с черными вертикальными полосами, обязанными своим происхождением выходным отверстиям кондиционера, сломанного с незапамятных пор.

На мраморном полу, как и всюду, проложены среди мусора проходы (дорожки), обнаруживающие изначальной красоты многоцветный — о! — орнамент.

Мебель? Почти полностью исчезла — погребена под кучами (иии!), под целыми горами мусора.

Потрясающее впечатление, люди.

Если смотреть на мусор с близкого расстояния, он раскрывает свой удивительный состав.

Сейчас я вам его опишу.

Так вот, лишь в самой незначительной своей части мусор состоит из обыкновенных отбросов и грязи.

Преобладающая же доля мусора приходится на новые вещи.

Бутылки, книги, коробки, флаконы, пакеты и пакетики в фабричной полиэтиленовой упаковке; многие предметы завернуты в яркую подарочную бумагу. Все — первосортное, в нетронутом виде, в каком пребывало на полках магазинов.

Глаз — по крайней мере мой, воспитанный на прекрасном и изысканном,— радуется этому пестрому (разноцветному) празднику, счастью веселой пышности, составляющей контраст с неопрятным, запущенным интерьером.

Так и должно быть, друзья, сами понимаете: жилища суть не что иное, как контейнеры.

Наше богатство, наше благосостояние, самое высокое в мире,— вот оно здесь, в своем истинном выражении, у наших ног, вокруг (окрест) нас.

Впечатление такое, будто мусор лежит на полу однородной массой, но открою вам, что в середине зала, как раз там, где поднимаются самые высокие горы разноцветных вещей, находится не огражденная перилами горловина колодца, имеющего много футов в диаметре; колодец, прорезая по вертикали весь дворец, уходит в глубину, где соединяется с подземным канализационным приемником.

Это специально построенный мусоросборник, рассчитанный на тонны мусора и теперь переполненный. О! Огромное богатство, люди. Несметное. Невообразимое.

Зато легко вообразить, что, если кто-нибудь, случайно или с посторонней помощью, у! — угодит в этот невидимый колодец, кажущийся забитым до отказа, а на самом деле заполненный мягкой клейкой магмой— результатом сырости и процессов трансформации, химических и физических, его ждет верная смерть. Неизвестно, от чего раньше: от разрыва сердца — ах! — при падении с такой высоты или от удушья.

Своим судорожным паучьим шагом я обхожу горловину колодца и сажусь на отцовский трон.

Э-хе-хе, хорошо на троне.

Еще как хорошо.

Хорошо?

Ох, хорошо, люди! Чем хорошо? Сам не знаю. Чувствую, что хорошо, а вот чем именно — не пойму.

Не пойму, если буду сидеть сложа руки.

Я должен действовать.

Да, но как? У меня есть одна маленькая идейка.

Будут и большие идеи, друзья. Обязательно будут.

Ричард — владеет словом.

Ричард — властелин восклицаний.

А-ха-ха-о-хо-хо!

Я жду, пока мой смех замрет под сводами огромного пустынного зала. Кто сказал, будто ослиный рев не долетает до неба?

3

Мне совестно, мне стыдно признаваться.

Но в этой говорящей книге я должен быть искренним (откровенным), люди, должен быть самим собой — ой, до конца.

Поэтому я не могу не признаться, что мусор, который я вижу, ууу, сильнейшим образом притягивает меня. Как магнит, во.

Возбуждает интерес.

Я объясняю это неодолимой страстью ко всему, что выходит за рамки.

Возможно, подобное случается и с вами, друзья, но вы не должны становиться на этот неправильный путь, если вы люди нормальные и хотите жить (здравствовать) как нормальные люди.

Начиная с моего тела, я весь — из ряда вон, весь — отклонение. Вы это лучше поймете, когда я познакомлю вас с другими обитателями дворца, то бишь с лучшими представителями народа, живущего здесь, в этой великой Стране.

Притягиваемый (влекомый) мусором, я спускаюсь с трона.

Внимание.

Обычный мусор меня не интересует: к нему я, как и все, привык.

Меня подмывает искать в нем необычное. Как подсказывает мне чутье (интуиция), мусор, начало и конец этого мира, должен заключать (содержать) в своем лоне смысл и разгадку, ответ на вопросы, роящиеся в моем мозгу.

Гениальном мозгу, с извилинами, состоящими из вопросительных знаков — особенно с тех пор, как я стал читающим, а не только говорящим.

Если кто-нибудь из вас умеет читать — но по-настоящему, без дураков,— он более или менее поймет, что я имею в виду. Если же он читает с трудом или совсем ни в зуб ногой, тем лучше для него, во-во, поскольку ему уже дано жить по ту сторону словесного барьера. Ах, я и сам намерен забыть слова, но пока что они нужны мне для достижения моей цели.

Я забуду их — ихихи — во сне: проснулся — и не помню ни словечка.

Несколько книг, которые у меня есть, восходят к до... не знаю чего, когда в ходу еще было множество слов. Но у нас, в великой Стране, неизменно первой во всем, их становилось меньше и меньше и уже оставалось не более тысячи. Я полагаю.

Впрочем, я хочу вам сказать о моем «Ричарде III», необыкновенной (исключительной) книге, книге в моем вкусе, написанной неизвестно кем и посвященной какому-то Уильяму Шекспиру, должно быть, важному господину, у, думаю даже, что королю.

Я не знаю никого, кто мог бы поведать о моих подвигах (ах!), о событиях, героем которых мне предстоит скоро стать (сделаться), так что приходится самому составлять этот отчет (хронику).

Только будут ли еще на свете читатели? И-хи-хи. Ух.

Но эти роковые дни заслуживают того, чтобы я о них рассказал.

Возможно, ради еще одного Ричарда.

Перед тем как запустить длинные пальцы-когти в мусор, я бормочу молитву. У, собственного сочинения. Вроде той, что я читаю в дверях, выходя из своих апартаментов.

Спички, денежки, очки, сигареты, ключ, платок.

Чтобы ничего не забыть.

— Святая Троица, помилуй меня, грешного, ничего не могу с собой поделать.

Лучше всего повторять молитву несколько раз — по крайней мере пока совершается преступление (кощунство).

Я отодвигаю набор льняных носовых платков (дюжину), два аккуратных свертка (что в них — неизвестно, но судя по весу — тяжести — это книги), три пиццы (полуфабрикат) флакон лосьона после бритья, две упаковки нарезанного ломтиками хлеба, и в моих сверхчувствительных пальцах оказывается бумажный шарик.

Его местонахождение указывает на то, что выброшен он недавно.

Шарик оказывается запиской. (Посланием.)

Ого! Эгегеге.

Глянь-ка, у нас кто-то умеет писать. Интересно, что это за грамотей.

Послание состоит из одной-единственной строчки. Написанной вкривь и вкось, печатными буквами.

«Я люблю тебя. А.».

Гм, кто такой А?

И к кому он обращается?

Внимание, друзья, сюда кто-то идет.

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни...

Это монотонное пение мне знакомо. О, еще как!

Значит, можно не прятаться.

Напевая (мурлыкая) «Эй, парни», единственное место из песни, которое она знает, моя жена Елизавета приближается, толкая перед собой тележку для покупок, набитую доверху.

Она одета в свой вечный балахон из грубого полотна, грязный и заскорузлый от пота. Она молода, у нее светлые волосы, высокий выпуклый лоб, маленький носик и большой рот (полный зубов).

Выдающаяся представительница женской части населения великой Страны.

На ее лице — обычное выражение изумления и довольства.

При виде меня она недовольно поджимает губы.

— А, ты здесь, Ричард? Это не о'кей, держу пари. Ты не должен выходить из твоего... из твоей...

Наказание, люди. С ней, ей-ей, нельзя без резкостей.

— Апартаменты. Это называется апартаменты. Ты так никогда и не выучишь это слово.

— Его нет в моих двух сотнях, значит, не о'кей.

— Можешь называть и по-другому — тюрьмой, каталажкой. Слышала такие слова? А?

Елизавета кивает. Ишь ты!

— Будь уверен! Если твой отец узнает, что ты гуляешь по дворцу, он тебя посадит под замок.

— Я его уничтожу.

Она не обращает внимания на мои слова.

Я столько раз обещал (грозил) это сделать, что она и теперь воспринимает мою угрозу как обычную идиотскую болтовню.

Она благочестиво (нейтрализуя заодно мое кощунство) касается лба, груди и живота. Осеняет себя тройным знамением, общим для всех, кто принадлежит к церкви отказа, нашей правящей церкви.

Знамением Святой Троицы.

Мы отправляемся в свои апартаменты (Елизавета говорит «домой»). В самое мрачное крыло дворца.

— О'кей, я выполнила свой ежедневный долг,— довольным голосом сообщает Елизавета.— Купила все что могла.

Если говорить о вещах от которых мы отказываемся (которые приносим в жертву), ууу, у нас, увы, ничтожно мало мусора по сравнению с огромным его количеством в тронном зале, в папской кухне и в покоях Его Святейшества. Но моя жена (ах, тут она молодчина!) не жалеет своих сил и моего жалованья (полагающегося — причитающегося — мне как аббату Йоркскому), чтобы сократить эту огромную разницу.

Чтобы быть не хуже других.

Елизавета живет ради этой вот счастливой минуты.

Сияя от удовольствия, она одну — у! — за другой берет покупки с тележки.

Каждую покупку она называет, после чего выбрасывает — приносит на алтарь мусора.

— Хлеб, молоко, яйца, сигареты...

Я сжимаю в кулаке бумажный шарик и смотрю на жену, которая прямо-таки с чувственным удовольствием продолжает отказываться (освобождаться) от только что сделанных в торговом центре покупок.

— Две пары туфель, зеленые и желтые.

— Терпеть не могу зеленые туфли.

— О, две новые рубашки для тебя. Нравится? О'кей.

Я даже не успеваю разглядеть, какого они цвета.

Впрочем, мне все равно, я сроду — у — не носил рубашек.

Обе рубашки в блестящих конвертах падают на пол, покрытый мусором.

— Эй, парни. Платье для меня. Красивое, а? Будь уверен.

Она разворачивает зеленый в синюю полоску холщовый балахон, прикладывает к себе и поспешно бросает на пол.

Я спрашиваю, купила ли она книги.

Свой долг (свои обязанности) жены и домашней хозяйки Елизавета выполняет безупречно (безукоризненно). Тут, друзья, к ней, ей-ей, не придерешься. Вот и сейчас я не успеваю спросить, как уже получаю ответ.

— Будь уверен. Четырех штук хватит?

Я заграбастываю книги, толстые, в твердых переплетах, раскрываю их и отшвыриваю прочь.

Обычные ненапечатанные книги.

Елизавета, как всегда, отвечает на мое разочарование (абстрактное, умозрительное) сочувственной улыбкой.

Улыбкой, заменяющей слова, которые я слышал от нее тысячу раз.

Она качает головой.

— Ой-ой-ой.

(Муж, ты того, во-во, рехнулся. Печатных книг нет в продаже давным-давно, с самого сотворения мира, а тебе подавай именно их. Неужели для траты времени мало тех, что у тебя уже есть? Э, это не о'кей. Вдобавок они старые, держать их не о'кей. Вещам положено стареть в мусоре. Для этого и существуют вещи, будь уверен. Ты того, Рикки, и еще не знаю чего, знаю только, что это не о'кей, будь уверен.)

Если б она перестала повторять свое «будь уверен», я бы еще мог ее пощадить. Правда, люди.

Вы говорите, я должен ее пощадить?

Вы этого не говорили?

О'кей.

4

О'кей.

Я чувствую, что все может начаться сейчас. С этой минуты.

Песчинка, которая порождает обвал.

Я медленно разворачиваю записку.

В расправляемых складках проступают слова.

Елизавета меня не видит. Она сосредоточенно жует яблоко, гарантирующее (обеспечивающее) ей ежедневную (pro die) порцию витаминов.

— Бетти.

— А?

— Я должен бросить тебя в мусор.

— Эй, парни, чего это?

— Так нужно.

— Эй, парни,— жена не вещь. Эй, парни,— она человек женского рода (пола). Ей-ей, будь уверен. И по закону так — эй, парни.

— Конечно, дорогая, но по закону жена должна быть верна мужу.

— У, будь уверен, так оно и есть. Жена должна быть верна,— а как же! — мужу. О'кей. Если хочет жить — эй, парни.

Сейчас, друзья, я попробую ее огорошить.

Надеюсь, мне это удастся.

Сегодня я чувствую себя очень хитрым, ловким, умным (сверх, супер, архи).

Везучим. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить.

— Согласен,— говорю я.— В таком случае, могу я узнать, кто такой А.?

— А? Первая буква алфавита, а что?

Пока она держится как ни в чем не бывало.

Либо до нее еще не дошло, либо она чиста.

Да поможет мне бог.

— На А начинается имя того, кто написал тебе записку.

— Ах, имя? — лепечет она. — Записку, угу. Мне? Эй, парни.

— Конечно, тебе.

— Где ты ее нашел?

— В тронном зале.

— Эй, парни, угу, верно. На полу, угу. Я ее подняла и бросила — эй, парни.

— Наверно, он, этот твой А., не знает, что ты умеешь читать только красные цифры,

которые зажигаются в магазинах на кассовых аппаратах.

Она пытается взять себя в руки:

— Будь уверен, я не умею читать.

Она заявляет об этом с гордостью.

— А он едва умеет писать. Хочешь, прочту, что он пишет?

— Эй, парни, эй, парни, не, не хочу...

— Ах, не хочешь!

— Ладно, о'кей.

— Он пишет: «Я тебя люблю».

Елизавете приятно это слышать: она улыбается уголками сжатых губ.

— О, наверное, эти слова очень о'кей.

На ее лбу (челе) появляется сосредоточенная складка. В широко раскрытых глазах — ужас.

У, как она кричит. Ого!

— Ричард, ты опять грогал мусор! Бог тебя накажет.

Она поняла. А я-то, идиот, не подумал. И влип.

— Я? Да нет, я не прикасался к мусору, клянусь.

— Ты плохо кончишь, ох, плохо, а из-за тебя и я. Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

Приходится снова искать в ней сообщницу.

Упрашивать не выдавать меня.

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

Вырывать клятву, что она меня не предаст.

Ох, друзья, ох, люди.

— Прошу тебя, Бетти!

— Жена не выдает своего мужа — эй, парни.

— Почему ты не говоришь «будь уверен»?

— О'кей, будь уверен.

— Обещаю тебе никогда больше этого не делать.

Надоело обещать, пропади оно пропадом. Аж зло берет.

Особенно сейчас, когда я всерьез собрался дать бой и выиграть (одержать победу).

У, они у меня запомнят.

— Эй, парни — эй, парни.

— Бетти, я не нарочно. Это получается само собой, это инстинкт, который сильнее меня. А все из-за ошибки в моих хромосомах (ах!).

Елизавета назидательно (предостерегающе) поднимает пухлый указательный палец.

Я стараюсь втянуть голову в плечи, под прикрытие горба.

— Твоя вера должна победить плохие хромосомы. Рикки должен бороться.

— Да, Бетти, я буду стараться.

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

Я ее ненавижу?

У, ненавижу.

Я повторяю и повторяю про себя слово «ненавижу», будто твержу молитву или монотонное заклинание.

Хорошо бы пристроить это слово к чему-нибудь более основательному.

Например, к злости, к ярости.

Неужели мне не дано испытывать ничего, кроме скуки? Тоски?

Тоски одиночества (сиротства). Ах.

Люди, я хочу, я должен ненавидеть, в противном случае я похож на того Ричарда только внешностью.

— Эй, парни. Уу.

Елизавета взяла записку.

Внимательно рассматривает ее, поворачивая то вверх ногами, то обратной стороной.

— Рикки.

— Что?

— Ты умеешь читать и писать. Говорил, что умеешь, о'кей? Значит, записка от А.— тебе?

Неужели? У, я должен подумать. Ненавижу. Ненавижу. У-у-у.

— Мне?

— Тебе,— с уверенностью заявляет она.— А. значит Анна, будь уверен.

Если бы так, люди!

— Анна, жена моего брата?

— Ага. Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

— Исключено. Она меня видеть не может.

— Эй, парни — эй, парни. Будь уверен, тебя все видеть не могут, одна Елизавета, твоя жена, может.

Ненавижу, у, ненавижу.

— Я тебя не просил приносить себя в жертву.

— Ты — нет, а мой отец — да. «Пойдешь за хромого Ричарда, папского сына. Ради моего бизнеса». Отец так и сказал, а я сказала о'кей.

Елизавета произнесла все это спокойно. Тщательно подбирая слова.

Следует признать, она умеет прекрасно пользоваться своими двумястами словами. У, уверен, что двумя сотнями, не больше.

— Эй, парни — эй, парни.

Может, она еще и умная?

Не знаю, почему я женился именно на ней.

С моей фигурой выбирать не приходилось. К тому же меня не очень-то выпускали на люди. Можно сказать, держали в изоляции. Потом его святейшеству пришло в голову, что мне нужна жена.

Меня женили мой отец и отец Бетти, граф Оклахомский.

Высокий джентльмен. Неизменно одетый в черное. В темных очках.

Крупный капиталист. Оборотистый.

Себе на уме. Осторожный.

У нас нет газет. Но даже если б они и были, вы никогда не встретили бы в них его имя.

Граф Оклахомский. Ихихихи.

5

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

Ишь ты, она еще поет!

— Твой отец, граф Оклахомский. (Эхехе.) Незавидная участь. Что делать — поголовная ликвидация аристократии.

— Эй, парни. Наверняка его погубил твой отец со своими кардиналами.

— Ты так спокойно об этом говоришь. Неужели в тебе нет ни капли ненависти к моему отцу?

— Ненависти, гм?

Ясно, что это слово лежит на периферии словесного (языкового) созвездия Елизаветы.

Слово-то она знает, но, видно, не совсем хорошо. Не до конца.

Она повторяет его, вслушивается в звучание, повторяет еще раз.

— Не-на-висть.

— Да, ненависть. Ненависть,— говорю я с нажимом.— Чувствуешь, какое беспощадное слово? Ненависть. Ненавидеть. Чувствуешь, как звучит? Ты должна ненавидеть моего отца.

— За что? Ты ведь тоже присутствовал на ликвидации.

— Конечно. Мне предоставили эту честь. Так что ты и меня должна ненавидеть.

До чего приятно, о, до чего славно, люди (читатели?), смотреть, как эти господа исчезают в чреве земли!

Так было в тот день.

Мы приехали в Техас. Отец должен был освятить там самую высокую в мире гору мусора.

Не знаю, сколько тысяч футов в высоту — ух ты! — и в глубину — ух!

У людей было праздничное настроение, как всегда на мусорных торжествах — ах,— и там собралась вся аристократия великой Страны, человек сто.

Не знаю, почему в тот раз отец не покачал отрицательно головой, как обычно, когда я о чем-то его прошу («Ричард, мать правильно тебе говорит: не морочь голову отцу»).

Я попросил взять меня с собой — в составе свиты.

Он и бровью не повел. Это означало, что он (согласен) не возражает.

Какое расточительство, люди! Ихих! Тонны синтетического мяса, ай-ай-ай, море пепси-пойла! Даже моя страшная (чудовищная) внешность вписывалась в общую картину праздника, и кто-то — кажется, сам князь Хьюстонский — высказал сожаление, что я не техасец, ихихи, иначе бы я завоевал для Теха-ха-ха-са первенство по уродству. Ух ты!

Ясно, что участь родовитой знати уже была решена.

И наступила минута, когда аристократы дружно бросились вниз головой в недра мусорной горы.

Всколыхнув разноцветное месиво, они мгновенно исчезли. Папская свита хранила почтительное молчание, а народ свистел и аплодировал, бросая в воздух — ух — шляпы.

Грандиозное зрелище!

Незабываемое!

— Моему отцу не повезло, вот и все. Будь уверен, эй, парни — эй, парни.

То же самое — слово в слово — Елизавета мне сказала, когда я, вернувшись из Техаса, весело поведал ей, что там произошло.

Она поворачивается, обнажая бедро.

Ой, забыл объяснить одну вещь.

По-моему, от скуки я все время испытываю половое возбуждение.

— Бетти, раздевайся, я хочу спать с тобой.

— Только это от тебя и слышишь,— спокойно отвечает она.— Хоть бы раз по-другому — уф — сказал.

— Например, как?

— Ну, «я тебя люблю». Вот как, будь уверен.

— Я тебя хочу.

— Да, я поняла, Рикки, но это не о'кей.

Я ору-ууу:

— У тебя все не о'кей! Вечно не о'кей!

— Ты Анну любишь. И давно. Хотел на ней жениться.

Еще бы!

Только Анна — ах! — предпочла Георга, моего брата.

О, она придет, и вы сами увидите, какоо-ой это цветок.

Больше я ничего не скажу, боюсь испортить вам весь эффект.

Умение хорошо (как следует) рассказывать в том и состоит, что все нужно открывать понемногу (постепенно) и ни в коем случае не по порядку. Вот в чем фокус, люди.

О'кей?

— Не забывай, Рикки, что ты не такой, как все. Если хочешь стать кардиналом, стань сперва как другие. Без этого ничего не выйдет. Твой отец все еще держит в секрете имя будущего кардинала.

— Наверняка это не я.

— А ты стань о'кей, твой отец будет рад и сделает тебя кардиналом.

— Я знаю, кого он назначит кардиналом.

— Думаешь, твоего брата?

— Георг вот-вот вернется из Европы. Его ждет триумф.

Уф.

Елизавета вперяет взгляд в одну точку на поверхности мусорной кучи. Это способствует работе ее мысли.

— Я езжу за покупками на пикапе, а жены кардиналов — на автофургонах. Разве сравнишь фургон с пикапом? Уж там покупки так покупки. Каждый день привозишь домой такущую гору добра, а чем больше привезешь — тем больше выбросишь, тем богаче мусор, а значит, бог радуется, будь уверен.

Бог — это мой отец, ведь, как вы знаете, люди, я — папский сын.

— И ты считала бы себя счастливой, да, Бетти?

— Будь уверен,— не задумываясь отвечает она.— Хотя мне и так повезло: о, я счастлива, что живу в стране земного бога.

Я люблю эту Страну не меньше, чем она. И горжусь своим патриотизмом.

Если бы не мои кривые ноги, я бы вытянулся, как военный, по стойке «смирно».

— Наша великая процветающая Страна! — говорю я с пафосом.

Елизавета подходит ко мне близко-близко.

Но не дотрагивается до меня. Никто никогда до меня не дотрагивается.

А мне и не надо, чтоб до меня дотрагивались.

— Рикки, если ты станешь кардиналом, ты сможешь стать и папой. Сможешь претендовать на это место — о, я хочу сказать, когда — ах, ну когда твой отец умрет. У, папа — это бог, который стал человеком, а ты станешь богом. Но ты должен быть очень о'кей, чтобы стать богом. О, очень, будь уверен.

— Стать богом, а зачем?

— Бог есть бог, вот и все.

Тут она права.

— Ладно,— не унимаюсь я.— А что это дает, чем выгодно?

— Понятно чем. Тем, что твоя жена сможет покупать больше всех. Каждый день ездить в торговый центр на грузовике с прицепом. Каждый день привозить оттуда столько, о-го-го, сколько никто не привозит,— вот высший о'кей. Для этого надо быть папской женой. Я как вижу на улице белый автопоезд с папским гербом, так плачу — у-у-у — от умиления.

Слушайте ее побольше!

Если говорить о моем отце, то он хотел любой ценой сесть на папский престол. Хотел и сел. Разве не в этом штука, а, люди?

И какую такую особенную власть он получил, что выиграл, став главнее всех на земле, какая ему от этого радость?

Чего не знаю, того не знаю. Еще не понял.

Неужели все сводится к удовольствию, которое Маргарита, моя мать, испытывает, сидя за рулем папского — о! — автопоезда, а?

— Ерунда, будто умней тебя никого нет,— качая головой, говорит Бетти.— На самом деле ты лопух. Ух! Лопух. А раз лопух — значит, не о'кей и, боюсь, никогда не станешь, о'кей.

Ишь ты!

Никто не подозревает, на что я способен — теперь, когда принял решение (окончательное) действовать.

Тонкие преступные замыслы потихоньку — ууу — обретают очертания в моем мозгу.

6

Маленький телеэкран, на котором застыло изображение тронного зала, оживает:

Уродливый черный паук, казавшийся мертвым в своей неподвижной паутине, мгновенно реагирует на это.

Я хочу сказать, что бросаюсь к экрану.

Ух ты!

Двое стражников вводят арестованного.

Он без наручников. Но это арестованный, гражданин, которого задержали.

Стражники не вооружены. Ооо, оружие им не нужно (ни к чему). На них желтые балахоны городской полиции.

Входит троица кардиналов, могущественнейшие после моего отца мужи церкви.

Я останавливаю изображение (стоп-кадр), чтобы вы тоже посмотрели, друзья.

Вот Марк, кардинал Бейкерсфилдский, первый inter pares[1] (о латынь!): он занимает самый высокий пост.

Пост государственного секретаря.

Марк — пожилой импозантный мужчина с животиком и, судя по всему, большой любитель хорошо поесть. Два раза в день. Ради этого он позволяет себе грешок: отбирает самое вкусное из продуктов, предназначенных для мусора. Прямо из фургона, ай-ай-ай.

У него лысина мыслителя, на носу — очки с маленькими овальными стеклами.

Он одет в длинную, до пят, мантию.

Красную мантию. Соответственно своему положению.

Второй — ну да, в белой шляпе с загнутыми кверху полями,— Матфей, кардинал Далласский.

Крупный, плотный, он все время жует незажженную сигару.

О, он тоже занимает очень высокий пост. Следующий после госсекретаря. Пост защитника культа.

У Матфея зеленая мантия.

Третий?

Высокий, степенный, в голубой мантии, смуглый, с ассирийской бородкой,— э, это Лука (а кто же еще?), кардинал Ричмондский.

Великий инквизитор.

Я прибавляю звук (громкость), так нам будет лучше слышно.

Марк подходит к арестованному и смотрит на него (изучает) сквозь маленькие стекла очков. Вид у арестованного скорее спокойный, чем обреченный.

Он знает, что правосудие свершится. Ах, неминуемо.

Марк обращается к коллегам:

— Это, так сказать, и есть грешник?

Лука поглаживает ассирийскую бородку.

— О'кей, он самый.

У Матфея разъяренное лицо (о-о-о, защитник культа). Еще немного, и он бросится на арестованного. О, он бы охотно пустил в ход свои пудовые кулачищи.

— Мерзавец, негодяй! — бурчит он, выпятив губы с зажатой в них сигарой.

Остальные его удерживают. Не без труда, о да! Арестованный остается безучастным.

— Подожди, Матфей,— говорит Марк.— Этот человек, так сказать, имеет право на законный суд.

Матфей бросает на арестованного брезгливый взгляд. Плюет.

— Какой еще суд! Эк, куда хватил! Этих подлецов нужно наказывать, вот и все.

Ихихи. А что я говорил?

Марк ни на секунду — у — не забывает о роли миротворца.

Это ему как государственному секретарю надлежит сглаживать противоречия и стараться, чтобы во всем царили порядок и согласие.

Только не думайте, будто он — ох — доренький (мягкотелый).

— Так сказать, послушаем Луку. Он у нас великий инквизитор, ему и карты в руки.

Лука кивает (с важностью):

— О'кей, Марк, ты у нас государственный секретарь, ты и веди процесс.

— Именно веди, а не выступай защитником,— тявкает Матфей.

— Какие могут быть защитники, когда судят еретиков! — изрекает Лука.

Он подходит к арестованному. Ух!

Поскольку арестованный — обыкновенный гражданин, его изображение на экране смазано.

Ледяной, ой-ой-ой, взгляд Луки — это ли уже не приговор?

— О'кей, человек, что ты можешь сказать в свое оправдание?

Кардиналы весьма ревниво — о! — относятся каждый к своим функциям, этого у них не отнимешь. И не успевает арестованный открыть рот, как опять подает голос Матфей:

---

[1] Среди равных *(лат.)*.

— Минутку. Кто из нас защитник культа? Я. Значит, первый вопрос мой.

Марк и Лука быстро переглядываются. Лука, кивнув, вырывает волосинку из бороды.

— Правильно, Матфей, начинай ты,— разрешает Марк.

Резким движением сдвинув белую шляпу — ух ты! — на затылок, Матфей делает шаг к арестованному и останавливается перед ним, широко расставив ноги. Арестованный едва достает ему до плеча. Он по-прежнему держится так, будто происходящее его не касается.

У, у нас удивительный народ!

— Ты признаешь себя грешником?

— Я?

— Покайся, тебе зачтется,— советует Лука.

Матфей швыряет на пол шляпу.

— Э, Лука, никак ты его защищаешь? Смягчающих обстоятельств нет и быть не не может. О'кей? — Он поднимает с пола шляпу и припечатывает ее к лицу — ух ты! — арестованного.

— Ой, грешен, да-да-да, ай, грешен, черт побери!

Добровольное признание (покаяние) успокаивает Матфея.

— О'кей. О'кей.

Очередь за Лукой.

— О'кей, говори.

— Я? Ладно, э-э-э, это... там были туфли новые, ну я и подумал: возьму... уф!

Государственный секретарь с безутешно-укоризненным видом качает головой.

— Ты хочешь сказать, так сказать, что извлек из мусора туфли?

Арестованный несколько раз утвердительно кивает.

— У! Новые, совсем новые.

— Все туфли новые,— замечает Лука,— Где ты их взял?

— Ой, на улице, черт меня побери!

Вновь вспыхивает гневом Матфей. (Великий человек, разве не правда, а? Вы-то его терпеть не можете, люди, и-и-и, я знаю.)

— Народное добро! Отягчающее обстоятельство. Тошно слушать. С меня довольно.

Да, что касается кардинала Далласского — то есть Матфея,— эээ, этот пусть себе живет, я не против. Только в моей ли это власти?

Впрочем, послушаем, что еще скажет Лука. А?

— Ты отлично знаешь: нельзя, категорически запрещается присваивать мусор.

— Что бы то ни было, хоть пуговицу,— уточняет Матфей.

— Это страшное святотатство,— продолжает Лука,— смертный грех.

Арестованный понятливо — ууу — улыбается.

— О'кей, как не знать!

Он показывает пальцем на свои башмаки.

Сношенные. Все в дырах. (Каши просят.)

— Э, те были гораздо лучше, совсем новенькие, черт меня побери, и-их! Новенькие.

— Туфли полагается покупать,— терпеливо объясняет Лука.— В магазинах полно обуви, о'кей? Каждый честный гражданин покупает минимум по одной паре в день.

— А еще лучше покупать по две,— добавляет мудрый Марк.— Если ты, так сказать, настоящий человек.

Матфей считает иначе:

— А я бы в два раза увеличил продовольственные покупки. В целях улучшения питательной среды для мусора.

Вот это мысль, люди. Здорово!

— Нет, нет,— решительно возражает Лука.— Увеличить следует распространение книг: все — у! — упирается в просвещение.

Простите, друзья, но на этом я хотел бы остановиться подробнее.

Такого рода рекомендации мне доводилось слышать и раньше — причем от тех же кардиналов. В каждой из этих точек зрения есть свой скрытый смысл (я должен его открыть).

Итак...

Итак, Марк за потребление готового платья.

Матфей — продовольственных товаров.

Лука — бумаги и пластических масс.

Ух!

Пораскиньте и вы мозгами, если хотите. Это я вам, читатели.

Ага, после долгих раздумий арестованный горестно разводит руками.

— Чтобы покупать, деньги нужны. А у меня гроши.

Матфей возмущен (неумолим).

— Так ты, сукин сын, еще и не работаешь?

— А у меня — ууу — уважительная причина. Я инвалид. Да-да. Ревматизм, черт меня побери.

— Существует государственное пособие,— замечает Марк, поправляя овальные очки на носу.— Сколько ты, так сказать, получаешь в день?

— Э, четыре фунта товаров,— отвечает арестованный.— Два на себя, два на выброс. Каждое утро — ох — выбрасываю, клянусь!

Лука поражен.

Или притворяется. О-о, он у нас лиса.

— Всего два фунта на выброс? Слишком мало. Все равно что ничего, не правда ли?

— О'кей,— бурчит Матфей.— Но плохое материальное положение не оправдывает чудовищного преступления, которое совершил этот лоботряс. Ставшее мусором священно. Брать его — смертный грех.

Наверно, ох.

Но мне еще рано думать о смерти.

Хоть я и пользуюсь как папский сын особыми привилегиями, все равно каждый раз, стоит мне притронуться к запретной вещи, я словно бы жду электрического разряда, который опрокинет меня, ууу, утопит в материнском лоне.

В лоне мусора. Ах!

Слышится громовой голос папы:

— Верно, верно.

7

Появляется внушительная фигура моего отца. Ах!

Царственно-белая мантия (несмотря на многократную обработку в стиральной машине, несколько пятен все же осталось).

Белый ореол волос, венчающий крупную голову.

Кардиналы, стражники, арестованный подобострастно приветствуют его. Хором.

— Многая лета папе Эдуарду, богу на земле!

Мой отец — человек исключительно сильный (красивый), могучий. Однако ему нравится изображать из себя развалину, едва таскающую ноги.

Поэтому он опирается — вместо трости — на гладкую надушенную руку Иоанна, аббата Бостонского.

О, ну конечно, это он! Вы не ошиблись.

Молодой человек, что недавно сидел в ванне.

Интересно, откуда берутся такие красавчики? Откуда в Иоанне эта женственность? На нем неизменно чистая туника (похоже, он меняет ее каждый день).

Ходят слухи, что добрее его нет человека аж во всей великой Стране.

Я помню, как он вечно путался у меня под ногами — здесь, во дворце, когда мы еще были детьми.

Как я, ууу, убивался тогда из-за своего уродства («Маменькин ублюдок на паучьих ножках»), я ненавидел Иоанна и чего бы только ни сделал ради того, чтобы походить на него.

Потом это прошло (о-о-о!).

В Иоанне, я чувствую, есть что-то такое, что непосредственно касается меня.

Думаю, что вместе мы представляем собой идеальную окружность: я — черный полукруг, он — белый.

Что мне досталась худшая, а ему лучшая часть одной и той же субстанции.

Что мы — ах — антиподы, и это нас роднит, то-то и оно.

У-у, умные люди, вы меня понимаете.

Папа усаживается на трон — престол (и-и-и, изъеденный жучком, топорный, стульчак, да и только, зато — ох ты — точь-в-точь по моим тощим ягодицам, словно на заказ).

Иоанн занимает свое обычное место, рядом с папой. Он стоит, но впечатление такое, будто сидит у папы на коленях.

Так или иначе я включил Иоанна в длинный список людей, заслуживающих ненависти.

Эх, хорошо бы, конечно, кто-нибудь объяснил мне, как это ненавидеть всей душой! Я подозреваю, что моя ненависть, хоть и похожа на настоящую, чересчур поверхностна, неглубока.

Ах, ну что это за ненависть, а?

Эдуард, насупив брови, изучает (оценивает) ситуацию. Затем лепечет на ухо красавчику Иоанну:

— Ммм.

— Отлично,— заключает Иоанн, внимательно (сосредоточенно) выслушав божественный лепет. И тут же переводит:— Вопрос к Марку, кардиналу Бейкерсфилдскому, государственному секретарю. Как продвигается суд?

Марк (он делает это непрерывно) поправляет пальцем очки.

— Я бы сказал, так сказать, что высочайшее решение о судьбе этого грешника надлежит вынести папе.

— Ммм,— говорит папа на ухо Иоанну.

— Отлично.— На этот раз Иоанн обращается к Луке:— Кардинал Ричмондский, великий инквизитор, что ты можешь сказать, а?

— Он виновен.

Арестованный усиленно кивает:

— Угу, черт меня побери!

— Ммм.

Иоанн смотрит на Матфея:

— Отлично. А что скажет кардинал Далласский, министр, защитник культа?

— Он взял мусор из кучи,— шипит Матфей.— Недопустимое святотатство в отношении нашей церкви. Он заслуживает высшей меры наказания.

— Верно, верно,— изрекает папа.

Арестованный тоже согласен:

— О'кей, ей-ей, так.

Иоанн поднимает холеную руку:

— Могу я сказать?

Матфей недовольно спрашивает, уж не собирается ли он говорить (выступать) от своего имени, а не как толкователь папских «ммм».

Иоанн кивает: дескать, от своего Во-во, лично от себя.

— Наша бесподобная производственная система страдает, как мы знаем, от недостатка людских ресурсов.

(Сразу видно, Иоанн один из тех немногих, кто вышел за пределы двухсот употребительных слов. Его голос — голос флейты. Или лютни? А как звучит лютня?)

Папа энергично кивает:

— Браво, браво.

Воодушевленный Эдуардом, Иоанн переходит к выводу — ух ты! — с которым и я вынужден согласиться:

— А посему, мне кажется, нет смысла терять пару рабочих рук.

— У, о, о'кей, он дело говорит,— признает арестованный.

Иоанн обращает на него ласковый взгляд:

— Правда, ты больше не будешь трогать мусор?

— Ой не буду, у-у, ни за что не буду, черт меня побери!

Однако Матфей не собирается уступать.

О, он прирожденный боец, как и подобает техасцу, у, настоящий бык.

Он резко сдвигает шляпу с затылка, так что она падает ему на глаза.

— Нет, люди, иии, нет, тут пахнет нарушением закона. Да при таком грехе, при кощунстве, которое позволил себе этот святотатец, не может быть речи ни о покаянии, ни о прощении.

— Правда, правда,— соглашается Эдуард.

А я-то хорош, друзья! Когда говорил Иоанн, я был на стороне арестованного, теперь же мне кажется, прав Матфей.

Ух!

Поглаживая бородку, свое слово вставляет (тонко) Лука:

— К тому же он не может работать. Он инвалид.

Матфей знает, что одержал победу.

— О'кей, кроме всего прочего, он инвалид.

И-и-и! Иоанн сдается:

— Отлично. Если так, я умолкаю.

Арестованный ничего не имеет против.

— О, о'кей! О'кей.

— Браво, браво,— резюмирует Эдуард.

Вы уже поняли, что вслух папа произносит главным образом «браво, браво», «верно, верно», «правда, правда», а когда хочет высказаться обстоятельнее — мычит на ухо Иоанну нечленораздельное «ммм».

Потому-то Иоанна называют еще гласом божиим или просто голосом.

Кто знает, умеет ли папа вообще говорить?

Впечатление такое, будто ему неведом даже язык восклицаний. Насколько мне известно, никто никогда не слышал, чтобы он по-настоящему говорил.

По знаку папы стражники надевают на голову арестованному мешок.

Эдуард и все остальные осеняют себя ритуальным знамением. Касаются лба, груди, живота.

И вот стражники благоговейно бросают арестованного туда, где, как известно, находится колодец центрального мусоропровода.

Арестованный исчезает без единого звука.

Мы очень хорошо умеем уходить.

Не боясь, не впадая в уныние, не цепляясь за жизнь.

А вы? А?

8

Я покидаю свой телевизионный пост и двигаюсь по темным коридорам и шатким лестницам. Бегом, вприпрыжку («Ричард, когда, наконец, ты споткнешься и сгинешь?»), опрометью.

Я хочу (у!) вблизи видеть, что делается в тронном зале.

Информация — это все.

Мусор — это информация. За что (о!) я его и люблю, люди.

Я застываю черным пятном на черном (темном) фоне колонны.

Потихоньку — у, тсс! — вытягиваю шею. Шею рептилии.

(«Ричард — помесь черепахи с крокодилом».)

И плачу — крокодиловыми слезами. (Ахахахахах! Ах!)

Мой отец и красавчик Иоанн обмениваются нежностями.

Которыми я с детства (сроду) не избалован, а теперь уж и подавно без них обойдусь.

А где кардиналы?

Вот они, колдуют над компьютером. Компьютер все тот же — допотопный, ржавый. Мертвый хлам.

Но у них — ух ты! — он работает. Вибрирует, пыхтит, весело дребезжит.

Барахло. О, не совсем, конечно. Просто я обогнал эту штуковину. Ум может совершать все новые и новые операции, вплоть до экстралогических, при условии, что запоминающее устройство способно постепенно аннулировать прежние результаты.

Разум располагает ограниченной площадью.

Степень прогресса в области познания определяется количеством мусора (устарелой информации), которое память в состоянии переварить и забыть.

Все упирается в мусор, дорогие мои люди.

Идти по пути прогресса — значит забывать.

Кардиналы внимательно изучают данные, полученные на компьютере.

У-у, у них явно недовольный (расстроенный) вид.

Кардинал Далласский — Матфей сплющивает зубами сигару и с размаху бьет по компьютеру ногой.

— Дрянь, сволочь!

Машина молчит. Не ропщет.

Троица подходит к папе (с великим благоговением).

— Эдуард,— тихо говорит государственный секретарь.

— Ммммм.

Что должно означать: да не морочьте вы голову, не мешайте нам с Иоанном миловаться.

— Извини, Эдуард,— не унимается Марк,— так сказать, дела обстоят не ахти.

Ему вторит Матфей:

— Прямо-таки из рук вон.

— Темпы производства неминуемо снизятся,— подливает масла в огонь Лука.

Эдуард недовольно поднимает брови и вопросительно смотрит на своего Иоанна.

— Ммм. Ммм.

Иоанн кивает.

— Отлично.— И тут же, насупившись, кивает головой.— Прошу тебя, Эдуард, не впутывай ты меня в эти дела.

Эдуард не оставляет без внимания просьбу Иоанна:

— Верно, верно.

Разговор, похоже, окончен, но теперь уже я подаю голос:— Хм! — дабы привлечь внимание двух голубков (беленькие, что тот, что другой) к кардиналам.

Каковые, по-моему, имеют сказать нечто серьезное, и меня интересует, что именно.

— Так вот,— с расстановкой говорит Марк.— Если мы, так сказать, не примем незамедлительные меры, наш экономический план может провалиться.

Матфей бормочет, не выпуская изо рта сигары:

— Этого ни в коем случае нельзя допустить, о'кей?

Эдуард думает — несколько секунд, затем говорит (решительно) «ммм» на ухо верному Иоанну (красавчику).

Божий глас схватывает на лету.

— Отлично. Папа хочет знать, сколько фунтов на душу населения.

Лука с готовностью отвечает:

— Государственным планом предусмотрено на нынешний год выбрасывание каждым гражданином в среднем по сорок фунтов мусора в день.

Матфей размахивает перфолентой с данными компьютера. Губы, обхватившие сигару, горестно сжаты.

— О'кей. А у нас и по двадцать пять не выходит.

— Верно, верно. Скверно, скверно. Ммм.

— Отлично,— переводит Иоанн.— Папа говорит, что с подобным положением мириться нельзя.

Кардиналы начинают шептаться между собой. Но для моего привычного уха явственно каждое слово в их разговоре.

Марк предлагает сделать ставку на форсированное потребление готового платья.

Матфей, напротив, ратует за продовольственные товары. Включая стиральные порошки. Ишь ты.

Лука — поборник просвещения.

— Книги, книги и еще раз книги,— настаивает он, и при этом бородка у него дрожит.— Минимум по семь с половиной штук на человека ежедневно. Книг можно покупать бесконечно много, все равно никому и в голову не придет собирать библиотеку.

Поняли, друзья? Каждый гнет свою линию.

Так всегда. О да!

Вечно одно и то же. Всяк дует в свою дуду.

Папа прикрыл глаза: думает. Наконец он вверяет долгожданное «ммм» Иоанну.

— Отлично,— радостным голосом произносит красавчик, бросив на папу (моего отца) восхищенно-влюбленный взгляд. День отказа. Эдуард считает, что торжества в честь основания нашей церкви, церкви отказа, следует отметить грандиозным почином — Днем отказа. Потрясающе. В этот день все граждане сделают исключительно большие покупки. Рекордсменов ждут медали, дипломы и призы. Все на штурм рекордов: магазины, где прилавки опустеют раньше, получат премии — разумеется товарами.

— О'кей, хорошая идея,— поддерживает Марк.

— Наш Эдуард всегда на высоте положения,— подпевает Лука.

А, то-то же! Эдуард — мой отец. Ооо!

Матфей, одобрительно кивнув, выплевывает кусок сигары.

— День отказа. Недурно звучит, думаю, понравилось бы даже противникам, еретикам, раскольникам. Если бы они у нас были, ихихихи. О'кей. Для производства это будет как глоток кислорода. И веру укрепит.

Ну разве не молодец наш защитник культа? А? По-моему, Матфея можно пощадить, у меня пока что нет оснований для его ликвидации.

Тому, кто стремится к власти, здравый смысл подсказывает: врагов следует безжалостно (беспощадно) убирать. Это истина.

А?

Слышатся звуки трубы.

О!

У!

Уже?

Нет чтобы завтра.

Лука прислушивается:

— Это войска возвращаются из Европы.

Матфей бросает в воздух шляпу:

— Ууу, ту-ру-ру! Трубы трубят победу!

— Скорее, — торопит Марк. — Бежим встречать победителя.

Кардиналы убегают, и одновременно в тронный зал запыхавшись — уф — влетает Маргарита. Папская жена.

Моя мать.

Послушайте ее. Послушайте.

— Эдуард, это наш сын Георг. Он возвращается с победой.

— Браво, браво.

Скучным тоном.

Маргарита воздевает руки с переплетенными пальцами:

— Мои молитвы защитили его.

Эге. Иоанн смотрит на Эдуарда.

— Георг вернулся,— говорит он шепотом.— Лучше мне не мозолить ему глаза. А?

— Ммм,— отвечает (кисло) Эдуард.

Иоанн улыбается:

— Отлично. Я остаюсь. Только ведь и он будет мне завидовать — не меньше других. Я его боюсь.

Эдуард мотает головой — дескать, не бойся.

— Ммм.

— Как хочешь,— ласково отвечает Иоанн.— Располагай мной по своему усмотрению. Я был и остаюсь младенчески чист и невинен. Отлично.

Маргарита начинает проявлять назойливость:

— А ты что не идешь встречать нашего сына?

— Ммм.

Ворчливое мычание Эдуарда, всегда неохотно отрывающего зад от трона, если это только не связано с тем, чтобы отправиться спать, обращено к жене.

— Отлично,— без запинки расшифровывает Иоанн.— Он сказал: «Маргарита, пошла вон!»

О! Ого!

Пора. Я должен действовать. Сам не знаю как. Но немедленно. Сию минуту!

Колченогий Ричард.

Безмозглый Ричард.

Трус Ричард.

Ух!

Коварный Ричард.

Ах!

Мрачный Ричард.

Ричард без страха и упрека — а, то-то же!

9

Я крадучись обхожу вокруг колонны.

Выйдя на открытое место (на свет), сталкиваюсь с отцом. Опирающимся на руку Иоанна.

Мать притворяется, будто меня не замечает. И-и-и, и это в двух шагах! Ах, просто она игнорирует мое присутствие.

Отец при виде меня мрачнеет.

Он недоволен и сердито бросает мне:

— Ммммммм.

Иоанн усердно переводит:

— Отлично. Ты же знаешь, аббат Йоркский, что не должен выходить из своих комнат. Безмозглый слизняк.

Сказать ему?

У, я это вычитал в одной книге.

Нет, все-таки скажу:

— Сучий сын!

Ага, сказал.

Рыча, Эдуард отвешивает мне оплеуху. Ух, от которой я лечу на пол.

Вот это затрещина, люди!

Зато она питает мою ненависть.

Подогревает ее.

Умножает.

Мне больно. Я беспомощно барахтаюсь, перекатываясь на горбу. Ууу!

Оба голубка ушли. Маргарита собирается последовать за ними.

— Мать!

Она останавливается, не оборачиваясь. Маргарита.

— Чего тебе?

— Помоги подняться.

— Некогда. Я должна обнять Георга. Первая. Раньше всех.

Эх!

Я усиленно (отчаянно) болтаю конечностями. Будто опрокинутый на спину паук.

— Я тоже твой сын.

Протягивая мне руку, она старается не смотреть на меня.

— С ним-то мне повезло.

— Ну да, а со мной вышла осечка.— (Ай, ай, ай!) — Скажи, мать, это правда, что я родился преждевременно?

— Беременность была неблагополучной, я тебе говорила.

— Опля! Значит, как выкидыш я — нормальный, а?

— Перестань меня мучить, Ричард.

— Ты хочешь сказать, что Ричард действует тебе на нервы? — ору я.— Так бы и говорила.

О-о, обратите внимание, друзья: я начинаю огрызаться.

— Муки оставь мне, я ни с кем не намерен их делить. Будь проклят тот день, когда ты меня зачала. Какой это был день?

— Не помню.

— Тебе бы надо слезы лить, Маргарита.

— Э-э, это почему же?

— Полюбуйся, какого красавца сына ты произвела на свет. Мне и то за тебя стыдно.

— Я не виновата.

— Виноваты твои хромосомы. И гнилые хромосомы отца.

— Не хули земного бога. Хромосомы у меня в порядке. И у твоего отца тоже. Ведь родили же мы после тебя Георга — само совершенство.

У-у, увы, я не сразу, не вдруг нахожу, что на это сказать.

Опираясь на короткую ногу, я описываю другой ногой круг, будто циркулем. Это должно помочь мне углубиться — с целью выбора — в чащу (ухохихэхах) восклицаний, тесняцихся в моей голове.

Вместо этого я должен выкапывать, выуживать, извлекать на свет слова.

Без них в исторический момент не обойтись.

И только (о-о!) ненависть может служить ведром, способным поднять их из колодца моего мозга, моего интеллекта.

Слова.

От слов зависят победы и поражения.

— Послушай, что-то тут не так. Мы с Георгом не можем быть братьями — детьми одних и тех же родителей. Ты должна мне сказать правду, Маргарита, правду.

Я трясу старуху за плечо, впившись в него хищными пальцами. Старуху мать.

— Хочешь правду — о'кей,— вздыхает она.— Каждый вечер я молюсь, чтобы ты сгинул. Навсегда. Да, да. Это и есть правда, несчастный!

— Хороша мать! Вот мы и выяснили. Почти.

— Почему ты не смиришься, сын?

— Не называй меня сыном. В этой идеальной — счастливой — замечательной Стране, где живет избранная часть человечества, я, единственный, с кем природа сыграла злую шутку, должен смириться?

Я мог бы произнести монолог моего Ричарда III, но в этом нет необходимости. Я и так на высоте.

— Смириться? Ни за что. Скажи правду, когда ты была беременна мною, кто-нибудь бил тебя в живот?

— Да. Твой отец.

У меня подгибаются (подкашиваются) ноги.

— Мало того, что он зачал меня хуже некуда, так он еще и на плод ополчился! Но за что? За что (о-о-о!)?

— У твоего отца не было ненависти к тебе. Успокойся, Ричард, прошу тебя.

Я непременно должен поддерживать пламя ярости, жар болезненного (мучительного) любопытства. Ааа!

— Ты скажешь мне все. Все!

Маргарита отодвигает ногой серебряную (посеребренную) ложку, сползшую с мусорной кучи в проход на полу.

— Отвяжись. Я пошла к Георгу.

— Я старший. Должны же у меня остаться какие-то права.

Маргарита отводит взгляд:

— Твой отец меня ударил. Со зла. Ты зачат не им.

Э-э! Вот оно что! О-о!

Невозможно стать героем, избранным, не имея позади приключений, романтических историй или страшной тайны, которую нужно раскрыть, запутанного узла, который нужно распутать.

— Я знал, что мог родиться только от дьявола.

— Не пеняй на дьявола. Ты родился от европейца.

— От европейца? — (Ай-ай-ай!) — Кто он такой?

— Его уже нет.

— Убрали?

Маргарита показывает на обширную пеструю свалку, откуда начинается бездна центрального коллектора.

— Бросили туда, в эту мусорную кучу. Она была ниже, чем теперь, чуть выступала над полом.

О-о-о, отец, родная кровь!

Я говорю:

— И не подумаю о нем плакать.

— Это был справедливый конец.

У моей матери сердце как у них, у моих сограждан.

Твердые сердца, могучие.

Бьющиеся в каменной груди неизменно ровно.

У-у, удивительные сердца!

— Этот человек работал во дворце. Садовником. Он очень любил цветы. Тогда еще тут был сад. Он стал увиваться вокруг меня.

— Он был красивый?

— Европеец. Не такой, как наши мужчины. Однажды я ему уступила.

Собачья свадьба. В саду, на клумбе?

— Результаты налицо (ох!). Вот он, полюбуйтесь, плод несовместимых хромосом. Стало быть, твой муж пронюхал, но почему тогда он тебя пощадил? Ведь закон для всех один?

— Не знаю. Может, потому, что я сама ему все рассказала. Твой отец еще не был у власти. Ты его не знаешь, он не такой, каким тебе кажется.

— Он никогда не подпускал меня к себе.

И я не могу сказать, что он неправ.

— Теперь ты все знаешь, бедняга. Что поделаешь! Пропусти, я должна идти к твоему брату.

— К моему брату. К Георгу. У него все в порядке. Он законный сын Маргариты и Эдуарда. (Ах!)

— Это верно.

Неожиданно в голове складывается четкий план действий.

— Подожди, мать, я с тобой: хочу поздороваться с братом.

Она колеблется:

— Ты тоже идешь? Может, не стоит?

Я улыбаюсь — надо думать (ихихи), тошнотворно-приторной улыбкой.

— Увидишь, брат обрадуется мне. Он возвращается победителем. Значит, у него хорошее настроение.

— Смотри сам.

Мы идем вместе.

Хоть она и старая, я с трудом поспеваю за ней. Наконец мне удается с ней поравняться.

Эхехе, я ей улыбаюсь.

Затем с размаху (ух ты!) толкаю ее.

Мать проваливается, даже не вскрикнув. Поглощенная великолепной грудой мусора.

Ах — эхехе.

Я ковыляю (волочусь) к трону. Сажусь спиной к нему, на пол.

Окидываю взглядом разноцветное море мусора. А! Слова, прежде чем я успеваю подобрать их, сами собой приливают к моим губам.

— Старая шлюха! Надеюсь, эта прорва мусора осядет вместе с тобой до центра земли и еще глубже, где сплошная сырость и темнота. Здесь никто не умеет плакать. Никто не станет оплакивать твое исчезновение. Если Эдуард, нарушив закон, решил тебя пощадить, я восстановил справедливость. Теперь остается поглядеть, какая половина здоровая, а какая гнилая. Вперед! Достойно отметим возвращение аббата Гаррисбергского. Моего брата Георга.

Но ой, что это мокрое у меня на щеках?

Ах, друзья, я плачу.

Это слезы. Я плачу. Я умею плакать. Охохохохох. Оох! Аах! Ээх!

Я (у-у-у) укалываю себе палец.

Появляется капелька крови. Я смешиваю ее (ойойой) со своими скупыми слезами.

Пусть они будут кровавыми.

10

Я слышу их.

Их ликование, песни, музыку (ух, кто же мне в конце концов объяснит, что такое лютня?).

Я вынужден мобилизовать все свои силы, призвать все свое мужество. Чтобы появиться на людях, да еще при таком стечении народа, впервые с тех пор, как я стал взрослым. Мужчиной.

Но мой успех — если я добьюсь его — должен быть только открытым (публичным). Полный успех.

Кто-то идет. В военном комбинезоне.

Опля — я загораживаю ему дорогу.

Военный резко останавливается. Э-э-э, это же полковник Эней, его-то мне и надо.

— Аббат Йоркский? Ричард?

— Только не говори, что я тебя напугал, полковник Эней.

— А я и не говорю, раз такое дело.

— Храбрый воин. Бесстрашный воин. Ну, как европейский поход?

— Детские игрушки.— отвечает он, раскачиваясь на сильных ногах. (Да, друзья, ничего не скажешь, отличный экземпляр.) — Фактически мы не видали врага. Плевое дело, раз такое дело.

Я вытягиваю шею, пытаясь заглянуть ему в лицо.

— О, значит ты заслужил генеральский чин, мой дорогой полковник Эней.

По его квадратной — фи! — физиономии пробегает тень замешательства (беспокойства).

— Видишь, Ричард, я про это думал, да не знаю, тяну ли на генерала.

— Говоришь, думал?

— Ага, частенько, раз такое дело.

— Эй, Эней, думать предоставь другим. Значит, не хочешь быть генералом?

— Ясно, хочу, раз такое дело.

(Паук плетет основательную паутину, у-у, еще какую!)

— Или ты предпочитаешь по-прежнему ходить в подчиненных у генерала Ахилла, а?

— Раз такое дело, генерал Ахилл был в Европе на высоте. Он командовал запуском ракет: ни единого промаха.

— У тебя бы не хуже получилось. Скажешь, нет?

Он соглашается не моргнув глазом:

— Так точно, раз такое дело.

Должен объяснить вам, что с полковником Энеем я знаком тысячу лет. Мы, можно сказать, друзья.

У нас уговор. С дальним прицелом. Я помогаю ему стать генералом, он мне — достигнуть.

А чего достигнуть — э, это ему незачем знать.

Ах да, я и сам не знаю.

Я медленно обхожу вокруг Энея. Опутывая его своей паутиной.

— Ты должен соблюдать наш уговор, полковник Эней. Полагаю, в Европе ты виделся со своим отцом. Как поживает барон Небраскский? Хорошо?

Эней еле слышно отвечает:

— Да. Раз такое дело.

— Небось он с трудом выкроил время повидаться с тобой, по горло занятый своей торговлей. Думаю, он еще больше разбогател. Говорят, Европа стала раем для бизнесменов. А если бы я шепнул папе (э-хе-хе), что барон Небраскский уцелел при ликвидации аристократии, что ему, живому, был воздвигнут величественный пантеон и что полковник Эней, вместо того чтобы ликвидировать своего отца, ай-ай-ай, помог ему бежать в Европу?

— Ты был моим сообщником, раз такое дело.

Я ждал этой его попытки — ишь ты! — выйти сухим из воды.

— По-твоему, значит, вина лежит на нас обоих. Э, Эней, ты забываешь, что я — сын Эдуарда. Ты у меня в руках, а у тебя в руках что? Пустота. (Кулаки Энея, обтянутые перчатками, как бы сами собой раз-

жимаются.) Вот видишь, шевелить мозгами — это не по твоей части.

— Раз такое дело. Ох.

Все в порядке, люди. В ажуре. У, мой план начинает себя оправдывать. О, отличный план.

Пальчики оближешь.

Я отделываюсь от горе-вояки:

— Уходи. Сюда идут.

Эней убегает в ту сторону, где ликующие голоса стараются перекричать медь оркестра.

Посмотрим, кто бы это мог быть.

Тсс! Шаги женские.

А, Анна.

Опустив голову, она привычными мелкими шажками пересекает по диагонали зал.

Там, где она проходит, друзья, мусор блестит, как бы обретая былую — эфемерную — жизнь новых, только что купленных вещей. Ей-ей, она движется в мою сторону. У!

Раньше, чем меня, Анна — ах! — замечает мою уродскую тень.

— Проклятье.

Мне же слышится приветливое «здравствуй». Я вовсе не хочу сказать, что Анна чревовещательница. Просто девочке оказалось не под силу — уф! — выучить две сотни слов, вот она и вынуждена обходиться (довольствоваться) десятком, даже меньше, у, удивительное существо.

— Скажи, Анна, как тебе больше нравится меня называть? При нашей последней встрече ты назвала меня чертом.

— Тьфу,— говорит она с обычным (очаровательно отрешенным) видом.

— Прекрасная невестка, я намерен на тебе жениться. Оракул поведал мне, что ты скоро овдовеешь. Мой братец Георг не сегодня-завтра (ихихи) исчезнет. Он выиграл войну, но проиграет мир. Так что готовься к свадьбе, Анна.

— Проклятье.

— Ты хочешь сказать, что я женат? Ничего страшного. Бетти у меня добрая и понятливая. Она готова к худшему и даже удивляется, что худшее для нее еще не наступило. Чем скорее оно наступит, тем скорее подтвердятся ее ожидания. Аяй, бедная Бетти! Лучше не заставлять ее слишком долго ждать.

— Господи.

Разве словарь (лексика) Анны не ой-ой-ой?

— Анафема,— рассеянно говорит она.

Ах! Любимый?

— Куколка! Ты — лучший экземпляр нашего женского ассортимента. Дорогая Анна, ты ошиблась, поставила не на ту лошадь. Ты должна была выйти за меня. К счастью, теперь у тебя будет возможность поправить дело. Ну-ка, сядь на трон.

Ооо!

— Проклятье.

На сей раз это вырвалось у меня.

Ага, Анна поворачивается и медленно, на негнущихся ногах робота, словно подчиняясь моему внушению, идет к трону.

Ух!

На золоченой спинке трона тусклым густым слоем скопилась пыль.

Анна протирает позолоту (дерево? алебастр?) рукавом балахона, после чего (о-о!) пристраивается (располагается) у левого подлокотника, где сбоку имеется углубление. Специальная выемка — место для папской жены во время официальных церемоний. Наверняка чтобы ей удобнее было стоять. На собственных ногах (ах).

Анна (если быть точным) не села на трон. О, она правильно выбрала свое место. Свое будущее место.

Я подзываю ее жестом. Она покорно возвращается.

Просто прелесть.

Где бы нам посидеть?

Вообще-то мне трудновато взбираться на стулья, да и не время рассиживаться.

Я неожиданно появлюсь в самый разгар праздника и произнесу речь.

Все герои — ведь правда? — умеют произносить речи.

Вот и я сделаю то же самое.

Какую речь?

Я судорожно перебираю список своих трудных слов. («Этот сумасшедший Рикки придумал язык, понятный ему одному».)

О-о, речи из них не получится.

Я мог бы представить широчайший набор восклицаний.

А что, если начать просто и сжато?

— Извольте убраться с дороги и дать мне власть!

— Какую власть?

— Которая мне полагается, вот какую.

Ух!

— Ладно, ты только объясни какую. Покажи!

— Показать? Что показать?

— Власть.

— Ясно, что власть. Понятно.

— Ну?

— Я не знаю. Это вам не коня требовать. Дескать, коня, коня! Полцарства за коня!

— Мы поняли. Коня ты не хочешь. Может, хочешь кота?

— Да нет же, животных я не люблю. Не хочу никаких животных.

— Ричард, не морочь нам голову своей ахинеей.

Ах! Ох!

— Я сказал, что мне нужна власть. Вся власть.

— Будь по-твоему. Ричард, можешь забирать власть. Она твоя.

Анна — ах — тем временем ждет.

Она-то чего хочет?

Понял. Она хочет чествовать победителей. Вместе со мной, под ручку (ух ты!). Под ручку так под ручку, только надо ведь еще приноровиться к шагу друг дружки, ихихи.

— Анафема.

(Это не Анна. Это опять я, а язык ее, Анны.)

Поздно. Ликующая толпа направляется сюда.

Спокойствие, Ричард, не дрейфь. Ты всего-навсего беседуешь (мило) со своей дорогой невесткой. В этом нет ничего предосудительного, о'кей.

11

Появляется — вваливается — верхушка курии в полном составе.

Ух ты!

Впереди, повиснув на руке Иоанна, выступает папа.

Слева от папы — Георг, виновник торжества. В военном комбинезоне, с кучей шевронов на рукавах (ах ты!). Высокий, красивый.

Только вот зубы подкачали (ихихи): лошадиные.

Я вижу кардиналов и еще одного военного, которого вы еще не видели (не знаете). Это генерал Ахилл. Шустрый, несмотря на тучность.

Вот полковник Эней.

Ей-ей, и моя жена Елизавета тоже тут!

У, у всех в руках бокалы! Снаружи, за стенами зала, по-прежнему звучит музыка (музыканты знают свое место).

Папа с Иоанном располагаются на троне.

Кардинал Бейкерсфилдский Марк, госсекретарь, первым бросается навстречу Анне, берет ее руку в свои.

— Так сказать, прекрасная, бесподобная Анна!

— Ура,— отвечает Анна обычным своим тоном. Индифферентно.

Матфей, кардиналище Далласский, на которого возложена защита культа, приветственно машет Анне шляпой. Белой.

— О'кей, а мы как раз спрашивали себя, где же очаровательная Анна, несравненная супруга Георга, аббата Гаррисбергского, главнокомандующего нашей непобедимой армии.

Великий инквизитор, кардинал (с бородкой) Ричмондский Лука, устремляет на меня ледяной взгляд.

— Если мне не изменяет зрение, и аббат Йоркский тут.

Все обращают внимание на омерзительного паука. Ах! Все кроме моего братца, который, как пристало бравому вояке, знай себе сосет из фляги пепси-пойло. Он считает, что, если военный не на боевом посту, его долг в том, чтоб напиваться. Есть у Георга и другие предрассудки, но (о!) не будем забегать вперед.

— Ммм,— изрекает Эдуард.

Мы с нетерпением ждем перевода.

— От-лич-но,— вяло скандирует Иоанн.— Эдуард говорит, что в порядке исключения Ричарду разрешается остаться.

Я поднимаю голову настолько, что могу видеть папские туфли. И-и-и, изрядно ношенные!

— Ты не представляешь, отец, как я рад твоему разрешению!

О, он и не думает меня слушать, куда там!

Георг подходит к жене:

— Разрази меня гром, кто эта прекрасная особа?

Генерал Ахилл толкает его локтем в бок:

— Да ведь это Анна, твоя жена. Твоя жена.

— Ты прав, Ахилл, разрази меня гром, это моя жена. Как живешь, жена? За покупками каждый день ездила?

— Ну.

— Большие покупки?

За нее отвечаю я. Сладким (елейным) голосом:

— Как подобает семье главнокомандующего. Вождя победоносной армии.

Георг смотрит на меня долгим вопросительным взглядом.

Наконец, когда кто-то уже решается прийти ему на помощь, он меня, у, узнает.

— Разрази меня гром! Ты еще не подох, братец?

— Пока нет. Я обнаружил, что чудеса природы вроде меня нередко очень живучи. Дорогой брат, насколько я знаю, в Европе все прошло хорошо.

— Можешь не сомневаться, мой дорогой калека.— Он поворачивается и кричит во все горло стоящим рядом: — Полковник Эней! Генерал Ахилл! Где вы? Уснули, что ли? Разрази меня гром, я хочу чокнуться с вами!

Стоп. У меня в черепной коробке, под крышкой, шевелится подозрение — ну да, догадка. Генерал Ахилл!

Ахилл начинается с «А».

Он-то и (может) должен быть автором записки.

Ишь ты!

Я смотрю на жену.

Елизавета ничего не видит, кроме мусорного изобилия в тронном зале. Я знаю, что ее мозг бешено (лихорадочно) работает в эту минуту. У! Прикидывает и подсчитывает стоимость выброшенных вещей, лежащих сверху.

Георг начинает рассказывать (громогласно, о!):

— Йес, все прошло как по маслу. Разрази меня гром, этих лопухов европейцев прямо-таки оторопь взяла. Они даже не сообразили, с какой стороны нападение.

Когда-то эти самые европейцы являлись нашими союзниками. Подзащитными. Вассалами.

— Из-за Европы у нас вечно были одни неприятности,— задумчиво роняет кардинал Марк.— Так сказать, непонятно почему.

— Были и есть, дорогой госсекретарь,— уточняю я.

Кардинал смотрит на меня вопросительно. Хочет услышать, что я имею в виду.

Жестом показываю, что, мол, потом объясню, и обращаю его внимание на Эдуарда, мычащего в ухо Иоанну:

— Браво, браво. Ммм.

— Отлично. Папа желает знать, хорошо ли зарекомендовало себя новое атомное оружие.

— А то нет, разрази меня гром! — Словно слепой, Георг ощупывает комбинезоны своих соратников.— Ахилл! Эней! Где вы там? Это наш общий праздник!

Кардинал Матфей с сигарой во рту энергично (ох ты!) потирает ручищи.

— О'кей, я знал, что бомба Р феноменальная штука. Пожалуй, не помешает как-нибудь взорвать несколько бомбочек — во славу божию — и у нас дома.

— Это мысль,— соглашается Лука.

Георг, тряхнув головой, с закрытыми глазами воскрешает в памяти приятные эпизоды европейской кампании.

— Йес, разрази меня гром, бомба Р шикарная игрушка. В несколько секунд все вещи будто ветром сдуло, и кого ни возьми из этих дерьмовых европейцев, всяк остался гол, как осиновый кол.

Живот генерала Ахилла с трудом удерживается ремнем.

Он рассказывает (докладывает). Ахилл.

— Подготовительный ракетный обстрел продолжался не более восемнадцати часов.

У Марка глаза на лоб лезут под малюсенькими стеклами очков.

— Так сказать, всего восемнадцать часов?

Георг усмехается. Самодовольно.

— Йес. У европейцев для перехвата было несколько штук старых ракет. Допотопных. Разрази меня гром, мы на них трусов и тех не оставили. Радиация все разъела, даже ключи от квартир.

Марк захлебывается от восторга:

— И ни одного убитого?

Отвечает полковник Эней (его очередь):

— Ни одного раненого, раз такое дело. План операции был выполнен до последней детали.

— В результате чего вы доставили сюда миллион рабов,— спешу вставить я.

Лука поправляет меня:

— Тружеников, аббат Йоркский. Тружеников. Мы рещили открыть границы нашей традиционно гостеприимной страны для одного миллиона тружеников из Европы — бедных безработных.

Матфей принимается жевать новую сигару.

— О'кей, наша экономика не имеет себе равных. Она постоянно нуждается в рабочих руках, обеспечивает прекрасные заработки и растущие масштабы потребления. Никакой инфляции, при том что размеры накоплений и объем капиталовложений находятся в постоянном равновесии. Мы гордимся своей великой Страной, процветающей под мудрым водительством церкви отказа.

Мы все осеняем себя ритуальным тройным знамением.

Торжественно (о!).

В подобных случаях я прихожу в состояние (у!) умиления и на глазах (ах!) у меня выступают слезы.

— Верно, верно. Ммм.

Иоанн растерянно качает головой.

Что бывает с ним крайне редко.

— Извини, Эдуард, я тебя не понял.

— Ммм. Ммм. Ммм.

— Отлично. Европа, оставшаяся без ничего, нуждается во всем. В сырье, в станках и особенно в товарах широкого потребления.

— Разрази меня гром! — орет Георг.— Мы им все и продадим, да?

Как по команде вступает трио кардиналов.

Марк. Так сказать, экспорт готового платья.

Матфей. Продовольственных товаров, о'кей.

Лука. И книг. Наша культура благодатно наводнит Европу.

У, ух ты! Их эйфорию можно понять.

Все очень (страшно) довольны. Смеются. Ихихи!

Ахаха! А почему бы и мне не посмеяться? Но я смеюсь в предвкушении того, что скоро произойдет.

Георг дождался своего часа и хочет насладиться славой до конца: о, он ведь никогда не знал такой популярности, как в эти минуты. Успех — ооо! — опьяняет его.

— Нет, вы послушайте, разрази меня гром! Эту дурацкую грамоту, все эти буквы-букашки разве не европейцы придумали? Так вот, лично я себе не враг, и у меня никогда не было желания учиться писать. И у моих людей тоже, черт подери! Золото, а не люди! Эней, Ахилл, куда ж вы запропастились?

— По правде говоря,— замечаю я,— кажется, генерал Ахилл немного умеет писать.

Ахиллу хоть бы хны — можно только удивляться его невозмутимости.

Я ехидно (саркастически) взираю на мою дражайшую половину.

— А ты, Бетти, что на это скажешь?

— Ничего, будь уверен. Интересно, где Маргарита?

Ага! Я делаю наивное лицо:

— Мама? Действительно. Ее нет.

— Йес, разрази меня гром! — кричит Георг.— Где наша мать?

О, от моего внимания не ускользает понимающий взгляд (молниеносный), который бросает на меня Эдуард.

Неужели до старика (ах ты!) дошло (ох ты!), что Маргариту (ух ты!) убрал не кто иной, как я?

Выходит, теперь он знает, что не такой уж я тихоня?

Папа ищет ухо Иоанна.

— Ладно, ладно. Ммм.

— Отлично,— поддакивает Иоанн, глядя в мою сторону.— Отлично.

Впервые он смотрит на меня внимательно. О, даже с любопытством! У, удивленно.

12

Пора.

Я хочу выйти вперед (и-и-и!) и второпях спотыкаюсь о вазу (китайскую) в пасхальной целлофановой упаковке, торчащую из мусорной кучи. Грохаюсь на пол.

Смейтесь, господа, ах, смейтесь на здоровье!

Я начинаю. С трудом поднимаясь на ноги.

— Дорогой брат Георг! Аббат Гаррисбергский! Нация в долгу перед тобой. Я хочу первым выразить тебе нашу безграничную благодарность. Эхо твоей победы услышат грядущие поколения, которые придут на смену нам, твоим счастливым современникам, свидетелям этой великой минуты.

— Черт подери, Ричард, я рад слышать это от тебя. Разрази меня гром, если я не думал, что ты уже подох!

Ишь чего захотел! Я перехожу (у-у-у!) на бреющий полет и открываю прицельный огонь.

О! Обратитесь в слух, люди.

— Наш отец и славные кардиналы нашего отца, бога на земле, воздадут тебе по заслугам, я уверен. Должен признать, что ты превзошел мои ожидания. Хотя больших надежд, откровенно говоря, я на тебя не возлагал. Знаешь, что напоминает мне этот день? Время, когда самым серьезным твоим занятием было уничтожение домашней птицы и скотины. Кур, свиней, овец, индюшек, гусей.

Георг зажмуривается, отдаваясь приятным воспоминаниям.

— Разрази меня гром, если я не перебил всю живность!— Он заливается неудержимым (гомерическим?) смехом.— Помаленьку.

У, живодер! Я даю аудитории успокоиться.

— Еще вчера ты не умел звонить по телефону — в цифрах путался. А, Георг?

— Подумаешь! Разрази меня гром, если я и сегодня не путаю шестерку с девяткой!

— Зато ты умеешь нажимать кнопку: нажал — и ракета летит.

— Йес, это точно, разрази меня гром!

О, обратитесь в слух! Слушайте, люди или друзья (как вас там?), ибо вам предстоит оценить мои дела (о-о!), о которых я подробно рассказываю в этой книге.

В книге?

— Хорошо бы и впредь были войны, дабы ты, Георг, имел возможность показать, на что способен. Войны, которые под силу выиграть даже ребенку. Одному из наших цветущих розовощеких малышей. Войны во имя прогресса и мира, а других мы и не ведем. Я прилюдно (открыто-о!) восхищаюсь тобой и завидую тебе. И не потому, что это твой триумф, что тебя чествуют и венчают славой. На нее я не претендую, она всецело твоя, лавры меня не волнуют — суета сует. Я, Ричард, охотно бы поменялся с Георгом ради всей той власти, которая у него в руках и которой он мог бы воспользоваться, если б только захотел. Да что я говорю, власти — могущества, дарованного свыше и сравнимого лишь с могуществом нашего отца, великого папы Эдуарда.

Хотя папа ни разу на меня не взглянул, он не упустил ни слова из моей речи.

— Верно, верно,— говорит он Иоанну.— Ммм.

— Отлично. Отлично,— расшифровывает Иоанн. Явно оживившись.— Папа хотел бы услышать от аббата Йоркского, что бы аббат сделал, будь он Георгом.

Прежде чем ответить, делаю (выдерживаю) подобающую паузу. У-у-у!

— Я скажу не столько о том, что бы я сделал в будущем, сколько о том, что сделал бы во время последней войны в Европе.

Все слушают меня в молчании. Ишь ты!

Мой рот наполняется черной, ой, сладкой слюной.

— Миллион человек, здоровых и трудоспособных, представляет собой великую силу — армию, которая в состоянии завоевать мир. Итак, Георг — я, понятно?

— Нет, я Георг, разрази меня гром!

Смотрю на застывшие лица кардиналов — одного (о!), второго (о-о!), третьего (о-о-о!).

— Согласен. Европейские рабочие не были доставлены сюда силой, их привели в нашу Страну нищета и голод. Они даже не подозревают, что это мы обрекли их на нищету и голод, и приписывают свои несчастья неизвестному агрессору. Более того, им кажется, что мы пришли им на помощь, избавив от нищеты и от голода. Понятно?

Выгнув брови, Марк поправляет очки, делающие его глаза воловьими.

— Хорошо. Но, так сказать, что же сделал Георг?

— Йес, разрази его гром! Что он сделал? — интересуется Георг

— О, очень простую вещь! Попросил этих людей помочь ему захватить власть. Чтобы стать королем.

Слышите, а? Прислушайтесь — и вы уловите лихорадочный стрекот всех придворных мозгов. Советую также обратить внимание на шевелящиеся губы.

Уста.

Первым решается обнародовать свои мысли Георг. Он цепляется за слова, подсказанные ему польщенным самолюбием.

— Королем? Черт подери, вот это мысль! Разрази меня гром!

Я ему улыбаюсь:

— (Ишь, чего захотел!) Разрази тебя гром!

Моя улыбочка переходит в язвительную ухмылку.

Георг грезит наяву (у-у!).

— Королем! Разрази меня гром! Вот здорово!

О! О-о!

Сейчас слова должны быть беспощадно язвительными.

— Теоретически наш кардинал Марк, государственный секретарь, допустил оплошность, не выделив надежного сановника для контроля армии и ее действий. Таким образом, Георг был окружен исключительно офицерами, преданными ему. У, ни для кого из нас не секрет, что наша армия без ума от аббата Гаррисбергского.

— Королем,— повторяет Георг, и под бескрайними сводами тронного зала долго не смолкает восторженное эхо.— Вот это да, жена!

— Черт,— вторит ему Анна.

Мне удается продолжить.

— Но на наше счастье, один из старших офицеров генерального штаба может быть свидетелем постыдного сговора Георга с европейскими рабочими. Ценным свидетелем — в случае необходимости.

У Марка дрожат губы.

— Так сказать, что ты хочешь этим сказать? Объясни.

Матфей швыряет шляпу на пол и топчет ее. В сердцах. Ах!

— Что это еще за история с королем? Нельзя ли поясней? Эй!

— Отвечай! — грохочет Лука.

— Кто ответит? — спрашиваю я елейным голосом.— Может, ты, брат? Не хочешь ответить?

— Разрази меня гром. Король? Я?

Я поднимаю голову (у-у!), чувствуя, как хрустят при этом шейные позвонки — вот-вот сломаются.

— Стать королем,— кричу я,— значит надеть золотую корону, усыпанную брильянтами, смести папу, кардиналов и всю церковь отказа!

Отец привлекает к себе Иоанна:

— Ммм. Верно, верно. Ммм.

Иоанн хмурится.

— Отлично. Папа приказывает арестовать и заключить в тюрьму аббата Гаррисбергского по обвинению в предательстве и ереси.

— Так сказать, стража, выполняйте! — распоряжается Марк.

Я спешу помешать стражникам.

— Стойте! Вы с ума сошли! Анна, клянусь тебе, я буду защищать твоего мужа ценой собственной жизни!

Анна невозмутима. Такое впечатление, будто она никого не видит. Никого. Во!

— Ура,— лепечет она.

Матфей вцепляется мне в руку. Он вынул из пасти сигару.

— О'кей, хромоногий, прочь отсюда!

Лука хватает меня за другую руку.

— Ступай в свои апартаменты!

Еще немного — о! — и они меня растерзают.

Я дрыгаю в воздухе короткой ногой (ой!), пытаясь вырваться. А-а-а-а-а!

Я кричу:

— Это произвол, беззаконие, насилие, с которыми я не могу мириться! Вы не знаете, что такое воображение, и путаете его с действительностью.— (Эхвыух) — Лука, я взываю к тебе как к великому инквизитору, поборнику правосудия.

— Правосудие свершится, обещаю тебе. Стража!

Стражники окружают Георга.

Ах! Я пытаюсь его обнять.

— Положись на меня, Георг. И ты тоже, Анна. Ты знаешь почему.

— Чепуха, брат,— хорохорится Георг, уклоняясь от моих объятий и вверяя себя стражникам.— Разрази меня гром, терпеть не могу, когда ты лезешь ко мне с нежностями!

— Ммм!

Иоанн хлопает в ладоши, привлекая всеобщее внимание.

— Отлично. Праздник окончен.

Наконец-то (о!) я остаюсь один.

Я танцую импровизированный танец. Непристойный (раскорякой). Это от радости.

И-их-хи! О-хо-хо! Гениальный план!

У, увидите! Увидите кто такой Ричард!

Гоп-ца-ца, гоп-ца-ца, гоп-ца-ца!

13

Я отплясываю вовсю — у-ух! э-эх! — когда замечаю (обнаруживаю), что я не один в зале.

Кто-то стоит у колонны.

О, да это женщина!

Молодая.

Но как она одета? А? Вместо балахона — майка и брюки в обтяжку. Ух ты!

— О!

Очень красивая. Брюнетка. Ах, хороша, хотя рот маленький, большеносая, лоб не выпуклый.

— Э!

— Эй, ты умеешь говорить только «э» и «о»? А танец твой ничего, забавный.

О, она разговаривает!

Разговаривает, как героини моих приключенческих книг. У нее мелодичный низкочастотный голос, бойкая (непринужденная) речь.

— А ты кто такая?

— Мария.

Она смотрит по сторонам скорее с любопытством, чем с восхищением.

— Это и есть знаменитый папский дворец? Неплохо. Только не мешало бы побелить.

— Меня зовут Ричард.— Я не могу справиться с волнением.— Одну минутку!

У, теперь я осознал исключительность сложившейся ситуации! Грандиозно! О-о!

— А тебе не страшно на меня смотреть? Не противно?

Мария улыбается:

— Что у тебя с ногой?

— Она у меня от рождения такая.

Мария покачивает головой. Поджимает губы — дескать, жаль.

— Акушер виноват,— уверенно заключает она.— Наверняка тащил тебя щипцами.

Мария.

О, она восхитительна — первый раз в жизни вижу такую!

И подходит совсем близко. О-о!

— А еще я чуточку горбат.

Чуточку! У-у!

Она смеется. Можно подумать, что ее смешит мой горб. Что он ей (ей-ей) нравится: этакая симпатичная деталь.

Важная?

Внушительная?

Величественная?

— Горб приносит счастье, ты не знал? Дай потрогать.

О'кей, пусть потрогает, если охота.

— Горбок, а горбок,— напевает она,— подай денег в оброк.

Бросает взгляд на горы мусора. Ах, она не скрывает своего неодобрения!

— Ого, сколько мусора! Да вы в нем утонете! Вот грязнули!

— Перед тобой свидетельство нашего несметного богатства. Ты видела наши дома?

— Да, башни, небоскребы. Все с размахом.

— Жилые только верхние этажи. Нижние заняты мусором. Обрати внимание на эту громадную кучу. У, представляешь, где ее подножие? На глубине пятисот футов, даже больше!

Марию не проймешь.

— Развели свинство! А улицы во что превратили! По обе стороны тянутся свалки. Сначала я думала, это стены, а оказалось — мусор. Стены мусора.

— Спрессованного мусора.— (А как же!) — Пространство — единственное из природных ресурсов, которое мы должны экономить.

— Так запустить папский дворец! Форменное безобразие! Кощунство!

Э, это ж надо, до чего могут расходиться (отличаться) точки зрения.

И-и-и! И все-таки, люди, она мне нравится, эта Мария.

Ах!

— Ты смотрела на небо?

— Да. Виден только маленький кусочек. С кучей звезд. Они и днем есть.

— Это спутники. Набитые мусором.

Она ошеломлена (потрясена). А чему тут удивляться, когда все ясно (понятно)?

— Вы самый грязный народ на земле.

Начинаю терпеливо объяснять:

— Раньше, много лет назад, часть мусора выводилась на космические орбиты.

— Чушь какая!

— Не скажи. Правда, от этих запусков пришлось отказаться по причине растущей опасности для воздушных сообщений.

— И вы предпочли тонуть в мусоре.

О!

— Людям нравится такая жизнь. Люди довольны. Они имеют наглядное представление о товарах, которые в состоянии приобрести, и о достигнутом уровне благосостояния. По-моему, это хорошо, так и должно быть.

— Ненормальные! Меня предупреждали, что вы ненормальные.

— Мария,— ласково произношу я.— До

чего смешное имя! Я сразу понял, что ты европейка.

— Я приехала работать. У вас нет безработицы, и вы хорошо платите. Знаешь, в Европе произошла катастрофа — что-то вроде космической бури, после которой у нас ничего не осталось, хоть шаром покати. Что бы мы теперь делали, если б не вы?

Э-ге-ге! Эге! Э!

Мария. Европейка. Ах, друзья!

Она прелесть.

А меня европейские хромосомы вон каким сделали!

Кажется, Мария что-то сказала. А?

— Я прямо с работы. Схожу-ка, думаю, гляну на папский дворец. А тут, можно сказать, смотреть не на что — голые стены.

Она направляется к ближайшей мусорной куче и разглядывает ее. Все пристальнее.

У, удивляется! Пораженно ахает.

— Только ничего не трогай, слышишь, Мария!

Она все еще не может опомниться. Такое впечатление, будто ее не слушается язык.

— Бог ты мой, Ричард! Да ведь это издевательство над бедняками! Новые вещи! Еще в упаковке!

Бог Ричард! А? О!

— Говорю тебе, наша страна (о-о-о!) очень богатая.

— Богатая? Нет, это просто безумие, дикость, абсурд! Скажи правду, все эти вещи — муляжи? Не может быть, что они настоящие.

Типичная (классическая) реакция неверующих, да, да,

— Ради бога, не трогай!

Мария сама не своя.

— Но это же валяется на полу — протягивай руку и бери! Почему нельзя? Разве у этих вещей есть хозяин?

— Нет, теперь уже нет. Но притрагиваться к ним — грех. Смертный грех.

Хахахахаха, Мария смеется как ненормальная.

— Запретный плод! Вроде яблока, из-за которого Адаму и Еве пришлось проститься с земным раем.

— Если ты что-нибудь поднимешь, то умрешь. (У-у-у!) Умоляю, Мария, не делай этого.

Э, это еще кто такие?

Три человека. Молодежь.

Все в брюках. Не иначе — европейцы. Вон и бороды у них, и волосы длинные. Патлы.

— Мария! — окликает один из парней.

Статный, видный собой.

— Пойдем, сестренка, пора,— говорит другой. Кучерявый, черный как смоль.

Третий — длинный, костлявый.

— Мария, уже поздно.

Спрашиваю у Марии, кто они.

— Мы вместе работаем. Двое — мои друзья, а это брат.

Статного зовут Брутом.

Черный, с кучерявой бородой,— брат Марии, его зовут Кассием.

Имя костлявого — Гораций.

У! У них тоже не вызывает удивления — ужаса — мое уродство!

По европейскому обычаю (странная манера, а?) они протягивают мне руки для рукопожатия.

Я оставляю свою руку при себе и только представляюсь по имени.

К Марии моментально возвращается веселое настроение, и она снова (ай-ай-ай) кощунствует (святотатствует):

— Видали, сколько добра?

Кассий, брат Марии, смотрит недоверчиво. Рта не видно за бородой. Только нос торчит. Длинный, мясистый.

— Люди выбрасывают новые вещи. Ишь ты, и никто не подбирает!

Брут спокойно-задумчив. Нетрудно догадаться, что мозг его напряженно (интенсивно) работает.

— Булавку и ту не возьмут!..

Естественно.

— Это прòклятые вещи,— говорит Гораций.— Не нравятся они мне. Идемте отсюда.

Э, этот Гораций не лишен здравого смысла!

14

Люди, друзья, я сразу заметил разницу между тремя европейцами, с которыми меня познакомила Мария.

Осанистый Брут — явно самый умный (сообразительный) из тройки. В нем чувствуется притягательная сила. О, он держится как человек, умеющий заставить уважать себя. Подчинить себе.

Кучерявый Кассий предан Бруту. Изо всех сил ему подражает, так что они даже похожи.

Я понял еще одну вещь: между Брутом и сестрой Кассия что-то есть (любовь?). Да, да, между Брутом и красавицей Марией, которой, увы, безумно (до́ смерти) охота запустить руки в мусор.

Грешница. Глупенькая. О-о, очень плохо.

Ясно, Кассий рад, что у сестры шашни с Брутом.

Костлявый Гораций?

У! У этого юркие, бегающие глазки хитреца. Типа, который внешне с вами заодно, а в действительности себе на уме, знает, что ему выгодно, и в случае чего поступает (действует) по-своему.

У!

Люди, сколько я узнал о вас, читая приключенческие романы!

— Лучше вернуться в Европу.— Брут не обращает внимания на мое присутствие.— Сумасшедший дом, а не страна.

Упрямая Мария ничего не желает слышать.

— Кто сумасшедшие, так это мы: не воспользоваться богатством, которое само просится в руки! Не хотите, не надо. Без вас обойдусь!

Я бросаюсь к ним.

— Если вы ее любите, скажите, чтоб не трогала мусор. Нельзя, запрещено. Закон есть закон. Он неумолим.

— Какой еще закон? — сердито спрашивает Мария.

— Наш.

— А мне на него плевать!

Я не одобряю ее слов, но мне нравится смелость Марии, если, конечно, это можно назвать смелостью. А?

Я хотел бы ее спасти — за красоту и за то, что она не обзывает меня хромым пауком.

— Мария, когда ты станешь гражданкой великой Страны, у тебя не только пропа-

дет желание ковыряться в мусоре, но ты сама будешь мчаться из магазина домой, предвкушая удовольствие, с которым выбросишь все, что накупила.

Гораций дополняет мою мысль:

— И тем самым внесешь свою лепту в мусорную сокровищницу.

Сметлив, ничего не скажешь. У такого все строится на разуме и расчете.

А вот Марию трудно назвать благоразумной.

— Слышь, приятель, брось меня разыгрывать,— говорит она мне.— Ты хочешь, чтоб я работала, надрывалась, а заработанные деньги — псу под хвост? Да мне того только, что я в этом зале вижу, на сто лет хватит.

Жалко. Такая молодая. Красивая.

— Значит, не боишься?

— Ни капельки.

— Откровенно говоря, следовало бы на тебя донести, пока меня не сочли твоим сообщником. Но я ничего не знаю. Ничего не знаю и ничего не вижу.— Я порываюсь уйти.— Кто из вас может сказать мне, что такое лютня?

Все четверо качают головами. Пожимают плечами и смеются.

— Кажется, музыкальный инструмент.

— Первый раз слышу.

— На что она тебе?

Ковыляю к выходу.

— Постой!

Это Брут. Меня окликнул он, вожак.

Тут же к нему присоединяется Кассий.

— Да, да, подожди! Сам-то ты кто, нельзя ли узнать?

— (Ишь ты!) Лучше вам не знать.

Живо отсюда!

Ах, чертова хромота!

Я хочу понаблюдать за ними при помощи телекамер.

Вот они, все четверо (Мария дрожит от нетерпения), перед роскошной грудой добра (мусора).

— Ну? Чего ж мы ждем?

Искусительница. О, она неисправима!

Говорит Гораций. Он против. Но и выделяться не хочет.

— Если они нас застукают, этим троглодитам ничего не стоит пустить нас в расход.

Троглодитам! А! Ишь ты!

Немного прибавляю звук.

— Они слишком глупы,— смеется Мария. Насмешница!

А! Так и знал! Она хватает коробки, цап-царап, целую охапку.

Ух ты!

Кричит как безумная:

— Смотрите, смотрите, какие хорошие вещи! Красота!

Я все угадал, люди, Брут у них вожак: следуя примеру Марии, он подает пример остальным.

Протягивает кощунственные руки и поднимает несколько свертков.

— Даже не распакованные.

Ему вторит Кассий:

— Перевязаны серебряной ленточкой.

Мария прямо-таки ошалела. А! Рвет пакеты, открывает коробки. И-их!

— Подарочные упаковки! Подарки для нас! Гораций, а ты?

Что решит Гораций?

— Не зевай! Чем плохо обновить гардероб? — подзадоривает Брут.

Похоже, Брут шутит. Но для Горация это приказ.

Костлявый наклоняется и что-то поднимает (нерешительно).

Всего-навсего пачку сигарет. Он держит ее двумя пальцами, словно она жжет ему руку. Ух ты!

Остальные распоясались вовсю. Скандальный разгул.

Вакханалия — ах! — они вырядились, как попугаи, в глазах рябит, понапялили на себя костюмы, брюки, куртки, рубашки (вещи, которые никому из нас в голову не придет надеть), туфли, колготки, носки, перчатки, галстуки, шляпы, юбки, кофточки, пуловеры (и-и-и!) и еще не знаю что. Ой, лучше уж я отвернусь!

Дикий крик Кассия возвращает меня к происходящему в тронном зале.

Кассий поднимает в качестве трофея бутылку. У!

— Смотрите! Шампанское!

А Мария-то, Мария!

Какой ужас, друзья!

Она надела горностаевую шубу — у! — даже не сняв с нее ярлык, а на шею повесила жемчужное ожерелье.

Последние покупки Маргариты, моей бедной мамочки.

Она ревностно следовала требованиям веры. Раз в пять дней покупала по шубе.

Мария не в силах — ах! — сдержать своей постыдной (кощунственной) радости. Она счастлива.

— Просто не верится. Сказочный край, Эльдорадо, земля обетованная. Великая Страна — и впрямь великая. Теперь я понимаю, почему она притягивала наших предков.

— Нет уж, мы не станем довольствоваться ролью рабочих,— с грозным, свирепым видом заявляет Брут.

— Рабов,— вторит ему Кассий.

Ух ты!

Брут окидывает Марию с ног до головы плотоядным взглядом.

— Ты великолепна. Прямо баронесса.

Баронесса. А?

Ай-ай-ай.

Они не знают про (грандиозную) ликвидацию аристократии.

Гораций вскидывает глаза (ах! сейчас они выскочат из орбит).

— Уйдем отсюда! Пока никто не пришел.

Остальные его не слушают.

Я выключаю монитор.

Хватит, больше не могу — у! — смотреть на это безобразие.

Мне нужно собраться с духом. Чтобы действовать наверняка и оправдать ваши ожидания, люди. А для этого мой план должен быть головоломным от первого до последнего шага. С тысячью уловок, с контригрой.

И-хи-хи.

Ох уж эти европейцы!

Неверные! Выдать их или не стоит пока?

То-то был бы доволен кардинал Матфей, защитник культа! Да он бы от радости сигару проглотил! Всю, целиком. Не жуя.

А если бы я убрал его сразу? У!

Эдуарда, моего отца.

Не знаю, когда я сделаю этот ход.

Но я должен его сделать.

Может быть.

Как так? Не может быть, а точно.

Важно — у! — улучить момент. Чтобы не наломать дров.

Скрытый колонной, я наблюдаю (подглядываю) за Эдуардом. Он задумчиво расхаживает перед троном.

О! Он один.

Э, это ведь первый раз, когда я вижу его без опоры (поддержки)!

Без Иоанна.

Уверяю вас, люди, я понимаю, что Иоанна тоже придется устранить. Но искать его сейчас глупо. Рано, как бы мне этого ни хотелось.

Прежде я должен лишить его (во-во!) папского покровительства.

Эге, это мой отец.

Теперь, когда я знаю, что он мне неродной,— у! — у меня нет ненависти к нему.

У меня никогда ее не было.

Я его люблю, а? Нет.

Восхищаюсь им?

У-у-у!

Как бы мне хотелось появиться на свет от него! О! От его идеальных хромосом.

Не тут-то было. Меня зачал европеец, ууу, ублюдок. Животное, свинья.

(«Ричард животное! Ричард свинья!»)

Воспользоваться — низко, коварно — минутной слабостью женщины! Европейцы (для нас это не секрет) и не на такое способны. А самые страшные из них — те, которые любят цветы.

Белые волосы. Белая мантия. Он (папа) весь — большая восковая свеча. Зажженная.

Он — бог.

Что это с ним? Против обыкновения он не выглядит сонным.

Сел на трон. Как никогда, погружен в свои мысли. Я бы сказал — гнетущие мысли.

Эх, была не была! Я выхожу из-за колонны.

Робко выхожу. Ух!

Его белые брови приподнимаются.

Он — бог?

— Скверно, скверно,— говорит он.

Я жалобно прошу:

— Не прогоняй меня, а?

Долгие мгновенья я стою в нерешительности.

О! он меня не гонит. Не велит убираться прочь.

Э-ге-ге!

Эге!

— Верно, верно.

— Иоанна нет. Как ты будешь говорить?

— Сам справлюсь. Без него.

О-го-го! Ого! О-го-го!

Он заговорил! Голосом, как будто идущим — клянусь — из мусорных недр. Заговорил!

— Как? Ты умеешь говорить?

— Только в случае необходимости. Не то что ты, сын.

Боже! Боже мой!

— Ты назвал меня сыном. Первый раз в жизни.

Мне кажется, на его губах появляется подобие улыбки.

— Ты правильно сделал, что убрал мать. Она превратилась в плаксивую старуху. У, я вижу, ты не теряешь времени. Тобою движут справедливая — я бы сказал: обоснованная — обида и безудержное честолюбие. Куда ты метишь?

Вы слышали? И-и-и! Он говорит не хуже меня, а возможно, и лучше. Не знаю, правда, кто из нас сильнее — он или я — в языке восклицаний. Языке нашего народа.

— Куда мечу? Наверх.

Я произнес это едва слышно.

Он качает головой. Ой!

— На таких ножках далеко не уйдешь — тем более в гору. Трудно тебе придется.

Знаю. Еще как трудно!

— Ты в состоянии подтвердить обвинения, которые выдвинул против брата?

— У меня есть свидетель.

— Подставной, надо думать? Кто же это?

Ох!

— Полковник Эней.

— Он глуп как пробка.

— Но ему хочется стать генералом.

— Сменить Ахилла?

— Да.

Какое удовольствие говорить с богом!

— Кажется, я даже нашел способ убрать Ахилла, если понадобится. И не одного, а на пару (у!) с моей женой Елизаветой.

— Адюльтер?

— Робкое начало романа. Но этого достаточно.

Папа думает — вместо того (о!) чтобы прогнать меня.

— Надеюсь, за́мок, который ты строишь, не рухнет и не погребет тебя под своими обломками. Ты ведь знаешь, Георг пользуется большим уважением.

— В том числе и у тебя?

— Да пошел он!..

Ну и ну!

— Тебе тоже на руку, чтобы Георг (и-хи-хи) исчез. Это откроет дорогу твоему Иоанну. Чем он тебе угодил?

— Иоанн лучше нас всех.

Эх! Хотелось бы услышать что-нибудь поконкретнее.

Его крупное тело сотрясается от сдерживаемого смеха.

— Он ни бельмеса не смыслит ни в религии, ни в других вещах.

— (Ах!) Ты считаешь это достоинством?

Эдуард кивает, не глядя на меня.

— Надеюсь, хоть он сумеет придать этой жизни какой-то смысл. Смысл, который мне лично найти не удалось.

Да и мне тоже, чуть было не признаюсь я.

У, уж если сам папа не может найти!

Именно так, друзья. Все зависит от ума. От таланта. У меня они есть. (Побольше, чем у Иоанна.)

— Отец, что случилось?

Наконец-то он удостаивает меня взглядом. Без гадливого фырканья. Как будто его не тошнит от омерзения.

— Я хочу сказать: как мы до этого дошли?

Вот она, подходящая минута! У! Уверен: сейчас самое время выспросить (выведать) кое-что о прошлом, которого никто толком не знает. Не помнит или не в состоянии восстановить.

— Лучше тебе знать всю правду.

Молча киваю.

— Началось с большого взрыва. С войны, которую все проиграли. Давным-давно.

Он смотрит вдаль, как будто там теряются гробницы мифических воспоминаний и сейчас он примется открывать их одну за другой.

— Наша великая Страна была республикой, возглавляемой президентом.

— Президентом? Это такой король?

— Нет. Что-то вроде папы. Первосвященник тогдашнего капитализма.

— Разве капитализм был уже тогда?

— Не столь совершенный, как наш. Тот капитализм разъедали противоречия и конкуренция, тормозили политические и социальные помехи.

— Значит, президент. Это он (у!) учинил большой взрыв?

— Он был дурак. Если не хуже. Типичный представитель нации.

— (Ну!) Как кардинал Матфей?

— При чем тут Матфей! Политика тех времен представлялась ему грандиозной шахматной партией между нашей страной и другой великой державой. Наш президент играл хуже некуда. Он путал правила, зевал фигуры, грубо ошибался. Все это усугублялось страстью то и дело сверяться с компьютером. Понятно, что в ответ на глупые вопросы машина могла предложить только глупые решения.

— Разумеется, отец.

Отец? А, ну да — святой отец, папа.

— Он смотрел на войну как на крестовый поход, священную миссию с целью предписать всему миру многообещающие нормы свободного рынка. И следовательно — как на одно из проявлений свободной инициативы. Поэтому он во что бы то ни стало хотел войны и, изрядно поломав себе голову, родил умнейшую мысль.

А, понятно!

— Выиграть, опрокинув шахматную доску? У! Вверх тормашками.

— Именно. И в результате — бойня, кровопролитие, миллионы убитых.

— Самая многочисленная на земле массовка.

Ай да шахматист!

— Когда президент увидел, что он наделал, ему пришла в голову еще одна умная мысль.— В прищуренных глазах Эдуарда зажигаются насмешливые огоньки.— Он покончил с собой: бросился наперерез коровьему стаду и погиб под копытами.

Ай-ай-ай!

— А может, и нет. Может, это был несчастный случай, в котором всему виной коэффициент президентской глупости. Уцелевшие первым делом устроили хорошенькую бойню политиканам — всех линчевали, всех до одного. Короче говоря, отплатили виноватым — и наверху и внизу. Браво, браво.

— А что стало с другой великой державой?

— Насколько мне известно, она существует по сей день, такая же сильная и влиятельная, как раньше. Но с тех пор мы игнорируем друг друга.— Папа вздыхает.— Впрочем, вернемся к нам, к людям нашей Страны. Чтобы пройти первобытную стадию личного выживания, следовало вернуться к коллективным формам жизни.

Эге!

— Человек — общественное животное. Таким по крайней мере он представляется.

Ага, держи карман шире. Не верю я в это. А вы?

— Нужен был крупный авторитет, который предписал бы новые нравственные принципы и новые законы. Однако люди больше и слышать не хотели про политиканов Стоило кому-нибудь заикнуться о политике, как на него тут же набрасывались, чтобы растерзать, разорвать.

Ух ты!

— Необходима была новая идеология, а еще лучше — религия. Не перебивай меня! Только вот какая религия? Прежние — христианство, ислам, буддизм и тому подобное — оказались несостоятельными, их окончательно дискредитировал большой взрыв Римский папа правильно сделал, что выбросился из окна на площадь Святого Петра

Вы слышали, люди? Выходит, Рим действительно существовал, а значит, и Афины

Латынь, греческий, о! Благородные языки

— Тем временем постепенно возвращалась к жизни экономика — капиталистическая, то есть следующая примитивным, стихийным законам, основанным на агрессивности и природном эгоизме человека. Правда, капиталисты предусмотрительно предпочитали держаться в тени.

В этом они и сегодня верны себе.

Э-хе-хе, кто их видит?

Капиталистов.

— Материальные ценности, вещи, машины не пострадали от смертоносной радиации применявшихся тогда нейтронных бомб Бомбы уничтожали людей, а вещи как раз не трогали, то-то и оно.

Вечная история — люди, вещи!

— Теперешние бомбы *Р* лучше.—(Еще бы!) — Ты слышал? В Европе ни одной человеческой жертвы.

— Молчи! Людей можно было успокоить только перспективой больших перемен. Открыв, как принято говорить, новые горизонты. В новом, как говорится, контексте производство стало набирать темпы, удовлетворяя спрос, рождая потребности и гарантируя работу для всех. Но ты знаешь, что производство не терпит удовлетворенного спроса, что оно теряет смысл, если падает потребление. Слабость старой промышленной системы состояла в том, что ей не удавалось избежать периодов спада и что она делала ставку исключительно на рекламу.

Я осмеливаюсь уточнить:

— Спрос должен несколько превышать предложение, не так ли?

Отец меня не слушает.

— Причиной кризисов и войн всегда была экономика. Адская проблема. Адская — ибо неразрешимая. Проблема поисков равновесия между производством, занятостью, потреблением, прибылью, накоплением, капиталовложениями. Равновесия невозможного — тем более в условиях валютных гегемоний и собственности на сырье.

Э, в экономике и я кое-что кумекаю.

Проблема — сами знаете, люди,— в координации цикла «производство — потребление», в постоянном совершенствовании цикла.

В создании не просто новых, а и непрерывных потребностей, ждущих удовлетворения, в поддержании высокой — но не слишком — покупательной способности.

В наличии постоянно расширяющегося рынка. Так что я считаю сверхправильным наше нападение на Европу под видом помощи.

Ахаха!

Вот только не уверен, хорошо ли это, если отец узнает, что я разбираюсь в экономике. Кто понимает толк в экономике, тот стоит у кормила — у! — власти

Э! Эдуард потому и любит Иоанна, что малый ничего не смыслит в экономике.

Но он не может любить его только за это.

— Отец, расскажи мне все.

16

Бог милостиво продолжает рассказ:

— Один пастырь из Алабамы — я имею в виду человека, который разводил овец,— нашел гениальное решение. Проблему экономики можно было решить, лишь обеспечив безостановочный сбыт продукции. И единственный способ сделать это состоял в том, чтобы непрерывно пополнять количество мусора. В том, чтобы приучить людей не трястись над новыми вещами, а пользоваться ими вовсю, дабы скорее отслужили свой срок. А еще лучше — покупать и тут же выбрасывать

Подумаешь, открытие! Мы так и делаем

— Приучить-то приучить, но как?

— Этот пастырь, ставший под именем Адама первым папой церкви отказа, построил расчет на типичной для нашего народа склонности к мистицизму и идолопоклонству. Ведь не секрет, что серьезным основанием для рождения у нас капитализма послужили в свое время религиозные мотивы.

— А понял! Тогда и появилась церковь отказа.

— Вот, вот. Гениальная идея Адама заключалась в том, чтобы сделать мусор священным, обожествить его. Новая религия образовала единое целое с экономикой. Экономические законы капитализма — наконец-то в чистом виде, без коррективов — стали моральными законами, религиозными заповедями, политическими ориентирами.

Еще бы! Ясно. А вам нет?

Но у моего папаши такое лицо, будто он пьет отраву.

— Единое целое между экономикой и духом. Потребление, расточительство стали непременной обязанностью, почетным долгом перед богом и обществом. Ты знаешь, как измеряется объем производства, богатство страны?

— (О!) Определением среднего количества мусора, ежедневно производимого каждым гражданином.

— Браво, малыш!

Малыш? Ишь ты, малыш Ричард.

— Наша задача — достигнуть сорока фунтов на душу населения А у нас всего двадцать пять. В Европе было фунтов пять-шесть. Теперь, после нашего нашествия, будет и того меньше. Бедные европейцы!

Mors tua vita mea [1].

Друзья! Мне хочется — и я не собираюсь противиться порыву — осенить себя нашим ритуальным знамением.

Знаком нашей Святой Троицы.

Я касаюсь лба, груди, живота.

Производство, потребление, помойка.

Лоб символизирует производство. У! Ум.

Грудь означает покупку, потребление товаров. По желанию, по сердцу.

Живот — помойная яма. Все возвращается к началу.

— Сперва было трудно, но Адам и его кардиналы безжалостно убирали (не случайно гопя в мусоре) граждан, которые, осмеливаясь использовать, утилизировать то, от чего отказывались другие. находили вторичное применение мусору. А лучших потребителей ждали все новые награды и поощрения. В дальнейшем новая религия окрепла, и ее приняли поголовно все.

— А как же ликвидация аристократов? Ведь она была.

— Ну и что? Я устроил ее для всеобщей встряски. Для доказательства своей силы. Религии нужны еретики, с которыми бы она боролась. Если еретиков нет, их надо выдумать. Аристократов к тому времени фактически уже не осталось, так что расправу над ними можно считать игрой, шуткой.

Ох, хороши шуточки! Граф-то Оклахомский!..

И-и-и, и барон Небраскский, отец полковника Энея!

Эгеге.

— Некоторые идиоты — в первую очередь ското- и нефтепромышленники — завели привычку называть друг друга графами, князьями, герцогами, баронами, маркизами. Дурачье! Я обвинил их в создании иерархии, представлявшей угрозу для иерархии церковной, и ликвидировал.

— А нападение на Европу?

— Оно стало неизбежным. Наш экономический цикл нуждается в огромном числе рабочих рук. Больше рук — больше потребителей. Здесь их не хватало, и мы вынуждены были снарядить армию в Европу.

А что нам еще оставалось?

От роботов, как вам известно, пришлось отказаться, ибо какой из робота потребитель?

— Занятая философскими дебатами, ре-

[1] Твоя смерть — моя жизнь *(лат.)*.

лигиозными диспутами, политическими дискуссиями, травмированная Европа так и не оправилась от большого взрыва. Представь себе, они до сих пор спорят о том, что тогда произошло и чем они навлекли на себя беду. Не знаю когда, но, как считает кардинал Матфей, рано или поздно мы должны будем и там утвердить нашу религию.

— Силой. Браво, браво, отец!

— Правда, с одним отличием. Здесь — производство, там — потребление. В противном случае наступит день, когда дальнейшее расширение рынка окажется невозможным. А ты, я вижу, разбираешься в экономике.

— Я? Самую малость. Случайно.

— Ты хорошо читаешь, не правда ли?

Я бы охотно ответил, что неправда. Что в лучшем случае могу — уф! — от силы выговорить несколько слов.

— Откуда ты знаешь?

— А кто, по-твоему, незаметно снабдил тебя книгами, которые ты все время читаешь и перечитываешь? Книгами, которые существовали до большого взрыва? Кто тебе подсунул твоего любимого «Ричарда III»?

— Значит, ты?

— Должен же я был чем-то компенсировать твою не очень удачную внешность. Подражая Ричарду III, ты и в самом деле стал похож на него.

О!

О-о!

О-о-о!

— Я надеялся, чтение научит тебя уму-разуму. Не тут-то было. Тебя гложет честолюбие. Эх ты, бестолочь! Бедный, безмозглый слизняк.

Сейчас или никогда!

— Отец, я хочу детей. По твоей воле мне сделали операцию — закрыли семенные каналы. Прошу тебя, прикажи их открыть.

Снова передо мной величественный бог.

С таким шутки плохи. И-и-и, еще бы! Стро-о-гий.

— Стерилизация есть стерилизация. Она окончательна. Да, я позаботился о том, чтобы ты стал бесплодным. Твои больные хромосомы не загрязнят нашу расу. Что касается тебя самого, мне все равно, куда бы ты ни метил. Вверх или вниз — не вижу разницы. Но после тебя не должно остаться потомства.

Он громко зовет:

— Ммм!

Тут же появляется Иоанн.

Он явно был поблизости. Все подстроено-о-о.

— Я здесь, Эдуард.

— Ммм.

— Отлично.— Иоанн призывно хлопает в ладоши.— Кардинал Бейкерсфилдский! Кардинал Далласский! Кардинал Ричмондский!

Верная троица не заставляет себя ждать.

Ясно, что все идет по заранее намеченному плану. Ну и ну!

— Живо, живо,— говорит Эдуард.— Ммм.

— Отлично.

Юного красавца Иоанна распирает от гордости. О!

Ого!

— Глава нашей церкви Эдуард сообщает, что он решил — здесь, сию минуту — назначить кардинала по своему усмотрению. Нижеподписавшийся, аббат Бостонский Иоанн, назначается кардиналом Нашвиллским с должностью верховного теолога.

Все осеняют себя ритуальным тройным знамением.

А я?

О, я тоже!

17

Эгеге, люди!

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни...

Я застаю Елизавету в тот момент, когда она заканчивает старательно (тяга к прекрасному!) укладывать поверх мусора утренние покупки.

Туфли, консервы, косметику, рубашки, зонтик.

То же, что обычно.

Жена обнаруживает мое присутствие, почувствовав на себе мою язвительную тень, наползшую на нее как бы невзначай.

— Ай!

— Бетти, тебе записка.

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни.— Она поворачивается ко мне.— Опять?

— Будь уверена,— говорю я раньше, чем это скажет она.— Нет, нет, на этот раз я нашел ее не среди мусора. Ее принес полковник Эней. А я любезно согласился выступить в роли второго посредника. Записка подписана «А.».

— Опять «А.», как тогда?

— От него, от него. На этот раз не записка, а целое послание. Оцени, каких усилий стоило ему столько написать.

Она берет записку.

— Эй, парни, у!

— Он тебя очень любит.

— Эй, парни — эй, парни. О'кей, ой, какой там о'кей, совсем не о'кей!

Однако ясно, что эта история с любовными записками — ишь ты! — начинает ее интересовать.

— Не бойся, жена. Хотя у нас в стране нет разводов, ваши любовные грезы очень скоро увенчаются законным браком.

— Не верю, будь уверен! Эй, парни — эй, парни.

— Оракул — действительно исправный компьютер — сказал мне, что очень-очень скоро меня ожидает конец, достойный героя. Да-да, он так и сказал. Ты останешься вдовой.

А знаете, в глубине души я бы не возражал, чтобы это была правда.

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

Елизавета разглядывает (изучает) мою — ууу — гармоничную фигуру. Можно подумать, что она видит меня впервые.

Скорее удивлена, чем испугана.

Еще бы! Зрелище такого концентрированного уродства («Ричард неподражаем») может дать романтическое, я бы сказал, ощущение прекрасного.

Безграничной фантазии природы.

Я прекрасен. О! Чем не Аполлон?

— Ты должен исчезнуть, Рикки? Эй,

парни,— эй, парни, э, это не о'кей. Сделай, чтобы вместо тебя исчез кто-нибудь другой.

Верно, верно, отлично.

Там будет видно. И-хи-хи.

— Неужели ты не понимаешь, Бетти? Во-первых, нельзя избежать участи, предсказанной компьютером. Во-вторых, конец, который меня ожидает, будет грандиозным концом. Под лязг копий и мечей: кто-кто, а я не собираюсь уподобляться крысе, тонущей в мусоре.

Наконец-то я замечаю на ее лице выражение мужественного смирения.

Она ведет себя в точности так, как я ожидал.

Как истинная женщина из народа — о, да! Народа этой великой Страны.

— Тогда, о'кей. Раз ты должен и хочешь уйти. Эй, парни — эй, парни.

— Будь уверен! Чуешь, как здорово, Бетти: Я разговариваю, как ты. Правда, что со временем муж и жена становятся похожими. Муж и жена — одна сатана.

Э, если бы бедная Бетти была на меня похожа!..

Она вытирает руки об одежду.

О балахон.

Друзья, мне некогда, я спешу. У, колесо, которое я запустил, уже не остановить.

Оно катится вниз. С моими ногами, и-и-и, его не догнать. Ни в жизнь.

А я и не собираюсь. Нет.

— Эй, парни — эй, парни.

— А что написано в записке?

— Пусть она будет у тебя. Прочту в другой раз. Теперь времени нет: судьба зовет.

Э-эх!

Излишне, я думаю, вам сообщать, что эту записку написал я.

Печатными буквами.

Коряво.

Я положил ее на стол генералу Ахиллу (толстяка не было, он уехал за город, на смотр). А полковнику Энею велел взять записку — у! — и передать мне.

Ах-а-ха-ха-ха-ха-ха!

Ох!

Хотите знать, что я там написал: «ЭНБИ СГИФАНДЖ О УХ. ТНЕМ УРЕИЧВ ГРОГС-ЦВАЙ АХАХАХАХАХА. А.».

Для любви нет лингвистических барьеров.

18

Если река течет вспять, мельница работает наоборот.

Из муки — и-хи-хи — получается зерно.

По этому принципу я и собираюсь действовать.

Ковыляю во двор.

Кажется, что двор заполнен туманом.

На самом деле это дым заводов и фабрик. В нем тонет все, и только если лечь на землю, можно иногда кое-что увидеть. Да и то когда ветер.

В середине двора не столько видна, сколько угадывается коническая гора — гигантская свалка (помойка).

Во двор выходят окна тюремных камер, занимающих первый этаж.

Камеры всегда пустуют.

Заключенных нет благодаря оперативности нашего правосудия. Процессы проходят быстро. Приговоры сразу — у! — приводятся в исполнение.

Осужденных (и-их!) сталкивают в помойку во дворе. Это древнейшая помойка великой Страны, исторический памятник, восходящий к папе Адаму, теперь я знаю!

Но процессы у нас, как вам известно,— редкость.

При честном законе граждане ведут себя безупречно.

Поняли, что я оставил скуку за плечами (и-хи-хи), за горбом?

Скрипит дверь. Открывается.

Это идет мой брат Георг.

Мой несчастный брат.

С ним жена (ах!), удивительная Анна.

Однажды — я вам еще не говорил — Анну избрали королевой красоты.

Ее невозможно не любить, я вам говорил — о,— она образец, идеал для наших женщин. А наши женщины — самая здоровая, самая серьезная часть великой Страны, плоть от плоти лучшей нации в мире.

Потому я и хочу — у! — Анну.

Она будет моей.

Вот вы, друзья. Что вы делаете, когда становитесь важными шишками? Когда получаете высокий пост?

Заводите новую женщину.

Соответствующую вашему — у! — положению, представительную, такую, с которой не стыдно показаться на людях.

Как Анна.

Анна пришла навестить (проведать) муженька.

Свидание происходит под охраной.

Георг не сразу замечает меня в дыму.

— Разрази меня гром, брат, ты еще живой?

Я отвожу Анну в сторонку.

— Готовь подвенечное платье. Черное.

Она невозмутима. Как всегда, никаких эмоций.

— Черт.

Прелесть. Подхожу, хромая, к Георгу.

— Не бойся, Георг, следствие — чистая формальность.

— В тюрьме не так уж плохо, разрази меня гром!

— Куколка! Лапочка!

Мой брат чудесно выглядит. У! У него прекрасный цвет лица.

Выныриваю у него за спиной.

— Я произнесу впечатляющую речь на суде. В твою защиту.

— Йес, вроде той, после которой меня посадили.— Георг радостно хихикает.— Разрази меня гром, если это была плохая речь. Верно я говорю, жена?

— Ну.

— Про то, что я стану королем. Вот здорово! Знаешь, Ричард, а я тебе скажу: не такой уж ты урод. Правда, Анна?

— Ну.

— Увидишь, Георг, как только тебя освободят, наш отец сделает тебя кардиналом.

Георг блаженно хихикает. Радуется картинам, громоздящимся у него в мозгу.

У! Картинам мусорного богатства.

— Йес, фургон, разрази меня гром. Анна будет ездить за покупками на автофургоне.

Так же как Елизавета, Анна (ах, Анна!) ездит за покупками на пикапе. Они всего-навсего жены аббатов.

Пока что.

— Ура.

Слушать мою невестку — истинное удовольствие (наслаждение). Душа-а-а радуется! Подскакиваю к ней.

— Анна, я уже назначил день нашей свадьбы.

Георг ищет меня на ощупь (в дыму-у-у).

— Брат, я не понял одну вещь, разрази меня гром. Где я должен стать королем — у нас или в Европе?

— Не все ли равно? Король — везде король.

Георг кладет руку жене на плечо.

— Соображаешь, Анна? В Европе мы можем построить красивый дворец. Больше этого. Огромный мусоросборник и всего одна комната Тронная комната, разрази меня гром. Йес, дворец на тонны и тонны мусора. В первые дни тебе придется ездить за покупками на товарном поезде.

— Ну.

В детстве она не казалась глупее других девочек, а теперь не понимает ни слова из того, что слышит. Не улавливает смысла.

Может, она и как женщина того? Не слышит голоса плоти.

Не улавливает. А?

— Йес, жена, скажи, где в Европе ты хочешь дворец? Я думаю. Кейптаун подойдет. Разрази меня гром если не подойдет. Название мы поменяем. Сделаем Кингтаун

— Ура.

Я спешу.

Начинаю нервничать.

Поглядываю на часы, хотя знаю, что они стоят.

Они всегда стоят.

Проклятье! Да куда ж он запропастился?

Если он опоздает, не придет раньше судей, мой план грозит провалиться.

А другого — запасного — я не приготовил.

Георг тем временем вошел во вкус.

— Разрази меня гром, послушай, брат, что я еще придумал. Я смогу стать папой европейским. Как по-твоему, отец будет рад?

— Еще бы! Не сомневайся.

Я готов разбить вдребезги эти чертовы часы.

Чего — о! — он ждет, этот болван, кретин, недоумок, почему — у! — опаздывает?

Вот он.

Наконец-то.

На полковнике Энее новая — с иголочки — форма. (Думаю, они выбрасывают по два комбинезона в день. Армия всегда была отличным потребителем за счет государственного бюджета.)

Эней отдает мне честь.

— Явился! На две десятых секунды раньше, раз такое дело.

— Браво, Эней. Из тебя получится прекрасный генерал.

— А Ахилл?

— Я позабочусь, чтобы он получил по заслугам. Теперь твой черед.

Он вытягивается по стойке «смирно». Э, это уже лишнее, если учесть, что мы старые друзья.

О'кей. Я тороплю Анну:

— Идем, Анна. Двум соратникам нужно о многом поговорить.

Георг складывает губы трубочкой.

— Поцелуемся, жена.

— Ура.

Он шлет ей воздушный поцелуй.

Последний поцелуй. Э-хе-хе.

Трогательно. А?

19

У выхода со двора я расстаюсь с Анной.

Она собралась за покупками.

Я бегу (ковыляю, ползу, лечу) в свою каморку. Ух!

Боюсь пропустить сцену встречи.

Эней дал мне время включить телекамеру, нацеленную во двор.

Камера на инфракрасных лучах.

Поэтому ей нипочем дым. Пар, туман, газ.

Э! Эней обращается к страже:

— Можете идти. Со мной охрана не нужна.

Стражники — у! — улетучиваются. Как ветром сдуло.

Георг замечает (угадывает в дыму) товарища по оружию.

— Йес, молодец, полковник, что пришел меня навестить. Как там наша армия?

— Солдаты вернулись на работу, раз такое дело.

— На производство, ясно. Мне их здорово не хватает. Ну и задали мы жару этим дуракам европейцам! Разрази меня гром, если мы не были на высоте.

Эней щелкает каблуками.

Георг делает то же самое. По уставному. У, устав!

— Э! — говорит Эней. («Георг, аббат Гаррисбергский!»)

— А? («Йес, это ты мне?»)

— У! («Сожалею Время вышло».)

— Ну! («Я рад, разрази меня гром!»)

— О! («Прощай, командир, раз такое дело».)

Георг поворачивается спиной к древнему мусоросборнику. Эге.

Энею достаточно слегка его подтолкнуть.

Георг зарывается в мусор.

У! Не успев опомниться.

О! Даже не охнув.

Еще одним меньше.

Люди! В данный момент я не могу вспомнить, что меня заставило, шантажируя и улещая Энея (у!), убрать моего брата.

Представлял ли он серьезную опасность для моих планов?

Нисколечко. Потому-то отец и поручил ему командование армией. И никогда бы не сделал его кардиналом.

И все же мне казалось: причина у меня была. Притом серьезная.

Я вижу во дворе разноцветные мантии.

Вот и кардиналы.

Подходят к Энею.

Очки кардинала Марка тут же запотели (от дыма).

— Полковник Эней уже здесь. Так сказать, заблаговременно. Военная дисциплина!

Сигара у Матфея погасла, конец ее смотрит в землю.

— О'кей, можем начинать. Поторопимся.

Лука подстриг бородку. Теперь она у него все равно как нарисованная.

— Ты готов дать показания, полковник?

— Готов, великий инквизитор.

Марк снял очки.

— Так сказать, «за» или «против» обвиняемого?

Матфей, как я и ожидал, сдвигает шляпу (недовольным движением) Интересно, что она у него не пачкается — всегда белая.

— Опять двадцать пять. Этот вопрос должен задавать я. Защитник культа.

— А я государственный секретарь, так сказать,— парирует Марк.

Матфей не собирается тратить время на препирательства.

— О'кей,— выпаливает он, обращаясь к Энею.— Ты за обвиняемого или против? Отвечай.

— Против, раз такое дело.

Очередь за Лукой.

— Значит, как ты утверждаешь, командующий армией вступил в сговор с европейцами, чтобы стать королем.

— И свергнуть нашу церковь,— возмущенно подсказывает Матфей

Полковник секунду медлит, после чего подтверждает догадку Матфея

Эге, Эней все больше запутывается в моей паутине. О, он сделает все, что я захочу

Любую гнусность совершит.

А, кстати Вспомнил, почему мне пришлось убрать Георга Ведь он был женат на Анне.

— Полковник, это очень серьезное обвинение,— признает Марк.— Чем ты его, так сказать, докажешь?

Лука оглядывается по сторонам.

— А где арестованный?

— Какая разница? — ворчит Матфей.— Сперва нужно вынести ему приговор.

Эй, Эней, смелее, чего ты ждешь?

— Я уже вынес, раз такое дело И привел в исполнение Он на меня напал — хотел бежать Вот лучшее доказательство его виновности

Марк удивлен.

— Бежать?

Это и впрямь бессмысленно. У нас не бывает побегов. Все равно от нашего правосудия не уйти.

— Следствие окончено,— объявляет Лука.

Матфей явно доволен.

Марк отпускает Энея. Предварительно поблагодарив:

— Полковник, так сказать! Нация тебе этого не забудет.

Эней щелкает каблуками и — ух! — уходит. Его шансы стать генералом повысились. Теперь у кардиналов он на лучшем счету, нежели раньше.

А эти-то почему не уходят? Стали посреди двора и стоят

Матфей пытается зажечь сигару, но — у! — у него ничего не получается: от влажного дыма (пара) отсырели спички.

— Отличный малый этот полковник.

— Если бы все были такие, как он! — подхватывает Лука — Преданные душой и телом

Что это они? Ведь их ждут государственные дела.

А-а-а. Кажется, я догадываюсь.

Наконец Марк решается. Наверное, считает, что как государственный секретарь этот разговор должен начать он.

— Матфей, я хочу тебе кое о чем сказать. С некоторых пор я замечаю странную вещь, которой, так сказать, не нахожу объяснения.

— Ты тоже? — выпаливает Лука.

— А что? — удивляется Марк.— И ты, Лука?

Матфей снял шляпу и скребет лысину. У!

— По-моему, мы все трое говорим об одном и том же факте. О'кей, послушаем Марка.

Марк понижает голос — ага! — а я прибавляю звук.

— Так сказать, дело вот в чем. Последнее время кто-то придумал себе развлечение — охотиться за моим мусором.

— И за моим,— шепчет Лука.

— И за моим,— хрипит Матфей.— Как раз сегодня утром дочка опять жаловалась. Та, что продавщицей работает.

Ну-ну.

Лука нервно трет худые (впалые) щеки.

— Кто это может быть?

— Но главное, так сказать, зачем он это делает? — недоумевает Марк.

Матфей снова водружает шляпу на голову Боком. Так что загнутые кверху поля оказываются спереди и сзади.

— О'кей, это ужасно Неслыханное кощунство.

О-хо-хо. И-хи-хи. Люди, потом я вам все расскажу У. объясню.

— Тут пахнет провокацией, как пить дать,— пыхтит Марк

— Оскорблением,— шипит Лука.

Матфей сжимает кулаки, ишь ты. Они у него явно чешутся.

— Кто-то пользуется мусором. О'кей, если это явление распространится, оно может иметь непредвиденные последствия. Губительные. Страшно подумать, что произойдет.

— Но почему берут именно наш мусор? — не унимается Марк.— Что-то я не слышал, чтобы это происходило с другими.

— Ясно почему,— отвечает Лука.— Акция против властей Против верхов.

Матфей вкладывает свое возмущение в смачный плевок на несколько метров.

— Это угроза для веры.

— Для производства, — подчеркивает Марк.

— Для потребления,— подхватывает Лука.

Матфей становится в боксерскую стойку. Молотит кулаками воздух — ух! эх! ух! эх!

Марк ходит взад-вперед. Нервы.

— Кто же это такие, так сказать?

Лука, размахивая руками, высвобождает (выпрастывает) их из-под голубой мантии.

— Будем надеяться, что еретиков пока немного. Единицы. Надо предупредить папу.

Матфей перестает боксировать (тузить воздух), и его кулаки исчезают под мантией. Зеленой.

— Эдуарда? Бьюсь об заклад, ему все известно.

— Ему всегда все известно,— вздохнув, признает Марк. Который не прочь спрятать голову под красную мантию.

— В то время как мы никогда не знаем, что у него на уме.

Мне пришлось прижать ухо — ух! — к динамику, иначе бы я не расслышал этих слов.

Матфей высказывает догадку:

— Они с Иоанном что-то затевают.

Послушаем Марка.

— Вам, так сказать, ничего не говорит скоропалительное решение назначить Иоанна кардиналом? Да еще и, неизвестно почему, главным теологом.— Направляет палец на Матфея.— Вот ты, министр культа, как поладишь с главным теологом?

— О'кей, я все не разберу, дурак Иоанн или жулик. Только ли глас божий или у него собственный голос есть, свои идеи.

— В любом случае,— заявляет Марк,— не нравится он мне. Так сказать.

Лука выражается определеннее:

— Матфей, ты серьезно считаешь, что проделки с нашим мусором на их совести? Эдуарда и Иоанна.

Сигара Матфея изжевана в клочья.

— Не знаю. Это тревожный сигнал, который необходимо расшифровать. О'кей Но мы найдем виновника, и пусть не ждет пощады, кто бы он ни был. Хоть сам папа.

Читатели, друзья, эгеге!

Скоро, у, уже совсем скоро я вам все скажу. Страницу терпения.

Страницу? Исписанную?

Прежде чем разойтись, кардиналы принимают решение: выявить преступников, для чего поручить расследование (тайное) — кому бы вы думали?

У, угадали! Полковнику Энею.

20

Ох! («Куда девался Рикки?»)

Эх! («Что-то давненько его не видно, этого пугала».)

Ах! («Неужели умер?»)

Ух! («Будем надеяться».)

Ну! («Покойничек утрамбовывает мусор».)

Эге.

Ау, люди, я здесь!

Друзья, это Мария, европейка. Ей-ей, это она. А кто же?

Черное шелковое платье до пят, с разрезом, открывающим ногу чуть ли не выше бедра. Ах ты!

Чулки в сеточку. У, с резинками!

Туфли из змеиной кожи. На шпильках.

Жемчужное ожерелье. Кольца с бриллиантами. Золотые браслеты.

Все это она выудила — аяяй! — из мусора.

Мария явно кажется себе элегантной.

Она с хохотом гонится за мной. Ой! Я ковыляю изо всех сил, но мне от нее не уйти. У, устал, больше не могу.

Уф!

— Ненасытная. У тебя одна любовь на уме. Оставь меня в покое. Пока не доконала.

Ой-ой-ой.

Умираю.

Сил больше нет. (Где ты, моя скука?)

Мое желание — у! — утолено, удовлетворено, прошло, иссякло, было да сплыло.

Мне это не нравится.

Я должен навязывать свое желание.

А получается наоборот.

То-то и оно. Нет, не-е-ет!

Ну вот! Она наклоняется над мусором и поднимает бутылку.

Алкоголь. Ах ты!

Она делает большой глоток.

— Не хочешь выпить?

Я отвожу взгляд от бутылки.

— Зря ты это. Не могу видеть, как ты подбираешь мусор.

— Придется тебе привыкнуть, милый.

— У меня не получится.

Она гладит мой горб, взяла — ах ты! — привычку.

— Горбок, а горбок, подай денег в оброк!

Терпеть не могу, когда ко мне прикасаются.

— Мария, ты меня любишь?

— Мне нравится с тобой спать.

— Знаю, ты любишь Брута.

— Брута? Нам с ним хорошо, вот и все.

— Тебя приятно слушать, Мария. Вы, европейцы, умеете очень складно говорить. Все, кого ни возьми.

— Ты тоже. Знаешь, я учу ваш язык.

— У!

— Ты прав, удобный язык. О, очень!

Опля!

— Скажи, Мария, что бы ты сделала в первую очередь, если бы получила власть?

У Марии загораются глаза. Ах!

— В первую очередь? Справила бы себе сто шуб.

— И потом бы выбросила. Молодец!

— Ты спятил.

Она решительно не понимает (до нее не доходит).

— Это был бы прекрасный поступок для женщины твоего положения. Поступок, который вызвал бы всеобщее восхищение.

Она меня даже не слушает.

— Еще завела бы прислугу. Десять человек.

— Прислугу?

— Горничную, дворецкого, кухарку, шофера.

— Из наших?

— Какая разница? Белых, черных, желтых. Лишь бы работали хорошо Мне все равно, кто какой расы. Мы, европейцы, не расисты.

Э, эта Мария со странностями почище моих!

— Запросы у меня большие. Представляешь, Ричард? Наконец-то я стану богатой.

Богатой. Гм.

— А зачем тебе это?

— Затем. Все мечтают разбогатеть.

О'кей, ну а дальше?

— Мария, помоги мне разобраться. У нас богатство — это возможность приобретать. Чем мы богаче, тем больше покупаем.

Она нагло смеется.

— И тем больше выбрасываете. Психи! Идиоты!

— Если смотреть в корень, все мы равны. Все живем одинаково. Что рабочий, что папа. Разница только в количестве. Только в нем.

— Поняла. Вы отменили качество.

— Ну, качество иногда нужно для искусственного стимулирования потребностей.

— Ричард, качество — это все.

— Нет, за качеством скрываются обман, привилегии, злоупотребления.

— Я вас никогда не пойму. Уф! — Мария торопливо поправляет прическу (перманент).— Идут.

В комнату, где они поселились вместе с Марией (комната эта затеряна в недрах дворца), входят Брут, Кассий и Гораций.

Черные пиджаки черные брюки.

Смокинг — так называют костюм, в который переодеваются после работы.

Белые рубашки с манишкой и бриллиантовыми — ишь ты! — пуговицами.

Галстуки бабочкой. Лакированные туфли.

Каждый несет на плече мешок.

О-о, отваги (смелости) у них — иих! — хоть отбавляй. Который день бесстрашно таскают проклятые мешки и еще не стерли до крови плечи.

Они опорожняют мешки. Содержимое каждого мешка — отдельно.

Мусор.

Священный У!

У Брута, вожака, довольный вид.

— Это я взял у кардинала Марка. Дома

Кассий, брат Марии, ворошит мусор из своего мешка. Ногой

— Это добро кардинала Луки.

Гораций ничего не говорит Его трофеи — из апартаментов кардинала Матфея.

— Не вижу никакой разницы,— заявляет Кассий.

— Ее и не должно быть. И тут кардинальский мусор, и там кардинальский,— рассуждает Мария.

Затем она обращается ко мне.

С агрессивным видом:

— А ты Ричард, чего ждешь? Твоя очередь.

— Не горячись.— (Э-э-э.) — Не горячись.

Мои желания не укладываются в общие рамки.

Но я-то знаю, как мне страшно!

Я погружаю свои кощунственные руки (руки святотатца) в мусор

Святая Троица, прости и помилуй меня, грешного. Прости и помилуй. Ты видишь, я не виноват. Ах, не виноват! Ох, не виноват!

В мусоре кардиналов ничего нет.

Из того, что ищу я.

Брут еле сдерживает себя, еще немного — и у него лопнет (он окончательно потеряет) терпение.

— Посмотри получше, приятель.

Приятель?

— Ничего нет. Говорю, ничего.

Мария фыркает.

— Который день все ищешь и ищешь. Можно узнать что?

— Доказательства. Я должен их найти

Гораций навостряет и без того стоящие торчком — у! — уши.

— Какие доказательства?

Сам не знаю а знал бы, все равно-о-о бы вам не сказал.

Вам, господа европейцы.

Доказательств нет как нет.

Но — о! — они должны быть. Ибо ничто не минует мусорной свалки. С мусором связана вся жизнь великой Страны.

Он — альфа и омега нашей жизни.

Быть не может, чтобы кардиналы не оставили доказательств (у! улик). С помощью которых я бы поймал их за руку, шантажировал, уничтожил.

Лицо Брута — ах ты! — чернеет, становится злым.

— Мы рисковали жизнью, таская мусор по твоему заказу. Что теперь?

— Несите еще.

Мария уставилась на меня так будто перед нею существо неполноценное.

Вызывающее брезгливость

— Дурак. Ты дурак. Когда улик нет, их фабрикуют.

— Точно,— подтверждает Гораций — Придумывают

— Это проще пареной репы,— хихикая, подзуживает Кассий.

— Раз плюнуть,— подзадоривает Брут.

Ох ты!

Ого!

Огого!

— Что ты так смотришь?

Это спросила меня Мария.

Я потрясен (поражен). О, ошеломлен!

Скажите, пожалуйста! Они хоть и европейцы, да похитрее моего будут, шельмы.

Я-то думал, что побил все рекорды в хитрости: закулисной игре, обмане, подтасовке, когда обвинил Георга в предательстве и особенно когда подделал любовную записку Елизавете от А. Ан нет, люди, не тут-то было.

Мария (в первую очередь ты) Брут, Кассий, Гораций! Выходит, я гожусь вам в ученики?

Ихихи. Примите мои поздравления.

Когда я хорохорился когда мне море было по колено, я думал, что в моих гнилых хромосомах виноват случай. Неудачное стечение обстоятельств.

Но получается, отец прав. Святой отец. Прав, отказывая в свободе моим сперматозоидам. И-и-и. Ироду до него далеко!

Я горько хмыкаю.

Хм Хм.

— Представляешь, Мария, если бы у нас с тобой родился ребенок! (Эхехехехехехе!) Это было бы высшее существо. У уникум!

Ко мне подскакивает Брут, хватает меня за горло. Ой!

— Ребенок у тебя с Марией? Думай, что говоришь. Морду набью

Кассий его — о! — отговаривает.

— Не связывайся.

Я с трудом удерживаюсь на ногах.

— Вы правы. Кое-какие улики я уже придумал. И соображу, как их (ихихи) использовать. Вы же будьте готовы выполнить свою роль. На данном этапе наши пути параллельны Ваши гнусности и мои взаимосвязаны До поры до времени, а там видно будет И пусть победит худший.

Я лечу к своим мониторам и включаю экран номер двадцать.

Перематываю видеопленку.

Она запечатлела все, что делали и о чем шептались заговорщики, пока я спешил сюда, к экрану.

У! Скуки-то как не бывало.

Послушаем европейцев

Моих, с позволения сказать, друзей.

— Олух, вот он кто — говорит Мария.— Но без него у нас ничего не быйдет.

Олух? Хм, это она обо мне.

Брут ласково гладит ее по шеке.

— Мария, как далеко ты с ним зашла, а?

Она спокойно отвечает:

— Я дала ему то, что могу дать любому.

Интересно, а что такое особенное она может приберегать специально для Брута?

Кассий довольно потирает руки.

— Сестренка, друзья, поставим великую Страну на колени!

Ишь ты! Ай-ай-ай.

— Нужно предупредить остальных,— считает Брут.

Ага, друзья, заговор расширяется.

Но насколько? Я должен держать его нити в своих руках. Ах! Во что бы то ни стало.

Говорит Гораций. Как бы успокаивая меня.

— Нас пока еще маловато. Большинство наших думает только о работе. А на все остальное плюет.

— Гораций так было испокон веков: немногие решали за всех,— вещает Брут.

Кассий продолжает потирать руки.

— Утопим в дерьме церковь отказа с ее дерьмом!

Пинает консервную банку.

— Ой! Полная!

Смеясь над собственной остротой, потирает ушибленную ногу.

Мария хохочет. Никогда не видел ее такой счастливой.

Тварь!

— Здесь столько всего, что хватит на целую вечность. Нам и миллиону наших последователей

— А законопослушные граждане великой Страны перебьются — хихикает Кассий.— Они мусор не трогают им нельзя.

Брут вскидывает сжатый кулак.

Гораций тихо стоит поодаль Предусмотрительно.

— Первая задача — завоевать власть.

— Это главное! — подчеркивает Брут.— А об остальном мы всегда сумеем договориться.

У, у Горация вопрос.

Пытается прозондировать почву.

— А как насчет Ричарда?

Ага.

Мария допивает бутылку до конца и отбрасывает ее далеко в сторону. Бутылка разбивается.

— Ричарда? Горбуна? Мы будем гонять его бегом, пока не сломает здоровую ногу.

Все смеются — ах, как им весело!

Всем, кроме Горация

— Я боюсь его. Лучше с ним договориться

Этеге, этот понимает что Ричарду — у! — палец в рот не клади Ишь, нашли безобидного дурачка, а!

Брут изо всех сил мотает своей большой головой.

— Нет. Мы не станем делить власть с чужаками.

— В любом случае решать парламенту,— говорит Кассий.

— Какому парламенту? — (У, это визжит Мария. Ого!) — Опять ваши старые бредни!

Запальчивость Марии приводит заговорщиков в состояние безумного веселья. В телячий восторг.

Брут шлепает Марию по заду. У!

— Брось.

Гораций молча стоит в сторонке.

22

Пора ускорить (у! убыстрить) действие.

В противном случае читателям надоест ждать и они плюнут.

Я схоронился.

Меня можно принять за черный мешок, набитый мусором.

Ага.

Вот и кардиналы.

Марк сучит ручонками. Он потерял очки (или снял, чтобы меньше видеть).

Матфей на этот раз не в белой шляпе, а в зеленой, как у разбойников с большой дороги.

Лука без бородки.

Иии, люди. Похоже, они возбуждены. Озабочены.

Марк находит (наконец) горсточку слов.

— Вас тоже, так сказать, звали?

Лука объясняет:

— Мне позвонили. Голос в трубке не допускал возражений.

Матфей бросает вокруг тревожные (беспокойные) взгляды.

— О'кей Это был голос судного дня.

Марк ступает с большой (ой!) осторожностью чтобы не споткнуться и не упасть в мусор.

— Вот именно, так сказать. Но кто нам звонил?

— Не знаю,— недоумевает Лука.

— Он не назвался,— бормочет Матфей.— Ума не приложу.

А-а-а тем лучше!

Смелее, Ричард, вперед!

Я стараюсь расправить занемевшие конечности Неуклюже ковыляю к святой братии. Нарочито — о! — медленно.

— Это был я.

Марк только что меня заметил.

— Так сказать, ты? Ричард?

Матфей возмущен. (Ну-ну.)

— Как ты посмел?

Лука ощупывает лицо — ищет сбритую бородку

— На этот раз мы посадим тебя на цепь, это уж точно.

О! У!

Я подготовил (отрепетировал) убийственную речь, которую сразу и начинаю:

— Дорогие кардиналы, вашим грязным махинациям пришел конец. Если вы вздумаете сопротивляться (упираться), ууу, учтите, что на моей стороне все люди из Европы готовые восстать. Европейцы прекрасно знают, как это делается. В их истории были революции, решающие для человечества, революции, перед которыми бессилен даже большой взрыв.

Кардиналы слушают.

О, очень внимательно. Окаменев. (От удивления?)

— Не хватает кардинала Иоанна. Не будем пока что отвлекать главного теолога от его ученых занятий. Марк, кардинал Бейкерсфилдский, начнем с тебя - как с государственного секретаря. В твоем мусоре — да, в твоем мусоре — я нашел улики и обвиняю тебя в том, что ты заключил сделку с владельцем компании готового платья

мистером Блэком, которого ты поддерживаешь и с которым делишь прибыли.

Марк — а вы знаете, как он ратует за рост потребления готового платья,— уже и не пытается меня разглядеть.

— Матфей, кардинал Далласский, защитник культа и посему — у! — редчайшая сволочь! Хотя лично я и испытываю к тебе симпатию, но на основании собранных мною улик вынужден обвинить тебя в том, что ты являешься компаньоном мистера Реда, монополизировавшего производство продовольственных товаров и бытовой (и-хи-хи) химии, и вкупе с ним присваиваешь незаконные барыши.

Матфей, ей-ей, словно повис на своей сигаре.

— Что касается тебя, Лука, кардинал Ричмондский, великий инквизитор, я располагаю доказательствами твоего сговора с мистером Уайтом, бумажным фабрикантом, и ваших с ним сверхприбылей. Книги с чистыми страницами! Некрасиво!

Лука выслушал это, делая вид, будто изучает черный ободок ногтя на большом пальце.

С закрытыми глазами считаю до десяти.

Аут (Нокаут.)

Я победил.

— Аааааааааахахахахахахахахахахахахахахахаха!

Смеются, что ли?

Смех становится неудержимым, клокочущим, гомерическим.

Раблезианским.

Э-эх!

— Браво, браво.

О!

Папа.

Но ведь я только что собственными глазами видел, как он проглотил снотворное — целую горсть и преспокойно закрыл (смежил) глаза.

Мой отец.

Кардиналы уходят, со смехом (ух!) хлопая друг друга по плечу.

Отец знаками приглашает меня сесть на трон. На свой трон. На свое место.

Я повинуюсь. Присаживаюсь на трон. Бочком.

— Отец, ты все слышал?

— Браво. браво. Ммм.

— Может, хватит тебе корчить из себя шута и прикидываться, будто не умеешь говорить!

Э! Эдуард смотрит на меня, сощурив один глаз.

— Это ты шут. Вернее, безмозглый слизняк. И не называй меня отцом.

А-а-а!

Я огрызаюсь. О-о-о!

— Почему кардиналы смеялись? Со мной шутки плохи.

Он добродушно улыбается.

Разве нет? А?

— Ты дурачок, Ричард. Жалкий, безмозглый слизняк. Скажи: ты когда-нибудь видел господ, которых оговорил? Реда, Уайта, Блэка?

Как же!

— Их нельзя увидеть Они сидят в своих кабинетах на последних этажах небоскребов.

— Ты был у них в офисах?

— Нет.

— А ты сходи.— Он усмехается.— Ты найдешь их пустыми. Пустые столы и кресла, безмолвные телефоны.

— Как так?

— Мистеров Уайта, Блэка и Реда, владеющих крупнейшими предприятиями нашей Страны, не существует. Вернее, больше не существует. Остались только их имена. У нас есть промышленность, но нет промышленников. Капитализм без капиталистов.

А? О!

— Когда вы их устранили?

— Они сами убыли. Давным-давно. Решили, что им здесь невыгодно, вот и все. Не знаю толком, куда они делись, не интересовался. Кажется, у них было намерение развернуться в какой-нибудь отсталой южной стране, где никогда не слышали о финансовом капитале, акциях, дивидендах.

Вот тебе и раз!

— Не понимаю.

— Потому что дурак.

— Но ведь у нас самые высокие в мире прибыли, самая большая отдача от капиталовложений в промышленность Наша экономика, не в пример прочим, не знает спадов и кризисов.

Вот.

Он медленно качает седой головой.

— Ну не дурак ли ты? Не безмозглый слизняк? Ты ведешь себя так же глупо, как твой брат Георг. Высосал из пальца лжеулики, построил на них обвинения. а они — бац! — и рассыпались. Несерьезно. Хуже не придумаешь. Особенно когда речь идет о бизнесе или о политике. Я пытался тебя направить, делал что мог, но ты ничего не понял.

— Отец!

Он жестом просит не перебивать его.

— Твой Ричард, Ричард, которого ты взял за образец и которому ты стараешься подражать, был гениальный интриган. Он строил свои козни продуманно, он знал, кому нанести удар и когда.— Показывает на спинку трона.— Дело в том, что за спиной у Ричарда, направляя его руку, стоял Шекспир. У тебя за спиной нет никого. Никто не направляет твою руку, и ты наносишь удары наугад, вслепую, как дурак, как последний дурак. Хочешь сесть на мое место? Тебе удобно на троне? Но уж ты-то и подавно не найдешь то, что тщетно искал я. Смысл. оправдывающий все это.— Безнадежно обводит зал рукой.— Добиваясь папского престола, я не деликатничал. Я не задумываясь убирал всех, кто мог мне помешать. перебежать дорогу. Только в отличие от тебя я делал это с умом. Я говорил себе: достигнув власти, верховной власти, я возвышусь над всеми, смогу делать, что мне заблагорассудится, получу все, чего бы ни захотел

— Так ведь и вышло, разве нет?

Прежде чем продолжить, он окидывает взглядом горы мусора.

Переливающиеся мрачным блеском.

— Да, мы хозяева всего — я и мои кардиналы. Но что толку? Зачем нам богатство, где и на что его тратить, когда мы — хозяева мира? С тех пор как нами упразднены банки (а сделать это пришлось потому, что сбережения — первейший враг нашей религии), ушли в прошлое барыши,

прибыли. Ты знаешь, все мы живем одинаково, люди довольны, это демократично. Любой доход должен быть вновь инвестирован, все поглощается непрерывным циклом «производство — потребление — помойка» неумолимой троицей, не допускающей пауз,— в противном случае машина остановится. А стоит ей замедлить ход, как построенное нами общественное здание пойдет трещинами, грозя обрушиться. Тем временем количество мусора растет, его скопление занимает все новые пространства, заполняет низины, выравнивая земную поверхность.

О! Он весь трясется, стараясь сдержать рвущийся наружу смех.

— Знаешь, какой мне рисуется Земля через тысячу лет когда исчезнут последние признаки жизни когда наконец это олицетворение прогресса эта раковая опухоль, пожравшая человечество, канет в небытие? Пришельцы из космоса найдут нашу планету полностью покрытой мусором Единственным звуком, который они услышат, будет бряканье консервных банок перекатываемых ветром. Тилим-тим-тим

Он сверяется с воображаемыми (и-и-и!) часами.

— Верно, верно, уже поздно. Ничто меня больше не удерживает Если тебе выгодно, можешь говорить, что это ты меня убрал. Прощай, безмозглый слизняк!

— Подожди, отец!

Он зарывается в мусор и (и-и-и!) исчезает навсегда.

Ах! Ух!

О это оказалось совсем просто. Настолько, что — вы сами видели — я тут ни при чем.

Тилим-тим-тим.

А это еще кто такой в белой мантии? Идет сюда.

Новый папа?

Кандидат в папы.

Иоанн Кардинал Нашвиллский.

Ку-ку! Кардинал-кандидат.

Он видит меня сидящим на троне (престоле).

— Отлично Тут нет Эдуарда?

— Нет Больше нет.

— Я должен сообщить ему результаты моих теологических изысканий. Очень важные результаты.

— Браво, браво.

Он смотрит на меня с недоумением.

— Первым делом необходимо поставить крест на экономике, покончить с ней. После чего можно спокойно заняться усовершенствованием нашей религии.

— Да ну?

— В чем оно выразится, я тебе не скажу.

Ух ты какой!

— А мне и неинтересно. Религию нельзя усовершенствовать.

Ну что, друзья? Сидя на троне — у! — умнеешь.

— Где Эдуард?

— Мир ему! Папы нет Убыл. Навсегда.

— Твоя работа?

— Моего вмешательства не потребовалось. Мне везет. Настолько, что рок может обойтись без моей помощи. После смерти папы выбирается новый глава церкви. И теперь вы, кардиналы, устроите конклав, дабы из своего числа выбрать нового папу. Но поскольку никто не получит большинства голосов, поскольку каждый из вас будет голосовать за себя папой станет совсем другой человек. Не имеющий отношения к конклаву. А именно я.

Клянусь, люди, это экспромт.

Я не готовился, последние слова вырвались сами собой. Железно!

Иоанн опускает голову.

Так что его слова катятся по полу. У-у-у!

— Эдуард был моим отцом.

Мамочки! Ну и ну!

Чтобы прибавить (о-о!) пикантности этой книге — да какой там книге книг больше не существует,—этой партитуре для восклицаний и слов, не хватало лишь последнего (во-во!) признания.

О-о-о, открытия

— Сколько же детей было у нашего отца? — (Плодовитость пап надо будет ограничить.) — Значит теоретически мы с тобой братья дорогой Иоанн. Но только теоретически Эдуард не был моим отцом, а Маргарита признайся,— твоей матерью Давай уж откровенно — как сирота с сиротой.

— Моя мать была европейка.

Ага, друзья, все постепенно сходится.

— Так же, как мой настоящий отец. Су-у-кин сын! Правда у твоей матери были отменные хромосомы, ведь, по мнению Эдуарда,— да будет ему мусор пухом! — ты Иоанн, самая чистая особь на всю великую Страну Из тебя бы производитель получился племенной бык. Как ты на это смотришь?

А что, неплохая мысль. Идеального человека можно получить путем скрещивания нашего мужчины и европейской женщины.

Вроде Марии. И-и-их! (И-хи-хи.)

— Счастливчик. У-у! Уже кардинал. И красивый не то что я Мог бы чем-нибудь и поделиться. Везением, например. Тем более я тут кое-что предпринял

— Бери что хочешь.

— Отлично. Грызи свою теологию, парень. Меня же интересует власть. Смысл, который искал наш отец, всплывет. Я его найду — рано или поздно.

— Прощай, Ричард.

— Пока. Сделай мне одолжение. Подготовь закон, позволяющий стать папой (богом), не будучи кардиналом.

— Отлично.

— А ты, собственно, куда?

Ой! Иоанн бросается в мусор.

Исчезает

Среди пары (фи!) фиолетовых туфель, большой (у!) упаковки стирального порошка, четырех пар мужских трусов и словаря без слов.

В том самом месте, куда бросился Эдуард.

Его (во-во!) отец.

О! Они самоустраняются.

Э, это не в моем вкусе. У, у них нет вкуса к жизни.

Зато — о! — у меня есть. И-и-и, еще какой!

Чего-чего, а этого у меня не отнимешь.

23

— Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

Это она.

Я дергаю Энея за руку. Мы с полковником прячемся в тронном зале, за колонной. Той же, что всегда.

Теперь его очередь действовать. Энея.

Елизавета (так-так) озирается по сторонам. Ищет.

— Эй, парни. Ау! Ахилл? Ты тут? А, Ахилл?

Эге.

Это я намекнул ей, что ее хочет видеть Ахилл. Здесь.

Опля! Полковник вырастает перед Елизаветой.

— Это я, Эней.

— Вижу, что ты. Будь уверен. Тебя прислал Ахилл?

— Нет, раз такое дело.

— О, он сам придет, будь уверен. Эй, парни — эй, парни.

— Ты его любишь?

— Кажется, он меня любит. А про себя не знаю. Эй, парни — эй, парни — эй, парни. У-у, узнать бы сперва, что такое любить. Вот ты знаешь?

Эней мотает головой. Ой, бедненький!

— Я никогда никого не любил, раз такое дело. Кроме моего отца.

— Барона Небраскского. Эй, парни Наши отцы — мой и твой — были большими друзьями.

— Э, Эней-то трусишка.

— Граф Оклахомский. Как же, как же, хорошо его помню. Он тоже пал жертвой ликвидации аристократии.

Эгеге, всем известно, что отец Энея живет в Европе. Он бизнесмен. Преуспевающий.

— Эй, парни. Мы с тобой ведь тоже дружили. В детстве.

— Точно, Елизавета. Кажется, мы должны были пожениться.

— Но ты вышла за аббата Йоркского. Я остался холостяком, раз такое дело. Военному лучше одному...

— У, будь уверен!

Елизавета вынимает записочку. Ку-ку!

Моего (о-хо-хо) сочинения.

— Тут Ахилл прислал мне записку. Я знаю, он дал ее тебе, а ты — Ричарду. Все такие добрые. Эй, парни.

— Записка совершенно секретная.

— Эй, парни. Ты мне не прочтешь, что он пишет, а то я не умею?

Эней становится в гордую позу.

— Я сам не умею Поэтому в армии мне доверяют секретные документы.

— Поняла. Эй, парни — эй, парни — эй, парни.

— Елизавета, я здесь, чтобы выполнить свой долг, раз такое дело.

— О'кей, это хорошо. Эй, парни.

— Ты виновна в нарушении супружеской верности.

— Так ведь Ричард сказал — эй, парни,— что ему все равно, раз он собрался исчезнуть.

Эней в некотором недоумении.

— Исчезнуть? Кто, Ричард?

— Угу, он прямо так и сказал: «Бетти, скоро я должен исчезнуть».

— Не раньше чем меня произведут в генералы, раз такое дело. Елизавета, закон о нарушении супружеской верности не допускает исключений.

— Эй, парни — эй, парни.— Елизавета убежденно кивает.— Я не боюсь уйти. Правда, мне будет не хватать магазинов. Знаешь, в последнее время я могла тратить чуточку больше. Видать, Ричарду прибавили жалованье.

— Раз такое дело, там, где ты будешь, ты сможешь покупать сколько влезет.

— О, если б я точно знала!

— Будь уверена, Елизавета.

— Эй, парни — эй, парни. Ой!

Эней сталкивает ее в мусор.

О, дорогая Елизавета! Бетти.

Ах! Не сбиться бы со счета.

И-хи-хи-хи.

Сюда идут. Их-то я и ждал.

Эней прячется. Надеюсь, ему ясен мой план. Весь? Или только та часть, в которой ему отведена извечная роль руки судьбы?

Судьбы. Которая благосклонна ко мне. (Хорошо бы еще потом вернулась скука!)

Я тоже продолжаю прятаться. Сплющиваюсь.

Ах-ах-а, насколько позволяет горб.

Вот они — Мария, братец Кассий и Брут.

И-и-и, именно они.

— Встреча здесь,— говорит Мария.

Здоровяк Брут, судя по сжатым губам, настроен решительно.

— Никто ни о чем не догадывается.

Кассий сияет.

— Мы выступим неожиданно. Неожиданность — главное в бою.

Эгеге.

Оба в смокингах. Чистых и прекрасно отутюженных. Попросту новых — с иголочки. Ишь ты!

На Марии костюм в клетку. У, она не умеет одеваться, но все равно — ох, хороша, ах, друзья, что и говорить!

Мария смотрит на Брута. Так-так.

— Тебе страшно?

Он дарит ей влюбленный взгляд.

— Ни капли.

Мария поворачивается к брату.

— А тебе?

В черных зарослях бороды сверкают ровные белоснежные зубы.

— Кассий не может отстать от Брута!

— Так же как и опередить его,— спешит уточнить Брут.

— Где Брут, там и Кассий!

Слова Кассия прозвучали торжественно. О, очень даже!

— Мы как два брата. А ведь даже не родственники. Оно и лучше.— Брут смеется.— Иначе Мария не могла бы меня любить.

— Моя сестра будет любить только тебя.

— Я разрешаю любить мою сестренку только тебе.

Мария недовольна. Слегка.

— С вашего позволения, я сама выберу, кого мне любить. Скажите лучше, где Гораций.

— Опаздывает,— говорит Кассий.— Но за ним дело не станет, я его знаю.

Брут мрачнеет.

— Он по-прежнему надеется одолеть капитализм с согласия капиталистов. Рано или поздно нам придется потребовать от него объяснений. Объективно его реформизм можно рассматривать как заигрывание с противником. Как предательство.

— Успеем,— считает Кассий.— Сейчас время действовать. Да вот и Гораций. Наконец-то.

Точно. Он.

Ох!

Мария бросается ему навстречу. У, нетерпеливо.

— Гораций, какие новости?

— Превосходные. Ричард убрал папу и Иоанна. Остальные кардиналы сидят по своим квартирам. Они смеются и ничего не подозревают. Солдаты работают на заводах и фабриках, их не отзывали. Полицейские безмятежно прогуливаются по улицам.

Эхехе.

— Что наши? — спрашивает Брут.

Гораций докладывает:

— Работают Ждут моего сигнала.

— А Ричард? — осведомляется Кассий.

— Он придет сюда, чтобы присоединиться к нам.

Э-ге.

Неожиданно Мария задумывается.

— Минутку. Ричард все сделал сам. Если так, зачем ему мы?

Брут сохраняет уверенность истинного вождя.

— Наша задача проста,— объясняет Брут.— Вся власть в руках у Ричарда? Тем лучше. Кто первый вонзит в него кинжал?

Ох ты!

Вперед выступает Кассий.

— Наверное, я.

Брут согласен.

— А мне предоставьте честь прикончить его.

Не знаю почему — у! — но эта история кажется мне знакомой (что-то напоминает). А вам, друзья?

Кассий поднимает глаза горé (вверх).

К потолку — у! — испещренному паутиной.

— На нас смотрят века.

— Да, и сегодня все увидят, из какого мы теста, герои мы или дерьмо!— возглашает Брут.

Я подражаю (а-ха-ха) голосу попугая:

— Дерьмо!

— Дерьмо!

Это слово — о! — отзывается, отдается под сводами огромного зала, вроде бы исходит неизвестно от кого.

Мария вздрагивает.

— Вы слышали?

— Какое странное эхо,— бормочет Брут.

Кассий совершенно спокоен.

— Мы раскрыты,— заключает Гораций. Похолодев.

Ага, тени обретают плоть, преломляясь у подножия стен.

Мария кричит. у!

— Ужас, сколько полицейских!

Кассий бледнеет (то-то).

— Мы окружены. Нас предали.

Первым берет себя в руки Брут.

— Гораций, беги, попытайся проскользнуть. Поднимай наших, пусть начинают восстание. Вся надежда на тебя Торопись!

Отлично, как сказал бы Иоанн.

Стражники не видят Горация. Он успевает скрыться в дверном проеме.

Браво, браво. О, Эдуард был бы мною доволен. Вот тебе и безмозглый слизняк!

Появляется пузатый генерал Ахилл.

Он в военном комбинезоне, лицо закрывает герметический шлем. К нему — у! — присоединяется полковник Эней, который подает сигнал.

На вершине мусорной горы вырастают три вертикальные доски.

Ага, пора появиться и мне.

Я ору:

— Слышали? Вы все свидетели! Ересь и предательство! Больше чем достаточно для приговора без суда и следствия. Генерал Ахилл, полковник Эней, приступайте!

Марию, Брута и Кассия хватают.

Я с усилием поднимаю голову, чтобы увидеть их лица.

Цежу — у! — сквозь зубы:

— Сначала женщину. Жаль, в постели она была ничего.

Кассий порывается броситься на меня.

— Не смей так говорить!

— Я был уверен, что делаю ей комплимент. Сложный вы народ, европейцы.

Вопросительно смотрю на Брута — а? — который хочет что-то сказать.

— Убей меня, только пощади Марию!

Клянусь, я этого ожидал.

Убить. У, какое ужасное слово! Грубое.

Мы его давным-давно упразднили. Так же, как слово «умереть».

Брут заслуживает того, чтобы ему ответить.

— Думаешь, она стоит больше, чем ты? Ошибаешься. И вообще о замене не может быть речи. Я должен ликвидировать всех троих.

Брут не сдается.

— Тогда первым убей меня. Слышишь?

Ишь, прицепился!

— Нет. мне вас не понять. Ну хорошо, ликвидирую всех трех одновременно, никого не выделяя.

Тем временем Марию, Кассия и Брута, обмотав грудь веревкой, привязали к трем доскам.

Доски. У, угадали: они пришли на смену виселицам.

Это более гуманно (цивилизованно). Безболезненно.

Голос Ахилла звучит из-под шлема через динамик:

— Аббат Йоркский, у нас все готово.

Я воздеваю длиннющие, тощие, как у скелета, руки. Не руки, а голые сучья дерева.

— Да прибудет мусора! Прощай, Мария.

Европейцев спускают в мусоропровод.

У-у, уже в главном коллекторе, до того как достигнут канализационного ствола (ах!), они превратятся в богатые органические соединения, в атомы углерода и азота.

Точно так же, как мясо. Которое мы выбрасываем нетронутым.

О, идея!

Надо будет подумать о возможности создания из атомов мусора новой породы животных. Человекообразных рабочих.

В рабочих мы испытываем постоянную нужду.

И в потребителях.

Ах, чуть не забыл! Пора позвать моего достойного сообщника. Напарника. Подручного, во-во.

— Иди сюда, Гораций, не бойся. Все в порядке.

Входит Гораций и становится передо мной на колени.

Ишь ты, сообразил, что так я могу смотреть на него, не напрягая шею (не задирая голову). У-у-у!

— Разрешаю тебе вернуться на работу, Гораций. Скажи своим, что завтра они получат премию. Сорок фунтов разного товару — у! — на каждого. И начнут выбрасывать собственный мусор.

— Они будут счастливы.

— Пусть докажут, что достойны стать гражданами великой Страны.

— Все только этого и ждут, аббат Йоркский.

Самое смешное, друзья, что чем больше мы обманываем народ, тем больше он нам благодарен.

Человеческий мазохизм.

Гораций ретируется.

И среди европейцев попадаются толковые ребята.

Так! Теперь я должен как можно скорее продемонстрировать свои качества государственного мужа. У-у-у!

Стражники ушли. Остались Ахилл и Эней. В ожидании. Почтительном.

О, они стоят друг друга! Два сапога пара. Я отличаю их по шевронам на рукавах. Ахилла еще и по животу.

У! С Елизаветой он бы составил премилую пару.

— К вашим услугам, мои доблестные воины. Аты-баты, шли солдаты. Кто достойнее из вас двоих?

Не отвечают.

— Я хочу знать, который из вас пользуется бóльшим авторитетом, бóльшим уважением у людей.

Оба мнутся.

Наконец оживает хриплый динамик Ахилла (ах ты!):

— Думаю, что я.

Эге. Спрашиваю Энея:

— А ты как считаешь?

Под свист и треск разрядов отвечает динамик Энея:

— Он генерал, раз такое дело.

— Вот и прекрасно. Ахилл, ликвидируй Энея. Не говоря — у! — хотя бы потому, что его отец, барон Небраскский, припеваючи живет в Европе, а сынок замышляет занять твое место. Выполняй. А потом пойдешь к Елизавете, моей жене, и предложишь ей руку и сердце, она ждет с нетерпением.

— Это невозможно, раз такое дело,— протестует Эней.

Ей-ей, я его не слушаю. Я продолжаю, обращаясь к Ахиллу:

— О юридической стороне дела не беспокойся. Абсолютно справедливых законов не бывает, они подчиняются победителям. Я издам специальный закон, разрешающий папе развод

— Невозможно,— изрекает динамик Энея.

— Э, это ты о том, что я не стану папой? Стану А вот тебе генеральского чина не видать как своих ушей.

Шлем Энея поворачивается в сторону Ахилла.

— Раз такое дело, Елизавету я ликвидировал. Лично.

Ого!

— Тем более,— говорю я Ахиллу.— Вот тебе еще одна веская причина убрать его.

Обтянутые перчатками руки генерала толкают Энея.

Мусор принимает полковника в свое лоно.

Из его динамика не раздалось даже потрескивания.

Ахилл — ах бестия! — снова застывает в почтительном ожидании.

— Ричард, есть еще враги, которых нужно убрать?

— Давай сюда кардиналов.— И вдогонку, останавливая его на пороге: — Послушай моего совета, Ахилл. Больше не пиши любовных записок дамам. И вообще, коли об этом зашла речь, хоть ты и не силен в грамоте, постарайся вовсе разучиться читать и писать. Это не украшает солдата.

— Да ведь я и так не умею. Ни писать, ни читать.

Вот тебе и на!

— Ступай.

Ай-ай-ай.

У!

Улавливаете, друзья? Значит, автор послания, подписанного «А.», вовсе не он.

Первой записки, которую я нашел и принес Елизавете.

Клочка бумаги, послужившего сигналом к моему наступлению. Которое — эгеге! — потрясло двор.

Кто же написал записку?

Теперь уже все равно. Может, ей сто лет. Может, она и адресована-то не Елизавете.

А-а-а, ерунда. Аминокислоты в составе мусора. И больше ничего. Во-во.

Герой с трудом карабкается на трон. Придется приспособить лесенку (у! стремянку).

Или опустить трон до высоты ночного горшка (урильника) — ахахахахаха!

Появляются запыхавшиеся кардиналы.

Надо отдать должное их предусмотрительности: они взяли с собой Анну.

Эге. Эгеге. Эге.

Первый комплимент я получаю от Марка:

— Ты хорошо выглядишь, Ричард.

— Красавец! — подхватывает Лука.

Матфей, снова надевший свою белую шляпу (ух ты!), передвигает сигару в угол рта. Чтобы — у! — улыбнуться мне.

— О'кей, знаешь тебе идут физические недостатки?

Анна в черном (ба!) балахоне. Кажется, чистом.

О, да он новый! На рукаве еще висит ярлык.

— Ну а ты, Анна, как меня находишь?

— Анафема.

— Скоро мы поженимся.

— Ура.

По-моему, она меня просто не видит. Смотрит мимо. В пустоту.

Мой подозрительный взгляд сверлит дышащие надеждой лица кардиналов. Моих кардиналов.

— Мы должны решить вопрос о новом папе.

Коллеги знаками подбадривают Марка.

— По этому поводу, так сказать, мы уже пришли к решению.

Ну-ну.

— Разумному. (У!) Историческому. (У!)

Марк глотает комок и произносит свою речь:

— Так сказать, традиции нашей великой Страны требуют равенства всех граждан в главном. В их обязанностях и правах. Если мы возьмем нашу древнюю историю, теоретически изначально каждый человек мог стать президентом. Недаром президентами не раз становились идиоты. Исходя из этого, мы считаем, что каждый может стать папой.

Лука спешит вставить словечко:

— В том числе и ты, Ричард.

— Не будучи кардиналом,— уточняет Матфей.

И-хи-хи.

— Хорошо,— соглашаюсь я.— Кстати, мне пришла мысль воздержаться от намерения ликвидировать вас скопом. Хочу — у! — показать народу, что курия едина во благо нации. С этим сознанием я принимаю предлагаемый мне высокий пост.

А, друзья?

Все кричат:

— Ура папе Ричарду!

У! Третьему.

Четвертому?

Что там говорит моя будущая жена (супруга)?

Ах, если не ошибаюсь, ради столь торжественного случая она выучила новое слово!

— Хреновина.

У, 25?

Ухэх. Эхох. Иих.

Я возвращаюсь к этой книге (продолжаю эту говорящую книгу). Которая, если по-честному, ууу, должна была бы звучать под лютню. И другие нежно-сладостные инструменты

Я возвращаюсь к ней спустя день? Год? Век?

Аааааааааа.

Я — у! — великий — о! — папа.

Я, Ричард Хромец, горбун — ихихи. И-хи-хи, паук.

Ихиихихихихихихиих.

Ах, браво! Браво, браво.

Ммммммммммммммммм.

Отлично.

Скука — ух — тоска. Тоскаус.

(О латынь!) У!

А! Свои книги я выбросил.

Эхехе. В мусор.

Да ну их! Ихихи.

Приключения, которые описывались в тех — ээхиихоох — книгах, ах, нагоняли на меня скуку.

По сравнению с моими собственными приключениями, и-и-и, то были банальности. Да еще письменные.

Взять хотя бы моего любимца. Ах! Моего обожаемого героя. Калеку — у! — Ричарда.

Ай-ай-ай-ай-ай. Он пло-ох-о кончил. Бедняжка — у! — умер нищим, не имея (да, да) даже коня.

Игого! Ооо! У!

У меня есть все.

Эхехе.

Все.

Ничего.

Количество мусора сильно — ууу — увеличилось.

Полный расцвет.

Во всех (эх) проходах (ах) — мусор Во всех (эх) коридорах.

Хорошо, потолки — иии! — высоченные. Есть еще немножко места наверху.

Ух, курия (ай-ой-ай) плавает, барахтается в мусоре. Ээхаах! Мы тонем (ууу) — утопаем в собственном богатстве. Задыхаемся!

Производство растет. Мусор — о — у — растет. Любо-дорого, огого.

По десятку — у! — а то и по два десятка — а! — книг на душу У, в день. Покупаем.

Прелесть! Ни одной буковки на чистеньких — иих! — белоснежных страницах, ахахахахах! Ах, ах, ах! Эх!

Детвору — у! — учат всего — о! — ста словам.

Двести не укладываются в голове.

А какие — у! — у ребят головы! Красивые, белокурые, большелобые. Головы мыслителей, ей-ей.

Друзья! Но с какой (ой) стати я называю вас друзьями?

Не важно.

О, о'кей

Сегодня я собрал курию. Ага, Анну тоже.

А кто такая Анна?

Анна, а есть такая.

Я должен был — ооо — объявить им решение. Ну конечно, свое. А чье же? Правительственный документ? У, декрет.

Начиная с завтрашнего дня, сказал я, рост мусора должен превысить — у — уровень (потолок), определенный последним планом О! Я желаю, чтобы каждый гражданин потреблял не сорок а (ааа!) шестьдесят фунтов товаров ежедневно. О!

Мы — ууу — увеличим (и это будет справедливо) жалованье. Зарплату. У! О! Оклады.

Министр (он же защитник) культа сказал о'кей.

Государственный секретарь — э, это он в красной мантии? — сказал, что я, так сказать, говорил как истинный папа, ах ты!

Великий инквизитор заметил, что для такого (во!) количества мусора — ах — не хватит места.

А я и это — эхехе — предусмотрел.

Я сказал, что моему отцу (моему отцу?) пришла перед уходом, ух, грандиозная мысль — праздновать День мусора (или День отказа). Помните, а?

О'кей.

Это была правильная мысль, сказал кто-то из кардиналов. Запамятовал кто, хоть убейте.

Ахахахахахаха.

А я, как только меня выбрали папой (уухохэх!), объявил каждый день Днем отказа.

О'кей. С завтрашнего дня — во! — вводится День отказа от отказа.

Дурьи глотки.

Эээ, это просто.

Каждый гражданин, начиная с завтрашнего дня, будет съедать (поглощать) по несколько (нескольку?) — у! — фунтов мусора (мусору?). Огого!

Кто съест больше, получит премию Но за несъедобный мусор, эхехе. А вы как думали?

Кардинал — тот, что по культу,— у! — подбросил шляпу. Ухтыохты!

Я схожу (уф, спускаюсь) с трона. Который теперь подвешен к потолку. Ух!

Нечего рассиживаться, мы должны подать пример. Ооооо, общество ценит руководителей, способных занять место в первом ряду — у! — и служить примером.

Мы не вправе забывать, что на нашу (у!) великую Страну (у!) обращены взоры всего (во-во!) мира. Цивилизованного и нет.

Анна сказала — у-ура. («Эй, парни — эй, парни — эй, парни»).

— Непло-ох-о,— сказал государственный секретарь.

— Ох'кей,— сказал защитник (у!) культа.

Ах ты!

Ахахахахахахаха.

Он первый — ахахах — набросился на мусор.

Охохохэх — ахахахох! Хвать свою белую шляпу — (у!) — и зубами оттяпал кусок поля. Оляля! Кусок крыла.

Ооо, он его жует! Приговаривая, дескать, ох'кей, ооооохох, жестковато.

Я оказался хитрее (у! умнее) всех — эээх! Нашел (выбрал) для еды (о!) огрызок последнего яблока, которое ел мой (ой!) отец.

Ахахаохохоихихи.

Государственный секретарь — эге — открыл коробку шоколадных (ихихиохохо) конфет.

Конфетки — ихихи — были пластмассовые.

А выглядели как настоящие — ууу! Угу.

Великий инквизитор объяснил — научно — что желудок способен переварить все.

А в кишках (ах ты!) все превращается в дерьмо (охохоахаха), изрек другой.

Нами будет произведено — о! — море дерьма.

Мы смачно ели, когда я опять подумал одну-у-у вещь.

Ухтыахты!

Представьте — ооо! — как через тыщу — ууу! — лет пришельцы из космоса высаживаются на Земле.

Необитаемой.

Ох ты!

Шар — уууууу! — покрытый — ооо! — дерьмом.

Тилим-тим-тим.

◆

ДМИТРИЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

Советский переводчик с немецкого и итальянского. В ее переводе публиковались рассказы Г. Воман (ФРГ), А. Мушга и О. Штайгера (Швейцария), А. Моравиа, А. Кампаниле, Г. Паризе (Италия).

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.)

Советский переводчик итальянской поэзии и прозы. В «Иностранной литературе» печатались его переводы из Данте, Петрарки, Белли, Монтале, Луци. Переводы Е. Солоновича из классической и современной итальянской поэзии отмечены в Италии рядом литературных премий. В его переводе вышел также роман Д. Д'Аграты «Дети Гиппократа».

Публицистика

КСЕНИЯ МЯЛО

УРОКИ ЭЙЗЕЛЯ

В лабиринтах мифа и под солнцем стадиона

Я поднимаю новую Чашу: ритон в форме бычьей головы, наполненный черной кровью

Анри де Монтерлан. «Матадоры»

...Он принял причастие буйвола...

Генрих Бёль. «Бильярд в половине десятого»

31 мая 1985 года, приступая к рассказу о событиях «кровавой среды» (под таким именем в историю современной Европы вошел день 29 мая 1985 года) на брюссельском стадионе «Эйзель», итальянская «Репубблика» предварила его выразительной заставкой: изображением смерти, высоко поднимающей в костлявых руках Кубок европейского первенства по футболу. Рисунок получал особо зловещий смысл, будучи соотнесенным с фотографией на следующей странице, где капитан итальянского «Ювентуса» показывал ликующим туринским «тиффози» давно вожделенный Кубок — «этот проклятый Кубок», как выразилась «Гадзетта делло спорт», выигранный «Ювентусом» в финальном матче с английским «Ливерпулем» и поистине «наполненный кровью» почти четырех десятков убитых и двухсот раненых, ставших жертвами дикого побоища между английскими и итальянскими болельщиками. Когда они в день финального матча розыгрыша Кубка европейских чемпионов со свистом и улюлюканьем, завернувшись в национальные флаги, проследовали по задыхающимся от зноя, но не утратившим чинно буржуазного облика улицам Брюсселя, вряд ли кто-либо мог предположить, ареной каких кровавых событий станут переполненные до краев, веселые и нарядные трибуны «Эйзеля». Вряд ли — хотя история футбольного вандализма к этому времени уже была весьма богатой.

«Кто сможет забыть, — писал итальянский еженедельник «Эспрессо»,— эти ужасающие картины, зрелище стольких убитых и раненых, беззащитных жертв насилия, взорвавшегося в тот вечер, который должен был бы стать вечером праздника и веселья?»

Многими «кровавая среда» была воспринята как новая точка отсчета времени, по крайней мере в европейской истории, и бельгийская газета «Пёпль» писала на следующий день: «29 мая 1985 года отныне навсегда останется кануном нашего с е г о д н я, потому что в этот день к нашему порогу вплотную придвинулась смертоносная глупость, потому что он породил в нас отвращение, породил сомнения в самом прогрессе человечества, потому что варварство вдруг вырвалось из адского котла, кипящего в лабиринтах эволюции человеческого рода.

До сих пор мы полагали, что вспышки вандализма на футбольных стадионах могут быть достоянием только южноамериканских городов с разнузданными страстями их обезумевших фанатичных болельщиков. Но со среды 29 мая 1985 года мы знаем, что старая Европа, колыбель западной цивилизации, совсем не застрахована от коллективного человекоубийственного безумия».

Наивный евроцентризм этих строк при других, не столь трагических обстоятельствах мог бы вызвать лишь улыбку: как будто «старая Европа» уже не становилась дважды ареной мировых войн, первая же из которых сокрушила безмятежную веру в неуязвимость европейца для бациллы варварства, а вторая продемонстрировала такие образцы «коллективного безумия», до которых еще не поднимались южноамериканские города. Конечно, футбольный

МЯЛО КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Кандидат исторических наук. Специалист по новейшей истории Запада. Автор книги «Под знаменем бунта» (М. 1985) и многих статей, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература» и других изданиях.

вандализм являет это безумие в самом первобытном его виде, без каких-либо идеологических и политических облачений, но ведь и для Европы акты такого вандализма не были чем-то неслыханным. Эта тема в годы, предшествовавшие Эйзелю, то и дело возникала на страницах печати, а опасная концентрация социальных страстей вокруг футбола уже десять лет назад достигла такой степени, что (и об этом напомнила газета «Либр Бельжик») председатель мадридского клуба «Реал» Сантьяго Барнабо заявил: «Кубок европейского первенства страшит меня. Он приобрел такое значение, он возбуждает столько вожделения, разжигает такие страсти, что рискует стать причиной массовых беспорядков и насилия, могущих повлечь за собой гибель людей».

Именно это и произошло в Брюсселе, а проблемы нравственной деградации современного общества и особой роли спортивного зрелища как мощного фактора этой деградации обозначились здесь особенно остро и потому еще, что свидетелями кровавой бойни стали тысячи телезрителей и что матч не был прерван, несмотря на масштаб катастрофы. Это породило немало ассоциаций со зрелищами, разворачивавшимися на арене римского цирка (уже созвучие слов «Колизей» и «Эйзель» давало дополнительную пищу воображению); полную горечи и сарказма статью о «современных гладиаторах» опубликовал, например, итальянский социопсихолог Умберто Эко. Гладиаторов этих ему довелось увидеть сразу же после того, как на одной из научных конференций он выступил с докладом о Дракуле — не о фантастическом герое серии комиксов и фильмов, «патроне» панк-эстетики, а о его реальном прототипе, трансильванском феодале Владе Дракуле, имевшем славу кровопийцы (в буквальном смысле слова) и отличавшемся, помимо всего прочего, склонностью к пирам среди посаженных на кол, агонизирующих жертв. Эта параллель, а точнее пересечение фикции и реальности, оказалась здесь исполненной пророческого смысла.

Да, комментировал Эко, счастливчики, включившие в тот вечер телевизор, стали свидетелями зрелища почище королевской свадьбы, почище даже ежевечерней хроники из Ливана (разумеется, Ливан здесь легко заменяем Ливией, ЮАР и другими «горячими точками» планеты, число которых угрожающе растет.— К. М.).

Напрасно, правда, вмешались полицейские, а футболисты вновь принялись гонять свой никому уже не интересный мячик. «Все чувствовали, что самое главное позади, и зрелище могло быть еще более возбуждающим, если бы ему позволили продолжаться... Разумеется, по законам жанра гладиатор, сразивший противника, должен был бы вспороть ему живот и показать еще дымящиеся внутренности трибунам».

Несмотря на все, впрочем, вполне понятные в данном случае преувеличения (несомненно, многие телезрители с ужасом отвернулись от страшного зрелища), Эко, не случайно начавший с символической параллели между реальным и вымышленным Дракулой, коснулся едва ли не самой сути проблемы: «Нужны были годы старательного воспитания масс, чтобы добиться таких результатов».

«По здравом размышлении,— писал, со своей стороны, французский журналист Жан Ку,— если что и удивляет после брюсселъской бойни, так это вызванное ею удивление». Все действия, предпринятые после 29 мая британскими властями и УЕФА, напоминают ему суету сверной хозяйки, выметающей пыль из-под комода под диван и обратно, вместо того чтобы по-настоящему очистить дом. «...Насилие— вот та отвратительная пыль, которая клубится над нашим обществом и удушает его». И чему же удивляться, если уже младенцев едва ли не грудного возраста телевидение приучает глотать, не поморщившись, все более и более чудовищные дозы этого насилия?

И в самом деле, та особая роль, которая отводится демонстрации жестокости, насилия и различного рода «ужасов» в массовой культуре современного Запада, хорошо известна. Однако, несмотря на все внешнее разнообразие той продукции, которую выбрасывает на рынок индустрия ужасов, почти все произведения этого жанра тяготеют к одному несомненному в своем значении центру тяжести — к демонстрации акта умерщвления и всех связанных с ним «аксессуаров» смерти. Он-то, если воспользоваться несколько старомодно звучащим, но отнюдь не устаревшим выражением известного русского деятеля начала века Н. Евреинова (внесшего, на уровне теории, немалый личный вклад в формирование эстетики такого рода), и превращается в «объект монстрации». Так что же удивительного в том, что все более активно заявляет о себе тенденция к замене ирреального образа созерцанием реально совершающегося события? И не закономерно ли превращение демонстрации актов реальной смерти в целую процветающую отрасль, правда, пока подпольную, которая предлагает зрителям набор соответствующих видеокассет — «от резни в Бейруте до забоя дубинками на лежбищах морских котиков... от записи операции на сердце до сцен казни на гильотине и электрическом стуле»?

Четко определилась и та социальная группа, в которой продукция подобного рода пользуется наибольшим спросом: молодежь школьного и студенческого возраста, принадлежащая к так называемым «средним слоям», и было бы непростительным легкомыслием тешить себя иллюзиями о том, что вирусом вандализма и жестокости поражен лишь сравнительно небольшой слой подростков-люмпенов.

Эти видеокассеты и события Эйзеля — явления одного порядка, они — фокус потаенных, но все более интенсивных импульсов, пронизывающих социально-психологическую атмосферу позднекапиталистического Запада. Импульсы эти непосредственно соседствуют здесь — контрастируя, а вместе с тем и уживаясь — с настроениями конформистскими, консервативными, со всем по видимости респектабельным и комфортабельным укладом жизни: «скромным очарованием буржуазии», если воспользоваться названием известного фильма Л. Бюнюэля, с его лейтмотивом

красиво и чинно сервированных, добротных трапез над сумрачными могильными пустотами, которыми изрыты основания этого общества.

Ощущение таких провалов очевидным образом усиливает для изящных сотрапезников в фильме Бюнюэля удовольствия их буржуазного комфорта, но разве не из тех же темных глубин исходит удовольствие, испытываемое миллионами телезрителей, вполне лояльных, законопослушных людей, удобно и нередко также за обеденным столом созерцающих кошмарные сцены, которые показывает им экран? Известный иллюстрированный еженедельник «Пари-матч», поместивший очень серьезный анализ событий Эйзеля («трагедия нашего времени, символ геологических сбросов больного общества»), и сам символическим же образом соединил под одной обложкой рассказ об этой трагедии, рекламу новой системы сохранения молодости и красоты (автор — кинозвезда Рэкел Уэлш) и душещипательный рассказ о сердечных невзгодах «Рэмбо-Роки» — Силвестера Сталлоне. Впрочем, Эйзель и Рэкел Уэлш, бросающая вызов «королеве аэробики» Джейн Фонде, объединились даже на одной обложке, тем самым дав возможность зрителю сразу же созерцать две ипостаси «больного общества». А также и утешиться, развеять неприятные ощущения, оставляемые уникальными фотографиями, которые своевременно скупил и выгодно продал журналу прославленный Мишель Платини.

Более откровенные, итальянские «тиффози» сорвали все покровы, твердо заявив: никакие жертвы, никакие ужасы только что закончившегося матча не смогут помешать им торжествовать победу. «Празднество продолжается, — писал еженедельник «Панорама».— А на могилах жертв будет начертано: «Ювентус»—1 — «Ливерпуль»—0».

В полночь, когда родные и близкие погибших обрывали телефонную связь с Брюсселем, площадь Сан-Карло в Турине превратилась в грандиозные театральные подмостки. Развеваются черно-белые флаги[1], толпа скандирует: «Ю-ве! Ю-ве!» Интервью на бегу: «... Мы сделали это, мы привезли домой этот Кубок, а теперь оставьте нас в покое, дайте нам праздновать...» А мертвые и раненые? О них больше никто не думает. На огромном экране, установленном перед одним из кафе, снова и снова проходят кадры бойни, но они никого не интересуют. Впрочем, мертвым воздается небольшая «дань»: с наступлением темноты начинается карнавальное шествие, открываемое комическим экипажем, которым управляет забавный персонаж в канотье и коротких штанишках. В одном окне чьи-то руки размахивают черно-белым флагом, из другого свисает траурное полотнище. Какой-то вдребезги пьяный, оборванный старик вопит: «Мертвые мертвы! Да здравствует Юве!», молоденькая полуголая девица истерически выкрикивает, что хочет иметь сына от Платини. Ночь пронизана грохотом барабанов...

Да, комментировала «Репубблика», площадь не отказала себе в ощущениях римского цирка.

«Какой позор, какой позор! — с ужасом повторял мэр Турина. — Нельзя было праздновать. Мы ведь видели по телевизору то, что там произошло. Виноваты были англичане, но теперь, когда я смотрю вот на это в Турине, я понимаю, что такое могло произойти в любом другом месте. И здесь тоже...»

«Решение продолжить игру,— заявил сразу же после рокового матча глава итальянского правительства Беттино Кракси,— было верхом цинизма. Мировое общественное мнение осудит это решение».

Увы, калейдоскоп мелькающих в мире событий не позволил «мировому общественному мнению» слишком долго задерживаться мыслями на трагедии в Эйзеле, они быстро погребли ее под собой. В мае 1986 года бóльшая часть прессы хотя и отметила мрачную годовщину, но не уделила ей слишком заметного внимания, поглощенная предстоящим мировым чемпионатом в Мексике.

Тем больше оснований, однако, вернуться к событиям того майского дня, попытаться найти хотя бы частичный ответ на то огромное «ПОЧЕМУ?», что было вынесено еженедельником «Панорама» на обложку посвященного брюссельским событиям номера. Невозможность ответить однозначным «потому» вовсе не означает, что перестал быть актуальным этот, уже полузабытый прессой вопрос.

Искать ответ необходимо, и этого требует прежде всего нравственное чувство. Но это необходимо также и для понимания того, из каких цивилизационных провалов вырвалась все более активно заявляющая о себе и все более откровенно принимающая профашистскую окраску стихия молодежного вандализма, превращающегося в грозную социально-психологическую реальность, игнорировать которую было бы по меньшей мере безответственно, если не преступно, и в первую очередь по отношению к самой молодежи. И если в этих поисках мы и не станем опускаться в «глубины эволюции» (по образному выражению газеты «Пёпль»), то на уровни, где переплетаются эстетика жестокости, исходный протофашистский миф и аффекты деклассированных люмпенов, все же придется сойти.

■

«Красные скоты» («Red animals») — было начертано на большом плакате, который незадолго до начала кровопролития развернули болельщики «Ливерпуля». Слово «красные» не должно вводить в заблуждение: речь идет в данном случае о красной форме игроков «Ливерпуля», что́ же до политической окраски «скотов», то она скорее может считаться «черной». Связь нынешнего молодежного фашизма с футбольным хулиганством сейчас можно считать общепризнанной, и многочисленные свидетели говорили и об особой активности неофашистов в Эйзеле. О том же заявил и председатель Ливерпульского футбольного клуба Джон Смит: в толпе английских болельщиков он видел членов Национального фронта, от-

[1] Цвета «Ювентуса». *(Здесь и далее прим. авт.)*

кровенно высказывавших ему свое удовлетворение подобным развитием событий. Пожалуй, можно даже сказать, что именно футбольный вандализм и связует современную профашистскую субкультуру, все более заметно обособляющуюся в автономный, очень энергичный и опасный блок внутри молодежной субкультуры в целом, с тем фундаментальным неоязыческим мифом, который в свое время вспоил исторический фашизм, но который было бы ошибочно отождествлять с какой-либо из конкретных, уже известных форм фашистской идеологии и даже с правым экстремизмом вообще.

Речь идет о другом: об устойчиво искушавшем европейское культурное самосознание уже в XIX, но особенно сильно в XX веке соблазне некоего эволюционного движения вспять, самоутверждения не в своем качестве Homo sapiens, но на путях свободной игры избавленной от докучной моральной узды и контроля мысли жизненной энергии — «Dea vita» — «Богини Жизни», по словам Анри де Монтерлана, одного из классиков французской литературы XX века, весь блеск своего таланта поставившего на служение этой богине. Спорт как заповедное поле игры витальных сил очень рано привлек его внимание, и он, современник и поклонник Пьера де Кубертена, посвятил этому новому кумиру, спорту, немало страниц, коварная двусмысленность которых, заключенные в них тонкие намеки на потаенное родство спортивного зрелища со зрелищами иного рода приобрели новый смысл в свете позднейшего развития событий.

Равным образом эталон не напряженного, можно даже сказать, «без-мысленного» существования увидел в спорте известный испанский мыслитель XX века Ортега-и-Гассет, разрываемый, что, впрочем, может считаться характерным не только для него, противоположными чувствами: аристократическим пренебрежением к духу массового искусства и восхищением заключенными в «массах» потенциями деструкции и сдвига.

Именно витальная энергия масс, особенно молодежных масс, представлялась ему мощным орудием разрушения «серьезной культуры», в тяжких трудах созданной XIX веком, о чем Ортега и писал с блеском, не уступающим стилистическим красотам Монтерлана: «...Сегодня молодые люди намерены, кажется, придать нашей жизни блеск ничем не замутненного праздника... В новой спонтанной системе оценок, которую несет с собой новый человек, которая и составляет этого человека, выявилась одна новая ценность — витальная — и простым фактом своего присутствия начала вытеснять остальные».

Нога футболиста, легко и сильно бьющая по мячу, — вот для Ортеги-и-Гассета эталон бытия в «новой системе оценок», а что до направления, в котором полетит мяч... «Игрой я называю деятельность, целью которой является доставляемое ею удовольствие, и больше ничего, самоценное усилие, безразличное к своему вектору и результату» — так определил идеал игрового существования Анри де Монтерлан.

Эйзель, однако, грубо обнажил другую, апокалипсическую, а вместе с тем и отталкивающе безобразную сторону этого эстетизированного безмыслия.

В потоке публикаций, вызванных брюссельской трагедией особое место занял комментарий Энтони Бёрджесса, автора знаменитого «Механического апельсина», который уже не раз вспоминали в связи с подъемом волны футбольного вандализма и молодежной жестокости вообще. На взгляд Бёрджесса, самое удручающее заключалось в том, что у «скотов» не было даже сознательной злой воли: они вовсе не стремились убивать, вызвать катастрофу и т. д. Нет, просто их переполняла «молодая животная энергия» (собственное выражение писателя), готовая излиться ради любой, самой ничтожной и нелепой цели. «Что мы увидели здесь,— продолжал автор «Механического апельсина»,— так это головокружительную бездну глупости. А против нее даже боги бессильны».

«...Эволюция футбола,— вторит ему французский журналист Ален Шиффр,— возвещает апокалипсис. Человеческий род погибнет, нахлобучив на голову дурацкую бумажную треуголку».

Думается, однако, Бёрджесс не совсем прав: злая воля, безусловно, наличествует у футбольных хулиганов, ибо они приходят на стадион, уже вооружившись бритвами и железными дубинками, уже готовыми крушить и бить. И разве не выразили сами «бритоголовые» глубокого удовлетворения по поводу развернувшихся событий? Другое дело, что эта злая воля обнаруживает себя здесь в формах самых бессмысленных и безобразных, но не обнажают ли эта бессмысленность и это безобразие ту, прикрытую у творцов неоязыческого мифа эстетическим флёром и глубоко запрятанную тайну, что конечной целью его устремлений и является сама по себе эта «головокружительная бездна»? Более того, внутренняя логика развития неоязыческого мифа такова, что неизбежно ведет к взаимозамене «прекрасных животных» и «красных скотов», а затем и к оттеснению первых последними.

Пожалуй, будет даже справедливо сказать, что именно этот вектор «скотоподобия» определяет специфику правой, или, скорее, профашистской, версии общего для «лево-правого» экстремизма культа витальной стихии. К такому скотоподобию «правый» устремляется там, где «левый» чаще кульминирует в романтизированном уголовном преступлении. Иными словами, решающий водораздел образует не «этика», а «эстетика».

«Лучший отдых от своей искусственности и умственной утонченности человек находит в своих диких инстинктах»,— поведал в одном из афоризмов Ницше. Но коварная диалектика этого нисхождения в область «диких инстинктов» такова, что для полноты своего удовлетворения подобные инстинкты требуют максимально «раздухотворенного», можно даже сказать — безмозглого тела. А такое тело сбрасывает не только моральную узду, что тотчас же находит выражение в самоцельной жестокости (принявшие «причастие буйвола» бейсболисты в романе Бёля прекрасно по-

няли это), но также и бремя эстетики. Ибо она, в любом своем варианте и даже канонизируя жестокость, диктует—у с л о в и я рвущейся на волю «животной энергии».

Той «Dea vita», которая являлась Монтерлану в образах огня, крови и быка, но для воплощения которой «красные скоты» нашли куда как менее эстетичные, но от этого не менее точные формы выражения.

В такой же, если не большей, мере, как идея «игры», объектом этой причудливой диалектики стала и сопряженная с ней идея «зрелища» — площадного зрелища, где «площадь» означает не столько пространство этого зрелища, сколько его эмоциональную и смысловую наполненность. Решающей здесь можно считать тенденцию к превращению в объект такого зрелища реально совершающегося события, а не его имитации, как это имеет место в театре.

Однако далеко не всякое событие превращаемо в зрелище, и очень быстро обозначилась и другая тенденция: влечение зрелищной эстетики к максимально грубым и максимально свободным от груза размышлений проявлениям «свободной игры жизненных сил». Следствием этого стало и своеобразное истолкование такого фундаментального для современного мира понятия, как «народ», причем, подобно тому как это имело место вообще с культом витальной стихии, такое истолкование не является достоянием только «правых» идеологий. Так, известный и несомненно прогрессивный художник, английский режиссер Питер Брук, писал: «...«народный» — это сельская ярмарка и веселящиеся люди. Но народная традиция — это еще и медвежья охота, и едкая сатира, и гротесковая карикатура. Этим отличался и самый великий из всех грубых театров — Елизаветинский».

Легко заметить, что «народное» в таком понимании — в сущности, тождественном широко известной концепции «карнавализации» М. Бахтина — исключает что-либо, побуждающее к размышлениям о «боли бытия», тем более — о его нравственных законах, ибо такое напряжение мысли уже в самом себе имеет нечто, не совместимое с ярмаркой и балаганом. «Народ» этот всегда хохочет, но никогда не плачет, ликует, но не печалится, воплощает биологические, но не духовные начала жизни. Всегда и повсюду заявляющая о себе буйством жизненных сил, эта масса витальной энергии поистине обретает черты «священного быка». Но такой «народ» готов торжествовать радость своего родового бытия перед лицом каких угодно катастроф и, следовательно, какого угодно количества трупов — по крайней мере до тех пор, пока эта зловещая статистика не поставит под вопрос само по себе его биологическое существование. Нетрудно заметить также, до какой степени подобному эталону «народности» соответствует непристойный карнавал на площади Сан-Карло в Турине.

А между тем основу репертуара в Елизаветинском театре составляли трагедии Шекспира, и уже самому рождению этого жанра из дионисийской оргии сопутствовали всенародные слезы афинян при первом представлении «Взятия Милета» Фриниха, непосредственного предшественника Эсхила. Как рассказывает легенда, трагедия Фриниха, именно по причине возбужденных ею печальных чувств, была запрещена властями, но путь к катарсису через «ужас и сострадание» был открыт.

Значение грани между скорбью и биологическим ликованием прекрасно понял, в частности, Ницше, не случайно подхвативший знаменитый клич римского плебса: «Хлеба и зрелищ!» («Panem et circenses!») и начертавший его на знамени нового язычества. Не случайно также синонимом языческого для Ницше, как, впрочем, и для Монтерлана, стал именно Рим, где театр никогда не мог соперничать в популярности с игрищами цирка.

Здесь не простое различие вкусов — здесь граница, по одну сторону которой остаются слезы афинян, знаменовавшие рождение трагедии из дионисийского экстаза, по другую — опущенный вниз палец зрителей, жаждущих увидеть смерть д р у г о г о, чтобы полнее ощутить ликующую радость собственного бытия. По одну сторону — народ, по другую — «чернь», противостоящий «демосу» «охлос», как определил еще Аристотель народ, теряющий способность к усилию нравственного восхождения и само представление о ценностях духа.

Нелишне будет напомнить и то, пожалуй, что автором ставшего хрестоматийным выражения «Panem et circenses!» является древнеримский сатирик Ювенал, и жажда «хлеба и зрелищ» в его беспощадной поэзии выступает как один из самых несомненных признаков деградации римского народа, склонившегося под игом империи. Однако для Ницше, спустя тысячелетие подхватившего этот клич, он стал знаком особой «избранности» толпы, заполнявшей некогда трибуны римского цирка как носительницы той «средиземноморскости», которую он положил в основание своего неоязыческого мифа и которой посвятил пламенные страницы в одном из самых программных своих сочинений — в «Сумерках кумиров». Идеал такой «средиземноморскости» в своем времени Ницше усмотрел в «Кармен» Бизе, которую резко и бескомпромиссно противопоставил «печальной и туманной» музыке Вагнера. «Il faut méditerraniser la musique» (нужно осредиземномерить музыку): у меня есть все основания для этой формулы. (По ту сторону добра и зла)».

Способность к наслаждению бытием сухим, жестоким и беспощадным, как тавромахия или кровавый поединок гладиаторов, «сладчайший ужас» (выражение Ницше.— К. М.) созерцания этого поединка — вот какой предстает, в контексте всех рассуждений автора «Сумерек кумиров», суть такого «осредиземноморения» не только музыки, но и всей «декадентски оскудевшей» жизни Европы. При этом значение императива получает не только отказ от слез и сострадания, но и отождествление радости с самыми грубыми — и в потенции самыми жестокими — формами чувственного удовольствия.

Собственно, более откровенный и последовательный, нежели другие адепты «карнавала» как истины в последней инстанции

Ницше вплотную коснулся самого больного нерва проблемы. А именно: дабы быть окончательным и полным, чувственное упоение жизнью нуждается в соотнесенности с идеей уничтожения, в идеале же — со зрелищем смерти д р у г о г о как самым лакомым блюдом на том пиршестве жизни, которое есть единственная цель и смысл инстинктивного бытия.

«„Психология оргиазма", как переливающегося через край ощущения жизненности и силы, в котором даже страдание действует как стимул, дала мне ключ к пониманию трагического чувства, неверно истолкованного как Аристотелем, так и нашими пессимистами... Подтверждение жизни при самых суровых и враждебных проявлениях, воля к жизни, жертвующая своими высшими представителями и радующаяся при этом собственной неисчерпаемости,— вот что назвал я дионисийским началом, вот в чем разгадка и ключ трагического поэта.

И все это не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от какого-нибудь опасного аффекта путем его мучительного разряжения — как понимал это Аристотель,— а для того, чтобы, невзирая на ужас и сострадание, самому быть вечной радостью бытия — той радостью, которая заключает в себе также р а д о с т ь у н и ч т о ж е н и я» (разрядка моя.— К. М.). Движение к жестокой зрелищности римского цирка тем самым уже было обозначено как магистральный путь развития «средиземноморской» эстетики.

Однако сам Ницше, неумолимо сужая круги вокруг того центра, к которому устремилась созданная им эстетика, все же так и не назвал желанное ему зрелище прямо по имени: кровопролитие, хотя эта тайна была почти с самого начала ясна восторженным «ницшеанцам». Так в романе Т. Манна «Доктор Фаустус» ницшеанствующий интеллектуал Институрис тоскует о Ренессансе, который видится ему как «время, курившееся кровью и красотой». И так Монтерлан в своем романе «Матадоры» открыто провозглашает, что принимающий религию неоязычества принимает и ритуал кровавой жертвы.

В «Матадорах» столь искушавшая художников XX века тема тавромахии была развита с несравненной глубиной и блеском, но также и со своеобразным мужеством откровенности, ибо, в отличие, например, от Хемингуэя, видевшего в корриде некий эталон героики, Монтерлан осмелился вывести на дневной свет гораздо более сумрачные и опасные пласты, коснуться самых темных и находящих выражение в корриде инстинктов. Но если на уровне инстинктов здесь безраздельно господствует божество, именуемое автором «погребальным Эросом», то на уровне философско-духовном здесь впервые обнажается смысл «причастия буйвола».

Некогда Исаак, уготованный в жертву отцом своим Авраамом, был в последний миг чудесным образом заменен овном, и с этим библейским преданием в истории культуры связывается то грандиозное событие в жизни человечества, которым стал отказ от человеческих жертвоприношений. Христианство сделало следующий шаг, провозгласив бескровную жертву, и этому-то «причастию агнца» и было противопоставлено «причастие буйвола» как сопричастие акту непосредственного кровопролития.

Эстафету такого причастия принимает в романе Монтерлана «смуглая средиземноморская раса», радостно и непосредственно устремляющаяся испить жертвенной крови. Сцена райской невинности разворачивается на арене, где лежит поверженное животное: «Собака лизала кровавые лужи, на морде ее было написано выражение тревоги, как если бы цивилизованные особы уже успели предупредить ее, что этого делать не следует. Маленькие дети, крошечные девочки с глазами ангелов, пробирались между зрителей, чтобы очутиться в первом ряду, чтобы льнуть к крови, как мухи — к отверстой ране».

Таков сокровенный, а вместе с тем и сакральный смысл зрелища, которым герой «Матадоров» («альтер эго» автора, в юности не раз выступавшего на арене) упивается как «сумрачно-сияющим», диким и обнаженным поединком, где третьего не дано. Не имитацией жертвоприношения в христианской литургии, но «воистину» (de verdad) совершающимся закланием. «Ах, только это и значило жить! Не было в мире ничего, способного сравниться с этим».

У Бёля «причастие буйвола», имеющее обширное символическое значение, тем не менее четко соотносится с реалиями немецкого нацизма и древнегерманским культом бога Вотана (знак Вотана — изображение бычьей головы). Однако в протофашистском мифе (а именно о нем и идет речь) эта германская специфика отнюдь не была выраженной, и даже у Ницше неоязычество стремилось скорее закрепиться на теме «средиземноморской расы» как носительницы противоположных христианству начал [1].

То обстоятельство, что позже «средиземноморскость» сменилась «нордичностью», в данном случае не так уж важно, как и то, что парадоксальным образом низвергнутый Ницше, великий Вагнер был выбран нацистами их патроном. Неважно, ибо внутри неоязыческого мифа во всех его разновидностях и «смуглые средиземноморцы», и «белокурые бестии» рисовались одинаково свободными от предрассудков «цивилизованных особ» и главного среди них — боязни крови.

Наконец, коль скоро вопрос стоит о перспективах нового возрождения протофашистского мифа в современной Европе (а для такой постановки вопроса ее социальные реалии дают немало оснований), то, как мы увидим ниже, сейчас национальные различия внутреннего порядка становятся второстепенными по сравнению с доминирующей темой расового противостояния Запада «цветным».

«Средиземноморский пафос», наиболее полно воплощавшийся для него корридой, Монтерлан перенес и на спорт, начавший быстро утверждаться в Европе после первой мировой войны как автономная и все

[1] Эта тема, тема «средиземноморскости», интенсивно развивалась, например, такими идеологами нацизма, как Альфред Розенберг и особенно Отто Ран, позже поплатившийся за свою «ересь».

более активно притягивающая к себе страсти социальная сфера и в особенности как способ самовыражения молодежи. Возможная двунаправленность такого самовыражения, притом не только нравственная, но и политическая, довольно быстро стала очевидной для наиболее проницательных наблюдателей. Так, например, Ромен Роллан писал, бичуя целенаправленную стратегию растления масс, активно проводимую буржуазией: «Спорт довершал разрушительную работу газет. Он создавал целую армию людей, отравленных и бесполезных. Большие клубы скупали, как скупают лошадей, целые конюшни профессионалов, которых они именовали любителями, и составляли из них футбольные команды. Тысячи трудящихся в расцвете сил бесстыдно продавали свои мускулы. В качестве международных футболистов они пользовались всеми благами роскошной жизни, первоклассными отелями, спальными вагонами, вплоть до той минуты, когда они преждевременно утрачивали гибкость мускулов и их выбрасывали на свалку, как это делали в Древнем Риме с гладиатором, который превращался в падаль. Толпа, ходившая на зрелища, интересовалась ими не больше, чем римская чернь интересовалась гладиаторами. Она требовала все новых и новых атлетов. И на этих зрелищах она растрачивала всю страсть, всю ярость, которые при надлежащем руководстве могли бы опрокинуть этот мир социального угнетения... Вот, оказывается, во имя чего прошли под Триумфальной аркой те, кто не погиб на фронте!»

Современник Роллана и Монтерлана, итальянский историк Гульельмо Ферреро, также констатировал: «Те, кто стремится изгнать суетность и толпу из спорта, превратить его — я пользуюсь великолепным выражением барона де Кубертена — в «Империю Ясного Утра», столкнутся с чрезвычайно сложной задачей».

Иными словами, спорт, это детище XX века, как бы сразу завис между «Грецией» и «Римом», между тем, чтобы стать могущественным средством сохранения своей духовной интегральности в оглушающей суете века и не менее могущественным средством разнуздания самых низменных инстинктов. Способный, как об этом мечтал де Кубертен, утишить болезненное нервное напряжение, принесенное новым ритмом жизни, но вместе с тем сразу же обнаруживший и свою способность взвинчивать это напряжение до взрыва, он завис также и между стадионом и ареной. Но предстояло ли человеку — обратно тому, что имело место в легенде об Исааке,— заменить на этой арене быка, дабы наполнить своей кровью чашу нового причастия?

Патетика Монтерлана, например, буквально балансирует на этой грани, но рассеянные там и сям параллели между корридой и спортом, а затем и между спортом и войной, наконец, жутковатое любование кровоточащими телами боксеров, так напоминающими быка в минуты, когда он уже предчувствует смертельный удар, не оставляют сомнений. Спортивное зрелище в русле неоязыческого мифа свою главную притягательность черпает именно в опасной близости подземных, деструктивных начал, удерживаемых в узде лишь предельным напряжением воли и вдруг обнажаемых с предельной откровенностью.

«Блаженный Августин, — писал Монтерлан, завершая свой хвалебный гимн боксу, — рассказывает, что последние римляне, укрывшиеся в Северной Африке, уже видевшие гибель своих семей и пережившие потерю всего своего состояния, не покидали Карфагенского цирка. Что до меня, то пусть рухнет вся цивилизация: если среди дымящихся развалин еще будут устраивать корриды и боксерские бои, я скажу, что жизнь — превосходная штука».

■

Самый, пожалуй, жуткий и отвратительный из всех относящихся к трагедии Эйзеля фотодокументов — «красные скоты», ликующие и хохочущие на фоне обрушенных трибун и раздавленных людей,— материализуя эту метафору апокалипсического нарциссизма, обозначает вместе с тем точку, где этот нарциссизм низвергается в «бездну головокружительной глупости», а также и не менее головокружительного безобразия.

Именно «красные скоты», с их одутловатыми физиономиями, подбитыми глазами и неизбежной татуировкой, делают вполне очевидным и то, что ничего эстетичного в пафосе самоцельного животного ликования быть не может и что апофеозом такого ликования непременно должно стать неприкрытое скотство. В этом мире вместо легконогого футболиста, которого живописал Ортега, возникают фигуры совсем другого рода. Например, некто «Безработный» (уличная и боевая кличка), коренастый силач в подкованных сапогах, который не шутит со своими подчиненными. Или «Кроненбург», прозванный так за особую любовь к этой марке пива, а также за несравненную ловкость, с которой он разбивает опорожненную пивную бутылку (предварительно в нее помочившись) о голову своего противника.

Эти типы, описанные Жаном Ку, знакомы ему по Парижу, и все они — главари или члены молодежных банд, все заметнее терроризирующих целые кварталы больших городов Запада, а в Англии уже ставших — знаменательный факт! — объектом пристального внимания этологов (специалистов, изучающих поведение животных). Особый разгул этих, почти неизменно сопряженных с футбольными клубами банд (этологи усматривают здесь аналогию с участками, которые закрепляет за собой звериная стая) именно в Англии, привел к известному отождествлению в обыденном сознании «англичан» как нации с футбольными хулиганами. Бёрджесс, например, писал: «Мне отвратительно принадлежать к нации, которая во имя спорта демонстрирует за границей примеры глубочайшей человеческой деградации. Французы, бельгийцы, немцы спрашивают себя, что за муха укусила бриттов. Они сыты по горло ножами и шиповатыми плетками, руганью и богохульством, пьянством и блевотиной, воровством и вандализмом».

Да, добавляет Жан Ку, «когда англичанин больше ни во что не верит, он превращается в «дракона» или в «красного скота». Подразумеваются наиболее известные банды футбольных вандалов: «Драконы» (Челси), «Лисицы» (Лидс), «Пираты» (Бристоль), уже знакомые нам «Красные скоты» из Ливерпуля. Возраст их членов колеблется от 14 до 25 лет, и они представляют собой примитивные стайные образования люмпенизированных подростков, заявляющих о себе как анархическая вольница по отношению к «большому» обществу, но раболепно и беспрекословно повинующихся тиранической власти главаря.

Жизнь их протекает вокруг трех основных центров: рока (в стиле «тяжелого металла» — «пустим миру кровь!»), пивной и стадиона, хотя в футболе как таковом они, как правило, ничего не понимают и понимать не хотят (в силу принципиальной враждебности к любому умственному усилию). Можно еще сходить «в киношку», если в фильме есть драки, конечно, или бесцельно носиться на мотоцикле.

«Для того, кто их знает, в событиях Брюсселя не было ничего удивительного», — комментировал Патрик Мэрфи, автор книги «Хулиганы за границей». И слово «хулиганы» сейчас почти не сходит со страниц прессы. При этом, в значительной мере утратив свое вторичное, оценочное, а иногда даже и снисходительно-благодушное значение, оно обрело исходный и социально заостренный смысл: хулиганы, в строгом смысле слова,— это деклассированный слой заряженных не находящей выхода, а потому опасной энергией духовно неразвитых подростков, по тем или иным причинам выпадающих «в осадок» общества и образующих свои, примитивные, но очень агрессивные «суррогатные» социальные образования, эталоном которых является объединенная вокруг вожака стая.

В частности, сразу же после событий в Брюсселе газета «Монд дипломатик» опубликовала обширный материал, посвященный истории первого поколения «хулиганов», начавших наводнять Европу в начале века и превращавшихся в серьезную политическую проблему. Большая часть их оказалась выбитой первой мировой войной, что частично, хотя и очень трагическим образом сняло проблему. Однако не надо забывать, что люмпенская стихия питала и фашизм на стадии его младенчества, в то время как фашизм, умело направивший и использовавший ее деструктивные страсти, затем полностью подмял ее под себя.

Сейчас мы присутствуем при бурном дебюте аналогичного процесса, особенно сильно поразившего некогда наиболее развитые индустриальные зоны «старой Англии», «убитые» технологической перестройкой современного капитализма. Так, в сентябре 1985 года в центре внимания мировой общественности оказался Бирмингем— «город 250 тысяч безработных», как назвала его французская газета «Матэн», столица «жесткого рока» (некогда — столица «Черной страны», названной так за множество теперь мертвых фабричных и заводских труб), ставшая ареной жестоких расовых сражений. Однако процесс этот отнюдь не является прерогативой Англии, и «ливерпульский ад», по определению итальянского журналиста Франческо Руссо, в определенной мере может оказаться прообразом будущего многих городов.

Ливерпуль! Город почти легендарный, со стапелей которого в начале века сошел знаменитый «Титаник», родина «Битлз», теперь превратился в заповедное поле «красных скотов», «столицу люмпен-пролетариата». 20 процентов от полумиллионного населения этого города составляют безработные, а что до неквалифицированной, особенно «цветной» молодежи, то здесь безработица почти поголовна. В некоторых кварталах, куда не рекомендуется соваться по вечерам, не работает 90 процентов молодых людей. Расовые стычки, акты вандализма, драки с полицией здесь считаются обычным делом, как и наркомания, поражающая даже детей моложе 10 лет. На 22 тысячи бездомных приходится 50 тысяч пустующих домов, а надо всем этим царствуют памятники былого величия: самый крупный в Англии кафедральный собор и помпезный отель «Аделфи».

Однако главная роскошь этого полумертвого города — спорт: великолепный ипподром «Эйнтри», где разыгрываются самые головоломные в мире скачки с препятствиями, прославленные футбольные команды «Ливерпуль» и «Эвертон»...

«Но эта роскошь слишком часто сочетается с насилием: оборванные телефонные трубки, разоренные поезда и разбитые автомобили на протяжении уже нескольких лет отмечают пути прохождения «хулиганов»... Сомнительная груда трофеев, к которой 29 мая прибавились десятки убитых».

Английский социолог Келл заметил: «Перед нами процесс драматической декультурации молодежи, буйно устремляющейся в сферу субкультуры». С этой оценкой не только нельзя не согласиться — к ней хочется добавить и то, что настала, видимо, пора отказаться от некоего, восходящего к 60-м годам, подчеркнуто восторженного отношения к молодежной субкультуре и любым проявлениям молодежной активности.

Приставка «суб» между тем указывает не только — а когда речь идет о люмпенской стихии современных больших городов — даже и не столько на многообразие равноправных и бурно расцветающих типов культуры, сколько на бросающуюся в глаза и не могущую не вызывать тревогу неспособность подростковой культуры преодолеть свою замкнутость и ограниченность, выйти на уровень вопросов общечеловеческого и общегражданственного значения. Само по себе ее интенсивное дробление на группы и подгруппы в эпоху глобальных проблем и перед лицом универсальной задачи формирования планетарного мышления — симптом опасный.

Более того: если уж на сцену европейской общественной жизни выступили «скоты» и «драконы», отмечающие свой путь варварством и разрушением, а вместе с тем агрессивно предъявляющие обществу еще одну, рептильную субкультуру, словечко «суб» приобретает здесь исходный— и угрожающий — смысл: «под»-культура, движение «вниз», к «головокружительной

бездне глупости». Кстати, этот свой вектор вандалическая субкультура обозначает со всей откровенностью уже в самоназваниях групп («скоты», «драконы», «подонки» «падаль» и т. д.), и не замечать его — значит недопустимо игнорировать драму (равно как и социальную опасность) вынужденного социального и культурного одичания тысяч молодых людей.

В этом случае молодежь предстает как нечто идиллически однородное, а вместе с тем и райски невинное в своем статусе «вечных подростков», и подобные интонации отмечают иногда и советскую публицистику, посвященную молодежным проблемам.

Примером может служить, в частности, опубликованный осенью 1986 года «Литературной газетой» материал «На перекрестке», где далеко не случайно, на мой взгляд, оказались по существу обойденными, «проваленными» самые острые вопросы: о молодежной наркомании, об известных многим московским подросткам бандах «люберов», о грозном помолодении преступности, о проникновении в подростковую среду поп-фашистских влияний. Сглаженным оказался и сам по себе вопрос о том, что, собственно, означает молодежная «мода на жестокость» — только ли бездумно надеваемые браслеты рокеров или нечто более серьезное.

А между тем хотя социальные реалии, породившие феномен молодежного гетто и субкультуры вандализма на Западе, не могут считаться типичными для нашего общества, внутри него также шли процессы, о которых теперь сказано открыто, оказавшиеся фактором известного оттеснения молодежи на обочину социальной жизни и параллельного развития в ней негативистских и цинических настроений. Наконец, хотим мы того или нет, современная молодежная субкультура транснациональна по своему характеру и наделена высокой способностью к экспансии, в том числе и к экспансии ее вандалических пластов. А коль скоро это так, интонация отеческого поглаживания молодежи «вообще» — и тех, кто бьет, и тех, кого бьют,— мне представляется крайне неуместной и даже неприемлемой там, где мы, возможно, будем присутствовать при драматическом столкновении несовместимых ценностей, «нелюдей» и людей.

В сущности, свой нравственный выбор делает каждое поколение, но нынешнему он может быть навязан в самой жесткой форме. И не потому только, что сложившаяся в мире ситуация диктует необходимость духовного совершеннолетия человечества как условия его выживания, но и потому также, что хулиганская стихия легко, как уже говорилось, подчиняющаяся «вожаку», все более заметно приобретает определенный политический вектор. «Черный футбол», как, впрочем, и «рок» в наиболее агрессивной своей разновидности, оказывается могущественным средством перегонки неиспользованной энергии молодежи в «нужное» русло.

Западногерманский социолог Вольфганг Лехер подсчитал, что через 10—12 лет население Европы будет наполовину состоять из безработных и лиц, живущих на случайные заработки. От 25 до 30 процентов рабочих и служащих «проваливаются сквозь колосники позднего капитализма», и кто решится сейчас предсказать политические последствия этого скапливания в подполье буржуазного общества подобного количества энергии, умело перегоняемой к тому же специфической субкультурой в лоно чистой деструкции? Большинство наблюдателей связывает с этим перспективы усиления правой опасности, вплоть до тех или иных вариантов фашизации. Если же стихия дозволенного хулиганства и не будет втянута в активную политику, пусть даже и в наиболее подобающей ей роли «быка», то в любом случае она уже сейчас является тормозом, препятствием на пути к нравственному взрослению молодого поколения. А это ли не лучший способ превращения «народа» в «плебс» и отвращения его от тех задач, перед которыми ставит его история?

Разрешение же этих проблем требует резкого повышения гражданственного самосознания, ибо, ставя человечество перед выбором: уничтожить или спасти цивилизацию, история ставит и каждого отдельного человека перед выбором своей собственной роли.

Быть может, процесс поляризации, идущий внутри стихии рок-музыки (стихии, которую так любят изображать однородной, будь то со знаком плюс или минус), тяготение к одухотворенности и романтике, отмечающие, например, симфо- или арт-рок, с одной стороны, и «звериный стиль» в духе лидеров «тяжелого металла» — с другой, самым зримым образом обнажают и процесс поляризации, противоборство страстей, кипящих в глубине того, что идиллически описывается как «молодежная субкультура» и что в действительности является ареной драмы самоопределения человечества на пороге третьего тысячелетия. Некогда Цицерон писал о «богоподобии» людей, «основывающих новые государства и сохраняющих уже основанные», но что же сказать тогда об уникальной задаче сохранения самой планеты как таковой? Эйзель воочию явил альтернативу: «скоты», резвящиеся «среди дымящихся развалин».

◆

ХАНТЕР ДЭВИС

Главы из книги «СЛАВНАЯ ИГРА»

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Болельщики

Тоттнем — район в северной части Лондона — лишен особых достопримечательностей. Туристы не бродят по нему табунами, как, например, по Челси, а в сознании англичан он ассоциируется лишь с футбольным клубом «Тоттнем Хотспер», основанным в 1882 году. Название свое клуб, по-видимому, получил в честь шекспировского персонажа Гарри Хотспера [1], сына герцога Нортумберлендского,— первые годы футболисты играли в Нортумберлендском парке.

Сейчас это один из шести ведущих футбольных клубов Англии. Его статус, репутация и финансовое положение не имеют себе равных. Но задачи клуба крайне просты — выигрывать футбольные матчи, и за свое долгое и славное существование «Хотсперы» одерживали много побед.

Суббота, 14 августа. Открытие сезона — но стадион пуст. Свою первую игру «Хотсперы» проводят не на своем поле.

Юстонский вокзал кишит футбольными болельщиками — приезжими с севера, а также лондонцами, отправляющимися следом за своей любимой командой. Поклонники «Хотсперов» суют в окна альбомы для автографов, тщатся проникнуть в купе. Некоторые едут этим же поездом, но большинство отправится позже в более дешевом специальном «футбольном» составе.

В купе первого класса сидит в одиночестве Фред Рай, пожилой букмекер, давний болельщик «Хотсперов», который уже сорок лет ездит следом за командой повсюду, даже в Японию. А вот другого, богатого и более молодого, ее поклонника, Морриса Кестона, в поезде нет. Он тоже не пропускает ни одной игры, но правление клуба предпочитает, чтобы от игроков он держался подальше.

В Вулвергемптоне команду ждала горячая встреча, и до отеля «Виктория» они шли во главе огромной колонны вопящих, визжащих мальчишек, которые то и дело забегали вперед поглядеть на них.

Едва кончился обед, за окнами гостиницы сгустилась мгла. Внезапно загремел гром, заблистали молнии, и хлынул ливень. Затем в разгул стихии вплелся оглушительный рев, словно в город вступила победоносная армия. На улице нарастал топот сотен ног, охрипшие голоса повторяли хором под ритмичные хлопки: «ТОТТ-НЕМ, ТОТТ-НЕМ!»

— Это наши ребята! — крикнул кто-то из футболистов, и все они кинулись к окну.

Болельщики наконец прибыли на своем специальном поезде и, не обращая внимания на грозу — хотя ни на одном не было куртки,— прошли от вокзала строем навстречу грому, молниям и граду. Они были так заняты скандированием, что не подняли глаз и не увидели игроков, махавших им из открытого окна на верхнем этаже отеля.

— Ну, эти-то не неженки! — сказал кто-то, закрывая окно, когда они скрылись из виду.

Существует три типа болельщиков-фанатиков, бросающих все, чтобы ездить за своей командой. Во-первых, «ребята», которые объединяются в большие компании, хвастают и задираются. Затем «поклонники», честные труженики, основа и опора «клубов поддержки» своих команд. И наконец, «прилипалы», которые, впрочем, терпеть не могут этого названия. Это они щеголяют в дорогих кожаных костюмах

© Hunter Davies, 1985.

[1] Букв.: Горячая Шпора, то есть Сорвиголова *(англ.)*, прозвище Генри (Гарри) Перси, персонажа хроники У. Шекспира «Генрих IV». *(Здесь и далее прим. ред.)*

ХАНТЕР ДЭВИС — HUNTER DAVIES (род. в 1936 г.)

Английский писатель и журналист. Автор многих книг, в том числе «Битлз» («The Beatles», 1968), «Любящая пара» («A Very Loving Couple», 1971), «Уильям Вордсворт» («William Wordsworth», 1980). Главы из книги «Славная игра» печатаются по изданию 1985 г. («The Glory Game». Edinburgh, Mainstream Publishing Company).

и всегда выглядят так, словно только что встали с парикмахерского кресла. У них есть возможность швырять деньги на ветер, и предел их честолюбивых желаний — тратить эти деньги на футболистов.

«Ребята» горды и счастливы, когда им удается получить на перроне автограф своего кумира — единственный шанс прямо соприкоснуться с ним. «Поклонник» может увидеть его совсем близко, если кумир снизойдет до раздачи призов на балу, устроенном клубом поддержки, но «прилипала», удачно разыграв карту, заполучает кумира к себе на званый обед.

Моррис Кестон, вопреки сильному противодействию правления клуба, в течение долгих лет «липнул» к «Хотсперам» настолько успешно, что сумел стать к игрокам ближе, чем кто-либо другой из болельщиков. Он тратит в год около трех тысяч фунтов, чтобы ездить по свету за своей командой, и, где бы ни оказались «Хотсперы», в том же отеле, только в более дорогом номере, вы почти наверняка найдете и Морриса Кестона.

Моррису сорок лет, он женат, имеет двоих детей и живет в роскошной квартире в фешенебельном районе Лондона. Ему принадлежит фирма, торгующая женской одеждой в лондонском Ист-Энде, с годовым оборотом в восемьсот тысяч фунтов. У него четырнадцать служащих, видимо, очень ему преданных и добросовестных — ведь сам он словно бы никогда у себя в конторе и не бывает.

Стены его кабинета увешаны большими фотографиями. На многих он в элегантнейших костюмах, сияет улыбкой рядом с Бобби Муром на банкетах и балах. А на одной ему пожимает руку принц Филип — Моррис помог организовать сбор средств на отправку английской олимпийской команды в Мексику. На другой руку ему пожимает лорд Маунтбэттен — в благодарность за помощь при сборе средств для команды, участвовавшей в Играх Содружества.

Моррис — великий спец по части самых разных благотворительных начинаний (одна из излюбленных форм самовыражения многих новоиспеченных богачей), чаще всего связанных со спортом и спортсменами.

— Я и сам не понимаю. В моем деле у меня бывали удачи и неудачи, но я их принимаю спокойно. А вот «Хотсперы» — это моя вечная тревога. Мне даже трудно смотреть, как они играют, до того я волнуюсь. Меня тянет к ним словно магнитом, но, честно говоря, я предпочел бы просто взять газету и узнать результаты, чем ехать смотреть матч. Но не поехать не могу. А на трибуне курю не переставая, весь издергаюсь. Теперь я часто ухожу за четверть часа до конца игры — просто не выдерживаю. Даже если они ведут один — ноль, терзаться дальше нет смысла. Я просто-напросто не выдержу, если у меня на глазах они потеряют преимущество!

Если «Хотсперы» выигрывают, то утром в понедельник в конторе Морриса всем подается шампанское. А после проигрыша он становится зол, раздражителен, все воскресенье срывает сердце на своих близких, а вечером отказывается пойти куда-нибудь с женой.

Когда же «Хотсперы» одерживают действительно выдающуюся победу — например, когда они выиграли Кубок Футбольной ассоциации в 1967 году или Кубок Футбольной лиги в 1971 году,— Моррис дает банкет в «Хилтоне» на несколько сот человек. Банкет 1967 года и привел к открытому разрыву между ним и клубом, который устроил официальное празднование в «Савое». Все клубы, попавшие на Уэмбли [1], по традиции отмечают это в каком-нибудь из лучших лондонских ресторанов, куда кроме игроков приглашаются и жены, и разные официальные лица.

По общим отзывам, хотсперовский банкет в «Савое» был очень хорошо организован, но задолго до его окончания игрокам, как они сами признались, до того надоели речи, что они решили удрать и, взяв такси, отправились через весь Лондон в «Хилтон» на банкет к Моррису. Члены правления никак не могут ему этого простить. Они устроили чествование, а те, кого чествовали, исчезли, предоставив им развлекать приглашенных. «У Морриса было много интересных людей,— объяснил один из футболистов,— а у нас скулы от скуки сводило».

— Я ведь их насильно не тащил! — говорит Моррис.— Они сами приехали. Если бы они и не явились, мы все равно бы отпраздновали победу. Гостей у меня было человек двести, и все прошло бы отлично, хотя, конечно, с ними стало в сто раз лучше.

С тех пор никто из членов правления клуба с Моррисом не разговаривает. Видеть его они, естественно, видят, но всячески избегают. Как и он их.

Говоря по справедливости, правление и не может приветствовать таких меценатов, как Моррис. Игроки должны быть в сверхформе, так какие же чувства прикажете питать правлению к тем, кто рад таскать их по ресторанам и ночным клубам?

— Мне есть чем гордиться,— говорит Моррис.— Вокруг игроков толкутся всякие люди, на них сыплются всевозможные приглашения и предложения. А они идут ко мне, потому что я-то настоящий болельщик. Я живу ради «Хотсперов». И уж, конечно, ничего дурного им не желаю. К болельщикам всегда несправедливы. Незаслуженно несправедливы. Мне всегда жалко ребят, которые ездят то туда, то сюда, и глотки срывают, поддерживая «Хотсперов». Никто не хочет замечать, как им тяжко приходится.

Моррис, в частности, принял самое деятельное участие в организации празднования трудной победы, одержанной «Хотсперами» над «Лидс юнайтед» со счетом один — ноль. Удачнее момента он выбрать не мог бы — футболисты больше всего на свете любят показываться на людях после эффектно выигранного матча.

Пригласительные билеты производили большое впечатление. Во-первых, на них значилось «Бал». Это вам не какие-нибудь там «Обед и танцы после»! «Черный гал-

---

[1] Имеется в виду стадион «Уэмбли», где проводятся наиболее важные футбольные матчи, в том числе финал розыгрыша Кубка Футбольной ассоциации.

стук обязателен. Разъезд в два часа ночи. Оркестр знаменитого Лавлейса Уоткинса».

Дамы были в великолепных туалетах, блистали драгоценностями, безупречными прическами и дорогостоящим загаром. Мужские костюмы потрясали разнообразием покроя и материала — парчовые отвороты, атласные воротники, вышитые жилеты, рубашки всех цветов радуги. И, подобно дамам, мужчины тоже сверкали драгоценностями, щеголяли тяжелыми перстнями и дорогостоящим загаром.

Билеты стоили десять фунтов. Напитки оплачивались отдельно. Большинство футболистов, с которыми я говорил, получили билеты в подарок от Морриса. Он не только все организовал, но и оплатил множество билетов из своего кармана. Казалось бы, проще обойтись без лишних хлопот и ограничиться чеком на кругленькую сумму. Ну а удовольствие, блеск славы, возможность потереться возле знаменитостей?

Я поспешил занять предназначенное мне место за столом, накрытым на сорок персон, стараясь укрыть от насмешливых взглядов свой старомодный костюм. Некоторое время я сидел в полном одиночестве, но, к счастью, вскоре ко мне присоединились Мартин Чиверс со своей женой Кэрол, а также его приятель и компаньон Стивен Ратленд. Еще за нашим столом сидели боксер Билли Уокер с женой и два компаньона Бобби Мура. Мне почудилось, что вокруг кишмя кишат компаньоны Бобби Мура. Во всяком случае, моя соседка по столу сообщила, что работает в его магазине мужских сорочек.

Прекрасное меню было специально рассчитано на футболистов: дыня, затем суп, бифштекс с овощным гарниром, на десерт меренги. И изысканно, и никаких причин для тревоги.

Мартин Чиверс со Стивеном приехали прямо из Брайтона, где у Стивена есть ночной клуб. Впрочем, ездили они в Брайтон на ярмарку игрушек, где Мартин беседовал с посетителями и расписывался на их покупках.

Стивен во время обеда рассказывал о ночном клубе, который намерен на днях открыть в Лондоне, и о блестящей идее, которая его только что осенила — Мартин выпустит пластинку с инструкциями, как забивать голы. Пластинка войдет в набор с большой фотографией Мартина, забивающего один из своих знаменитых голов, и брошюркой о его технике. «Находка для любого отца или дяди: не надо ломать голову, что подарить мальчишке на рождество. Каждый ведь хочет забивать голы, как Мартин. Все удовольствие — пятьдесят пенсов. Прибыль будет сказочная. Как, по-вашему?»

Я сказал, что, по-моему, покупатели найдутся, но только что, собственно, такого Мартин сможет наговорить на пластинку? Забивание голов требует физической, а не словесной подготовки. Что толку от голословных объяснений?

Стивен ответил, что пластинка, пожалуй, до известной степени будет приманкой. Только дурак понадеется, что кто-то сможет заочно научить его забивать голы, как Мартин.

— Это же просто прием подачи Мартина публике. Коммерческое использование футболистов еще впереди. Никому пока в голову не пришло, что есть миллионы людей, болельщиков, никем еще не обработанных, которые проявляют бешеный интерес ко всему, что только имеет отношение к известному футболисту!

Окружающие согласно закивали, и первый — Мартин.

Начались послеобеденные спичи, обставленные удивительным ритуалом, обязательным для спортивных банкетов. Называлось имя кого-нибудь из звезд, тот вставал, раскланивался под аплодисменты и снова садился. Ему не полагалось говорить, надо было лишь встать и всем показаться. В тот вечер гостей собралось более пятисот, и казалось, что церемония эта длилась часы и часы. Мартин Чиверс заслужил особенно громкую овацию, потому что победный гол накануне забил он.

Оглядывая столы, я читал на всех знаменитых лицах напряженное ожидание — назовут ли их, должны ли они будут встать? Двое показались мне очень знакомыми, но я никак не мог вспомнить, кто это. Вроде бы я видел их обоих в Тоттнеме — но в рубашках с открытым воротом, и глаза у них бегали по сторонам. А теперь они щеголяли в парчовых фраках и лиловых рубашках. Я справился о них у Мартина, он их сразу узнал: барышники, спекулирующие билетами. Они всегда являются в «Хилтон» на такие вечера. Один из них, особенно разодетый, позже выиграл самый большой приз в лотерее, и ему устроили овацию стоя.

Мартин Чиверс заметил, что за последние три недели слушал Лавлейса Уоткинса не меньше трех раз — то в одном месте, то в другом. Завязался разговор о том, где акустика лучше — в «Савое», в «Хилтоне» или в «Ток оф зе Таун» [1]? Словно они проводили в подобных заведениях чуть ли не половину жизни. Мне вспомнились рассказы былых звезд, как они в свое время праздновали победу кружкой пива с мясным пирогом и состязанием в метании дротиков.

Загремел оркестр. По-видимому, куикстеп еще не вышел из моды, и я стал меньше стесняться своего костюма. Но сил танцевать у меня не осталось. Ушел я около полуночи. Жизнь футболиста нелегка. Но жизнь знаменитого футболиста, купающегося в удовольствиях, которые жаждут предоставить ему «прилипалы», должно быть, совсем уж выматывает.

Поклонники

Утром, в день первой игры сезона, которую «Хотсперы» проводили на своем поле, Джон Харрис вышел из дому, как обычно, чтобы успеть на электричку 8.40, которой он добирался до стадиона, и, как обычно, крепко держал в руках хлебный пудинг шириной в два фута, который накануне испекла его восьмидесятипятилетняя мать. Всякий раз, когда «Хотсперы» иг-

[1] «Все знаменитости» *(англ.)* — фешенебельный ресторан-кабаре в центре Лондона.

рают на своем поле, она печет такие пудинги.

Мистер Харрис, пятидесятишестилетний холостяк, живет с матерью. Прежде вся их квартира была увешана фотографиями игроков «Тоттнем Хотспер», но в конце концов его матушка — хотя сама она заядлая болельщица — потребовала, чтоб он убрал их: слишком много на них пыли собирается.

В девять часов мистер Харрис открыл своим ключом дверь трехэтажного дома, где помещается «Клуб поддержки «Хотсперов». Мистер Харрис — секретарь клуба на жалованье. Ради этого места он оставил свою прежнюю профессию краснодеревщика.

Мистер Харрис, как всегда, был в спортивной голубой куртке. Голубой — цвет клуба. Эта куртка у него для будней, а праздничную он приберегает для знаменательных событий, вроде приема у мэра.

Пудинг он отнес в клубный буфет. Мать заранее нарезала его на куски. Продаваться они будут по четыре пенса, и только членам клуба. Если хотите отведать пудинга, не зевайте — его раскупают мгновенно.

До десяти утра, когда придут члены правления клуба и добровольные помощники, Харрис работает один — разбирает почту, отвечает на телефонные звонки. Звонят из Ньюкасла — сегодня «Хотсперы» встречаются с тамошней командой — и спрашивают, какая в Лондоне погода, а то у них льет дождь.

— Мне видно в окно, что на трибуне установлены флаги,— отвечает мистер Харрис.— Значит, игра состоится.

Мистер Харрис худощав, носит очки и держится со спокойствием многострадального продавца или мелкого профсоюзного деятеля. Шутки его порой трудно уловить, особенно по телефону, который, кстати, снова зазвонил.

— Бюро погоды,— говорит он в трубку.

Взволнованный голос отвечает, что, видимо, он не туда попал — ему нужен «Клуб поддержки «Хотсперов».

— Туда, туда,— успокаивает мистер Харрис.

— Но вы же сказали: «Бюро погоды»!

— Тоже верно. Сегодня я только и делаю, что даю справки о погоде. Встреча состоится. Если только до свистка снег не занесет стадион, встреча состоится. Благодарю вас.

Телефон продолжает звонить. Один болельщик справляется о расписании поездов, другой — о цене на билеты, а какой-то старец пожелал узнать результаты довоенных встреч «Хотсперов» и «Ньюкасла».

За два часа до начала игры десять членов правления и двадцать добровольцев уже в полной готовности. Человек пять становятся у дверей, чтобы не допускать непрошеных гостей и следить за порядком.

Вестибюль разделен на две половины деревянным барьером, выкрашенным, естественно, голубой краской. Слева — киоск, где продается все, что может понадобиться болельщику «Хотсперов», даже самому яростному. При последнем учете они насчитали сто сорок три наименования, начиная от «хотсперовских» транировочных костюмов по четыре фунта за комплект и кончая значками и воздушными шариками по три пенса штука. В предыдущем году киоск, работающий лишь в день игры, принес 1300 фунтов чистого дохода.

Справа — буфет с игорным автоматом, цветным телевизором и фотографиями былых звезд «Тоттнем Хотспер». В задних комнатах размещен кафе-бар и кухня. Наверху — кафе-бар для подростков и гостиная. До начала игры в клуб заглянуло не менее четырехсот его членов — чего-нибудь перекусить и выпить, или купить сувениры, или внести свою фамилию в список для заграничных поездок на льготных началах.

— Собственно говоря, я бросил мою прежнюю работу из-за европейских игр,— признается мистер Харрис.— Постоянно отпрашиваться было невозможно. Тут я получаю заметно меньше, чем на прежней работе, зато теперь мне не надо тратиться на дорогу, когда «Тоттнем» играет на чужом поле в Англии или за границей. Мое увлечение было смыслом моей жизни, а теперь оно стало и моей работой.

Большинство лондонских клубов поддержки команд высшей группы возникло после войны. Лондонские футбольные клубы с раздражением отнеслись к их появлению, и некоторые до сих пор сохраняют это отношение. Они опасались вторжения черни, а также того, что организованные болельщики станут влиятельными и могут даже попытаться купить любимый клуб.

Однако со временем футбольный клуб «Тоттнем Хотспер» официально признал существование клуба поддержки, и отношения между ними установились весьма дружеские.

Все члены правления, которых я видел в этот день,— довольно пожилые, в приличных костюмах и парадных рубашках — производили впечатление солидных работающих людей. Есть что-то трогательное в их усилиях во всем поддерживать самый благопристойный тон, все время помня, что они имеют честь тоже носить название «Хотсперы».

«Тоттнем Хотспер» — богатый клуб и не нуждается в финансовой поддержке организованных болельщиков, что для этих последних весьма грустно. Футбольные клубы, не входящие в высшую группу, практически существуют на средства, собираемые организованными болельщиками, и нередко клуб поддержки практически управляет футбольным клубом.

Цель «Клуба поддержки «Хотсперов» проста: помогать болельщикам болеть за «Хотсперов». Самое большое, на что он способен,— организовывать дешевые поездки, бронировать купе или арендовать автобусы для своих членов.

Поезда и автобусы официальных клубов поддержки не следует путать со специальными поездами, которые английские железные дороги сами пускают в дни важных матчей. Эти поезда переполняют «бритоголовые». Все официальные клубы поддержки без конца отмежевываются от неорганизованных «бритоголовых» болельщиков и их хулиганских выходок.

— Ни один член официального клуба поддержки никогда ничего не ломал и не

крушил, но пресса знать ничего не желает и делает из нас козлов отпущения. Фотокорреспонденты снимают разбитые окна, а на другой день газеты вопят, что все это дело рук клубных болельщиков,— говорит мистер Харрис и начинает вспоминать звездный час своего клуба, когда он организовал воздушный мост в Амстердам на финал Кубка кубков.

— Что за день был! До смерти его не забуду! Уже на заре вдоль всей Пэкстон-Роуд выстроились наши автобусы. Как сейчас их вижу! Ну просто замечательно! Мы организовали челночную переброску в Саутенд, откуда самолеты улетали каждые пятнадцать минут. Всего у нас было двадцать два самолета — большинство сделало по два рейса. Даже не знаю, откуда авиакомпания набрала столько. По-моему, они раскопали всякое старье времен братьев Райт. Ну и денек выдался! Мы отправили в Амстердам по воздуху две с половиной тысячи наших болельщиков! Многие летели первый раз в жизни.

Мистер Харрис — очень важная персона в своем кругу. Он — секретарь Федерации футбольных клубов поддержки, в которую входят 85 клубов, организованных наподобие его собственного.

В начале сезона «Клуб поддержки «Хотсперов» объединял 6400 человек. Его члены живут и во всех уголках страны, и на Мальте, и в США, и в Австралии, и во всех европейских странах. Особенно их много в Скандинавии. В это самое утро мистер Харрис получил письмо от норвежского поклонника «Хотсперов», который каждый год изучает расписание игр, чтобы за время короткого приезда умудриться посмотреть как можно больше матчей в наименьшее число дней. И он выписывает программы всех игр, на которых не сумел побывать.

Мистер Харрис — счастливый обладатель сезонного билета на стадион «Хотсперов» — более двадцати лет сидит на одном и том же месте. Правда, он часто запаздывает, потому что ему надо запирать помещение клуба.

— Но мне разрешают проходить через служебный вход, а это значит, что мне не надо ни протискиваться сквозь толпу, ни задерживаться у турникетов. Это с их стороны очень любезно!

Игра с «Ньюкаслом» оказалась на редкость неинтересной и совсем не оправдывала предшествовавшего ей ажиотажа среди болельщиков — ни единого гола, никаких предвестий будущих успехов или неудач, хотя без драматического происшествия не обошлось.

В начале второго тайма вратарь «Ньюкасла» упал — в него чем-то швырнули. Это был уже не первый случай; в перерыве команда «Ньюкасла» заявила судье протест, потребовав, чтобы игроков оградили от хулиганов. И вот, когда вратарю была нанесена травма, судья остановил игру. Полицейские извлекли из толпы двух юнцов. Судья по радио попросил зрителей следить, не вздумает ли какой-нибудь идиот еще что-то швырнуть на поле. В подобном случае он прервет матч.

Позже выяснилось, что в игроков стреляли из рогатки гнутыми гвоздями.

Ничего хуже для клуба в начале сезона произойти не могло.

Это грозило запрещением играть на своем поле. Члены клуба поддержки были в ярости: два паршивых хулигана чуть было все не испортили!

Конечно, сама игра — ничья без голов — особого удовольствия никому доставить не могла, но, как сказал потом Джон Харрис:

— Я не из тех болельщиков, которые вешают нос, если «Хотсперы» не одерживают победы. Естественно, я люблю, когда они выигрывают, но ни ничья, ни проигрыш меня особенно не расстраивают. Мне нравится сам футбол и товарищеское чувство, которое сплачивает настоящих болельщиков.

Специальный поезд «бритоголовых»

С точки зрения английских железных дорог футбольные болельщики подразделяются на две категории — истинных болельщиков и хулиганов. Поезд хулиганов сразу можно узнать: каждый вагон патрулируют полицейские.

Специальный поезд на матч в Ковентри отходил в двенадцать сорок. На табло он объявлен не был, чтобы в него не сел по ошибке какой-нибудь неискушенный пассажир, едущий в Ковентри просто по своим делам.

С одиннадцати часов пассажиры сотнями вваливались на вокзал, с первой же минуты выискивая возможность поразвлечься, во весь голос распевая песни «Хотсперов», всячески привлекая к себе внимание в надежде, что кто-нибудь не поостережется и попробует их остановить. Они всегда утверждают, что сами ни к кому не лезут, но уж если кто к ним привяжется, пусть сам на себя пеняет. «Ни к кому не лезть» означает мчаться плотной толпой, разметывая все и вся у себя на дороге, обрушивая насмешки и ругань на любого, кто хоть отдаленно похож на болельщика другого клуба.

Нынче они высматривали болельщиков «Эвертона» [1], которые съезжались в Лондон поддерживать свою команду. Болельщики «Хотсперов» толпились в проходах, подбивая эвертононцев пройти между ними и готовясь подставить ножку зазевавшимся. В сущности, это были шуточки, для настоящей драки время еще не подошло, и они просто разминались. Тем не менее полиция сочла за благо вмешаться, и блюстители порядка поволокли пять-шесть «бритоголовых» с перрона, а те орали, что они ничего такого не делали. Кстати, обозначение «бритоголовые» уже успело устареть. В большинстве своем они обзавелись длинными волосами и от хиппи отличаются только тяжелыми башмаками. Средний возраст — лет пятнадцать.

Обычный полицейский прием — задерживать зачинщиков, пока поезд не отойдет.

Вагоны были битком набиты — болельщиков собралось не меньше тысячи. Первые полчаса пути они торчали у окон, пели и вопили, но потом угомонились — кто сел за карты, кто пихал друг друга, чтобы

[1] Ливерпульский футбольный клуб.

устроиться поудобнее. Полицейские держались довольно добродушно и пресекали завязывающиеся драки...

Я подсел к трем самым буйным. У двоих руки по плечи были в татуировках. Один отвернул нижнюю губу и предложил мне прочесть, что там написано. Короткое словечко, которое я было принял за непристойное, оказалось его именем — Ник.

Ник сказал, что ему восемнадцать и он работает на стройке. Сегодня он на ногах с половины седьмого. Матери его развлечения не нравятся, и она оставила его без завтрака. Пришлось подзаправиться у дружка. Дружок сообщил, что одно время был подручным у каменщика, но ему пришлось три месяца отсидеть, и работу он потерял. Теперь перебивается случайными заработками.

— Это было в прошлый сезон, в Манчестере,— объяснил Ник.— Мы продули ноль — один, ну и разозлились. А их навстречу целая шайка. Они в нас кинули кирпичом, ну, мы их и отделали. И получили по три месяца. Первый месяц был хуже всего. Целый месяц в камере не больше вот этого стола! Бедный малыш Ники!

Я спросил, что они думают о четырнадцатилетних мальчишках, которые стреляли из рогатки гнутыми гвоздями в игроков «Ньюкасла».

— Это не по правилам,— объявил Ник.— Дураки. Только портят все. Дураки.

Остальные закивали. Нет уж, в игроков они ничем кидать не будут. Другое дело — дать раза́ болельщику чужой команды.

— Или футболисту «Арсенала»,— вставил кто-то.— Это же совсем другое дело. Я бы всех арсенальцев поубивал, а потом сжег трибуну.

Завязался спор, мало кто согласился с этим. «Арсенал» они ненавидят, но убивать арсенальца все-таки не стали бы. Это не по правилам.

А «Хотсперам» они преданы безоговорочно: видимо разбираясь в футболе, они не сказали ни единого критического слова по адресу игроков. Все игроки — замечательные.

И они за ними поедут куда угодно, даже в Манчестер и Ливерпуль, хотя хуже городов не придумаешь.

— От вокзала до стадиона идти далеко, а полиция только поплевывает, когда тебя пинают. И вообще тебя не защищает. Легавые стоят и смотрят, как ты лезешь прямо в петлю. Завернешь за угол — а там местные, человек сто. Набросятся на тебя, все с тебя посрывают, даже штаны. А полиции — начхать. Ну прямо черт-те что! Полицейским же положено тебя защищать. Ну, Лидс — это ерунда. И в Ковентри тоже. Мы их сегодня живьем съедим.

— Клуб нас хулиганами обзывает, а если мы не приедем, кто их поддерживать будет? А когда они продувают, стоишь и утираешься, а те над тобой измываются. Легко, что ли, вытерпеть? Мы их поддерживаем, а нам даже спасибо не скажут.

Почти все перепоясаны бело-голубыми шерстяными или шелковыми шарфами. Некоторые прикололи голубые розетки, но не на грудь. Мода в этом сезоне — прикалывать розетки на бедра. У Ника нет ни шарфа, ни розетки.

— Чего внимание на себя обращать? Ты и сделать ничего не сделал, а легавый тебя уже волокет. Я на той неделе хотел эмигрировать, а мне говорят: раз сидел в тюрьме, жди, пока тебе не стукнет двадцать четыре. Хватит с меня!

В углу спал болельщик в очках, смахивающий на хиппи. Мне сказали, что это их вожак, Тони. На нем была пестрая рубашка, а на шее бусы. Пухлый и безобидный на вид. Во всяком случае, на хулигана совсем не похож. Я спросил, не могу ли я с ним поговорить. Он послал меня куда подальше: зачем я говорил с Ником и другими? Я должен был с него начать: он все-таки вожак. И Тони закрыл глаза.

В вагоне были и девушки. Они ехали парочками и держались в стороне от ребят. Все одеты одинаково — брюки и мужские куртки. Если кто-нибудь из ребят пробует к ним подсесть, кроют его последними словами. Очень агрессивны и подозрительны. Разговаривать со мной отказываются наотрез.

Я вернулся к великолепному Тони, и на этот раз он снизошел до беседы. Я похвалил его бусы.

— Я их сегодня утром приобрел. Я стал хиппи, когда решил, что заниматься любовью лучше, чем воевать.

Я спросил, со многих ли стадионов его вышвыривали.

— На этой неделе, что ли? — осведомился он, ухмыляясь и оглядываясь на своих дружков.— Дайте вспомнить.— Он снял очки и сделал вид, что подсчитывает. Среднего роста, довольно толстый, но была в нем какая-то внутренняя сила. Во всяком случае так, видимо, считали его дружки, которые, затаив дыхание, ждали, что он ответит.— «Арсенал» — пять раз, «Тоттнем» — шесть. Ну, Ковентри, и еще там... Позабыл.

В суд он попадал шесть раз, в последний — за нападение на полицейского.

— Он хотел меня вытащить, а я схватил его микрофон и стал ломать. Он подмогу вызвал. Только меня не засадили. Уж такой я симпатяга, что за решеткой мне не место.

Кто-то сказал, что за участие в той же драке схлопотал три месяца, а Тони отпустили.

Вероятно, тут играет роль внешность Тони — серьезное лицо, глаза, помаргивающие за стеклами очков. Он сказал, что пока живет в Кентиш-Таун. Постоянного жилья у его родителей нет.

В банду Тони входили человек пятьдесят, но лишь он один сказал, что всегда выискивает повод для драки. Ник и остальные упрямо утверждали, что только защищаются, а сами первыми никогда не нападают, ну, никогда.

— Врежешь кому-нибудь — и веселее становится,— объяснил Тони.— Особенно если образина с севера. Я всех северян ненавижу. Надо им показать, что до лондонцев им далеко. Сразу бодрее себя чувствуешь, когда кому-нибудь врежешь. Будто в лотерею выиграл. А теперь отчаливай, я спать хочу.

В Ковентри они кинулись к дверям и открыли их еще на ходу поезда. Выстроились на перроне, а потом пошли маршем по мосту, горланя и улюлюкая. У подножия лестницы их поджидали полицейские — не меньше двадцати — под командой сержантов.

Нас остановили, построили цепочкой и начали пропускать сквозь строй, быстро обыскивая. Интересовали полицейских главным образом карманы и штанины. Все это проделывалось прямо-таки молниеносно, и беспорядочной толпы не образовывалось. Я почти не почувствовал рук обыскавшего меня полицейского, но он явно знал, что ищет. У банды, с которой я ехал, ничего противозаконного в карманах не нашли, и все же на улице я увидел, как двух-трех парней заталкивали в полицейский фургон.

Мы двинулись вперед, распевая во все горло и ритмично хлопая в ладоши — пусть в Ковентри знают, что прибыли хотсперовские ребята. Полицейские шли по сторонам, растягиваясь вдоль длинной колонны болельщиков, направляя ее по заранее намеченному маршруту, оберегая от соблазнов.

К этому времени нас было уже заметно больше тысячи. Болельщики, приехавшие на более ранних поездах или на автобусах. ждали около вокзала прибытия специального поезда. К банде Тони присоединились двое «бритоголовых» старого образца. Выговор у них был не лондонский, но они щеголяли множеством хотсперовских значков. По их словам, они не пропускали ни одной игры «Хотспероз» — и на своем поле, и на чужих, хоть это черт знает во что им обходится.

Ник шагал впереди рядом с полицейским, допекая его шутовской болтовней: большое, дескать, ему спасибо, за любезную помощь, это надо же — показывать им дорогу на стадион. Ну, прямо свой парень. Однако полицейского это, казалось, только забавляло.

Я тоже подладился к шагу полицейского и начал его расспрашивать про обыск на вокзале. Он отвечал с большой гордостью. По его словам, в Ковентри создан ударный отряд из пятидесяти полицейских, действующий только в дни футбольных матчей. Чтобы посмотреть, как они справляются, к ним приезжают полицейские со всей страны и даже из-за границы. Они разбиты на звенья по восемь человек, каждое под командованием сержанта. Между звеньями все время поддерживается радиосвязь.

— Если сейчас начнется драка,— сказал он, оглядывая компанию Тони,— я за две секунды вызову сюда весь ударный отряд. Но, по-моему, это нормальные ребята. Больше похожи на студентов, чем на «бритоголовых».

Я заметил, что лондонские хулиганы с виду на хулиганов не похожи. Мы прошли мимо банды местных старомодных «бритоголовых», которые благоразумно стояли в стороне. Хотсперовские ребята принялись осыпать их насмешками Полицейский посмотрел на них с интересом, а тем временем кое-кто из компании Тони набил карманы фруктами с уличного лотка.

Я спросил, страшно ли ему дежурить на стадионе.

— До чертиков,— ответил он.— Я стою у задней стены, а вокруг — они, и я все думаю: стоит кому-то из них вытащить нож— тут мне и каюк.

Да, может быть, у одного или двух ножики есть. Большинство вроде нормальные ребята. Но только он все равно не понимает, чего они сюда едут. Ну, какое им удовольствие от игры? Они же ее и не видят вовсе.

Я ответил, что ощущать себя частью толпы — это пьянящее чувство. Когда они хлынули из поезда, даже я ему поддался. Под этот топот и вопли начинаешь верить, что ты захватил город. У них же у всех паршивая работа, и дома тоже паршиво. Другого смысла, других интересов в жизни у них нет.

— Это я, пожалуй, понимаю. В полицию я пошел ради азарта, интереса. Просто жду не дождусь ночной тревоги, когда мы побежим по улице... Наверное, мне повезло, у меня-то азарт на службе порядка, а у них нет.

На стадионе все хотсперовские ребята ринулись на западную трибуну, зная, что там обоснуется местное хулиганье. Полицейские тоже это знали и уже охраняли каждый вход, каждую очередь. И вновь обыск, на этот раз уже более тщательный, вплоть до ботинок. Женщина в полицейской форме потребовала, чтобы я по очереди поднял ноги. На мне были самые обыкновенные легкие туфли, но она проверяла, не прикрепил ли я к подошве подковки или еще что-нибудь не менее опасное. Рядом с ней высилась большая куча тяжелых сапог и башмаков, которые заставили снять болельщиков. Игру им предстояло смотреть в одних носках, а обувь свою они получат после окончания матча.

Кто-то из полицейских охранял груду металлических, опасного вида гребешков — их выпускают для причесывания собак, но, вероятно, они удобны, чтобы расчесывать и длинные прямые космы. А также и для того, чтобы расцарапывать лица.

Такой гребешок вынужден был отдать и дружок Тони — он нахально торчал у него из нагрудного кармана.

— Будь у тебя мозгов побольше, ух, и страшен бы ты был! — съязвил Тони.

Войдя на западную трибуну, они ринулись занимать ее центр. Полиция заранее провела демаркационную линию — болельщики Ковентри по одну ее сторону, хотсперовские ребята — по другую. Полицейские стояли в центральном проходе цепью — плечом к плечу, деля западную трибуну пополам. Пока местные болельщики были в явном меньшинстве. Хотсперовцы, явившись на стадион всем скопом за час до начала, получили явное преимущество над горсткой местных «бритоголовых».

На поле шло показательное выступление гимнасток — еще одна попытка властей Ковентри занять болельщиков и оздоровить атмосферу на трибунах.

— У-У, ЧУЧЕЛА! — хором завопили хотсперовцы, упиваясь собственным остроумием. Они скандировали это слово снова и снова, шум стоял оглушительный, а тем

временем небольшие их группы аккуратно просачивались за полицейский заслон, рассаживались между ковентрийцами и принимались их выпихивать. Нет, никаких драк, а просто постепенное вытеснение благодаря численному превосходству. Полиция была вынуждена сдвинуть демаркационную линию, учитывая территорию, захваченную хотсперовцами. Теперь вместо половины трибуны, как планировалось полицией, им принадлежали две ее трети.

— ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА — НАША,— принялись они выпевать.— ВСЯ ЗАПАДНАЯ ТРИБУНА — НАША!

Полиция их не трогала, но, по мере того как число ковентрийских болельщиков росло, их песни и крики становились все громче, и вскоре между ними и хотсперовцами началось что-то вроде диалога — стороны, разделенные узкой синей полосой полицейских, по очереди поносили друг друга.

— ТЕ, КТО НЕНАВИДИТ «СИТИ», ХЛОПАЙТЕ!— пропели хотсперовцы, и трибуна содрогнулась от оглушительных хлопков.

— «МАН-ЧЕСТЕР-СИТИ», «МАН-ЧЕСТЕР-СИТИ»! — заорали в ответ ковентрийцы, нанося удар ниже пояса: в начале сезона «Манчестер-Сити» разгромила «Хотсперов» со счетом четыре — ноль.

Затем они принялись выкрикивать только «СИТИ», подразумевая собственную команду. А хотсперовцы после каждого их выкрика добавляли: «ДЕРЬМО!»

В группах словно бы не было заводилы, однако выкрики были дружными. Существует всем известный репертуар, и надо только выбрать. Иногда выбор определяется сам собой; если они кричат «СИТИ» или как там называется их команда, вы отвечаете: «ДЕРЬМО». Но иногда затравку дает самый находчивый или самый громогласный, а остальные сразу подхватывают.

— УДОБРЕНИЯ! — выкрикнул ковентрийский болельщик, вежливо парируя «ДЕРЬМО». И вся его сторона принялась скандировать то же слово.

— ПОГОВОРИМ НА УЛИЦЕ! — пропели в ответ лондонцы.

Время от времени хотсперовцы затягивали песни, известные всем футбольным болельщикам, и к ним присоединялась часть ковентрийцев, не сообразивших, что инициатива принадлежит их соперникам.

Целый час они пели, не смолкая, одну песню за другой. Понимал я далеко не все. Многие песни сопровождались ритуальными жестами: например, начиная «Мы ненавидим «Арсенал», поющий выбрасывает вперед руку в подобии нацистского приветствия, только со сжатым кулаком. Сидя среди них, я чуть не оглох. Сознаюсь, возникало опьяняющее возбуждение, ощущение своей силы, в действительности же оглушали мы не столько других, сколько самих себя.

Примерно за полчаса до начала ковентрийцы явно уже превосходили лондонцев численностью. Начали завязываться серьезные драки, хотя пение продолжалось.

— Пошли! — скомандовал парень рядом со мной, и вместе со своей компанией они пробрались сквозь море поющих болельщиков и зашли ковентрийцам с другого фланга, толкаясь и пиная ногами в надежде, что остальные навалятся с другой стороны. Ковентрийцы, однако, могли теперь дать отпор. Простые любители футбола рванулись в сторону от места драки, и это походило на отлив огромной волны; тех, кто не успевал с ней слиться, сбивали с ног, наступали на них.

Полицейские мужественно кинулись в самую гущу свалки, извлекая из нее заводил. Я увидел, как Ника тащат за ухо, несмотря на его отчаянные крики, что он никого пальцем не тронул.

Тони в гордом одиночестве прислонился к барьеру. Вокруг него было довольно большое пустое пространство. Трибуна была набита битком, но для Тони нашлось свободное место. Он наклонялся вперед, свирепо поглядывая по сторонам. Поодаль компания мальчишек смотрела на него в завороженном ожидании. Он занял позицию посреди ничейной земли между хотсперовцами и ковентрийцами. Приятели подзуживали его, надеясь, что он вот-вот прыгнет и разделает под орех какого-нибудь злополучного ковентрийского болельщика, который ненароком окажется в пределах его досягаемости. Он, зная, что они за ним следят, поигрывал мышцами, набычивался.

Ниже на трибуне образовывались новые проплешинки, где занимали свои позиции другие вожаки. Полицейские обратили внимание на Тони и медленно обходили завороженных мальчишек, ожидая лишь предлога, чтобы его схватить. По-видимому, Тони уже участвовал в драке — рубашка его была порвана и в крови. Вдруг он заметил полицейских и что-то буркнул своим подручным, которых я только теперь различил среди глазеющих мальчишек. Затем повернулся спиной к своей армии, пробрался сквозь толпу и исчез.

— Уходим,— сказал один его приятель другому, и они, разделившись, начали пробираться по трибуне, видимо хорошо зная куда.

За сплошными рядами голов я заметил какую-то возню. Дорогу им нечаянно преградили несколько простых зрителей. Повалив какого-то подростка, они пинали его ногами. Полицейские врезались в толпу, но в ту же секунду на поле выбежали команды, и трибуны содрогнулись от громового рева. Все повернулись к полю, драки были на время забыты. Хотсперовцы принялись выпевать имена игроков обожаемой команды, одно за другим, и каждое в своем ключе в зависимости от числа слогов. Например, «Ральф Коутс» не поется на тот же мотив что «Алан Мюллери» В первом случае — монотонный повтор: «РАЛЬФ КОУТС, РАЛЬФ КО-УТС», во втором живое и бойкое: «РА, РА, РА-РА, МЮЛ-ЛЕР-И». И каждый болельщик точно знает мотив.

Начали они и кончили «ПАТ ДЖЕННИГС» Он в ответ поднял руку, словно папа, благословляющий паломников. Отвечать на приветствия он начал лишь два года назад, после того как получил от своих поклонников коллективное возмущенное письмо. Прочие члены команды игнорировали западную трибуну, только Мюллери

улыбнулся. Лица остальных были серьезны и сосредоточенны. У себя дома, в безопасности Тоттнема, каждый, услышав свою фамилию, великодушно машет поклонникам, но только не на чужом поле.

Первые пятнадцать минут следить за игрой я физически не мог. Хотсперовцы по меньшей мере в сотый раз затянули песню, но теперь они вытягивали перед собой горизонтально свои шарфы, слагавшиеся в двухцветное бело-голубое полотнище. Так что не только я ничего не видел, но и они сами. Зато они раскачивались в такт песне, вынуждая всех вокруг тоже раскачиваться.

В конце концов шарфы они опустили, но не умолкли, и их вопли, толчки, взрывы буйного энтузиазма по-прежнему не позволяли толком разобраться, что происходит на поле. Они только старательно высматривали выходы нападающих «Хотсперов» к воротам противника, и каким бы слабым ни был удар как бы далеко в сторону ни улетал мяч, тут же устраивали бешеную овацию. Но больше всего они жаждали гола. На комбинации «Хотсперов», на маневры «Ковентри» они ни малейшего внимания не обращали. Им требовалось лишь одно — повод для воплей и дурманящего разум возбуждения.

Было бы слишком просто сделать вывод, что им ничего не важно, кроме результата. Однако следить за тонкостями игры, когда они стоят впритык друг к другу, вопя, размахивая шарфами, им не по силам. «Хотсперы» проиграли ноль — один, но болельщики в отличие от тренера, никаких претензий к игрокам не предъявляли. И даже не желали признать, что Сирил Ноулс играл безобразно, как это было на самом деле. Сирилу жутко не везло, упрямо утверждали они. Его «сделали». Он ни в чем не виноват. А судья в другую сторону смотрит, шкура.

Перед концом встречи я ушел на главную трибуну проверить, насколько слышна западная трибуна в других концах стадиона. До финала хотсперовцы, бесспорно, вопили громче ковентрийцев, но на расстоянии они выглядели такими ничтожными! Рядом с ними ощущаешь, будто тебя захватили в плен. Но они ничего не захватили, на самом деле их просто-напросто изолировали в секторе одной трибуны и предоставили там некоторую свободу.

ЛОУРЕНС ПИТЕР

ПОЧЕМУ ДЕЛА ИДУТ ВКРИВЬ И ВКОСЬ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ПРИНЦИПЕ ПИТЕРА

Фрагменты книги

Перевод с английского Л. В. СТЕПАНОВА

Человек принципа

ПРИНЦИП ПИТЕРА: В иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности.

ЛОУРЕНС ПИТЕР

Меня одолевают сомнения. Не могу разобраться, кто управляет миром — люди некомпетентные, но честные либо умные ребята, которые нас дурачат. Задумайтесь над следующими примерами и вы поймете, что меня беспокоит. Будучи профессором в университете Британской Колумбии, я получил памятку: «Профессора, не имеющие собственных секретарш, могут пользоваться девушками из сводной группы секретарей». Выходящая в Стоутоне, штат Висконсин, газета «Курьер» сообщила: «На Фортон-стрит отремонтирован мост, рухнувший прошлой осенью. Установлены новые, укрепленные железными брусьями опоры фермы, и мост теперь приведен в то же состояние, в каком он находился перед тем, как рухнуть». В колонке «требуются» можно было прочитать объявление, приглашающее «работника на счетчиках молекулярной реакции изотопов ядерного распада и на трехфазных циклотронных урановых фотосинтезаторах», с добавлением: «Наличие опыта необязательно». «Сан-Франциско экземинер» информировал: «Представители транспортной службы штата Род-Айленд в Ист-Гринуиче заявили, что никакие оправдания действий дорожно-эксплуатационной бригады, которая провела желтую разделительную полосу по лежавшему на шоссе трупу собаки, не могут быть приняты в расчет».

© 1985, by Laurence J. Peter.

Доискиваясь истины, я упорствовал в своих попытках понять коренные причины, по которым столь многие дела идут вкривь и вкось, хотя мне редко удается с точностью установить, что же скрывается за видимыми проявлениями некомпетентности — старания преданного делу болвана или розыгрыш лихого мистификатора.

Поиск истины способен изрядно позабавить.

ВЕРНОН ГОВАРД

Уходите, пока вы не продвинулись

Последний раз к исполнению должностных обязанностей в сложившейся иерархии я приступил в 1966 г., когда стал профессором педагогики в университете Южной Калифорнии. На этом посту мне предоставлялись бесчисленные возможности подняться над уровнем своей компетентности и стать жертвой мною же изобретенного принципа. Я считал, что достиг своего оптимального уровня эффективности в избранной сфере профессиональной деятельности, где я постоянно испытывал ту радость свершений, которая приходит в работе, выполняемой с глубокой личной заинтересованностью.

Моего непосредственного начальника перевели в другое место, и мне предложили возглавить отдел. Поскольку я полагал, что занимаемый мною пост позволил старой мечте стать явью, я это предложение отклонил. Последовали настойчивые советы не спешить и хорошенько подумать. В наступившие затем недели меня уговаривало начальство, со всех сторон нажимали коллеги, убеждая согласиться на повышение. Давление

это настолько меня травмировало, что я решил пустить в ход творческую некомпетентность. Это прием, состоящий в том, чтобы сознательно показать себя некомпетентным в чем-либо, не имеющем отношения к сфере ваших признанных достижений. Вы это делаете с целью убедить вышестоящее лицо, что при всей компетентности, которую вы проявляете на своем нынешнем месте, дальнейшего продвижения вы не заслуживаете. Может показаться, что сделать это трудно, но на практике, как я обнаружил, достигается довольно легко и доставляет массу удовольствий. Стоило мне несколько раз поставить свой автомобиль на место, отведенное для машины декана, как предложения насчет более высокого поста прекратились.

К несчастью, за свои научные исследования я получил приз «Фидельта-каппа», что повлекло за собой возобновление попыток повысить меня в должности. И снова на выручку пришла творческая некомпетентность. Однажды, когда декан зашел ко мне проконсультироваться по некоему специальному вопросу, я извлек из ящика стола игрушечный дротик и метнул его в висевшую на стене мишень Затем я записал цифру, в которую вонзилась моя стрела, быстро проделал кое-какие вычисления и дал ответ на его вопрос. До него, видимо, так и не дошло, что ответ уже был мне известен. Это меня не удивило, поскольку я не раз замечал, что вообще, если вы рассказывали декану что-нибудь смешное, следовало разъяснить, что ему преподносится именно шутка, иначе он мог остаться в неведении, что надо засмеяться. Декан, о котором идет речь, был настолько лишен чувства юмора, что это замечали даже другие деканы

О том, что стратегия с использованием дротика оказалась успешной, я узнал, когда нечаянно услышал, как он говорит: «Питер, конечно гений, но он слегка с приветом». Попытки продвинуть меня по службе опять были оставлены. На роль руководителя отдела временно был назначен профессор, которому оставалось лишь несколько месяцев до выхода на пенсию. Устрашающий призрак обезглавленного отдела грозил быстро превратиться в реальность, и усилия, направленные к моему выдвижению, были возобновлены еще раз. На одном памятном собрании сотрудников, когда все стали проявлять ко мне избыточное внимание, осыпая чрезмерными похвалами, я почувствовал: что-то затевается. Председатель открыл собрание и объявил, что первым пунктом повестки дня стоят выборы нового главы отдела. Затем каждый профессор пообещал мне всемерную поддержку и сотрудничество, если я соглашусь принять этот пост. Они вызывались готовить предложения о стипендиях, составлять бюджетные сметы и выполнять всю тяжелую работу. Все, что от меня требовалось, это сидеть в своем кабинете, подписывать кое-какие бумаги и пожинать славу. Хотя картина, которую они рисовали, была соблазнительной и я не сомневался в их добрых намерениях, меня поразило, насколько эти обещания были непохожи на их привычную склочность, подсиживание и прочие проявления мелочности. Мне это напомнило давно родившееся изречение: «Профессора потому чересчур агрессивны, что слишком малы ставки в битвах, которые они ведут».

Как я мог отказаться от нарисованной ими утопии? Мог ли я отвергнуть предложенные ими любовь, верность, уважение и сотрудничество? Складывалось положение, требовавшее отчаянных шагов. В молчании я обводил взглядом комнату и всматривался в умоляющие глаза каждого из моих коллег. Поглядел я и на потолок, как бы ожидая ответа Свыше. Я медленно поднялся, подошел к окну, достал сигарету и увеличительное стекло. Я сфокусировал солнечный луч на кончике сигареты и терпеливо ждал, когда загорится табак. Сунув сигарету в рот, я затянулся и медленно выпустил тонкую струю дыма. Все глаза были устремлены на меня, пока я медленно шел обратно к своему месту. Собрание погрузилось в полную тишину. После долгого молчания председатель заглянул в свои бумажки, откашлялся и сказал: «Полагаю, что нам следует перейти к следующему пункту повестки дня». Творческая некомпетентность вновь одержала победу.

Посредством разумного обращения к творческой некомпетентности и применения силы отрицательного мышления мне удалось удержаться на уровне своей компетентности вплоть до того времени, когда успех «Принципа Питера» предоставил мне возможность сбежать из университета и продолжить свои исследования в условиях независимости от всякой иерархической организации.

В пути попадались не только розы

Хотя мои изыскания были посвящены компетентности, в поле моего зрения неизбежно оказывалась и кое-какая некомпетентность. Д'Олдона, директора начальной школы, расстроил шум в классных комнатах, поднимавшийся между уроками, пока учителя переходили из класса в класс. Он помчался в свой кабинет и провозгласил по внутренней радиосети: «Отныне ни один учитель не покинет класс до прихода другого учителя». Мисс Альфа Вит, преподаватель чтения, столь основательно втянула своих учеников в подготовительные занятия, так много времени отвела на их устные рассказы, на разглядывание картинок и прочие упражнения, связанные с описанием зрительных образов, что год успел кончиться прежде, чем она добралась до уроков чтения. Заботой Альмы Матер, школьной библиотекарши, был порядок на книжных полках, и поэтому большую часть своей энергии она направляла на то, чтобы не подпускать учеников к книгам.

Поначалу мне казалось, что подобные примеры — это никчемные отходы, воз-

никающие в процессе моих изысканий, но позднее я разглядел в них полезный побочный продукт. Когда мне предлагали выступить и рассказать о моих исследованиях в области педагогической компетентности, я стал ссылаться на некоторые забавные проявления некомпетентности, внося тем самым комическую разрядку в свои серьезные доклады.

Моим первым примером послужила учительница, которую я назвал мисс Штамп, потому что творческое начало было присуще ей в той же мере, что и копировальной машине. В учительском колледже она была превосходной студенткой. Пунктуальная, исполнительная, она не упускала ни одного слова преподавателей. Сделанные ею записи лекций выглядели так, будто были сняты под копирку с конспектов, по которым профессора читали эти лекции. Она была настолько хорошей студенткой, что без проблем переходила с курса на курс и каким-то образом благополучно сдала экзамен по педпрактике. Она стала школьной учительницей и своего уровня некомпетентности достигла за неправдоподобно короткий срок Будучи компетентной в качестве потребителя знаний, она потерпела полное фиаско в качестве их распространителя. Ее широкая образовательная подготовка означала только то, что она способна была нагнать скуку в занятия по любому предмету из школьной программы. Она была из тех людей, что могут озарить комнату светом — стоит им лишь выйти за дверь. Если бы не ее рыжие волосы, можно было бы утверждать, что она совершенно бесцветна. Ее не уволят, потому что она пунктуальна, исполнительна и все требуемые формуляры заполняет вовремя. Единственно, чего она не умеет,— это учить. Поэтому до конца своих трудовых лет она будет учительствовать, изнурять скукой детей, повергать в отчаяние их родителей и приводить в бешенство школьное начальство.

Директор школы Остоу Лоп обладал такой способностью не понимать других людей, какой я никогда больше не встречал. Он был компетентным исследователем и превосходным педагогом. Ученики внимали каждому его слову, и он не ведал проблем с поддержанием дисциплины. Став директором, он не проявил ни малейшего понимания или сочувствия к тому, что заботило рядового учителя. Его поразило открытие, что, умея так хорошо ладить с детьми, он столкнулся с одними лишь неприятностями в отношениях с собственным персоналом и с чиновниками из попечительского бюро. Для дальнейшего продвижения он не пригоден, и большая часть его нынешней жизни уходит на воспоминания о добром старом времени, проведенном в классной комнате. Компетентный наставник детей возвысился до уровня некомпетентного руководителя взрослых.

Школьный попечитель доктор Скопидом пытался экономить на таких вещах, как мел, бумага, карандаши, выбрасывая при этом крупные суммы на непроверенное электронное оборудование. На протяжении всей его учительской карьеры и затем, когда он был директором школы, жена отбирала у него зарплату и сама еженедельно выдавала ему деньги на жизнь, но, став попечителем, он принял на себя обязанность ворочать многомиллионными суммами. Компетентного педагога повысили и сделали некомпетентным распорядителем финансов.

В своих лекциях я назвал следующее явление Принципом Питера: **в любой иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности.**

Я назвал это принципом, поскольку таким образом выражается определенное обобщение или тенденция, а не что-то, долженствующее непременно осуществиться. Система побуждает индивидуума взбираться на уровни его некомпетентности. Если вы способны выполнять свою работу эффективно и без напряжения, вам скажут, что эта работа не дает вам возможности проявить себя и потому вы должны подняться выше. Проблема в том, что когда наконец вам достается нечто, с чем вы не можете толком справиться, то именно этот вид деятельности и становится вашим постоянным занятием, предаваясь которому вы заваливаете свою работу, приводите в отчаяние коллег и подрываете эффективность всей организации.

Неожиданное

Когда я читал публичные лекции о моих исследованиях на тему учительского мастерства и ссылался на Принцип Питера, чтобы внести долю юмора и прояснить некоторые соображения насчет некомпетентности, я имел в виду только педагогику и свои занятия ею. К моему удивлению, едва я заканчивал отвечать на вопросы, как люди устремлялись ко мне, чтобы поделиться переживаниями вот какого рода: «Знали бы вы, как обстоят дела в нашей компании! Я работаю в фирме «Полиглот кемиклз», той самой, где Гэбриел Фанфара, наш самый выдающийся коммивояжер, только что получил повышение и стал настолько плохим управляющим по сбыту, что хуже и не представить». А одна санитарка как-то спросила: «Вы что, обследовали центральную больницу? У нас там очень хорошего врача, доктора Эскулапа, назначили директором. Он был практикующим медиком, теперь он — практикующий дезорганизатор». Офицер из военно-воздушных сил заподозрил меня в знакомстве с протоколом и процедурами, принятыми в военной среде. И так происходило на каждой лекции: я говорил о системе образования, а слушатели думали, что я веду речь об их организациях.

Всеобщее явление

Естественно, я задавал себе вопрос: не обстоит ли дело так, что всякая иерархия действует подобно школьной системе? И решил внимательнее прис-

мотреться, как это выглядит в жизни. Результаты оказались самыми поучительными. При посещении публичной библиотеки я заметил, что книги о беременности находятся на нижней полке, у самого пола, где их, по-видимому, не могут увидеть именно те, кого они интересуют. Я направил в большое издательство заказ на книгу о некомпетентности в сфере бизнеса. Спустя две недели я получил письмо, в котором среди прочего прочитал: «Мы благодарим за ваш недавний заказ и подтверждаем желание немедленно его выполнить, но улучшения, вносимые в организацию нашей работы, приведут к задержке с отправкой». Я читал книгу Вэнса Паккарда «Отбросопроизводители» — о промышленниках, сознательно выпускающих не пригодную для длительного пользования продукцию. Прежде чем я закончил чтение, обложка отвалилась и страницы рассыпались.

В учреждениях школьной системы и за ее пределами я расспрашивал администраторов об их политике продвижения кадров. Кэп Прис, старший школьный инспектор, кратко выразил суть дела: «Любой компетентный человек есть кандидат на выдвижение» Каждый администратор среди моих собеседников соглашался, что компетентность должна вознаграждаться более высокой должностью, а некомпетентность следует рассматривать как преграду к продвижению по службе. Никто не проявил видимого понимания, что в системе, где компетентность служит основанием, а некомпетентность — преградой для продвижения, каждый отдельный работник остановится в конечном итоге на уровне своей некомпетентности.

На более высоких ступенях иерархии

В 1964 г., когда я пребывал в должности профессора университета Британской Колумбии, мне как-то случилось присутствовать на фестивале одноактной пьесы в театре «Метро» в Ванкувере. Действие одной пьесы развертывалось на тонущем корабле, наскочившем в бурю на риф. Актеры должны были раскачиваться на сцене, все одновременно в одну сторону, так, чтобы создавалось впечатление кренящейся палубы. Исполнитель ведущей роли то и дело поворачивался спиной к залу и наклонялся в сторону, противоположную той, в которую клонились все остальные. Весьма неуместными казались и знаки, которые он подавал за кулисы. В перерыве я разговорился со своим другом, драматургом Рэймондом Халлом. Когда я спросил, понятно ли ему что-нибудь в том странном зрелище которое мы только что видели, он сказал: «Да. Исполнитель ведущей роли в действительности очень неплохой актер. Беда в том, что он сам написал эту немыслимую пьесу, сам ее ставит, да еще в ней играет. Порой он забывает, что он актер на сцене, и поворачивается спиной к залу, чтобы руководить своей труппой. А его странные жесты, обращенные за кулисы,— это знаки осветителям и рабочим сцены».

«Он пал жертвой Принципа Питера,— сказал я.— Компетентный актер поднялся до уровня своей некомпетентности в роли драматурга и режиссера». Рэя эта мысль, по-видимому, увлекла, и он начал настаивать, чтобы я написал книгу о моем открытии. Но я отказывался, поскольку был в то время занят работой над учебником, поясняющим, как использовать в педагогической практике диагнозы, поставленные медиками, психологами и специалистами служб социальной помощи. Рэй твердил, что книга о Принципе Питера нужна обществу, и предложил свое сотрудничество. Я согласился, и через год мы засели за книгу. Когда мы пришли к выводу, что в нашей рукописи содержится все, что мы хотели сказать, я предложил ее одному крупному издательству.

Жертва Принципа Питера

Первое письмо с отказом, в частности, гласило:

«К сожалению, я не вижу никаких коммерческих возможностей для издания этой книги и, следовательно, не могу сообщить Вам ничего обнадеживающего».

В течение нескольких следующих лет рукопись направлялась тринадцати издателям. В одних случаях отказы приходили в стандартных выражениях. Но в других издатели считали нужным объяснить, чем не понравилась им книга. Один писал: «Вам не следовало бы так легкомысленно обходиться с серьезной темой». Другой советовал: «Коль скоро Вы пишете комедию, в ней нельзя уделять так много внимания трагическим ситуациям». Третий заявлял: «Я готов вернуться к вопросу об издании, если Вы перепишете книгу, придав ей характер либо юмористического произведения, либо серьезной научной работы». Издатель, которому книга понравилась, представил ее на рассмотрение редакционного совета своей фирмы. Мне он сообщил, что совет не смог определить жанр книги и потому отверг ее.

Сам я утверждал, что моя рукопись — это сатира. И в ответ обычно следовало: «Не думаю, что это сатира. По-моему, Вы пишете серьезно». Я был смущен, обнаружив, что так много людей, занятых издательской деятельностью, не имеют представления о литературном жанре сатиры. Я растолковывал, что сатира есть манера письма, предполагающая серьезность в содержании и юмор в форме изложения. Цель в том, чтобы преподнести истину весело. По-видимому, мои попытки внести ясность успеха не имели. Помнится, один издатель, терпеливо выслушав мои разъяснения, покачал головой и сказал: «Это все теория. А я хочу знать одно: всерьез Вы пишете или нет?» Мне оставалось только развести руками.

Поскольку издатели не были готовы принять книгу, мы решили написать о Принципе Питера несколько статей и

посмотреть, какой они вызовут отклик. Статьи, опубликованные в «Эсквайре» и других читаемых по всей стране журналах, были встречены хорошо.

Лоуренс Хьюз, президент издательской фирмы «Уильям Морроу энд компани», обратился ко мне с вопросом: не задумывался ли я над тем, чтобы написать книгу о Принципе Питера? Когда же одному из его редакторов случилось быть в Калифорнии, где я жил в то время, мне осталось только стряхнуть пыль со старой рукописи и представить ее на ознакомление.

Увидевшая свет в феврале 1969 г. книга к концу июля добралась до первого места в публикуемом «Нью-Йорк таймс» списке бестселлеров по разряду нехудожественной литературы. В этом положении лидера она оставалась в течение полугода, а потом еще много месяцев была бестселлером среди рассчитанных на массовый рынок книг в мягкой обложке. Она была переведена на другие языки и выдержала тридцать семь изданий за границей, став, таким образом, международным бестселлером[1].

После публикации «Принципа Питера» меня уже не выдвигали на более высокие должности. Администраторы не хотели видеть в своем кругу человека, не принимающего их всерьез. Видимо, книга оказалась вершиной моей творческой некомпетентности. Когда в 1974 г. я расставался с нашей педагогической системой, мне не устроили обычного прощания за чашкой кофе. Это можно понять.

С тех пор я работаю в условиях благословенной независимости от всяких иерархических обязанностей и ограничений.

Хотя открытие Принципа помогло мне во многих отношениях, все же оно не оградило меня от своих воздействий. Мы поселились на берегу океана в маленьком старом доме. Он отчаянно нуждался в ремонте. Среди прочего — не открывалось окно в моем кабинете. Пришел плотник, починил раму, сменил подоконник. Когда он закончил работу, окно стало открываться, но погас свет. Приглашенный электромонтер обнаружил, что в проводку был забит гвоздь, вызвавший короткое замыкание. Он поправил дело, лампы зажглись, но тут оказалось, что в итоге его возни оконное стекло треснуло. Явился стекольщик, сменил стекло, и вслед за этим я позвал маляра, чтобы навести окончательный лоск. Теперь все в порядке, объявил я, после чего выяснилось, что окно, покрашенное в закрытом положении, опять не открывается.

Новая наука

На основе моих исследований о должностных продвижениях в рамках организации я осознал, что изучение иерархий представляет собой по существу новую отрасль науки. Я назвал ее и е р а р х и о л о г и е й. Поскольку все мы учимся и работаем в иерархиях, поскольку нами управляют иерархии, эту новейшую из общественных наук важно знать.

ПРИНЦИП ПИТЕРА — любой из нескольких представленных в сатирической форме «законов», касающихся организационных структур; особенно указывающий на тенденцию продвижения людей по службе до уровня, превышающего их компетентность (по названию книги Лоуренса Дж. Питера, канадского педагога, род. 1919).

Толковый словарь
«Рэндом хаус колледж», 1979

Закон и беспорядок

Закон, воплощая в себе величественную идею равноправия, запрещает спать под мостом, располагаться на ночлег на улице и красть хлеб, запрещает одинаково всем людям — богатым так же, как и бедным.

АНАТОЛЬ ФРАНС

Существуют два вида законов, управляющих жизнью человека. Во-первых, имеются общепринятые понятия, правила, теории, пословицы и принципы, описывающие поведение людей. Во-вторых, устанавливаются защищаемые властями юридические нормы, с помощью которых поведение человека в обществе или в стране вводится в разумные рамки.

Всеохватывающие законы

После 1970 г. лавиной пошли публикации о законах, порождающих глупости, промахи, сбои, всевозможные нелепости. Таким образом пытаются либо рассмешить нас неразберихой, царящей в современном обществе, либо помочь нам справиться с нею. Многие из этих законов выведены на основе точных наблюдений и описаны с доброй долей остроумия, но наиболее известные среди них были открыты еще до 1970 г.: Закон Мэрфи, Закон Паркинсона и Принцип Питера.

Все началось в 1949 г., когда капитан военно-воздушных сил Эдвард А. Мэрфи-младший, инженер-исследователь из авиаконструкторского бюро в Райт-Филде, разработал устройство, которое должно было войти в экипировку летчика-испытателя и позволило бы определить, какие перегрузки от ускорения способно выдержать человеческое тело. Это устройство представляло собой транслятор, оборудованный шестнадцатью датчиками для измерения возникающих напряжений. Вот как сам Эд Мэрфи рассказывает о дальнейшем развитии событий:

Я считал, что достиг успеха, и отправил мой транслятор на базу Эдвардс в Мьюроке, где исследовательские службы военно-воздушных сил экспериментировали с аварийными ситуациями. Там они установили транслятор на реактив-

[1] Фрагменты книги «Принцип Питера» опубликованы в «ИЛ», 1971, № 8. *(Прим. ред.)*

ные сани, которыми управлял Джон Пол Стэп. позднее — когда он развил на своих санях скорость свыше 600 миль в час — снискавший себе славу «самого быстрого человека на земле».

Первое же сообщение, которое до меня доходит,— это известие, что опыт не удался, и все, мол, из-за моего транслятора. Провал означал, что на ветер выброшены большие деньги, и я счел, что мне лучше будет лично познакомиться с результатами испытаний на базе Эдвардс и, может быть, спасти доброе имя — свое и моего транслятора.

Далее Мэрфи говорит, что, как он обнаружил, проблема возникла из-за неправильного подключения одного измерителя напряжений, чем и была нарушена работа транслятора. «Этот измеритель может быть подключен только двумя способами,— поясняет он.— Один — правильный, а другой — неверный, с отклонением в 90 градусов».

Мэрфи установил, что измеритель, как он и подозревал, подключили неправильным способом. Тут у него и вырвалось замечание, что-де если существует возможность сделать что-нибудь не как положено, то техник непременно так и сделает.

Джордж Э. Николс, руководитель проекта, оказавшийся поблизости в момент, когда Мэрфи произнес эти слова, объявил их «Законом Мэрфи». Сегодня на этот Закон ссылаются по существу во всех сферах человеческой деятельности, где приходится проявлять заботу о надежности.

Мэрфи не сформулировал свой закон, а лишь обронил замечание, подтолкнувшее к его открытию, и, вероятно, по этой именно причине с годами появилось множество различных его словесных выражений. Наиболее известная формула гласит:

Закон Мэрфи: Если что-то может пойти наперекосяк, оно непременно пойдет наперекосяк

В недавнем разговоре Эд Мэрфи поведал мне, что в тот раз он высказал свое замечание совершенно серьезно. Он имел в виду предупредить конструкторов и инженеров, что, создавая машины, оборудование, они должны помнить о гарантиях их правильного использования, а значит, предусматривать, чтобы было трудно либо вовсе невозможно обращаться с ними не так, как положено. Он также решительно настаивал, что подлинные его слова, сказанные в тот день, и подлинный смысл Закона Мэрфи, как он сам его понимает, выглядят следующим образом: «Если существуют два или более способов сделать что-либо, причем использование одного из этих способов ведет к катастрофе, то кто-нибудь изберет именно этот способ». Иначе говоря, даже Закон Мэрфи стал жертвой Закона Мэрфи.

19 ноября 1955 г. профессор К. Норткот Паркинсон опубликовал на страницах солидного лондонского «Экономиста» статью о законе, который он открыл, изучая деятельность британского адмиралтейства и министерства по делам колоний.

Закон Паркинсона: Объем работы возрастает в той мере, в какой это необходимо, чтобы занять время, выделенное на ее выполнение.

Принципиальная истинность этого закона была признана немедленно. Изданная в 1957 г. первая книга Паркинсона об этом законе познакомила с ним более широкий круг читателей [1]. Безоговорочно было принято, что он имеет глобальное значение, что в поле его действия находятся все бюрократии мира.

Паркинсон вывел свой закон из двух фактов, установленных тщательным наблюдением за работой государственных учреждений: 1) чиновник стремится увеличивать число подчиненных, но не соперников, и 2) чиновники создают работу друг для друга.

Закон Паркинсона устанавливает постоянное возвышение пирамиды государственной бюрократии и неизбежный рост численности персонала, независимо от того, становится ли работы больше, меньше или ее нет совсем.

Что объединяет между собой Закон Мэрфи, Закон Паркинсона и Принцип Питера? Они явились на свет из внимательных наблюдений за событиями нашей реальной жизни и представляют собой обобщения, которые позволяют поновому понять смысл этих событий. Что в этих законах пленило умы? То, что в каждом из них схвачена часть сложного человеческого опыта, и выражено это короткой, понятной, легко запоминающейся фразой. Почему они получили всеобщее признание? Потому что в каждом из них содержится некая основополагающая истина, верная для всего мира, независимо от различий в политическом строе, религиозных убеждениях или расовой принадлежности. Для этих законов не существует границ, разделяющих нации и культуры.

Следствия

Следствие есть суждение или вывод на основе главного положения. Следствия, вытекающие из Принципа Питера, имеют для нас ту ценность, что могут привлечь наше внимание к большему числу явлений, охватываемых базовой концепцией. Вот несколько примеров; другие появятся ниже, по ходу дела.

Следствие 1: Сливки поднимаются кверху, пока не прокиснут.

Следствие 2: Для каждой существующей в мире должности где-то есть человек, неспособный ей соответствовать. При достаточном числе продвижений по службе эту должность займет именно он.

Следствие 3: Путешествие длиною в тысячу миль завершается одним-единственным шагом.

---

[1] См. «ИЛ», 1959, № 6 *(Прим. ред.)*.

Следствие 4: Вся полезная работа совершается теми, кто еще не достиг своего уровня некомпетентности.

Таков закон

По мере того как Принцип Питера подчиняет себе наши главные институты и все возрастающее число людей достигает своего уровня некомпетентности, растет и потребность в регулирующих установлениях. Чтобы компетентно работать, группе способных людей нужны всего-навсего общие ориентиры и четко определенные цели. Для неспособных работников должны быть введены правила, ограничивающие их действия. Правила не гарантируют компетентности, но они защитят иерархию даже в том случае, когда эти инструкции, нагромождаясь друг на друга, сами образуют своего рода иерархию некомпетентности, поскольку они настолько запутывают простейшую задачу, что решение ее становится почти невозможным.

Исправить ошибку в кодовом числе пункта междугородной телефонной связи на первый взгляд представляется пустячным делом: надо только зачеркнуть неправильную цифру и поставить на ее место правильную. В Вашингтоне это понимается иначе. Инструкция Федеральной комиссии по связи предлагает исправлять ошибку следующим образом:

1. Отдел исследований окружающей среды министерства торговли Соединенных Штатов уведомил Комиссию, что кодовое число, выделенное для его предприятия в Боулдере, штат Колорадо, неправильно обозначено в разделах 73.711, 73.1030 и 74.12 Правил, утвержденных Комиссией.

2. Кодовое число города в разделах 73.711 (с) (2), 73.1030 (в) (2) и 74.12 (с) (2) исправлено и его следует читать: Боулдер Колорадо 80 303.

3. Мы придерживаемся того мнения, что означенные редакционные поправки будут отвечать общественным интересам. Предварительное уведомление о вносимых изменениях, установление срока их вступления в силу и соблюдение соответствующих процедур их обнародования считаем излишними, исходя из предусмотренных в пунктах 5 Ю. С. К. 533 (в) (3) (В) административных процедур и правил пересмотра законодательных норм, поскольку означенные поправки не создают дополнительных трудностей и не ведут к возникновению каких-либо проблем, нуждающихся в комментариях, которые могли бы быть сколько-нибудь полезными.

4. Исходя из сказанного, постановляется, что в соответствии с разделами 4 (1), 303 (4) и 5 (а) (1) Закона 1934 г о связи, включая его позднейшие изменения, а также с разделом 0.281 Правил и распоряжений Комиссии вносятся поправки, изложенные выше в пункте 2, которые вступают в силу 10 ноября 1978 г.

Создавая нормативные установки, мы преуспели в наращивании количества, но не качества. Стоит только какой-нибудь группе людей, объединенных общим интересом, углядеть некое зло, искоренимое, по их мнению, законодательным путем, как над нами нависает опасность изобретения нового сложного и заковыристого правового акта.

Законы вводят, чтобы причинять людям неприятности, и чем больше от них неприятностей, тем дольше они сохраняются в своде законодательных уложений.

ФИНЛИ ПИТЕР ДАНН

Бюро министерства финансов, ведающее налоговыми сборами с торговли алкоголем, табачными изделями и огнестрельным оружием, предписывает, чтобы при регистрации продажи винтовки была заполнена форма F 4473. Сведения в Раздел А этого формуляра должны быть вписаны лично покупателем, которому предлагается ответить на вопрос: «Скрываетесь ли вы от правосудия?»

В штате Колорадо поджог дома влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок с максимальным пределом в двадцать лет, но если то же действие совершается с применением взрывчатых веществ, высший предел опускается до десяти лет. Максимальная кара за похищение собаки — десять лет тюрьмы, за убийство же собаки — шесть месяцев или 500 долларов штрафа.

Согласно законоположению, принятому в округе Моухейв, штат Аризона, человек, уличенный в краже мыла, обязан мыться им до тех пор, пока оно полностью не смылится.

Власти канадской деревни Лейкфилд, провинция Онтарио, в порядке борьбы с шумом издали закон, разрешающий птицам распевать не более тридцати минут днем и пятнадцати — ночью. На Эрла Кадди, муниципального чиновника, составлявшего законопроект, со всей Канады хлынули требования разъяснить, каким образом он собирается останавливать пение птиц. Кадди повинился: «Видно, в спешной работе над законом я чего-то не додумал».

По правилам, принятым в Данвилле, штат Пенсильвания, состояние всех пожарных шлангов подлежит проверке за час до начала пожара.

Закон штата Оклахома гласит, что водитель «любого транспортного средства, вовлеченного в дорожное происшествие, сопровождающееся смертельным исходом... обязан немедленно остановиться... и сообщить свое имя и адрес пострадавшему».

О несчастном случае мой подзащитный впервые узнал лишь тогда, когда этот случай произошел.

Из речи адвоката

В Холиоке, штат Массачусетс, вы совершаете наказуемое законом деяние, если поливаете лужайку перед домом во время дождя.

Один из городских декретов Сан-Франциско запрещает подбирать разбросанные конфетти с целью повторного использования.

С 1930 г. уголовный кодекс штата Виргиния ставит под запрет «коррупцию или взяточничество для всех лиц, кроме кандидатов на выборах».

А в пределах городской черты Куитмена, штат Джорджия, в противоречие с законом вступает всякий цыпленок, пересекающий любую улицу.

Когда закон соблюдается

Закон может быть несовершенным и содержать лазейки, позволяющие обходить его, но в практике его применения бывают случаи, очень похожие на проявления некомпетентности, а порой и вызывающие смех.

Газета сообщила, что на Эксетер-стрит похищены три велосипеда. При этом было процитировано заявление полиции, которая высказала предположение, что в городе орудует похититель велосипедов.

Летом 1982 г. шесть чикагских полицейских были арестованы за торговлю героином, который они продавали во время дежурства из патрульных машин

Следствие 5: Компетентность всегда несет в себе семена некомпетентности.

В Сагино, штат Мичиган, некий человек был задержан за нарушение правил дорожного движения. Обыскав машину, полицейские обнаружили в ней револьвер и человека арестовали. На следующее утро им пришлось отпустить его с извинениями. Револьвер, как выяснилось, выпал из кобуры полицейского, когда тот обыскивал автомобиль.

Я не против полиции, я просто боюсь ее.
АЛЬФРЕД ХИЧКОК

Окружной суд в Калифорнии отказался выдать ордер на арест Гектора Соларио, хотя задержавшие его полицейские видели, как он грабил ювелирную лавку и набивал мешок драгоценностями. Суд постановил, что полиции следовало остановиться у открытой двери лавки, постучать, представиться и лишь после этого переступить порог и арестовать правонарушителя в процессе совершаемого им ограбления.

К 1980 г. построенная тремя годами ранее тюрьма в округе Куйахога, штат Огайо, была переполнена. Шерифам и их помощникам было велено прекратить розыск 4982 лиц, преследуемых за уголовные преступления: в тюрьме для них все равно не нашлось бы места.

Гарри Зайглер, судившийся за грабеж и убийство, в ожидании приговора присяжных стал нервничать. Он сам предложил признать себя виновным в обмен на приговор, осуждающий его к шести годам тюрьмы плюс двадцать лет условно. Судья заставил присяжных ждать, пока заключалась эта сделка с подсудимым. Когда он сообщил им, что тот признал себя виновным, присяжные застонали. Они уже вынесли свой приговор: не виновен.

Фрэнк Уиллс, охранник, обнаруживший вторжение посторонних лиц в «Уотергейт», отбывает срок за кражу в магазине. Безработный Уиллс жил со своей матерью в Южной Калифорнии. Украл он пару сандалий ценой в 15 долларов — в подарок сыну. В отличие от преступников Уотергейта Уиллс был осужден на максимальный срок — двенадцать месяцев.

Полицейский находится на своем месте не для того, чтобы создавать беспорядок; полицейский находится там, чтобы поддерживать беспорядок.
РИЧАРД ДЖ. ДЕЙЛИ, мэр Чикаго

Из пятидесяти четырех терапевтов, психиатров и стоматологов, обслуживающих тюрьму на Райкерс-Айленд в Нью-Йорке, сорока восьми были предъявлены обвинения в подаче ложных сведений о рабочих часах, затратах времени на командировки и о суммах, полученных в порядке возмещения служебных расходов.

С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
АЛЬ КАПОНЕ

В Брисбене, Австралия, Питер Стокер признал себя виновным в похищении двадцати пяти входных дверей в жилые дома. Безработного плотника осудили, оштрафовали и обязали вернуть двери их законным владельцам. Об исчезновении одиннадцати дверей никто, однако, никогда не заявлял Встревоженный прокурор обратился к местным жителям с просьбой: «Если вы увидите дом без двери, пожалуйста, привлеките к этому внимание домовладельца».

Преступление — дело невыгодное

Приведенные примеры заставляют думать, что эти творцы закона и эти блюстители закона хотели сделать их эффективными, но в случаях, когда они терпели фиаско, действовали на своих уровнях некомпетентно. Подобным же образом, обращая наш взгляд на правонарушителей, мы должны исходить из того, что, вступая на преступную стезю, они не рассчитывают быть пойманными. Мы должны держаться гипотезы, что большинство из тех, кто становится преступником, делает это с самым твердым намерением добиться успеха.

Преступление — дело невыгодное; всякого преступника рано или поздно накажут за нарушение правил стоянки автомобиля.
ТЕД ЗАЙГЛЕР

Возле мясного рынка в Лондоне поймали вора. Полицейский заметил, что преступник не может справиться с дрожью. Причина вскоре выяснилась: вор сунул себе в брюки замороженную вырезку.

В магазине самообслуживания в Саутгемптоне злоумышленник подкатил к контрольной кассе переполненную товарами тележку. Кассирша выбила чек, и он протянул ей 10-фунтовую ассигнацию. Кассирша открыла ящик с деньгами, и преступник, сграбастав все его содержимое, скрылся. В кассе было 4 фунта 37 пенсов. Кассирша осталась с 10-фунтовой банкнотой в руке.

Томас Ф. Ричардсон входил в банду, совершившую знаменитое «ограбление Бринка», одно из крупнейших в истории США. Были похищены ценности на сумму 2,8 миллиона долларов, из них 1,2 миллиона — наличными. Незадолго перед смертью он подсчитал, что если его долю в награбленном богатстве развертать на время, потребовавшееся для подготовки акции, плюс срок его пребывания в тюрьме (более тридцати лет), то его доход за весь этот период исчислился по ставке 1 доллар 25 центов в час.

В Риверсайде, Калифорния, преступник, напялив на голову наволочку, совершил налет на булочную. Он был вооружен и взял из кассы 60 долларов. Но поскольку он забыл сделать в наволочке отверстия для глаз, ему пришлось приподнять ее край, чтобы найти дверь. Один из покупателей узнал его, и он был арестован тут же по соседству — у себя дома.

В Сакраменто, Калифорния, полицейский сержант Мелвин Чукович сказал задержанному вору: «Как вам не стыдно красть детские велосипеды!» Некоторое время спустя Чукович снова увидел в полицейском участке того же человека в наручниках. Преступник приветствовал его словами: «Я последовал вашему совету, начал красть автомобили».

В тюрьме Сальтильо, на севере Мексики, несколько заключенных пять месяцев рыли туннель для побега. Когда он был готов, семьдесять пять человек цепочкой двинулись по нему к свободе и вышли в оказавшийся на другом его конце тот самый зал заседаний суда, где большинство из них заслушали свои приговоры. Их вернули в камеры, и судья, потрясенный случившимся, добавил им сроки.

Дж. Или совершил в Детройте ограбление и случайно оставил на месте преступления свою собаку. Полиция, явившаяся по тревоге, обнаружила собаку и с криками: «Домой, бобик, домой!» — последовала за ней, так что прибыла на квартиру грабителя почти одновременно с ним самим.

Если преступление — дело невыгодное, как же получается, что это одна из крупнейших отраслей нашего бизнеса?
МИТЧЕЛ ГОРДОН

Точная наука

Компетентность определяется как состояние, позволяющее действовать. Но с точки зрения реальных жизненных ситуаций ее следует определить как обладание способностями и умением выполнять определенную функцию. Компетентный агент по сбыту должен обладать умением продать товар. Компетентный врач — тот, кто умеет принести пользу больному своими медицинскими услугами. Компетентный механик должен иметь навыки, дающие ему возможность вернуть ваш автомобиль работающим лучше, чем прежде, когда вы его доставили в мастерскую. Хотя способности торгового агента, врача и механика проявляются в разных видах мастерства, каждый из них компетентен в той степени, в какой выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату данной профессиональной деятельности.

Оценка или измерение конечного результата — это единственный научный способ судить о компетентности. Тем не менее существует тенденция выносить заключения о компетентности не по результату, а по тому, что вкладывается в его достижение. Весомым могут посчитать мнение профессора, увенчанного учеными званиями, тогда как не исключено, что он всего-навсего образованный болван. Высокую оценку его идеям дают за старания, которые он приложил, получая образование и взбираясь по лестнице академических чинов к титулу полного профессора, но не за реальную полезность и не за качество его мыслей.

Иерархиология есть наука, которая стремится на основе объективных исследований обеспечить более глубокое понимание структуры человеческих организаций. Приводимый в этой книге анализ конкретных ситуаций и примеров раскрывает природу иерархической структуры общества и тем самым наполняет смыслом информацию, которая может поначалу казаться хаотическим нагромождением не связанных между собой фактов.

В нашем научном исследовании иерархий следует избегать всякого морализирования по поводу компетентности и некомпетентности; мы не должны исходить из того, что у людей, обнаруживающих свою неспособность, отсутствует также и желание действовать мудро или работать производительно. Мои интервью показали, что работники, которых по объективным критериям следовало отнести к разряду некомпетентных, сами хотели бы сделать свои усилия более плодотворными. Каждый из них недвусмысленно выражал желание приносить больше пользы. К тому же в большинстве своем некомпетентные работники несколько смутно, но все же понимали, что крах фирмы оставит их без работы, а развал общества вовсе выбьет из колеи.

Следствие 8: В иерархии индивидуальные свершения обратно пропорциональны высоте занимаемого поста.

Мрак на вершине

В связи с действием Принципа Питера в сфере политики и государственного

управления часто поднимаются вопросы по поводу исключений, ограничивающих применимость этого принципа. Бывают же некомпетентные люди, которые учатся и становятся компетентными? Можно ли некомпетентного продвинуть в должности до уровня, на котором он окажется компетентным? Почему некоторых некомпетентных работников высоко оценивает их начальство?

Поскольку иерархиология — это наука и, как таковая, стремится раскрыть истину во всей ее полноте, мы должны исследовать даже и те исключения, которые как будто бы нарушают Принцип.

Следствие 9: Принцип Питера, подобно эволюции, не ведает пощады.

Несколько президентов Соединенных Штатов достигли выдающихся уровней некомпетентности. Улисс С. Грант пробыл в Белом доме два срока — с 1869 по 1877 год. Выпускник Вест-Пойнта, профессиональный военный, офицер, он вынужден был в 1854 г. подать в отставку по причине своего сильного пристрастия к спиртному. Когда разразилась Гражданская война, его назначили полковником в разношерстную команду добровольцев. Благодаря своей ловкости и политическим связям он быстро продвинулся и стал командующим всеми федеральными войсками. По окончании войны он был избран президентом и возглавил администрацию, которая под его руководством погрязла в коррупции. Видных деятелей республиканской партии изобличили в том, что они перекачивали в свои карманы прибыли Федеральной Тихоокеанской железной дороги. Правительственные чиновники были вовлечены в торговые махинации с виски и обманули государство, не уплатив положенных налогов и оставив его бюджет без необходимых поступлений. А военный министр был устранен с поста за взятки.

Вудро Вильсон, в прошлом президент правления Принстонского университета, энергично провел свой первый срок на президентском посту, ознаменовал его впечатляющей законодательной деятельностью. Переизбираясь, Вильсон получил небольшой перевес голосов, с которым и прошел в президенты под лозунгом «Он уберег нас от войны». Месяц спустя после его повторного вступления в должность Америка была втянута в первую мировую войну. В 1919 г. он пережил инсульт, существенно подорвавший его физическую и умственную энергию. Поскольку Вильсон не мог выполнять многие возлагавшиеся на него обязанности, Эдит Боллинг Гэлт Вильсон, его супруга, встала у руля. В течение последних семнадцати месяцев его президентства эта дама не слишком компетентно заправляла делами высшей канцелярии. Конгресс негодовал, но не мог вырвать вожжи из ее цепких рук.

Уоррен Г. Гардинг, двадцать девятый президент, был избран в 1920 г., собрав 60,3 процента голосов избирателей, то есть получив такую степень поддержки, какой ни у кого не было прежде. Его кампания проходила под лозунгом «Возврат к нормальному положению». Если, как полагают скептики, коррупция в правительстве есть дело нормальное, то администрация Гардинга свои предвыборные обещания выполнила. Действовавший по большей части бесконтрольно, кабинет Гардинга состоял из непригодных для работы приятелей и лиц, назначенных по протекции. Когда министр внутренних дел сдал принадлежавшие государству нефтяные прииски в аренду своим деловым друзьям, в стране разразился скандал. Признание самого Гардинга: «Я не гожусь для этой должности, и мне не следовало бы ее занимать».

Кажущееся исключение: Возвышение Пинком и Пас в сторону

Когда некомпетентный человек занимает ключевой пост, превращая его тем самым в узкое место, затрудняющее работу организации, проблему можно быстро решить, передвинув его или ее либо вверх по служебной лестнице (Возвышение Пинком), либо в сторону, на равнозначную должность (Пас в сторону). В идеале операция Пас в сторону должна сопровождаться присвоением перемещаемому лицу более длинного и более внушительного титула, а также изысканием для него кабинета в отдаленной части здания. В случае, когда речь идет о правительственном учреждении или крупной компании, это может означать другую контору, другой район или другую страну. В той мере, в какой псевдовыдвижение впечатляет людей за пределами иерархии, эту операцию можно считать успешной; иерархия сохраняется.

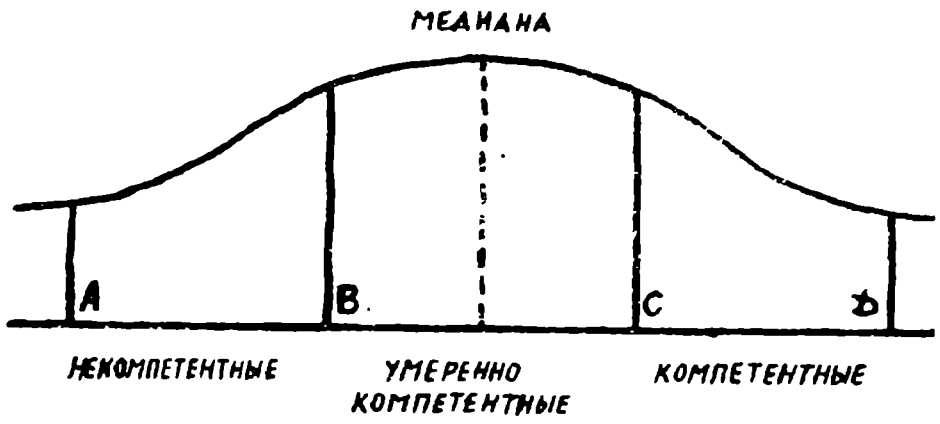
Еще одно кажущееся исключение: Шелушение Иерархии

Любезный читатель, тебя, несомненно, терзает вопрос: почему некомпетентного работника нельзя уволить? Иногда, в крайних обстоятельствах, так и поступают, но иерархия воздвигается, чтобы приютить как компетентных, так и некомпетентных. До тех пор пока некомпетентность не угрожает существованию иерархии, с ней обычно мирятся. Иерархии создаются для поддержания порядка, а не для устранения некомпетентности, как и не для того, чтобы выявлять и вознаграждать компетентность. Обычно целью создания организации считается некое дело, которое должно быть сделано. Но как только иерархия утвердилась, целью для нее становится ее собственное существование.

Следствие 13: Получить должность труднее, чем удержаться на ней.

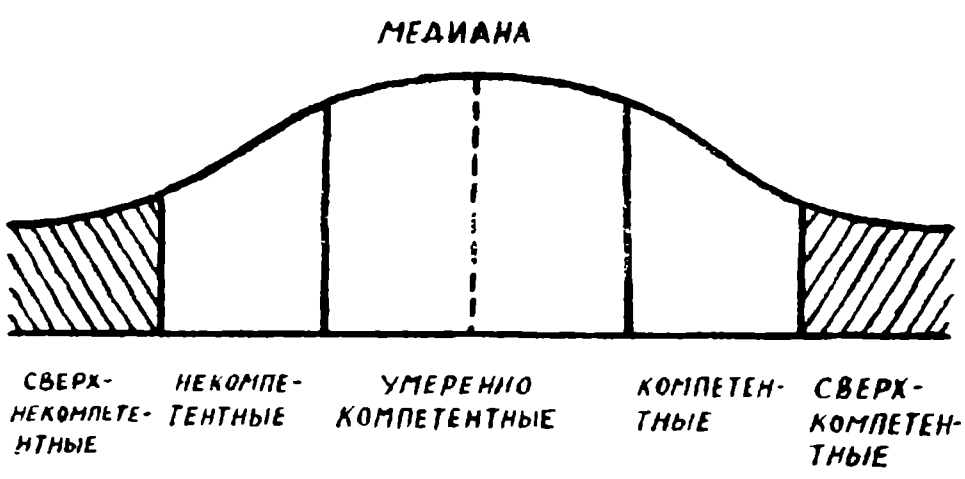
Допустим, что при поступлении на работу индивидуумы обладают компетентностью, требуемой на исходном уровне их служебной деятельности. Но в даль-

нейшем, по мере их продвижения по службе, проявляется та самая тенденция, которую описывает теория распределения: большинство образует группу умеренно компетентных работников, а компетентные и некомпетентные оказываются в меньшинстве — так, как это показано на схеме.



Из схемы выпали пока два редких типа индивидуумов: сверхкомпетентные и сверхнекомпетентные. Сверхкомпетентным проявляет себя обычно тот, кто знает способ выполнить работу лучше. И это часто служит основанием уволить работника, поскольку он разрушает иерархию. К сверхкомпетентному организация менее терпима, чем к неспособному. Рядовая некомпетентность мешает повышению в должности, но не принимается за причину для увольнения.

Другой тип работника, который создает угрозу иерархии и которого поэтому стараются выгнать или убрать куда подальше,— это сверхнекомпетентная личность. Ниже, на схеме, теперь доведенной до завершенности, показано место этих двух крайних категорий — сверхкомпетентных и сверхнекомпетентных, одинаково предопределенных к увольнению. Удаление крайних отростков называется Шелушением Иерархии.



Межиерархические Прыжки (опять кажущееся исключение)

Критики Принципа Питера любят приводить примеры с людьми, проделавшими путь от некомпетентности к компетентности. Тем самым они, конечно, лишь обнаруживают собственную некомпетентность, которая выражается в неумении внимательно прочитать, что утверждает Принцип. Его изложение начинается со слов «В иерархии...», то есть в н у т р и д а н н о й иерархии. Межиерархические Прыжки объясняют, почему многие неудачники добиваются успеха.

Улисс С. Грант не сумел преуспеть в роли фермера и провалился в бизнесе, но во время войны с Мексикой и затем Гражданской войны он оказался внутри военной иерархии и добился здесь выдающихся успехов, поскольку был способным, знающим офицером. Позднее, когда его продвинули в пределы другой иерархии, он выбрал себе таких помощников, что даже грязным политиканам стыдно было принимать их за своих.

Отцовы Сапоги (снова кажущееся исключение)

Старые семейные предприятия следовали обычаю, по которому отец вовлекал своих сыновей на службу в фирме, будучи уверенным, что старший сын со временем «влезет в его сапоги». Озабоченный удержанием фирмы в руках семьи, отец настаивал, чтобы сын носил эти сапоги, даже если они оказывались тому великоваты.

В сегодняшних бюрократиях роль отца перешла к «старшему брату» — государству. Правительственные учреждения битком набиты служащими, вставленными каждый в свою ячейку или, иначе говоря, назначенными на строго определенную должность. Бюджет учреждения растет по мере заполнения каждой следующей ячейки; поэтому заполнять их — дело важное. Стоит ли вообще заниматься данной работой и способен ли с нею справиться человек, вставленный в соответствующую ячейку, — это не столь важно.

В ситуации с Отцовыми Сапогами или с Чиновником-в-каждой-ячейке существенно понять вот что: надевший эти сапоги или помещенный в эту ячейку есть лицо, предназначенное занимать определенное место в организации, и требовать от него большего несправедливо.

Еще кажущееся исключение: Сломанная ступенька

Критики Принципа Питера любят ссылаться на случаи, когда отдельные индивидуумы становились некомпетентными, хотя и оставались на достигнутом уровне. Такое бывает, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что нарушения Принципа тут не происходит.

Недоразумение возникает из-за того, что за символ продвижения к успеху мы принимаем лестницу. «Лестница успеха» — это неплохая метафора, но, к сожалению, нам случается упускать из виду, что и на настоящей лестнице, и на «лестнице успеха» может встретиться сломанная ступенька. Маляр, компетентно выполняющий работу по окраске дома, утратит всю свою эффективность, если у него под ногами проломится ступенька. Он окажется в положении, подобном тому, в какое попал промышлявший ловлей сардин рыбак Монтерея, когда рыба ушла от его берегов: обрушилась ступенька, стоя на которой он только и мог проявить свою компетентность.

Во времена конной тяги компетентные мастера — каретник, кузнец, шорник, колесник, кучер — занимали уважаемое и финансово надежное место в тогдашнем хозяйственном устройстве жизни. Массовое производство и популярность автомобилей разрушили этот порядок вещей. Представители названных почтенных профессий оказались не у дел — и не потому, что они взобрались повыше или утратили свое мастерство, а именно потому, что продолжали заниматься той самой работой, с которой хорошо справлялись. Ступенька, на которую они поднялись и на которой чувствовали себя уверенными и компетентными, рухнула.

Подобные перемены происходят на многих рабочих местах в результате прогресса техники, и высококомпетентный работник, утвердившийся на той или иной ступеньке лестницы, может оказаться никчемным, если не сумеет передвинуться вместе со временем или достаточно быстро переместиться при первых трещинах в этой ступеньке.

Люди, добирающиеся до того уровня, где, как они полагают, им надежно обеспечены возможности проявить свою компетентность, и основательно закрепляющиеся на этом уровне, невзирая на меняющиеся условия, могут оказаться жертвами опоздания: их некомпетентность возникает потому что исчезает сам уровень, на котором прежде они были компетентными.

По самой своей природе человек, чем старше он становится, тем больше противится переменам, особенно переменам к лучшему.

ДЖ. СТЕЙНБЕК

Опять вроде бы исключение: Дискриминация пола

За всеми нанимающимися на работу Принцип Питера признает равные права. Почему же тогда я писал до сих пор главным образом о мужчинах, достигших своего уровня некомпетентности на высоких должностях? Потому что до недавнего времени предрассудки, поддерживаемые и законодательно и социально, ограничивали для женщин возможности заниматься определенными видами профессиональной деятельности и пробиваться на высокие посты. Сегодня, хотя многие законодательные преграды устранены, традиционные представления о ведущей роли мужчины по-прежнему сохраняются.

По сравнению с мужчиной, женщина должна быть вдвое лучше, чтобы добиться вдвое меньшего.

ФАННИ ХЕРСТ

Законы и социальные барьеры оберегли многих женщин от достижения своих уровней некомпетентности и в то же время многим другим помешали развить свои способности и принять широкое участие во всех сферах жизни общества Когда эти барьеры, построенные на предвзятости, были снижены, на наших глазах возросло число женщин, продвинувшихся к успеху на руководящих ролях — и в профессиональной деятельности, и в государственных делах, и на производстве.

Принцип Питера с учетом пола: Большинство иерархий было создано мужчинами, которые монополизировали высшие посты и тем самым лишили женщин принадлежащей им по праву доли возможностей достичь собственного уровня некомпетентности.

При том, что в долгой истории восхождения к вершинам некомпетентности господствуют мужчины, все же некоторые случаи, когда мужчины и женщины выступали в одинаковых ролях — скажем, как ведущие телевизионных интервью, знаменитости или актеры,— слегка подсказывают, что женщины обладают не меньшими способностями совершать ошибки. Еще в 1950-е годы в ходе телеинтервью, передававшегося по каналам Эн-би-си, ведущая Вирджиния Грэм обсуждала с Энджи Дикинсон проблемы материнства. Вирджиния спросила у Энджи насчет ее дочери: «Сколько ей было лет, когда она родилась?»

Мирна Лой получила приглашение на главную роль в киношедевре Франка Капры «Это случилось однажды ночью». Она решила, что, поскольку действие не выходит за пределы автобуса, фильм успеха иметь не будет, и отклонила предложение. Успех, выпавший на долю картины, оказался одним из самых крупных в истории кино. Клодет Кольбер сыграла главную роль и была удостоена приза Академии.

Политическую компетентность труднее всего оценить объективно ввиду всезатмевающего влияния партийных пристрастий, но если задача Управления по охране окружающей среды (УООС) состоит в охране окружающей среды, то Энн Горсач Берфорд во многих отношениях оказалась объективно некомпетентной. Возглавив УООС, она в качестве своего рабочего кабинета выбрала комнату № 6124 в здании министерства внутренних дел, на расстоянии двух миль от УООС. Берферд реорганизовала УООС, ликвидировав в нем отдел контроля за исполнением ведомственных директив. Она заявила, что поддерживает идею об увеличении вдвое нормы допустимого содержания загрязняющих среду веществ в автомобильных выхлопах. Местные учреждения УООС стали практически бесполезными, поскольку от них потребовали направлять все свои решения в Вашингтон на утверждение, а все выдаваемые ими субсидии свыше минимальных сумм подлежали согласованию с самой Берфорд. Для окружающей среды она стала разрушительной силой. В политической среде она распалила гнев и либералов, и консерваторов. С точки зрения административной ее ведомство погрузилось в хаос. По нормам бюрократии она провалилась по всем пунктам, не сумев взять под защиту свое учреждение, своего лидера Джеймса Уотта, свою опору — Джозефа Курса, это-

го винокура-консерватора, который поддерживал ее и рекомендовал на должность, не сумев даже защитить самое себя и сохранить за собой пост.

Президенту, в его окружении, не нужны ни мужчины, ни женщины, умеющие только поддакивать. Если он говорит «нет», мы все говорим «нет».

ЭЛИЗАБЕТ ДОУЛ,
помощник президента Рейгана

Косвенно женщины всегда обладали властью благодаря своему влиянию на мужчин и своей роли в воспитании детей, хотя непосредственно их самих к власти не допускали. Но даже и в пределах домашнего хозяйства есть возможность подняться до уровня некомпетентности.

Следствие 14: Равные возможности означают, что каждому в одинаковой мере предоставляется шанс стать некомпетентным.

Самодостаточный человек (по видимости опять исключение)

По Питеру, Самодостаточный человек — работник, всецело поглощенный служебными обязанностями и не заботящийся о конечном результате. Нормальный порядок предполагает, что мы организуем людей и устанавливаем правила с расчетом на выполнение некой задачи; наша деятельность представляет собой средство для достижения определенной цели. Внутри бюрократий, однако, тенденция состоит в том, что их персонал и правила становятся самоцелью. В плодотворно действующей организации работника ценят за результаты его труда — за количество произведенных им деталей, выполненных заказов или оказанных клиентам услуг. В бюрократии ценность работника склонны определять по его служебному поведению — по тому, как он блюдет правила, насколько следует ритуалам, поддерживает статус-кво и оберегает устои иерархии.

«Моу воду не мутит»

«Лэрри всегда покладист и контактен».

«На Кэрли можно положиться».

Что получится в итоге, попросту не имеет того значения, какое придается соблюдению организационных процедур Налогоплательщики, жаждущие получить справку, больные, обратившиеся за медицинской помощью, клиенты, рассчитывавшие, что их обслужат,— все эти люди, столкнувшись с Самодостаточным человеком, приходят к выводу, что перед ними упрямая, бесчувственная, некомпетентная личность. Но в рамках бюрократии вполне допустимо, что эту личность высоко ценят за его (или ее) усилия, обеспечивающие иерархии гладкое течение жизни. Такой волны не поднимает правил никогда не нарушает, ни с какими отклонениями от установленных процедур не мирится даже в исключительных ситуациях, а главное, последовательно оберегает внутреннюю структуру организации.

Для такого все, кто не относятся к иерархии,— это не те, кто нуждаются в его услугах, а те, кто призваны снабжать его информацией для заполнения установленных бюрократических форм, требуемых ритуальными процедурами справок и отчетов. В ответ на какой-нибудь простейший запрос тут обычно слышишь: «Да, но у меня нет полномочий предоставить вам эти сведения»; «не знаю, напишите заявление, мы рассмотрим»; «станьте, пожалуйста, вон в ту очередь в справочное бюро, там вам скажут, где вам следует занять очередь на прием».

Государственный корабль

Мы видим, что кажущиеся исключения из Принципа Питера представляют собой на деле не что иное, как его проявления в действии. До уровня некомпетентности поднимаются не только индивидуумы; неэффективными становятся целые учреждения. Следующие примеры наглядно показывают, как некомпетентность обнаруживает себя в работе государственных служб.

Медицинский центр Управления по делам ветеранов в Лонг-Биче издал памятку для своих сотрудников: в случае поступления по телефону угроз в адрес президента им предписывается записать «имя и номер страховой карточки звонившего, если таковые будут названы».

Управление по делам мелких предприятий учредило комиссию для распределения премий своим наиболее эффективно работающим служащим. Совет в составе девяти высших чиновников управления тщательно рассмотрел представленные рекомендации Премии были присуждены семерым из этой девятки Причем одному из них премия в размере 4760 долларов досталась за то, что именно по его инициативе была введена сама эта система премий.

На участке от Хэнли до Бэгнэла в Стаффордшире (Англия) автобусы то и дело проносились мимо остановки. В ответ на жалобы муниципальный советник Артур Чолертон пояснил: если автобусы будут останавливаться, чтобы подбирать ожидающих их пассажиров, это повлечет за собой нарушение расписания.

Джон Зиглер, врач из Цинциннатти, направил заказ на изданную правительством брошюру «Справочник по оказанию скорой помощи». При этом он аккуратно вывел официальный номер публикации — № 15 700 Через две недели на его домашний адрес поступили 15 700 экземпляров брошюры.

Боб Грин, левша, служивший в почтовой конторе Сиэтла, получил предписание сортировать почту правой рукой: невыполнение этого требования грозило ему увольнением Все пошло с того, что группа почтовых чиновников, инспектируя контору, где работал Грин, указала его местному начальству на непорядок, поскольку «в руководстве для почтовых служащих говорится, что письма надо

брать в левую руку и раскладывать их правой». Своему непосредственному начальнику Эду Скотту Грин пояснил, что он уже сорок четыре года левша, и если станет работать правой рукой, то его производительность упадет Скотт заявил, что он обязан соблюдать правила.

Грин подчинился, и скорость его работы снизилась наполовину. Этим делом заинтересовался Американский профсоюз почтовых работников. По его оценке, правительству понадобилось бы три месяца, чтобы рассортировать правых и виноватых в этой истории.

С выходом нового издания «Дневника» Сэмюэла Пеписа выпустившая книгу в свет английская фирма получила от правительственного учреждения запрос на сведения об авторе: получает ли он государственную пенсию и представил ли декларацию о своих текущих доходах. Пепис умер в 1703 году.

Установленные правительством Канады правила пользования воздушным транспортом запрещают пассажирам «входить в самолет во время полета».

Министерство сельского хозяйства выделило 113 417 долларов на специальное исследование и установило, что матери отдают предпочтение той детской одежде, которая не требует глажки.

Бизнес как бизнес

Принцип Питера для деловых людей: если вы действуете в нарушение правил, вас штрафуют; если вы действуете по правилам, вас облагают налогом.

Руководители корпораций, даже когда под их председательством царят смута и хаос, считают себя компетентными, динамичными лидерами, умеющими эффективно управляться со штатом своих подчиненных. Высокая репутация, какой руководители компаний пользуются в глазах граждан, здравомыслящих по всем прочим меркам, свидетельствует о том, что этим деловым людям в значительной мере удается внедрить мифические представления о себе в сознание широкой публики.

Следующие ниже примеры приводятся ни в похвалу, ни в осуждение упоминаемых в них высокопоставленных представителей бизнеса. Это просто рассказы об отдельных бюрократических организациях и о тех, кто ими управляет. Это отнюдь не саги о Великой Американской Мечте и не страницы с изложением Великого Мифа об Американских Неудачах, а всего лишь попытка представить объективные наблюдения, достоверно описать и разумно оценить их.

Еще о шелушении иерархии

Военный самолет модели С-5А первоначально был задуман Пентагоном как чудовищных размеров летательный аппарат для транспортировки грузов. С неизбежностью последовало создание соответствующего комитета или проектной группы. Корпорация «Локхид эркрафт» подрядилась выпускать эти самолеты по цене 28,5 миллиона долларов за штуку После этого проектная группа установила великое множество контактов с различными отсеками военного комплекса Группа свела воедино все требуемые показатели и включила в проект С-5А все представленные ей пожелания. Изначально задуманное чудовище выросло в неуклюжего гиганта, обросшего дополнительным оборудованием, необходимым для удовлетворения запросов всех заказчиков. Возросший вес потребовал увеличить взлетно-посадочные возможности, так что усложнившиеся технические спецификации взвинтили стоимость производства. Перерасход на каждую машину составил 29 миллионов долларов: предусмотренная контрактом цена удвоилась.

Эрнест Фицджеральд, сотрудник контрольно-ревизионной службы военно-воздушных сил, заметил, что расходы далеко вышли за пределы исходной сметы. Он стал задавать вопросы. Это не вызвало восторга ни у «Локхид», ни у Пентагона. Фицджеральда сначала перевели на другое место, потом пресекли все его служебные контакты и, наконец, уволили. Ирония в том, что причину увольнения командование военно-воздушных сил объяснило «соображениями экономии».

В своей роли ревизора Эрнест Фицджеральд обязан был проверять, как расходуются государственные средства. Он слишком хорошо выполнял свой служебный долг и поэтому превратился в сверхкомпетентного работника. И его отшелушили.

Принцип Компетентности по Питеру: Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки.

Не все индивидуумы пригодны для выдвижения на более высокие должности. Некоторых не продвигают потому, что их считают незаменимыми на том месте, где они находятся. Они, таким образом, достигли своего уровня незаменимости. Когда уровень некомпетентности некоего лица совпадает с уровнем незаменимости, мы имеем дело со странной аномалией — незаменимым некомпетентным работником. Если руководитель компании поднялся до уровня своей управленческой некомпетентности, но пользуется доброй славой у публики и только что удостоился диплома, удостоверяющего его гражданскую добропорядочность, то эта компания располагает незаменимым некомпетентным администратором. Если его устранить — не избежать большой беды. Если его сохранить — не избежать большой беды.

Отсюда разумно заключить, что угроза потерять миллионы не может служить помехой для сохранения за управляющим его поста, тогда как за попытки спасти эти миллионы вас могут уволить.

Принцип Оценки по Питеру: Как сверхнекомпетентность, так и сверхкомпетент-

ность могут представлять угрозу для интересов учреждения.

Другое возможное наблюдение состоит в том, что сохранение за управляющим его поста никоим образом не связано с его профессиональной компетентностью. Дело даже обстоит так, что менеджеры, наиболее прочно засевшие на своих должностях, отличаются патологической неспособностью компетентно выполнять служебные обязанности.

Принцип Ожидаемого по Питеру: Происходит не просто нечто более странное, чем мы предполагали; странность происходящего превышает и то, чего мы не смели предположить

Бизнес — занятие столь многогранное, что сферы проявления некомпетентности в нем кажутся поистине не имеющими границ Поэтому в приводимых ниже примерах затрагивается как бы лишь поверхность явлений. Но, с другой стороны, нам и не остается ничего иного, как скользить по поверхности, потому что, если мы нырнем глубже, то уже больше не выплывем.

«Дженерал моторс» оборудовала выпускаемые ею автомобили ударопоглощающими бамперами что обеспечивает полную безопасность на случай аварии.. при скорости, не превышающей 2,8 мили в час.

Персонал охранной службы авиакомпании «Пан-Американ» с беспокойством отметил исчезновение множества сувенирных бутылочек со спиртными напитками. Чтобы засечь, в какие моменты совершаются кражи, в шкафу, где хранилось спиртное, установили часовой механизм. Во время полета стюардесса услышала тиканье и решила, что на борту бомба. Командир изменил курс и посадил самолет в Берлине, где была произведена высадка пассажиров через запасные выходы. Незапланированная посадка самолета обошлась в 15 тысяч долларов. Сувенирная бутылочка стоит 35 центов.

Фирма «Симмонс энд компани», занятая производством матрацев для кроватей, развернула в 1963 г в Японии широкую кампанию по продаже своих изделий. Японцы спят на «футонах» — тюфяках, которые они стелют на полу.

Инженерный колледж, входящий в состав Гавайского университета, истратил почти 9 миллионов долларов на строительство нового здания и новое оборудование Когда этот объект под названием Холмс-Холл был сооружен, оказалось, что новое оборудование стоимостью в 200 тысяч долларов обречено на бездействие поскольку к зданию не проложили кабели, которые позволили бы подвести достаточное количество электроэнергии

Новый помощник управляющего одной гостиницы в Йоханнесбурге, в Южной Африке, не переставал удивляться. то всякий раз, когда он нажимал кнопку первого этажа, лифт доставлял его на второй. Исследование загадочного явления привело к тому, что была обнаружена запертая дверь, а за нею четырнадцать комнат первого этажа, о которых никто не вспомнил в течение двадцати лет. Некоторые из старых служащих признались. что у них не ушли еще из памяти времена, когда в отеле имелся первый этаж

Согласно сообщению журнала «Нэшнл андеррайтер», компьютер некоей компании по страхованию автомобилей выслал проживающему в Сент-Луисе клиенту счет на сумму 0,00 долларов. Когда же компьютер направил ему «последнее уведомление» с угрозой расторгнуть договор, этот человек обратился за помощью к своему финансовому агенту Тот пришел к выводу, что лучший способ уладить дело — отправить компьютеру чек на 0.00 долларов. Это было сделано и в ответ пришло подтверждение с благодарностью и заверением, что договор останется в силе

В Лос-Анджелесе телефонная компания готовила к выпуску фильм в назидание своим служащим В его сценарий была включена драматическая сцена, показывающая, как с юмором улаживать жалобы клиентов

Клиент: На эту вашу чертову телефонную компанию ни в чем нельзя положиться. Разве не так?

Служащий компании: Вы получаете наш счет ежемесячно, без перебоев. разве не так?

Сцена была вырезана из фильма.

Иная игрушка из разряда «космических». вроде «Боевой галактики», сделана так, что если ребенок поднесет ее ко рту и «стреляющая звезда» выпустит свой заряд, то силы его хватит, чтобы насквозь пройти через пищевод и кишечник. Обращаться с игрушкой подобным образом, очевидно, не следует, да она и не предназначалась для детей трехлетнего или еще меньшего возраста Так что после нескольких несчастных случаев фирма-изготовитель решила проблему, поместив в упаковочную коробку ярлык с предупреждением, что совать игрушку в рот не следует.

Арчи Р. Маккардел в течение двух с половиной лет возглавлял правление с трудом перебивавшейся компании «Интернэшнл харвестер». В этот период ему ежегодно выплачивалось жалованье в размере 1,4 миллиона долларов, тогда как убытки компании составили 397 миллионов в 1980-м и 393 миллиона в 1981 г.

«Дженерал моторс» добилась соглашения с профсоюзом рабочих-автомобилестроителей о сокращении заработной платы, а несколько дней спустя ее правление проголосовало за то, чтобы были восстановлены премии шести тысячам высших служащих компании.

(Окончание следует)

ЭРИХ КОШ

О САТИРЕ И САТИРИКАХ

Вступление и перевод с сербскохорватского
Н. ЯКОВЛЕВОЙ

Сатира в социалистическом обществе... Увлекательная тема, но обращаются к ней не так уж часто. Тем интереснее, когда ее все-таки поднимают. «Нужно ли и можно ли у нас писать сатирическую прозу?.. Есть ли у нас что высмеивать, захочет ли народная власть терпеть критику и насмешку?» — именно такими вопросами задается один из крупнейших писателей Югославии Эрих Кош в недавней книге статей «Сатира и сатирики». Ему есть чем поделиться с читателями: он сам давно и плодотворно работает в беспокойном жанре сатиры.

Широкую известность получило первое же сатирическое произведение Коша «Удивительная повесть оките огромном, называемом также Великий Мак» (1958), переведенное в Советском Союзе, Англии, США и других странах... Позже «Воробьи Ван Пе» (1962), «Снег и лед» (1961, рус. перев. 1978), «Досье Храбака» (1972) прочно связали его имя с сатирой. И не только эти книги — авторская насмешка, сарказм явственно ощущаются и в психологическом романе «Сети» (1967, рус. перев. 1974), и в историческом романе «В поисках мессии» (1978), и в некоторых рассказах, но прежде всего в публицистике. В статьях и памфлетах, вошедших в сборник «Сатира и сатирики», талант Коша-сатирика проявился не менее ярко, чем в его художественной прозе. И не меньше, чем прозе, этим статьям присущи актуальность, острое гражданское звучание.

В одном интервью Эрих Кош сказал: «Мой приход к сатире был закономерным следствием общественной и творческой позиции. Мне всегда претила бездеятельность и в особенности — бесплодное умствование. Сатира родилась из активного отношения к жизни, к той среде, частицей которой я являюсь. Из неприятия пассивности, из ненависти к безвольной покорности и непротивлению. Из презрения к бездеятельному благодушию, не имеющему ни принципов, ни убеждений»[1].

Критика действительности — необходимая и естественная функция литературы, убежден Кош, важна отправная точка критики. «Главное заключается в том, что за всякой критикой, за всяким отрицанием должно стоять утверждение, а об этом весьма часто забывают». Писатель свободен говорить о недостатках, увиденных в жизни,

[1] См. «ИЛ», 1976, № 9, с. 223.

ЭРИХ КОШ — (род. в. 1913 г.)

Югославский писатель — романист, новеллист, эссеист. Участник Народно-освободительной борьбы 1941—1945 гг. Автор многих романов, повестей, сборников рассказов. В русском переводе выходили романы и повести, рассказы печатались в серии «Мастера современной прозы» («Избранное», М., 1974), «Иностранная литература» публиковала рассказы разных лет (1966, № 7; 1973, № 6; 1979, № 2).

Публикуемые статьи взяты из книги Э. Коша «Сатира и сатирики» («Сатира и сатиричари». Београд, «Просвета», 1985)

но эта свобода налагает на него и большую ответственность, считает Кош. Не случайно в статье «Свобода и сатира» он так ядовито отзывается о тех югославских писателях, для кого критика — не более чем пустое фрондерство или способ самоутверждения. Кош отстаивает литературу, которая, остро откликаясь на негативные стороны действительности, помогает их изжить,— литературу реалистическую.

Немало неприемлемых для писателя явлений стало мишенью его сатирического обличения. В повести «Великий Мак» Кош язвительно изобразил нравы современных обывателей, нищих духом людей, заполняющих жизнь погоней за модной сенсацией: здесь это кит, непонятно как попавший в Адриатику и выставленный на обозрение белградцев. Но за явным преувеличением, гротеском проступают непридуманные жизненные реалии — несамостоятельность мысли и поступков современного обывателя. Фантастическая же картина занесенного снегом обледеневшего Белграда в повести «Снег и лед» — как бы сбывшееся опасение писателя, что эгоизм и равнодушие в отношениях людей способны вызвать новое наступление ледниковой эры.

Из человеческих пороков Кошу-сатирику более всего ненавистно именно равнодушие. Это равнодушие, из которого, по мнению писателя, вырастают многие недостатки современной жизни, для него наиболее откровенно и цинично воплотилось в распространившейся фразочке: «Почему бы и нет?» Так названа книга статей и памфлетов Коша, в которой он обрушился на безответственность, проникшую в различные сферы общественной жизни Югославии, предупредил об опасности, какую представляет для всего мира позиция стороннего наблюдателя; не случится ли, спрашивал он, что равнодушная рука однажды нажмет атомную кнопку — почему бы и нет?

Книга «Сатира и сатирики», включающая статьи разных лет,— своего рода итог размышлений Эриха Коша о литературе, прежде всего о сатире. Выводы Коша опираются и на глубоко изученное им творчество крупнейших сатириков прошлого и настоящего — Кош пишет о них как о соратниках по борьбе во имя исправления человеческих и социальных пороков. Да, утверждает Кош, для этой борьбы новому обществу сатира необходима, она — его оружие.

Свобода и сатира

С тех пор как в Белграде в витринах многих книжных магазинов появилась тонкая книжица с длинным названием «Удивительная повесть о ките, огромном, называемом также Великий Мак», а особенно после того, как наша литературная критика, с ее стремлением все раскладывать по полкам, определила, что упомянутую книжечку следует отнести к области художественной прозы, семейству рассказа, роду сатиры, виду — общественно-политической, с тех самых пор вот уже долгое время различные редакции, корреспонденты газет, всякого рода литературные «среды», «четверги» и прочие существующие дни недели постоянно требуют от меня — как от «квалифицированного специалиста» — высказываний, мнений, статей и штудий о сатире. И все это на основании одного-единственного тощего томика! Невольно приходит на ум, что у нас, похоже, не так уж трудно прослыть «квалифицированным специалистом».

Откуда же такой интерес к сатире? Кого она так занимает и по каким причинам?

Если бы этот интерес проистекал из уважения к литературному творчеству и желания глубже понять его, достаточно было бы (и без моего участия и помощи) заглянуть в любую энциклопедию и прочитать там, что сатира — «литературная форма, которая соединяет в себе критику, иронию и юмор и ставит целью высмеивать и обличать недостатки» Тем самым интерес был бы удовлетворен и не было бы нужды выяснять мое «мнение специалиста». Но поскольку вопросы ко мне не прекращаются, язвительная, может быть как раз сатирическая, сторона моего «я» начинает мне подсказывать, что вопрос, не дающий многим покоя, должен был бы звучать так: возможна ли у нас сатира? Или еще яснее: можно ли у нас критиковать народную власть и существующий порядок, и как я, занимаясь этим, сохранил до сих пор голову на плечах?

Допустим, вас спросили бы: можно ли у нас красть? Что вы ответили бы? Сказали бы коротко: нельзя? Или иначе: можно, если вы достаточно ловки, чтобы не попасться? Или сказали бы точнее и в соответствии с законами сатиры: можно красть, но можно и отправиться за решетку? Последнее по сути ближе всего к вопросу, который задают мне, но прежде чем высказать свое мнение, мне хотелось бы попытаться разъяснить некоторые другие, попутные вопросы и снять возможные недоразумения.

Прежде всего, многие считают, что у нас после Домановича[1] и Нушича[2] сатиры нет, в частности, нет ее в послевоенные годы, и это суждение, как всякое категорическое суждение, неверно. Насмешливый, озорной наш дух, проявляющийся в щедрых шутках по любому поводу и в любой адрес, не мог не проникнуть в литературу и не отразиться в ней. А мой литературный опыт и профессиональный интерес к литературе говорят: в литературе важно не только то, что в нее внесено жизнью, еще важнее то, чего от нее ждут, что́ в ней ищут. Внимательный читатель, знающий нашу литературу послевоенных лет,

[1] Радое Домановић (1873—1908) — сербский сатирик, романист. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Бранислав Нушић (1864—1938) — сербский сатирик, драматург и прозаик.

без труда обнаружит явные сатирические ноты в рассказах и романах Бранко Чопича, в пьесах Скендера Куленовича, в прозе Васы Поповича — назову лишь трех писателей-современников, представителей сербской литературы, известной мне лучше других литератур Югославии.

Но особенно заблуждаются некоторые наши чрезмерно нетерпеливые критики, считая, что сатира — такой род творчества, без которого невозможно ни на мгновенье представить себе ни одну литературу. Эти критики, похоже, хотели бы, чтобы все литературные формы, как педали у водителя автомобиля, были у них под ногами, а им оставалось лишь нажимать то на одну, то на другую. Еще недавно им требовался роман, а сейчас... они кричат нам: хватит! Потом им захотелось поэзии чувств — теперь поэзия, по их мнению, утонула в чувствах, чувства захлестывают ее. Сегодня они тоскуют о драме — и вот, как по команде, на моем столе оказался десяток пьес, которые мне предстоит прочесть по поручению и за счет одного издательства. Может показаться, что привычка к «административному» управлению литературой не исчезла, а только видоизменилась; как и в новых хозяйственных планах, ныне в литературе определено не просто кто и что производит, но устанавливаются виды и количество продукции.

Между тем, как проповедовал Екклезиаст, каждому делу под небом — свое время. Время скорбеть и время смеяться, время рыдать и время плясать. Трудно представить какой-либо период без поэзии, этого общего знаменателя литературы. Иначе обстоит дело с другими литературными жанрами. Годы войны и первые послевоенные годы породили свои темы и настроения, вчерашний и сегодняшний день сделают свое. Сатира будет, возможно, даже в избытке. В таких делах спешка и давление приносят больше вреда, чем пользы.

Я также не разделяю мнения, что сатира всегда и обязательно имеет политический характер и в качестве таковой является условием и доказательством свободы и свободного развития литературы. Если бы критика политических и общественных институтов была главной и единственной целью сатиры, ее действенность оказалась бы слишком ограниченной. Политические обстоятельства со временем меняются, и художественный эффект, польза и актуальность сатиры в таком случае были бы обратно пропорциональны ее общественным и политическим целям. Для нас представляла бы ценность только та сатира, которая не достигла цели, тогда как другая, «успешная», была бы неинтересна и литературно мертва. Если бы Гоголь в «Мертвых душах» ограничился осмеянием института крепостного права, его произведение для нас, вероятно, осталось бы интересным социологическим исследованием, но скучной литературой. В «Тартюфе» Мольера вряд ли найдешь прямые политические инвективы, зато лицемерие, связанное с именем Тартюфа, и по сию пору остается благодарной темой для сатириков. Вообще поле человеческой глупости слишком широко, чтобы ограничивать его только областью политики.

И поэтому, когда речь заходит о свободе и сатире, хочется воскликнуть, перефразируя известное выражение: каких только глупостей не делается во имя твое, свобода! Мы возвращаемся на сорок или пятьдесят лет назад, к дадаизму, сюрреализму, футуризму, только бы доказать, что у нас можно писать и так. Мы, с ощущением тайного греха, демонстрируем иностранцам нашу запоздалую и вышедшую из моды «авангардистскую» живопись — в подтверждение свободы в изобразительном искусстве. В этом мы несколько напоминаем придурковатого боснийца из анекдота, который после первой мировой войны и освобождения поджег собственный дом, чтобы показать, что пришла свобода и можно делать что угодно. Не убежден, что нам следует для доказательства того, что мы не такие «стопроцентно правоверные» социалисты, как нас иногда изображают, во что бы то ни стало высмеивать наши социалистические институты. Честно говоря, слово «свобода» в устах тех, кто к ней постоянно апеллирует, на мой слух, звучит фальшиво, как бы с лишними «о». Между тем, что касается сатиры, думаю, с ее помощью можно достичь свободы, но она мало подходит в качестве доказательства свободы. Более того, мне представляется, что сатира существует в условиях относительной несвободы, а при полной свободе, если, конечно, таковая достижима, сатира скорее всего исчезнет как литературная форма. Когда свободно, не опасаясь неприятной реакции, можно критиковать недостатки, пропадает желание иронизировать и смеяться. Сатира — оружие борцов, а не победителей. У последних в распоряжении есть более скорые и эффективные средства.

А теперь вернемся к основному и исходному вопросу: нужно ли и можно ли у нас писать сатирическую прозу? Другими словами, есть ли у нас что высмеивать, захочет ли и сможет ли народная власть терпеть критику и насмешку?

Вопрос, согласимся, не только теоретический. Обличение четников, немецких и итальянских оккупантов и других персонажей военного времени, так же как и «разложившихся остатков старой буржуазии» (темы, которыми наши юмористы, сатирики, карикатуристы охотно занимались в первые послевоенные годы), сегодня было бы довольно скучным, бесплодным и бесцельным занятием, ибо сегодня этого объекта сатиры более нет. Не зря было сказано, что сатира неуместна на надгробном памятнике.

С другой стороны, дом, нами возведенный, теперь уже не так нов, чтобы на его фасаде не было если не трещин и царапин, то хотя бы пятен; в этом доме мы уже давно хозяйничаем и поэтому на собрании домового комитета или жильцов дома можем сами себя критиковать и за то, что плохо построили, и за то, что испортили собственной нерадивостью, не пытаясь найти оправдание в «долгом турецком иге», наследии «старой, гнилой королевской Югославии» военной разрухе или ошибках новой власти государства и государственного аппарата. Прошло уже немало времени, как мы живем в этом доме,

без чужих, которых могли бы стыдиться как свидетелей; мы достаточно сильны, чтобы пошутить и посмеяться на собственный счет, не боясь этим скомпрометировать свой дом...

Прожитые нами годы изменили окружающие условия, и соответственно должны были измениться объект и цель сатиры. Мы стали гораздо ответственнее, во всяком случае, нам следует брать на себя ответственность за все происходящее, не перекладывая ее лицемерно на власть или на общество и общественный порядок. Эти новые обстоятельства не всегда и не сразу поняли писатели, а также и читатели, и не́ подготовленные,. и не способные шутить и терпеть шутки в свой адрес. Отсюда и ряд недоразумений.

Верно, что у наших известных писателей еще в недавнем прошлом случались неприятности из-за их сатирических произведений. Но во-первых, кто из занимающихся литературным творчеством обошелся без неприятностей? Не случайно один наш большой писатель сказал, что литературу следовало бы отнести к таким занятиям, которые, подобно работе в шахте или в атомной лаборатории, опасны для здоровья и жизни. В нашей среде не найдешь, пожалуй, прозаика, избежавшего неприятных столкновений с лицами, которые узнавали себя или которых узнавали в его рассказах и романах. Только поэты оказались в безопасности, их поэтические объекты — луна, звезды, ветер, листва, неживые и бестелесные,— не вызывали ассоциаций, не говоря уж о том, что в современной вывихнутой, абстрактной, герметичной поэзии вообще трудно угадать жизненные реалии; в связи с этим вспоминаются слова Томаса Гарди, сказавшего, что Галилео Галилей избежал бы гонений папской инквизиции, изложи он свое учение о вращении Земли в стихах.

Наши первые послевоенные сатирики оказались, отчасти по своей вине, в положении несчастного героя рассказа Андрича, кмета Симана, который «кукарекнул» слишком рано, до того, как рассвело. Они явились со своей критикой и насмешкой в слишком серьезное, еще пахнувшее порохом время, в момент, когда едва затянувшиеся раны еще кровоточили... Кроме того, все мы, только что вышедшие из войны героями и победителями, с печатью значительности и собственного достоинства на лице не были ни готовы, ни способны посмеяться. Критика ударила по ним довольно грубо, но можно ли за это кого-нибудь укорять и винить? Тем более что ни удар, ни последствия не были трагичны.

В конце концов, как нельзя выйти под дождь и не замочить ноги, так и, вступая в борьбу против отсталости, дурных, уродливых нравов, если назвать только некоторые из наших общественных и человеческих недостатков, нельзя запастись гарантией страхового общества, что это столкновение обойдется хотя бы без синяков. Да и моральная сторона таких надежд не очень почтенна; мы хотели бы быть борцами — чтобы не сказать — героями, со всеми почестями, которые нам может предложить современность, но при этом сохранить все удобства положения и ничем не рисковать. Такие «леди Вудби» нашей сатиры очень напоминают мне тех наших растрепанных молодых поэтов, которые хотят быть и poètes maudits, про́клятыми поэтами, презирающими общество, и в то же время пользоваться официальным признанием, получать награды и прочие знаки внимания от общества, без стеснения оплевываемого ими (кстати сказать, Бодлер, этот их заклятый и про́клятый образец, пасынок французского генерала, отрекаясь от своего общества, отрекся и от всех своих привилегий).

Из этого недоразумения вытекает и другое, более серьезное. Признавая высокое общественное значение литературы, иногда даже ставя ее над обществом, мы зачастую присваиваем себе слишком много прав и берем на себя слишком мало обязанностей, отводя себе особое, так сказать «неприкосновенное», положение. Мы считаем, что можем говорить все и во все вмешиваться, а ведь ясно, что в обычной повседневной жизни не допустили бы этого. Как бы мы поступили, если бы, скажем, к нам на улице неожиданно подошел совсем незнакомый человек и сказал: «Господин, мне не нравится ваш костюм». Наверное, ответили бы: «Вас мой костюм не касается», если бы только тут же, без промедления не послали его к черту. Но мы — те же самые — в качестве литераторов считаем себя вправе вмешиваться во все, задевать, критиковать, обличать всех и всякого, это последнее право предоставив именно сатире.

Читаю об этом в одной книге: «Надо четко различать инвективы, или обычные обвинения, и сатиру. Различие — в духовном потенциале, который есть главное свойство сатиры... Смеяться над чем-то — значит ощущать свое превосходство над ним. Сатирик поэтому нападает на свою жертву, не давая почувствовать, что опасается ее». Это литературная теория, если не литературное правило, а я попробую проиллюстрировать положение и задачи сатиры и сатирика психологическим примером из повседневной жизни. Допустим, вы войдете в наш переполненный белградский троллейбус и тут кто-то из попутчиков, что совсем нетрудно представить, наступит вам на ногу. Как в этом случае поступить? Вы можете бурно прореагировать, толкнуть, даже ударить невнимательного пассажира. Но тогда, насколько я знаю наши жесткие нравы, получите ответный удар, и все закончится неприятностями, разбитым носом и, вероятно, милицией. Можно прореагировать не так остро и всего лишь обругать человека, что, впрочем, вызовет подобный же ответ и, как бывает в таких случаях, общую ссору в троллейбусе, а это также не доставляет удовольствия. Ни одно, ни другое не подобает сатире. В ее духе будет такой ответ человеку, стоящему на вашей ноге: «Слушай, приятель, полегче! Моя нога не государственное имущество!» Или даже еще мягче: «Господин, вы слишком тяжелы. Очевидно, вы не пользуетесь услугами предприятий общественного питания». Люди в троллейбусе посмеялись бы, человек, скорее всего извинился бы, а вы испытали бы тщеслав

ное чувство всесильного сатирика, что, возможно, уменьшило бы боль в отдавленной ноге. Однако, прежде чем вы извлечете урок из приведенного примера, хочу напомнить: можно остро критиковать, резко нападать, но если вы намерены писать сатиру, то, как и во всякой игре, следует уважать известные правила — высмеивать, но не оскорблять.

И поскольку мы обратились к психологии, добавлю еще кое-что: осмеянному далеко не безразлично, кто его высмеивает и во имя чего. Этого правила игры тоже нельзя забывать. Не хочу сказать, что легче, когда над нами смеются друзья. Напротив, это как раз тяжелее всего, и часто мы ставим под сомнение искренность и истинность такой дружбы, но время и смех окружающих людей помогают понять, что лучше всего, чтобы не стать еще смешнее, присоединиться к общему смеху и не поддаваться тому, что нашептывают дурные советчики — стыд и уязвленное самолюбие. Все мы готовы объявить критику несправедливой, даже злонамеренной, но это всегда труднее сделать, когда, по общему мнению, критика доброжелательна и конструктивна. А если речь идет об общественно-политической критике, здесь критерии менее субъективны, не так уж сложно различить, например, где критика общественных основ власти, а где высмеивание слабостей ее недостойных представителей.

А таких набирается немало. Это (называю в соответствии с собственным вкусом, наугад, не утверждая, что перечислил всех) — наши бюрократы, карьеристы, ограниченные невежды, трусы, деятели, склонные к семейственности и кумовству, люди старого режима, успешно приспособившиеся и процветающие в новых условиях, истеричные интеллигенты, для которых собственный пуп — центр мира, наши недоучившиеся снобы, готовые на все, лишь бы проникнуть в среду писателей и художников. И так далее... Ко всему сказанному о нашем предмете я, слегка изменив известное изречение Ювенала, добавлю: если у нас, может быть, и нетрудно не писать сатиру, то нетрудно и писать ее.

Но как же все-таки с сатириками? — спрашивают меня снова. Об этом я уже говорил и не хотел бы возноситься, похваляясь, что до сих пор избежал крупных неприятностей с сатирой. Не стоит задирать хвост, если не хочешь, чтобы по нему ударили,— гласит китайская пословица. И потому мой ответ тем, кто навострил уши в ожидании: попробуйте сами! пожалуйста!

Неприятности с сатирой

Писатель, который пожелает увидеть себя автором сатирического произведения, или, точнее, писатель, которому в силу неких причин покажется, что он обладает способностями к такого рода литературе и испытывает «неодолимую потребность» заниматься ею должен быть готов не только к риску и опасностям, сопровождающим это занятие но и понимать неудобные особенности сатиры, способные стать источником дополнительных неприятностей и недоразумений.

Прежде всего, сатира сама по себе не является «приятным отдохновением» — ни для тех, кто ее создает, ни для тех, кто, как предполагается, ее читает. Это не та литература, которая может, как поэзия, увлечь и воодушевить или, как роман, занять, а иногда — усыпить. Бернард Шоу в предисловии к «Неприятным пьесам», имеющим сатирический оттенок, подчеркивал, что они, в отличие от «Приятных пьес», показывают не романтичные глупости общества, а общественные преступления и что он старался использовать их драматическую силу, чтобы заставить людей посмотреть в лицо неприятным фактам. Такие же «раздражающие» цели ставит перед собой всякая настоящая сатира, обвиняя и осуждая не только своих бесславных героев и породившее их общество, но и собственных читателей. А хорошо известно, что никто не любит, когда его критикуют и укоряют особенно если делают это публично, в письменной форме, да еще с помощью книги, которую, как зеркало, поднесли под нос.

Действительно, в отличие от других видов художественной литературы, сатира всегда скорее огорчает, причиняет боль, чем услаждает и развлекает. Сам Щедрин, имевший большой опыт в этой области, не боялся признавать, что его намерением было вызвать у читателей чувство горечи, а не радости. И если предназначение юмора — рассмешить, то предназначение сатиры — высмеять. Хотя сатира и выставляет на осмеяние пороки и заблуждения своих жертв, она не смешит читателей, напротив, ее горькая ирония чаще вызывает холодок под сердцем. Как всякая настоящая литература, сатира должна быть плодом острого ума, но она не может наслаждаться собственным остроумием — это часто упускает из виду наша критика. Случается, прокурор высмеивает обвиняемого, чтобы до конца разоблачить его, но ни он, ни судья при этом не смеются: обвинительное заключение, вызывающее смех, сработало бы против себя. Сатира, безжалостная, колючая и резкая, трудно переваривается и самыми грубыми желудками, и хотя некоторые читатели относятся к ней с уважением, а некоторые побаиваются ее, мало кто ее по-настоящему любит. Это первое, что писателю-сатирику нужно иметь в виду.

Ядовитая, разрушительная природа сатиры, как бы скрывающей свое лицо под устрашающей маской, подобно колдунам первобытных племен, выступает еще отчетливее оттого, что смеемся мы над обычными людьми, повседневными явлениями, над мелочами, в конце концов, но высмеивать можем только важных людей, исключительные, нерядовые явления. иначе сами будем выглядеть мелкими, мелочными и смешными. Будучи, следовательно, принципиальной и моралистической, сатира не нападает на отдельные личности, разве что в исключительных случаях, когда эти личности олицетворяют общественное зло, когда они сильны и могущественны, когда следует их опасаться и сторониться. Сатира занимается не характерами, которые

всегда индивидуальны, но типами, которые, как правило, общи; она не анализирует, не углубляется в предмет, но сгущает и обобщает; она не исследует предмет, как другие жанры литературы, чтобы создать объективную картину и вызвать впечатление о нем, и не оставляет читателям свободы самим прийти к своему мнению. Поступая наоборот, исходя из своих уже сложившихся представлений, сатира ищет самые очевидные и впечатляющие примеры, с помощью которых можно убедительно показать и доказать читателям точность своих наблюдений и обоснованность обвинений... Задача сатиры — обвинение, и, как всякий обвинитель, она делает это неравнодушно, заинтересованно, страстно, преувеличивая, когда это нужно для большей очевидности и убедительности, выставляя отрицательные явления во всей их бессмысленности, абсурдности — так карикатурист подчеркивает неправильности на лице человека, чтобы помочь другим увидеть их.

Наша критика, во всяком случае часть ее, время от времени упрекает сатиру в том, что характеры в ней даны не столь убедительно, выпукло, ярко, как это было в старых, добрых, реалистических романах. Но, увы. в какой современной книге вообще характеры обладают такой силой и достоверностью, как, скажем, в романах Диккенса? И причина этого несомненно грустного явления — не только малый талант или недостаточное мастерство современных литературных тружеников, но скорее, как мне представляется, иные цели современных писателей и иные требования нашего времени, которое больше волнуют вопросы существования человечества, чем индивидуума, и судьба человека как общественного существа.

Впрочем, невозможно в одной книге выразить все, причем с одинаковой силой и остротой,— тогда главное оказалось бы приравнено к второстепенному. Особенно это важно для сатиры — она всегда должна четко представлять себе цель и, выражаясь военным языком, направление главного удара — а это как раз чаще всего критика общественных нравов, а не комедия характеров. Диккенс, выписывая характеры людей, мягко укоряя их, а не критикуя, проявляя понимание ко всем и стараясь во всем найти гуманистический смысл, остался добродушным юмористом и почти никогда, на свое счастье, не брался за сатиру. Свифт, как и другие сатирики — от Вольтера до Кафки,— пренебрегая характерами, сводя все единичное к общему знаменателю, оставляя в стороне все личное и особенное и принимая в расчет только общее выделяющееся, наиболее характерное, изображал ситуации и нравы в общих, наиболее характерных чертах, в карикатурной манере. Флобер, объективно проследив в «Госпоже Бовари» судьбу легкомысленной и неумной женщины, реалистически нарисовал характеры; в «Буваре и Пекюше», одном из самых беспощадных сатирических произведений, им написанных, подчиняя художественную манеру законам сатиры, дал синтезированные, обобщенные, карикатурно упрощенные ситуации и типы — обвинение и суд одновременно. Ибо, как уже говорилось, сатира занимается не частностями и индивидуальными случаями, которые, может быть, труднее изобразить, но общими явлениями, которые труднее раскрыть и с которыми наверняка труднее бороться.

Не всегда понимая эту особенность сатиры, критика делает писателям необоснованные замечания. Что касается общественной критики, она с нелитературных позиций и в еще более неприятной форме высказывает неудовольствие именно тем, что эти обобщенные, карикатурные типы задевают гораздо более широкий круг людей, чем индивидуализированные образы классической реалистической литературы, что сатира наносит удар по целым общественным кругам, касается иногда и основ общества. Как говорится, камнем о горшок или горшком о камень — плохо горшку!

Но это не последняя неприятность, подстерегающая писателя-сатирика. Есть еще по крайней мере две особенности сатиры, которые могут стать источником недоразумений: аллегорическая манера выражения и гиперболизация в изображении ситуации.

Аллегория в сатире, используемая с незапамятных времен, ведущая происхождение, вероятно, от басни, а может быть, рожденная потребностью спрятать сатирическое жало, чаще всего воспринимается, как и любой прием, безоговорочно, без размышлений, независимо от того, оправданна и необходима ли она. Возможно, опосредованный, фигуральный способ выражения помогает легче проглотить сатиру, как облатка — горькое лекарство. А может быть, аллегория в сатире соответствует метафоре в поэзии и представляет собой особый, присущий сатире способ выражения и изображения, ведь сравнение, в конце концов,— почти единственное средство, которым мы пользуемся в литературе, стараясь что-то показать и объяснить. Может так быть? Но поскольку в этом мире за все приходится платить и ничто не преподносится даром, то и авторы сатирических произведений осуждены терять на том, на чем они приобретают: опасаясь прямой и открытой сатирой слишком уязвить тех, на кого направлен их удар, они окутывают острие туманом аллегории и, сами того не предполагая, задевают тех, о ком и не помышляли, и вызывают ненависть к себе людей, от которых меньше всего ожидали подобной реакции.

Гипербола, поэтическое преувеличение, имеющее целью подчеркнуть реальную картину и привлечь к ней внимание читателей, в других жанрах литературы выполняющая роль украшения, в сатире (в силу ее критического и воспитательного характера) является одним из основных способов художественного выражения. Если у нас возникла потребность показать и обличить некий порок, нужно выставить его к позорному столбу, на общее обозрение. Так мы делаем и в обычной, повседневной жизни. Когда, например, ругая белградский транспорт, что и не трудно и нисколько не опасно, мы говорим, что целый час ехали от площади Теразии до соседней Славии, то не ждем, что преувеличение будет воспринято буквально, этот «целый час»

представляет собой лишь художественное гиперболическое выражение нашего негодования. Когда Доманович в «Данге» хотел показать, каких размеров достигло раболепие и холуйство в Сербии в конце прошлого века, он посадил чиновников на спину граждан, а на лоб им поставил рабское клеймо, преувеличивая, разумеется. И при этом было не важно, заслуживали ли граждане, угодничавшие перед чиновниками, одного клейма или нескольких; с общественной, моральной точки зрения много важнее, чтобы всякое угодничество было по возможности искоренено, хотя бы ценой известного преувеличения.

К сожалению, педантичные защитники реальной действительности и подлинных ее мерок всегда есть и будут. Их не приходится искать, они являются сами.

Когда сатирик заставил весь Белград рваться на площадь, где был выставлен на обозрение мертвый кит, он целил этой аллегорией в мещанский конформизм, а гиперболой, преувеличивая размеры и кита, и поднятой вокруг него истерии, хотел указать на существование таких слабостей и пороков людей тем, кто их не видит. И если кому-то придет в голову мелочно заметить, что выставку на Ташмайдане не могло посетить столько народу, то можно сказать ему без всякой гиперболы, что он ничего не понимает в сатире и очень мало — в литературе.

Когда же сатирик, желая показать, как «холодная война» и человеческий эгоизм охладили атмосферу земного шара, погрузил Белград в ледниковую эпоху (с мамонтами, белыми медведями и волками), а некий литературный поденщик ехидно спросил его, что он этим хотел сказать и кого при этом имел в виду, тут налицо уже не только глупость, не только непонимание сатиры и ее законов, но случай, который еще Бен Джонсон прекрасно охарактеризовал в своем «Поэтастере»: «Общественный организм ранит и уязвляет не последовательная и бескомпромиссная мораль и гнев автора сатирического произведения, а злонамеренный, невежественный толкователь, который старается изобличить автора и сводит его стремления к собственному, личному недовольству».

И это еще одна из неприятностей, с которыми автор сатирического произведения вынужден время от времени сталкиваться. Быть может, самая большая и самая худшая, но будем надеяться, хотя бы последняя в списке неприятностей.

◆

Зарубежная литература в СССР

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Загляни за горизонт. Современная проза Эфиопии. Перевод с амхарского, английского. Составление М. И. Фишбейн. 542 с.

Кортасар Х. **Игра в классики.** Роман. Перевод с испанского. 574 с.

Кристи А. **Загадка Ситтафорда.** Романы, пьеса, рассказы. Перевод с английского. Составление, послесловие Г. А. Анджапаридзе. Л., 672 с.

Современная кубинская повесть. Перевод с испанского. Составление С. Шмидт. 446 с.

«РАДУГА»

Але-Ахмад Д. **Повести и рассказы.** Перевод с персидского. Составление Н. Кондыревой. 400 с.

Бупханувонувон С. **Сестры.** Роман. Перевод с лаосского. 239 с.

Из современной поэзии ГДР. Выпуск 2. Перевод с немецкого. Составление, предисловие Б. Хлебникова. 245 с.

Испытание на прочность. Повести писателей ФРГ. Перевод с немецкого. Составление Ю. Гинзбурга. 471 с.

Ияйи Ф. **Насилие. Сделка.** Романы. Перевод с английского. 384 с.

Клавель Б. **Свет озера.** Роман. Перевод с французского. 320 с.

Нгуен Мань Туан. **Нам жить вместе.** Роман. Перевод с вьетнамского. 344 с.

Паризе Г. **Букварь.** Сборник. Перевод с итальянского. Составление, предисловие Е. Сопрыкиной. 280 с.

Стратиев С. **Римская купальня. Замшевый пиджак. Автобус. Максималист.** Пьесы. Перевод с болгарского. 253 с.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Барстоу С. **Завтра поговорим.** Роман. **Зачинщики.** Новелла. **Рассказ о брате.** Роман. Перевод с английского. 384 с.

Сари Ж. **День рождения.** Роман. Перевод с греческого. 192 с.

Уэббер Г. **Гостиница «Большой бизон».** Роман. Перевод с английского. 319 с.

«ИСКУССТВО»

Превер Ж. **Дети райка.** Киносценарии. Перевод с французского. Составление Л. Г. Аграмаридзе. 337 с.

«НАУКА»

Поэты Китая и Вьетнама. В переводах Л. Эйдлина. 175 с.

Ю. ФРИДШТЕЙН

«ЕСЛИ МЫ НЕ ПЕРЕСТАНЕМ БЫТЬ ЖЕСТОКИМИ— У НАС НЕ БУДЕТ БУДУЩЕГО»

Заметки о творчестве Эдварда Бонда

Середина 80-х годов оказалась особенно насыщенной событиями в творческой жизни одного из ведущих английских драматургов, Эдварда Бонда: в конце 1984 года лондонский театр «Ройял корт» (некогда открывший для английского зрителя Бонда — равно как и его предшественников: Джона Осборна, Арнольда Уэскера, Джона Ардена и других «рассерженных» писателей, начинавших в 50-е) поставил две его ранние пьесы, «Спасенные» и «Бракосочетание папы», а несколько месяцев спустя, когда эти спектакли еще шли на сцене «Ройял корта», другой ведущий театр Лондона, Королевский Шекспировский, представил на суд публики последнюю на сегодняшний день работу Бонда — трилогию «Пьесы о войне» (1985). Подобное совпадение — и случайно, и вполне закономерно. В «Спасенных», первая постановка которых относится к 1965 году, драматург во весь голос заговорил о насилии, жестокости, увиденных им «на дне» современного капиталистического города. «Спасенные» оказались, пользуясь определением Бернарда Шоу, «неприятной пьесой». Бескомпромиссность позиции ее автора одних оттолкнула, других заставила прислушаться, у третьих вызвала неприятие и протест — но она никого не оставила равнодушным: голос молодого писателя звучал страстно, яростно, взывая к вниманию и пониманию. «Спасенные», несомненно, открыли новую страницу в драматургии и театре современной Англии — и появлявшиеся вслед за этой пьесой работы Бонда подтверждали, что его первый успех не был случаен, что в литературу Англии пришел писатель с собственным голосом, выношенным пониманием того, что происходит в мире. Со временем в творчестве Бонда появились новые темы, в поисках героев драматург забирался в разные эпохи — но стремление смотреть правде в глаза, свойственное ему с самого начала, не покидало его. И потому закономерно, что двадцатилетие своей насыщенной, мощной творческой деятельности писатель отметил постановкой «Пьес о войне», где речь идет уже не об антигуманности отдельных личностей, но о страшной опасности вселенской катастрофы, о чудовищных последствиях которой нас предупреждает автор.

Английские критики свидетельствуют: ни один человек не вышел из зала Королевского Шекспировского театра во время премьеры, длившейся пять с половиной часов (!): в настороженной напряженной тишине смотрели лондонцы этот непростой для восприятия спектакль, видимо, вполне осознав смысл бондовской пьесы, ее подлинно гуманистический пафос.

Творчеству Эдварда Бонда посвящено немало исследований — как на родине драматурга, так и за ее пределами, в том числе и в нашей стране. Со сценическим воплощением его драматургии советский зритель впервые встретился на спектакле таллинского Театра им. Кингисеппа «Бинго», в котором центральную роль — Шекспира — исполнил выдающийся эстонский актер Юри Ярвет. Он и постановщик спектакля Микк Микивер уловили самую суть бондов-

ФРИДШТЕЙН ЮРИЙ ГЕРМАНОВИЧ (род в 1948 г.)

Советский литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения. Автор многих статей по современному театру и драматургии Великобритании.

ской притчи: ее «историзм» нацелен на современность, ею продиктован, несет в себе ее дыхание. А совсем недавно, вслед за «театральным открытием» Бонда в нашей стране, состоялось его «литературное открытие»: альманах «Современная драматургия» (1985, № 1) опубликовал пьесу «Лето» (1982) — выбор для начала, как представляется, весьма удачный. Психологическая правда, достоверность происходящего не только не заслоняются здесь «абстрактными» рассуждениями, как это порой бывает у Бонда, но, напротив, обретают бóльшую силу и страстность.

Почти все свои пьесы Бонд сопровождает пространными предисловиями, комментариями, даже стихами — отдавая тем самым дань живой и действенной традиции, идущей в английском театре XX века от Бернарда Шоу. В них Бонд раскрывается как публицист: его высказывания во многом дополняют и уточняют ту систему взглядов, которую стремятся донести со сцены его герои. И создается впечатление, что Бонд-публицист подчас видит дальше, понимает глубже, нежели иные его герои; театральная стихия, страстность и азарт, которые так и бушуют в его пьесах, в этих своеобразных «постскриптумах» к ним оказываются «укрощенными», подчиненными четкой — хотя временами и весьма своеобразной — логике.

В центре пьесы «Бинго» [1] — проблемы, встающие перед художником в буржуазном мире. В предисловии к ней Бонд подчеркивает: «Противоречия в характере Шекспира — это противоречия современного общества». В отличие от своего молчащего, непротестующего героя Бонд верит в силу искусства, силу слова: «Искусство — это сочетание многих компонентов, но любое искусство воспитывает... Искусство влечет за собой очень реальные последствия...» И еще: «Воображение — отнюдь не плод случайной фантазии. Воображение художника так же апеллирует к миру чувств и мыслей зрителя, как и его знания...» Говоря об обществе, в котором живут он сам и его соотечественники, Бонд пишет: «Общество, как правило, основывается на несправедливости или личной выгоде — искусство же всегда является выражением духовного здоровья». И — как итог: «Нельзя добиться многого, просто решив быть счастливее, рассудочнее или мудрее... изменить свою жизнь можно, лишь изменив общество и ту роль, которую вы в нем вынуждены играть».

Именно к такому решению приходит герой пьесы «Ноша» (1978) Вэнг. А «ноша», по Бонду,— это сама жизнь, полная тревог, сомнений, разочарований, и все же прекрасная и неповторимая, если только человек сам не превратит эту «ношу» в непосильное и постылое б р е м я, которое станет влачить без радости, без удовлетворения. Пассивности многих героев предшествующих пьес Бонд противопоставляет в «Ноше» активность и целеустремленность Вэнга. Повидав и поняв в жизни всякое, познав ее жестокость Вэнг не разочаровался в человеке, он продолжает верить в добро, в возможность изменения мира. А кроме того — в д е й с т в и е, в активный и целеустремленный поиск, что также ни автору, ни его героям ранее присуще не было. Причем все это подано в пьесе не в плане отвлеченном, морально-этическом, но в плане социальном. Борьба с социальным злом — вот суть действий Вэнга, первого в творчестве Бонда героя, который перестает быть одиночкой, парией, изгоем и находит путь к сердцам окружающих его людей.

Предисловие к «Ноше», как никогда прежде, насыщено размышлениями об обществе, о художнике, человеке. Бонд пишет: «Обычно мы считаем, что люди склонны к разрушению вследствие неосознанных эмоциональных мотивов, которые побуждают их к «атавистическому» поведению. Я же убежден, что так происходит из-за общественных условий, в которых они находятся, и из-за усилий, прилагаемых для поддержания порядка в обществе абсурда». То есть не «человеческая природа», но общественное устройство является причиной распространения насилия и жестокости. Еще в предисловии к «Лиру» (1972) Бонд заявлял: «Для меня столь же естественно писать о жестокости, как для Джейн Остин было естественным писать о манерах. Жестокость определяет и формирует жизнь всего нашего общества; если мы не перестанем быть жестокими — у нас не будет будущего. Люди, которые не хотят, чтобы писатели говорили о жестокости, вероятно, хотели бы, чтобы те вообще перестали говорить о сегодняшнем дне. Не писать о жестокости было бы непорядочно».

А вот высказывание об искусстве: «Искусство — не наркотик и не сновидение. Искусство рассказывает о людях, которые осознанно или неосознанно мечтают о лучшем обществе и стремятся к нему... Социалистическое искусство объясняет мир, а не просто запечатлевает его. Антитеза ему — отчаяние и безнадежный скепсис театра абсурда, который все еще выдают за подлинное искусство в наших школах и университетах».

Бонд считает, что «театр может показать социальные связи между людьми более точно, нежели другие виды искусства. Театр полностью политичен... и всегда обнажает в искусстве его социальный аспект». Театр Бонд считает местом, где люди могут учиться жизни, брать уроки поэзии и будничной прозы, умения радоваться, прощать, сострадать, любить; он видит призвание театра не в том, чтобы создавать копии жизни, а в том, чтобы показывать ее квинтэссенцию, жизнь, схваченную в самые напряженные, самые жестокие — или же самые светлые — моменты. На сцене, как в фокусе, сходятся воедино все направляющие жизни, зрители получают возможность посмотреть со стороны на себя и судить себя вместе с авторами спектакля.

В предисловии к «Ноше» Бонд объясняет свое пристрастие к изображению событий ушедших веков, к возрождению героев отшелестевших эпох. Он развивает мысль о том, что, обращаясь к прошлому, писатель не «уходит от современности» — напротив, факты прошлого, уже завершенные,

[1] Об этой пьесе Бонда см. статью Ю. Фридштейна «Поиски и разочарования», «ИЛ», 1979, № 8. *(Прим. ред.)*

уже имеющие конечные результаты для настоящего, многое помогают понять в этом н а с т о я щ е м: «Драматург не должен обязательно иметь дело с настоящим. Прошлое тоже принадлежит обществу. И наше понимание этого прошлого меняется по мере развития нашего самосознания. Это не произвольное переписывание истории, но нравственное исследование ее».

«Прошлое тоже принадлежит обществу...» — эти слова Бонда как бы перекидывают мостик к уже упоминавшейся пьесе «Лето», которую драматург сам поставил на экспериментальной сцене лондонского Национального театра. Ибо и в этой пьесе речь пойдет о прошлом, все еще живом и памятном людям. Пойдет разговор, спор — подчас монотонный и бесстрастный, подчас переходящий в бурную дискуссию — о второй мировой войне. О ее нравственных, социальных, политических уроках.

В этой пьесе будут действовать пять персонажей: Марта и ее сын Дэвид, Ксения и ее дочь Энн, да еще один, которого Бонд назовет просто Немец.

Бонд в «Лете» одновременно извлечет максимум возможного из описанных там реальных событий и в то же время поднимется над ними, создав как бы некую «модель» — столь же общую, сколь и конкретно узнаваемую — западного мира, дня сегодняшнего и недавнего прошлого.

«Модель» — и поэтому нас не должно удивлять, что Бонд не укажет место действия, что он назовет героинь просто Ксенией и Мартой, не давая возможности проследить их родословную, определить их «корни». Они — граждане мира, несущие на себе все «бремя страстей человеческих», пережившие и познавшие то многое, что выпадает на долю каждого человека.

Наиболее показательной фигурой в этом плане окажется Марта. Она доживет свои последние дни на наших глазах, и ее расставание с жизнью будет удивительно умиротворенным: зная, что неизлечимо больна, что ей остались считанные дни, часы, минуты, она вспоминает прошлое, войну, оккупацию.

Марта была схвачена однажды на улице во время облавы и провела — неважно, сколько времени, все равно это была вечность — в бараке вместе с теми, кто должен был умереть. И они умерли — все, кроме Марты, которую спасла Ксения. Теперь Марте все чаще кажется, что она должна была умереть тогда, с остальными, разделить общую участь с теми женщинами, чьи лица и сейчас стоят у нее перед глазами, чьи истории, исповеди абсолютно свежи в памяти. Подчас Марте кажется, что она уже умирала однажды, что она знает, что такое смерть, и что это вовсе не так страшно. Отсюда, быть может, ее поразительное мужество, внутренняя раскованность и свобода. Она говорит, что прожила две жизни: одну — тогда, давно, д о, и другую, долгую,— п о с л е. Потому так спокойно, отстраненно, как бы уже наполовину о т т у д а, будет она разговаривать с Ксенией, выслушивать ее упреки, реагировать на ее — и н о е — восприятие прошлого. А автор даст нам понять, что доля истины есть в словах обеих женщин, что жизнь обеих была сложной и неоднозначной, что их маленькие, частные судьбы пересеклись с грандиозными историческими сдвигами и потрясениями. И вот тут-то войдет в пьесу второй пласт — Немец, олицетворяющий злые силы, развязавшие вторую мировую войну.

Бонд делает фигуру Немца подчеркнуто будничной, ординарной, но оттого еще более зловещей, ибо именно из таких тупоголовых болванов создавались фашистские орды, что несли смерть и уничтожение. Этот господин окажется волею автора рядом с Ксенией на маленьком островке неподалеку от побережья. Из их разговора мы поймем, что именно на этом островке — сегодня таком тихом, таком зеленом и безлюдном — вершились в годы войны казни, расстрелы, убийства мирных жителей. А в числе тех, кто совершал все это, был и безымянный персонаж пьесы. И Бонд заставит нас ощутить всю противоестественность того, что происходило здесь тогда, всю недопустимость повторения подобного в будущем.

И наконец, третий, условно говоря, пласт этой маленькой, но емкой пьесы связан с Дэвидом и Энн — современными молодыми людьми, чье прошлое не омрачено войной, а память не хранит рубцов от нанесенных обид. У них практически и вовсе нет прошлого — в том смысле, в каком оно есть у их матерей. В финале Дэвид и Энн расстаются, и их любовь, быть может, воплотится лишь в ребенке, который родится у Энн. Каково же будет их б у д у щ е е, будущее сегодняшних молодых, сумеют ли они извлечь уроки из трагического опыта старших, обретут ли душевный покой и тепло — вот лишь немногие из вопросов, что волнуют писателя Эдварда Бонда, вчера, сегодня, всегда. Л е т о жизни — пора цветения, пробуждения надежд, пора, когда легко и радостно дышится,— сохранит ли его человечество? Бонд не знает, но страстно хочет этого, вновь и вновь убеждая нас в единственно возможном завтрашнем дне — б е з в о й н ы.

Это — главный и наиболее существенный вывод, который о р г а н и ч н о вытекает из пьесы Бонда. В преамбуле к ней автор пишет: «Я хотел показать, как живут простые люди: женятся, воспитывают детей, едят, отдыхают — и умирают. И все же каждая жизнь не похожа на другую...» А чуть дальше: «Вот простой рассказ о войне и о том, что случилось после нее, рассказ о том, что все мы *живем в истории* (курсив мой.— *Ю. Ф.*) и не сможем вынести ее тягот, если не будем искать справедливости...»

За «Летом» последовал своеобразный брехтовский фарс «Дерек» (1983). Краткое на сей раз «Авторское примечание» Бонда, хотя и обращено на первый взгляд к тем, кто будет создавать спектакль, в действительности многое объясняет и читателю. Бонд решительно подчеркивает реальность происходящего в новой пьесе: «Режиссер и актеры должны в своей работе опираться на реальность — социальную реальность (! — *Ю. Ф*). — событий пьесы и ее персонажей». А относительно времени действия Бонд скажет коротко: «Описываемые события происходят в наши дни». И место угадать нетрудно — в пьесе много

чисто британских реалий: да, перед нами Англия начала 80-х годов нашего века. Если в «Лете» Бонд выступил страстным противником войны, катаклизмов и потрясений, носящих глобальный характер, то в «Дереке» он столь же страстно восстает против гнета духовного, против несвободы в мирное время.

Центральный герой пьесы Дерек — молодой талантливый англичанин, который не может найти работу и применение своему уму и способностям. Возникающая настойчивая ассоциация с осборновским Джимми Портером (из пьесы «Оглянись во гневе») не случайна: Дерек и Джимми — братья по ощущению собственной ненужности и потерянности. Джимми был способен на яростный словесный протест, его инвективы против общества носили характер неприкрытого неприятия норм буржуазного образа жизни, мещанской морали. Дерек лишен даже словесного дара, приучен к смирению с детства и готов к худшему. Он горестно осознает, что ему не на что надеяться, «никогда не сможет он влиять на что-либо, никогда ничего не создаст...». Некуда деться человеку, подобному Дереку никому не нужно и неинтересно то, что он талантлив и умен,— более того, это даже «социально опасно», как говорит ему один «умный человек»: ведь обществу нежелательны подсудимые, более рассудительные, чем их судьи, рабочие, которые знают свое дело лучше, нежели директор; школьники, соображающие быстрее, чем учителя...

Финал пьесы подлинно трагичен: Дерек соглашается на... «обмен мозгов», перечеркивая таким образом собственную жизнь, принося себя в жертву высокопоставленному, но бездарному и тупому представителю «верхов» Биффу. Отдав мозги Биффу, Дерек становится не просто другим, он становится н и к е м, теряет индивидуальность, собственное «я», то, что отличало его от других, что делало его им, единственным и неповторимым — как единствен и неповторим каждый человек.

В предисловии к «Бинго» читаем: «Когда благополучие и человеческое достоинство зависят от денег, все нравственные ценности подменяются денежными. Именно это произошло в коммерческом технологическом обществе...» Эта фраза могла бы стать эпиграфом к «Дереку».

Надежда и отчаяние, отрешенность и страстность, убежденность и неуверенность — вот полюса, между которыми происходит действие в «Пьесе о войне», движется авторская мысль, развиваются философские взгляды на историю. А действие это происходит... после ядерного взрыва. Персонажи пьесы предельно деперсонифицированы, лишены имен, национальных примет — они просто земляне, то немногое, что осталось от цивилизации. Автор пытается предсказать, что может — но не должно! — произойти При этом он затаивает свои эмоции: ему хочется предельно бесстрастно описать то, что он «провидит». Бонд выступает здесь скорее как ученый — не писатель: он создает некую схему, которую каждый волен наполнить собственным конкретным содержанием, собственной болью... Он пытается продемонстрировать нам будущее в его возможном неприкрытом уродстве с тем, чтобы мы — читатели, зрители, люди конца XX столетия — задумались о н а с т о я щ е м. Ибо, если мы этого не сделаем можем оказаться без б у д у щ е г о.

На страницах пьесы возникают жуткие леденящие душу картины конца мира: планета прощается с жизнью последний вздох с хрипом вырывается из уже мертвых ртов; двери комнат и стулья (одни пустые, иные — с сидящими на них больными) со свистом проносятся над огромными равнинами... Назидательность, надо признать, в известной мере свойственная едва ли не всем пьесам Бонда («Лето» в этом смысле — знаменательное исключение), обнаженность авторской позиции, ставящая подчас его драматургию на грань публицистики, здесь являются основой авторского замысла. Да, пьеса подчеркнуто декларативна, в ней нет ни одного персонажа, о котором мы могли бы сказать: образ характер, индивидуальность. Действующие лица (их можно назвать «фигурами», «голосами») полностью лишены личностных черт.

Бо́льшая часть этих «голосов» — «голоса добра», условно говоря, голоса человечности, гуманности веры и надежды. Пройдя через страшнейшие испытания, потрясения, персонажи Бонда — люди! — все же находят в себе силы сказать: «Мир устроен несправедливо! Но справедливость создается людьми *(! — Ю. Ф.)*... Нелегко быть справедливым в несправедливом мире». Однако рядом с ними звучат и «голоса зла», возвещающие царство бездуховности, механичности, современного варварства Они — продолжение и развитие линии Немца из пьесы «Лето»: воплощение психологии наемных убийц, для которых нет ничего святого, ничего, кроме вселенской ненависти и убеждения во вседозволенности; это люди, сделавшие войну, насилие, разрушение своей профессией, смыслом и единственным содержанием всей жизни. «Прицел ружья вместо глаз и спусковой курок вместо пальцев — вот что такое солдат»,— говорит один из них, являющий собой символ тиранической власти.

Заключительную часть трилогии Бонд назвал «Great Peace» — «Великое согласие» (характерно, что первоначально она называлась «People» — «Люди» или «Народ»). Мы попадаем на землю после катастрофы. Место действия во всех эпизодах определено драматургом кратко и предельно выразительно: «пустыня». Мы встречаем в этой пустыне каких-то безымянных странников — волей случая оставшихся в живых, неведомо куда и зачем бредущих, для чего живущих. Эти люди называют себя мертвыми — и в самом деле, их существование трудно назвать жизнью: время как будто остановилось, ничего не происходит — и так день за днем, год за годом... Правда, где-то за пределами пьесы люди пытаются восстановить жизнь, цивилизацию: строят какие-то города, в них даже есть электричество, есть еда — но сколько же времени понадобится человечеству, чтобы вернуть все, что уничтожено, попрано, сожжено. А главное — как вдохнуть в каждого отдельного человека надежду, что катастрофа не повторится снова? Сколько поколений долж-

но сменить друг друга, пока это произойдет? Да, жизнь можно попытаться возродить — но что это будет за жизнь?

Бонд, полностью избегающий в трилогии каких бы то ни было авторских ремарок, неожиданно очень подробно, даже скрупулезно воссоздает мельчайшие подробности быта в сцене, названной им «Комната в новом обществе». Люди обедают. Казалось бы все нормально, все, как и прежде. Но так ли это? Маленькая деталь: каждый сам приносит себе с кухни тарелку с едой, садится за стол и ест И постепенно мы понимаем значение происходящего. Кто же сидит за этим столом: семья родственники, друзья, коллеги по работе или же просто случайно собравшиеся люди? Едят они молча, ибо говорить не о чем. Бонд как бы показывает: произошедший кошмар не только физически уничтожил людей — он оставил неизгладимый след в душах, в сознании тех, кто остался Разрушились все привычные связи между людьми, привычная этика, уклад жизни, создававшийся веками. Человечество словно бы вернулось вспять, к весьма примитивному образу жизни. Люди отвыкли жить вместе, отвыкли общаться, разговаривать, заботиться друг о друге. Все надо начинать с самого начала.

Глубинное, трагическое видение настоящего, сомнения, колебания, обостренная тревога за будущее человечества в «Пьесах о войне» как никогда очевидны. Говоря о заключительной части трилогии в интервью корреспонденту лондонского театрального журнала «Плейз энд плейерз», Бонд заметил: «Эта пьеса подвела итог всей моей жизни на театре; она свела воедино все, что я делал на протяжении последних двадцати лет, открыв для меня новые цели»

Пьеса Бонда не просто театр но подлинная школа жизни, где, познавая окружающее, люди в первую очередь познают себя определяя еще раз собственную жизненную позицию, подвергая критическому анализу собственные нравственные принципы. Актеры многих стран мира ежедневно выходят на подмостки, чтобы донести до зрителей слова бондовских героев в чьи уста Бонд вложил свой яростный и непримиримый пафос «горлана, главаря», страстный призыв к уважению человека в каждом живущем на земле, к вниманию и взаимопониманию.

Заметки писателя

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ

СЛОВО О РУБЕНЕ ДАРИО

Рубен Дарио (на самом деле его звали Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто) родился 18 января 1867 года в ничем не примечательном селении, затерянном в горах центральной Никарагуа,— теперь оно носит имя Сьюдад Дарио (город Дарио). Детство Рубена прошло в Леоне — городе, известном своими культурными традициями. Жил он у двоюродной бабки, в доме которой собирался цвет городского общества. В три года мальчик научился читать и очень рано стал сочинять стихи. Довольно скоро в Леоне, а затем и за его пределами он стал известен как «чудо-ребенок», «дитя-поэт». Много позже, в Манагуа, он поступил на службу в Национальную библиотеку и там читал все, что попадалось под руку, главным образом, разумеется, то лучшее, чем располагала литература на испанском языке и мировая литература.

Никарагуа, маленькая и провинциальная страна, оказалась ему тесной — и в возрасте 21 года Дарио перебрался в Чили. Здесь завязались самые важные для него литературные знакомства. Здесь поразил он друзей своими поэтическими опытами, прежде всего публикацией книги «Лазурь» — первой из тех, которым предстояло преобразить испанский язык.

В ту пору поэзия на испанском языке — и в самой Испании, и в Латинской Америке — переживала период застоя, последовавший за эпохой романтизма. Да и самый романтизм, за немногими исключениями, не дал ничего значительного. После блистательного «золотого века»— XVI — XVII столетий — испанская поэзия пребывала в состоянии упадка. Рубен Дарио положил начало новому возрождению поэзии в Латинской Америке и в Испании, широко распахнув ее двери для самых разнообразных влияний всех времен и эпох — от староиспанского до французского (речь идет прежде всего о современной Дарио французской поэзии). Это движение за обновление поэзии получило название модернизма[1].

Жизнь Дарио была бурной и проходила в непрерывных скитаниях. Он много писал и очень много странствовал. Судите сами! Из Чили он возвращается в Никарагуа, оттуда переезжает в Сальвадор, там женится. В Коста-Рике сотрудничает в газетах. Никарагуа посылает его с дипломатической миссией в Испанию — здесь его окружают слава и ученики. По возвращении в Амери-

[1] Имеется в виду литературное течение, возникшее в Латинской Америке в конце XIX века и получившее наибольшее распространение в поэзии. Для латиноамериканского модернизма, при всей его противоречивости, характерны поиски национальных тем и средств выражения, стремление к национальной самобытности, обогащению языка и формы, использование фольклорных элементов. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ — ERNESTO CARDENAL (род. в 1925 г.)
Никарагуанский поэт, священник. Его литературные труды включают исторические поэмы, лирические стихи, исследования в области фольклора индейцев Никарагуа. Участвовал в борьбе против диктатуры Сомосы. После победы революции — министр культуры правительства Национального возрождения Никарагуа. В «Иностранной литературе» напечатан цикл его стихов (1969, № 6), фрагменты поэмы «Час Ноль» (1970, № 3), стихи (1982, № 8).
Публикуемая статья написана по просьбе редакции.

ку у него завязывается дружба с тогдашним президентом Колумбии, и тот назначает Дарио генеральным консулом Колумбии в Буэнос-Айресе. Умирает его первая супруга. Поэт едет в Буэнос-Айрес, но «по дороге» останавливается в Нью-Йорке, в Париже. Одна аргентинская газета направляет его в качестве своего корреспондента в Испанию, а затем — в Париж. Он объезжает всю Италию. В Испании женится на простой крестьянке — это была самая большая в его жизни любовь. И вот Дарио — консул Никарагуа в Париже. Он путешествует по Центральной Европе.

В родном Никарагуа его ждет подлинный триумф Никарагуанское правительство делает его посланником в Мадриде. Оттуда он переезжает снова в Париж. Позже Дарио — в Мексике, в качестве полномочного посла Никарагуа, затем он снова — в Южной Америке, потом — опять в Париже. Начинается первая мировая война. Дарио строит планы поездки по Соединенным Штатам — с пацифистскими целями,— но в Нью-Йорке заболевает. И уезжает в Никарагуа — умирать («Я еду искать себе кладбище на родной земле»). Дарио скончался, когда ему было всего 49 лет и он находился на вершине славы. И в Испании, и в Латинской Америке его почитали как короля испаноязычной поэзии. И это справедливо: в самом деле, никто из поэтов, когда-либо писавших на испанском языке, пожалуй, не оказал на нее большего влияния. Вот почему Рубен Дарио — величайший среди них[1].

В поэзии Дарио всегда присутствовали несколько «сквозных» тем: лебеди и принцессы, драгоценные камни, мир мифов Древней Греции и Востока, «Тысячи и одной ночи». Его пленяла и влекла красота далекого, стародавнего, необычного, в том числе и тропическая экзотика родной страны. В сущности, в круг его тем входило буквально все: он воспевал старину и современность, давнее и интимно-близкое, и повседневность, и легкокрылую радость, и глубоко затаенную боль; в нем сочетались язычник и христианин, никарагуанец и гражданин мира. Певец принцесс, он был и противником империализма, революционером.

Выросший в строгом провинциальном городе, с серыми булыжными мостовыми, в городе, полном легенд и преданий, погруженном, словно в сон, в колониальное испанское прошлое, Рубен Дарио рвался в широкий мир, к сегодняшнему.

В четырнадцать лет Рубен собрался было бежать с заезжей цирковой танцовщицей, белокурой чужестранкой. Как это похоже на него...

Он любил прекрасные современные города. Его восхищали большие бульвары, он восторгался успехами науки и техники... Он вспоминал, как был поражен, когда в детстве впервые дотронулся до кусочка льда и впервые отведал яблока (то были яблоки из Калифорнии)... И *модернизм*, чьим основоположником Дарио стал, явился первой в Латинской Америке (да и в Испании) реакцией на ускорявшееся общественное развитие. Это была революция в умонастроениях и чувствах, сопровождавшая перемены в жизни этих народов.

Однако очень скоро Дарио убедился, что та самая *модернизация* жизни, которую, казалось бы, призван был воспевать *модернизм*, оборотной своей стороной, изнанкой, имела капитализм, который в Латинской Америке обернулся засильем империализма. Еще пятнадцатилетним подростком Дарио прославил в стихах освободительную борьбу на Кубе. Позже он содрогнется от ужаса при мысли о том, какие опасности и беды подстерегают народы Латинской Америки на пути к свободе.

В мире, где все — и чувства, и души людские, и даже сама красота — становилось предметом купли и продажи, Дарио решается создавать поэзию чистую, «бесполезную», не поддающуюся превращению в товар — стихи *модернистские*, неподвластные законам рынка, чуждые духу чистогана, незапятнанные, как его излюбленные лебеди. Таково было его «искусство для искусства», противостоящее главнейшему принципу капиталистического мироустройства — закону прибыли. Выбор Дарио можно понять. Противопоставить капитализму иную форму протеста могла лишь организованная общественная сила. В нашей стране ее в ту пору не было.

И все же духовным отцом сандинистской революции в Никарагуа был не только Сандино, но и Рубен Дарио. Несомненно его влияние на нашего великого партизана Сандино, бывшего простым рабочим («мастеровым», как он сам себя именовал) и вместе с тем истинным интеллигентом. Учителем своим Карлос Фонсека, основатель Сандинистского фронта, считал наряду с Сандино и Дарио. И наша победоносная революция — это воплощение мечты Дарио. И решимости Сандино. И стратегии Карлоса Фонсеки. Никарагуа, страна географически малая, обрела благодаря революции величие — Дарио свято верил в то, что так будет. Он любил повторять: «Если родина мала, в мечтах ее видишь великой».

Как-то Дарио сказал: «Моя родина — как Пенелопа, ткущая и распускающая покрывало грядущего; она замерла в ожидании момента, когда сможет вышить на нем волшебное заклинание: «Вырастай, расти!»— стоит лишь прозвучать этим словам, как настежь распахнутся двери в прекрасное будущее, навстречу окончательному национальному триумфу». Дарио — высеченная из белоснежного мрамора статуя на главной площади Манагуа — стал свидетелем торжественного вступления в столицу военных сил сандинистов, их руководителей, членов нового правительства 20 июля 1979 года. Это действительно был «окончательный национальный триумф».

На исходе прошлого столетия революционер Дарио предрекал: «Грядущий век увидит величайшую из всех революций... Бандиты владеют банками и магазинами. Заводы — мучение для честных людей... Я жажду... чтобы пробил наконец час искупления, час социальной справедливости... Не пойму, как не взорвалась до сих пор эта мина, грозящая всему миру,— она должна бы давно взорваться. Повсюду сви-

[1] Рекомендуем читателю сборник стихов и прозы Дарио (Рубен Дарио. Избранное. М., «Художественная литература», 1981).

репствует один недуг. Дух низших классов воплотится в неумолимом грядущем мстителе. Волною снизу сметет верхний слой. Коммуна, Интернационал, нигилизм — всего этого мало, нужно огромное мстящее содружество!» Когда же Дарио пишет о войне, которую в середине прошлого века вели народы Центральной Америки (и никарагуанцы в их числе) против североамериканских захватчиков[1], кажется, будто он говорит о борьбе против американских оккупантов, которую почти столетие спустя возглавил Сандино: «Тогда отважные бойцы, расположившись на ночлег, запевали под звуки гитары патриотические песни,— эти звуки плыли над биваками, над рюкзаками сержантов, куртками капралов, подбадривая и воодушевляя тех, кто сражался за родину и свободу»

Французский писатель Режи Дебре, побывавший в партизанском отряде Че Гевары в Боливии, оказался свидетелем триумфального вступления в Манагуа бойцов Сандинистского фронта национального освобождения Позднее, в хронике, посвященной этому событию, он записал: «Сыны Сандино в Никарагуа — это и сыны Дарио». Должно быть, он хотел этим сказать, что революцию в Никарагуа совершили поэты. Он имел в виду, конечно, не только то, что одни руководители революции писали стихи, а другие произносили поистине поэтические речи. Думаю, он хотел сказать, что никарагуанская революция сама подобна великому поэтическому творению

Рубен Дарио — мастер, заставивший испанские слова засверкать новыми красками. Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что он открыл новый поэтический язык. Точно так же руководители нашей революции показали себя своего рода первооткрывателями — в области социальных преобразований. Что это, если не заветы Дарио, ставшие действительностью сегодня?

И еще несколько слов советскому читателю. Стихи Дарио в большинстве своем очень музыкальны, в высшей степени музыкальны. И не только потому, что необычны и звучны рифмы, венчающие его поэтические строки. Секрет в том, что его стихи, как правило, заключают в себе внутреннюю рифму, переливы гласных и согласных, поистине в них слышится симфония бытия. Боюсь, что передать смысл стихов Дарио на другом языке и при этом воспроизвести, хотя бы приблизительно, их музыку, гармонию вряд ли возможно. Впрочем, среди его творений есть и довольно безыскусные, близкие к прозе или повседневному разговорному языку. Они, мне кажется, лучше поддаются переводу и своими достоинствами вполне заслуживают того, чтобы их переводили.

Гёте полагал, что суть поэзии — в том, что остается от стихов, если их перевести на чужой язык прозой (я бы предпочел несколько иную формулировку: если стихи перевести верлибром). Нечто подобное, вероятно, имел в виду и Дарио, когда в предисловии к своим «Языческим псалмам» писал: «В каждой строке, кроме словесной гармонии, есть мелодия мысли. Очень часто музыка создается мыслью». Стало быть, даже если великолепная музыкальность большинства стихотворений Дарио и будет утрачена в переводе, сохранится эта музыка мысли — сущность его поэзии. Хотя я должен честно признаться советским читателям: трудно представить поэзию Дарио без драгоценной музыкальной «оболочки», неотделимой от нее.

г. Манагуа

Перевод с испанского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

[1] Речь идет о так называемой «авантюре Уокера» (1855—1860) — вооруженной попытке наемников США под командованием У. Уокера подчинить страны Центральной Америки господству США и восстановить в них рабство.

РУБЕН ДАРИО

Из сборника «Песни жизни и надежды» (1905)

Перевод Н. ВАХАНЕН[1]

Грусть

Доминго Боливару

Хранитель света, брат, верни мне зренье.
Бреду вслепую. Путь во мраке длится.
А дождь и ветер воздают сторицей
слепцу мечты, безумцу песнопенья.

Вот мой порок. Мечта. Стихотворенье,
поэзия — глухая власяница
поверх души По капле грусть сочится,
и горьких капель медленно паденье.

[1] Переводы предлагаемых читателю стихов заново выполнены специально для данной публикации. *(Прим. ред.)*

Бреду впотьмах, мирскую боль вбирая.
То чудится — путь без конца и края,
то край — рукой подать.

И мне на грани смерти и спасенья
так трудно с грузом скорби совладать.
О капли грусти — слышишь их паденье?

Под осень

Не упрекайте: «Где былое пенье
и сладостной гармонии свобода?»
Неведом вам подспудный труд мгновенья,
свершенье дня, преображенье года.

Кустарник слабый, говорлив и гибок,
я шелестел под ветром прежних дней.
Прошла пора младенческих улыбок:
пусть ураган ревет в груди моей!

Обреченность

Рене Пересу

Вы счастливцы, деревья,— говорю в укоризне.
Всем камням безучастным я завидую разом.
Нет сознания горше, чем сознание жизни,
непосильнее ноши, чем осмысленный разум.

Быть, не ведая истин, а вокруг — бездорожье,
тени дней уходящих и грядущих забот...
Поутру не проснуться мы боимся до дрожи
и страдаем от жизни, от сомненья и от

нерешенных загадок: как с неведомой силой
виноградною кистью плоть нас манит вдали,
где склоняются ветви над унылой могилой,
и куда мы уходим,
и откуда пришли!

■

НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН

ЖАВОРОНОК И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Раздумья по поводу романа Веслава Мысливского «Камень на камень»[1]

В тот пугливый осенний вечер, примостившись на скамейке у подножия краковского Вавеля, с некоторым недоумением читал я в польском еженедельнике «Перспективы» статью «Спор о шедевре». Причем спор этот явно был и не спором вовсе, а скорее констатацией факта — в литературу явилось произведение неожиданное, силы воздействия необычайной, нечто из ряда вон выходящее и так далее.

Густели сумерки. Пришлось освещать страницы зажигалкой, боясь, что газ в ней вот-вот иссякнет и статья дочитана не будет. Но наконец вспыхнул над головой уличный фонарь, мир обрел реальные краски и свой нормальный облик. И статья была дочитана уже спокойнее. Речь в ней шла о новом романе Веслава Мысливского «Камень на камень».

[1] Опубликован в «ИЛ», 1986, № 7, 8, 9.

Итак, повторяю, спорили не о том, насколько удачно это произведение. Решали, шедевр это или нет — не более не менее...

С самим романом тогда я знаком еще не был, но знал, что о нем настойчиво писали не только в «Перспективах», но и в «Новых ксёнжках», «Жечивистости», да и в других газетах. И писали жарко, азартно, зачастую категорично, с некоторым оттенком истовости. Именно это, может быть, и настораживало, а заодно вызывало в памяти разные примеры, порою и удивительные и поучительные одновременно. В истории литературы немало случаев, когда эпитеты шли в ход не по делу. Почему? Причин много. Если какой-нибудь роман, повесть или стихотворение нравится буквально всем без исключения, не должно ли такое настораживать? А куда же тогда подевалась разница читательских вкусов, которая естественна и во многом животворна? У каждого читателя должны быть свои писатели, а у каждого писателя — свои читатели, которые ждут выхода в свет именно его книг.

Конечно, иной раз эта пестрота вкусов порождала явления курьезные. Как тут не вспомнить, что кое-кому приходило на ум рекомендовать Пушкину учиться мастерству у юного поэта Веневитинова, хотя сам Веневитинов, видит бог и знают люди, в этой ситуации повинен не был. А позднее другого поэта и драматурга, доброго, наивного и в общем очень порядочного чело-

САМВЕЛЯН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1936 г.)

Советский писатель. Автор романов и повестей «Московии таинственный посол» (1976), «Казачий разъезд» (1978), «Серебряное горло» (1980), «Крымская повесть» (1981), «Альпийский эдельвейс» (1983), «Счастливчик Пенкин» (1984), «Семь ошибок, включая ошибку автора» (1985), «Век наивности» (1986), книги «Пока сердца для чести живы» (1986), посвященной традиционным связям русской и польской культур, и многих статей.

века, Нестора Кукольника усиленно поздравляли с тем, что он превзошел по всем статьям того же Пушкина, став популярнее и народнее,— что, как известно, вовсе не одно и то же,— а главное, что пишет он только шедевры, да к тому же при императорском дворе признаннее. И всем этим поставили неплохого литератора в неловкое положение и перед современниками, и перед потомками. Но если истории с Веневитиновым и Кукольником можно отнести к случаям, скажем так, забавным, вызывающим улыбку, то с романом Томази ди Лампедуза «Леопард» дело было серьезнее. Ведь и тогда тоже шел спор о шедевре...

Когда четверть века назад, уже после смерти автора, роман вышел в свет, многие итальянские и французские критики с кавалерийской лихостью объявили его сверхъявлением, романом не только нашего века, но и всех веков, вершиной критического реализма. А кинорежиссер Лукино Висконти снял по «Леопарду» фильм, отличавшийся необычайно точной психологической характеристикой эпохи и выдающейся актерской игрой. К фильму, как и ко всему творчеству Висконти, можно относиться по-разному, но мне он кажется нерядовым.

Все как будто было в порядке, вопрос о романе Томази ди Лампедуза для читающего и думающего человечества будто бы был решен. И вдруг все в той же Италии и Франции начались яростные атаки на него неоавангардистов, которые объявили «Леопарда» ультраконсервативным, традиционалистским, мешающим развитию литературы. И эта страсть удивляла. Что произошло? Не нравится вам книга — не читайте. Хотите писать иначе — пишите. Но откуда этот избыточный темперамент? Не от внутренних ли комплексов, не от собственного ли творческого тупика? Нет ли здесь попыток навязать какой-либо догмат или постулат не только кому-то, но и себе самим? Нет ли тут элементов психической самоиндукции? Ведь на самом деле, во всяком случае так мне кажется, все много проще: роман очень хорош, развитию литературы (если к литературе применимо слово «развитие», наверное, правильнее сказать — движению литературного процесса) он не вредит, а помогает. Но идет ли речь о шедевре? Вопрос сложен. Тут пришлось бы выяснять, что́ мы подразумеваем, когда говорим о шедеврах,— «Гамлета» и «Братьев Карамазовых», «Божественную комедию» и «Войну и мир»? В этом случае «Леопард»— явление иного ряда. Ну а роман Веслава Мысливского?

...Вечер уже перешел в ночь. А я все сидел на скамеечке у Вавеля и размышлял о том, что у литературных критиков есть симпатичные черты, убеждающие, что ничто человеческое им не чуждо,— они так же часто ошибаются в своих оценках, как и все прочие. Не будем мстительны, но напомним все же — хотя уму непостижимо, как это могло случиться,— что в свое время они умудрились не заметить Стендаля. Напрасно Бальзак и Гёте настаивали на том, что в литературу пришел выдающийся талант. Им не поверили. Сочли их мнение причудой гениев. А много позднее, уже в начале нашего века, знаток русской и европейской культуры, человек высокого художественного вкуса Павел Муратов, чью книгу «Образы Италии» читают и по сей день, заявил, что, обладай Стендаль слогом... Джакомо Казановы (?!), он был бы гением. Чего только иной раз не наговорят люди вполне просвещенные, то ли под горячую руку, то ли на всплеске темперамента. «Образы Италии» продолжаю читать с удовольствием и, хотел бы думать, с пользой для себя, но осознать, почему Муратов написал эту фразу, не в состоянии.

Вот эта избыточная горячность и почудилась мне два года назад в некоторых статьях польской прессы, посвященных «Камню на камень».

Автор отзыва в «Новых ксёнжках» был, пожалуй, даже сдержаннее других. Он отметил, что Веслав Мысливский, безусловно, обладает незаурядным даром рассказчика, что позволило создать эпический образ польского крестьянина, уходящий корнями в седую древность, человека от земли с психологией особой и удивительной.

По форме роман, как считал рецензент, прост — человек рассказывает о своей жизни, которую он видит и изнутри, и как бы чуть-чуть со стороны, что создает нечто вроде стереоэффекта,— объемность взгляда на мир и себя самого в этом мире. В какой-то мере, по мнению обозревателя, это — биография поколения, которое сейчас уже уходит из жизни, реквием по нему, своеобразный памятник.

Ну а другой критик, рецензент газеты «Жечивистость», настаивал на том, что уже в самом названии акцентировано восприятие мира людьми, понимающими землю, которая их кормит, как единственную безусловную ценность мира. Землю, которой поклоняются, во имя которой творят ритуалы, восходящие, быть может, еще ко временам языческим... Земля — мать, Земля — кормилица, Земля — божество. Все на ней священно, и камни тоже. Они — часть Земли. Люди, живущие на земле, должны строить свой дом, свою жизнь неспешно, будучи в ладах с землей и не разрушая ее. «Камень на камень, на камень камень, а на этот камень еще один камень» — эти слова старинной народной песни стали и названием романа, и эпиграфом не случайно.

Еще одна мысль по поводу романа «Камень на камень», высказанная в ходе дискуссии в польской прессе, представляется любопытной. Суть ее в том, что герой романа прожил так, как умел, на пределе возможностей именно ту жизнь, которая была ему предопределена. Иная для него немыслима. Иной у него и быть не могло. С этим можно было бы и поспорить.

Но сейчас о другом. Неожиданные чувства испытываешь сейчас уже после прочтения романа, возвращаясь в памяти — вот что изучить бы психологам! — к собственным реакциям на чужие мнения, когда своего еще не было и быть не могло. Одно несомненно — чрезмерная пафосность не всегда на пользу делу. Она порою порождает настороженность и предубежденность. Об этом уже было сказано выше. Но как тут еще раз не подивиться тому, до какой степени сложно пропагандировать любое

литературное произведение, даже очень нерядовое, насколько это тонкая наука.

Ох, как иной раз вредит читательскому восприятию стремление тут же объявить что-либо шедевром, высотой недосягаемой, эверестом словесности или, наоборот, разругать безоглядно, с яростью, уместной разве что при охоте древних людей на саблезубых тигров, когда тигр если не был хозяином планеты, то, во всяком случае, покушался на эту роль. Спокойный разговор всегда убедительней. Все равно лишь время рассудит спорщиков, а правым частенько оказывается далеко не самый горячий. Так ли, иначе ли, но не без внутренней настороженности брал я в руки номера журнала, в котором публиковался, уже в переводе на русский язык, «Камень на камень».

Но вот роман прочитан. Почти сразу же вновь вернулся к некоторым главам, чтобы убедиться в безусловном наличии сложной, почти кодовой символики, без которой не понять философского пафоса «Камня на камень». И признаю: предубеждения были напрасными. Отложив на дальнюю полку памяти споры о том, шедевр это или не шедевр, об одном решаюсь сказать с убеждением глубочайшим: «Камень на камень» — одно из самых серьезных явлений в славянских литературах последних лет и безусловный успех польской.

И дело здесь не только в знании особенностей крестьянской жизни и психологии людей, связанных с землей. Оно несомненно присутствует. Но лишь в качестве фона, ибо «Камень на камень» совсем не социально-этнографические очерки, а роман с глубокой философской концепцией. Об этом ниже.

Может показаться, что Веслав Мысливский не избежал уроков так называемых «почвенников» с их нарочито эпической интонацией и необычайным спокойствием в разговоре о событиях и проблемах даже самых беспокойных. Не знаю. Даже если это так, все равно принципиального значения не имеет. Тем более что разговор о «почвенниках» можно вести лишь с известными допусками. Кого к ним отнести? Писателей, которые в той или иной мере тяготеют к этнографичности? Но тогда «почвенниками» следовало бы назвать не только большую плеяду русских писателей, но и того же сумрачно-прекрасного Гранта Матевосяна, а заодно и Уильяма Фолкнера. Более того, подобные попытки уже предпринимались. И порою выглядели весьма убедительно. Разные мнения можно иметь по этому поводу. Важно другое — какие нравственные принципы ведут писателя, к чему он вольно или невольно зовет свою паству — читателей.

Следуя внешней логике, можно и «Камень на камень» отнести к «почвенной» литературе, понять его как гимн-эпитафию польскому крестьянству в его привычной, традиционной ипостаси, как рассказ о чем-то уходящем или уже ушедшем навсегда. Ибо грядут другие времена и иные отношения человека с его землей. И тогда это произведение будет прочитываться как слегка ностальгическое, напоминающее дерзновенному человеку, что он из земли вышел и в землю уйдет. И поэтому не имеет права относиться к земле кое-как, не смеет себя на ней считать лишь гостем... Возможно. Но вот загадка — шекспировский Яго, заметив между прочим, что он из земли вышел и в землю уйдет, присвоил себе право не считаться ни с чем, что дорого людям. Ведь там, в земле,— пустота, и больше ничего. Так во имя чего ломать копья?

Впрочем, подобное циничное миротолкование достаточно легко разбить. Но как быть с весьма серьезной и далеко не парадоксальной мыслью, что человек не может быть навеки привязан к Земле, что она лишь колыбель его? Вся Вселенная — вот его большая родина. Тут впору запутаться и даже растеряться.. Об этом говорил не только Циолковский. Такое все чаще, когда прямо, а когда опосредованно звучит и в литературе и в искусстве. Современный художник не может этого не помнить, а точнее — разрешить себе забыть. Однако и само «почвенничество» — сложная реакция, в которой, кроме всего прочего, есть и смятение перед самим фактом прихода в мир космического мышления. Перед лицом безбрежности как же не поискать нечто успокаивающее, локальное, как удержать себя от инстинктивного желания забраться в колыбель и объявить ее Вселенной. Это ведь тоже совершенно естественно. Даже вырвавшись на просторы Вселенной, разве не оглянется человек с чувством сыновней печали на покинутую им Землю? Сложные это вопросы. И не всегда земному человеку хочется додумывать их до конца.

Но литература всегда отличалась редкостным бесстрашием мысли. Одной из всегдашних забот, ее и центральной проблемой, а может быть, и самой причиной ее возникновения было извечное: для чего живет человек и как ему жить? Вопросы эти, конечно, взаимосвязаны, их трудно отделить друг от друга. Но даже осознавая явную условность такого деления, рискну сказать: у Данте и Достоевского вопрос о том, что за явление человек, для чего он живет, звучит особенно четко.

А для Шекспира и Толстого, пожалуй, важнее иное: человек — данность, а, следовательно, принципиальным остается единственный вопрос — как ему жить?

Было бы затруднительно сказать с определенностью и уверенностью, какой из этих вопросов доминирует в «Камне на камень». Герой романа — крестьянин, в прошлом партизан, человек одинокий — строит кладбищенский склеп. Он болен. Детей нет, склеп станет последним его домом. И не только для него самого, но и для отца с матерью, которых он хотел бы перезахоронить. Чтобы быть всем вместе и не расставаться, поскольку спешить уже некуда. От этого веет, казалось бы, обезоруживающей наивностью, способной вызвать снисходительную улыбку. Но не спешите судить так скоро. Не случайно герой «Камня на камень» раздумывает над тем, не установить ли на склепе ворота, ведущие в бесконечность. Не в пустоту, не в могилу, а именно в бесконечность. А бесконечность — не пустота. Это нечто более сложное, что нами пока не понято. Но может быть, будет понято другими — нашими потомками?

Правда, и с воротами этими не просто. Их заперли во время войны, повесив на перекладине хозяина усадьбы, а саму усадьбу сожгли. Отпереть позднее не сумели. Ворота стали достопримечательностью, которая будоражит воображение туристов. Стоят в поле ворота — людей удивляют.

Так вот — не эти ли ворота установить на склепе, ворота, которые еще не отперты, но, если их отпереть, то за ними — неизвестность? Ну и что же тут такого — разве не в неизвестность уходит человек? И разве сама бесконечность — не неизвестность?

На первый взгляд за всем этим проглядывают контуры вселенской трагедии такого масштаба и такой глубины, о которой и речи быть не могло во времена Шекспира, когда не было сомнения в бессмертии человечества. Это не оговорка, не случайно сорвавшееся с уст слово. Тогда было очевидным, что каждый отдельно взятый человек смертен и век его четко ограничен во времени, но люди пребудут на Земле вечно. Трагедии Отелло, Гамлета, Ромео и Джульетты, короля Лира были определены самим устройством общества, взаимоотношениями людей в нем. Но общество как таковое представлялось навеки данным.

Иные проблемы приходится решать сегодняшним писателям. Тому же Веславу Мысливскому. Цивилизация достигла в своем развитии такого витка, когда стала способной на самоубийство, самоуничтожение. И придет оно, может, не только в виде ядерного гриба, но и другими путями, которые не сразу и распознаешь, чтобы тут же поставить заслон. Безусловно, предчувствие этого мучит героя «Камня на камень». Что будет дальше с Землей? Что будет дальше с людьми, живущими на ней? Многое, происходящее на его глазах, вызывает грусть. Но любое отрицание всегда идет от присутствия другого идеала, другой модели мира, которая представляется более разумной и гуманной. Какова же она для героя «Камня на камень»? Прямой ответ не просто невозможен, он был бы неверен, ошибочен.

Идеал — человечество не должно погибнуть. Но это слишком широко, глобально, неконкретно. Ответ пришел внезапно. В момент, когда писались эти строки, состоялась у нас беседа с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который еще не читал роман Веслава Мысливского, но сказал буквально следующее: «Грядущий век должен стать веком гуманизма и взрыва гуманитарного мышления или же его не будет вообще. Ручной труд скоро будет заменен машинным. Технический прогресс должен быть поставлен под контроль гуманистического мышления, под контроль *нравственности*. Иначе человечество себя погубит».

Быть нравственными, научить всех жить не только для своего блага, а для блага многих, для блага Земли — вот тот тайный идеал, который никогда не афишировал, но никогда и не терял человек, проживший жизнь под уменьшительным именем Шимек (он сам себя так в мыслях и именовал). Он нравствен в самой основе характера, что повседневно и доказывал. Он не растерялся, столкнувшись с трагедией вселенского масштаба, и продолжал настаивать на своем идеале — человек останется человеком лишь в случае, если будет продолжать беззаветно любить землю, его породившую, и всех братьев своих — детей этой земли. Это — программа-минимум, это обязательное условие нравственного здоровья человечества. А без него невозможно ничто. И освоение того же космоса, и надежды на иную, инопланетную жизнь.

Удивителен финал романа. Возвратившись из больницы, где пришлось лежать долго, осмотрев с умеренной долей грусти как-то сам по себе разваливающийся дом, Шимек отправился искать исчезнувшего брата Михала — юродивого, в сумасшествии которого была «логика» — он любил трудиться. Этим пользовались «люди добрые». Они охотно приводили его на свои поля, чтобы тот бесплатно потрудился на них. Шимек отыскал брата и вернул домой. Вымыл его и накормил. И вспомнил о том, каким брат Михал был некогда «городским», при шляпе, любимцем девушек. Но слишком сложным для хрупкой души Михала оказалось столкновение с миром. Ведь не случайно утверждают, что сумасшествие зачастую — защитная реакция организма, не способного справиться с сопротивлением среды. Есть даже такой диагноз-определение: «спрятаться за безумие». Так ли, иначе ли — брата не бросают. Тем более — брата слабого. А двое братьев — сильных, внешне вполне приспособленных к жизни, немного эгоистов, немного прагматиков — давным-давно спокойно обретаются в городе. Они не ищут себе места в будущем семейном склепе. Да и вообще, наверное, не догадываются о том, что их брат одержим идеей соединить прервавшуюся связь времен, напомнить себе самому и другим, что жаворонок в небе — птица волшебная. Он возник из кусочка хлеба, подброшенного вверх, к небу, пахарем. Раз жаворонок поет — значит, и земледельцу на душе светлее, поскольку к хорошему урожаю его песня.

Уйдут в свой семейный склеп, не оставив детей, а может быть, даже и воспоминаний о себе, Шимек и его брат Михал, а двое других, уже городских братьев — Антек и Сташек, их семьи, их дети останутся хозяевами земли, но хозяевами такими, которым сама земля вроде бы уже не нужна. Все может быть и иначе — люди привезут на землю хитрые механизмы, которые сами пашут, сеют, за всходами наблюдают, а когда созреет урожай, собирают его. Да еще делают это тщательнее, нежели человек. И труд земледельца станет вроде как бы ненужным. Вернее, это будет совсем иной труд, более схожий с делами инженерскими. Когда-то такое могло показаться утопической фантазией, а сегодня уже становится реальностью. И в ней нет ничего страшного, пугающего. Но сам-то человек, проблемы, его волнующие, останутся. Как будут выглядеть эти проблемы?

Не дает прямого ответа Мысливский. Да и не нужны такие ответы. Пусть каждый сам решит для себя, что кроется за кодовой символикой — склепом, воротами в бесконечность и песней жаворонка, которая вечна. А жаворонок всегда возникнет над

твоим полем, если ты, будучи человеком щедрой и открытой души, подбросишь вверх, к самым облакам, драгоценный кусочек хлеба. Кто сделает это — не останется без песни жаворонка.

Многие другие рассказы деда, которые навсегда запомнились Шимеку, объясняют, почему некогда труд земледельца был не только тяжким крестом, но и поэзией. Уход поэтической, нравственной ноты из жизни крестьянства, что бы там ни говорили, трагичен. И это трагедия миллионов людей, которым предстоит искать новые формы взаимоотношений с миром. Ну а самому Шимеку уже не дана высокая привилегия, как деду, стать памятью народной. Да и внуков у Шимека нет... Передавать свой строй чувств, свои надежды вроде бы некому.

Человек всегда стремился не только осмыслить «вчера» и «сегодня», но хотя бы заглянуть в загадочное «завтра». Попытка увидеть в этом «завтра» иные взаимоотношения с Землей (сам взгляд на Землю как бы из космоса) идет от времен давних Читая Чингиза Айтматова и Курта Воннегута, как не вспомнить, что над многими проблемами, занимающими сегодня аналитические умы, задумывались уже Джонатан Свифт и Достоевский, а совсем недавно — Антуан де Сент-Экзюпери.. Но именно Экзюпери, одним из первых не только понявший, но и почувствовавший, что приходит время космического мышления, все же настаивал на том, что Земля людей очень нужна этим людям и они обязаны любить ее всегда. вне зависимости от того, будут ли их потомки на ней или же переместятся на дальние, может быть, более комфортабельные планеты. Но все равно — от Земли пошло человечество. И всегда мы останемся землянами.

Человек нужен Земле, и Земля нужна человеку — это очень четко прозвучало в новой книге Веслава Мысливского.

И сам Человек поднялся со страниц книги во весь рост — обычный человек обычной судьбы, можно даже сказать, судьбы типичной, а потому и столь захватывающе интересной Произошел тот же эффект, что некогда со «Страданиями юного Вертера» Гёте, с тем самым выстрелом, который сотряс Европу. Мне уже доводилось говорить об эффекте этого негромкого, но всеми услышанного выстрела.

В эпоху бурную, когда рушились троны и перекраивались карты держав, Гёте всем напомнил, что есть человек, который когда-то приходит в этот мир, а когда-то уходит, иной раз в отчаянии и в тоске, а случается, с сознанием того, что жил честно и поступал правильно. Недаром Вертер так горестно воскликнул: «Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертию своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь!» Но ведь это как раз то, что удалось сделать простому польскому крестьянину, который сам себя всю жизнь уменьшительно именовал Шимеком,— ему было дано пролить свою кровь за близких и вдохнуть в друзей стократную жизнь.

Он прошел сквозь свои тернии, нигде не изменил себе и даже своим уходом из жизни никого не затруднит — склеп почти достроен и ждет хозяина. Никого Шимек не корит за ту трудную жизнь, которая судилась ему. Он был ей рад. Прощаясь, он не извинялся ни перед кем, он еще раз сказал: я прожил как сумел, как у меня вышло, а вам желаю больше радости и удачливости. И пусть песня жаворонка в небе всегда звучит для вас.

Итак, шедевр или просто очередная неплохо написанная книга? Возвращаясь к тем давним раздумьям на скамеечке у подножия Вавеля, теперь уже повторяю с уверенностью: «Камень на камень» — явление в литературе серьезное и нерядовое.

Ну а что же касается спора о шедевре, пусть его разрешит время.

Антирубрика

ШОН О'ФАОЛЕЙН

НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДЬ!

■

Перевод с английского
ЕКАТЕРИНЫ КОРОТКОВОЙ

— Теперь можете одеться, мистер Нисон,— сказал доктор. Он, не торопясь, вернулся к столу и стал писать.

Джеки, еще сжимая в руках рубашку, пристально смотрел на него, и все это ему очень не нравилось.

— Ну, док?— спросил он; от волнения его кадык дернулся, и Джеки поперхнулся.— Каков вердикт?

— Вердикт таков, что у вас сердце барахлит и давление высокое. А что касается остального, вы в полном порядке.

— Барахлит?— переспросил Джеки и вдруг скомкал рубашку. Сжимая ее в руках, он сел. Сердце у него затрепыхалось, как слабо натянутый парус.— Это как понять — барахлит?

— Ну, не входя в излишние подробности, вы его несколько перегрузили, и мотор ваш немного устал, вот и все. Вам надо полежать месяца два, отдохнуть, а в дальнейшем не волноваться, и тогда, не исключаю, вы проживете до ста лет. В противном случае дело может оказаться весьма серьезным.

Страх испарился в тот же миг.

— Отдохнуть? Два месяца лежать в постели? Да ведь в конце той недели скачки!

— Мистер Нисон, вам два месяца нельзя будет посещать ипподром. Если вы вздумаете там побывать, вам придется искать другого врача.

— Да боже милостивый, я же за всю жизнь не лежал в постели даже ночью больше четырех часов кряду! Что же я там два месяца-то буду делать?

— Вы можете слушать радио. А также читать. Да, таким вот образом. Радио можете слушать. И читать вы можете.

— Что читать?

— Что-нибудь успокаивающее, что вас не волновало бы. Кто-то мне рассказывал, что Герберт Джордж Уэллс, отправляясь в путешествие, каждый раз брал с собой том Британской энциклопедии. А я время от времени буду вас навещать.

— Не могу ли я к вам приходить?— жалобно осведомился Джеки.

© 1981, Constable and Company Limited

ШОН О'ФАОЛЕЙН — SEAN O'FAOLAIN (род. в 1900 г.)

Ирландский писатель. Член ирландской Литературной академии. Автор многих книг рассказов, в том числе «Сумасшедшая полночь» («Midsummer Night Madness and Other Stories», 1932), «Я помню! Я помню! («I Remember! I Remember!», 1962), романа «Гнездо простых людей» («A Nest of Simple Folk», 1933; русский перевод — 1941), ряда романизированных биографий и др. произведений.

Рассказ «Не приведи господь!» взят из второго тома собрания рассказов Шона О'Фаолейна, изданного в Лондоне в 1981 г. («The Collected Stories of Sean O'Faolain». London, Constable and Company Limited).

— Нет уж, лучше я к вам приду, так будет безопасней,— ответил доктор, и тут-то Джеки осознал, что дела его плохи всерьез.

— Ну, а выпить стаканчик я могу иногда?— спросил он, прощупывая почву.

— Стаканчик солода или бутылка портера, если будет настроение, не принесут вам вреда. Но женщин непременно избегайте. Эти дела вызывают отлив крови от головы.

— Никогда я не имел с ними таких уж особенных дел,— угрюмо сказал Джеки и стал натягивать рубашку.

Он пришел домой, выпил неразбавленного виски, сообщил жене новости и лег в постель. Увидев его лежащим в постели, она принялась плакать и плакала очень долго — ему пришлось напомнить ей, что он пока еще не умер. Тут она крепко сжала губы, ибо почувствовала, что готова разрыдаться так горько, как отродясь не рыдала. С трудом справившись с собой, она спросила, не хочется ли ему чего-нибудь.

— Есть ли в этом доме такая штука, как энциклопедия?— спросил Джеки.

— Такая штука, как что?

— Энциклопедия. Доктор велел мне читать.

Она взглянула на него с печалью, и из глаз ее вновь заструились слезы.

— Бедный Джеки,— плача, сказала она.— Вот уж не думала, что ты докатишься до такого.— И она пошла искать энциклопедию.

Искать долго не пришлось — в доме не было и двадцати книг; букмекеры вообще не держат у себя такой литературы,— и она отправилась к соседке, Норин Малви, жене учителя. Через несколько минут она вернулась, держа в руках большущую черную книжищу с красным обрезом, именуемую «Католический словарь».

— На кой дьявол я ее купил?— спросил Джеки.

— Ты ее не покупал. Мне дала ее Норин Малви. Говорит, это не хуже, чем энциклопедия.

Джеки хмуро полистал траурного вида том. На внутренней стороне обложки он обнаружил зеленую печать: «Колледж святого Иакова, Патни-Грин, Мидлсекс, Лондон». Там было много чудных слов, набранных жирным шрифтом, и первое из них — *Аббакомиты*.

— Доконают они меня,— произнес он хмуро и стал читать.

Из статьи первой он выяснил, что аббакомиты — это настоятели монастырей знатного происхождения, которым выделил аббатство король, дабы они извлекали из него денежный доход. Выяснил он также, что настоятелями таких монастырей могли являться не только сыновья, но и дочери вельмож, и даже их жены.

— Ничего себе сволочи,— буркнул Джеки и, усевшись поудобнее, погрузился в следующую статью, озаглавленную *Аббатисы*. Он с интересом прочел краткое объяснение, в особенности ту его часть, где сообщалось, что в ордене Фонтевро[1] и в ордене Святой Бригитты[1] женские и мужские монастыри располагаются рядом и даже во главе мужского монастыря стоит аббатиса.

— Дела!— язвительно произнес он и перешел к статье *Аббаты*.

Тут он несколько заскучал — статья была длинной и изобиловала специальными подробностями,— но его развеселил абзац, где описывалось, как «в Версальском дворце снуют блистательные молодые аббаты», отродясь не видевшие тех монастырей, из которых они извлекают доходы. Он вновь пал духом, читая об *Аббревиаторах*[2], но увлекся *Абрамитами*[3] — у него возникла мысль, что ребята эти не так уж далеки от истины, когда утверждают, что «благой Бог сотворил души человеческие, а сила зла, она же демиург, создала плоть». Впрочем, в конце статьи имелась отсылка к *Манихейству*[4], а прочитав о манихеях, Джеки пришел к выводу, что они форменные идиоты и автор совершенно прав, суля им ад. *Абраксас*[5] навел на него тоску. *Абсолюция*[6] состояла из великого множества пунктов. Он уже начал с нетерпением перелистывать страницы, как вдруг взгляд его упал на Адама. Эту статью он прочел не один раз, а трижды. Когда жена принесла ему эггног[7], она увидела, что муж ее возлежит, откинувшись на подушки, и задумчиво смотрит в окно.

— Подойди-ка ко мне, Айлин,— сказал он и рассеянно взял у нее из рук стакан.— Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что Адам и Ева разгуливали голышом и хоть бы что?

— Это все знают,— сказала она и поправила ему одеяло.

— Я спрашиваю: приходило тебе в голову, что им это было абсолютно все равно?

— Я так думаю, они, бедняжечки, были невинны, покуда их не искусил сатана.

Он вскинул голову и выразительно посмотрел на жену.

— Тут спорить не о чем,— сказал он.— Но не возникал ли у тебя вопрос, каким образом сатана провернул это дело, если они были так уж невинны?

— А что особенного?— фыркнула она.— Кому всегда грозит падение, как не самым невинным?

— Справедливо,— согласился он опять, а затем торжествующим голосом человека, который объявляет сопернику мат, сказал: — Но только ты забыла: случилось-то это в раю, где не существует греха.

— Сатана изобрел его,— не задумываясь ответила Айлин.

— Ересь,— объявил он и похлопал по книге рукой.— Я это только что прочел здесь в статье об абрамитах.

---

[1] Духовный орден, основанный во Франции в конце XI века. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[1] Покровительница Ирландии. Принадлежит к числу наиболее почитаемых святых не только в Ирландии, но и в Англии.

[2] Писцы папской канцелярии, составляющие грамоты римского папы с лаконичным изложением распоряжений по второстепенным церковным вопросам.

[3] Секта в католицизме, возникшая в XVIII веке в Богемии.

[4] Религиозное учение, основанное в III веке на Востоке, распространилось в I тыс. н. э. от Китая до Испании.

[5] Магическое слово и талисман с этим словом.

[6] Отпущение грехов.

[7] Вино или коньяк с желтком, взбитым с сахаром и сливками.

— Хочешь на ужин отбивные?— спросила она.

Он равнодушно кивнул.

— И дураку ясно: разве можно соблазнить человека, настолько невинного, что ему все равно, когда рядом разгуливает голая женщина?

— Ну, а яблоко?— выпалила она.

— Ага! И как ты это понимаешь?

— Да просто яблоко, и все. Им же не разрешалось его есть,— произнесла она со всей горячностью женщины, знающей, что она не понимает того, что говорит, а потому должна сказать это как можно тверже. Но Джеки отныне уже не снисходил до подобных методов полемики. Он надменно сообщил ей, что этот вопрос оставлен открытым на Тридентском соборе. Айлин направилась к дверям с высоко поднятой головой и лишь у самого порога заявила с присущими ее полу непоследовательностью и необъективностью, что она бы посоветовала ему помолиться.

К ужину он успел немало. Прочел об *Акоймитах*[1] (они же — бессонные монахи) и решил, что у них несомненно мозги набекрень. Фундаментально обосновавшись на пройденной территории, приобрел много сведений, ранее представлявшихся ему совершенно недоступными, из статьи *Брак*, а также *Прелюбодеяние* и *Родство по жене или по мужу*, поскольку статья Брак отсылала к двум последним. Когда Айлин вошла в комнату, неся ему на подносе ужин — две аппетитные отбивные котлеты и стакан портера с пышной шапкой пены,— она обнаружила, что ее супруг снова задумчиво смотрит в окно. Он заметил ее, когда она поставила поднос ему на колени, и спросил:

— А знаешь ли ты, что человеку не разрешается жениться на собственной теще?

— Твоя теща,— ледяным голосом ответила она,— уже семь лет в могиле. А когда она была жива, ты ей слова доброго за всю жизнь не сказал.

— Пойми,— возразил он ей любезным тоном, в котором так гнусно сплелись учтивость и снисходительность, что Айлин затрепетала от ярости,— я ведь не обсуждаю твою мать. Речь идет о каноническом праве.

Она фыркнула; воздух вырвался из ее ноздрей, словно паровоз свистнул.

— Ешь котлеты, пока не остыли,— сказала она и чинно вышла из комнаты.

Майло Малви заглянул к ним около десяти выразить свои соболезнования болящему. Айлин посоветовала ему не тратить драгоценного сочувствия, ибо ее герой (так она его окрестила) просто землю роет от избытка бодрости. Она проводила соседа наверх, там он уселся на плетеный стул у кровати больного, сама же Айлин облокотилась на эту кровать. Майло держался бодрячком, как все, кто навещают больного.

— Ну, Джеки, старина! — вскричал он с наигранной веселостью.— Довели тебя до ручки медленные лошади и шустрые бабы?— и подмигнул при этих словах Айлин, опасаясь, что она неверно истолкует его слова.

— Майло!— Джеки говорил серьезно.— Ты действительно веришь, что тысяча ангелов могут уместиться на кончике иглы?

Майло уставился на него, затем вопросительно взглянул на Айлин.

— Вот так весь день,— сказала она.— Это все из-за твоей книги.

— А она моя?— спросил Майло и наклонился, разглядывая мрачный, черный том.— Где ты ее взяла?

— Попросила сегодня у Норин, на свою беду. Профессор, видишь ли, заявил, что ему хочется чего-нибудь почитать.

— Бедняга,— сказал Майло.— Хочешь я тебе приволоку полдюжины детективов?

— Благодарю,— ответил Джеки,— но мне они не нужны. Я ни разу в жизни не видел такой интересной книги, как эта. Не считая той, о знаменитых преступлениях, которую ты мне давал в прошлом году, когда я болел гриппом. Но скажи, ты в самом деле — и учти, вопрос серьезный,— ты в самом деле способен поверить, что тысяча ангелов может уместиться на кончике иглы?

— Ты вдруг почему-то заинтересовался религиозными вопросами,— недоверчиво пробубнил Майло.— Это довольно странно.

— Особенно для человека,— сухо уточнила Айлин,— который вот уже пять лет не ходил ни в молельню, ни в церковь.

Джеки приподнялся и, протянув руку, тронул гостя за колено.

— Майло! Можешь ты мне объяснить, каким к черту образом даже один ангел может устоять на кончике иглы, не говоря уж о тысяче?

— Ответь профессору, — прошипела Айлин.

— Ну,— начал Майло, немного смущенный и не вполне уверенный, что эта пара его не разыгрывает,— если ты серьезно спрашиваешь, то ответ, конечно, заключается в том, что ангелы — это в чистом виде духи. То есть я хочу сказать: они способны проходить сквозь стены, сквозь полы и потолки. Я хочу сказать, у них ведь нет ни длины, ни ширины, ни глубины. Я хочу сказать, что они в полном смысле слова бестелесны.

— То есть ты хочешь сказать,— уточнила Айлин,— что у ангелов нет ног.

— Ну,— сдался Майло без большой охоты,— пожалуй, что в общем так.

— Профессор,— сказала Айлин, протяжно вздохнув,— сейчас тебя спросит, как же они могут стоять, если у них нет ног?

Майло беззаботно рассмеялся. Он повернулся к Джеки. Он любил объяснять непонятное, из-за этой своей любви он и стал учителем.

— Все очень просто, Джеки. Позволь, я тебе объясню. Видишь ли, когда ты говоришь «стоят», ты ведь не имеешь в виду, что они «стоят» на самом деле. Такие вещи нельзя понимать буквально. К примеру, ты прекрасно знаешь, что, когда мы говорим «вознесся на небеса» или «был низвергнут в ад», ты не подразумеваешь под этими словами движение вверх или вниз, это ведь не то же самое, что подниматься или спускаться по лестнице. Точно так же и все остальное. Ведь не представляешь

---

[1] Монахи ордена, основанного в V веке в Константинополе.

ты себе господа бога старцем с бородой и бакенбардами? Ты меня понял?

Его уверенность внезапно испарилась. Джеки взирал на него холодным взглядом — вероятно, главарь шайки так глядит на одного из бандитов, многословно объясняющего ему, как получилось, что он выходил вчера в полдвенадцатого ночи из полицейского участка под ручку с прокурором.

— Айлин, ты-то хоть меня понимаешь? Я имею в виду, что стоит нам заговорить о вещах такого рода, как в нашем воображении возникают картины, сбивающие нас с толку. Но, конечно,— добавил Майло, плавно взмахнув рукой,— это вовсе не означает, что рождающиеся в нашем воображении картины хоть в какой-то степени реальны. Ведь не думаем же мы, что у ангелов действительно есть крылья в самом буквальном смысле этого слова и все такое прочее, верно?

Он заискивающе улыбнулся, ожидая, что она одобрительно улыбнется в ответ.

Она не улыбнулась. Она смотрела на него печально. Потом перевела взгляд на Джеки.

— Продолжайте, профессор!

— Тем не менее, Майло,— продолжал Джеки,— я полагаю, никто из нас не станет отрицать тот факт, что ангелы способны согрешить.

— Что говорить, они и в самом деле согрешили однажды,— согласился Майло довольно спокойно, но у него подозрительно забегали глаза.— Падшие ангелы и так далее. Мильтон,— добавил он с отсутствующим видом.— «Потерянный рай».

— Ну, и каким образом,— вопросил Джеки с учтивым любопытством,— ты полагаешь, они согрешили? Без ног и всего прочего?

— В помыслах своих! — отчаянно выкрикнул Майло.

— Ясно,— сказал Джеки.— В своих помыслах.

Воцарилось долгое молчание. Айлин пришла на помощь бедняге гостю: «Бутылочку портера, Майло?» — точь-в-точь как секундант на ринге, который после десятого раунда говорит боксеру, мечтающему только о том, чтобы никогда на этот чертов ринг не возвращаться: «Глоточек бренди?»

Майло ответил, что да, спасибо, он выпил бы, огромное спасибо, бутылочку портера, да, если таковая найдется. Айлин пошла за портером и по дороге к двери слышала, как Майло говорит ее «герою», что действительно существует множество вещей, постичь которые нам, простым смертным, трудно а Джеки снисходительно соглашается... и затем:

— Возьмем хотя бы Эдем!

Когда она вернулась в спальню с подносом, она увидела две головы, низко склонившиеся над черным томом — и больной и гость внимательно читали текст. Она заметила также, что у Майло сейчас гораздо менее веселый вид, чем четверть часа назад, когда он столь бодро прошествовал в эту комнату.

Майло не показывался к ним несколько дней, а потом в один прекрасный вечер вдруг нагрянул. Он пробыл в спальне, болтая о том о сем, не больше десяти минут, когда в дверь позвонили. Айлин пошла отворять и вернулась в сопровождении отца Милви. Она ввела его преподобие в комнату, и пока он и Майло приветствовали друг друга с таким изумлением, словно не виделись по меньшей мере полгода, повернулась к мужу и, встретившись с ним глазами, слегка ему подмигнула. (У них в приходе любили пошутить насчет фирмы «Малви и Милви».) Отец Милви был аккуратный маленький человек, всегда опрятный и чистенький, словно только что полученная из прачечной манжета; аккуратный, жизнерадостный маленький человечек — пожалуй, это было бы исчерпывающим описанием, если бы не глаза: они косили и придавали ему несколько загадочный вид. Он поздоровался с сердечностью, принятой при посещении больных. Айлин спустилась вниз за бутылкой виски, а когда вернулась и налила всем по рюмке, в том числе и себе, заняла привычную свою позицию, облокотившись о спинку кровати, и стала ждать, как подберется его преподобие к райским кущам. Он сделал это очень просто.

— Ух ты, что это у тебя за книжища, Джеки? Надеюсь, не из тех, что издают в Америке, где все слова из одного слога, а картинок столько, словно Ватикан стал Голливудом. Ну что же, господь свидетель, давно тебе пора проявить хоть каплю интереса к чему-нибудь, кроме лошадей.

Джеки с такой же простотой парировал его выпад. Он оттолкнул книгу в сторону и небрежно сказал:

— Так быстрей проходит время, отец мой.

Наступила короткая пауза. Потом Майло без обиняков приступил к делу:

— У него были кое-какие недоумения на днях, отец, по вопросам, касающимся Эдема. Говоря по правде, они и меня поставили в тупик.

— О, в самом деле?— сказал крошка священник. Он издал при этом бодрый смешок.— Лиха беда начало, так ведь говорят? Ну, что же вас смущает?— спросил он Джеки, и Айлин увидела, как его рука медленно двинулась к карману и вытащила кончик бледно-зеленой брошюрки. Она отчетливо представила себе, как он с изумлением произносит: «Поразительное совпадение...»

— Да ничего особенного,— сказал Джеки.

— Что же это все-таки?

— Ад!

Отец Милви стрельнул глазами в сторону Майло. Взгляд этот отчетливо говорил: «Речь шла об ангелах, если я тебя правильно понял». Его рука потянулась к стакану. Он улыбнулся Джеки.

— Более удачной темы в твоем положении, Джеки, просто нельзя себе представить. Слышал ты когда-нибудь историю, как один старикан помирал и священник сказал ему: «Ну, Майкл, теперь-то наконец ты отрекаешься от сатаны?» И вы знаете, что ответил ему старикан? «И хотелось бы, отец мой,— сказал он с тревогой,— да боюсь, сейчас мне лучше бы ни с кем не ссориться!»— Отец Милви подождал, когда утихнет смех, и спросил как ни в чем не бывало:— Так что там насчет ада?

— Адское пламя!— сказал Джеки.— Вот нистолечко в него не верю.

Лицо его преподобия потемнело. Одно дело — помогать смиренным и совсем другое — когда гордыня становится на твоем пути. В его голосе зазвучали ядовитые нотки.

— Полагаю,— сказал он,— тот старикан, о котором я вам только что рассказал, был несколько благоразумнее в вопросе об адском пламени.

Его ирония обидела Джеки.

— Нет никакого адского пламени! — выпалил он.

— Да, конечно, мистер Нисон, если вам угодно опровергать общеобязательные богословские положения! Но если вы уж так мудры, то как вы соизволите истолковать, к примеру, такие слова: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его»?

— Ангелам? — спросил Джеки и поднял брови.

Тут поспешно вмешался Майло:

— Я полагаю, отец, Джеки волнует вопрос о бестелесности ангелов, о том, что они духи в чистом виде.

— Ну, и что тут такого?

Джеки, чья деликатность не знала пределов, опустил глаза и стал смотреть в стакан.

— Признаюсь, мне трудно уловить, в чем заключаются ваши сложности,— продолжал его преподобие, и так как неугомонный Майло уже приготовился вмешаться вновь, остановил его мановением руки:— Нет, Майло! Мне хотелось бы послушать, что говорит наш доморощенный теолог.

— Ох, да ничего особенного, отец мой,— смиренно молвил Джеки.— По-моему, все очень просто, если только я вас правильно понял. Если только... Так вот. Духи в чистом виде, говорите? А огонь настоящий? То есть могут они его, так сказать, ощущать?

— Цыц!— крикнул отец Милви.— Суарес[1]...— Он запнулся. Давненько не читал он своего Суареса.— Ориген[2].. — начал он. И снова замолчал. В Оригена он не заглядывал и того дольше. Он с минуту поколебался, затем опять превратился в симпатичного маленького человечка. Его лицо расплылось в благожелательной улыбке.— А скажи-ка ты мне, Джеки почему это вообще интересует тебя?

— Да просто время так быстрее проходит, отец.

Отец Милви засмеялся.

— Ты похож на одного человека... это хорошая история, мне ее рассказали на днях.

Айлин выпрямилась. Она знала, что теперь все пойдет без сучка, без задоринки.

Майло появился только на пятый день. Джеки показалось, что под глазами у соседа черные круги, но он решил об этом промолчать. Собственно, он и не успел бы ничего сказать: Майло швырнул ему на кровать шляпу, сел на стул, наклонился вперед, опершись ладонями о колени, и уставился на Джеки пронизывающим взором. Вообще-то Майло — такой пухленький, самоуверенный толстячок; ротик маленький, губки сложены безмятежно, как у ребенка, который вот-вот засвистит; мысли его находятся в столь же образцовом порядке, как три ручки в нагрудном кармане, каждая с цветным пятнышком, обозначающим цвет пасты. Но сегодня ничего похожего. Джеки взглянул на его изборожденный морщинами лоб, на глубокие складки, ведущие от ноздрей к уголкам рта, и подумал: уж не наклюкался ли он?

— Джеки!— сказал Майло решительным тоном.— Я хочу поговорить с тобой насчет ада.

— А ну его!— беспечно отмахнулся Джеки.— Мура собачья, не о чем там говорить. Ты мне уже все объяснил. Это все фигурально.— И, меняя тему, он приподнялся на кровати и похлопал Майло по толстому колену.— Теперь послушай-ка ты меня, Майло, приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что антипапы...

Майло поперхнулся. Откинулся на спинку стула.

— Стой!— заговорил он плачущим голосом.— Сперва ангелы. Потом падшие ангелы. Потом ад. А теперь пошли антипапы. Держись ты, Христа ради, чего-нибудь одного. Меня, например, чертовски волнует проблема ада.

— Плюнь ты на нее,— успокоительно произнес Джеки.— Такие вещи нельзя понимать буквально. В смысле огонь там, пламя и все прочее.

— Но отец Милви говорит, а он прочел об этом в своих книгах, что именно буквально-то и надо все понимать. Бог ты мой, да это же краеугольный камень христианского учения. Все эсхатологические концепции в текстах, относящихся ко времени после вавилонского пленения евреев...

— Ты слишком много об этом думаешь,— сердито сказал Джеки.

— Много? — Майло задохнулся от возмущения, и его круглые глазки запылали.— Да я четыре дня и четыре ночи ничегошеньки не делаю, только думаю об этом! У меня от этих мыслей шарики за ролики зашли!

— Я скажу тебе, как я считаю,— доверительно произнес Джеки.— Ад, конечно, существует, я в это верю, но в нем никого нет, ни души.

— То же самое утверждает отец Конрой!

— А это еще кто?

Голос Майло стал угрюмым. Он неохотно пояснил:

— Иезуит. Отец Милви консультировался с ним по этим вопросам. Но отец Сатурнинус говорит...

— Сроду о таком не слыхивал. А этого где откопали?

— Он капуцин, читает проповеди на этой неделе в церкви святого Гавриила. Их там трое капуцинов каждый вечер. Сам знаешь, в таких проповедях коронный номер — рассказ о геенне огненной. Из носа грешника вылетает огонь, из глаз — огонь, из ушей — огонь, он протягивает руки, моля плеснуть хоть каплю холодной воды... картина тебе известная! Учти, я этого не одобряю! Но пронимает это безотказно даже самое заядлое хамье, какое ничем другим не прой-

---

[1] Франсиско Суарес (1548—1617) — испанский теолог и философ.

[2] Ориген (ок. 185—253/254) — христианский теолог, философ, филолог, жил в Александрии.

мешь. Так вот, отец Сатурнинус говорит, что все эти споры да разговоры сбили его с панталыку. Ты представь себе! Каждый вечер люди ждут, что им расскажут про геенну огненную, а Сатурнинус влезает на кафедру, зная, что они этого ждут, и зная, что рассказать он ничего не сможет. Он, конечно, запросто мог бы описать им ад как такое унылое, пустынное, заброшенное место, где все стонут и молят показать им хоть на секундочку рай, а увидеть рай у них нет ни малейшей надежды, но ведь ты же знаешь не хуже меня, что в аду должен быть огонь, навалом, много, а иначе он не стоит ни черта.

— В чем дело?— раздраженно сказал Джеки.— Я-то как могу тебе помочь? Если тебе угодно верить, что там пылает огонь и пахнет серой...

Майло схватил его за руку.

— Джеки,— прошептал он,— я совсем в это не верю, вот ни столько!

— Так чего же ты психуешь?

— Я психую потому, что не могу в это поверить! Я был счастлив, пока верил во все это! Я хочу в это верить!

Джеки возмущенно вскинул руки.

— Как же ты не понимаешь, Джеки, если ты не веришь в ад, ты не веришь в чертей, а если ты не веришь в чертей, то ты и в рай не веришь...

Он снова испуганно зашептал. Схватил Джеки за руку. Джеки уткнулся в грудь подбородком и вдавился спиной в подушки, отстраняясь от этих бешеных глаз, придвигавшихся к нему все ближе, целившихся в него, как пули.

— Джеки!— воззвал Майло.— А яблоко — это что?

— Метафора!

Майло раскинул в жесте отчаянья руки, вскочил, схватился за голову и расхохотался замогильным хохотом: «Ха-ха-ха!»— как театральный злодей. Затем своим обычным голосом он спросил:

— Ты можешь съесть метафору?

Это было сказано с подчеркнутой любезностью.

— Там никто ничего не ел. Это тоже метафора, так же как ангелы, у которых нет ног

— Я полагаю, ты хочешь этим сказать,— произнес Майло с ласковой и учтивой улыбкой и деликатно пожал широченными плечами регбиста,— что у Адама не было рта?

— Адам — тоже метафора,— бесстрастно изрек Джеки.

— Я сойду с ума!— взвизгнул Майло так громко, что Джеки уже начал вылезать из постели, чтобы позвать Айлин, но тревога миновала так же быстро, как возникла. Майло сразу сник и теперь улыбался бледной улыбкой.— Прости, старина,— сказал он придушенным голосом, как пансионерка, которая, прогуливаясь по берегу Амазонки, вдруг наступила на анаконду.— Что-то нервы расходились в последние дни. Плохой признак. Скорей бы конец всему этому. И что самое плохое, отец Милви говорит: виноват во всем только я — незачем держать в доме такие книги. Да еще тебе почитать дали. О господи, ну зачем мы дали тебе эту книгу! Господи, зачем она вообще у меня оказалась!

Джеки вытащил злосчастную книгу из-под пухового одеяла и вернул владельцу.

— Забери ее,— сказал он.— Мне она осточертела. Кишмя кишит всякими «тот сказал», «этот сказал». Детектива хорошего у тебя не найдется?

— Но Джеки! Как же нам быть с геенной огненной?

— Забудь о ней! — сказал Джеки.— Айлин!— рявкнул он.— Притащи-ка нам бутылку виски.

— Нет, спасибо,— сказал Майло, с мрачным видом встал и сунул под мышку зловещий том.— Сегодня вечером меня навестит отец Милви, и нам с ним предстоит довольно неприятный спор.— Он жалобно посмотрел на Джеки:— А ты отлично выглядишь!

— Еще бы мне не выглядеть — живу, как бог!

— Что ж, это хорошо,— кисло выдавил из себя Майло и медленно пошел к дверям.

Вскоре снизу поднялась Айлин и принесла бутылку виски, два стакана и большую красную книгу.

— Что это?— настороженно спросил Джеки.

— Майло принес для тебя. Это «Тысяча и одна ночь». Он сказал, чтобы мы не показывали ее отцу Милви. Говорит — там такие картинки, от которых у тебя подскочит давление.

Джеки хмыкнул. Он смотрел, как Айлин наливает виски.

— Подойди-ка сюда, Айлин,— сказал он, задумчиво глядя на стакан.— Не приходило ли тебе когда-нибудь в голову...

— Ну, что еще придумал?— грозно спросила она и придержала стакан.

— Я только хотел спросить,— проговорил он кротко,— не приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что донышко бутылки отстоит слишком близко от горлышка?

Она окинула его одним из тех строгих и в то же время любящих взглядов, на которые способны только жены, и долила полдюйма ему в стакан.

— Чудище ты старое,— сказала она нежно и принялась поправлять ему на ночь постель. В знак одобрения она не унесла с собой бутылку.

Оставшись наконец один, Джеки открыл огромный красный том. Он стал листать его, принюхиваться, так сказать. Потом он начал его смаковать. Вскоре он себя не помнил от блаженства. Он, как в гнездышке, устроился среди подушек и, одной рукой переворачивая страницы, а в другой держа стакан, вступил в «Тысячу и одну ночь». Благодаренье богу, чего-чего, а ног тут было в изобилии. Около полуночи он слегка приподнял штору взглянуть, какая нынче ночь. Взгляд его случайно упал на освещенное окно гостиной Майло Малви, расположенной прямо через газон против его спальни: богословский диспут был в разгаре. Джеки перевел взгляд на ночное небо. Была прекрасная, теплая, ясная майская ночь. Среди мириад звезд одна яркая звездочка смотрела прямо на него. Да, много чего есть на свете... Он с наслаждением вернулся к дочери великого визиря. В его руке был полный до краев стакан.

◆

Издано в СССР

ВОПРЕКИ «БЕЗУМИЮ И ЗАБЛУЖДЕНИЯМ»

Август Стриндберг. Избранные произведения в двух томах. Вступительная статья В. Неустроева, комментарии Е. Соловьевой. Москва, «Художественная литература», 1986.

В биографии Стриндберга много загадок, которые до сих пор являются предметом изучения для литературоведов. Одна из них — миф о Стриндберге-женоненавистнике, который некоторое время был препятствием на его пути к русскому читателю.

Тем не менее Стриндберга знали в России еще в 80-е годы прошлого века. Сначала как историка и автора пояснений к карте, составленной шведским этнографом Ренатом и вышедшей в Петербурге в 1881 году. Тогда Стриндберга удостоили большой серебряной медали за заслуги в изучении русской географии. Вот, кстати, еще одна из загадок: сын коммерсанта и служанки, по ряду семейных и материальных обстоятельств не сумевший закончить Упсальский университет, Стриндберг во всех произведениях — а жанровый диапазон их чрезвычайно широк: романы и новеллы, публицистика и сказки, драмы и очерки, стихи и эссе — проявлял незаурядную, энциклопедическую образованность.

Примечательно, что Софья Ковалевская, современница Стриндберга, в 80-е годы профессор математики Стокгольмского университета, в письмах в редакцию «Русской мысли» настоятельно рекомендовала его произведения и считала «превосходным» его роман «Жители острова Хёмсё» (1887).

В одном из писем к друзьям Стриндберг писал с болью и иронией: «...Я погибал в Риме, был освистан в Неаполе, взошел, подобно солнцу, в Копенгагене, зашикан в Берлине... но тотчас же вынырнул в Москве... Нет, я неистребим!»

«Вынырнув в Москве» в 90-е годы, Стриндберг сразу обрел популярность. Л. Н. Толстой считал его «основательным» психологом Чехов разглядел в нем «замечательного писателя», наделенного «силой не совсем обыкновенной». Горькому Стриндберг — «романист и новеллист» — доставил «много высоких наслаждений и многому научил». Блок после спектакля «Преступление и преступление», поставленного Мейерхольдом в 1912 году, сравнивал шведского писателя с Софоклом. А в некрологе «Памяти Августа Стриндберга» писал, что «у него не может быть никаких наследников, кроме человечества», что «он — менее всего конец, более всего — начало». Короленко осудил драму «Соната призраков», упрекнув писателя в «заигрывании с модернизмом», но в реалистических произведениях нашел «и поэзию, и самую реальную правду».

Требовавший абсолютной верности действительности, возражавший против беспредметной красивости, «изнеженного, болезненного, фальшивого идеализма» — таким был Стриндберг. И таким он предстает современному советскому читателю. Роман «Красная комната» (1879), который современники писателя назвали перчаткой, брошенной обществу прямо в лицо, фактически открыл эпоху социально-психологического реализма в шведской литературе. Одновременно это — произведение, принесшее Стриндбергу первый успех на родине. Герой «Красной комнаты», начинающий литератор Арвид Фальк, во многом автобиографичен. Сам Стриндберг испытал унижения и отчаяние бедности, учительствовал в школе, давал частные уроки, занимался медициной, пробовал себя в качестве актера, редактировал страховую газету, правил журнальную корректуру. Вслед за Стринд-

бергом и его герой проходит все круги ада во имя высшей цели — служения литературе. Но и в богемном образе жизни завсегдатаев ресторана «Красная комната» — художников, актеров, журналистов, ученых, предающихся юношеским грезам об абсолютной индивидуальной свободе,— писатель не находит радикального решения проблемы. Их вызов бюрократии, стяжательству, лицемерию оказывается несостоятельным, иллюзии — утраченными. Карикатурно, гротескно изображая государственный аппарат, риксдаг, мир дельцов, прессу, дам-благотворительниц, Стриндберг не жалеет сатирических красок и для создания группового портрета молодых интеллектуалов, потерпевших крах в поединке с окружающим их продажным, бездушным обществом.

Эпический размах и психологическая глубина отличают роман «Жители острова Хемсё». В центре произведения — характерный для скандинавской литературы конфликт деятельной, энергичной натуры с косной обывательской средой, для которой непреложна истина: «смерть одного — хлеб для другого». Здесь Стриндберг ожесточенно критикует современный ему институт религии и духовенства.

Из известного цикла «швейцарских новелл», созданного во время пребывания в Швейцарии, когда Стриндберг внимательно читал Сен-Симона, Фурье, К. Маркса, а также познакомился с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и даже собирался перевести его на шведский, в двухтомник включена новелла «Муки совести» (1885). Здесь пафос Стриндберга направлен против войны как таковой — бессмысленной кровавой бойни. Впечатляет судьба главного героя — рафинированного эстета и ученого, прусского офицера, расплачивающегося безумием за вольно или невольно совершаемые им преступления.

Параллельно «швейцарским» писатель создавал еще один цикл новелл, вошедший в двухтомник, «Браки» (1884—1886). Этот цикл — ключевой в творчестве Стриндберга, он-то и принес ему «лавры» женоненавистника. Сам писатель подчеркивал, что «нападает не на женщину, а на институт брака, каковым он предстает в современных условиях», на «галантерейную эмансипацию». С сочувствием описывает Стриндберг историю краха счастливой молодой семьи, не справившейся с материальными тяготами («Любовь и хлеб»), рисует тонкий психологический портрет самовлюбленного эгоиста Блума, ставшего «образцовым» мужем и отцом («Исполнение долга»). Волшебный хмель прошлого пьянит героев новеллы «Осень», но воскресить былую любовь, угасшую в суровой прозаической повседневности, им так и не удается. В новеллах «Кукольный дом», «Поединок» впервые возникает тема антагонизма, демонического соперничества мужчины и женщины.

Мотив войны полов обостренно звучит в драмах «Отец» (1887) и «Фрёкен Жюли» (1888). В «Отце» эту войну проигрывает мужчина, во «Фрёкен Жюли» — женщина. Цена проигрыша — смерть. Эта тема будет развита позже в так называемых натуралистических и некоторых поздних символических драмах, в автобиографических романах «Сын служанки» (1886—1887), «Слово безумца в свою защиту» (1895), «Готические комнаты» (1904), «Черные флаги» (1907).

В пьесах 80-х годов Стриндберг пытался «осовременить» театр, обновить понятие характера на сцене, преодолеть традиционную композицию, устранив разделение на акты. Стриндберг мечтал о таком театре, где не будет ослепительных декораций, неправдоподобных монологов, избитых сценических приемов, о театре, где можно ужасаться ужасному, смеяться смешному, где свобода предоставлена всему, кроме бездарности, лицемерия и глупости.

Роман «Слово безумца в свою защиту» — одна из вершин в творчестве Стриндберга. Написанный на французском языке и лишь после смерти автора переведенный на шведский, он принес ему международную известность и был признан и современниками, и последующими поколениями читателей одним из наиболее выдающихся романов о любви в мировой литературе. Герой романа-исповеди обнажает трагизм брачного союза, в котором мужчина не хочет расстаться со старомодными патриархальными представлениями, а женщина уже не может ограничивать себя интересами мужчины. Ад социальной, нравственной, сексуальной извращенности буржуазной семьи, крайние, уродливые формы «эмансипации» в «эпоху бесполых существ», изображенные в романе, далеко не утратили своего значения и ныне.

В книге «Судьбы и приключения шведов» (1882—1904), из которой в двухтомник отобраны новеллы «Высшая цель», «Триумф», «Последний выстрел», «Ночное бдение», Стриндберг обращается к событиям датско-шведских войн XVII века, Тридцатилетней войны (1618—1648), к обстоятельствам убийства короля Карла XII, которого писатель называл «злым гением Швеции, великим преступником, идолом головорезов, фальшивомонетчиков». В новелле «Ночное бдение», как и в исторической драме «Карл XII» (1901), Стриндберг придерживается нетрадиционной версии гибели Карла XII, согласно которой король был убит не вражеской пулей, а застрелен самими шведами.

В баснях и притчах «Священный бык, или Торжество лжи», «Здоровая кровь», «Детская сказка», «Сказание о Сен-Готарде», «Листок бумаги» Стриндберг выступает как наследник традиций Х.-К. Андерсена, его концепции «жизни как сказки».

Из цикла исторических пьес Стриндберга в двухтомник включена драма «Эрик XIV» (1899). В основу пьесы положен реальный исторический факт — одержимый манией преследования король Эрик XIV вызвал недовольство шведской знати и народа, в 1568 году был свергнут с престола братом герцогом Юханом и пожизненно заточен в замок Грипсхольм. Стриндберг, очевидно, разделял концепцию тех историков, которые сомневались в психической болезни короля, считая ее гамлетовской маской. В его интерпретации Эрик XIV — натура безвольная, сентиментальная, меланхоличная, не могущая соответствовать роли монарха.

«Эрик XIV» — заключительная часть необъятного эпоса, трилогии о Васах — имел счастливую сценическую судьбу в Швеции и за ее пределами. «Эрика XIV» поставил

Е. Б. Вахтангов в Первой студии Московского Художественного театра в марте 1921 года, а роль короля-неудачника исполнял Михаил Чехов.

Одна из пяти «камерных» пьес, «Соната призраков» (1907), характерна для позднего творчества Стриндберга. Это — символико-экспрессионистская драма, действие которой происходит на грани реальности и фантастики. Здесь, в отличие от исторических «драм характеров и катастрофы», Стриндберг разрушает понятия сценической коллизии и героя. Заимствуя принцип построения бетховенской сонаты, драматург делит пьесу на три части. Студент-идеалист Аркенхольц и нажившийся на чужих бедах старик ростовщик Хуммель ведут две основные темы. В мрачной фантасмагории, разыгрываемой привидениями, Стриндберг в иносказательном ключе разоблачает атмосферу «обмана, греха и фальши», пропитавшую человеческие отношения. В финале пьесы звучит нота надежды и уверенность, что, по словам писателя, «мы вырвемся из того мира безумия и заблуждений, в котором живем».

Этой надеждой пронизано все творчество Августа Стриндберга, художника мятежного, нервного, увлекавшегося самыми разными философскими учениями — от социализма до буддизма,— но всегда стремившегося преодолеть «пустыню разрушения».

Будем надеяться, что двухтомник Стриндберга принесет радость встречи с его творчеством не только читателям, но и зрителям. Пьесы, включенные в состав избранных произведений, достойны занять свое место в репертуаре наших театров.

К. МУРАДЯН

ПОМНИ ИМЯ СВОЕ...

Януш Красинский. Сын Валленрода. Роман. Перевод с польского М. Васильева и Л. Волгина. Послесловие М. Игнатова. Москва, «Радуга», 1985.

Без преувеличения можно сказать, что польскую литературу о второй мировой войне советский читатель знает. Знакомство это постоянно обогащается новыми произведениями, потому что польские писатели вновь и вновь обращаются к неисчерпаемой теме уроков прошлого. Теперь к известным нам книгам добавился роман Януша Красинского «Сын Валленрода», символическое название которого вызывает в памяти ассоциации многообразные и сложные.

...В начале 1828 года в Петербурге была издана поэма Адама Мицкевича «Конрад Валленрод». Как ни тщательно было замаскировано патриотическое содержание поэмы, оно не могло укрыться ни от друзей, ни от недругов поэта

Герой поэмы Вальтер Альф в раннем детстве остался сиротой и попал в руки врагов. Он вырос в среде крестоносцев, но судьба столкнула Вальтера с литовским народным певцом Хальбаном. Песнями и рассказами Хальбан сумел пробудить в сердце юноши любовь к родной Литве и ненависть к ее поработителям. Одержимый страстным порывом спасти родину, Вальтер проникает под именем Конрада Валленрода в орден крестоносцев. Он настолько смел и решителен, что вскоре его избирают магистром ордена, но планы героя разоблачены, и Конрад Валленрод погибает..

Поэма Адама Мицкевича по праву считается одним из непревзойденных образцов польского романтизма. Здесь особенную важность приобретает не только вообще присущий романтической литературе конфликт героя-одиночки с противостоящим ему миром несправедливости и зла, но трагедия человека, всеми помыслами причастного к трагедии своего народа. Однако романтический подвиг Конрада Валленрода-патриота несет в себе печать жертвенности: исключительная личность, пытающаяся противостоять врагу в одиночестве.

В наши дни подобное изображение человеческой судьбы невозможно вне реалистически выверенной основы. Исключительность героя сегодняшнего должна быть заслужена объективно — той ролью, которая ему принадлежит в истории.

Януш Красинский нашел своего героя в Силезии, отошедшей к Германии после фальсифицированного плебисцита 1921 года, в небольшом пограничном городке Бытоме. Герой — реальное лицо. Создавая образ подлинного духовного «сына Валленрода», Красинский органично соединил документ с художественным вымыслом: в советских военных архивах сохранилось немало материалов, связанных с партизанской деятельностью поляка-силезца Станислава Шваленберга (в романе — Альтенберга), насильно мобилизованного в вермахт и при первой возможности перешедшего на сторону советских партизан. «Занимаясь диверсионными работами, взорвал пять эшелонов противника, сжег дивизионный продовольственный склад в г. Шепетовке, уничтожил 6000 тонн продовольствия. Вывел 30 военнопленных, с которыми забрал склад вооружения...» — узнаем мы из боевой характеристики Шваленберга.

Подвиги Станислава Шваленберга напомнили Красинскому о личности легендарного героя. Даже за скупыми строками боевой характеристики прорисовывается образ человека, по духу близкого Валленроду. Поиски повели Януша Красинского к самым истокам, и оказалось, что подобное сближение словно продиктовано самой жизнью, самим «биографическим» сходством литературного героя и реального человека. Там и здесь — детство, проведенное в чуждой немецкой среде, психологическая раздвоенность, порожденная тем, что «быть здесь и там одновременно: в родном городе и в родной стране – нельзя. Две эти привязанности не примирить». Чем сильнее ощущается близость войны — тем болезненнее становится эта раздвоенность героя, тем больше крепнет чувство привязанности к родному городу с такой непростой судьбой.

Дальнейшая биография Станислава Альтенберга так же близка к литературному «прообразу»: и переход на сторону борцов против поработителей, и разрушительная деятельность в стане врага, и чувство высокого патриотизма и жертвенности, и, нако-

нец, мученическая гибель за родину... Но Януш Красинский не просто использует сюжетно-композиционную схему, по которой выстроена поэма Адама Мицкевича, не только прочерчивает контуры реального исторического события по готовым лекалам классического произведения. У современного польского писателя — конкретная и очень непростая задача осмысления сравнительно недавних уроков прошлого.

Польская художественная литература о второй мировой войне имеет определенную «школу», вне значительных достижений которой невозможно сегодня прикасаться к военной проблематике. Это относится в первую очередь к тому огромному пласту художественного освоения действительности, который был открыт так называемым «поколением Колумбов». О них справедливо вспоминает в послесловии к роману Красинского М. Игнатов. Но думается, причислять Красинского к этому поколению — неправомерно. К началу второй мировой войны Янушу Красинскому было одиннадцать лет — он был подростком, харцером, ушедшим в подполье. С первых дней войны харцеров рассматривали как резерв только еще возникающего Сопротивления, и хотя они наравне со взрослыми принимали участие в Варшавском восстании, им, справедливо отмечает М. Игнатов, было «не дано испытать глубокой встряски после капитуляции и вызванного ею душевного кризиса». Это — одно из существеннейших свойств, определяющих и эстетику, и «угол зрения» Красинского, резко отличающих его от поколения Ежи Стефана Ставинского и Анджея Билинского, Тадеуша Ружевича и Кшиштофа Камила Бачинского..

В отличие от своих предшественников Красинский более всего обеспокоен поисками подлинно положительного героя, которому несвойственны сомнения в правильности пути и склонность к самоанализу. Именно этими чертами наделяется Станислав Альтенберг. От своего прототипа, силезского юноши Шваленберга, он унаследовал биографию; от легендарного Конрада Валленрода — судьбу национального героя.

В послесловии приведены слова Красинского о той «огромной дистанции», которая «отделила его личный опыт от опыта главного героя книги, представителя польского национального меньшинства третьего рейха». Польский писатель затронул здесь совершенно обособленный пласт мировосприятия.

В небольшой по объему довоенной части повествования Януш Красинский сжато, ярко и сильно нарисовал быт и деятельность поляков, лишенных Польши; жизнь «немецкой Полонии»— трагическое, двойственное бытие, формирующее трагическое, двойственное сознание. С особенной силой ощущают эту раздвоенность Альтенберг и его друг Дукель во время экскурсии в Варшаву.

«Несколько незабываемых дней на желанной родине. Хорошо подышать польским воздухом.. полились звуки национального гимна Перехватило горло Они стояли как зачарованные, не в силах проронить ни слова.. Как они завидовали тем, кто мог видеть эту церемонию каждое воскресенье!..»

Сознание своей отторженности от самого дорогого, невозможность покинуть «малую» родину во имя «большой» и совсем недалекой, необходимость считаться немецкими гражданами, будучи поляками по рождению, воспитанию, по убеждению, наконец,— эти черты проявляются и у эпизодических персонажей повествования Красинского — членов отряда младших харцеров. Даже малышей осеняет романтическая сила легендарного Конрада Валленрода...

А когда становится ясно, что война на пороге, что не сегодня-завтра «беззаконие станет всеобщим непреложным законом, насилие — всеобщей обязанностью», судьба сталкивает Станислава Альтенберга с еще одним проявлением трагедии силезских поляков.

В ожидании прихода гестаповцев Дукель просит Альтенберга спрятать нечто очень важное. «Станислав открыл папку и остановил взгляд на первой странице: «Доказательства польского характера Силезии». Это были вырезанные из немецких газет объявления поляков, которые под давлением немецкой администрации были вынуждены изменить свои фамилии... Сколько же крылось за ними человеческих трагедий, сколько же этим людям довелось испытать мук нищеты, голода, безработицы, страха перед нацистскими громилами, страха за свое имущество, а порой и за свою свободу или даже жизнь, прежде чем они приняли столь унизительное решение! Он сам частенько задумывался, откуда у него немецкая фамилия. Отец — поляк до мозга костей, последним его желанием было, чтобы дети воспитывались в польском духе. Так, может, подобно тем, в минуту душевного надлома, слабости... Впрочем, это мог сделать и не отец, а дед или прадед».

Гордиев узел судьбы... Поляки Верхней Силезии вряд ли воспринимали это выражение как метафору, оно становилось сутью их бытия. И потому финал романа Красинского — гибель Альтенберга — поднимается до высокого обобщения: он вновь возвращает нас к поэме Адама Мицкевича, как бы распахивая окна в далекую историю подвига, навсегда сохраненного памятью народа...

Януш Красинский написал роман, представляющий собой не литературную парафразу, не историческую аллюзию, а реальное осмысление уроков недавнего прошлого, прямо соотнеся их с современной ситуацией. Поэтому «Сын Валленрода» — политический роман с отчетливо выраженной тенденцией: Станислав Альтенберг, несмотря на романтическую приподнятость, не герой-одиночка, он один из многих. Рядом с ним живут, борются и гибнут врач Федор Федорович Леонов, медсестра Люся, украинская семья Воронюков, польский крестьянин пан Кущ... История знает немало примеров того, как, вдохновленные образами легендарных героев, обыкновенные юноши и девушки совершали подвиги. Но Януш Красинский избирает иной «ход» — прослеживая эволюцию своего героя от неосознанного чувства национального достоинства до сознательного, высокого патриотизма, писатель исследует корни духовной преемственности нации, органичность романтического мировосприятия и поведения в экстремальных условиях. Несмотря на необычность избранного писателем ракурса в трактовке

коллизий военного времени, роман «Сын Валленрода» продолжает тему, заявленную Янушем Красинским с первых его произведений

Красинский известен в нашей стране как один из авторов сценария советско-польского художественного фильма «Помни имя свое». И хотя фильм по своему содержанию отличен от романа «Сын Валленрода», они неразрывно связаны общим пафосом звучания Кем бы ни был ты, человек, помни имя свое, помни землю свою. Ибо только тогда ты обретешь высоту духа..

НАТАЛЬЯ СТАРОСЕЛЬСКАЯ

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА РУССКИХ КЛАССИКОВ

Henry Luque Muñoz. Tras los Clásicos Rusos (Pushkin, Lérmontov, Gógol, Chéjov). Moscú, Ed. Progreso, 1986.

Колумбийский поэт и литературовед Энри Луке Муньос несколько лет прожил в Москве. Плодом знакомства с жизнью и культурой Советского Союза стал первый том задуманной им серии очерков «По следам русских классиков», который вышел ныне в издательстве «Прогресс» на испанском языке.

Книга, насчитывающая 267 страниц, посвящена Пушкину, Лермонтову, Гоголю и Чехову.

Четыре очерка, неодинаковые по объему, но в равной мере насыщенные, читаются с неослабевающим интересом.

Четыре гиганта русской литературы показаны живо и увлекательно; биографическая достоверность, глубокое размышление и поэзия сердца соединились в этой книге, которая, несомненно, станет для западного, прежде всего латиноамериканского, читателя добрым и надежным помощником в изучении русской классической литературы. По точности и обоснованности оценок, обилию сведений, неизвестных испаноязычной аудитории, работа Луке Муньоса является одним из лучших исследований культурного наследия СССР, принадлежащих перу латиноамериканца.

В свое время Пабло Неруда воспел в знаменитых поэмах о Сталинграде героизм советского народа, проявленный в грандиозной битве с нацистским варварством. Ныне колумбиец Луке Муньос успешно представляет нам крупнейших творцов великой литературной традиции русского народа.

В удушливой и мрачной атмосфере царизма засияли и угасли четыре светоча русской культуры. Пушкин и Лермонтов, хотя и исполнили свое великое предназначение, безвременно пали жертвами бессмысленного дуэльного ритуала, от руки недостойных противников, один в 37, другой в 27 лет

Все четыре очерка написаны Муньосом с большим тщанием, в полном соответствии с важностью задачи. Они — плод личного знакомства поэта с духовным богатством великого народа. Следующий том будет посвящен Тургеневу, Достоевскому и Толстому.

В недавнем интервью Луке Муньос рассказал о своей исследовательской работе над творчеством Пушкина: «Я прошел по дорогам, которыми ходил поэт, я беседовал с листками бумаги, на которых увидели свет его эпиграммы против царского самодержавия, его страстные призывы к свободе, его лирика, способная тронуть даже камни. Я видел, как его стихи освещают повседневную жизнь людей, я говорил с его потомками, я погружался в архивы, желая постичь смысл его поэзии, его высокой, трепетной и редкостной судьбы».

Нам, латиноамериканцам, с отроческих лет знакомы — в самых разных переводах — произведения авторов, о которых пишет Луке Муньос, и немало известно о тех социальных условиях, в которых жили, боролись и творили эти великие писатели, и нас потрясает их творчество. На страницах книги — их жизнь, жар их души, пропущенные сквозь сердце латиноамериканца. Голос Луке Муньоса помогает нам прочувствовать и осознать гениальный парадокс русской литературы: величие ее творцов и одновременно их человеческую простоту, их связь с повседневной жизнью народа. Этот грандиозный опыт питает нашу любовь к русской литературе, которая сама по себе — поистине целый космос лучших устремлений человечества.

ХАЙМЕ МЕХИА ДУКЕ,
Президент Национального союза писателей Колумбии, председатель колумбийского отделения Антиимпериалистического трибунала Латинской Америки

Издано за рубежом

ДЕЛИБЕС ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Miguel Delibes. Cartas de amor de un voluptuoso sexagenario. Barcelona, ed. Destino, 1983.
Miguel Delibes, El tesoro. Barcelona, ed. Destino, 1985.

Мигель Делибес. Любовные письма престарелого ловеласа, 1983.
Мигель Делибес. Клад, 1985.

Мигель Делибес — необычное явление в современной испанской литературе. Многое изменилось у него на родине с конца 40-х годов, когда был опубликован его первый роман «Кипарис бросает длинную тень», за который 28-летнему журналисту была присуждена премия Эухенио Надаля. Менялся политический уклад страны, после франкистской диктатуры Испания вступила на путь демократизации, другими стали обычаи и привычки — и это сказалось даже на языке, на котором говорят испанцы; сменялись литературные поколения, но Делибес оставался

верен себе, своей теме. Его звезда по-прежнему ярко и ровно сияет на испанском литературном небосклоне. Хотя он пишет все в той же внешне непритязательной манере добротного реализма, который, казалось временами, выходит из моды; хотя героями его произведений остаются все те же простые люди — крестьяне, домашние хозяйки, провинциальные учителя и журналисты,— каждое новое произведение писателя становится событием Книги его расходятся большими тиражами на родине, издаются за рубежом. По его произведениям ставятся пьесы (спектакль «Пять часов с Марио»[1] шел в Испании несколько сезонов, и с огромным успехом, а фильм по «Святым и безгрешным» побил все рекорды кассовых сборов, хотя в нем, как и в романе, нет никаких эффектов и острой занимательности).

Не меньший успех имеют и последние два романа Делибеса — «Любовные письма престарелого ловеласа» и «Клад».

Первое из этих произведений написано в старом, традиционном эпистолярном жанре, который, казалось бы, давно сдан в архивы времени. Однако писателю удалось вдохнуть в него новую жизнь, откликнуться на жгучие проблемы современной Испании...

Эухенио Саэнс Весилья, 65-летний пенсионер, в прошлом журналист, вступает в переписку с неизвестной женщиной, короткая газетная заметка которой ему понравилась. Дело в том, что дон Эухенио остался один и загорается надеждой разделить с кем-нибудь одинокую старость. Его корреспондентка — 56-летняя вдова Росио, у которой взрослый сын-студент,— также хотела бы иметь спутника жизни.

Начавшаяся переписка (в романе, правда, фигурируют только письма дона Эухенио — о содержании и смысле ответных посланий мы узнаем через его реакцию на них) быстро набирает темп, герои ежедневно делятся мыслями о жизни, рассказывают о подробностях повседневного существования. Вначале ответные письма Росио наполнены теплом и симпатией Начинаются переговоры о том, где и когда встретиться, чтобы решить, как быть дальше.— подразумевается, что дальше предстоит бракосочетание. Назначена и дата — 10 сентября. Однако чем ближе встреча, тем холоднее и суше становятся письма Росио, а когда по настоянию героя они все же встречаются в Мадриде, происходит разрыв по ее инициативе.

Чем же вызвано охлаждение Росио к дону Эухенио? Как известно, человек — это стиль. А героиня, читая письма дома Эухенио, который вначале ей понравился, все больше начинает понимать его истинную суть. Дон Эухенио до мозга костей пропитан пошлостью, он духовно убог и мелочен. Язык выдает его бездарность и ничтожество, хотя сам он считает, что его велеречивость и нудное резонерство — проявление высокой литературной культуры (как-никак он же долгие годы был журналистом!).

Речевые характеристики в творчестве Делибеса вообще играют большую роль. Делибес — мастер словесной игры, и в романе «Любовные письма престарелого ловеласа» он достигает предельной выразительности в ее использовании.

Но язык мой — враг мой... Язык дона Эухенио его предает. Его речь не просто форма выражения индивидуального сознания: за нею встает социальный тип, возникший в Испании в долгие времена франкистской диктатуры,— тип конформиста, который всячески способствовал ее укреплению и взял от нее все что мог.

Именно об этом социальном типе говорил, касаясь преследования за убеждения, известный испанский писатель и политический деятель Дионисио Ридруэхо, в прошлом тесно связанный с франкистским режимом, а затем порвавший с ним: «Многие люди подвергались преследованию потому, что их место желали занять завидовавшие им посредственности. Я не раз уже называл это «войной, развязанной посредственностями». А испанский социолог Амандо де Мигель, развивая мысль Ридруэхо, подчеркивал: «Такая своеобразная форма «войны», продолжавшаяся после окончания войны настоящей, привела к грандиозному отбору людей — отбору, в котором действовал противоположный нормальному принцип: посредственности и соглашатели поднимались по социальной и служебной лестнице, а люди стоящие, но не способные на донос, погибали».

К этой «породе» псевдоинтеллигентов-соглашателей, глубоко бездарных и ничтожных, принадлежит и дон Эухенио. Героиня сначала инстинктивно ощущает в нем что-то неладное, а затем и вызывает его на откровенность. До начала гражданской войны в 1936 году дон Эухенио был мальчиком на побегушках в типографии газеты «Эль Коррео», а после победы франкистов и начавшейся чистки в редакции пошел в гору, став сперва корреспондентом, а затем и заместителем главного редактора, хотя так и не получил соответствующего образования. Когда Росио нелицеприятно высказывается по этому поводу, герой раздраженно, но с присущим ему пафосом восклицает: «Не я же организовал Национальное движение (так в официальной Испании Франко называли антиреспубликанский мятеж генералов.— Х. К.), не я же создал Трибунал по искоренению масонов и коммунистов, проводивший чистки. Правда, я признал провозглашенные тогда нормы и установления, но я поступил бы так же, если бы победили другие. Однако История (и я намеренно пишу это слово с большой буквы) открыла передо мной новые горизонты. Другой человек из щепетильности или исходя из политических убеждений, может, и отказался бы от таких перспектив. Но почему это должен был сделать именно я?..»

И далее, как ни юлит дон Эухенио, объявляющий себя человеком «вне политики», мы, судя по отдельным его полупризнаниям, понимаем, что он активно потворствовал и чистке, и всем мерзостям, что творились вокруг него в худшие годы франкистской диктатуры. А это наложило на него несмываемый отпечаток...

Таким образом, коллизия романа не в том, что героиня отвергла человека, который сначала показался ей интересным, а затем разочаровал. Росио проникается презрением к человеку, тип которого представ-

[1] Роман «Пять часов с Марио» опубликован в «ИЛ». № 11, 12 за 1974 год.

ляет для подавляющего большинства в Испании одиозное прошлое. И глубоко символично, что эта женщина — а, судя по всему, она человек симпатичный, приятный и разумный — в конце романа решает соединить судьбу с другим, с Бальдомеро Сервиньо, который не сделал карьеры, но сохранил честь и человеческое достоинство. Эпизод из приватной жизни двух людей обретает у Делибеса силу большого обобщения.

Роман Делибеса «Клад» — небольшой по объему, как и предыдущий, но столь же удивительно емкий — получил самую высокую оценку и читателей и критики. Все единодушно отмечают не только философско-этическую глубину произведения, его значительный гражданский и нравственный заряд, но и отточенную четкость, и чистоту языка, завершенность формы и композиции.

Писатель снова обращается к теме, которую разрабатывал постоянно и бескомпромиссно даже в самые мрачные годы франкистской диктатуры: к трагическому разрыву между просвещенной элитой и простым народом, населяющим забытую богом и людьми испанскую «глубинку». Обратившись к этой проблеме на новом витке истории, Делибес показывает, что противоречие между народом (и прежде всего крестьянством) и демагогами-политиканами сохраняется и сейчас, когда в стране покончено с франкизмом и укрепились основы буржуазно-демократического строя, причем политиканы часто, как и прежде, склонны решать социальные вопросы административно-насильственным путем.

Авторская концепция, однако, в романе «Клад» — а впрочем, и в других его произведениях — не декларируется, но органически вытекает из самой художественной ткани, на первый взгляд тоже словно бы простой и безыскусной, но на самом деле созданной рукой мастера.

...Житель заброшенного горного селения Побладура в Старой Кастилии дон Лино случайно находит клад. Поняв, что речь идет о древнем захоронении, он, как и положено по закону, сообщает о находке властям. В Побладуру спешно выезжает группа молодых археологов, которые обнаруживают, что найденные доном Лино украшения — золотые и серебряные кольца, серьги и браслеты — представляют собой огромную ценность и свидетельствуют о когда-то существовавшей древней культуре, неизвестной специалистам. Не меньший интерес, чем сам клад, представляет и место его захоронения, которое ученые начинают аккуратно и бережно раскапывать.

Однако с самого начала экспедиция сталкивается с неприкрытой враждой местных жителей. Один из селян предупреждает археологов, чтобы те убирались восвояси, иначе с ними расправятся «всем миром». Не вняв угрозам, ученые на следующее утро возвращаются на раскопки. В долине бьют в набат, в горы поднимаются вооруженные крестьяне. Археологи пытаются объяснить им смысл своей работы и то, что клад — национальное достояние. Крестьяне и слушать их не желают. Они уничтожают ограждения, дело доходит до рукоприкладства, и ученых спасает лишь поспешное бегство.

Возглавляющий экспедицию Херонимо обращается к городским властям за помощью. Происходит многозначительный разговор с политическим деятелем из Вальядолида, который расценивает происшедшее как «бунт». По его твердому убеждению, при Франко такое было бы невозможно, и надо принять крутые меры. Херонимо не согласен. Он считает, что реакция крестьян — результат их многовековой забитости, невежества и бескультурья. Ему с трудом удается отговорить представителя городских властей отказаться от репрессий.

И все же когда на следующий день политикан, беседовавший с Херонимо, прибывает в Побладуру, он по инерции стремится запугать крестьян, которых в глубине души ненавидит и презирает. Жители селения как будто покоряются, даже выделяют одного из своих в помощь экспедиции. Но на следующее утро ученым, возвратившимся на раскопки, открывается страшное зрелище: за ночь захоронение самым варварским образом изрыл бульдозер. Погибла единственная возможность изучить древнюю цивилизацию...

Делибес, с беспощадным реализмом показывая неприглядный облик крестьян Побладуры, все же отрицает якобы присущее им исконное стремление к насилию. «В этой стране школ не хватает, вот в чем дело»,— отвечает автор устами одного из героев на подобное утверждение.

В романе «Клад» писатель снова возвращается к проблеме, которую еще в 1976 году называл главной: «В нашем обществе много людей и целых районов, которые — потому что не захотели или потому что не сумели вовремя вскочить на подножку — пропустили поезд благосостояния и остались обделенными. Это скромные, униженные и оскорбленные люди... и они тщетно ждут здесь, на земле, какой-нибудь помощи от вечно безмолвного бога и с каждым днем все более отдаляющегося ближнего». Так Делибес неустанно напоминает, что в стране еще существуют острейшие формы социальной несправедливости, о которых нельзя забывать...

ХУАН ГОБО

ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО ВНОВЬ РАСЦВЕТЕТ...

Jurij Koch. Der Kirschbaum. Novelle. Halle/Leipzig, Mitteldeutscher Verlag, 1984.

Юрий Кох. Вишневое дерево. 1984.

...Поздним вечером раздается стук в окно. Незнакомый человек просит приютить его до утра: машина, на которой он ехал, застряла, сам он промок до нитки... Так начинается повесть Юрия Коха «Вишневое дерево».

Героиня повести Эна живет на хуторе с матерью и дедом. У нее есть жених Маттиас, и совсем скоро должна состояться свадьба. С детства Эну окружают привычные картины природы: луг перед домом,

лошади, которые бродят по лугу, гнездо аиста на крыше, старое вишневое дерево в саду... Но вот в ее жизнь вторгается человек, «прочно стоящий на земле», инженер Зигхарт Ему чужда романтика, его мир — техника, машины, телевидение. Вместе с группой гидротехников он приехал в эти заповедные места, чтобы изменить ландшафт, повернуть русла рек...

Юрий Кох — один из самых известных писателей, представляющих литературу небольшой народности лужицких сербов, или, как их еще называют, лужичан. Кох следует фольклорным традициям и специфике литературы этой славянской народности. В повести «Вишневое дерево», как и в других его произведениях, реальное причудливо сплетено с фантастическим, действительность — со сказкой: богиня жизни Зива, водяной, «распорядитель свадеб» Брашка участвуют в повествовании наравне с главными героями.

Накануне свадьбы Маттиас погибает. Тело жениха не нашли, но его призрак постоянно встречается Эне. Ни на минуту не может она забыть Маттиаса, винит себя в его смерти, чувствуя, что он потерял голову из-за ревности и потому погиб. А сама девушка тщетно борется с зарождающимся чувством к Зигхарту, бежит от него и от его любви. Но наступает момент, когда Эна уже не в силах бороться.

Брак с Зигхартом круто меняет жизнь Эны. Он вскоре получает почетное назначение в Париж и увозит жену с собою. Оторвавшись от родных мест, Эна тоскует. Большой город пугает ее, она не может найти себе дела по душе.

Однажды в окне антикварного магазина она видит деревянную статуэтку богини Зивы — точь-в-точь такую, что была у них дома, на хуторе. Суеверный страх охватывает Эну — для ее семьи Зива священна. И тут Эна узнает страшную правду: это Зигхарт увез изображение Зивы с хутора, правда, с самыми благими намерениями: чтобы Эне было легче на чужбине. Однако затем, решив, что Эна уже не скучает по дому, он отвозит деревянную богиню антиквару. Видя отчаяние Эны, Зигхарт обещает ей, что с утра они поедут в магазин и заберут Зиву. Но деревянной богини утром в витрине уже нет, она продана, и антиквар отказывается сообщить имя нового владельца — «профессиональная тайна».

С этой утратой Эна не может смириться Она теряет интерес к жизни, замыкается в себе и в конце концев исчезает, не сказав Зигхарту ни слова Ему становится известно что ее видели в аэропорту...

Вернувшись домой, Эна узнает о смерти деда, весть о которой до нее почему-то не дошла. Здесь, в родных местах, она пытается разобраться в своей душе, обдумать возможность дальнейшего существования, и понимает, что не может ни разлюбить Зигхарта, ни забыть Маттиаса, призрак которого вновь и вновь появляется на ее пути. При странных обстоятельствах Эна погибает. Погибает и Зигхарт...

В этой полусказочной повести Юрий Кох противопоставил два мира — трогательный патриархальный мир природы и таинственных сил, в котором люди живут бесхитростной жизнью, и мир техники, цивилизации, рационализма, где цель людей — преобразовать природу, изменить естественный ход событий. «Где нет гор — мы их создадим, где нет озер — они появятся»,— говорит Эне Зигхарт, который чувствует себя «немножко богом». Таким, как Зигхарт, чужды предания и легенды; вера в водяного и в богиню Зиву кажется им смешной. Но ведь «без сказок будет пусто на нашей земле»,— говорил некогда дед Эны. Без них пуста, бессмысленна и никчемна жизнь Эны. Слушая рассказ о том, как давно у них в доме появилось изображение Зивы, Зигхарт смеется. «Она приносит счастье,— терпеливо объясняет Эна.— Мы охраняем ее. Она не должна попасть в чужие руки. Ее не должны видеть посторонние». Чувствуя иронию Зигхарта, Эна говорит грустно: «Ты не можешь меня понять...» И получает трезвый ответ: «Нет ничего такого, что нельзя было бы понять...» — «Нет,— возражает она,— ты не можешь меня понять... Ты слишком рассудочен».

Повесть «Вишневое дерево» отличает неповторимое своеобразие. Поэтичный язык, яркие метафоры, символы, трогательные картины природы как бы уводят читателя в первозданную страну детства. Немало этому способствуют и превосходные иллюстрации Карла-Георга Хирша. Все это объясняет, почему небольшая книга Юрия Коха вызвала большой резонанс. В прессе Германской Демократической Республики появился целый ряд статей, оценивающих повесть как незаурядное явление современной прозы. Критики отметили, однако, известную идеализацию патриархальной жизни, на что писатель, по его словам, вовсе не стремившийся идеализировать «утраченный золотой век», ответил: «Я хочу только, чтобы тот мир, который мне знаком с детства, в частности мир моего родного Лаузица с его самобытной культурой, не был задавлен излишним и подчас жестоким рационализмом «века урбанизма».

И свою повесть Юрий Кох отнюдь не считает пессимистической. «Мои герои погибли,— говорит он,— но вновь расцветет вишневое дерево, которое играло такую большую роль в жизни Эны и ее родных и которое все считали погибшим.. Жизнь продолжается»

Л. ХАРЛАП

Сомдатт

Индия

Сомдатт — представитель группы «Молодые поэты» хинди, заявившей о себе в конце 70-х — начале 80-х годов. Творчество этих поэтов отражает их активную политическую позицию, обостренный интерес к теме «художник и общество».

Чаще всего Сомдатт пишет о простых вещах, о том, что его непосредственно окружает,— о доме, о семье, о хлебе, о друзьях. Стихи Сомдатта целиком на «местном» материале, и в то же время проблемы, которые он в них поднимает,— важные, общечеловеческие. Несправедливость, неравенство, унижение человека всегда вызывают у него чувство протеста, это одна из постоянных тем его стихов.

Сомдатт Гарг (Сомдатт — литературное имя) родился в местечке Маихар (на территории нынешнего штата Мадхья-Прадеш) в крестьянской семье. Семья была не из самых бедных, но средств на воспитание детей все же не хватало. Сомдатт рано начал работать. Перебравшись в город, поступил в колледж — решил учиться на ветеринара. Тогда-то, в студенческие годы, он и написал свои первые стихотворения. Это были незамысловатые шуточные четверостишия и остроумные эпиграммы. Они с восторгом принимались студентами и злили тех, против кого были направлены,— преподавателей-рутинеров, чиновников, не желавших прислушиваться к справедливым требованиям учащихся.

Получив диплом ветеринара, Сомдатт несколько лет работал в деревне — литературная деятельность доходов не приносила. И теперь, живя в столице штата Мадхья-Прадеш, отдавая немало сил литературной работе, Сомдатт не отказался от ветеринарной практики и каждый день ездит в деревню. Ее проблемы так же близки поэту, как и проблемы большого города. «Человек, который лечит,— считает Сомдатт,— острее чувствует чужую боль и радость, острее ощущает заботы и нужды людей, с которыми общается».

У Сомдатта много произведений, посвященных индийской деревне, осмыслению ее будней. Авторскую позицию можно почувствовать, к примеру, в стихотворении «Смысл прогресса»:

Фонарь освещает собрание
В панчаяте округа.
Девочка встает
И спрашивает: «Что такое прогресс?
Это когда по телевизору показывают
Полет в космос «Шаттла»?»
Я говорю ей, что прогресс — это когда
В деревню проводят электричество,
Открывается школа,
Роют новый колодец.
Когда твоей матери не надо будет в зной
носить воду на поле...[1]

[1] Перевод И. Константинова *(Прим. ред.)*

Прогресс — не только сияющие вершины, он начинается с малого, но реального, осязаемого — эта мысль звучит во многих стихотворениях Сомдатта.

Вместе с тем в его произведениях заметно и стремление выйти за рамки «чисто локального» материала. Птицы, облака, капли дождя, живая и неживая природа, провозглашает поэт в стихотворении «Почтальоны бога»,— это связующие звенья между людьми не только одной страны, но и разных стран.

Сомдатт побывал во многих уголках земли. Огромное впечатление произвел на него рассказ о событиях, которые произошли в югославском городе Крагуевац, где фашистские каратели 19 октября 1941 года расстреляли 800 детей. Сомдатт написал поэму «Экзамен для 3 «а» класса и всей школы», проникнутую глубоким состраданием к школьникам и восхищением юными героями, которые достойно встретили свой «последний экзамен», не склонили головы перед людьми с «паучьими нашивками» на рукавах. (Поэма переведена на русский язык и опубликована в журнале «Москва», 1986, № 7.)

Город Бхопал, в котором живет Сомдатт, тоже пережил страшную трагедию. В декабре 1984 года в результате аварии на заводе американского концерна «Юнион карбайд», возникшей из-за преступной халатности администрации, в атмосферу вырвался смертоносный газ. Погибло около 2500 человек. «Я был в том районе через несколько часов после катастрофы,— рассказывает Сомдатт.— Я не мог сдержать слез, увидев море людского горя».

Сомдатт активно занимается и переводческой деятельностью. Из шести книг, подаренных Сомдаттом редакции, три — сборники его собственных стихов («В железнодорожном тоннеле», 1974; «Разнообразные истории», 1980; «Заветы предков», 1986). Три другие — его переводы на хинди произведений иностранных авторов, в том числе — сборник стихов Назыма Хикмета, глубоко почитаемого Сомдаттом. С конца 70-х годов Сомдатт ведет рубрику «Мировая поэзия» в газете «Наи дуния» («Новый мир»), издаваемой в городе Индаур. Он перевел на хинди Достоевского, Чехова, Маяковского, Пастернака, Евтушенко, Вознесенского и др. Сомдатт — лауреат премии Дж. Неру за укрепление советско-индийской дружбы — премии, учрежденной журналом АПН «Совьет лэнд» («Страна Советов»).

С 1983 года он — секретарь Литературного совета штата Мадхья-Прадеш и главный редактор литературного журнала «Сакшаткар» («Обозреватель»), издаваемого Литературной академией штата и получившего широкое распространение в «поясе хинди». Это ежемесячное издание, отражающее развитие литературного процесса в хиндиязычных штатах Индии. Стихи многих молодых поэтов были впервые опубликованы на страницах «Сакшаткара».

И. КОНСТАНТИНОВ

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

ФИЛЬМ-ОБВИНЕНИЕ

Фильм австралийского режиссера Денниса О' Рорка «Полжизни» кинокритики называют «одним из наиболее выдающихся произведений документального кинематографа за последние годы» Картина посвящена истории Маршалловых островов, где США в первое послевоенное десятилетие произвели шестьдесят шесть испытаний атомных и водородных бомб. «О'Рорку вполне можно простить несвойственную ему полемическую ярость,— пишет в английской газете «Гардиан» Дерек Малькольм, — особенно если вспомнить, что управление Маршалловыми островами было доверено американцам Организацией Объединенных Наций. Президент Рейган не так давно говорил, обращаясь к жителям архипелага: «Вы всегда будете членами нашей семьи». Поистине, не хватает слов...»

О'Рорк фокусирует внимание главным образом на истории с «Браво», первой водородной бомбой, по мощности в тысячу с лишним раз превышавшей ту, что была сброшена на Хиросиму. Утром 1 марта 1954 года над атоллом Бикини раздался взрыв, а несколько часов спустя на острове Ронгелап расположенном в ста милях от ядерного полигона, дети стали играть со «снежными хлопьями», которые ни с того ни с сего вдруг повалили с небес. На острове Утирик происходило то же самое. Все жители впоследствии были эвакуированы но выросшие дети до сих пор расплачиваются за «ошибку», допущенную американским правительством,— только один из них избежал операции на щитовидной железе.

Замысел фильма возник по чистой случайности: самолет, на котором летел австралийский режиссер, совершил вынужденную посадку на Ронгелапе. О'Рорк потратил несколько месяцев на сбор материалов: он обращался в Пентагон, в министерство энергетики США. к медикам, опрашивал жителей островов.

«Режиссер создал картину разрушения не только окружающей среды, но и целой культуры... Это не просто необходимый сегодня фильм,— пишет в заключение обозреватель «Гардиан»,— это еще и фильм, который может служить образцом».

АРГЕНТИНА

«МАТЕРИ С МАЙСКОЙ ПЛОЩАДИ»

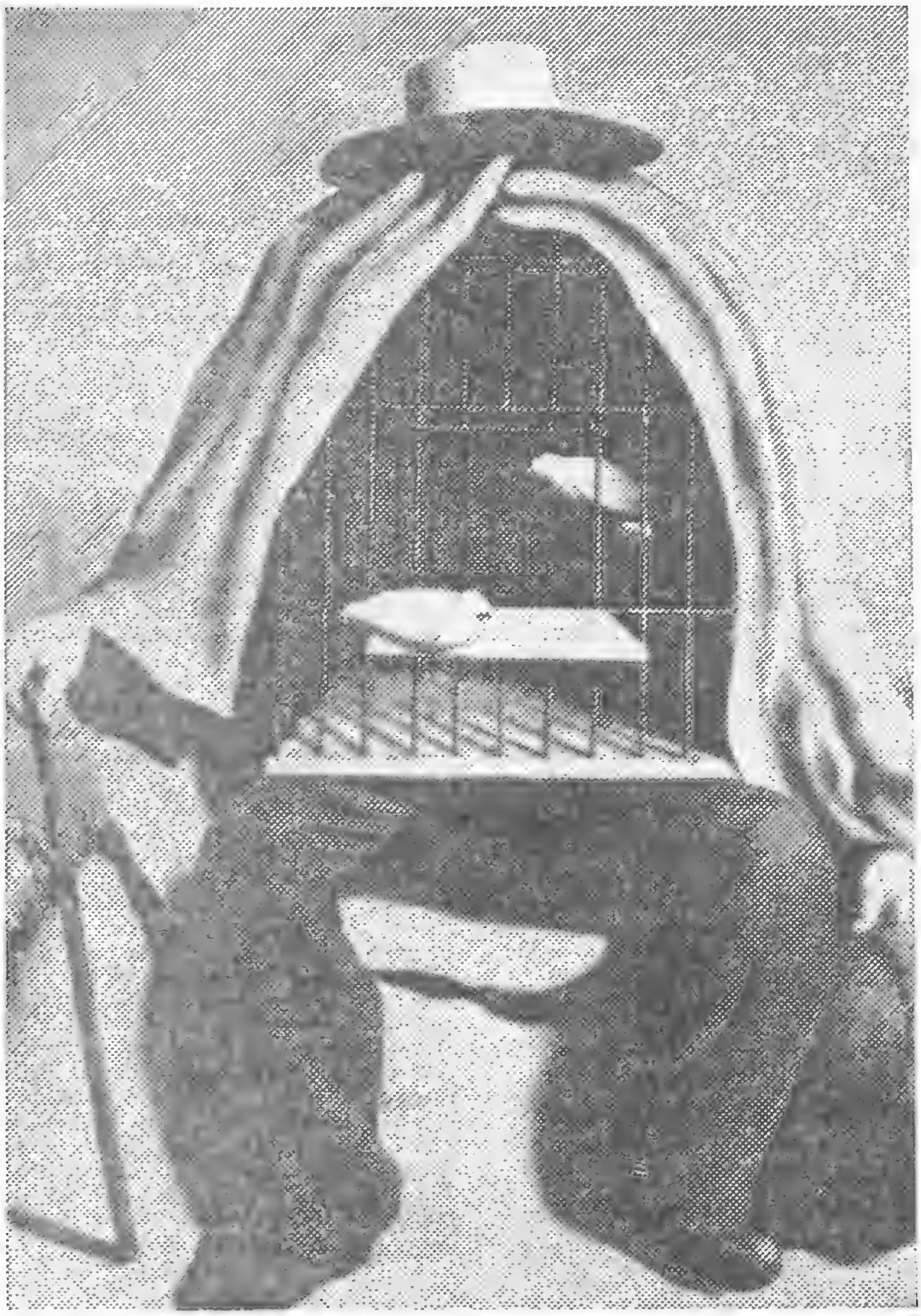
«Фильм «Матери с Майской площади», созданный Сусаной Муньос и Лурдес Портильо,— это живой, неприглаженный, из первых уст рассказ о мужестве тех, кто противостоял массовым репрессиям,— пишет рецензент лондонской газеты «Таймс» Дэвид Робертсон,— и неудивительно, что он отмечен премией Оскара как лучший документальный фильм 1986 года»

После переворота 1976 года, продолжает Д. Робертсон, около 30 тысяч аргентинцев бесследно исчезли. Всех их военная диктатура объявила «подрывными элементами» — этот расплывчатый термин охватывал и людей, занимающихся обычной благотворительностью, и студентов, обучающихся таким «подозрительным» наукам, как социология, биология или политическая история. Немногие удостоились обвинений полиции в том, что они террористы или партизаны. Большинству «десапаресидос» (пропавших без вести) было меньше тридцати лет, среди них были и дети, кормящие матери, беременные. И вот пришло время, пишет Д. Робертсон, и матери объединились. Тысячи женщин каждый четверг собирались и в медленном шествии проходили перед президентским дворцом по Майской площади, неся в руках фотографии. На белых головных повязках были начертаны имена пропавших близких. Женщины, никогда не занимавшиеся политикой, понимали, на что идут. Одних арестовывали и подвергали пыткам, другие, как и их дети, бесследно исчезали.

В фильме, сообщает далее Д. Робертсон, женщины рассказывают перед камерой о том, что они пережили, о своей борьбе. Муньос и Портильо используют и другие документальные кадры: хронику, запечатлевшую столкновения женщин с полицией, выступления диктаторов, лицемерно отрицающих массовые исчезновения, пышное богослужение в соборе, страшные картины предъявления трупов для опознания. Авторы фильма показывают также, как женщины в других латиноамериканских странах, где правит военная диктатура, разыскивают своих сыновей и дочерей.

Мужество матерей восхищает, пишет в заключение критик, но впечатление от фильма грустное. Диктатура пала, диктаторы в тюрьмах, но тех, кто убивал — «людей, только выполнявших приказы»,— возмездие не настигло. Армия все так же неприкосновенна, а требования матерей восстановить справедливость, которые раньше называли «подрывающими основы», теперь характеризуют как «ведущие к дестабилизации». И матери знают, что их «десапаресидос» никогда не вернутся.

БЕЛЬГИЯ



Издательство Центра Помпиду выпустило монографию искусствоведа Катрин Претс-Окуяма «Магритт: двойная тайна», посвященную творчеству известного бельгийского художника Рене Магритта (1898—1967). Издание это примечательно тем, что рассчитано на детское восприятие, отмечает журнал «Нувель обсерватёр», — ибо поэтичные полотна-загадки Магритта в чем-то сродни наивным и мудрым рисункам детей.

На снимке: картина Рене Магритта «Терапевт» (1937) — «своеобразное философское размышление художника о нелегкой дороге жизни»,— пишет в журнале «Нувель обсерватёр» Жак Тестар.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ РОМАН АНДРЕЯ ГУЛЯШКИ

В издательстве «Болгарский писатель» недавно увидел свет новый роман мастера современной болгарской прозы Андрея Гуляшки «Чудак». Советский читатель хорошо знает Гуляшки как автора повестей и романов о болгарской деревне, а также популярных приключенческих романов об Аввакуме Захове. В центре нового произведения писателя, сообщает критик газеты «Литературен фронт» Венко Христов, — образ молодого талантливого инженера Юлияна Евтимова. События разворачиваются в провинциальном городке Н., блаженную летаргию которого нарушает строительство завода-гиганта по переработке цветных металлов, — директором его и назначен Юлиян Евтимов. Так в сонном городке появляется этот чудак Евтимов, ради живого дела отказавшийся от блестящей карьеры ученого и от обеспеченной жизни ответственного работника одного из столичных министерств. Стоит ли удивляться, продолжает Венко Христов, что многим жителям Н. непонятно поведение молодого инженера! Перед читателем проходит целая галерея образов: карьеристы, бюрократы, просто трусы, которым Евтимов откровенно антипатичен... Но, несмотря на большое число персонажей, отмечает критик, перед нами монороман, в центре которого — классический образ «чудака», противостоящего носителям мелкособственнической морали. Именно на таких «чудаков», пишет В. Христов, мы держим равнение в жизни — поэтому так отрадно их появление на страницах новых книг.

КНИГА О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

Интерес к творчеству и личности Владимира Высоцкого в Болгарии очень велик: книга его стихов «Нерв», изданная в Болгарии в 1984 году в серии «Поэты с гитарой», разошлась мгновенно. А недавно в издательстве «Наука и искусство» вышла книга известного болгарского театрального критика Любена Георгиева «Владимир Высоцкий. Знакомый и незнакомый». В предисловии к ней автор, лично знавший Высоцкого и не раз о нем писавший, отмечает: «Я не смог бы ответить на вопрос, что же принесло ему наибольшую известность: кто-то любил его как прекрасного актера театра и кино, кто-то — как барда с гитарой, кто-то — как поэта». Этот вопрос, продолжает Любен Георгиев, задает себе каждый, кто прикасается к его многообразному творческому наследию. Задают его и слушатели на многочисленных вечерах памяти Высоцкого... Спрашивать об этом будет, наверное, еще не одно поколение поклонников таланта поэта и певца.

В пяти главах книги, имеющей подзаголовок «Этюды и воспоминания», автор рассказывает о различных гранях его таланта и человеческой натуры (главы называются «С гитарой перед микрофоном», «Универсальный актер», «Его экранное время», «Собеседник», «Воспоминания о нем»). Книга, написанная Любеном Георгиевым на богатом фактическом материале, дает болгарскому читателю возможность «найти» своего Высоцкого. «Нам очень помогут в этом,— пишет в еженедельнике «Поглед» критик Иван Попиванов,— оригинальные этюды — воспоминания автора, рассказывающие о сокровенном мире поэта современной песни». В книге много фотографий (часть из них публикуется впервые), по которым тоже можно проследить человеческую и творческую судьбу Высоцкого: снимки детских лет, сцены из первых спектаклей, кадры из кинофильмов, Владимир с друзьями, с Мариной Влади, с матерью. Эти фотографии, отмечает критик, особенно

В. Высоцкий в роли Гамлета в спектакле Театра на Таганке.

(Фотография из книги Л. Георгиева)

нужны тем, кто не успел увидеть любимого актера и певца на сцене. Книга «Владимир Высоцкий. Знакомый и незнакомый» вызвала в Болгарии большой интерес, и главная причина ее успеха, считает И. Попиванов, в том, что «Любен Георгиев создал правдивый образ, не потакая склонности некоторых читателей к скандальным подробностям. Он выделил самое зрелое и полноценное в творчестве Высоцкого, ставшем замечательным явлением современной культуры».

ВЕНГРИЯ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ЛИСТА

Листу было девять лет, когда он впервые выступил перед публикой в Братиславе. Это выступление положило начало его концертной деятельности. Его игра приводила в восхищение Бетховена, сравнивавшего юного Листа с Моцартом.

«Лист, ставший величайшим пианистом XIX века, изобрел сольный фортепьянный концерт в современном смысле этого понятия. Он первый играл по памяти целые программы. Он первым стал гастролировать от Пиренеев до Урала — по всей Европе»,— пишет о нем английский музыковед Алан Уокер в монографии, опубликованной в Венгрии к двойному юбилею Ференца Листа — 175-летию со дня рождения и 100-летию со дня его кончины. Но Лист был не только пианистом-виртуозом, он еще и величайший педагог своего времени, основатель новой фортепьянной школы, воспитавший 337 пианистов. Лист известен всему миру и как великий композитор, новатор в области формы и гармонии, расширивший сферу пианизма и достигший вершин фортепьянной виртуозности. Он придал фортепьяно оркестровое звучание и обновил содержание музыки, сделав ее более доходчивой, что соответствовало его идее демократизации искусства. Лист создал новый жанр — одночастную программную симфоническую поэму. Он был первым композитором, широко использовавшим венгерский музыкальный фольклор, подготовившим почву для музыки Бартока и Кодая.

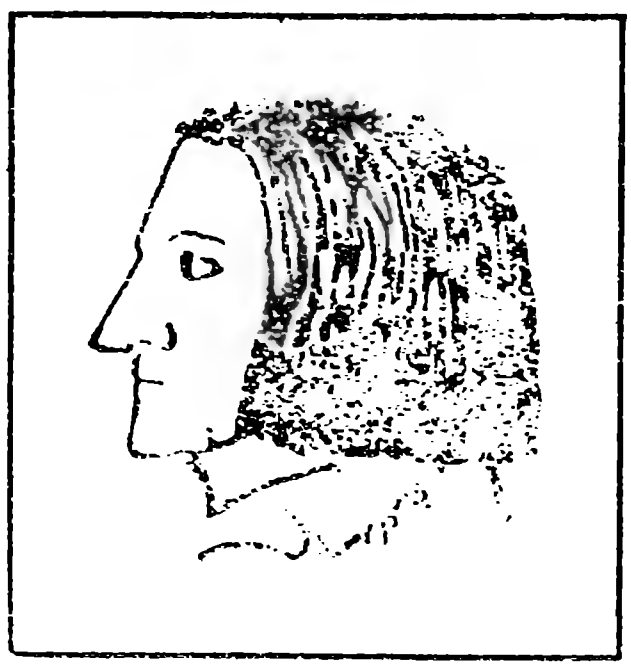
Обо всем этом широко писала венгерская пресса в 1986 году, объявленном Годом Листа. На родине Листа состоялось множество концертов из его произведений, прошли конкурсы исполнителей, были проведены международные конференции, встречи.

Вышли в свет и два последних тома собрания сочинений Листа — выдающегося музыкального публициста и теоретика музыки; выпущена пластинка с записью его единственной оперы — «Дон Санчо, или Замок любви» (1825), а также серия пластинок «Неизвестный Лист» с записями его фортепьянных пьес. Новые памятники Листу украсили площади Будапешта и других венгерских городов. Открыт музей-квартира Листа.

Журнал «Критика», откликаясь на юбилей пианиста и композитора большой статьей известного венгерского музыкального критика Яноша Бройера, напоминает читателям о письме Фридриха Энгельса, сообщавшего в апреле 1842 года своей сестре Марии: «Ты, должно быть, еще не слышала, что г-н Лист был здесь и своей игрой на рояле очаровал всех дам. Берлинские дамы были настолько без ума от него, что на концерте форменным образом передрались из-за перчатки Листа, которую он уронил... В каждом доме можно увидеть несколько портретов великого, милого, небесного, гениального, божественного Листа. Хочу для тебя тоже сделать его изображение. Вот этот человек с прической камчадала».

Ференц Лист. Рисунок Фридриха Энгельса.

(Журнал «Критика»)



ГАНА

НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В 1985 году к числу ныне действующих в Гане издательств прибавилось еще одно — «Воэли паблишинг сервисиз». Это небольшое частное издательство будет специализироваться на выпуске художественной литературы, книг для детей и учебников, сообщает журнал «Африкэн бук паблишинг рекорд». За первый год своей работы оно уже успело подготовить и издать два сборника стихов известного ганского поэта Кофи Аньидохо «Дитя земли» и «Жатва наших надежд». В настоящее время к выходу в свет подготовлены пьесы Мохаммеда бен Абдаллаха, роман Джозефа Себуавы «Час расплаты» и избранные стихи Кофи Авунора — писателя, чьи произведения вместе с романами Айи Квеи Армы снискали славу ганской литературе.

Директор «Воэли» Атсу Декутсей считает, что его издательство должно стать своего рода «витриной» литературных талантов Ганы. Поэтому помимо книг писателей, уже завоевавших популярность, он предполагает издавать молодых, подающих надежды литераторов, с тем чтобы способствовать популяризации их произведений.

ГДР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий за 1986 год. Премий удостоены писатели: Хайнер Мюллер — «за все творчество, в особенности за большой вклад в развитие современной драматургии Германской Демократической Республики», Хайнц Кноблох — «за все творчество в целом», Хильдегард Мария Раухфус — «за вклад в социалистическую, реалистическую литературу ГДР».

Премиями награждены также известный актер Эрвин Гешоннек — за работы в кино и на телевидении; советский скульптор Лев Кербель — за участие в оформлении парка имени Тельмана в Берлине; режиссер студии ДЕФА Роланд Грэф — за художественные фильмы; коллектив создателей телевизионного фильма «Эрнст Тельман»; скульптор Людвиг Энгельхардт — за участие в создании мемориала К. Маркса и Ф. Энгельса в Берлине; художник Теодор Розенхауэр — «за все творчество»; музыканты, участ-

вовавшие в подготовке и проведении юбилейных торжеств в честь И.-С. Баха и Г. Генделя.

ГРЕЦИЯ

«Я БЫЛ И ОСТАЮСЬ РЕАЛИСТОМ»

Первое знакомство греческих кинозрителей с режиссером Тасосом Псарасом состоялось в 1974 году — тогда на экранах с большим успехом демонстрировался его фильм «По ничтожному поводу». Затем последовали фильмы «Май 36-го» (1976), «Мастерская» (1981), где в традициях реалистического греческого кинематографа была воссоздана жизнь сельского труженика. Сейчас режиссер закончил работу над новым фильмом «Караван-сарай» , который сразу же обратил на себя внимание критики и проблематикой, и необычностью киноязыка: реалистические события соседствуют со своего рода поэтической притчей, полной глубокого символизма.

В интервью газете «Ризоспастис» Т. Псарас так объясняет замысел своего фильма: «Я был и остаюсь реалистом... Греческая провинция привлекает меня прежде всего тем, что здесь сильнее, чем где-либо, обнажены социальные противоречия и, следовательно, больше возможностей для анализа и обобщения. Хотя фильм наш — исторический, сегодня, когда в стране ширится борьба против американского засилья, он звучит очень злободневно».

События в фильме «Караван-сарай», продолжает Т. Псарас, соотнесены с последним, наиболее трагичным периодом гражданской войны 1946—1949 годов в Греции, когда монархо-фашисты, чтобы подорвать мощь партизанской Демократической армии и дискредитировать ее в глазах международной общественности, создавали в пограничных районах так называемые «мертвые зоны»: убивали или изгоняли жителей деревень, отнимали у крестьян скот, жгли дома и посевы — и все эти зверства приписывали партизанам.

Трагический исход кровопролитной гражданской войны ознаменовал в Греции и начало новых классовых сражений в условиях разгула реакции и жестокого террора. Зритель фильма убеждается в этом на примере трудной судьбы семьи крестьянина Маргаритиса, изгнанной из родной деревни и пополнившей армию безработных в Салониках. И если Маргаритису еще не хватает решимости активно включиться в борьбу рабочих, то его сын навсегда связывает свою судьбу с рабочим движением, с Компартией Греции.

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ АППИ

В индийском городе Лакхнау в торжественной обстановке состоялось празднование 50-й годовщины Ассоциации прогрессивных писателей Индии (АППИ). Более 600 делегатов, представляющих многоязычную литературу страны, приняли участие в юбилейной конференции. Отпраздновать вместе с индийскими коллегами знаменательную дату прибыли делегации писателей Бангладеш, Великобритании, Ирана, Канады, Непала, Пакистана, Советского Союза и США.

Созданная в 1936 году демократически настроенными деятелями литературы АППИ внесла большой вклад в развитие реалистического метода в индийских литературах, в дело сплочения сил прогрессивных писателей, поэтов, критиков страны. Работой АППИ руководили такие замечательные мастера слова, как Премчанд, Саджад Захир, Мулк Радж Ананд.

Декларация конференции АППИ, по сообщению журнала «Линк», призывает всех писателей-патриотов объединить творческие усилия в «борьбе за сохранение мира на земле, укрепление независимости и единства страны, за защиту демократических завоеваний и культуры». На конференции была принята резолюция, осуждающая агрессорскую политику американского империализма по отношению к малым странам, в том числе Никарагуа и Ливии.

Специальная резолюция по Пенджабу, проект которой был предложен Бхишамом Сахни, призывает к мобилизации всех патриотических сил на защиту Пенджаба от преступных акций сепаратистов и предусматривает проведение общенациональной кампании в его поддержку.

Состоялись выборы нового руководства организации, в ходе которых ее генеральным секретарем был избран известный критик и литературовед Раджив Саксена.

ИРАК

XV СЪЕЗД АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Багдаде состоялся XV съезд Всеобщего союза арабских писателей, объединяющего писательские организации почти всех арабских стран. Одновременно со съездом в Багдаде и Басре проходил XVII фестиваль арабской поэзии.

Съезд писателей прошел под девизом «Вызов современной арабской культуре и ее ответ на него». Он продемонстрировал растущую сплоченность арабских литераторов в борьбе против идеологического наступления империализма и его местной агентуры.

От имени президента Ирака съезд приветствовал министр культуры и информации Латыф Насыф Джасим.

Съезд избрал новое руководство Всеобщего союза арабских писателей. Генеральным секретарем организации стал представитель Ирака. Резиденция Всеобщего союза будет находиться в Багдаде.

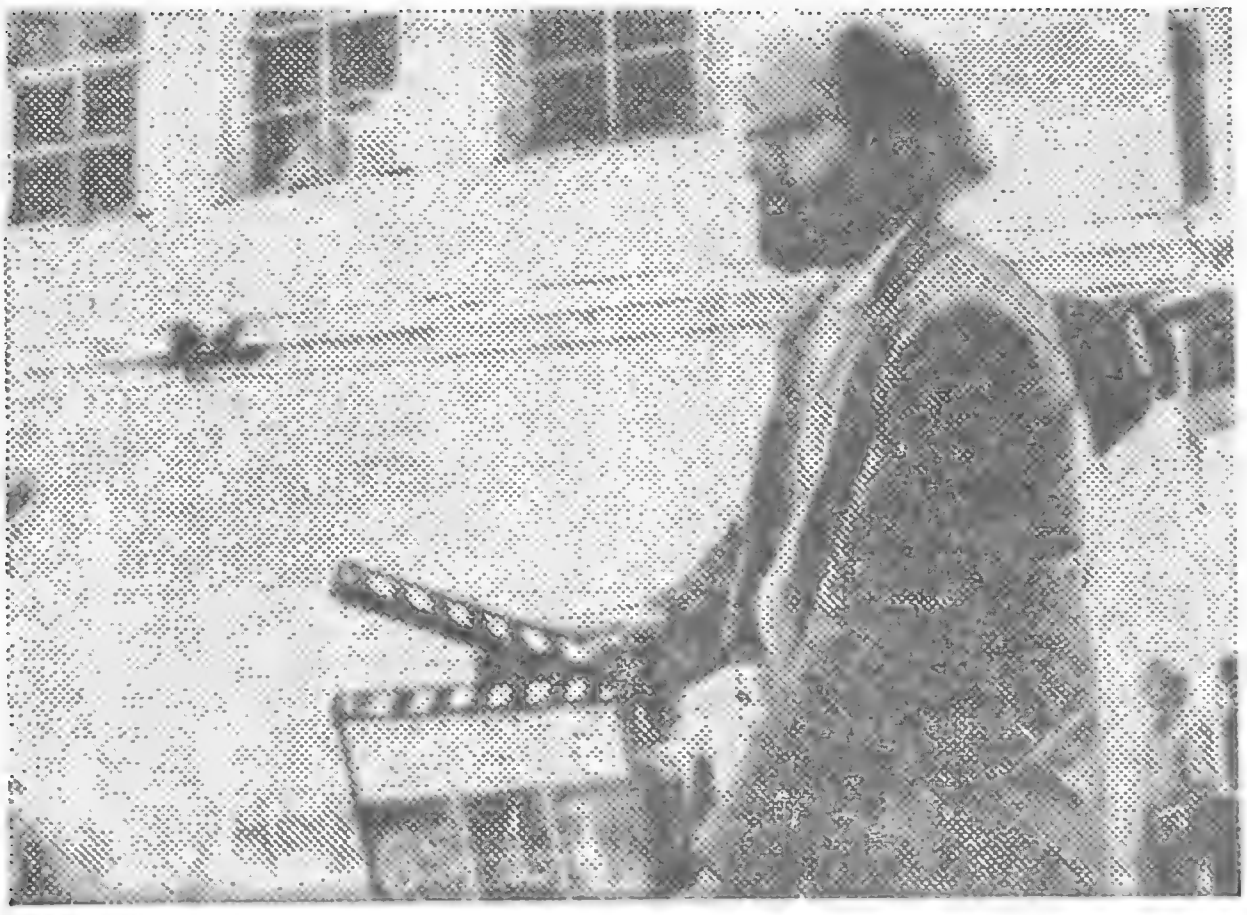
ИТАЛИЯ

«МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ: АРХИТЕКТУРА ВИДЕНИЯ»

Так называется двухтомник, выпущенный издательством «Конэдитор». Подготовившие его Микеле Манчини и Джузеппе Перрелла продолжают работать над осуществлением своего замысла: они задумали соз-

Режиссер Тасос Псарас на съемках фильма «Караван-сарай».

(Газета «Ризоспастис»)



дать «кадротеку», которая могла бы свидетельствовать об эволюции итальянского кино и о многообразных изменениях в жизни общества. В работе над книгой приняли участие сотрудники 3-й программы Итальянского телевидения, студенты Государственного института искусств в Палермо, киноклуб «Лабиринт», парижский «Дом гуманитарных наук», фирма «Кодак», 150 представителей творческой и технической интеллигенции и даже 60 детей в возрасте от 11 до 13 лет.

Представленные в этом щедро иллюстрированном 600-страничном издании методы исследования режиссерского творчества разнообразны и порой не совсем обычны. Многочисленные подборки кадров иллюстрируют особенности киноязыка Антониони, выявляют роль деталей в передаче «замкнутости» пространства, в показе внутреннего состояния героев. Книга раскрывает и некоторые технические «секреты»: так, зрителям, для которых осталось тайной, как и куда исчезла героиня «Приключения», восемь кадров позволяют проследить, как она «растворилась в воздухе» благодаря приему «наплыва». Картины природы, запечатленные в фильмах, сравниваются с работами Антониони-художника, составившими серию «Волшебные горы»; кадры городских пейзажей из фильмов 60-х годов — с современным обликом тех же мест; одежда героинь — с типичными образцами моды соответствующего времени. Существенное внимание уделено ритму фильмов и принципам монтажа, которые, по выражению рецензента «Стампы» Льетты Торнабуони, во взаимодействии с «архитектурой» кадров и порождают неповторимое режиссерское «видение». Один из разделов составили работы художников, поэтов, инженеров, детей, которым было предложено использовать кадры антониониевских лент по собственному усмотрению — дорисовать, разрезать и составить коллажи, включить в разнообразные композиции.

«Апофеоз структурного метода» — так характеризует это издание в еженедельнике «Панорама» писатель и художник Эмилио Тадини. «Книгой-архивом» называет его в «Стампе» Л. Торнабуони, «книгой-лабораторией» — видный кинокритик Уго Казираги. Все они отмечают при этом, что издание станет хорошим подспорьем для будущих исследователей творчества выдающегося режиссера.

КУБА

«КНИГА СОНЕТОВ» НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА

Издательство «Унион» выпустило в свет сборник сонетов известного кубинского поэта Николаса Гильена с предисловием одного из лучших исследователей его творчества Анхеля Аухьера, сообщает рецензент газеты «Гранма».

В «Книгу сонетов» включены 82 сонета разных периодов творчества — от самых ранних («Сонеты на полях моих учебников» Н. Гильена вышли еще в 1922 году) до поздних, написанных зрелым мастером стиха.

Эпиграфом к этой книге, продолжает рецензент, могло бы стать образное выражение самого Гильена: «Писание сонетов — это крещение огнем в поэзии». Поэта привлекают и строгая завершенность сонета, и его сложная внутренняя «динамика», дающая возможность выразить разнообразную гамму чувств и мыслей. Чувство и мысль органично слиты не только в его сонетах — эта черта свойственна всей поэзии Николаса Гильена, лирика и мыслителя. А «Книга сонетов», представившая читателям одну из граней поэтического дара национального поэта Кубы, заключает рецензент, стала значительным событием в испаноязычной литературе.

МЕКСИКА

В издательстве «Пресс де ла Ренессанс» (Париж) вышла книга искусствоведа Рауды Хамис, рассказывающая о жизненном и творческом пути мексиканской художницы Фриды Кало (1907—1954). «Искусство Фриды Кало Ривера подобно ленте, обвивающей бомбу»,— писал французский прозаик Андре Бретон. Напоминая читателям эту оценку, известный французский критик Клод Куффон отмечает в журнале «Магазин литтерер», что Рауде Хамис удалось в своем исследовании показать необычайную яркость, изысканность дарования Ф. Кало, которое не было заслонено от глаз публики даже творчеством великого мастера фрески Диего Риверы, мужа художницы.

На снимке: Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой.

(Журнал «Магазин литтерер»)

РУМЫНИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ФОЛЬКЛОРИСТА

Издательство «Минерва» опубликовало избранные труды основоположника современной румынской фольклористики Иона П. Ретеганула (1853—1905). В сборник включены народные сказки, легенды и поговорки, собранные в Трансильвании, комментарии к ним, перечень произведений фольклориста, вышедших в свет при жизни автора, и его переписка с известными деятелями румынской культуры: В. Александри, Т. Майореску, Г. Вейгандом и другими.

Газета «Ромыния литерарэ» посвятила книге большую статью, озаглавленную «Ценное исследование трансильванского фольклора». Известный литературовед Габриэл Цепеля рассказывает в ней о деятельности И. П. Ретеганула и подчеркивает, что именно он впервые опроверг бытовавшее в румынской филологии прошлого столетия мнение о «примитивности» устного народного творчества. Призывая «уважать живой язык» преданий и пословиц, ученый выступал против его «исправления» и «украшательства», против насильственного искоренения трансильванского диалекта. Основу недавно изданного сборника составляют волшебные сказки — так называемые «Ардялские истории». По мнению критика, «Ардялские истории» представляют собой совершенно новый и неожиданный материал не только для языковедов, но и для теоретиков литературы. «С героями сказок происходят столь невероятные происшествия в пространстве и во времени, что можно говорить о предвосхищении в них многих элементов жанра научной фантастики», — отмечает Г. Цепеля. Как сообщает «Ромыния литерарэ», в настоящее время Академия наук СРР готовит к печати полное собрание сочинений Иона П. Ретеганула, состоящее из 21 тома, и осуществляет его замысел по созданию лексико-грамматического словаря наречий Трансильвании.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЧЕХОВА

Творчество А. П. Чехова хорошо знакомо румынскому читателю. Его произведения переводились в свое время такими мастерами румынской прозы, как Ливиу Ребряну, и такими известными стилистами, как П. Садовяну. О Чехове писали крупнейшие критики и историки литературы — К. Доброджану-Геря и Д. Кэлинеску, Т. Виану и А. Филиппиде. В 1954—1963 годах в Румынии было выпущено двенадцатитомное собрание сочинений писателя. В мае этого года издательство «Универс» выпустило первый том нового

издания собрания сочинений Чехова. В книгу вошло 117 рассказов, вышедших между 1880 и 1883 годами. В следующих томах румынский читатель найдет наряду с публиковавшимися ранее произведениями и ряд новых переводов — рассказы, повести, пьесы, очерки, письма.

Приветствуя на страницах газеты «Ромыния литерарэ» инициативу издательства «Универс», известный поэт-переводчик и критик Марчел Михалаш дает высокую оценку работе издателей и отмечает научную ценность большой вступительной статьи и подробных комментариев Сорины Бэлэнеску. «Используя достижения современной критики, а также ее предшественников — представителей русской формальной школы, — пишет М. Михалаш,— С. Бэлэнеску создает впечатляющую картину. Научная информация, на которую опирается автор, носит чуть ли не исчерпывающий характер: Сорина Бэлэнеску знакома не только с новейшими советскими исследованиями, но и с работами, скажем, скандинавских русистов. Ею анализируется «объективность» прозы Чехова, ее импрессионистичность и музыкальность. Отдельная глава посвящена судьбам переводов Чехова в Румынии. «За эту работу мы благодарны Сорине Бэлэнеску — молодой, но незаурядной представительнице румынской школы славистики, — заключает автор статьи. — Поздравляем также редактора издания Аурела Буйчука».

США

ПЕРВЫЙ ПОЭТ-ЛАУРЕАТ АМЕРИКИ

Известный американский поэт и прозаик Роберт Пенн Уоррен, автор десяти романов и шестнадцати сборников стихов (последний из них вышел в прошлом году в издательстве «Рэндом хауз»), решением конгресса США назначен на должность первого американского поэта-лауреата.

Р. П. Уоррен — обладатель многих премий и наград: в 1947 году за роман «Вся королевская рать» писателю была присуждена Пулитцеровская премия по литературе, за ней последовали еще две — за достижения в области поэтического искусства. Р. П. Уоррен награжден президентской медалью Свободы, ему присуждены премия Макартуровского фонда и Боллингеновская премия.

Звание поэта-лауреата впервые появилось в Великобритании в XVII веке. Первым поэтом, которого удостоили этого почетного звания, был Джон Драйден. Основная обязанность его заключалась в написании церемониальных од по первому требованию монарха. Титул поэта-лауреата традиционен на Британских островах. После кончины в 1984 году поэта-лауреата сэра Д. Бетжемена это звание получил известный английский поэт Тед Хьюз.

Как отмечает журнал «Ньюсуик», звание поэта-лауреата в Соединенных Штатах существенно отличается от английского титула. В США поэт будет назначаться на эту должность не пожизненно, а всего лишь на несколько лет. В его обязанности входит организация поэтических чтений в библиотеке конгресса, пропаганда достижений американской поэзии, он выполняет также работу консультанта библиотеки конгресса.

Избрание лауреатом Р. П. Уоррена представляется обозревателю журнала «Ньюсуик» весьма логичным: «Уоррен, вероятно, единственный из американских поэтов, сумевший добиться универсальности в своем творчестве». Его поэзия одновременно возвышенна и подчеркнуто обыденна, отвлеченна и жизнеутверждающа. В своих стихах Уоррен воспевает красоту родного американского Юга и живописную природу Западного побережья страны. В творчестве поэта соседствуют пейзажная лирика и поэтические размышления об исторических судьбах Америки.

В США поэты всегда жаловались на отсутствие должного внимания широкой читательской аудитории к их творчеству, и поэтому утверждение нового титула, хотя бы на бумаге, с иронией заключает рецензент, призвано символизировать значение поэзии в культурной жизни нации.

ФИЛЬМ О СУДЬБЕ МАНДЕЛЫ

Началась подготовка к съемкам многосерийного телевизионного фильма о судьбе известного борца против апартеида Нельсона Манделы, пишет газета «Интернэшнл геральд трибюн».

Идея создания фильма принадлежит популярному певцу, представителю прогрессивной культуры Америки Гарри Белафонте. По мнению Белафонте, всплеск интереса во всем мире к культуре Африки, к ее народу вполне закономерен, поскольку «черный континент» таит в себе «огромный, еще неиспользованный запас энергии».

Замысел Белафонте привлек внимание Сиднея Поллака — он и стал режиссером картины. На роль Нельсона Манделы приглашен известный актер Сидней Пуатье. В роли активной участницы освободительного движения, представительницы прогрессивного белого меньшинства Африки, снимется Джейн Фонда. К сожалению, отмечает автор статьи, еще не найдена актриса, которая воплотит на экране образ жены Нельсона — Винни.

На снимке: Э. Уайет. «Хельга в венце из цветов».

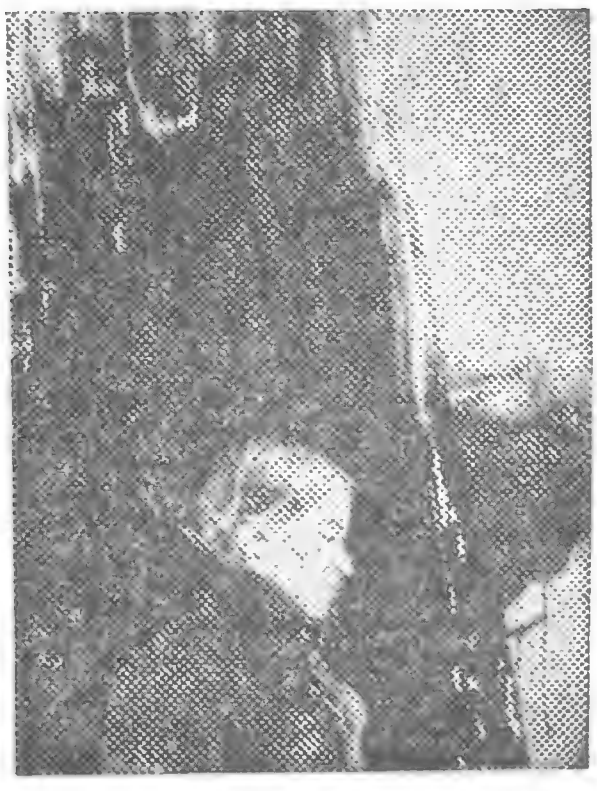
Настоящую сенсацию в Соединенных Штатах, пишет журнал «Ньюсуик», произвело известие о продаже никогда не выставлявшихся произведений Эндрю Уайета (род. в 1917 г.) — «самого американского из всех американских художников». Моделью для 240 работ (1970—1985 гг.), выполненных темперой, акварелью, в карандаше и в излюбленной Уайетом технике «сухой кисти», послужила Хельга Тесторф, немка по происхождению.

«Серия портретов Хельги была начата 17 лет назад, когда молодая женщина самоотверженно ухаживала за соседом Уайетов Карлом Кернером, которому оставалось недолго жить. Художник тяжело пережил смерть старого друга, и, возможно, лишь общение с Хельгой вновь возродило его к жизни, к искусству», — сказал в интервью корреспонденту «Ньюсуик» Томас Ховинг, автор книги «Два мира Эндрю Уайета» (1976).

Выставка этой серии работ Э. Уайета откроется в Национальной галерее искусства (Вашингтон) в первой половине 1987 года.

На снимке: Э. Уайет. «Прибежище».

(Журнал «Ньюсуик»)



В парижском Пти-Пале прошла одна из крупнейших за последние годы выставок графики Рембрандта. На ней были впервые показаны 170 офортов из собрания коллекционеров Огюста и Эжена Дютюи, завещанного ими в начале XX столетия музеям французской столицы.

В экспозиции нет ни одного листа, сделанного Рембрандтом по заказу. Зато представлено около тридцати автопортретов художника, есть здесь и портреты его матери, отца, жены Саскии в молодости и на пороге смерти, а также различные жанровые сцены — например, «Торговка пирожками», «Ниций». Особое место в графическом наследии Рембрандта, отмечает в журнале «Нувель обсерватёр» Франс Юзер, занимают офорты на библейские и религиозные сюжеты, в композиционном отношении нередко являющиеся «подражаниями» великим предшественникам — Альберту Дюреру, Квинтену Массейсу, итальянским художникам эпохи Возрождения.

К открытию выставки был выпущен полный каталог показанных на ней рембрандтовских офортов, который подготовила искусствовед Софи Ренуар де Бюссьер.

На снимке: Рембрандт. Автопортрет с нахмуренными бровями (1630).

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ОБВИНЕНИЕ ОБЩЕСТВУ

Жан Жене, человек сложной творческой и личной судьбы, не знал своих родителей и воспитывался в приюте, подростком попал в исправительную колонию, скитался по разным странам. Писать начал в тюрьме, потом был освобожден по ходатайству Жана Кокто, считавшего Жене «первым писателем нашего века». Высоко ценил Жене и Ж.-П. Сартр.

После смерти Жана Жене (1986) газета «Монд» опубликовала обширное — на три полосы — интервью с драматургом, взятое в 1982 году Б. Пуаро-Дельпешем. Этот документ, ранее неизвестный читателю, представляет особый интерес: Жене, не бравшийся с 1965 года за перо, неохотно встречался с журналистами. Интервью служит и ярким подтверждением того, что автор нашумевшей антиколониальной пьесы «Ширмы» (1961), резко осудивший политику Франции в Алжире, остался верен своим убеждениям. Жене признается: «Часть моей души осталась в растерзанных Францией странах — Марокко, Мали и других». С горечью говорит он о судьбе иностранных рабочих во Франции: «Более бесправных людей, чем они, — нет».

Решительно встав на сторону обездоленных, Жене не простил обществу того, что оно лишило его детства, искалечило судьбу. Удивительно, что этот человек, несколько лет проведший в тюрьме, тем не менее писал свои произведения не на арго, а на изысканном литературном языке. Сам Жене в интервью объясняет это так: лексика арго, к которой столь охотно прибегают многие авторы, быстро устаревает. Писатель говорит и о своем преклонении перед такими классиками, как Ронсар. Но все же главное для него в другом: правильный литературный язык — это язык ненавистного Жене класса, и чтобы быть услышанным, признается писатель, он вынужден обращаться к своим врагам на их языке, «подобно тому, как это делает узник — чтобы быть понятым своими тюремщиками». Жене, по его собственным словам, так и остался «прóклятым поэтом». «Общество топтало меня ногами, но так ни в чем и не убедило», — заключает он.

Жан Жене с режиссером Роже Бленом. Редкий снимок.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

НАТАЛИ САРРОТ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

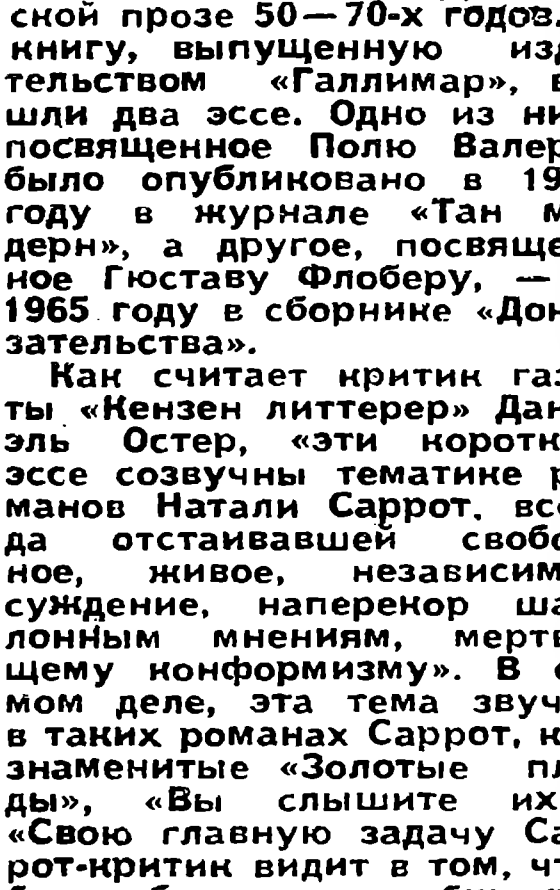
Парижская пресса отмечает выход в свет небольшой книги Натали Саррот, известной писательницы, чье

имя связано со школой «нового романа» во французской прозе 50—70-х годов. В книгу, выпущенную издательством «Галлимар», вошли два эссе. Одно из них, посвященное Полю Валери, было опубликовано в 1947 году в журнале «Тан модерн», а другое, посвященное Гюставу Флоберу, — в 1965 году в сборнике «Доказательства».

Как считает критик газеты «Кензен литтерер» Даниэль Остер, «эти короткие эссе созвучны тематике романов Натали Саррот, всегда отстаивавшей свободное, живое, независимое суждение, наперекор шаблонным мнениям, мертвящему конформизму». В самом деле, эта тема звучит в таких романах Саррот, как знаменитые «Золотые плоды», «Вы слышите их?». «Свою главную задачу Саррот-критик видит в том, чтобы, отбросив все общепринятые представления, взглянуть на произведение как на только что написанное», — пишет Д. Остер. Рассматривая таким образом поэтическое наследие Поля Валери и романы Флобера «Саламбо» и «Воспитание чувств», Саррот упрекает обоих писателей в чрезмерной рассудочности, а также в том, что они обращаются не к непосредственным чувствам читателей, а к заменяющему эти чувства набору шаблонных реакций. При этом Саррот отдает должное Валери как подлинному мастеру поэтической прозы и автору афоризмов, а Флоберу — как создателю «Госпожи Бовари». По существу, подчеркивает Д. Остер, она выступает не против них самих, а против превращения их в идолов. Сам Валери, глава символистов, еще при жизни произведенный в мэтры, сетовал на славу, «извращавшую» его как личность, и на необходимость играть роль «Боссюэ Третьей империи».

Натали Саррот.

(Журнал «Кензен литтерер»)



ФРГ

Режиссер из ГДР Юрген Гош поставил на сцене гамбургского «Талия-театер» трагедию Генриха фон Клейста «Пентесилея».

По мнению корреспондента журнала «Культурхроник», режиссер как будто пытается следовать замыслу Клейста, но, избрав «упрощенную» трактовку пьесы, чрезмерно смещает акценты. Непостижимое убийство Ахилла, совершенное Пентесилеей в пылу страсти, выглядит неоправданно простым исходом трагедии. Таким образом, как подчеркивает рецензент, «формальный принцип постановки отразился на содержании». «Равновесие» поддерживает лишь прекрасная игра актеров, в особенности — Лены Штольце, занятой в главной роли.

На снимке: Лена Штольце в роли Пентесилеи в спектакле «Талия-театер».

(Журнал «Культурхроник»)

Разумеется, Саррот не случайно избрала «мишенью» своей критики именно этих писателей. Ведь в то время, когда писалось первое эссе, «новый роман» с его проповедью субъективности и бессюжетности противостоял эстетике Валери. Флобер же в 60-е годы нашего века, по выражению рецензента «Кензен литтерер», «был несколько поспешно объявлен «тотемом» «нового романа», к тому времени успевшего обрасти собственными догмами и штампами».

Суждения, высказываемые Натали Саррот в этих эссе, не всегда объективны, многое в них определяется особенностями ее собственной эстетической позиции и взглядами литературной школы, которые она хотя и не безоговорочно, но все же разделяет. То, что эссе двадцатилетней и сорокалетней давности вышли сейчас отдельной книгой, говорит прежде всего о верности писательницы своим убеждениям и подтверждает ее репутацию «ниспровергательницы авторитетов». Однако, если вспомнить, что оба эссе писались в такие переломные для французского общества и литературы моменты, как первые послевоенные годы или канун событий 1968 года, замечает Даниэль Остер, то напрашивается мысль: не ощущает ли Натали Саррот, всегда чуткая к ритму времени, близость новых перемен в искусстве?

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИТОГИ КИНОГОДА

В городе Марианске-Лазне состоялся XXIV фестиваль чешских и словацких фильмов. На конкурс было представлено 35 полнометражных художественных кинокартин, созданных на киностудиях «Баррандов», «Готвальдов» и «Словенска фильмова творба». Три главных премии фестиваля были присуждены кинофильмам о жизни современной Чехословакии — «Скальпель, пожалуйста» (режиссер Иржи Свобода) и «Чрезвычайная ситуация» (режиссер Яромир Борек), а также фильму об антифашистской борьбе в годы второй мировой войны «Меня застигла ночь» (режиссер Юрай Герц). Специальную премию получил фильм словацкого режиссера Душана Ганака «Тихая радость», посвященный проблемам современности.

Фестиваль, в рамках которого прошли творческие встречи кинематографистов со зрителями и дискуссии деятелей чехословацкого кино с зарубежными гостями, выявил типичные черты и особенности, присущие современному кинематографу ЧССР, показал тенденции его развития. «Самая существенная из них — это абсолютное преобладание фильмов о современности,— подчеркивает в своей статье кинообозреватель газеты «Руде право» Вера Мишкова. — Стремление показать социалистическую действительность с ее успехами и проблемами, внести свой вклад в познание истинных ценностей бытия, найти художественные средства для обобщенного показа основополагающих черт нашей жизни через индивидуальные судьбы героев — таковы основные направления поисков чехословацких кинематографистов».

На фестивале был показан ряд фильмов для молодежи («Почеши кошке за ухом» Й. Пинкавы, «В зубы и в сердечко» Вл. Дрги, «Соленые конфеты» Э. Штефанковичовой), а также детективные ленты и кинокомедии. Что касается фильмов на исторические темы, то их создателей, считает кинокритик, меньше привлекают далекие от нас эпохи и больше — события недавних десятилетий, прежде всего, конечно, годы второй мировой войны (фильм «...Или быть убитым» М. Голы).

Киноленты XXIV фестиваля позволили критике констатировать, что 1985-й был неплохим киногодом. «Конечно, слабых фильмов пока еще много... — пишет обозреватель газеты «Руде право». — А как хотелось бы видеть фильмы — настоящие удачи, свидетельствующие о глубоком знании жизни, дарящие зрителю яркие художественные впечатления!»

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ О МИРЕ И О СЕБЕ

Широкую популярность среди читателей-соотечественников принес словацкому писателю Любошу Юрику роман «Журналисты» (1984). Сам журналист по профессии, Л. Юрик убежден, что «современная проза с элементами публицистики соответствует духу нашей эпохи: быстрая смена впечатлений, насыщенность информацией... сложные и противоречивые поиски не только ценностного, но и прочного, надежного».

С позиций публициста подошел Л. Юрик и к новой значительной своей работе, на сей раз непосредственно связанной с журналистской практикой. Его «Беспокойные диалоги» состоят из пятидесяти интервью с известными европейскими писателями. Книга создавалась не один год, материал собирался и во время многочисленных корреспондентских командировок Л. Юрика в страны Европы, и путем переписки. Рецензенты («Ромбоид», «Словенске погляды») отмечают не только незаурядный журналистский дар, проявленный Л. Юриком при ее создании, богатый профессиональный опыт, но и большой, кропотливый труд. «Умение спрашивать нередко требует большего мастерства, нежели умение отвечать,— пишет один из критиков.— Юрик в этом смысле бесспорно наделен природным талантом. Его вопросы сформулированы с предельной точностью и целенаправленно побуждают к ответу».

Л. Юрик называет свои диалоги «беседами об этике творчества, морали, философии бытия, о любви, поэзии, о смысле сущего». Представляя самые различные национальные литературы, мировоззрения, жизненный опыт и эстетические концепции, все высказывающиеся едины в самом главном: в гуманистической ориентации своих произведений и своего творческого кредо.

Среди отвечающих — известные советские мастера слова Ф. Абрамов, Л. Леонов, Ю. Бондарев, В. Катаев, писательница ГДР А. Зегерс, португалец Ф. Намора, англичанин Дж. Линдсей, французы Э. Базен, Ф. Саган, Л. Арагон, испанцы Р. Альберти и М. Делибес и многие другие.

Наиболее интересно, по мнению критики, в книге представлены советские и французские писатели. Все рецензенты дружно цитируют высказывания Федора Абрамова и Эрве Базена. Вот о чем размышлял в последние годы своей жизни Федор Абрамов: «Читатели всего мира ждут слова, хорошей литературы, надеясь отыскать в ней ответы на свои вопросы, самые важные и трудные вопросы жизни... Может быть, кое-кто уходит в иллюзии... именно оттого, что не находит в слове очистительной для себя силы. Не потому ли вещи обрели над людьми такую власть, что люди не нашли поддержки в слове? Тут есть и наша вина, вина писателей». В заключение Ф. Абрамов говорит: «Наше беспокойное время настойчиво требует активности и гражданской честности от каждого отдельного человека. Только чувство сопричастности, только духовное единение всего человечества может остановить ядерное безумие».

«Беспокойное время» — беспокойны и думы о нем

В картине Ярослава Балика «Эксперимент Ева», представленной на XXIV фестивале чешских и словацких фильмов, главную роль сыграла молодая польская актриса Магда Воллейко. Ее партнером был известный чешский актер Йозеф Абрхам.

(Газета «Руде право»)

писателей. И это наглядно запечатлено в «Беспокойных диалогах» Любоша Юрика.

ЧИЛИ

«ПРИМИРИТЬ ТЕАТР И КИНО»

Французский еженедельник «Нувель обсерватёр» опубликовал большую статью о творчестве кинорежиссера Рауля Руиса и его последней работе — экранизации пьесы испанского драматурга XVII столетия Педро Кальдерона де ла Барки «Жизнь есть сон». Руис, уроженец Чили, вынужден был покинуть родину после фашистского переворота 1973 года и поселиться во Франции.

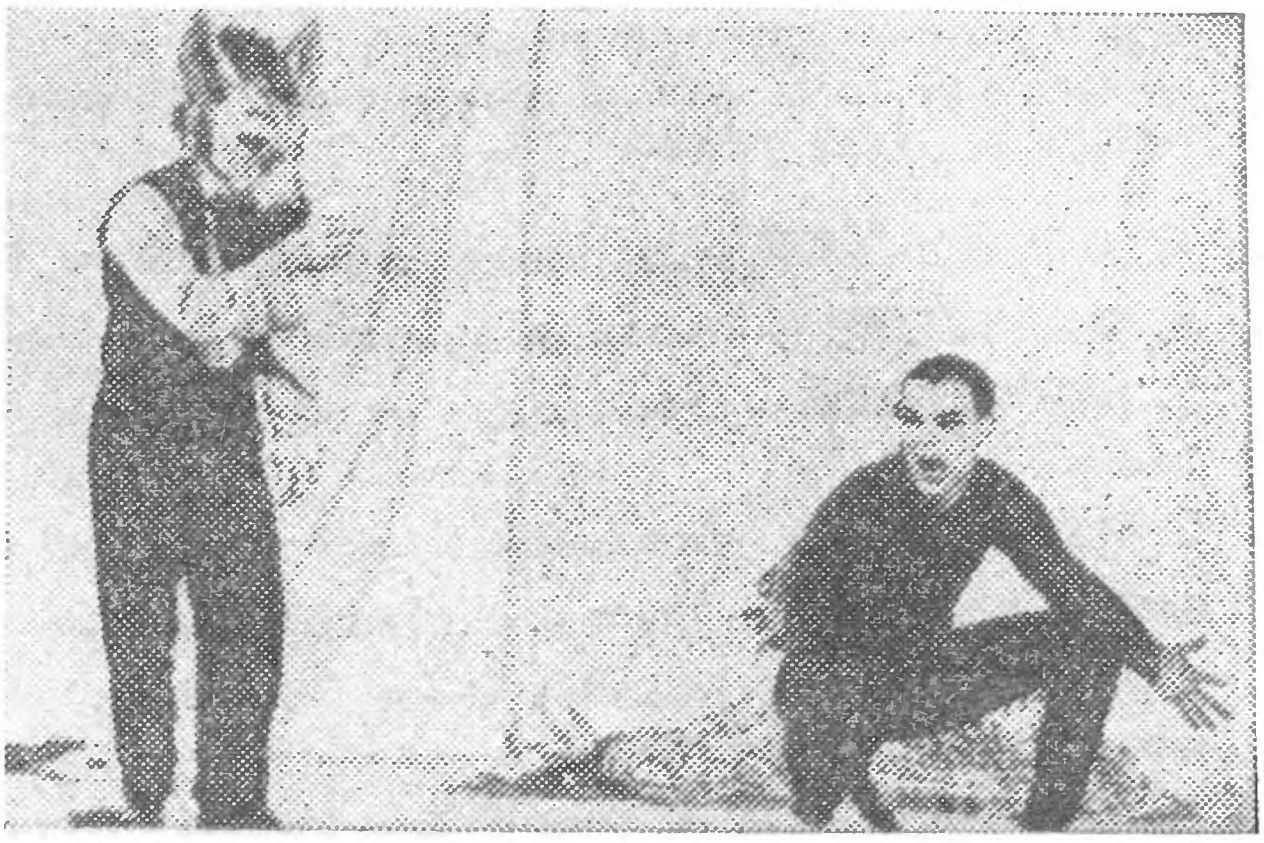
В настоящее время Рауль Руис — создатель более сотни кинолент и множества спектаклей, поставленных на подмостках французских театров. Популярность его все возрастает: в марте 1983 года Чилийцу (так прозвали Руиса во Франции за верность традициям латиноамериканского искусства) был посвящен специальный номер журнала «Кайе дю синема», где искусствовед Серж Тубиана отозвался о нем как о «художнике, в совершенстве овладевшем всеми изобразительными средствами кинематографа». Среди наиболее интересных произведений Руиса «Нувель обсерватёр» упоминает киноверсии трагедии В. Шекспира «Ричард III», диалогов Брехта «Разговоры беженцев», романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», а также фильм-балет «Маммам» на музыку композитора Ж.-К. Галотта.

В 1986 году режиссер возглавил Культурный центр в Гавре. Неподалеку от города, в живописных окрестностях курорта Этрета, и осуществляясь съемки кинокартины «Жизнь есть сон». На ежегодном фестивале в Авиньоне она имела огромный успех. Корреспондент «Нувель обсерватёр» Ги Дюмюр, отмечая оригинальность трактовки пьесы Кальдерона, подчеркивает: «Руис стремится примирить театр и кино, объединив их в своем фильме, сочетая традиционные приемы испанского театра барокко с «наивными элементами комедии дель арте». По мнению критика, кинолента принадлежит к совершенно новому жанру драматического искусства, основанному на принципе зеркальной композиции. Действие развертывается на театральной сцене и дублируется за ее пределами, кинокамера дает возможность увидеть за декорациями «параллельный» ряд событий и действующих лиц: Ги Дюмюр пишет об «игре зеркал» — взаимном отражении коллизий. Руис, по его собственному слову, попытался в фильме «объяснить, почему происходящее на сцене или киноэкране воспринимается зрителями как живая реальность». «Моя цель, — говорит Рауль Руис, — раскрыть секрет этой иллюзии».

Кадр из фильма Р. Руиса «Жизнь есть сон».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ШВЕЙЦАРИЯ



Театр Цюрихского кантона показал в этом сезоне свою новую работу — спектакль по комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» в классическом переводе А.-В. Шлегеля. Режиссеру Франциске Колунд удалось выдержать головокружительный темп шекспировской пьесы, богатой неожиданными сюжетными поворотами, пишет театральный обозреватель газеты «Нойе цюрхер цайтунг».

Яркой режиссерской находкой стал необычный подбор исполнителей: каждому актеру Ф. Колунд поручила по две совершенно различные по сценическому рисунку роли (например, Тезей — и царица эльфов Титания, Ипполита — и царь эльфов Оберон). Особенный успех у зрителей, подчеркивает обозреватель «Нойе цюрхер цайтунг», имеет гротескная интермедия о Пираме и Тисбе, которую играют на свадьбе Тезея и Ипполиты афинские ремесленники. В ролях раздувателя мехов Дудки и прелестной Тисбы выступил Хайнц Зоммер, а ткача Основу и Пирама сыграл Даниэль Планшерель.

На снимке: сцена из спектакля «Сон в летнюю ночь». В роли эльфа Пэка — Оскар Бингиссер, в роли ткача Основы — Даниэль Планшерель.

(Газета «Нойе цюрхер цайтунг»)

▲ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Рассмотрев итоги работы журнала «Иностранная литература» в 1986 году и учитывая полученные редакцией отклики читателей, редакционная коллегия приняла решение отметить как наиболее значительные публикации года работы следующих переводчиков зарубежной литературы и авторов статей:

Н. АСТАФЬЕВОЙ — перевод стихов Марии Павликовской-Ясножевской

И. БЕРНШТЕЙН — перевод повести Грэма Грина «Десятый»

Э. ВЕНГЕРОВОЙ — перевод глав из книги Гюнтера Вальрафа «На самом дне»

С. ГОНЧАРЕНКО — перевод стихов аргентинских поэтов

ВИК. ЕРОФЕЕВА — статья «Путешествие Селина на край ночи»

А. ЗВЕРЕВА — вступление и перевод фрагментов книги Уильяма Стайрона «Безмолвный прах»

Л. ЗОНИНОЙ и М. ЗОНИНОЙ — перевод повести Натали Саррот «Детство»

Э. ЛЬВОВОЙ — перевод повести Кристы Вольф «Кассандра»

К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ — перевод романа Веслава Мысливского «Камень на камень».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. П. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.10.86. Подписано в печать 12.12.86. А 00222. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч.-изд л. 30,39.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1—430 000 экз.) Зак. 3855.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

15 ИЛ № 1

М. БУТЭМЖ. «Мелодия мира».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394